

Борис Можяев

# МУЖИКИ И БАБЫ

БОРИС  
МОЖАЕВ

---

МУЖИКИ  
И БАБЫ



*Памяти родителей моих Марии Васильевны и Андрея Ивановича посвящаю*

Да ведают потомки православных  
Земли родной минувшую судьбу.

*Пушкин*

С отрадой, многим незнакомой,  
Я вижу полное гумно,  
Избу, покрытую соломой,  
С резными ставнями окно...

*Лермонтов*

## КНИГА ПЕРВАЯ

### 1

У Андрея Ивановича Бородина накануне Вознесения угнали кобылу. Никто не мог сказать, когда это в точности произошло. Кони паслись вольно в табунах уже недели две. Отгоняли их на дальние заливные луга сразу после сева, и до самой Троицы отдыхали кони, нагуливались так, что дичали. Бывало, пригонят их из лугов – они ушами прядают, а тело лоснится, инда яблоки проступают на крупе. За эти долгие недели только единожды пригоняли их на день, на два: проса ломать.

Раскальвались проса на девятый, а то и на десятый день после посева, да и то ежели в теплой воде семена мыты. Ходили смотрели – как они набутили? Ежели белые корешки показались, уж тут не моргай – ломай без оглядки, паши да боронуй, чтобы дружнее взялись да ровнее, раньше травы взошли. Не то прозеваешь – пустит «ухо» просо, то есть росток поверху, тогда пиши пропало. Замучаются бабы на прополке.

Вот и припело – на самое Вознесение ломать проса. Ушли мужики за лошадьми в ночь: пятнадцать верст до тихановских лугов за час не отмахнешь. А там еще табуны найти надо. Они тоже на месте не стоят. Ищи их, свищи. Луга-то растянулись вдоль Прокоши до самой Оки верст на тридцать, да в верховья верст на полтора, а аж до Дикого поля, да в ширину верст на пять, а то и на десять, да еще за рекой не менее десяти верст, считай до Брехова. Есть где погулять...

Тихановские табуны паслись под Липовой горой возле озера Падского. Там, как рассказывают старики, Стенька Разин стоял с отрядом на самой горе, а в том озере затопил баржу с персидским золотом. Озеро это будто бы в старину соединялось с рекой, и в нем нашли медный якорь, который перелили потом в колокол.

У подола горы, на лесной опушке держал пчельник дед Ваня Демин, по прозвищу «Мрач». Он со своим пчельником кочевал по лугам, как цыган с табором. Посадят его с первесны на телегу, мешок сухарей кинут ему, гороху да пшена, а на другие подводы улья поставят... И прощевай дед Иван до самой сенокосной поры. Ныне на Липовое везут, в прошлом году на Черемуховое отвозили, а на будущий год куда-нибудь в Мотки забросят. Когда дед Иван бегал еще, побойчее был, сам глядел за мельницей, – он и пчельник держал поближе к селу, сразу за выгоном, чтоб мельница на виду была. Бывало, только ветер разыграется, тучи нагонит – он уже бежит через выгон и орет на все Большие Бочаги: «Федо-от, станови мельницу – мрач идет! Федо-от, ай не слышишь? Мамушка моя, туды ее в тютельку мать... Федо-от! Мрач идет...» Так и прозвали его Мрачем. К нему-то и завернул на зорьке Бородин.

Старик стоял возле плетневого омшаника и долго из-под ладони всматривался в ходока.

– Никак, Андрей Иванович! – оживился наконец дед Ваня. – Откуда тебя вынесло? Мамушка моя, туды ее в тютельку мать... Да ты мокрый по самую ширинку. Ай с лешаками в прятки играл?

Андрей Иванович приподнял кепку, поздоровался:

– Ивану Дементьевичу мое почтение.

Старик подал руку, заботливо заглядывая гостью в лицо:

– Ты чего такой смурной? Ай беда стряслась?

Андрей Иванович сел у костра, кинул с плеча оброть, достал кисет, скрутил сигарку, протянул табак старику.

– Да ты и в самом деле смурной! – удивился старик. – Я ж не курю!

Бородин отрешенно сунул кисет в карман:

– Как знаешь...

Дед Ваня достал свою табакерку берестяную, захватанную до лоска, с ременной пупочкой на крышке; поглядывая на раннего гостя, на его темные мокрые онучи, на разбухшие и сильно врезавшиеся в них оборы, на маслено-желтые от росы головашки лаптей, подумал: «Э-э, брат, много ты на заре искрестил лугов-то». Вталкивая щепоть табаку в ноздри, изрек:

– Ноги ты не жалеешь, Андрей Иванович. Они, чай, не казенные. Вон лошадей сколько ходит... Бери любую и катай.

– Угу... так и сделали, – отозвался Андрей Иванович, прикуривая от головешки. – Взяли и укатали. Кобылу у меня угнали.

– Какую кобылу? Не рыжую ли?!

– Ее, – выдохнул Андрей Иванович.

– Ах, мамушка моя, туды ее в тютельку мать! А-ап-чхи! Чхи!.. Кхе-хе! – старик затрясся в кашле и замахал руками.

У старика рыхлый, распухший от нюхательного табака красный нос; когда он кашлял и чихал, пыхтя и надуваясь, как кузнечный мех, нос его становился лиловым, похожим на вареную свеклу. Под конец своей понюшки старик прослезился... Потом высморкался в подол суровой рубахи, выругался и спросил:

– Кто те сказал, что кобылу угнали?

– Кто мне сказал? С вечера пришли за лошадьми проса ломать... Ну, мужики разобрали своих да уехали. А я целую ночь ходил... Все табуны обошел – нет кобылы...

– А жеребята?

– Жеребята в табуне... И третьяк, и стриган, и Белобокая... Все там.

– Может, и кобыла найдется?

– Нет... Кобылу угнали. Сама она от жеребят не уйдет. – Андрей Иванович бросил окурочок, оправил привычным движением правой руки пышные черные усы и задумался, глядя в костер.

– Ну чего ты отчаялся? И на Белобокой пахать можно. Гони, ломай проса-то, – сказал старик.

– Плевать мне теперь на просо! Я этого гада сперва сломаю, – Андрей Иванович скрипнул зубами, и его глубоко посаженные темные глаза нехорошо заблестели. – Я с ними посчитаюсь! – он пристукнул кулаком по коленке.

– А ты что, знаешь его?

– Я узнаю... – он в упор, с вызовом поглядел на старика. – Вася Белоногий не навещал тебя, случаем?

– Да что ты, Андрей Иванович, не гневи бога! – Дед Ваня засуетился, стал оправлять костер, подкидывать в огонь обгоревшие чурки. – Он уж с двадцать второго года не промышляет лошадьми. Как только власть окрепла, так и он отшатнулся!

– Власть окрепла!.. Знаем, почему он отшатнулся. В Желудевке приятеля его

сожгли, а Белоногий деру дал...

– Не грехи, Андрей Иванович, – упрашивал старик. – Это Митьку Савина хотели в костер-то бросить. А Васю не трогали. Он с теми конокрадами не якшался. В ту пору он больше по амбарам промышлял. Яблоки у попа увез... Это было... А теперь он при деле. В селькове<sup>1</sup> сидит. И чтоб лошадь у тебя угнать? Ты ж ему не чужой.

– Дак он у тебя, у родного дяди, амбар обчистил! – взорвался опять Бородин.

– И это было, – склонил лысую голову дед Ваня. – Но учти такую прокламацию... Это ж при старом режиме было! А теперь он в селькове сидит, инвентарем снабжает...

– Не знаю, кого он там снабжает. Но что воры ему все известны наперечет, в этом я уверен.

– Это очень даже способно, – закивал дед Ваня. – Насчет того, кто украл, он, черт, сквозь землю видит. Это ж промзель. Я что тебе посоветую: заобротай Белобокую и поезжай к Васе в Агишево. Авось он поможет тебе. У него сама милиция останавливается. Истинный бог, правда!

– К Васе – не к Васе, а ехать искать надо, – примирительно сказал Андрей Иванович.

– Во-во! – подхватил старик. – До Агишева двадцать верст. И все лугами... просквозишь всю плесу. Может, чего и отыщешь. Земля слухом полнится.

– Пожалуй, и в самом деле к Васе поеду.

– Имянно, имянно! А я тебе логун меду нацежу – воронка. Отвезешь Васе. Выпьете... Авось и сойдется с ним. Поезжай, поезжай...

Рыжая кобыла, прозванная Веселкой, была и опорой и отрадой Андрея Ивановича. Высокая, подтянутая как струна, за холку схватишь – звенит. Грива светлая, волнистая, как шелковая, – из рук течет. Что твой оренбургский платок... Хоть накрывайся ей. Ноги сухие, золотистые, а бабки белые... Как в носочках. Храп тонкий, сквозной, на солнце алеет, будто кровь кипит... На лбу звездочка белая, по крупу кофейные яблоки лоснятся, словно атласные... Красавица! Десять жеребят принесла и телом не спала. Берег ее Андрей Иванович и в работе и в гоньбе. Каждого подрастающего жеребенка-третьяка передерживал на год, – объезжал и впрягал в работу. Продавал только на пятом году, когда новый третьяк лошадей становился, а там стриган подпирал, сосун большим вымахивал... И так в зиму по четыре головы лошадей одних пускал. Жеребята не работники, одна видимость лошадей, но едоки хорошие. И сено крупное есть не станут, им что помельче дай. «Лучше бы двух коров пустили», – говорила Надежда. «Тебе и от одной молока девать некуда», – возражал Андрей Иванович. «От коровы и масло и мясо... А что за польза от этих стригунов? Только сено в навоз перегоняют», – горячилась Надежда. «Не ты его косила, а я... Чего ж ты переживаешь?» – невозмутимо отвечал Андрей Иванович. «Да ты прикинь – сколько сена съест твой жеребенок за три года! И что ты получишь за него? Где выгода?» – «Не одной выгодой жив человек...» – «Я знаю, что тебе втемяшилось... Породу разводишь?» – «Развожу». – «А где она, твоя порода? Вон Зорьку в Прудки продал – ее обезвечили, она пузо по земле таскает. Набата в Брехове запалили, говорят, водовозом стал...» – «Я за других не ответчик, а своих в обиду не дам». – «Ну возьми, растопырься над ними... Ухажер кобылий».

И вот угнали Веселку... Украли гордость его и славу... Четырнадцать лет

---

<sup>1</sup> СельККОВ – сельское крестьянское кооперативное общество взаимопомощи.

исполнилось кобыле, а ей и десяти не давали – в работе огонь, на ходу от рысака не отстанет. А характер, какой характер! Вырастала она в мировую войну, братья Бородины были на фронте, дома оставались одни бабы. Вот ихватила она волю при них, за три года нагулялась печь-печью. Мужика увидит – храпит и копытом бьет. Не подходи! Не кобыла – атаман. Объезжала ее Надежда... Два раза телега со шкворня слетала, передки в щепки разбивала, и с обрывками вожжей да с обломками оглоблей прибежала кобыла домой, забивалась в хлев и храпела, прядала ушами, как тигра. Только Надежда и входила к ней. «Веселка, Веселка!.. Стой, милая, стой!» Рукой ее по холке треплет. Та ноздри раздувает, глазом мечет, как бешеная, но стоит.

«Ну и Надежда, ну и оторвяга!.. – удивлялась свекровь. – Она слово знает. Вот безбожница! Вот бочажина...» Бочажинкой прозвали в семье Надежду оттого, что она взята была из села Большие Бочаги. По ночам в отчий дом бегала (днем работала)... Бегала через лес да мимо кладбища... И не боялась. Оттого и безбожница. А Веселку она не наговором брала – кормила ее сызмальства. Потому и давалась ей кобыла. И объездила ее Надежда, и с сохой да пашней познакомила. К делу приобщила. Но и Веселка иные привилегии за собой оставила: во-первых, не бери меня под уздцы. Ты – под уздцы, а я в дубошки<sup>2</sup>. И – берегись моя телега все четыре колеса! Расшибу! Пахать – пашет и боронить – боронит; но ежели кто из соседей поехал на полдни домой, то и ее уволь... Все, кончено! Отработала. Стеганешь – поперек поля пойдет, все борозды перетопчет. Уж на что отец Надеждин, Василий Трофимович, силен – не мужик, а колода свилистая, и тот плюнул. Приехал к ним в Тиханово на помощь. Ну и пахал на Веселке... Кто-то из соседей домой подался, она и увидела. И пошла крестить вдоль и поперек. Всю картину ему выписала, затаскала мужика. Черт, говорит, а не кобыла.

Когда в семнадцатом году под осень был призыв лошадей на войну, свекровь с радостью отправила Веселку на комиссию: авось возьмут. Кобыла видная. За такие стати казна хорошие деньги платила.

Надежда гоняла ее в Пугасово. А потом рассказывала: «Комиссия была на площади, перед волостным управлением. Стол вынесли перед крыльцом... За столом все военные: полковники всякие да подполковники... Все в полетах, шнурки плетеные через плечо пропущены. Усатые, бородатые... А вокруг солдаты. Ну, народу, народу – пушкой не пробьешь. Вот записали нас в очередь с лошадьми. Выкликают и меня. Я веду ее через площадь. А кобыла моя все в дубошки. Она столько народу и не видала. Как даст свечку! Завьется – вон куда! А я повод за конец взяла. Куда ты, думаю, денешься? А эти военные со всех сторон кричат: «Возьмите лошадь у женщины! Она убьет ее!» Подбегают два солдата: «А ну-ка, гражданочка, уступи ее нам!» Не надо, говорю, не трогайте, от греха! Хуже будет. «Вот глупая, – говорит солдат. – Это тебе боязно. А мы ее в момент обломаем. Сейчас я ей покажу кальеру два креста». – «Смотри, кабы она тебе самому не показала эту кальеру». Вот он закинул ей повод на холку и – прыг на нее. Эх, она как взовьется, как даст вертугана... Он кубарем с нее хлоп. А лошадь моя по кругу. «Держите ее, держите!» – кричат. Не трогайте, говорю, ежели хотите комиссию над ней справить. Ну, поймала ее, успокоила... Подвела к столу – к ней с меркой, а она в дубошки. «Да что она у тебя, или не объезжена?» Для кого объезжена, говорю, а для кого нет. «Ну ладно, говорит главный. Запишите, что годна, а брать будем через год. Молода еще».

---

<sup>2</sup> здесь: на дыбки

А через год и война кончилась. Одна кончилась, другая начиналась.

Вернулся домой Андрей Иванович в марте восемнадцатого года. Как увидел кобылу, так и со двора не уходил до самых сумерек. Все оглаживал ее, чистил, хвост расплетал, гриву... Песни мурлыкал. И она приняла его. Видать, хозяйина почуяла. Так ведь он голосом любую лошадь уведет... Не только лошадь – сосунок за ним, как за маткой, бежит. Дух, что ли, от него особый исходит.

Однажды шурин Андрея Ивановича на Веселке рысака обгонял. Ездил Андрей Иванович с Надеждой в Большие Бочаги к теще на масленицу. Шурин был в отпуске, приехал с Казанского затона – пароходы там зимовали. Он второй год как ходил командиром парохода на Волге, а до этого первым помощником на Каспии плавал. С Каспия не больно приедешь – зимовки не было. Ну и давно не видались. Шурин, Петр Васильевич, детина саженого росту, носатый, губастый, с маленькими светлыми усиками, хорошо подстриженный, с белой тугой шеей, столбом выпирающей из темно-синего кителя, который сидел на нем так плотно, что под мышкой щипцами не ухватишь. Собрал Петр Васильевич за столом всю родню – водку разливал прямо из четверти и все приговаривал: «Это только запой, а выпивка впереди». Ну, загуляли и решили в Прудки прокатиться, к тетке Дарье съездить. Поехали на двух подводах. Филипп Селиванович, дядя Надеждин, рысака запряг – санки беговые с железными подрезами, копылы гнутые, выносные... Куда там! Ни один раскат не страшен. По воздуху пусти такие санки и то не опрокинется... Молодых – Андрея Ивановича и Надежду – посадили в санки, полостью медвежьей прикрыли от ископыти, Филипп Селиванович на облучок сел, бороду белую размахнул по мерлушковому воротнику, вожжи ременные с серебряными бляшками разобрал... «Гоп, гоп! Где мои гогицы?» – Он не выговаривал букву «л», и его за спиной звали «Голицами». А Петро завалился в сани да бабу Грушу посадил, прозванную за свой внушительный объем «Царицей», да тетку Марфуньку, жену Филиппа Селивановича, и поехали!

Туда все шло чинно-благородно: рысак шел впереди, позвякивая воркунами на хомуте. Веселка легко попевала, вынося грудь на задник и нависая мордой над санками. В Прудках выпили как следует, возвращались в сумерках. Полям песни пели... Лошади разгорячились. Въехали в Бочаги – народ стеной стоит вдоль дороги – поглазеть вывалили. Дорога накатанная да длинная – больше трех верст, и все селом, – по сторонам гикают, хлопают, бьют в рукавицы. Рысак забеспокоился, закачал корпусом, выметывая в стороны ноги, прося ходу... Филипп Селиванович заерзал на облучке, поднял высоко руки и вдруг резко подался вперед, легко отпуская до вольного провиса вожжи. Да как крикнет: «На, ешь их, маленькой! Гоп, гоп! Где мои гогицы?!» Рысак радостно взметнулся, высоко закинул морду и, бешено оскалив зубы, пошел так мощно, что ископыт, словно удары пихтелей, забарабанила в головашки санок. Но через минуту Андрей Иванович услышал другой сильный и частый топот; ему показалось вначале, что стучит где-то под ним. «Уж не санки ли расползаются?» – успел подумать он и оглянулся: сбоку от него, почти на уровне его глаз ходенем ходила мощная мускулистая конская грудь. Он не видел ни ног, ни головы лошади – только эту прущую вперед, ходившую как мельничный жернов конскую грудь. Потом придвинулись головашки саней – Петро стоял во весь рост в черной шинели, тулуп валялся в ногах его; он был бледен, без фуражки, с перекошенным от ярости лицом и кричал во все горло: «Врешь, Селиванович! Обуховых не обгонишь...» И даже Царица в санях что-то кричала, размахивая сорванным с головы розовым капором: «Эй, залетные!..» Так и оторвались сани, ушли вперед...

Праздник на этом обгоне кончился... Филипп Селиванович два года не ходил к Обуховым, хотя жили они напротив. Вот как раньше гордость блюли...

Андрей Иванович ехал по лугам на Белобокой и вспоминал эту далекую и такую близкую жизнь, где радости и горе делились пополам с лошадьёю... И она под стать ему, хозяину, умела и постоять за себя, и с честью выйти из любого переплета. И продавали ее... Андрея Ивановича мобилизовали на гражданскую войну. В зиму бабы опять остались одни. Надежда со свекровью поехали в лес за дровами на двух подводах. Напилили, в сани уложили, утянули возы – все честь честью. Выезжать на дорогу стали. Впереди оказалась Веселка, а старая кобыла в глубине. И вперед ее не выведешь – пеньки мешают. А Веселка первой не идет. Заупрямилась, и все тут. Надо бы подождать, но свекровь сама горячая: «Черта лысого ей...» Позвала лесника: «Выведи, родимый, лошадь, а я тебе табачку дам». Тот подошел взять ее под уздцы. Надежда его остановила: «Не бери ее под уздцы». – «А что ты понимаешь? Твое дело коровьи сиськи тянуть...» Ну и взял он ее под уздцы. Она как взвилась да как ахнула его копытом. И плечо вышибла.

Продали ее под Касимов. Она с поля уходила. Борону оставит новому хозяину, а сама с постромками да с вальком Оку переплывала; за пятьдесят верст дом находила. Через нее и хозяин тот погиб. Приезжал он накануне половодья в девятнадцатом году в Большие Бочаги за хлебом. Ехал лугами, по насту. По дороге нельзя: в селах отряды стояли – торговля хлебом была запрещена. А накануне договорился с Надеждой – приедет ночью, прямо на мельницу к Деминым. Дед Ваня встретил его за селом, продал два мешка муки на керенки. Ночь была темная... тот заблудился в лугах и выехал на Желудевку, а там отряд. Жердь повесили поперек дороги. Часовой с винтовкой: стой! Чего везешь? Откуда? Продотрядчик и взял ее под уздцы. Она как махнула... У того винтовка в сторону полетела. Сам кубарем. Хозяин шевельнул вожжами: «Эй, царя возила!» Жердь она грудью поломала и понеслась. А хозяин-то еще обернулся, снял шапку и помахал часовому. Возьми, утрись... Поминай как звали. Ну, тот приложился и стукнул его вдогонку. Мертвого привезла домой... Сама дрожит, вся в пене. Хозяина похоронили, а ее – возьмите и возьмите назад. Так и пришлось деньги возвращать...

На Божоявленском перевозе держали общественный паром. Перевозчик, Иван Веселый, бывший при нем с незапамятных времен, кажется, знал всякого проезжего и прохожего... Босой, распоясанный, в солдатской замызганной гимнастерке, он вьюном вертелся возле каждой подводы и кроме своего заслуженного пяточка с прохожего да гривенника с повозки, мог ненароком прихватить горшок с воза, связку лаптей, а если возница разиня, то и кадку свистнет или мешок с овсом... Брал не задумываясь: нужно ему или нет. Брал смеха ради... Кадку пускал по воде, костер в ней раскладывал. Плывет по реке – дымит. А он орет с берега: «Пароход идет, пароход!» Ребята с лугов на поглядку сбегались. «Ну, пузо грецкое, – скажет пацану. – Раздавишь животом горшок – лапти дам». Лапти, да еще в лугах, – штука важная. Кому не хочется так вот запросто получить лапти? Лягут ребятишки животами на горшки, надуваются до красноты и катаются по лугу. А Иван Веселый сидит в кругу и командует: «Эй ты, поросенок! Куда носом запахал? Сурно держи выше. Ну! А ты чего ногами сучишь? Это тебе не в постели у мамки брыкаться!»

Андрей Иванович застал его у костра – тот кипятил на треноге большой медный



чайник и переругивался через реку с татарами.

– Абдул, башка брить будем? – спрашивал Иван Веселый.

– Тыбе не псе равно? – отвечал высоким голосом жилистый, голый по пояс, бритый татарин. – Тыбе лохматый... собакам псе равно.

Он забивал колья, и когда кричал, то размахивал топором и делал свирепое лицо. Двое других, в белых рубахах и в черных тюбетейках, молча пилили жерди на тырлы.

– Абдул, волос у тебя жесткий... Поди, бритва не берет? – миролюбиво спрашивал Иван.

– Тыбе не псе равно?

– Дак чудак-человек!.. Помочь тебе хочу. Я средство знаю, чтоб волос обмяк. Иди ко мне! Дерьмом коровьим голову вымажу. Отмя-акнет!

– Донгус баллас! – высоко, гортанно, как крик потревоженного гусака, несется с того берега. – Свинья с поросяттам!

Андрей Иванович спрыгнул с Белобокой и, привязывая повод за куст, сказал Ивану Веселому:

– Брось дурачиться!

Тот кивнул ему, хитро подмигнув, и опять обернулся к татарам:

– Абдул! Давай муллу на свињу сменяем! Ведь наш поп вашему мулле хреном по скуле. Он у вас теперь пога-анай!

– Собакам! Донгус баллас!.. – кричат оттуда уже в три голоса.

– Всех расшевелил! – довольно осклабился Иван Веселый. – Садись! Чай пить будем.

– Некогда мне, Иван, чаи распивать. Ты не видел, лошадей тут, случаем, не прогоняли на днях?

Иван сбил на затылок свою замызганную кепчонку, растворил широкую щучью пасть:

– Г-ге! Ты, Андрей Иванович, никак, на допрос меня вызвал? Чего ж не скомандуешь: встать, мол, такой-разэдакий!

– Да ну тебя, балабона!.. – Андрей Иванович снял заплечный мешок, неосторожно стукнул его оземь. В мешке что-то утробно булькнуло.

– Не карасий везешь? – потянул воздух своим сплюснутым, крючковатым носом Иван Веселый. – Налил бы кружечку? А то мне ночью без огня, Андрей Иванович, страшно; эти самые, шишиги, донимают... Сунешься в куст по нужде, а он тебя хват за голое место. А рука-то у шишиги маленькая да холодная... Брры!

– Вот обормот! – Андрей Иванович усмехнулся. – Ну ладно... Давай кружки!

Иван Веселый поскачком слетал в землянку, достал жестяные кружки. Андрей Иванович налил по полной воронка. Выпили.

– Вот это самообложение! Дух захватывает и по кумполу бьет, – сказал Иван Веселый, заглядывая на опрокинутое доньшко и ловя языком сорвавшуюся каплю.

– Меня вот стукнули так стукнули, – сказал Андрей Иванович. – Кобылу угнали... Рыжую... Вот я и спрашиваю: не прогоняли, случаем, перевозом? У нее грива светлая и звездочка на лбу.

– Я, Андрей Иванович, люблю звезды на небе считать. Они далеко... А какая и свалится – мимо пролетит. Ночью-то я один на перевозе. Стра-ашно. Налил бы еще кружечку воронка для поддержки штанов.

Андрей Иванович насупился, но налил еще кружку. Иван Веселый набрал полон рот, побурлил медовухой в горле и, выпячивая кадык, запрокинув лицо в небо, сказал:



– Я никого не видел и ничего не знаю... но, говорят, будто на Панском двое перегоняли через реку лошадей... У одного длинные волосы...

– Жадов?! – аж привскочил Андрей Иванович.

– Какой Жадов? – обалдело поглядел на него Иван Веселый. – Сказано – я никого не видал и ничего тебе не говорил.

От перевоза на Агишево дорога шла торная: народу и пешего и конного сновало по ней великое множество: Агишево село торговое, по четвергам базар собирался, татары лавки держали, скупали шерсть, овчины, продавали каракуль, аж из Средней Азии везли. Через Агишево проходил знаменитый богомольный тракт на Саров, через Муромские леса; не только сирые да убогие – царь с царицей, говорят, ходили по этому тракту пешком в Саров богу молиться.

Андрей Иванович свернул с дороги и поехал лугами. Заречная сторона была воровской вотчиной Жадова; здесь на дороге не ты его, а он тебя скорее высмотрит. Жадов в одиночку не промышляет, у него связи, сотоварищи. Против Ивана Жадова в открытую не пойдешь – вывернется, а то тебя же и под монастырь подведет. Неужто Жадов поднял на него руку?

Бородины и Жадовы жили на одном переулке напротив друг друга. Иван Бородин, государственный астраханский лоцман, еще в конце прошлого века взял с собой матросом Корнея Жадова, отца Ивана, и довел его до дела. Корней ходил боцманом сперва на Каспии, потом на Черном море. Там, в Одессе, и ребята его выросли, там и воровству обучались. Ванька Жадов появился в Тиханове уже матерым вором; коренастый, короткошей, с длинными, оплечь, темно-русскими волосами, с бойкими зелеными глазами, он быстро прославился в округе под кличкой «Матрос». Короткий морской бушлат да брюки клеш не снимал он ни зимой ни летом. Из Пугасова, со станции, ехал на тройке цугом; возле церкви тройку отпустил, хорошо расплатился. И без багажа в длинной шубе, – видно, с чужого плеча – полы по мартовским навозным лужам волочились – мех кипенно-белый, козий, верх драп-кастор блестит, воротник шалевый, бобровый! А под шубой бушлат, брюки клеш и грудь нараспашку... Идет по селу и в лужи деньги медные бросает. А пацаны за, ним так и выются, как грачи за сохой: деньги – в драку, нарасхват. А Жадов идет и посмеивается. В Тиханове жил мирно, но пропадал месяцами. Говорили, у него в Кадоме да в Торпилове притоны были. Говорили, будто он тихановских мужиков по ночам с подводами выгонял на свои воровские набеги... Но открытых обвинений против него не было. А слухи есть слухи.

Андрей Иванович теперь ехал с надеждой к Васе Белоногому – тот не любил Жадова. Вася был вор – забавник, артист, заводила и гуляка. Однажды в праздник на Деминой мельнице он выиграл в карты у Жадова ту знаменитую шубу и тут же пустил ее на пропой. Мужиков много собралось. Трактирщик Огарев дал за нее три четверти водки и живого барана пригнал. Вася говорит: «Барана не трогать. Дарю его тому, кто внесет на мельницу враз два мешка ржи». Перед мельницей подводы стояли. Федот, сын деда Вани, за живого барана пупок надорвать готов; подошел к селям, взвалил два мешка на хребтину, пошел враскорячку, в землю глядя... Дошел до помоста, ногу занес на ступеньку – и мешки разъехались. Смеются мужики: «Федот, ты их чересседельником свяжи да сядь на них верхом! Авось въедешь».

Вася поглядывает на Жадова, тот на него, и как-то уробно по-жеребьячи похохатывают. Вот Жадов подходит к селям, берет по мешку под мышки, как поросят, – и пошел, только ступеньки заскрипели. Бросил их к жернову, обернулся –

красный весь: «Вот как носят мешки-то!» – «Нет, не так, – сказал Вася. Вразвалочку подошел к саням, сграбастал своими ручищами мешки за чуприну и понес их на весу, перед собой, как щенков. – Вот как их носят!»

Ехал Андрей Иванович по лугам, по вольному разнотравью, минуя округлые липовые рощицы, огибая длинные извилистые озера-старицы, обросшие еще по-весеннему кружевным, в сережках, салатного цвета раkitником, да иссиня-темными стенками податливого на ветру, шелестящего камыша. И с каждого холма открывалось ему неохватное пространство, зовущее через эти светлые пологие увалы к дальнему лесному горизонту, где мягко и сине, откуда веет дремотным небесным покоем. И так далеки были эти леса, так зыбки их очертания, что, казалось, три года скачи туда – не доскачешь.

Андрей Иванович ехал неторопко, опустив поводья. Травостой был густой, упругий и довольно высокий – даже на холмах лошадиная бабка в траве скрывалась, а в ложине, где тимофеевка и костер уже выходили в трубку, трава доставала лошади почти до брюха. Да и пора уж – в Вознесение галка в озимях прячется. «Природа свое берет, – думал Андрей Иванович. – Вон как в низинах расплескалась купальница – прямо золотое половодье. Значит, к теплу, и небо было густой синевы, по-летнему убранное разрозненными, крепко сбитыми грудастыми облаками».

А сколько птицы здесь, сколько живности!.. Над заболоченными низинами кружились чибисы; завидя конного, они ревниво, издали, встречали его, суматошно, с пронзительным криком. «Чьи вы? Чьи вы?» – носились вокруг и дергались на лету, будто обрывали какие-то невидимые нитки. Утки хоронились в камышах и только мягко, шипуче как-то и не крякали, а шваркали: «Шваррк-шваррк...» Изредка от озерной береговой кромки отрывались пестрые кулики-перевозчики и с громким торопливым криком: «Перевези! Перевези! Перевези!..» – стремительно улетали низко над водой. А от бочажин, зарастающих непролазным тальником да осокой, далеко на всю округу заливались соловьи, да жирно, утробно квакали лягушки: «Куввак-ка-как! Куввак-какак!», да отрешенно, загадочно и тоскливо на одной ноте кричали бычки: «Бу-у! Бу-у! Бу-у!» Будто кто-то задувал там, в болоте, в пустую огромную бутылку и прислушивался: «Бу-у! Бу-у!»

Любил Андрей Иванович луга. Это где еще на свете имеется такой же вот божий дар? Чтоб не пахать и не сеять, а время подойдет – выехать всем миром, как на праздник, в эти мягкие гривы да друг перед дружкой, играючи косой, одному за неделю намахать духовитого сена на всю зиму скотине... Двадцать пять! Тридцать возов! И каждый воз, что сарай, – навьют, деревья не достанешь. Если и ниспослана русскому мужику благодать божья, то вот она, здесь, перед ним, расстилается во все стороны – глазом не охватишь.

В Агишево въехал он в проулок со стороны мечети. Как раз напротив жил Вася Белоногий со своей Юзей, квартиру снимал. При въезде в село Андрею Ивановичу встретились три тройки, они взялись легко, точно птицы снялись от мечети, и со звоном, с гиканьем, с пронзительными переливами татарской гармошки понеслись из села; кони в лентах, тарантасы черные, хорошейковки... Невеста в белом платье, в цветах, провожатые в пестрых, ярких платках, в тубетейках... Только их и видели... «Хоть и нехристи, а свадьбы справляют по-людски, красиво», – подумал Андрей Иванович.

Вася Белоногий доводился троюродным братом Надежде Бородиной. Хоть и дальняя родня, но Белоногий заезжал к ним запросто; в базарный день, будучи в

Тиханове, располагался у них как дома. Зачем на базар приезжал? А кто его знает. Ничего не продавал, не покупал... Но целый день по рядам ходил, говорил: оптовую торговлю ведет, от селькова. У Надежды не раз ее лекарства записывал: «Ты чем это мажешь голову ребенку?» – «Сера горючая, да купорос медный, да сливочное масло... Перетолкла да смешала... Вот и мазь». – «Помогает?» – «Как рукой снимает». – «Надо записать, Юзе пригодится». Юзя его фельдшером работала, татар лечила. Какие-то курсы окончила.

Привез он ее из Средней Азии в Большие Бочаги. А у него там жила прежняя жена, Катя, у Надеждиной матери оставил. «Крестная, ты отправь Котенка (это он Катю так звал). Я с ней жить не буду». – «Куда ж ее отправить?» – «Куда захочет. Вот ей деньги на дорогу».

Жил он беззаботно и легко, как ворон в чистом поле, – ни гнезда, ни детей. Ноне там поклевал, завтра туда полетел. В родном селе, в Больших Бочагах, появился он с этапом арестантов – бритый, в армяке. Гнали их откуда-то из Астрахани, в тюрьму по месту жительства. Признал его дед Ваня: «Племянничек, дорогой! Мамушка моя, туды ее в тютельку мать! Ай это ты?» – «Я, дядя. Возьми на поруки, я исправлюсь». Время было революционное – семнадцатый год. Каждому человеку верили. Взял дед Ваня племянничка. Да кому же другому брать? Отец Васи жил где-то в Средней Азии. От него ни слуху ни духу. Обули, одели Васю. Он до зимы жил у Деминых, на мельнице работал. А зимой по родителю, говорит, затосковал. «Везите меня на станцию! В Азию поеду». До Пугасова его не довезли. Доехали до Почкова – сам слез. Дальше, говорит, я доберусь своим ходом... И добрался...

Ночью приехал с дружками в Большие Бочаги и обчистил амбар у Деминых. И сундук, и хлеб... Все под метелку увезли. Те утром хватились – амбар взломан. А на пороге рукавица Васина валяется. Из тюремного армяка сшитая: полы отрезали да сшили рукавицы. Он ее и оставил на память. Распороли рукавицу, приставили к армяку – как раз подошлась. Ах, стервец! Ах, оторвяжник!

Кинулись за ним в погоню, в Пугасово. Да разве его словишь?

Через три года он вернулся в Бочаги и сам рассказывал Деминым: «Вы сунулись, на меня иск предъявили... А я в это время в чайной на базаре сидел. Пришел милиционер и говорит: «Уматывай отсюда. Тебя ищут». Ну, я шапку в охапку, заулками да задами пробрался на станцию и – Митькой меня звали... Я был чист – зерно в Почкове мельнику продал, барахло в притон пугасовский свалили. А приставу шелковый отрез подарил, на рубаху... Чтоб не домогался...»

Сидит у них за столом, ест-пьет и над ними же измывается. «Эх, кабы сладил... так и вкатался бы в его нечесаную башку», – ярился Федот про себя. Но вслух только фыркал, как кот, и не чокался с Васей. А дед Ваня угощал... «Пей, жулик! Мамушка моя, туды ее в тютельку мать. Ты меня обокрал, ты ж ко мне и за милостыней пришел. Сказано: что бог даст, того человек не отымет. Так-то, мамушка моя. Я не обеднял, да и ты не разбогател».

Нельзя сказать, чтобы Васю совесть прошибла и он изменил своей воровской привычке – брать, что лежит поближе, просто умнее с годами стал: зачем красть, когда само в руки дается?

В двадцать четвертом году в Гордееве создали две артели штукатуров и каменщиков, а Вася Белоногий подрядчиком нанялся к ним. Лучшего ходока да знатока всей округи и не найти. Он знал не только, что и кому построить надо, но и то, кто куда бежит, да что у кого лежит, и что с кого взять можно.

Однажды в Лугмозе проигрался; ехать домой – ни овса лошади в дорогу, ни харчу самому. Завернул в Починки, остановился у богатой избы. Вошел: мужик в поле, баба на дворе хлопочет. В годах хозяйка, плат по самые брови повязан и лицом темна да нелюдима. «Хозяйка, – говорит Вася, – я лекарь выездной. Роды в Лугмозе принимал. Ну, мне там и шепнули, будто у вас бабы есть – годами бьются, сохнут, а рожать не могут. У меня средство есть верное... Помогает забрюхатеть». – «Что за средство?» – «Палочка наговоренная», – показал он ей ореховую палку (в лесу вырезал). – Да порошок аптекарский». Он вынул из кармана кисет с табаком и повертел его перед глазами. Кисет цветной, шелковый, поди узнай, что там за порошок? У бабы инда глаза заблестели: «Есть у нас такие женки, есть, родимый. Позвать, что ли?» – «Погоди! Дай мне котелок или чайник медный. Да треногу, ну – козлы. Я в огороде у вас снадобье готовить буду. Ко мне не подходить... Я сам позову, когда нужно, или выйду. Пусть все бабы в избе сидят и ждут. Да, скажи им еще вот что: деньгами я не беру. Деньги плодовитость убивают. Пусть несут яйца, масло... Овес можно».

Баб набежало – полна изба. Он появился перед ними в лекарском облачении: на голову натянул белый носовой платок – узелками завязал углы – шапочка получилась, попону приладил спереди, что твой фартук! И рукава на рубаше засучил по локоть. В одной руке котелок с табачным отваром, в другой руке белая палочка. «Ну, подходите по одной... Буду принимать в чулане». Отвар наливал кому в пузырек, кому в банку или в кружку. А казанком указательного пальца отмерял палочку: «Тебе сколько лет?» – «Тридцать пять». – «Вот тебе три с половиной казанка. А тебе сколько?» – «Мне сорок». – «Так. Четыре казанка. Раздели на семь равных частей и отваривай палочку в самоваре. Пить семь дней подряд. А этот отвар в чай добавлять». Натащили ему и яиц, и масла, и овса... Весь котелок табачного отвара розлил... А палки не хватило. Так он половину кнутовища отхватил да изрезал бабам.

Через три года, будучи уполномоченным селькова, он ездил в Починки на пристань отгружать плуги и сеялки да заглянул к той хозяйке. Она признала его. «Ой, родимый, ведь помогло! – встретила его радостно. – Одна двойню родила, а другая на сорок третьем году разрешилась!»

Андрей Иванович застал Белоногого дома. Тот сидел за столом в тельнике, брился.

– Ого, вот это гость! Каким ветром тебя занесло? Ноне вроде бы не базар. – Вася широкими смелыми взмахами снял мыльную пену с лица, как утерся, и подал Андрею Ивановичу руку. – Да ты какой-то зеленый. Не заболел, случаем?

– Вторые сутки не сплю. Кобылу у меня угнали. – Андрей Иванович снял заплечный мешок и начал развязывать узел.

– Кто угнал? Откуда? – Вася подошел к рукомойнику и стал смывать лицо.

– С лугов угнали, – Андрей Иванович вынул из мешка логун с медовухой и поставил его на стол. – Вот, Иван Дементьевич воронка тебе прислал.

Вася с минуту глядел на логун с воронком, на Андрея Ивановича и молча вытирал шею, лицо и голову. У него все было обрито, кроме темных широких бровей: и лицо, и шея, и голова стали теперь красными по сравнению с темными узловатыми ручищами и косматой грудью, выпиравшей из тельника.

– Не пойму я что-то: с какой же стати ты ко мне пожаловал? – изрек наконец Вася.

Андрей Иванович снял кепку, по-хозяйски повесил ее на вешалку у двери, расчесал свои черные, без единой сединки, волнистые волосы, усы оправил перед

висячим круглым зеркалом и прошел к столу:

– Проголодался я, Василий Артемьевич. Со вчерашнего обеда не жрамши.

– Сейчас я позову Юзю. – Белоногий отворил дверь и крикнул в сени: – Юзя! Зайди на минутку!

Во второй половине избы находился фельдшерский пункт.

– Сейчас состряпаем насчет поесть.

Вася надел черного сукна милицейскую гимнастерку, подпоясался кавказским ремешком с серебряными бляшками да с затейливыми висюльками вроде кинжальчиков. По избе прошелся – широченный, в высоких опойковых сапогах, в галифе... Командир! Остановился перед Андреем Ивановичем, на носках качнулся:

– Ну, давай начистоту. На меня думаешь или на моих приятелей?

– Кабы на тебя думал – не приехал бы. Посоветоваться к тебе... А проще сказать – за помощью.

– Это другой коленкор. – Вася тоже присел к столу.

Вошла Юзя, не то татарка, не то узбечка – маленькая, аккуратно затянутая в белый халатик, в белом чепце с красным крестиком, мелкие косы, как длинные ременные кнуты с красными лентами на Концах, спадали на плечи и на спину, вся такая верткая, быстрая...

– Андрей Иванович в гости заезжал! А я с тобой ничего не знал. Сейчас яичницу жарить будем. Сыр есть, колбасу есть...

Она захлопотала вокруг стола: подала тарелку соленых огурцов, желтых и крупных, как поросята, стопку пресных татарских лепешек из пшеничной муки, нарезала темной и сухой конской колбасы да сыру домашнего, плоского, как слоеный пирог, острого и соленого.

– Кушайте! Сейчас яичницу наварю.

Она разожгла керосинку, поставила сковородку на нее и упорхнула:

– Меня люди ждут.

Вася налил в стаканы медовуху:

– Ну, что там за воронок дядюшка намешал? – чокнулся стаканом. – Поехали!

Воронок был хоть и нагретым, но терпким, с хмельной горчинкой, с легким пощипыванием на губах, как настойная брага.

– Вот старый дятел! А неплохое хлебово сотворил, а? – похвалил Вася. – Давай еще по одной дернем?!

Они выпили еще по стакану.

– Ну, что у тебя случилось? Говори подробней, – сказал Вася.

– Да какие подробности. Пошел в луга за кобылой – проса ломать. А кобылу – поминай как звали.

– Рыжую? – Вася вскинул голову.

– Ее.

– Хороший кусок кто-то у тебя отхватил.

– Может, и подавится этим куском. Я его и под землей найду! – вспыхнул Андрей Иванович и засверкал глазами. – И вырву этот кусок вместе с зубами.

Вася как бы с удивлением глянул на Бородину – мужик как мужик: благообразный, с холеными усами, с узким, иконописного овала лицом; вельветовая тужурка на нем, хоть и потертая, но еще аккуратная, щегольская, с накладными карманами и даже с серебряной цепочкой от часов. Лаптей не видно – под столом. Сверху глянешь – учитель... И вдруг такая темная животная ярость?

– Вот что она делает с человеком, эта частная собственность... – Вася покачал головой. – Правильно сказал Карла Маркс – эту частную собственность надо под корень рубить.

– А ты что, Маркса читал? – усмехнулся Андрей Иванович.

– Я Маркса не читал, но вполне с ним согласный.

– Ты-то чего поднимаешь хвост на частную собственность? Не будет частной собственности – и твоим приятелям-ворам делать нечего! – задетый за живое, вспыхнул Андрей Иванович.

– Как так нечего? – удивился опять Вася. – Вор себе работы всегда найдет: частной собственности не будет, общественная появится. А эту самую общественную собственность красть удобнее: во-первых, она всегда под рукой, а во-вторых, ты ничем не рискуешь, никого не обижаешь и никакой к тебе злобы. Ну, попался... Так все по закону – получил статью и поезжай на отдых, на заслуженный. А частную тронешь – того и гляди пулю получишь еще до статьи. А сколько злобы. Нет, я против частной собственности... Надо с ней кончать.

– Ну тебя к лешему! Я было рот разинул – думал, ты что-то дельное скажешь. А ты с побасенками своими.

Вошла Юзя, протопала, как козочка, своими сапожками, поставила на стол жаровню с яичницей и вылетела.

Вася налил еще по стакану воронка. Выпили.

– Я тебе к чему эту уразу развел, – Вася лениво ковырнул вилкой яичницу, пожевал. – Прикроют наш сельков, наверно.

– Почему?

– Инвентарь не дают, счета позакрыли. Раньше мы одних сеялок по пять, по шесть десятков мужикам распродавали, по пять молотилок, по тридцать – сорок веялок... А плугов не считали. Каждый бери: кому за наличные, кому по векселю... А теперь баста! Никаких векселей. Единоличник – нет тебе ни хрена. Чуешь, куда дело клонит?

– Куда?

– В колхозы! Весь инвентарь туда попер... И вы скоро туда загремите.

– Э-э, нас уже десять лет колхозами пугают, – отмахнулся Андрей Иванович. – Да вон у нас в Тиханове есть две артели, кирпич бьют, дома строят, торгуют. Неплохо устроились.

– То артели, а то колхозы. Разница, голова! Ты читал о всеобщей коллективизации? Резолюцию Пятнадцатого съезда?

– Читал. Но там сказано – строго на добровольных началах. Так что все по закону: кто хочет, ступай в колхоз, а нет – работай в своем хозяйстве. Надо обогащаться, на ноги страну подымать. Что говорили на Пятнадцатом съезде?

– Это, брат, не на Пятнадцатом съезде. Это года три-четыре назад. А теперь вон всю весну поливают в «Правде» твоих обогатителей. Просто их деревенская политика устарела. Вот тебе и обогащайтесь.

– Это все разговоры. Мало ли кого поливают. Решений пока нет, значит, все остается по-старому.

– Да пойми ты, голова два уха! – Вася подался грудью на стол и заговорил тише: – У меня тут ночевал друг, начальник милиции из Елатьмы. На оперативную выезжал. Воров ловили... Разговорились с ним. Он говорит, что осенью на пленуме решение принято о ликвидации кулаков как класса.

– А я не кулак. Мне-то что? – отмахнулся Андрей Иванович.

– Ты не кулак, а дурак... – оборвал его с досадой Вася. – Эта ликвидация, как поясняют, будет заодно с коллективизацией проводиться, понял? У них в районе три семьи уже раскулачили, правда, за укрытие хлебных излишков. А тем, кто показали насчет хлеба, двадцать пять процентов от конфискованного дали.

– В нашем районе такого веселья не слыхал.

– Лиха беда начало. Я тебе к чему это рассказываю? Зря ты убиваешься из-за лошади. Поверь мне, время подойдет – сам отведешь ее за милую душу.

– Спасибо на добром слове. Но я двадцать верст трюхал сюда не за утешением. Мне сказали, что кобылу мою угнали сюда. И даже кто угнал известно.

– Кто же?

– Иван Жадов.

– Жадов! Угнал у тебя?! Ах какой сукин сын! У соседа лошадь угнать!.. Мерзавец. – Вася поиграл своими разлапистыми бровями. – Иван – вор серьезный. Его трудно с поличным поймать.

– Ну, ты меня знаешь... Я в долгу не останусь.

– Дык ты что хочешь, чтоб я его и накрыл?

– Нет! – Андрей Иванович схватил Васю за руку и, тиская его горячими пальцами, торопливо заговорил: – Ты только место укажи... Найди его притон и лошадь... И мне скажешь... Я сам с ним посчитаюсь, – брови его свелись к переносице, глаза жарко заблестели.

Вася с грустью поглядел на него:

– А ты знаешь, Иван два нагана при себе носит? И спит с ними...

– Это хорошо... Я разбужу его. А там поглядим, кто кого... Мне и одного ствола хватит.

Вася откинулся к стенке, прищурил свои серые навывкате глаза, оценивающе глядел на сухого, поджарого, как борзая, Андрея Ивановича.

– Ну что ж, будь по-твоему, – наконец сказал Вася. – Слышал я, что ты за стрелок, слыхал. Покажи-ка, сколько времени?

Андрей Иванович вынул в серебряном корпусе карманные часы «Павел Буре», открыл крышку.

– Ну-ка! – Вася взял часы, глянул на золотые стрелки; было половина одиннадцатого. Потом стал читать вслух затейливую надпись на полированной серебряной крышке: – «За глазомер. Андрею Бородину. Рядовому пятой роты, семьдесят второго Тульского пехотного полка...» В каком же году получил ты этот приз?

– В девятьсот десятом.

– Да... На двух войнах побывал... Сколько же человек ты уложил?

– Война не охота. Там не хвалятся – сколько уток настрелял, – сухо ответил Андрей Иванович, забирая часы. – Не обессудь, но часы отдать не могу. Память!

– Да об чем речь?... Сойдемся, – скривился Вася. – Ладно... Помогу я тебе.

И они выпили за успех.

## 2

Надежда Бородина росла невезучей. В детстве болезни ее мучили: то корь, то скарлатина, то ревматизм... На самую масленицу опухло у нее горло. Говорить перестала – сипит и задыхается. Пришла баба Груша-Царица.

– Ну что с девкой делать, сестрица? – спрашивает ее мать Василиса.

Царица – баба решительная и на руку скорая:



– Да что? Давай-ка ей проткнем нарыв-то.

– Чем ты его проткнешь?

– Вот невидаль! Палец обвяжу полотном, в соль обмакну, чтоб заразу съело, да и суну ей, в горло-то.

– Ну что ж. Иного выхода нет. Давай попробуем.

– А я вот тебе гостинец в рот положу. Только рот разевай пошире да глотай скорее, не то улетит, – ворковала девочке Царица.

Пока она обматывала чистой тряпицей свой толстенный палец, Надежда с бойким любопытством зыркала на нее глазенками: что, мол, за гостинец такой в этой обертке? Но когда баба Груша, умакнув палец в соль, сказала: «Теперь закрой глаза и разевай рот шире, не то гостинец в зубах застрянет и улетит», – Надежда отчаянно замотала головой и засипела.

– А ты нишкни, дитяtko, нишкни! Василиса, ну-к, разведи ей зубы-то! Та-ак... Счас я тебе сласть вложу, счас облизнешься... Та-ак... Ай-я-яй! – заорала вдруг басом Царица. – Пусти, дьяволенок! Палец откусишь... Палец-то! Ай-я-яй!

Она вырвала наконец изо рта у Надежки свой обмотанный палец и затрясла рукой, причитая:

– Волчонок ты, а не ребенок. Дура ты зубастая. Я ж тебе пособить от болезни, а ты кусаться... Вон, аж чернота появилась, – заглянула она под обмотку. – Я больше к ней в рот не полезу. Вези ее в больницу!

Повезли в больницу. Везде сугробы непролазные, раскаты на дороге. Ехать до земской больницы – двенадцать верст. Вот до Сергачева не доехали – сани под уклон пошли, а там, на дне оврага, раскат здоровенный. Лошадь понеслась, сани раскатились да в отбой – хлоп! Мать Василиса на вожжах удержалась, а Надежку вон куда выкинуло – голова в сугробе торчит, ноги поверху болтаются. Вытащила ее из сугроба, а у нее дрянь изо рта хлынула – прорвало нарыв от удара. Вот и вылечилась... Домой поехали.

В школе хорошо училась. Что читать, что писать, а уж басни Крылова декламировать: «Что волки жадны, всякий знает» или «Буря мглою небо кроет...» – лучше ее и не было. При самых важных посетителях выкликала ее учительница. Ни попа, ни инспектора – никого не боялась. А по закону божию не только все молитвы чеканила, Псалтырь бойко читала и на клиросе пела. Поп, отец Семен, говорил, бывало, Василисе:

– Ну, Алексевна, Надежку в Кусмор отвезу, в реальное училище. В пансион сдам. Быть ей учительницей...

Вот тебе, накануне окончания школы на Крещение ездил отец Семен с псаломщиком в соседнее село Борки на водосвятие. Ну и насветились... Псаломщик уснул прямо за столом у лавочника. Трясли его, трясли, так и бросили. А отец Семен поехал поздно... Поднялась метель, лошадь с дороги сбилась... Ушла аж в одоньи свистуновские, да всю ночь возле сарая простояла, в закутке. А отец Семен в санях спал. Наутро нашли его чуть живого... Так и помер.

Сорвалось у нее с училищем. Хотел отец ее забрать в Батум. Он там в боцманах ходил. Договорился устроить ее в коммерческую школу. Но тут в девятьсот пятом году революция случилась. Отец как в воду канул. Два года от него ни слуху ни духу. Приехал в девятьсот седьмом году зимой, накануне масленицы. Привезла его из Пугасова тройка, цугом запряженная. С колокольцами. Ну, бурлак приехал! В сумерках дело было... Вошел он в дом – шуба на нем черным сукном крыта, воротник

серый, смушковый, шапка гоголем – под потолок.

– Ну, кого вам надо, золотца или молодца? – спросил от порога.

А бабка-упокойница с печки ему:

– Эх, дитяtko, был бы молодец, а золотец найдется.

– Тогда принимайте, – он распахнул шубу, вынул четверть водки и поставил ее на стол. – Зовите, – говорит, – Филиппа Евдокимовича, – а потом жене: – Василиса, у тебя деньги мелкие есть?

– Есть, есть.

– Расплатись с извозчиком.

– Батюшки мои! – шепчет бабка. – У него и деньги-то одни крупные.

А потом стали багаж вносить... Все саквояжи да корзины – белые, хрустят с мороза. Двадцать четыре места насчитали.

– Ну, дитяtko мое, – говорит бабка Надежке, – теперь не токмо что тебе, детям и внукам твоим носить не переносить. Добра-то, добра!..

А хозяин и не глядит на добро. Сели за стол вдвоем с Филиппом Евдокимычем, это муж Царицы, слесарь сормовский, да всю четверть и выпили. Уснул под утро... Стали открывать саквояжи да корзины... Ну, господи благослови! А там, что ни откроют, – одни книги. Да запрещенные! Он всю ячейную библиотеку вывез. Уж эти книги и в баню, и в застрехи, и на чердак... Совали их да прятали от греха подальше.

Так и «улыбнулось» Надежкино учение. На какие шиши учиться-то? Если у самого хозяина за извозчика нечем расплатиться. Да и время ушло – впереди замужество.

Вроде бы и повезло ей с мужем: высокий да кудрявый и в обхождении легкий – не матерится, не пьянствует. Но вот беда – непоседливый. Не успели свадьбу сыграть, укатил на пароходы. И осталась она ни вдова, ни мужняя жена, да еще в чужой семье, многолюдной.

А на свадьбе счастливой была. Свадьбу играли – денег не жалели. Отец быка трехгодовалого зарезал. А Бородины хор певчих нанимали. Служба шла при всем свете – большое паникадило зажигали. Как ударили величальную – «Исайя, ликуй», – свечи заморгали. Попов на дом приглашали. От церкви до дома целой процессией шли, что твой крестный ход: впереди священник в ризах с золотым крестом, за ним молодые, над их головами венцы шаферы несут, дьякон сбоку топает с певчими.

– Да ниспошлет господь блаженство человеку домовиту-у-у, – провозглашает священник поначалу скороговоркой, а в конец певуче-дребезжащим тенорком.

– А-асподь бла-а-аженство, – ухает басом дьякон, как из колодца, только пар изо рта клубами.

– Че-ло-ве-ку до-мо-ви-ту-у-у, – речитативом подхватывает хор, разливается на всю улицу.

Но священник не дает упасть, замереть последней ноте, и поспешно, наставительно звучит снова его надтреснутый тенорок:

– Иже изыди купно утро няти делатели в виноград сво-о-ой!

Надежда не понимает, что значит «утро няти делатели в виноград свой». Но ей хорошо, сердце обмирает от приобщения к какой-то высокой и непостижимой тайне.

А народ валом валит, и за молодыми хвостом тянется, и по сторонам стеной стоит. Надежда ловит быстрый шепот да пересуды:

– Щеки-то, будто свеклой натерты...

– Да у нее веки вроде припухлые. Плакала, что ли?

- Чего плакать? От радости, поди, скулит. Вон какого молодца окрутили!
- Говорят, она колдовского роду... Видишь, прищуркой смотрит...
- Бочажина... Все они из болота, все колдуны...

А уж гуляли-то, гуляли. Три дня дым стоял коромыслом. А на четвертый день собрались опохмелиться; пришла баба Стеня-Колобок, Митрия Бородина жена, про нее говорили: что вдоль, что поперек; и загремела, как таратайка:

– Татьяна! Максим! Наталья! Чего нос повесили? Иль не знаете, что с похмелья делают? Вот вам лекарство! – хлоп на стол бутылку русско-горькой...

Максим поставил вторую:

– Эх, пила девица, кутила, у ней денег не хватило!

И понеслось по второму кругу:

- Зови Ереминых!
- Дядю Петру кликни!
- Евсея не забудьте!
- А Макаревну, Макаревну-то!
- Поехали в Бочаги!

Собрались на пяти подводах. А долго ли? Лошади на дворе стояли. Взяли водки три четверти, два каравая ситного да калачей – к Нуждецким в калашную сбегали да колбасы взяли у Пашки Долбача и понеслись.

Приезжают в Бочаги к Обуховым – целый обоз. Василиса выглянула в окно, так и обомлела:

– Ба-атюшки мои! Чем их поить да угощать?

Она как раз белье стирала после трехдневной гулянки.

– Не горюй, сваха! Не хлопочи! У нас все есть!

Четвертя на стол – грох! Колбасу, калачи ситные... Гору навалили.

Ну, хозяйка свинины нарезала, яичницу сотворила, огурцы, капуста... И давай гулять по второму кругу.

И-эх, прощай, радость, жизнь моя.

Знаю – едешь от меня...

Нам должно с тобой расстаться.

Ой, расстаться навсегда.

Ой, чтой-то сделалось, случилось

Да над тобой, хороший мой?

Глаза серые, веселые

На свет больше не глядят...

Да разуста твои прелестные

Про любовь не говорят...

За столом пели, пели...

– А ну, пошли по селу?!

– Дак четвертый день... Вроде бы неудобно?

– Неудобно днем вору воровать, так он ночью крадет. А мы что, воры, что ли?

Пошли!

Вывалили всей кумпанией:

Эх, что кому до нас,

Когда праздник у нас?

Мы зароемся в соломушку —

Не найдут нас.

А было это на Седмицу сырную... Масленица! И впрямь праздник. Вот тебе, едут по селу горшечники. Две подводы – полные сани с горшками. А Степанида-Колобок да Макарьевна горшками в Тиханове торговали, оптом скупали их. Ну, им все горшечники знакомые. Вот Степанида подбегает к горшечнику:

– Тимофей, на сколь у тебя горшков-то в повозке?

– На четыре рубля.

– Беру все твои горшки.

– Мелех, а у тебя на сколько?

– У меня на три рубля.

– Плачу за все! А ну, открывай возы! Снимай брезент! Бабы, мужики, навались, пока видно!

Она первой выхватила два горшка, подняла их над головой и – трах! Вдребезги.

– Бей горшки на глину!..

– За счастье новобрачных!

И давай пулять горшками. Поставят их вдоль дороги, как казанки в кону.

– А ну, сколько сшибешь одним махом?

– Какой у него мах? Он на ногах не стоит. Задницей, может, ишшо раздавит...

– Я не стою на ногах? Я?!

– Держите его, а то он морду об каланцы разобьет!

– Кому в морду? Мне? Да я вас...

– Что, кулак чешется? Ты вон об горшки его, об горшки...

– Расшибу!

Трррах! Трах-та-тах... Брр!

Так вот отгуляли свадьбу, и уехал он, как в песне той поется: «Нам должно с тобой расстаться». Два года на пароходах да четыре на войне... Она уж и забывать его стала.

– Ну что ж, в любви не повезло – в деле свое возьму.

Перед самой войной прислал он ей денег – сто семьдесят рублей. Она и пустила их в дело. За пятнадцать рублей место купила на тихановском базаре – полок деревянный. В Москву съездила за товаром. Два саквояжа мелочи привезла: чулки, да блузки, да платки. Но больше все шарфы газовые, как развесила их на полки: голубые, да зеленые, да желтые. На ветру вьются, как воздушные шары, – того и гляди – улетят. Куда тут! Полбазара на поглядку сбежалось.

– Нет, она колдунья. Смотри, к ней толпой валят покупатели. Это их шишиги толкают. Ей-богу, правда! Вот бочажина!

Из галантереи – мелочь серебряная хорошо шла: брошки, перстеньки, сережки. Особенно крестики брали. Война! Ну и пугачи с пробками. Бывало, не успеет в Агишево путем въехать, как ее окружают татарчата:

– Пробкам есть?

– Есть, есть.

Тысячами продавала. Пальба по базару пойдет, как на охоте.

Свекровь видит – вольную взяла баба... Ну к ней:

– Деньги с выручки в семью!

– Нет, шалишь! Я и так за двух мужиков ургучу.

Митревна каждое лето брюхата (это сноха старшая). Она и в войну ухитрялась родить. К мужу ездила. Он на интендантских складах служил. А Настенку, вторую сноху, чахотка бьет.

– Кто пашет, кто косит, кто стога мечет? Я! Так вам еще и деньги мои подай. Дудки! Дураков нет!

Надежда упряма, но свекровь хитра:

– Ладно, девка, торгуй, если оборот умеешь держать... Только возьми меня в пай!

– Давай!

Поехали они в Пугасово на двух подводах. Купили две бочки рыбы мороженой: судак, лещ, сазан. Свекровь встретила на станции тихановского трактирщика, напилась в чайной водочки:

– Ты, эта, девка, поезжай с Авдюшкой. А я тут шерсть приглядела... – глаза черные, так и бегают. Ну цыганка! – Я, эта, с трактирщиком ладиться буду...

Какое там ладиться! Не успела Надежда лошадей покормить, как свекровь с трактирщиком в санках домой укатила.

Ну, поехали они с рыбой на ночь глядя. Дорога дальняя – тридцать верст, да раскат за раскатом... Авдей парень неуклюжий, сырой... Шестнадцать лет, а он лошадь запрячь путем не умеет. Вперед его пустишь – дорогу путает. Сзади оставишь – в ухабы заваливается, постоянно останавливать приходится, бежать к нему, сани оправлять. Под Любишином загнал в такой раскат, что и сани опрокинулись, и лошадь из оглоблей вывернуло. Она к саням побежала, уперлась в бочку... Да разве ей поднять? В бочке пудов двадцать.

– Авдей! – кричит. – На вот веревку, держи концы! Я захлестну ее за головашки саней да бочку буду поддерживать. А ты привяжи за лошадь и выводи ее на дорогу.

Сопит... И что-то подозрительно долго привязать не может.

– Ты за что привязываешь веревку-то?

– За шею.

– Ты что, очумел, черт сопатый? Ты лошадь задушишь!

– А за чаво жа привязывать?

– За хомут, дурак! За гужи!..

Приехала домой за полночь, еле на ногах держится. А компаньонка ее уже на печи похрапывает. Наутро встали, свекровь за столом уж орудует. Самовар у нее кипит, пышек положила, кренделей. А сама глазами так и стрижет:

– Бабы, давайте чай пить, да за дровами езжайте!

– Я вчера наездилась, – сказала Надежда. – Спину так наломала, что не разогнусь.

– Ну что жа, – отозвалась Митревна. – Поедем мы с тобой, Авдюшка.

– Запряги им хоть лошадь, – проворчала свекровь.

Запрягла им лошадь Надежда честь честью, проводила. Вот тебе к обеду, смотрит в окно: батюшки мои! И лошадь в поводу ведут, и от дровней одни головашки тащатся.

– На пенек в лесу наехали... Ну и сани, того, расташшылись.

И пришлось Надежде со свекровью в ночь ехать, собирать и дрова и остатки от саней.

Прошел пост – и рыба испарилась. Когда ее продавали, где? Надежда и не видела. Ни рыбы, ни денег...

– Мама, а как же насчет выручки? – спросила Надежда.

– Какая вам выручка, черти полосатые? Вы пенсию получаете и ни копейки не даете!

Вы – это снохи. Митревна получала семь с полтиной – три на себя, как на солдатку, три на подростка Авдея да полтора рубля на младшего сынишку; Надежда

получала всего четыре с полтиной, мальчик жил у ее родителей, а Настасья – три рубля.

– Это на харч дают деньги. А вы их по карманам! – ворчит свекровь.

– Как на харч? Мы ж работаем. Все пай сами обрабатываем! Сколько ты овса продаешь? Сколько шерсти, масла? Две коровы у нас, двадцать овец? На варежки шерсти не даешь! Куда все это идет?

Ну, слово за слово... Распалились. А самовар кипел, завтракать собирались. Свекровь сорвала трубу с самовара, хлоп на него заглушку:

– Черти полосатые! Пенсию не даете – нет вам чаю! Где хотите, там и пейте.

И даже из избы ушла. Хлопнула в горнице дверь и заперлась.

– Вино пошла пить, – усмехнулась Настенка.

У свекрови стоял в горнице большой сундук с расхожим добром, и там, в углу, подглядели снохи, была всегда бутылка водки и кусок копченой колбасы – закусить. И стаканчик стоял. А ключи у нее висели на поясе и хоронились в объемистых складках темной, в белую горошину юбки. Войдет в горницу Татьяна Малахов на, громыхнет крышка сундука, потом – трень-брень: это стаканчик с бутылкой встретится, и забулькает успокоительная влага...

– Ну и черт с ней! – сказала Настенка. – Я домой пойду.

И Митревна засобиравалась к своим:

– Что жа, что жа... Я-петь найду чаю...

Ушла. Ей всего через дорогу перейти – свои. Настенка тоже тихановская. А что делать Надежде?

– Ладно, раз вы по домам, и я домой уйду. Но имейте в виду – я уж больше не вернусь. С меня хватит.

Собрала она в узел свои пожитки и через сад, задами, подалась в Бочаги.

Не выдержала свекровь, ударилась за ней, бежит по конопляникам:

– Надя-а! Надежда-а!

А Надежда идет себе и будто не слышит.

– Надя-а! Погоди-качь, погоди!

Остановилась та. Подбегает свекровь – дух еле переводя:

– Ты куда собралась-то, девка?

– Домой!

– Как домой? Твой дом здесь.

– Здесь я уже нажилась. Ухожу я от вас!

– Как уходишь? Весна подошла – сев на носу. А я что с ними насею?

– Да я вам что? И за сохой, и за бороной, и за кобылой вороной? А что коснется – и на варежки шерсти нет тебе...

– Да будет, девка, будет! Я, эта, шерсть вам всю развешу, всю как есть. Косцов найму, и стога смечут мужики. Ты уж давай домой... Ну, погорячились... Не в ноги ж тебе падать!..

– Сейчас я не могу, хоть заперите меня. Вот в Москву съезжу, там посмотрим.

Вернулась она через три дня из Москвы, а свекровь уже в Бочагах сидит, ее дожидает:

– Ты уж, эта, девка, товар-то можешь здесь оставить. А сами-то поедем. Вон и лошадь готова...

Приехали домой – принесла из кладовой мешок шерсти и снохам:

– Натe развешивайте!

– Бабы! – говорит Надежда. – Пока я здесь, берите. А то уеду – передумает и шерсть спрячет.

Так и отбилась от свекрови, завоевала себе вольный кредит. От свекрови отбилась – вот тебе свои родители подладились. Сперва отец:

– Давай я тебе помогу овес отвезти.

Ладно, дело стоящее. В Москве овес весной семнадцатого года был по 20 рублей за пуд, а в Тиханове – рубль двадцать копеек. Взяли они десять пудов. Насыпали корзину да два саквояжа. Привезли на станцию. В вагон садиться, а отец говорит:

– Куда с таким грузом? Опузыришься. Давай в багаж сдадим.

Принесли на весы. Весовщик взвесил и спрашивает:

– А что это у вас? (Зерно запрещалось возить.)

– Ну, что? Вещи!

– Уж больно тяжелые. Обождите, я сейчас! – И ушел за контролером.

Э-э, тут не зевай.

– А ну-ка, бери корзину! – говорит она отцу.

– Куда ее?

– В вагон тащи, куда ж еще?

В то время теплушки ходили, двери настежь, что твои ворота. И проводников нет. Он схватил корзину, она – саквояж. И сунули их в первый же вагон. Надежда залезла, отодвинула вещи в угол и посадила на них женщину с девочкой. Второй саквояж отдала отцу и говорит:

– Ступай в конец поезда и растворяйся там.

Билеты у них на руках, все в порядке. А сама осталась на платформе, похаживает, со стороны наблюдает. Вот прибегает весовщик, с ним контролеры в красных фуражках.

– Где багаж?

А его и след простыл. Они в ближние вагоны сунулись, ходят, смотрят... Ну где найдешь? Клеймо на них, что ли?

В Москву приехали, отец и говорит:

– Ты как хочешь... Вещи сама выноси. Я и в Пугасове довольно натерпелся.

– Э-э, вот ты какой помощничек!

Взяла она носильщика, заплатила ему десятку.

– Куда тебе нести?

– На извозчика.

Принес на извозчика.

– Куда везти?

– Овес нужен?

– Нужен.

– Вези домой!

Сладились по двадцать рублей за пуд. Отец поехал с извозчиком, а Надежда к знакомым, тихановским москвичам. Те в кондитерской работали и сахар продавали по пятьдесят копеек за фунт. А в Тиханове его оптом брали по три рубля за фунт, а на развес и по четыре рубля и по пять. Три пуда взяла сахару, загрузила оба саквояжа, хлопчет с этим сахаром. А отец получил деньги за овес и ходит по Москве, посовистывает.

– Папаша, а где деньги?

– Какие деньги? Ты сахар продашь, вот тебе и деньги. А мне за овес... Вместе



трудились...

– Вон ты какой тружельник!

На обратной дороге в Рязани контроль накрыл. Отец встал да на вокзал ушел. Надежда выставила свои саквояжи посреди вагона, а сама в уголок села. Один контролер перешагнул через саквояжи, второй споткнулся. Хвать за ручку – не поднять:

– Что тут, камни, что ли? Чьи вещи?

Молчание.

– Что там за вещи? – спрашивает начальник в военном.

– Да что-то подозрительно тяжелое. Где хозяин?

Нет хозяина.

– Забирай их, на вокзале проверим.

Тут Надежда из угла подает голос:

– Гражданин военный, мое дело постороннее, но только я вас предупреждаю – на них флотский матрос сидел. Он пошел обедать на вокзал. Просил поглядеть.

– Флотский? – военный почесал затылок и говорит: – Ладно, оставьте их.

Поехали!..

Так и возила она то сахар из Москвы, то из Нижнего купорос медный, да серу горючую – торговли на дубление овчин брали да на лекарства. Капитал сколотить мечтала да лавку открыть.

Не повезло, поздно надумала. Пришла вторая революция, и деньги лопнули. Тут лет пять торговали на хлеб. Куда его девать? Обожраться, что ли? Плюнула она на торговлю...

Вернулся муж с войны, отделились от семьи. Делились пять братьев – трое женатых да двое холостых. Кому избу, кому горницу, кому сруб на дом. Андрею Ивановичу выпал жребий на выдел: кобыла рыжая с упряжкой досталась, корова, три овцы, сарай молотильный да восемьдесят пудов хлеба. Одна овца успела объгнаться до раздела. Свекровь забрала ягненка.

– Что ж ты его от матери отымаешь? – сказала Надежда. – Или не жалко?

А Зиновий, младший деверь, в ответ ей:

– Ты вон какого сына у матери отняла, и то не жалеешь.

Построились. Пошло хозяйство силу набирать... И опять захлопотала Надежда, размечталась: «Коров разведем, сепаратор купим. Масло на станцию возить будем... А там свиной достанем английской породы! Загудим... Кормов хватит. Земли-то на семь едоков нарезано. И лугов сколько! Золотое дно... Только старайся». Да, видать, впрягли их, лебедя да рака, в одну повозку... Один в облака рвется, другой задом пятится.

– Пустая твоя голова! Ну, что ты связался с лошадьми? Вон, Евгений Егорович на коровах-то молзавод открыл. А ты что от лошадей, навозную фабрику откроешь?

– И то дело, – буркнет хозяин, а дальше и слушать не хочет.

С великим трудом убедила она его продать Белобокую кобылу на базаре в Троицу.

– Нагуляется она на лугах-то, справной будет, и лошади пока в цене, а коровы дешевые. Белобокую продадим, а корову купим. Ведь пять человек детей. Щадно с молоком живем...

Ну, убедила... И тут не повезло. Кобылу рыжую угнали! Куда ж теперь Белобокую продавать? На нее вся опора.

Когда Надежде утром сказали, из лугов вернувшись, что кобылы нет, она так и присела. Целый день все из рук валялось. Еще думалось, теплилось: авось найдет лошадь, пригонит хозяин. Нет, приехал на Белобокой...

Приехал вечером, стадо уж домой пустили. Она с подойником во двор собиралась. Вышла на заднее крыльцо. Он лошадь привязывал к яслям. И не глядит. Хмурый. Да и с чего веселиться? Открыла она ворота в хлев – вот тебе, оттуда морда буланая рогастая: «У-у-у!» Бык мирской! С коровой пришел. Да кто его пустил в хлев-то? Пошел, черт! «О-о-о!» – заревел он еще грознее, замотал рогами и пошел на Надежду.

– Ах ты, морда нахальная! – она стукнула ему подойником по лбу и бросилась на заднее крыльцо. – Андрей, Андрей, скорее беги!..

Бык в лепешку смял подойник и двинулся к Андрею Ивановичу. Тот, бледный, пятился от растерянности задом к яслям, растопырив руки, заслоня лошадь.

– Стукни его чем-нибудь! – крикнул он Надежде. – Я лошадь отвяжу... не то спорет.

Надежда кубарем скатилась с крыльца, схватила полено из клетки колотых дров, стоявшей тут же, и – хлясть его по ляжке. Бык мотнул хвостом, легко обернулся – и за ней.

– Ага, напорись на крыльцо, бес лобастый!

Надежда, раскрасневшаяся, вся взъерошенная, яростно глядела на быка сверху, с крыльца. Эх, кабы когти были, так и бросилась бы на него сверху, вцепилась бы ему в холку. Огреть бы чем, да под рукой нет ничего.

А разъяренный бык, обойдя крыльцо, увидел опять Андрея Ивановича. Тот уже успел сорвать оброть с лошади, отогнал ее прочь, и теперь сам напрягся весь в полуприсяди и, азартно раздувая ноздри, крутил в воздухе обротью, как арканом. Бык, нагибая голову, пыхтя и нацеливаясь рогами, мелким шажком подкрадывался к нему. Оброть, выпущенная Андреем Ивановичем, хрястнула удилами его по морде, и в то же мгновение бык, точно птица, пружинисто подброшенный, полетел на Андрея Ивановича. Тот отскочил за ясли. Бык поддел на рога верхнюю переслежину, опрокинул ясли и с треском раздавил их. Андрей Иванович перебежал к заднему крыльцу, встал у дровяной клетки и начал поленьями, словно городошными палками, молотить быка. Тот мычал высоким утробным ревом, наклонял голову, передним копытом рыл землю и бил себя хвостом по бокам. Лев: «У-у-у-у!»

Меж тем собирался народ. Время вечернее, теплое – на улице и млад и стар, кто скотину у колодца поит, кто собак гоняет, кто на завалинке сидит. А тут потеха с ревом, с топотом, с криками.

– Андрей Иванович! Ты его шелугой одень, шелугой.

– О черт! Это ж не мерин... Ты его шелугой – а он тебя рогом...

– Шелугой, ежели с крыльца... Сам ты черт-дьявол.

– Крыльцо не поветь. Откуда шелуга на крыльце возьмется? Откуда?

– А пошел бы ты к матери в подпол...

– Я, грю, плетью его... Плетью. Савелий Назаркин дома.

– Сбегай за Савелием!

А бык, разъяренный криком да поленьями, осипший от рева, бросился опять на Андрея Ивановича, споткнулся о ступеньку крыльца и, пропахав коленями две борозды, вскочил, мотая рогами, добежал до заднего плетня, забился в угол под кладовую и, обернувшись, наклонив голову, стал готовиться к новому броску.

– Ребята, камнями его! Лезь на кладовую.

Кладовая только еще строилась. Крыши не было – одни стенки да потолок, залитый бетоном. Федька Маклак, старший сын Андрея Ивановича, с приятелями Санькой Чувалом, Васькой Махимом да Натолием Сопатым в момент залезли на кладовую и сверху кирпичами метили быку в холку да в голову. Тот отряхивался только от кирпичной пыли и глуше ревел да копал землю.

– Камень ему что присыпка, один чих вызывает.

– Плеть нужна, пле-еть...

Принесли плеть от пастуха Назаркина. Плеть витая, ременная, длинная... Пять сажений! Конец из силков сплетен, рассекает, как литая проволока. Ручка с кистями на конце... А тяжелая. Размахнешь, ударишь – хлопнет так, что твоя пушка ахнет. Э, рогатые! Берегись, которые на отлете...

Андрей Иванович, увидев плеть, спрыгнул с крыльца, выхватил ее у парнишки и пошел на быка:

– Ну, теперь ты у меня запляшешь...

Перед домом Бородиных поодаль от толпы стоял Марк Иванович Дранкин, по-уличному Маркел. На быка, на толпу любопытных он не обращал никакого внимания; стоял сам по себе возле известковой ямы, курил, обернувшись ко всей этой публике задом, Маркел человек важный, независимого нрава, а если и вышел на улицу, так уж не на быка поглядеть, а, скорее, себя показать.

– Маркел! – кричали ему из толпы. – Мотри, бык меж кладовой пролетом выскочит... Кабы не зацепил.

– Явал я вашего быка, – отвечал Маркел не оборачиваясь и плевал в известковую яму.

Он был мал ростом и говорил сиплым басом – для впечатления; сапоги носил с отворотами, голенища закатывал в несколько рядов – тоже для впечатления.

Андрей Иванович ударил быка с накатом и оттяжкой, тем страшным ударом, который со свистом рассекает воздух и оставляет лиловые бугры на бычьей коже.

Хх-ляп! – как палкой по воде шлепнули.

Бык ухнул, даванул задом плетень, потом ошалело метнулся в пролет между сенями и кладовой. Выскочил он на улицу прямехонько к яме; высоко задрал хвост, радостно мотнув головой, как гончая, увидевшая зайца, он весело полетел на Маркела.

– Маркел, оглянись! – заорали в толпе. – Бык, бы-ык!

Ну да, не на того напали... Маркел стоял невозмутимо, цедил свою сигарку и мрачно глядел вдаль.

Бык сшиб его, как городок, поставленный на попа; тот упал в яму – только брызги белые полетели. И нет Маркела...

– Маркел, ты жив?

– Посиди в яме, сейчас быка отгоним.

Но из ямы никто не отвечал.

– Чего он, утоп, что ли?

– Да он утоп! Ей-богу, правда...

– Бык запорол его... под лопатку кы-ык саданет.

– Да спасите человека, окаянные! – завопили бабы от завалинки. – Чего стоите?!

Бык победно обошел вокруг ямы, воинственно помотал рогами и двинулся было к толпе, но, увидев подоспевшего со двора Андрея Ивановича с плетью, свернул на дорогу.

Тут и появился Маркел... Ухватившись за край ямы, подпрыгнул, подтянулся и, озираясь по сторонам, опершись ладонями, вылез наружу... Он был весь белый, как мельник с помола.

– Ну, чаво уставились, туды вашу растуды?! – обругал он занемевшую толпу. – Ай извески не видели? – Он сердито нахохлился и стал обирать свисшие сосульками усы, фыркал, словно кот, и брезгливо отряхивал с пальцев известковую кашу.

– Маркел, теперь лезь в печку на обжиг, – сказал Андрей Иванович. – Тогда помрешь – не сгниешь.

Толпа грохнула и закатилась заразительным смехом, смеялись и оттого, что смешно было глядеть на маленького сердитого человека, раздражающего белые усы, смеялись и потому, что кончилось все благополучно и что потеха удалась – и азарт выказали, и страху натерпелись...

А бык, подстегнутый взрывом хохота, обернулся, увидел на краю ямы Маркела и, озорно взбрыкивая, поскакал на него галопом.

Тут и Маркел показал себя... Как шар от удара увесистой клюшки, он катышом покатился по-над землей, отскакивая от каждого бугорка. Не к людям за помощью ринулся он, не под защиту бородинского двора... Первородный страх безотчетно погнал его домой... А жил он через двор от Бородиных. Улица широкая, дорога пыльная да ухабистая, Маркел так сильно и часто застучал по дороге, будто в четыре цепа замолотили. И ноги закидывал высоко-высоко, чуть пятками затылка не доставал. А в двух шагах от него скакал бык – рога наперевес, хвост трубой: «У-у-у! Запорю...»

– Маркел, Маркел! Не подгадь!

– Давай, давай! Догоня-ает!

– Вертуляй в сторону! Скорее-ей! Вертуляй!

Кричала вся улица.

Перед домом Маркела стояла телега. Это и спасло его – с разбегу он плюхнулся животом на телегу и кубарем перелетел через нее. Бык ударил рогами в наклестку и завяз...

А улица долго еще возбужденно гомонила о том, что не судьба Маркелу от быка погибнуть, что каждому на роду своя смерть написана и что нового мирского быка покупать надо, а этого сдать в колбасную Пашке Долбачу.

Расходились удовлетворенные, каждый на свое – девки с парнями на гулянку готовились, бабы коров доить, мужики скотину убирать. Впереди вечер, шумный праздничный вечер... Не грешно и нарядиться, выйти на улицу, на людей поглядеть да себя показать. Вознесение Христово...

– Нет, что ни говорите, а хорошо жить на миру! Не соскучишься...

И может, оттого отмяк нутром Андрей Иванович, уступил Надежде, договорились они на базаре в Троицу купить свинью или хотя бы породистого поросенка, а объезженного жеребенка-третьяка Набата он продаст.

### 3

Федька Маклак, плечистый, широкогрудый малый шестнадцати лет, кучерявый в отца, прямоносый, но с припухлыми обуховскими веками и мелкими темными конопушками на переносице, собирался в ночное нехотя. Надо же! Нынче Вознесение. Вечером сойдутся на Красную горку со всего конца ребята и девки. Две, а то и три гармошки придут. Бабы вывалят из домов, мужики... Круг раздастся, разомкнут, что на твоей базарной толкучке. Девки цыганочку оторвут с припевками. Танцы устроят. А то еще бороться кто выпрет... Позовет на круг: «А ну, на любака! Выходи, кому

стоять надоело!...» Не хочешь на кругу веселиться – ступай к Микишке Хриплому. Там в карты режутся: в очко, в горба, в шубу... И вот тебе, поезжай от эдакого удовольствия в ночное, копти там возле костра, Федька заикнулся было:

– Папаня, может, месиво сделать кобыле? Постоит и дома одну ночку.

– Я те намешаю болтушкой по башке! – отец ныне сердитый. – Она сегодня полсотни верст отмахала... Да завтра ей пахать целый день. Месиво... Пусть хорошенько попасется, а завтра овса ей дам.

Федька натянул на плечи старый зипун из грубого домотканого сукна да лапти обул по-легкому, без онуч, на одни шерстяные носки с мягкой войлочной подстилкой. Но в полотняную сумку, с лямкой через плечо, вместе с краюхой хлеба да бутылкой молока сунул свои модные широконосые штиблеты, а под зипун незаметно надел расшитую рубаху да плетеный шелковый пояс с кистями подпоясал. «Сбегу из ночного на игрища... От лощины до села не больше двух верст...»

Отец накинул на Белобокую ватолу, прихватил ее чересседельником, узел под брюхо свалил, чтоб не мешался. Подвел кобылу к завалинке, крикнул:

– Ты где там провалился? Или спать лег?

– Сичас, оборка вот запуталась, – Федька нарочито громко кряхтел и топал ногой.

Федька вольтанил... С порога летней избы он поглядывал в горницу, там, возле комода, перед большим висячим зеркалом в овальной резной раме стояла Зинка в нарядном голубом платье, облегавшем ее сильные загорелые икры, – на зажженной лампе она нагривала длинные щипцы, потом накручивала ими волосы на висках. Каждый раз, когда она захватывала и накручивала щипцами очередной клочок волос, Федька видел в зеркало, как вздрагивали и кривились пухлые Зинкины губы. «А, чтоб тебя скоротило!» – ругался он про себя. Федьке нужен был этот комод позарез, у которого стояла Зинка. Там, в верхнем ящике, под бельем мать спрятала кошелек с деньгами. Он еще днем подглядел и до самого теперешнего отъезда вертелся у комода. Без денег нынче ночью какое веселье! Но, как назло, мать до вечера шила на машинке возле этого проклятого комода, потом пришла со службы Маня, выпроводила Федьку из горницы, стала переодеваться. А теперь вот эта растрепанная кудри завивала. Маня и Зинка доводились тетками Федьке, но были чуть старше его, вырастали вместе и оттого дрались с незапамятных времен.

– Торба, ты бы язык загнула щипцами, а то он у тебя как помело болтается, – задирает Зинку Федька.

– Маклак, возьми онучи, потри лицо... Может, веснушки сотрешь, – отругивалась та, не отрываясь от зеркала.

На улице послышался частый конский топот, Федька заглянул в раскрытую дверь и увидел сквозь коридорные стекла подъезжавшего Саньку Чувала: тот, высоко задирая локти и отвалясь на спину, круто осадил своего лысого мерина прямо под окнами и крикнул:

– Дядь Андрей, а где Федька?

– Ширинку в сенях ищет, – отозвался Андрей Иванович.

– Какую ширинку?

– От штанов.

– А может, он их задом наперед надел? – осклабился тот. На Чувале был черный отцовский картуз с лакированным козырьком да шевровые ботинки. И ни зипуна, ни овчины – один легкий пиджачок. Сразу видно – на игрища удерет с ночного. «Вот живет, ни от кого не прячется, – позавидовал Федька. – Куда хочет, туда и шлепает...

А здесь не обманешь – от тоски загнешься...»

– Ты скоро там, Парфентий? – позвал опять Андрей Иванович.

– Да сичас... Вот лапоть подвяжу... Проушина лопнула, – Федька опять затопал ногой.

– Я вот пойду и тебя самого за уши вытащу, – пригрозил Андрей Иванович.

Федька лихорадочно соображал – как бы, чем бы выудить из горницы Зинку: что бы опрокинуть или сшибить? Он воровато озирался по сторонам, но ничего подходящего на бревенчатых стенах летней избы не находил: в переднем углу божница с иконами в серебряных да медных окладах. Сшибить одну? Да плевать ей на иконы... В другом углу посудная полка – тарелки, чашки, ложки, блюда... И на посуду ей наплевать. Вдруг в растворенную дверь, в светлом, остекленном коридоре он увидел угловой столик, а на нем Зинкину пудру, зеркальце и духи «Букет моей бабушки». Он схватил моментально сандалию, валявшуюся под кроватью, и запустил ее в столик с громким криком:

– Брысь, окаянная!

Раздался грохот и звон разбитого стекла.

– Зинка, кошка духи твои разбила...

Зинка закричала как ошпаренная, бросила щипцы и выбежала в коридор. Федька одним прыжком, словно кот на мышь, достиг комода, открыл верхний ящик, поймал в углу бумажник и на ощупь вынул одну бумажку. Оказалась трешницей; сунув ее в карман да сняв кепку со стены, он вприпрыжку мотанул на двор.

– Маклак конопатый! Это ты разбил духи, ты!.. Я вот скажу Андрею Ивановичу... Он тебе уши оборвет, – хлюпала и кричала из коридора вслед ему Зинка.

– Ага! Позови Симочку-милиционера. Он протокол составит и тебе сопли им подотрет.

Федька хлопнул задней дверью и посскоком спрыгнул с крыльца во двор:

– Вот он и я...

Андрей Иванович подозрительно оглядел его одежду: не задумал ли чего, чертов сын? Зипун и лапти – все на месте.

– А ты зачем кепку новую надел? Уж не решил ли на улицу удрать?

– В лаптях да в зипуне-то?

– Смотри, я проверю...

– Проверяй!

Федька залез на завалину, поймал кобылу за холку и прыгнул сперва ей на спину животом, потом уж на ходу закинул правую ногу, распрямился и разобрал поводья.

– Т-ой, дьявол! – одернул он запрядавшую сытую кобылу.

– Заезжай к Тырану! Захватишь его Буланца! – наказал Андрей Иванович.

– Ла-адно!

Федька передом, Санька за ним свернули к Тырановой избе. Тот жил через двор от Бородиных. Возле калитки их поджидал хозяин с Буланцом в поводу. Это был еще молодой дюжий мужик с кудлатой, вечно нечесанной головой. Говорили, что Тыран моет голову дважды в году – на Рождество и на Пасху. Еще он любил поспать, отчего и прозвище получил. На лугах, в покос, когда все люди на виду, его шалаш открывался последним. Мужики уж косы отобьют, а он только рядом с шалаша сдернет, высунет свою баранью голову в сенной трухе и спросит:

– Чего? Ай рассвело?

– Петька, поспи еще! Ты рано встал...

Ты рано – превратилось в Тыран. Так и прилипло прозвище. Буланца его, низкорослого меринка киргизской породы, Федька любил за чистую иноходь. Так идет, что не шелохнется, ставь стакан воды – не расплескает, а иная лошадь и рысью за ним не поспекает. Федька чаще пересаживался на Буланца, а своих кобыл впристяжку брал. Но теперь он Буланца пристегнул; во-первых, ватолу отец крепко приторочил на Белобокую, чтобы отвязать – повозиться надо, а во-вторых, не лошадьми были заняты мысли его.

Пока Тыран привязывал за оброть к Белобокой Буланца, баба Проска, старая сухменная мать Тырана, вынесла из избы бутылку молока, заткнутую бумажным кляпом:

– На-ка, Федя, прихлебни молоцка. Ночью небось набегаешься, проголодаешься к утру-то.

– Давай, пригодится. – Федька сунул и эту бутылку себе в сумку, где она с легким звяканьем встретила с такой же домашней бутылкой молока.

– Ну, ходи веселей, манькай! – любовно хлопнул по шее своего Буланца Тыран и вдруг спохватился: – Да, погоди! Путо забыл, путо.

Он сбегал в сени, принес толстое, сплетенное из пеньковой веревки путо с огромным узлом на конце и повязал его на шею Буланцу:

– Ну, с богом, ребятки, с богом...

Не успели путем отъехать от Тырана, Чувал спросил, поравнявшись с Федькой:

– Чего на тебя Зинка орала? – Он был страсть как любопытен – поведет своим вислым, облупленным на солнце носом, словно принюхивается, а круглые совиные глаза его буравили каждого прохожего.

– Я у нее духи разбил, – ухмыльнулся Федька.

– Зачем?

– Да ну ее... Стоит перед зеркалом – кудри навивает, зараза, Сенечку Зенина ждет.

– А тебе что? Пусть гуляют. Все-таки учитель.

– Какой он учитель? Лапти обует – и пойдет по селам гармонь свою в лотерею разыгрывать... Шаромыжник он.

– Слушай, правда, что к вашей Мане Возвышаев ходит?

– Какой Возвышаев? – Федька свалил кепку на затылок.

– Не дури! Председатель рика... А Успенскому она будто от ворот поворот сделала?

– Я с начальством не якшаюсь, – Федька стегнул по лошадям и свернул в проулок.

Путь к лощине лежал через овраг по новому деревянному мосту, мимо кирпичного завода, дальше по горбине зеленеющих оржей, потом будет еще овраг с красными обрывистыми берегами, прозванный за отдаленность и глушь Волчьим, а потом уж лощина – низкая болотистая ендова, заросшая мелким кустарником и некошеной травой. В эту лощину и гоняли по весне лошадей в ночное.

Солнце уже скрылось за дальним увалом зеленеющих озимых, но небо еще полно было золотистого света, воздух недвижим и вязок, теплый, душный, с тем полынно-горьковатым сухим запахом пыли, который оставляет по себе уходящий жаркий летний день. В эту пору отчетливо слышны бывают все деревенские звуки: и дальний собачий брех, и залиvistый петушиный крик, и глухое шлепанье копыт о пыльную дорогу.



Ребята пересекли овраг, гулко протопали по бревенчатому настилу моста, поднялись на бугор к кирпичному заводу.

– Из стариков кто-нибудь приедет? – спросил Федька Маклак.

– Обещал приехать дядя Максим...

– Жеребец, что ли?

– Ен самый...

– Значит, живем, – сказал Федька. – Есть на кого лошадей оставить... А то мелюзга сопатая волков испугается... Лошадей пораспустят...

– Дядя Максим просил дровец привезти. Говорит, кустарник весь прочистили, сушняка нет. А от сырья один дым да вонь. Давай на кирпичный завернем, – предложил Чувал. – Снимем с сарая несколько сухих приметин – вот и дрова.

– Ты что? Амвросимов здесь днюет и ночует. Еще из ружья вдарит за эту приметину.

– Плевать нам на Амвросимовых! Поехали к артельным сараям. Вон к тем, дальним.

– А там Ваня Чекмарь сторожит.

– Дома он сидит... Я проезжал мимо. Васютка кулеш варила, а он на завалинке матерился. Ты, говорит, окна соломой завалил? А я ему – она с крыши свалилась. У вас не изба, а сорочье гнездо.

Маклак и Чувал переглянулись и захохотали. Позавчера, возвращаясь с улицы, они надергали в защитке по охалке соломы и завалили оба окна Васюткиной избы. Окна-то маленькие да на вершок от завалинки. Она и спала до Ванина прихода, думала – все еще ночь. Стадо проспала. Коза недоеной осталась... блеет, а та дрыхнет.

Кирпичный завод представлял из себя дюжины две приземистых сараев для сушки сырца, похожих на соломенные скирды, да десяток островерхих, крытых тесом печей обжига. С крайнего сарая ребята сняли по две приметаны – сухие и длинные хворостины, изрубили их, у Чувала за поясом оказался топор, и галопом, конь о конь, поскакали прямо по ржам.

В лощине было полно лошадей и ребятни, правда, больше все подсоски, как зовет Чувал десятилетних школьников. Из больших парней приехал только Васька Махим. Ни Ковяка, ни Наталия Сопатого, ни Шурки Пышонкова, никого не было. Да и кто по своей охоте поедет на праздник в ночное? Зато приехал дядя Максим Селькин, прозванный за окладистую сивую бороду, за толстый нос и густую волосню, стриженную под горшок, Жеребцом. У него было большое рыхлое брюхо, свисавшее, как пустой кошель, почти до колен. «Дядь Максим, а на чем у тебя ширинка держится?» – «А я ее, ребятки, за пупок пристегиваю. Пупок у меня агромадный, грызь, стало быть...» У него был чалый мерин, с виду покорный, как сам хозяин, и такой же брюхатый и мосластый. И тем не менее ребяташки не брали его в ночное – Чалый никогда не наедался за ночь; на рассвете, когда все лошади понуро стояли, опустив голову и оттопырив нижнюю губу, – «читали газету», по выражению ребят, – Чалый продолжал со скрипом и хрупом щипать траву. Подойдешь к нему заобротать, а он тебя норовит зубами поймать за пузо. Ненасытная скотина! Так и ездил в ночное сам Максим Селькин.

Все ночевальщики уже сидели возле дымящегося костра, когда подъехали опоздавшие. В центре круга стоял на четвереньках Максим Селькин, похожий на гривастого льва, и, вытянув губы, шумно дул, как кузнечный мех, под кучку зеленых

ветвей.

Маклак с Чувалом мигом спешили, кинули связки сухих дров, стали снимать оброти и стреноживать коней.

– Вот спасибо, робятки! Дровец привезли, уважили старика, – распрямившись от костра, радостно говорил Селькин. – А я картехи прихватил... Напечем, едрит твою лапоть. Вот и нам праздник будет.

– У нас и выпить есть. Держи! – Маклак подал Селькину две бутылки молока. – После ужина спать захочешь... Так вот тебе ватола и зипун. Ложись и укрывайся.

– Ватола, она, робятки, влагу гонит, – говорил Селькин, принимая все это добро. – На ней не больно уснешь. Вот зипунишко – это хорошо. Эта подстилка сухая...

– Говори, что тебе принесть? – спросил Чувал Селькина. – Всем подсоскам конфет принесем. А тебе что?

– Мне бы шкалик, робятки. Вот и я пососал бы. Да где его ночью достанешь?

– Найдем! Водки не будет – самогонки принесем, – сказал Федька.

– Вот спасибо. А насчет лошадей не сумлевайтесь. В сохранности будут.

Маклак скинул лапти, быстро переобулся в штиблеты и зипуном их еще почистил, рубашку расшитую расправил, все складочки за спину разогнал, одну руку в бедро упер, вторую на затылок закинул и козырем прошелся вокруг костра:

– Ну, берегитесь, которые напудрены... Как, дядь Максим? Гип-гоп! – Он два нырнул вприсядку и картинно поклонился.

– Сключительно. Чистый ползунок, – сказал Селькин. – Мотри, только не подерись. Рубаху порвут невзначай. Отец узнает, что бегал из ночного... Он тебе задаст тогда ползунка.

– Пока! – сказал Чувал. – Ты, дядь Максим, спи. А вы, подсоски!.. Смотрите!.. Ежели кто из вас уснет, приду – всех на баран перетаскаю.

– Ты чего это, Санька, робят обижаешь? – сказал Селькин.

– Кого я обижаю?

– Ну как же, подсосками зовешь.

– Дак они все мне под сосок. Ну, подходи ростом мериться. Кто выше моего соска, извини-подвинься. Гы!

– Обормот! – сказал Селькин. – Ступайте уж от греха подальше.

– Махим, пошли с нами? – позвал Маклак рослого увальня.

– В лаптях, что ли? – пробасил тот.

– А ты скинь лапти-то, – сказал Чувал. – К селу подойдем – в оврагах в тине вымажешь ноги. Пойдешь, как в шавровых ботинках. Заблестят.

– Да пошел ты...

Ребятишки прыскали и отворачивались, боясь обидеть кого-либо из старших неуместным смехом.

В село вернулись Маклак с Чувалом уже по-темному. Сразу за оврагом, на Красной горке шумела огромная толпа. Играли две гармони цыганочку, дробно стучали каблуки. Федька приостановился возле оврага, прислушиваясь: одна ханатыркала на басах, как разбитая берда, – это, ясное дело, Мишки Кочеванова гармонь, немецкого строя, а другая не в лад высоко взвизгивала, как свинья недорезанная. Да это ж ливенка Сенечки Зенина! Вот шаромыжник, на их конец притопал. Значит, и Зинка здесь вертится.

– Сань, сходи, глянь – Зинка там или нет? – попросил Федор Чувала.

Тот одним духом обернулся:

– Тама! Сенечка с Мишкой на лавочке сидят, а Зинка за ними, как часовой, – руки по швам и кулаки сжаты.

– Едрит твою лапоть, как говорит дядя Максим! Чего ж мне теперь делать?

– Пошли! Не заметит...

– Она не заметит... Вот что – дуй на круг, а я пойду к Никишке Хриплому.

– Как же это? Возьмем да разойдемся! А в лощину поодиночке, что ли, тащиться?

– Да нет, чудак-человек... Сенечка не заиграется, не бойся. Он похвастаться пришел... Поди, рубаху новую показать или белые штаны... Он скоро уйдет. А за ним и Зинка смоеся. Тогда сбегашь за мной и уж повеселимся.

– Ну, валяй! Только не проигрывайся... Обещали же конфет принести.

– За меня не беспокойся.

Друзья стукнули друг друга по рукам и разошлись.

У Никишки Хриплого, по фамилии – Пышенковых, собрались картежники не только ближние со своего конца, с Нахаловки, но и из села пришли, то есть с базарной площади, с Конной улицы, с Сенной. Посреди просторного кирпичного дома за столом, под висячей лампой сидело человек десять. Метали банк. Перед вислоусым, одутловатым, с пипочкой вместо носа сапожником Бандеем, похожим на моржа, скопилась кучка серебра и медяков, и даже бумажки лежали. Бандей в огромной ладони, изрезанной темными рытвинами от дратвы, зажал колоду карт, как спичечный коробок, и, плюя на пальцы, вытягивал из нее карты.

– На, наберись! – гудел он сумрачно, подавая карты очередному метальщику. – Еще? На, наешься!

– Тьфу ты, дьявол тебя крестил! Перебор. Всего на одно очко...

– И я на одно перебрал.

– Это Бандей очки наводит. Как плюнет, так лишнее очко есть.

– Бандей, не пятнай карты! – сказала с печи хозяйка Нешка Ореха. – Они совсем новенькие.

– Еще купишь, – отозвался Бандей. – Ты же получаешь по целковому с банка. Чего тебе еще?

– Где ты их купишь?! Никишка по весне привез из Растяпина две колоды... Дак одну уж исхлопали.

Сам хозяин, захохотавший по самые глаза густой рыжей щетиной, с белой круглой лысиной на макушке, как в тубетейке, сидел скромненько тут же на лавке, на краю от стола.

– Еще привезет... Ему не впервой бегать за длинным рублем, – сказал Бандей так, будто хозяина тут и не было.

– Ковда он поедет, ковда? – затараторила Ореха. – У нас тоже хозяйство. Небось раньше Покрова не вырвешься.

– Твое хозяйство вон – в сусеке кирпичи да кот на печи. Чего вам убираться? – посмеивался Бандей.

– А то у тебя у одного хозяйство? Мотри вон, в карты спустишь свое хозяйство, – не сдавалась Ореха.

– Я нажил, я и проживу...

На вошедшего Федьку никто не обратил внимания. Да и трудно было разглядеть от стола – кто там вошел? Сизые клубы табачного дыма начисто глушили свет на сажень от лампы. Федька постоял у дверей, послушал эту перебранку, подождал для приличия: не спросят ли, зачем пришел? Не спросили. Потихоньку присел с краю,

рядом с хозяином.

– Ну, сколько тут собралось? – спросил Бандей, разгребая денежную кучу. – Боле десятки?

– Да тут рублей пятнадцать будет.

– Давай сосчитаю! – услужливо потянулся к деньгам вертлявый узкоплечий шапошник Василий Осипович Чухонин, по прозвищу Биняк.

– Не играешь и не лезь! – одернул его Бандей. – Вот – посчитай волосья у себя в ноздре.

Все засмеялись, а Биняк вдруг выпучил глаза, надул щеки, растрепал и смахнул книзу свои пшеничные усы и стал до смешного похож на Бандея.

– Мишка, давай свяжем? – в тон Бандею утробно пробухал Биняк.

– Чего? – опешил тот.

– Волосья... У тебя в ноздре, а у меня в заднице.

Все так и грохнули – кто на стол повалился, кто на лавке катался, аж затылком пол доставая.

– Ну, ладно, стучу, – сказал Бандей, перетасовал колоду и роздал карты.

– Дак сколько у тебя в банке-то? – спросил Лысый, первый картежник и вор на всю Сенную улицу, протягивая ладонь со своей картой. Он сидел рядом с Бандеем, с него и начинался новый круг.

– Рублей пятнадцать будет. А может, больше. Пересчитать, что ли? – сказал Бандей.

– Иду ва-банк. А там сосчитаем.

Все притихли. Бандей насупился, поджал губы и еще раз посмотрел свою карту.

– Давай, давай! – кривой усмешкой подбадривал его Лысый, а сам побледнел и тревожно бросал желтые рысьи глаза то на Бандея, то на колоду карт, зажатую в огромной ручище.

– Ну, на... – выдавил наконец Бандей и подал ему карту.

Лысый хлопнул по ней второй ладонью, быстро поднес карту к глазам и начал тянуть – так медленно сдвигал нижнюю карту, приоткрывая ту, неизвестную, что вся лысина его покрылась мелкими бисеринками пота. Наконец он шумно выдохнул, отложил карты и, набычившись, сдвинув брови до красноты на лбу, задумался, весь ушел в себя.

– Ну? – сухим голосом спросил Бандей.

– Кинь еще одну, – сказал Лысый. – Открой!

Бандей выкинул короля червей.

– Ваша не пляшет, – Лысый открыл все карты и развел руками, – очко!

– А ну-ка, ну-ка! – потянулся Бандей к картам.

– Туз, шестерка, король.

– Эх, дьявол! Сверх казны взял, – крикнул кто-то удивленно.

– Ведь не положено к казне прикупать, – сказал Биняк.

– Это банкомету не положено брать, понял? – окрысился Лысый. – Ты кому подсвистываешь, суслик?

– Ну, договаривай! Кому он подсвистывает? – распалялся Бандей. – Мне, что ли?

– Нет... не тебе... Вон Нешке на печи.

– Ты Нешку не трогай, она не вашего поля ягода, – сказал Бандей.

– А я кто, по-твоему? Кто я? – распалялся и Лысый, подаваясь грудью на стол.

– Некто.

– Что значит некто?

– Да будет вам! – просипел Никифор. – Вы ж играть пришли. А кто хочет скандалить – ступай на Красную горку.

Бандей с Лысым с минуту упорно и мрачно глядели друг на друга, по-бараньи наклоняя головы.

– Нешка, кинь семечек на стол. Вишь, петухи нацелились... поклюют и разойдутся! – крикнул Биняк, и все захохотали.

Отмякли наконец и Лысый с Бандеем.

– Сколь в банке? – спросила Ореха с печи. – Может, поллитра полагается?

Пересчитали деньги, оказалось восемнадцать рублей с лишком. Целковый отдали Орехе. Поскольку в банке было больше пятнадцати рублей, причиталось купить взявшему банк поллитру рыковки. Таков уговор.

– У меня последняя осталась, – предупредила Ореха, отдавая Лысому водку.

Кроме водки на печи у нее стояли два ящика с конфетами, да с жамками, да еще мешок с семечками. И безмен лежал. Отвесит, сколько желаешь.

– Оставь ее! – кивнул Бандей на водку. – Пить будем после игры.

– Почему это? – спросил Лысый.

– Потому! Распоряжается проигравший... по закону.

– Как хотите. – Лысый взял карты и открыл банк.

– Дай и мне карту! – попросил Федька.

Лысый с удивлением поглядел на него, словно впервые увидел:

– Что, Маклак, кобылу отыграть хочешь?

– А ты что, пожалел нашу кобылу? – огрызнулся Федька.

– Ишь ты, дьяволенок! Веселится еще... Отец, поди, портки зубами рвет с досады...

– Не беспокойся, по миру не пойдем, у тебя милостыню не попросим.

– А ну заткнись!

– Ты чего пристал к парню? – вступился Бандей. – Какое твое дело, кому играть, а кому нет? Просят карту – давай!

– У него, поди, денег-то пятиалтынный за щекой.

– Не твое дело... Дай! – властно напирал Бандей.

У Федьки с Лысым глухая вражда. На святках этой зимой в толпе ряженных выделялась дюжая баба в цветной поньке, в нагольной шубе и при маске. Баба пела сиплым дискантом срамные частушки и приставала к девкам. Угадывая под маской по широченным плечицам мужика, ребята держались в стороне, но когда «баба» облапила Тоньку Луговую и при всем честном народе стала тискать ее и целовать, Федька не выдержал – кочетом налетел на высокую «бабу» и щелкнул ее по затылку. «Баба» рывкнула, бросив Тоньку: «Задавлю!» – и, подняв руки, по-медвежьки кинулась на Маклака. Тот юркнул «бабе» под мышку, принял на бедро эту тушу и, рванув за ноги, пустил через себя на дорогу. «Баба» так и растянулась всем хлыстом – руки вперед, мордой в снег. Слетела с нее маска, шаль, и заблестела, залоснилась на снегу розовая лысина. «Да это Лысый!» – удивленно ахнули в толпе. Тот, матерясь на чем свет стоит, вскочил, сорвал с себя шубу: «Убью ошметка!» – и бросился с кулаками на Федьку. Их разняли. А улица еще долго удивлялась: «Вот так Федька! Ай да Маклак! Эдакого кабана завалил... Видать, в деда Евсея пошел». Евсей Бородин, правда, не доводился ему дедом, а всего лишь братом Федькину деду, но кулачник он был отменный. Первый на селе. Один стенку держал.

Федька получил карту – девятку червей... И когда дошла до него очередь, протянул ее к Лысому.

– Иду на рупь.

– Деньги на кон! – сказал Лысый.

– Вот скаред лыковый, мать твою... – выругался Бандей. – Ты карту давай!

– Деньги на кон! – заупрямился Лысый.

– На! – Федька выкинул измятую трешницу.

Лысый отсчитал ему два рубля и вытянул карту. Оказалось – десятка бубен.

– Наберись! – сказал Федька и затаился, ужав голову в плечи.

Лысый открыл своего валета, кинул к нему восьмерку и еще восьмерку:

– Восемнадцать!

– Мало каши ел, – торжествующе сказал Федька. – У меня девять очей, – и кинул свои девятку с десяткой.

– Ты чего карты загнул? – придирался опять к нему Лысый.

– Ты играть будешь или канужить? – гаркнул Бандей и так хлопнул своей пятерней по столу, что зазвенели в кону деньги и фукнула, мигнув, висячая лампа.

– Я-то играю, – сказал примирительно Лысый. – А ты гремишь как немазаная телега.

– Сдавай!

Бандей все больше и больше горячился, ходил только ва-банк, проигрывался. На кону перевалило за двадцать рублей. Лысый простучал и сдал по последнему кругу.

– Иду ва-банк, – сказал Бандей, не глядя на свою карту.

– Деньги на кон, – сказал Лысый.

– Ты что, не веришь мне?

– Не верю.

– На, мать твою в живоглота! – он вынул из бокового кармана легкого пиджака несколько скомканных бумажек и кинул их на стол.

Биняк кинулся разглаживать бумажки. Пересчитали. Оказалось двенадцать рублей.

– Даю на двенадцать, – сказал Лысый, берясь за колоду.

– А я говорю, ва-банк! – сказал Бандей.

– Где остальные?

– Отдам. Давай на слово!

– На слово просят только у баб...

– Ах вот как! Ну, ладно.

Бандей откинулся на лавке, кряхтя стащил с себя хромовые сапоги, носком протер подошвы, так что свежие шпильки заблестели.

– Во, видал? Новые сапоги... Добавляю, – и поставил их на стол рядом с деньгами.

Лысый взял сапоги, повертел в руках:

– А может быть, они у тебя прелые?

– У меня прелые? Мои сапоги! Ах ты сучий сын! Я для себя их шил. Они двадцать четыре целковых стоят. На, возьми зубами! Попробуй, оторви подошву с носа! Оторвешь – даром отдам сапоги.

– Да я что, волк, что ли?

– То-то и оно. Ты слаб в коленках. У тебя еще и зубы-то репные. Дай сюда! – он выхватил сапоги из рук Лысого. – Ребята, кто хочет счастья попытать? Ну, берись

зубами! Не бойся... Оторвешь подошву – я ж и прибью. И сапоги отдам. Знай Мишку Косоглядова. – Это настоящая фамилия Бандея.

Сапоги мягкие, новенькие... Даже при тусклом свете блестят.

Вася Соса, здоровенный детина с длинным рябым лицом, сидевший напротив Бандея, алчно раздувая ноздри, ворочая белками, уставился на сапоги.

– Вася, ты чего смотришь, как кот на сметану? – крикнула с печи Нешка. – Возьми их на зубок. Об твои зубы-то кулак расшибешь.

Вася, довольный, осклабился, обнажая желтые лопатистые, как у мерина, зубы.

– На, пробуй! – сунул ему сапог Бандей.

Вася взял, повертел его в руках, как мосол, приноравливаясь – с какого бока укусить.

– Бери за нос. С каблука и не пробуй!

Вася разинул пасть и сунул в нее головашку.

– Мотри союзку не прокуси, крокодил! – крикнул Бандей. – Товар испортишь.

– Дак ее с торца не возьмешь, подошву-то – чисто срезана, как зализанная, – сказал Соса.

– А ты поперек ее бери!

Наконец Вася изловчился, сдавил каменную подошву своими лошадиными зубами и зашелся аж до посинения, пытаясь вырвать изо рта головашку.

– Дай-ка ты я за голенища потяну! – кинулся к нему Чухонин.

– Я те потяну!.. – замахнулся на того Бандей. – На голенище уговору не было.

Вася выбросил сапог на стол и сказал, отдуваясь:

– Нет, выскальзывает...

– То-то. Знайте, черти, Косоглядову работу, – торжествующе сказал Бандей Лысому, протягивая карту. – Значит, ва-банк, как договорились.

Лысый дал ему карту.

Тот быстро глянул и на ту, что лежала ранее, и на эту, бросил их и поморщился:

– А ну, еще.

И опять быстро заглянул, кинул и эту карту, как горячий блин, и только рукой махнул:

– Твои сапоги.

За столом суета и гул: кто сапоги разглядывал, кто деньги считал, а кто языком работал. Заговорили, загалдели все разом.

– Лысый, с такого банка литру мало поставить.

– А я и так литру ставлю.

– Дак нет же у меня водки-то больше, – сказала Нешка с печи. – Кончилась.

– У тебя нет – у Колчачихи найдется. Не то к Ваньке Вожаку сбегайте.

– Лучше до Козявки сбегать. У нее самогонка и огурцы соленые.

– Нешка, дай чашку под огурцы!

– А кто пойдет за самогонкой?

– Как кто? Младший. Вот, Маклак сбегает.

– Бандей, в чем домой пойдешь?

– Чуни мои наденет, – просипел Никифор.

– Дойду и босым. Чай, ноне не Крещенье.

Маклаку сунули железную тарелку под огурцы, денег дали на самогонку. Ореха взвесила ему два фунта «Раковой шейки». Набил он полные карманы конфетами и, радостный, вприпрыжку, помотал по селу к шинкарке Козявке.



- Стой, кто идет! – ринулся кто-то к нему из-за толстой придорожной ветлы.  
Федька увернулся было, но споткнулся о колесник и растянулся в дорожной пыли. Тарелка с грохотом отлетела в сторону.
- Подвинься, я ляжу! – хохотнул над ним голос Чувала.
- Осел вислоносый, сыч лупоглазый! Чтоб тебе кистенем ребра пересчитали, – ругался Федька, отряхиваясь от пыли.
- А я за тобой пошел... Гляжу – Маклак сам бежит навстречу. Я за ветлу... поужать хотел.
- По зубам бы тебя, лупоглазого...
- Федька поднял тарелку – она была вся в пыли:
- Ну, где ее теперь мыть? Куда идти?
- Откуда она у тебя? Зачем? – спросил Чувал.
- Ореха дала... Лысый с Бандеем за огурцами послали к Козявке... Да за самогонкой.
- Лысый? А ну-ка, дай сюда! – Чувал взял пыльную тарелку, отвернулся к ветле и помочился.
- На, чистая! – протянул он через минуту тарелку.
- Да ты что?
- А что? Лысый с Бандеем все сожрут... за милую душу.
- И то правда. Лысому поделом, – согласился Федька.
- И они пошли за огурцами и самогонкой к Козявке.

Федька с Санькой вернулись на Красную горку, когда уж народ схлынул. Ушли принаряженные бабы с мужиками, расползлась по домам досужая, любопытная и пронырливая мелюзга, разошлись парочки по заулкам да по выгону, остались одни неугомонные – десятка два парней и девчат, для которых еще понятие «улица» больше было связано с забавами и проделками, чем с шушуканьем да любовными утехами наедине.

Девчата сидели на одной скамье, ребята поодаль на другой. Мишка Кочеванов, отыграв свое, застегнул гармонь и положил ее в фанерный футляр, похожий на скворечню. Лузгали семечки, сосали конфеты, принесенные Маклаком, перебрехивались, как говорили в Тиханове.

- Ребята, а я знаю, у кого из девчат пятки немытые, – сказал Мишка Кочеванов.  
Он был головаст, кривоног и носил прозвище Буржуй.
- У кого?
- У второй с краю.
- На скамье девчата завозились, и Тонька Луговая заголосила на всю улицу:
- Буржуй головастый! Ты на себя погляди. Сроду за ушами не моешь.
- А ты откуда знаешь? На ухо ему шептала, что ли?
- К щеке прижималась...
- Коленкой, да? – кричали девчата. – Он ей по шейку и то не будет.
- Она приседала... Гы-гы! – неслось от ребят.
- Обормоты! Да если Тонька захочет, вы сами все станете перед ней на четвереньки.
- А еще она ничего не захочет? Га-га...
- Срамники окаянные! – подражая бабам, кричат девчата. – Вот на это вы только и способны.

– Цыц, сороки! Ребята, айда сало из них жать.

– Только попробуйте...

Федька и Чувал подбегают к девчачьей скамейке и начинают плечом теснить, сдавливать всю эту сидячую шеренгу. Девчата цепляются за скамью, визжат, отчаянно сопротивляются. К ребятам подбегают еще на подмогу и начинают толкать враскачку.

– Раз-два, взяли! Еще взяли...

Наконец сбитые со скамейки девчата кубарем, как снопы друг на дружку, валятся наземь. Потом с криком, по-воробьиному разлетаются во все стороны.

Федька нагнал Тоньку Луговую у самого плетня Кочевановых и с лета, как коршун, накрыл руками, сцепив их в замок на ее груди. Разгоряченной ладонью он почувствовал упругую Тонькину грудь и часто задышал ей в ухо.

– А ну пусти! – рвалась она и говорила глухо. – Пусти же!..

– Тонь, пошли отсюда!.. Пошли на пруд, – прошептал он.

Она застыла в минутном оцепенении, а он ждал и слушал, как жарко и гулко стучит в висках и отдает где-то под лопатку.

– Да ну же! – неожиданно рванулась она, уходя нырком вниз из его объятий, и пошла к скамейке, оправляя на себе кофточку.

Федька вернулся на толкучку каким-то яростно веселым, вертлявым, как бес. Что-то знакомое, легкое подымалось из него, распирало грудь и давило на горло; хотелось кого-нибудь щелкнуть по затылку и засвистеть, закружиться в лихом ползунке.

– Ребята, давайте сыграем в отгадай! – предложил он.

– Давайте!

Кто-то сбегал, вытянул сухой прут из кочевановского плетня, и вот уж дюжина увесистых ребячьих кулаков зацеплялась, полезла друг за дружкой по этому пруту вверх к кончику.

– Кто нижний, становись на кон!

Водить досталось Ваньке Ковяку. Плотный, приземистый паренек с белесыми бровями и красным, как из бани, лицом повернулся ко всем спиной, заслонил глаз ладонью, а вторую ладонь высунул из-под мышки, растопырив на плече.

– Бей!

Буржуй ударил его снизу – ладонь наотмашь, как плетью.

– Бух!

Ковяк аж покачнулся.

– Отгадай! – дюжина кулаков с поднятыми кверху большими пальцами тянулась со всех сторон к лицу Ковяка, и ближе всех, нахальнее совал свой кулак Чувал.

– Он! – указал Ковяк на Чувала.

– Га-га-га! Попал пальцем в небо... Становись.

Ковяк опять отвернулся и выставил ладонь.

– Тонь! Ну-ка, сядь на минуту, – Федька подвел Тоньку к скамейке и усадил.

– Чего такое? – спрашивала она вроде бы с возмущением, но покорно села.

– Дай туфлю на минутку!

– Зачем?

– Не бойсь, не съем... – Федька одной рукой схватил за ее тонкую, сухую лодыжку и неожиданно помедлил, ощущая прохладную и гладкую, как обкатанный речной голыш, щиколотку.

– Ты чего? – спросила она.

– Сейчас! – он другой рукой стянул ее туфлю на полувысоком каблуке и отбежал к играющим.

Ковяк очередной раз отвернулся и ждал удара.

– Чшш! – Маклак отстранил ребят и замахнулся туфлей.

Девки прыснули и захихикали.

– Да скоро ли вы там? – спросил Ковяк.

Удар подошвой о ладонь получился такой звонкий и сильный, что с Ковяка слетела кепка. Тот обернулся разъяренный:

– Чем ударили? Ну?!

Вокруг него все покатывались со смеху, а больше всех кривлялся Маклак, помахая Тонькиной туфлей...

– Ах ты, гад! Ты ботинком бить... Душу вымотаю! – Ковяк с лета хотел ударить в ухо Маклаку, да промахнулся и, не удержавшись на ногах, упал на траву.

– Ну, вдарь еще! – смеялся над ним Маклак, помогая встать.

Ванька сунул кулаком прямо в нахально смеющееся лицо. И опять промахнулся. Ловок, как бес, этот Маклак! Тогда Ковяк, приподнявшись, поймал подол расшитой Федькиной рубахи и так рванул, что с треском швы на плечах разъехались.

– За что ж ты рубаху рвешь, гаврик? – завопил Маклак.

И в это время напротив, в избе бабы Насти Гредной, щелкнула задвижка волокового окна.

– Тихо, Телефон слушает! – цыкнул Чувал.

И все замерли, глядя на ту сторону улицы. В потемках в черном проеме окошка смутно серел, как бельмо на глазу, ситцевый плат бабы Насти. Настасья Гредная – баба вредная, говорили про нее на селе. И носила она новейшее прозвище «Телефон». Ни одна сельская новость не проходила мимо нее, перехватит, раздует, хвост привяжет и пустит по селу, как собаку на пяти ногах. Не гляди, что кривая, а видит сквозь землю. Высунет голову из своего волокового окошка да еще очко приставит к единственному глазу: «А? Чего там народ собрамшись?» Вот и притихли ребята, испугались, что завтра же обязательно по селу всем будет известно, кто с кем подрался да кто кого за ногу хватал...

– Погоди, счас я ее удоволю... – сказал Чувал и нырнул в перебежке к тому порядку улицы.

Он прокрался к ее соседу Корнею Климакову, снял потихоньку подтяжок с телеги, зашел с переулка к избе Гредной и как ахнет дубовым подтяжком в простенок, аж в окнах тренькнуло.

Баба Настя мигом скрылась, как сдуло ее, а из дому глухо, как из колодца, донесся голос Степана:

– Да что это за фулюганство! Иль топор брать, или в милицию итить. Иного выхода нет. Это не житье, а мученье.

– Ах ты, мерин саврасый! – возмущался прибежавший Чувал, тяжело дыша и ругаясь: – Выходит, мы ж и виноваты... Ну, погоди... Ребята, подь сюда!

Он отвел нескольких парней в сторону и, пригибаясь, полушепотом затараторил:

– Гли-ка, на заборе у них сохнут Степановы портки. Гредная их постирала. У Степана всего одни портки. Уж я знаю точно. Дак вот, когда Гредная их стирает, он спит, завернувшись в свиту. Я чего придумал? Давай Степановы портки затолкаем к ним в печную трубу. Утром проснутся – вот будет потеха.

С улицы разошлись поздно, уже на рассвете, когда третьи петухи прокричали.

Чувал с Маклаком подошли к избе Гредной, послушали, прислонившись ухом к стене. Тишина. Для безопасности заложили дверь на накладку, чтоб Степан на крыше их не застал. Маклак по углу залез на соломенную крышу. Чувал подал ему на шесте мокрые портки; тот этим же шестом и затолкал их в трубу. Вернулись в ночное довольные и веселые, хотя на Маклаке и была порвана рубаха. Спрячет, как-нибудь выкрутится.

Максим Селькин лежал у костра, приподняв свою гривастую голову. Остальные все спали вповалку.

– Ах, подсоски! – крикнул Чувал. – Мы им конфет принесли, а они спать? На баран их! Маклак, давай обрати! Вяжи их за ноги... Сейчас всех по росе перетаскаю.

– Не трогай их, робятки! – сказал Селькин. – У нас тут напересменку все налажено. Сперва я поспал, потом они... Таперика я за них караулю.

Федька выложил на ватолу конфеты.

– Ну, тогда и конфеты ешь за них, – сказал Чувал.

– У меня, робятки, зубов нету, – он прошамкал губами, потом с надеждой поглядел на пришедших. – А шкалик не прихватили для меня?

Чувал с Маклаком переглянулись.

– Мы взяли было шкалик, – сказал Чувал, – да на нас в Волчьем бандиты напали. Я этим шкаликом четверых уложил, а вон на Федьке рубаху изорвали.

– То-то я гляжу – рубаху попортили. Мотри, Федька, отец узнает, прибьет. Ох, робятки! Фулюганы вы все, фулюганы... Проголодались, поди? Вон картошка печеная. Поешьте.

Чувал с Маклаком набросились на картошку, а Селькин, оправляя костер, мечтательно сказал:

– Сон я видал чудной, робятки...

– Поди, со святыми угодниками водку пил, – прыснул Чувал.

– Не... Военный сон-то. Будто к нашему Тиханову немец подступил... Под самый овраг. И весь наш народ высыпал на Красную горку. Такая сила народу – пушкой не пробьешь. И все вооруженные: кто с вилами, кто с косой, кто с чем. И будто бы меня назначили главным полковником. Я беру кол и сажусь на Чалого. Ну, обращаюсь к народу, зовите попов! Пусть выносят иконы и херугвы... Пойдем супостата бить.

Вдруг с того конца лоцины от низкой впадины, заслоненной чахлым кустарником, раздалось залиvistое утробное ржание. Ребята вздрогнули, подняли головы:

– Чья это такая горластая, холера ей в бок! – выругался Федька.

– Это, робятки, мой Чалый. Это его голосок, – ласково сказал Селькин.

– Да он вроде бы немой у тебя, – сказал Чувал.

– Он зря не кричит... Когда наистея, тогда и голос подает. Стало быть, пора по домам. Будите робят.

– Постой, дядь Максим, а как же сон? – спросил Федька. – Немца-то отогнали от Тиханова?

– Отогнали.

– И далеко?

– Ажно до бреховского леса. Там пускай бреховские стараются.

Зиновий Тимофеевич Кадыков, председатель тихановской артели, неизвестно по каким делам был вызван в РИК. Исполком помещался на первом этаже огромного дома купца Каманина. Кадыков не бывал в этом доме более десяти лет. Когда-то, еще

до революции, он был взят мальчиком в каманинские магазины, стоявшие рядом с этим домом.

Поначалу, в восемнадцатом году, и дом и магазины были конфискованы. Но так как в Тиханове в те поры даже волости не было, то занять такие помещения было нечем. Магазины снова сдали частникам в аренду, а дом незаметно перешел опять во владение семьи Каманиных. Константин Илларионович, сын купца, служил доктором в волостной больнице и был человеком уважаемым.

И магазины и дом возвышались над Тихановым, как дубы над мелколесьем. Дом, построенный земством в девяностых годах прошлого века, стоял под зеленой крышей, с ажурными железными коронами над печными трубами, с широким резным карнизом, с развернутыми во всю ошелеванную стену наличниками, похожими на диковинную кружевную вязь. А низ был кирпичный, с четкими рустами, с высоким цоколем, разделанным под шубу... Внизу, внутри дома, стены были обшиты мореным дубом, а печи из белоснежного крупного кафеля... На втором этаже Кадыков никогда не бывал. Говорили, что полы там застланы паркетом. Мальчиков туда не пускали. Их место было в магазине да на складах на втором этаже над магазинами в широких и просторных помещениях, похожих на железнодорожные пакгаузы. Три магазина размещались в одном здании и помостом были обнесены, высоким, многоступенчатым, как паперть в церкви. Какая сила народу стекалась сюда в базарные дни... Теперь наверху, где были склады, разместились милиция, а из трех магазинов работал только один – промкооперация, а два других, сданных лавочникам Волгореву и Зайцеву, были еще зимой закрыты.

Странные дела произошли за этот год, думал Кадыков. Иван Зайцев, наживший на торговле в Тиханове за тридцать лет целое состояние, закрыл оба своих магазина, продал двухэтажный дом под райзо и укатил куда-то в Казань. Волгорев тоже закрыл магазин и уехал в Нижний... Даже дом свой оставил на произвол судьбы. И Константин Илларионович Каманин почти даром отдал свой дом райисполкому. Правда, взамен ему привезли новый сруб из кондового леса пятистенного дома с двенадцати окнами. Константин Илларионович просил поставить новый дом рядом со старым или хотя бы напротив. Но ему не разрешили... Рядом нельзя, потому как РИК, да еще райком... А напротив площадь решили оставить чистой для демонстраций. Тогда Каманин уволился из больницы, забрал свою семью – жену с детьми, мать старую, вдовую сестру – и уехал в Касимов. А в каманинском доме второй месяц, как разместились главные учреждения вновь созданного района. И неожиданно Тиханово выделилось на всю округу, и потускнела перед ним слава бывшего волостного села Желудевки.

Да и так, само по себе изменилось село, поотстроилось за каких-нибудь последних семь-восемь лет – прямо не узнать. На месте осиновых да березовых потемневших от времени изб с соломенными крышами, придавленными корявыми дубовыми приметинами, появились красные кирпичные дома с высокими цоколями из белого тесаного камня; вместо земляных да глинобитных подвалов выросли кладовые с железными крышами; улицы камнем замостили, мосты перекинули через овраги. Вот они что делают, государственные кредиты, да кооперация, да вольные промыслы, артели, торговля... Купцы разоряются, а кооперация стоит. Ну да и то сказать – налоги подсекают под самый корень купеческие доходы. Зато мужикам воля, – стройся, ребята, работай, торгуй на всю катушку. Артель сколотили – все льготы ваши. И всякая поддержка тебе и от властей, и от банка, и от торговых заведений. Что значит

кооперация... Милое дело.

Кадыков шел в райисполком в самом добром расположении духа. Зиновий Тимофеевич приятно удивился оттого, что в прихожей увидел старый каманинский ковер, плетеный в красную с желтым пашку, с длинными суровыми кистями по контуру. И диван стоял старый, тот самый, обшитый кожей, когда-то черной, но промызанной на сиденье до рыжины. А зеркала, высокого и узкого, в темной дубовой раме, стоявшего в углу возле вешалки, теперь не было. На диване сидела сторожиха – грузная Гликерия Борзунова, по прозвищу Банчиха, и вязала черный шерстяной чулок.

– Здравствуйте! – сказал Зиновий Тимофеевич, сам удивляясь – откуда вырвалось это вежливое словцо? Чтоб Гликерию величать, да еще на «вы»?

– Тебе куда? – спросила она, не отрываясь от чулка.

– В РИК вызывали.

– Обожди. Я сейчас... – Она сколола спицею вязку с клубком ниток и вышла.

– Ничего себе порядок, – усмехнулся Кадыков.

Он вспомнил, как здесь вот, на этом диване, сидели приказчики, поджидая дозволения от самого – пройти наверх, на доклад. Приглашала их Липа, тоненькая, беленькая горничная, носившая черные платья с высоким белым воротником. В нее влюбился младший сын Каманина, Костя, тогдашний студент Харьковского университета. В ногах у отца валялся, разрешения просил жениться. Но отец наотрез отказал. Тогда Костя ночью запряг рысака, посадил Липу и укатил в Пугасово. А оттуда – в Москву поездом. Год прожил с Липой, ребенка нажил и снова умолял отца... Не тут-то было. Тогда Костя подписал ей три векселя из своего наследного пая. Она приехала и вырвала у старика деньги. А Костя привез в жены из Харькова купеческую дочь – толстую необразованную хохлушку. Она конюха Ефима называла Юхвимом. И все приказчики смеялись.

Вошла Банчиха:

– Ступай! Тебя там Возвышаев ждет.

– А где он сидит?

– Тую комнату пройдешь... В ней, значит, управдел Митька Ботик. А дальше будет самого комната.

Возвышаев, председатель РИКа, встретил Кадыкова любезно – за руку поздоровался, в кожаное кресло усадил. Сам он сидел за обширным дубовым двухтумбовым столом, украшенным всякими резными мордами да фигурными наплывами. Они были хорошо знакомы еще по желудевскому волкому, а с открытием района в этой организационной суматохе встречались редко; всего дважды выступал у них в Тиханове Возвышаев – на пленуме сельсовета да на сельском сходе в трактире. Да еще в клубе виделись на районных совещаниях.

Возвышаев – мужчина осанистый, рослый, в защитного цвета френче с нашивными карманами, перехваченном широким командирским ремнем, в черных галифе, в шевровых сапогах бульдо с наколенниками, на высоких каблуках, начищенных до масляного блеска. И волосы у него блестят, припомажены, прилизаны, расчесаны так, что загогулиной на лоб приспущены. Лишь один плевым недостаток налицо – левый глаз немножечко, но все же косит.

– Рассказывай, Зиновий Тимофеевич, как дела в артели? – председатель откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.

– Чего про них рассказывать... Дела – они и есть дела. Их словами не меряют.

– Ну, это смотря по тому, какие слова. Есть слова поважнее любого дела.

– Что это за слова? – Кадыков сделал ударение в конце фразы по-пантюхински, чуть растягивая концевую гласную. Они, мол, подвывают, как смеялись в Тиханове над пантюхинскими.

– А те самые, которые определяют в политике линию главного направления.

– Да разве я против линии главного направления? – Кадыков вскинул острый подбородок, и его карие татарские глаза удивленно округлились.

– Не об этом речь... Ты скажи сперва – какая линия главного направления в текущий период для деревни? – Возвышаев правым глазом смотрел в упор на Кадыкова, а левым – куда-то в угол.

Кадыков невольно поглядел тоже туда, в угол; там стояла кафельная печь с начищенным бронзовым отдушником.

– Ну, какая линия? – Известно – строительство новой социалистической деревни, – уверенно ответил Кадыков.

– Попал пальцем в небо... Это задача во всемирном масштабе, понял? А в текущий период главная линия – ликвидация кулачества, как класса.

– Ну это само собой!

– Вот и расскажи, чем вы занимаетесь в артели?

– Как чем? Сейчас кирпич бьем, потому как самое время: яровые посеяли, лошади на лугах, навоз будем возить после Троицы... Сто тысяч уже обожгли... Думаем, до покоса еще тысяч сто отгрохать... А бригада каменщиков дома кладет. Капке заложили, а Косте Бердину заканчиваем. Под крышу подвели. Дальше нас не касается. Мы только кладем стены. По четыреста рублей за дом.

– Ты мне тут свой преysкурant не выкладывай. Меня не интересует, почему ты кирпич продаешь и за сколько дома кладешь. Я тебя вызвал, чтобы поговорить о классовом подходе. Все зажиточные элементы мы берем на строгий учет. И что же мы видим? Некоторые из этих элементов укрываются у тебя в артели. Персонально – Успенский и Алдонин.

– Какие же они элементы? – Кадыков вскинул опять подбородок. – Успенский счетоводом работает, подряды снимает, Алдонин на обжиге. Без него и печи не кладут, и челы не распечатают. Он лучшую хрущевку выдает.

– Это что еще за хрущевка?

– Известь комковая, негашеная... Первый сорт! Когда распускается – курицу в ней сварить можно. Однажды повезли мы ее в Свистуново на телегах, а брезента не взяли. Погода ясная. Вот тебе, до Прудков не доехали – облак налетел и хлынул дождь. Как она защелкает, задымит... Лошадей не видать. Скорей давай распрягать... Еле спасли лошадей. А телеги пожгли.

– Ты чего мне дым в глаза пускаешь? Тебе про Ивана, а ты про болвана. Я говорю – пригрелись у тебя кулаки. Давай вывод.

– Как пригрелись? Дак Успенский с Алдоным артель создавали.

– Во-во, еще интереснее! С какой же целью они ее создавали? С целью личного обогащения и маскировки. Понял? А сам ты страдаешь правым уклоном.

– Какой уклон?.. Что я, хромой, что ли?

– Бдительность у вас захромала.

– У нас все строго... на паях. Сам Успенский учет ведет. Какая ж здесь маскировка?

– Ничего ты не понял. Хорошо, давай подойдем с другого конца. Кто такой Успенский? Социальное происхождение?!

- Сын попа.
- О! Человек религиозного культа...
- Он же офицером был... Потом командиром в гражданскую... Военным столом волостным заведовал. Я еще козырял ему, когда со службы пришел.
- Вы ему и теперь козыряете. Нашли начальника... Бывший командир! Вот именно – бывший. Живет на широкую ногу в поповском доме... Рассматривать Успенского как скрытый элемент. От должности в артели освободить. Понял?
- Кадыков помедлил и сказал:
- Понял. А как с Алдониным?
- Алдонин... Алдонин пусть пока работает, поскольку в руководстве участия не принимает. Но учтите – никаких поблажек.
- Он же с броненосца – не то «Потемкин», не то «Марат». У него лента за революционные заслуги есть.
- Лента в сундуке лежит, а на дворе у него молотильная машина.
- Инвентарь у нас не обобщен. Что ж такого?
- А то самое... Перерожденец он. В кулаки метит.
- На его машине всем артельщикам хлеб молотят. Что ж тут плохого?
- Плохо то, что ваша артель не форпост социализма в деревне, а скорее наоборот – арьергард! То есть вы плететесь в хвосте колхозного движения. Хвостизм! Вот возьми брошюру товарища Митрофанова. – Возвышаев достал из ящика письменного стола небольшую книжицу в бумажном переплете и подал Кадыкову: – Во, «Колхозное движение». Здесь все написано. Хотя данный автор хромает на правую ногу. Учти это. Читай и готовься к обобществлению всего имущества.
- В нашей артели это не пройдет – тяжелый народ.
- Там посмотрим. А Успенского надо уволить.
- Возвышаев встал из-за стола, пожал Кадыкову руку и проводил его до двери.

Ничего себе гребля с пляской получилась, думал Зиновий Тимофеевич. Легко сказать – уволить Успенского... А с кредитами кто будет заниматься? Кто сведет счета в магазине? Кто подряд вести будет? Кто заработок выдаст? На Успенском вся артель держится. Ну, что он, Кадыков? Только считается председателем... А так – вместе с мужиками бьет кирпич, стены кладет да за прилавком стоит...

В артели был свой магазин: торговали скобяными товарами да хомутами, дегтем. Товары давало государство в кредит из расчета десяти процентов годовых. Прибыльная торговля! Магазин их стоял возле Капкина пруда на краю базарной площади. Там, при магазине, и конторка их была, где вел дела Успенский.

Шел туда Кадыков и думал: кой леший толкнул его, человека из Пантюхина, связаться с тихановской артелью. Село торговое, народ здесь избалованный, хитрый... Эх, голова два уха! Сидел он преспокойно в милиции, тушил пожары да воров гонял... Дело нехитрое, а главное – все зависит от твоей ловкости да сообразительности. Увидел белый дым – значит, солома горит, а если дым черный – жильё. Бей в набат, собирай народ, кого с бочкой, кого с ломом или топором, лопатой. И команду. Чего уж лучше! Так на тебе, скрутили его, обротали и в артель сунули. А он, дурак, еще и согласился... «Передний край социализма!..» Вот уйдет Успенский – и закукарекаешь на этом краю-то...

Мода на артели появилась в Тиханове года три-четыре назад после роспуска Скобликовской коммуны. Коммуну заложили еще в девятнадцатом году в имении



помещика Скобликова. Помещика выселили из большого дома в пятистенный флигель, оставили ему пару лошадей, сбрую для них, двухлемешный плуг и прочий инвентарь на единоличное хозяйство, а в большом доме расселились коммунары, приехавшие с железной дороги не то из Потьмы, не то из Моршанска... да еще несколько касимовских речников с потопленных пароходов. Коммуну заложили с размахом: объединить всех тихановских мелких производителей под красное знамя общего труда. И название придумали коммуне подходящее: «Заря новой жизни». И по широкому карнизу помещичьего дома натянули красный лозунг: «Да здравствует всеобщее счастье!»

Но тихановские мужики не торопились строиться в одну колонну с коммунарами и идти в поход ко всеобщему счастью. Местный острослов из Выселок Федот Иванович Ключев пустил по народу едкую присказку: «У них, в коммуне, порядок такой: кому на, кому нет». И за четыре года в коммуну вступили всего три человека: два тихановских кузнеца, Ларион Лудило да Левоу Лепило, да еще молотобоец Серган с Выселок. Лудиле и Лепиле положили жалование от коммуны, в поле они не ходили – стучали молотками в своих кузнях, плуги да бороны чинили коммунарские, да еще подрабатывали на заказах со стороны. Чего ж им не жить? А Серган, кроме права стучать молотом по наковальне, получил еще постель с чистым бельем в барском доме. Ему, бобылю из древней избенки, жизнь на готовых харчах да еще сон в тепле – показались земным раем. Но рай для Сергана оказался недолговечным: начался нэп. Коммунары поразъехались: кто подался опять на железную дорогу, кто на речные затоны, а кто двинулся в Растяпин на строительство новых заводов. В помещичьем доме открыли волостную больницу.

Скобликова на этот раз переселили на конец Выселок – дом ему построили всем миром – пятистенный, с открытой террасой, с бревенчатым подворьем. «Не обессудь, Михаил Николав... Живи на здоровье». А бедный Серган ушел опять в свою слепую двухоконную избушку.

Вот от Скобликова да Сергана и пошли по Тиханову артельные замашки. Первым сколотил артель Скобликов; он вывез из поместья токарный станок – сам был хорошим токарем и с братьями-колесниками Ключевыми организовал первую тележную артель. Получили кредиты, железо, наряды на гнутье ободьев в госфондовских дубках под Бреховом. Куда с добром! Веселое время наступило. За Скобликовым сколотили артели братья Костылины, тимофеевские ведерники. И эти получили кредит, железо... и даже лавку свою открыли – скобяными товарами торговали. Братья Амвросимовы создали настоящий кирпичный завод под Выселками – две печи обжига на полтора ста тысяч штук в год, пять сараев для выкладки сырца, глиномялку привезли из Москвы да известняк обжигали – выдавали первосортную комковую хрущевку. Работали почти круглый год – четыре брата с сынами: двухэтажные дома построили, дворы кирпичные под жестью... Мечтали кирпичной стеной обнести Выселки, как крепость... отгородиться от Тиханова. А тихановские тоже не дремали: молодые вальщики Андрей Колокольцев, по прозвищу Ельтого, да Иван Бородин вместе с молотобойцем Серганом пришли к Прокопу Алдонину, бывшему бакинскому слесарю:

- Ты воевал за коммунию?
- Воевал.
- Создавай артель.
- На какие шиши?

– А вот на какие... Мы вступили в потребкооператив. Получили две десятины на кирпичном. Пять ям отрыли. Глину бьем, аж лапти трещат. Три сарая заложили. И бревна и хворост привезли. Подключайся! Под печи обжига получим вексель. Вон, Амвросимовым, так тем дали деньги. Они даже в кооператив не вступали. А мы что, рыжие?

Прокоп Алдонин землю делил в восемнадцатом году. Его знали, ему верили. Он и деньги получил, и печи построил, и молотилку купил. А когда в артели перевалило за двадцать семей, пришел Успенский, бывший начальник волостного военного стола. Этот и бригаду каменщиков сколотил, и торговый оборот наладил.

Успенский сидел на табуретке посреди артельного магазина, а перед ним, прямо на крашеном прилавке, свесив сапожища, расселись двое мужиков: Федор Звонцов, подрядчик из Гордеева, да Иван Костылин, тимофеевский ведерник; курили, судачили насчет скорой Троицы. В Тиханове на Троицу и Духов день лошадей кропили, и по этому случаю устраивались скачки. У Звонцова и Костылина были рысаки, вот они и прикидывали: а не ударить ли по рукам? Не выехать ли в качалках на прогон, где обгонялись верховые? Дмитрий Иванович Успенский, пощипывая свою бородку клинышком – рыковскую, как говаривали в Тиханове, подзадоривал их:

– В базарный день Квашнин ко мне заезжал. Говорит, я бы выехал на прогон, да Костылин уклоняется. А я бы с ним, мол, потягался...

– Он уж тягался со мной одна, – Костылин лысый, с венчиком рыжих жиденьких волос, а усы густые, короткие, щеточкой. И нос навис сверху, давит на усы. – От Тиханова до Любашина по большаку стебали. Я от него на два столба ушел.

– Ну и что? – не унимался Успенский и подмигивал подрядчику. – Сколько он тебе проиграл в тот раз?

– Я ставил тарантас, а он быка-полутора.

– Дак он того жеребца продал.

– С горя...

– Так теперь у него объездчик, Васька Сноп. И тот говорит: уклоняется Костылин, боится проиграть.

– Я-то хоть сейчас. Ты видел у него нового жеребца? – спросил Костылин у подрядчика.

– Орловский караковый, – отозвался тот, блеснув зубами из черной окладистой бороды. – По-моему, со сбоем.

– Ххе! – выдохнул радостно Костылин. – Орловский, да еще со сбоем... Куда ему супроть моего Русака?

– А я слышал от Андрея Акимовича, что Квашнин на Рязанских бегах приз взял, – сказал Успенский.

– У Андрея Акимовича жеребец тоже со сбоем, – сказал подрядчик.

– Боб со сбоем?! – удивился Успенский.

– Ну, Боб...

– Он же на масленицу на целый корпус обошел твоего Маяка!

– У меня в простой сбруе был. Чересседельник ослаб... – гудел широкогрудый подрядчик. – Хомут на мослаки давил... Хлопал, что твои пехтели...

На вошедшего Кадыкова не обратили внимания Тот по-хозяйски прошел в контору и бросил на ходу:

– Дмитрий Иванович, зайди на минуту.

– Сейчас. Ну, вешать колокол на прогоне? Сбивать трибуну?

- Да я что, как другие... – отозвался Костылин.
- Андрей Акимыч приедет? – спросил подрядчик.
- И Андрей Акимыч, и Квашнин приедут.
- А из Высокого?
- Все приедут.
- А Черный Барин?
- Приедет.
- Тогда и мы приедем, – сказал подрядчик.

Успенский встал:

- Ну, по рукам!

Они хлопнули друг друга ладонями.

- И трибуну и колокол я беру на себя. О призах договоримся потом. Пока!

– Ну и потеху устроим на Духов день, – говорил возбужденно Успенский, входя в конторку. – Квашнина я еще на той неделе раздухарил. Он спит и видит себя первым. Отыграться перед Костылиным хочет. Ваську Снопа нанял. Тот говорит – я те поставлю жеребца на ноги. Я те, говорит, так выезжу, что строчить будет, как машина «Зингер». Гони, говорит, литру самогонки в день. Проиграет Квашнин свой хутор. Потеха!

– погоди тешиться, – хмуро сказал Кадыков. – Сейчас я лавку закрою... Поговорить надо без свидетелей.

- А что случилось?
- С репой поехали...

Кадыков с лязгом закрыл изнутри железную кованую дверь на длинный крюк, толкнул сквозь растворенную форточку такую же тяжелую железную створку окна; она со скрежетом поехала наотмашь и глухо стукнулась о кирпичную стену. Окно было маленькое, под железной решеткой, стена толстая... Солнечный свет падал вкось и освещал только оконный откос. В лавке стало сумрачно.

– Что за конспирация? – усмехнулся Успенский, ходивший по пятам за Кадыковым.

Тот не ответил, сел за стол, закурил сигарку.

– Ты знаешь, что я подумал? – не унимался Успенский. – Из нашей лавки может получиться неплохая каталажка.

- Сколько тебе лет, Дмитрий Иванович? – спросил неожиданно Кадыков.
- Тридцать третий миновал. А что?

В черной сатиновой косоворотке, ладно облежавшей его статную сухую фигуру, перехваченный узким ремешком, в хромовых сапожках, подвижный и легкий, он выглядел бесшабашным парнем-гулякой, и даже светлая кудрявая борода не старила его.

– Во! За тридцать перевалило, а ты все бегаешь на скачки, на бега... Холостой вон... Не по возрасту.

– Зиновий Тимофеевич, да ты, никак, мне нравоучение задумал прочитать? Вот не ожидал! Тебе самому-то сколько? Поди, не старше меня.

- Младше на пять лет. Не в том дело.

– Эге! Видишь, молод еще, молод наставления мне читать. Впрочем, я помню тебя еще мальчиком, в магазине у Каманиных. В войну, кажется... Я на побывку приезжал, студентом.

- И я тебя студентом помню. А как ты в офицеры попал?

– Ушел вольнопером на фронт. Получил прапорщика, потом подпоручиком стал... Накануне последней революции. Да ты чего допрашиваешь? Что у тебя за дело?

Кадыков пыхнул дымом и, глядя в окошко, сказал отрешенно:

– Возвышаев меня вызывал.

– Возвышаев! Как же-с, знаю. В одном департаменте служили, в Желудевской волости. Я начальником военного стола, а он секретарем. По-старому говоря, писарем. Красивый почерк имеет. И сам аккуратный... Скромного не пьет, – Успенский нервно усмехнулся. – И что же он соизволил сказать? Артель ему наша не нравится?

Кадыков сидел за столом на табуретке, а Успенский напротив на скамье, опираясь о стенку.

– Да ты чего в окно смотришь? А то и я начну в окно глядеть.

Кадыков мельком взглянул на него и выдавил:

– Уволить тебя приказал...

Успенский присвистнул:

– Причины?

– Социальное происхождение. Говорит, сын религиозного культа.

– Ага! А ты не сказал ему, случаем, что Добролюбов и Чернышевский тоже были из поповичей? И академик Павлов семинарию кончал...

Кадыков молча курил и глядел теперь в пол себе под ноги.

Успенский вдруг хлопнул себя рукой по лбу:

– Постой! А ты читал книжку Тодорского «Год – с винтовкой и плугом»?

– Нет, не читал.

– Между прочим, этот Тодорский тоже бывший офицер и сын попа. А ведь его Ленин часто цитировал, даже говорил, что беспартийный Тодорский лучше понимает смысл построения социализма, чем некоторые коммунисты. И особенно Ленин высоко оценил главу из этой книги насчет построения на кооперативных началах хромового завода и лесопилки с привлечением в дело бывших промышленников.

– Ну, ну? – поднял голову Кадыков.

– Там есть одно место, я прочту его тебе по памяти. Ленин его цитировал. А написано там примерно вот что: это еще, мол, полдела – ударить эксплуататоров по рукам, доконать их. Главное – надо привлечь их в дело, заставить работать этих специалистов, помочь их же руками улучшить новую жизнь и укрепить Советское государство... Вот в чем гвоздь! Вот поэтому Ленин и говорит, что некоторые неразумные партийцы не только что старым специалистам, матери родной не доверяют строить социализм.

– Дак на то он и Ленин, – сказал Кадыков. – А вот придет к нам на чистку госаппарата Возвышаев, вычистит тебя с треском и на ту книжку не поглядит. И попробуй устройся тогда на работу. Тебе же лучше будет, ежели ты теперь сам уйдешь.

– Н-да, пожалуй, ты прав. – Успенский встал, прошелся по каморке. – Ну что ж, брат Зиновий. Пора и честь знать... Засиделся я тут у вас в счетоводах.

– Какой ты счетовод? Ты – председатель. Все дело на тебе. А я так, для видимости. Ты уйдешь – и артель развалится. И удержать тебя мы не в силах.

– Хороший ты мужик, Зиновий... Честный, а вот не понимаешь текущего момента, как сказал бы Возвышаев: руководящая основа должна быть чиста от чуждых элементов. А я и есть чуждый элемент.

- Чего?
- Изгой. Понял? Раньше, еще до крепостного права, был такой термин на Руси. Изгой! Ну, вроде безземельного крестьянина.
- Почему ж? У тебя есть земля. Надел имеешь по всем правилам.
- По всем правилам, говоришь? А по какому правилу уволили меня из волости? Я два года провоевал в гражданскую... Ротой командовал.
- Об чем разговор? Разве тебя кто винит?
- Вот именно. Кто меня винит? Ни-икто. – Успенский нервно хохотнул. – Меня всего лишь не допускают в руководящий сектор. Мне отводится так называемая среда обслуживания. Всяк сверчок знай свой шесток. – Он сел на скамью и запрокинул голову к стене.
- Помолчали.
- Куда ж ты теперь пойдешь? – нетерпеливо спросил Кадыков.
- Не знаю, брат Зиновий... Признаться, мне и самому надоело возиться с землей, да с кирпичами, да с подрядами. Все ж таки я в университете учился... Правда, не кончил – война помешала...
- Вон, в Степанове новую школу открывают... Второй ступени. Учителя, говорят, нужны...
- Тоже дело... Одно жаль – с Тихановом расставаться. На крючок я сел.
- Что за крюк?
- Есть, брат Зиновий, такая штука – потрогать ее не потрогаешь, а чуешь инда печенками...

## 5

Дмитрий Иванович Успенский был известен в Тиханове как человек необыкновенный, то есть чудак. Жил он бобылем, по деревенскому понятию тридцатилетний человек – не холостяк, а уже бобыль. Жил он весело, шумно, как говорится, на широкую ногу: играл в карты, пил в трактирах, принимал гостей.

А чего ему не пить? Жалованье от артели он получал хорошее, дом оставил отец просторный – на высоком фундаменте, из красного лесу, под железной крышей и стоял на краю села: удобно! Лишний кто заглянет – никто не увидит. И добра оставил отец полную кладовую, да еще двух коров симментальской породы, да серого мерина-битюга, хоть сто пудов клади – увезет. Эх, такое хозяйство да в хорошие бы руки! А этот и коров и мерина держал в людях на прокорме. Правда, деньги кой-какие шли ему, да все не впрок. И до нарядов был он не охоч, больше все простые рубашки носил да толстовки. Но сапоги любил. Этих был у него целый набор, по любой погоде: и тяжелые бахилы, что твои корабли, в любую грязь плыви – не потонешь, и хромовые посуху, и даже мягкие кавказские сапожки из желтого шевро, как шелковые, хоть в карман клади. Да ружья любил, да собак. Люди снисходительно извиняли его, говоря:

– А что ж вы хотите? У него корень сырой. Яблоко от яблони недалеко падает.

Намекали при этом на покойного отца, батюшку Ивана.

Тот по большим праздникам не только что за день, за два дня не мог села обойти. Начнет обход честь честью: дьякона прихватит, псаломщика, богоносцев... А кончит в одиночестве, где-нибудь за гостевым столом, заснув на собственном локте.

– Питие есть грех первородный, – говорил, опамятовшись. – Еще князь Володимир сказал: издревле на Руси веселие – пити, не можем без этого жити. А он – наш первокреститель.

Так, бывало, и ходит по приходу: где нарукавники позабудет, где камилавку<sup>3</sup> потеряет. Отцу Ивану такой грех прощался, ибо его дело обрядное, а где торжество, там и веселье. Не поп за службой, а служба за попом ходит. Стало быть, проспится – свое наверстает. Попово от попа не уйдет.

А Дмитрий Иванович не поп. Ему откуда притечет? Ему самому взять надо, а у него руки худые. Тридцать лет, а рассудка нет – все светом дурит. Гляди, на старости лет и все отцово добро просвищет. Вот почему девицы самостоятельные из богатых семей не больно и пошли бы за него, а которых ветер гоняет, он и сам не возьмет. Так сот и жил бобылем. Жил припеваючи, пока не появилась в Тиханове Обухова Маша.

Он и раньше знал ее, когда она работала в Гордеевской школе учительницей. Года три назад, будучи еще волостным военкомом, он заехал в лесную деревню Климушу, к своему приятелю Бабосову, тоже учителю. Время было осеннее, дождливое... Выпили... Куда идти?

– Пошли в Гордеево к Настасье Павловне Кашириной! У нее две учительницы квартируют. – Бабосов взял гитару на розовой ленте, через плечо надел, как двустволку: – Потопали!

Каширина жила на отлете от Гордеева, возле самой речки Петравки. Дом у нее большой, с открытой верандой на реку, вокруг сад фруктовый с липовой аллеей, с акациями, с пчельником. Поместье! Каширина держала раньше паточный завод на Петравке. Завод отобрали у нее еще в восемнадцатом году, а дом и сад оставили. Вроде бы сын у нее был, и занимал он большой пост где-то в Москве.

Успенский запомнил с того налета широкие крашенные половицы, жарко натопленную изразцовую печь, возле которой стоял граммофон с большой зеленой трубой и книги в шкафах. Книги... Многотомный Чехов в вишневом переплете, Писемский, Григорович, весь «Круг чтения» Толстого и целыми кипами «Нива» – за все годы и месяцы. Хозяйка статная, благообразная, в золотом пенсне, белый шерстяной плат на плечах, белые волосы... Вся точно простирана, точно только из-за аптечного прилавка появилась. Девицы принарядились, вышли в залу, как на праздник: меньшая ростом Варя Голопятова в синем платье с зелеными оборками по подолу, в высоких, почти до колена, часто шнурованных ботинках-румынках, такая кругленькая, пухленькая, обрадовалась Бабосову, защебетала:

– Коля, Коля, сходим в поле, поглядим, какая рожь!

– Поглядим, – говорил Бабосов. – Вот погоди, стемнеет – тогда посмотрим, где чего созрело.

А она раскраснелась, глаза блестят, от щечек огоньком пышет, хоть прикуривай.

Обухова держалась строго, деловито, подала сухую крепкую руку, представилась коротко:

– Маруся.

Успенского поразила ее яркая, какая-то необычная, неправильная красота: лицо удлиненное, бледное, с выдающимся подбородком и чуть впалыми щеками, нос прямой, длинный, со степными ноздрями, а глаза, как прорези на маске, – темные, глубокие под напуском припухлых век. От этого лица веяло силой и открытой самоуверенностью. Когда она заводила граммофон, свет, падавший вкось от зеленого абажура, пронизал ее легкое розовое платье, и на какое-то мгновение она показалась ему совершенно обнаженной: и полные крепкие плечи, и перехваченная поясом узкая

---

<sup>3</sup> Шапочку священника.

талия, и мощные длинные ноги... У него аж в глазах потемнело. Танцевала она долго, неутомимо, и всегда ее правое плечо зарывалось, уходило вбок, точно в воду скользило, увлекая его за собой: так, вальсируя, они непременно оказывались в каком-либо углу.

– Ну, что же вы? – говорила она с досадой. – Или круг вам тесен?

– Не могу устоять, – отшучивался он. – Влечет меня неведомая сила.

Пили домашние наливки, густые и сладкие, как патока. Бабосов, весь красный, с длинными льняными волосами, запрокинув голову, важно насупил брови и, поводя носом, словно к чему-то принюхиваясь, запел под гитару:

Вот вспыхнуло у-утро, румянятся во-о-оды...

Ему подпевала дрожащим голосом Варя, смешно выпятив нижнюю губу.

– А вы что не поете? – спросил Успенский Марию.

Ответила просто, без тени смущения:

– Не умею.

А потом вышли гулять, разошлись в темном саду парами. Успенского разобрало то ли от выпитого, то ли от близости к ней. Он стал велеречиво объясняться:

– Вообразите себе путника, долго идущего по сухой степи. Одежда на нем пропылилась, душа жаждет, истомленная одиночеством и зноем... И вот встречает он на пути свежий, никем не замутненный ручей. Оазис! Вы и есть оазис. – Он притянул ее за руку, пытаясь обнять.

– Не надо!

Она вырвала руку и быстро пошла на террасу. Он догнал ее у самых дверей и полез целоваться. Она так сильно оттолкнула его, что он стукнулся головой о стенку. Потом ушла в сени, захлопнув дверь перед самым его носом. Да еще сказала из сеней:

– Не приходите больше! Оазис...

Он ушел тотчас, не дожидаясь Бабосова. Потом дня три переживал и кривился: «Ч-черт! Как это меня угораздило в такую пошлую фразеологию? Подумал – глушь, провинция... Все сойдет».

Переживал скорее от уязвленного самолюбия, а не от того, что знакомство оборвалось.

– Бог дал – бог взял, – говаривал он в таких случаях.

И только этой зимой, когда Обухову перевели в Тиханово инструктором в райком комсомола, встретившись с ней в клубе, лицом в лицо, он почувствовал, как захолонуло у него в груди. Она подала ему руку, как старому знакомому, ничем не напоминая о той размолвке, и они мало-помалу сошлись, стали друзьями.

Теперь, узнав о своем увольнении от Кадыкова, он беспокоился только об одном – как встретит это известие Маша. Поймет ли она, что ему нечего больше делать в Тиханове? Он должен уехать. Куда? А вдруг она скажет: а ей что за дело? Жена она, что ли? Поезжай куда хочешь. На все четыре стороны. У меня, мол, своя жизнь и свои цели. Уж если по-серьезному разобраться, так что он ей за пара? Она – пропагандист, видное лицо в районе, будущий секретарь комсомола. А он – в лучшем случае – учитель в глухомани. Пойдет ли она за ним? Куда? В дальнюю деревню, в дыру, из которой только что вылезла на свет божий?!

Так думал Дмитрий Иванович, идя вечером к Бородиным, где жила Маша Обухова.

У Бородининых былолюдно и светло по-праздничному: над столом в горнице висела лампа-«молния» под зеленым абажуром. Окна были растворены. Ночной свежий ветерок шевелил тюлевые занавески и белые коленкоровые шторы. За столом сидели и курили мужики. Хозяйка, Надежда Васильевна, и Маша прислуживали им. На Маше была белая кофточка и темно-синяя юбка, волосы перехвачены светлой газовой косынкой. Она смахивала на учительницу, ведущую урок. А Надежда Васильевна была в красном переднике и с таким же красным от огня лицом – она жарила яичницу на тагане и одновременно продувала сапогом самоварную трубу, отчего искры желтыми брызгами вылетали из нижней решетки самовара. Женщины сутились в летней избе, и Дмитрий Иванович заметил их первыми.

– Бог на помочь! – приветствовал он, переступая порог и слегка кланяясь.

– Милости просим, – отозвалась от самовара Надежда Васильевна. – Проходите в горницу к столу. Гостем будете.

Маша улыбнулась ему и сделала знак рукой – проходи, мол. Она ставила на эмалированный поднос тарелки с закусками, гремела вилками.

В горнице кроме хозяина, Андрея Ивановича, сидело четверо: председатель сельсовета Павел Митрофанович Кречев, здоровенный детина в защитной гимнастерке, стриженный под Керенского; секретарь его Левка Головастый, вертлявый недоросток с птичьей шеей и бабьим голоском; Федот Иванович Ключев, по прозвищу «Сова», про которого говорили: «Этот на локте вздремнет и снова на добычу улетит», – сидит смиреннько, степенно, усы рыжие покручивает, но глаза не дремлют: хлоп, хлоп, как ставни на ветру; да еще Якуша Савкин, голое, словно облизанное коровой, калмыцкого склада лицо его вечно маячило на сходах и собраниях, поближе к председателю, потому как член актива, бедняцкий выдвиженец. Он и теперь придвинулся поближе к Кречеву. Сам хозяин сидел с торца стола в синей косоворотке, подпоясанный лакированным ремешком. Курили всласть, с потрескиванием самокруток и шумно, вперебой разговаривали.

Хозяин подал Успенскому табурет, остальные только головой кивнули: подключайся, мол.

Разговор шел откровенный, потому как все собравшиеся были членами сельсовета. Речь держал Кречев, пересказывал свою стычку с Возвышаевым:

– У тебя, говорит, либеральное благодушие. Объявлена экспроприация, то есть наступление на кулачество. Где это объявлено? Покажи декрет. А Возвышаев мне в упор: «Ты читал решение ноябрьского Пленума?» Читал, говорю, что печатали. Но там экспроприации не видел. Может, ты мне покажешь? Он туда-сюда, верть-верть. А для чего, говорит, чистка партии и госаппарата объявлена? А я ему: при чем тут кулак? Это ж борьба с бюрократизмом. Эх, он аж со стула привскочил. Бюрократизм и кулак – родные братья, кричит. А ты, мол, страдаешь правым уклоном. Я с кулаками боролся и буду бороться. Но покажи мне, где написано насчет экспроприации? В каком декрете? Тут он мне и выдал: «Ты читал решение о создании совхозов-гигантов?» Читал, говорю. «Вот это и есть наступление на кулачество». Здорово живешь! Совхозы не ЧОНЫ, им не воевать, а хлеб растить. А он мне – ты потерял классовое чутье. – Кречев в недоумении разводил руками; из-под гимнастерки у него угловато выпирали плечи и локти, словно склепан был он наспех из нетесаных поленьев.

– А чего ему надо? – спросил Федот Иванович.

– Создать надо, говорит, всеобщий колхоз. А эти карликовые артели распустить. Они, мол, кулацкие... Ложные.



– Выходит, я в кулаки вышел? – Федот Иванович, вылупив и без того большие желтые глаза, уставился на Кречева; он создал тележную артель и уловил намек на собственную персону.

– Зачем зря говорить! Ты наемным трудом не пользовался, – сказал Якуша.

– Да нет... Конкретно никого не обвиняли. Говорили об усилении классовой борьбы, – отозвался и Кречев.

– Про это же оппозиция долдонила! – удивился Якуша.

– При чем тут оппозиция? – обернулся к нему Кречев. – Ее ж разгромили.

– А последыши ее вякают, – не сдавался Якуша.

– Чего ты мелешь! – одернул его Левка Головастый. – Ты же сам стоишь за усиление!

– Я за усиление рабочего класса в союзе с беднейшим крестьянством, – заученно отчеканил Якуша.

– Да ну тебя в болото, – махнул рукой Кречев.

– Это что ж за классовая борьба? Как в двадцатом году, что ли? – спросил Андрей Иванович.

– Ну вроде, – ответил Кречев. – Поскольку успехи наши налицо: деревня живет лучше, индустриализация пошла вверх. Темпы появились. Газеты читаешь? Ну, вот, социализм, значит, укрепился, а мы должны усилить контроль, бдительность.

– Почему? – спросил Федот Иванович.

– А я почему знаю, – ответил Кречев. – Такая, говорит, установка теперь. А может быть, сам выдумал. Всех, кто поднялся на ноги, говорит, надо брать на учет...

– А как же насчет лозунга «обогащайтесь»? – спросил Федот Иванович.

– Бона, чего вспомнил! Это когда было-то? Года три назад.

– Да разве за месяц разбогатеешь? Или что, год прошел – и заворачивай оглобли в другую сторону? – подавался грудью на стол Федот Иванович.

– А ничего. Как жили, так и будем жить, – пропищал Левка Головастый, и все засмеялись.

– Правильно, Лева! – Федот Иванович легким движением пальцев размахнул в разные стороны седеющую, аккуратно подстриженную бородку.

Маша принесла поднос с закусками, стала расставлять тарелки на столе: прикопченное, с розоватым оттенком свиное сало, толстая и красная, как недоваренное мясо, колбаса Пашки Долбача, бьющая на аршин чесноком, зеленый лук, крупно нарезанный хлеб и курники с картошкой...

Потом Надежда Васильевна поставила на конфорку посреди стола пылающую чугунную жаровню с яичницей, две поставки темной, как гречишный мед, браги, а водку Андрей Иванович достал откуда-то из-за комода.

– У вас тут прямо ураза, – усмехнулся Кречев и поглядел на Успенского. – Это что, к вашему приходу готовились?

– Павел Митрофанович, вы сегодня первым пожаловали, – сказала Маша. – Вы и есть виновник торжества.

– Он власть... Он чувствует, где пирогами пахнет, – также усмехаясь, поглядывал на Кречева Успенский.

– Будет вам тень на плетень наводить, – крикнула от порога Надежда Васильевна, она побежала за рюмками. – Угощение осталось от праздника. Андрей, скажи, какое веселье выпало нам на Вознесение.

– Они знают. – Андрей Иванович поставил две поллитровки на стол, откупорил

пробки, залитые белым сургучом. – Вознеслась моя кобыла... А мы гостей собирались пригласить... Все ж таки праздник.

– А что слышно про кобылу? На кого думаете? – спросил Кречев.

– Думает знаешь кто... – Андрей Иванович стал разливать водку в граненые рюмки. – Ты вот говоришь – обострение классовой борьбы. А знаешь, как у нас поступали с конокрадами в такие годы обострения?

– Да вроде бы слышал, – ответил Кречев.

– Живьем жгли! – с силой произнес Андрей Иванович. – А то на морозе холодной водой обливали. В сосульку превращали. Мне конокрадов не жалко. Им поделом. Но видеть обозленный, озверевший народ – упаси господь! Ну, поехали!

Все дружно подняли рюмки, чокнулись и выпили, крикая, точно с мороза, и закусывая.

– Ты, Павел Митрофанович, хотя и недалкий, но все ж таки приезжий из города. Да и молодой еще, чтоб хорошо судить о двадцатом годе, – сказал Андрей Иванович, скручивая сигарку.

– Мне двадцать три года, – вскинул голову Кречев.

– Это не возраст, – усмехнулся Федот Иванович.

– Да вы что? Вон в гражданскую войну в восемнадцать лет полком командовали!

– Командовать одно дело, а жить – другое. – Андрей Иванович, попыхивая сигаркой, начал свой рассказ: – Вот слушайте. Повಾದились у нас в девятнадцатом году коней угонять. Сначала угоняли с лугов, как у меня теперь кобылу... А потом до того обнаглели, что крали с выгона. У моего тестя двух чистокровных жеребят угнали – Карего и Гаврика. Объяезженных жеребят!.. По четвертому году пошло. Да ведь откуда угнали? С ночного. Шуряк мой уехал вечером на кобыле с двумя жеребятами, впристяжку. А утром возвращается один. Где лошади? Проспал, так твою разэтак?! Нет, не спали. Ночью, говорит, переполох был: лошади заржали и метнулись к костру. Мы, говорит, думали – волк. Ну, пошли в обход. Согнали лошадей поближе к костру. Считаем... Нет Карего и Гаврика. Сели на лошадей – туда, сюда поскакали. Нет их, и след простыл. Ну, тесть волосы на себе рвал. Месяца два по всей округе ездил, все базары искрестил. Так и не нашел. Дальше – больше... С весны двадцатого года что, бывало, ни день, то оказия. Из Гордеева угнали, из Желудевки, из Прудков... У нас в Тиханове лошадей десять угнали! Жеребца у Малафеева, у Мишки Бандея рысачку... Была у него Лысая кобыла – картина. Да что там породистые? У Маркела мерина угнали. Шерстистый был, заморыш. И тем не побрезговали. Вот мужики и озверели: «Поймать мироедов!» А тут еще красноармейцы с войны возвращались, да подкинули жару: кто, говорят, поднял руку на трудового крестьянина, тот есть классовый враг. А с классовым врагом расправа известная – к ногтю! Мы теперь сами хозяева. Расправляться научились. Ну, ладно, стали ловить классовых врагов. Но как? В овраге день и ночь сидеть не станешь... Взяли на заметку мужиков, которые лошадьми торговали. Кономенов: Лысого, Салыгу, Страшного, Горелого... И потихоньку, назерком сопровождали их на базары да на ярмарки. И вот однажды в Агишеве на базаре у Лени Горелого опознали краденую лошадь. Народ собрался... Шум, гвалт. Милицию позвали. Стали протокол составлять: ты чей? Он испугался... И говорит – я чужой. С тех пор его и прозвали Чужим...

Все засмеялись и выпили еще по рюмке водки.

– Это кто? Синюхин, что ли? – спросил Кречев.

– Он самый, – ответил Федот Иванович.

– Дак его что, забрали тогда?

– Нет. Милиция свое дело сделала, протокол составила... Лошадь отобрали, вручили законному владельцу. Леня Чужой прикинулся обманутым. Ну, ступай. Впредь будь разумным... Не попадайся на обман. Ладно. Продал он кое-как с перепугу остальных лошадей, поехал домой... А там в лесу его свои ждали. Цоп за уздцы лошадь. Останавливайся! Приехал! Он бежать. Его за шиворот – топорик показали: кто привел тебе краденую лошадь? Говори! Или душа из тебя вон. Чужой видит – дело плохо. Это тебе не милиция. Соврешь – хуже будет. Куда от них денешься? Свои! Он и признался – Мишка Савин привел. С кем? Фамилии не знаю, а по имени – с Игнатом. Ну, те к Савину. Явились ночью. Стучат. Хозяин дома? Хозяйка спрашивает из сеней: «Кто такие?» Ей тихонечко в дырку, через щеколду: свои, мол, от Игната. Лошадок привели. Она им так же шепотком: в Желудевку ступайте... Они у Никанора Портнягина. Третий двор с краю, от леса. Ребята прихватили с собой еще Мишку Бандея, Малафеева... Два ружья зарядили и впятером нагрязнули в Желудевку к тому Портнягину. Сперва во двор заглянули – три лошади стоят. Потом постучали... Хозяина ложей оглоушили и связали. Савин убежал через задние ворота. А Игната живьем взяли. Сунули стволы в брюхо – не шевелись! не то кишки выпустим. Одна лошадь оказалась хозяйская, две – краденые. Откуда? Игнат молчит. А хозяин признался: я, говорит, ребята, с ними не якшался. Только на ночлег пустил. А лошадей они из Еремеевки пригнали. Послали в Еремеевку. К утру и хозяева явились. Признали своих лошадей. Игната тоже узнали. Касимовский шибай оказался... Ударили в набат – все села окрестные сбежались. Убить ирода! Живьем растерзать!

Привязали его к телеграфному столбу возле почты. Рубаху спустили с него, сапоги сняли, одни портки оставили, чтоб срам прикрыть. Граждане, говорит Бандей, давай судить по совести. Давайте судью выберем. А еремеевский мужик, который лошадь свою признал, зашел от столбца да как ахнет того конокрада калдаей от цепа по голове. Тот и язык высунул. Вот ему и закон! Тут все как с цепи сорвались: кто хворост несет, кто солому, кто спички чиркает и прямо к волосам конокраду подносит. Живьем сжечь! И не успели толком оглянуться, как уж костер запалили под конокрадом. Только охватило его огнем, он очнулся и закричал. А толпу этот крик лишь подстегнул: жги его, ирода! Повыше подложи! Сунь ему под ширинку, пусть покорчится. Да что вы делаете, окаянные? Столб телеграфный сожжете! Тогда копай яму! Живьем его в землю! Закопали. И яма-то неглубокая. Так верите – часа полтора еще земля шевелилась...

Андрей Иванович как-то сухо кашлянул и налил еще по рюмке. Выпивали и закусывали молча. Надежда Васильевна и Маша присели на деревянный диван, обтянутый черной клеенкой, и тоже молчали.

– И никто не заступился? – спросил наконец Кречев.

– Какое там заступиться! Я же говорю – все были как ошалелые. Игната зарыли – бросились к Портнягину. Тот: я не я и лошадь не моя. Нет, врешь! Не способствуй! Избили его до полусмерти. Бьют его, бьют – отольют водой из колодца и опять лупцевать. У лошади его гриву остригли, хвост отрезали по самую сурепицу. Жену его остригли и по селу сквозь строй прогнали. Заплевали! А потом гаркнули: Савина вешать! Где Савин? Вся толпа хлынула в Тиханово. Дома его не нашли. Все стекла повыбивали. Плетень растащили, воротница со столбов сняли, расщепали и сожгли посреди села. А Савин в Волчьем овраге спрятался, в Красных горах. Переждал до ночи, а ночью прокрался в Тиханово да Леню Чужого поджег. На беду ветер сильный

был. Ну, прямо ураган разыгрался. А изба Чужого была щепой покрыта. Так, веришь или нет, эту горящую щепу за версту несло. Загорелось сразу в нескольких местах – на трех, на четырех улицах. Половина Тиханова к утру сгорела. Полсела очистило, по конную площадь...

– Озлобление на бытовую тему, – усмехнулся Кречев.

– Не знаю, на какую тему. Но озлобление до добра не доводит.

– Ты прав, Андрей Иванович, – вступился Успенский, волнуясь. – Тут вся штука вот в чем: всякое озлобление портит народ. Расшатывает его нравственные устои... Одни вашу борьбу принимают чисто теоретически, по-конторски, так сказать; обсудили и пришили в дело. А другие возьмут как сигнал для сведения счетов. А там где насилие, там и зло. Вы сами не заметите, как изменитесь. И думаете, к лучшему?

– Не знаю, как другие, а я лично не собираюсь меняться от того, что кто-то с кем-то хочет счета сводить, – сказал Кречев. – Революция тоже есть насилие. Но разве революция порождает зло?

– Революция – это другое, – отмахнулся Успенский. – Революция есть взрыв от действия насилия, то есть это контрдействие насилию. Я не против революции. Я ж говорю о том, что нельзя давать права одним, повторяю, сводить счета с другими. Пора жить впритирку, приноравливаясь друг к другу. Терпеть друг друга... Хотя мы понимаем, что люди разные и думают по-разному. А жить обязаны вместе... Вместе, а не врозь! – закончил он возбужденно, на высокой ноте, метнул быстрый взгляд на Машу, потом потянулся к поставке и слегка подрагивающей рукой налил себе в стакан густой пенистой браги.

Маша потемневшими от возбуждения глазами прикованно смотрела на Успенского.

– Да, сказано: не живи как хочется, а как бог велит, – произнес назидательно Федот Иванович, пальцами в сторону разгоняя бороду.

– Да при чем тут бог? – возразил Кречев. – И никто вас не заставляет жить поневоле. Просто я вам рассказывал об усилении борьбы.

– И вся-то наша жизнь есть борьба! – продекламировал Якута и хохотнул. – А насчет разных людей, это ты правильно сказал, Дмитрий Иванович. В тот раз, когда Тиханово горело, одни мужики воду качали, в огонь лезли, а другие возле казенки<sup>4</sup> собрались и ждут – когда она загорится, чтобы водку растащить.

– А Вася Соса рубаху с себя снял, намочил ее да голову повязал. Теперь мне, говорит, ништо. И в горящую казенку нырнул. Дак ему пупок поджарило, инда шкура треснула, – сказал Левка Головастый, и все засмеялись.

– Вам, мужикам, лишь бы отравы этой нализаться. А там хоть сгори все синим пламенем, – подхватила свое Надежда Васильевна. – Вы за водкой и про власть забываете. Вам все едино.

– Ты, Надюша, не в ту сторону поехала, – возразила ей Маша. – Говорят о том, что стихию надо держать в рамках. Беда, если она расхлестнется.

– А водка не стихия? Это самая зловредная стихия. Хуже пожара. Через нее и воровство идет, – стояла на своем Надежда. – Возьми тех же конокрадов. Пьяницы они. Или вон Ганьшу. Через водку тоже пропадает. И воровкой стала от пьянства. Это у нас в Больших Богачах бедолага живет, – обернулась она к мужикам. – Ее тоже в двадцатом году, как того конокрада, понужали. Только ее не жгли, а морозили. Коров

---

<sup>4</sup> Государственная лавка, торгующая водкой.

чужих доила, кур воровала, поросят, гусей... Что под руку попадет. Поймали ее на дворе у Аринцевых, раздели до исподней рубашки, привязали. А дело было постом, в аккурат на Вербной. Морозы еще держались крепкие. Народ сбежался... Что с ней делать? Хватились, а она пьяная. Протрезвить ее! Тащи воду из колодца! И начали ее поливать, прямо с головы, как утку. Но, правда, насильничания не было. Тут и милиционер стоял, в толпе, с наганом. Она отряхнется от воды и милиционеру: «Родимый, застрели меня! Стреляй прямо в рот. О!» Разинет рот да к нему повернется. А он ей: «Пошла ты. Буду я с тобой связываться...» И муж ее, Семен, тут же ходит. Хоть вы, говорит, проучите ее. Ну, прямо сладу с ней никакого нет. Если она с утра ничего не сопрет, то ходит, как бурая Яга – лается на всех, горшками гремит, все кидает, бросает. Но ежели утащит чего да еще выпьет – прямо на пальцах носится...

– Мать, у тебя, поди, и самовар-то остыл, – прервал ее Андрей Иванович.

– Ой, я и забыла совсем! Заговорила с вами.

Надежда Васильевна вихрем умчалась в летнюю избу и через минуту несла оттуда, окорячась, огромный, ярко начищенный самовар. Маша принесла две большие тарелки с нарезанным пшенником и желтыми драченами, покрытыми запеченной сливочной пенкой шоколадного цвета.

– Фу-ты ну-ты, лапти гнуты! – сказал Федот Иванович. – Вы что, на свадьбу, что ли, наготовили?

– Ешьте, ешьте, не пропадать же добру, – приговаривала Надежда Васильевна, расставляя чашки с блюдцами. – Это вы конокрадов благодарите, не то за праздник все бы гости поели.

Якуша Ротастенький выпил целый ковш браги и, благодатно уставившись на драчены, только головой покачал:

– Да, Андрей Иванович... Ешь-пьешь ты сладко и спишь, как барин, на перине да на пуховиках... Кровать у тебя вон длинная да просторная... У меня ж, расшиби ее в доску! И кровать-то вся в два аршина. Днем гнешься от работы, а ночью от нужды. Дак я рядом с кроватью табуретку ставлю, на нее и кладу ноги. Иначе не распрямишься...

– А чего ты в артель не вступаешь? – спросил его Кречев. – Вот хоть к Федоту Ивановичу или к Успенскому?

– Успенский каменщиков набрал да штукатуров... Я ремеслу не обучен. А Федот Иванович жену родную в свою артель не пустит...

– А ты просился к нему? У Федота Ивановича дела много – летом кирпич бить, зимой – шерсть, – сказал Андрей Иванович.

– Как-то боязно... А вдруг шерстобитку поломаешь? Она, чай, денег стоит... – усмехнулся Якуша.

– Не то, Яков Васильевич, мы спим помалу и не на кровати, а на козушке... Где усталость свалит, – усмехаясь, в тон ему ответил Федот Иванович, – а это нашему Кузе не по пузе. Тебе нужна такая артель, где бы работали за столом, и то языком.

– А кто за меня в поле работает? Ты, что ли?!

– А что ты берешь в поле-то?

– У меня всего четыре едока! – все больше раскалялся Якуша.

– У Ивана Климакова вон тоже четыре едока... А намолачивает вдвое больше твоего.

– У него навоза много.

– А ты свой навоз в прошлом году куда дел?..

– Да будет вам расходиться, мужики! – сказал Андрей Иванович. – Чего нам в чужие сусеки заглядывать? И делить нечего. Все уже поделено в восемнадцатом году, – он налил в рюмки водки. – Вот и давайте выпьем за это, значит. За Советскую власть! Поехали!

Гулко грохнула наружная дверь, и на пороге горницы вырос Федька Маклак.

– Эй, голубь! Давай к столу! – позвал его Кречев. – У нас тут еще осталось немного. Причастись!

– Я ему причащусь ковшом по лбу, – сердито сказал Андрей Иванович. – Он и без вина натворил делов.

– Чего я натворил? – хмуро спросил Маклак, но благоразумно ушел в летнюю избу.

– А где у тебя ребятня младшая? – спросил Кречев.

– В кладовой спят, – ответил Андрей Иванович. – Решетки открыты... Благодать.

– Что ж они натворили?

– Те чего натворят? Вон хлюст... Вдвоем с его атаманом, – он кивнул на Якушу, – сняли с забора мокрые портки Степана Гредного и затолкали их в печную трубу.

– Не может быть! – Кречев так и покатился, отваливаясь от стола, за ним и другие засмеялись.

– Они все могут, – словно ободренный смехом председателя, Якуша воспрянул, отвернулся всем корпусом от Федота Ивановича – послушай, мол, блоха, – и пошел работать на публику: – Вы Степана знаете? У него окромя портков да свиты никакой одежды нет. Когда ему баба портки стирает и вывешивает их ночью на забор, он ложится спать прямо в свите. Ладно. Переспал он в свите... Утром ему Настя и говорит: «Степан, порток твоих нет!» – «Куда они делись?» – «Не знаю. Только на плетне их нет». Ну кому они нужны? Ты вспомни, говорит, куда их повесила, а я посплю еще малость. Ладно. Затопила Настя печь... Что такое? Дым в трубу не идет, а в избе по полу стелется. Ну, не продохнуть. Степан ползком через порог да на улицу. А тут уж человек пять ждут его не дождутся. Ты чего, спрашивают, ай костер посреди избы разложил? Сжечь село захотел? Что вы, говорит, православные? Милосердствуйте. Настя печь затопила, а дым в избу валит. Видать, кирпичом трубу завалило. Или ворона попала... А может, галки гнездо свили? Вы давно не топили печь-то? Стоят мужики, гадают. Подошел Иван Климаков и спрашивает: ты чего, Степей, в свите? Ай заболел? Взял его за пол да как размахнет свиту. Ба-атюшки мои! Он голый, как Иисус во Ердани. Хохочут. Затвори, говорят, ворота... не то последняя скотина Степанова на волю убежит. У него ведь ни курицы, ни кошки – одни вши да блошки. А Настя на мужиков: окаянные, над чем смеетесь. Поди, кто из вас припрятал Степановы портки. Нет, говорят, они проса ломать поехали на Чакушкиной кошке. Ну, регочут, известное дело. Кто-то принес пудовую гирю на веревке. Полезли на крышу. Кинули ее в трубу – она бух как кулаком по пузе. Еще кинут – бух опять. И ни с места. Что такое? Одни кричат – гнездо галчиное. Другие – помело Настино застряло. Наложите крест! Крест наложи на трубу. А может, домовый разлегся? Спроси, Степан, к худу или к добру? Наконец багор принесли. Вытащили с трудом. Портки Степановы оказались... Ну была потеха...

– А как же узнали, чья проделка? – спросил Кречев.

– Девки рассказали. К Андрею Ивановичу приходил Степан – давай штаны! Мои изорвали.

– Дал? – Кречев с удивлением поглядел на Андрея Ивановича.



как-никак, мол, Андрей Иванович – человек уважаемый. Чего ж вы по селу бродите? Чай, не молодые, не семнадцатилетние. Надо вам посеCRETничать – вон, закрывайтесь в горнице и сидите сколько угодно.

– Лучше на двор нас загнать, в хлев, – засмеялся Успенский. – Уж там никто нас не увидит.

Он вдруг приостановился:

– Постой, а что ж она привечает Кречева да Возвышаева?

– Ну, с Возвышаевым мы по селу не бродим.

– Ага! Значит, вас это в горнице вполне устраивает.

Маша звонко рассмеялась:

– Ты, кажется, ревнуешь? Ой, какой ты глупый!.. Какой глупый, – она взяла его за руку. – Пошли!

Они свернули в заулок, долго шли вдоль высокого плетня.

Успенский опять приостановился:

– Нет, постой, постой! Ты все-таки скажи, какого черта они делают у вас?

– Ну ты ж видел сегодня.

– Кречева, что ли? Сегодня ладно... Они с пленума всей оравой пришли...

– А он один не ходит, – Маша прыснула. – Он стесняется... И для храбрости водит с собой Левку Головастого.

Смех ее звучал дразняще-загадочно, – то ли она потешается над ним, хочет раззадорить, то ли и в самом деле радуется, что все к ней льнут, обхаживают ее.

И против своей воли он продолжал говорить зло о Возвышаеве:

– Да он же деревянный... Он истукан с глазами! Как ты можешь с ним общаться?

– Истукан не будет тратиться на близких. Ты посмотри, как он живет. Был у него?

– Ты и в доме у него бывала? – отшатнулся Успенский.

– Успокойся. Я к нему не ходила. Секретарь нам рассказывал. Да вон бабка Банчиха, у которой он квартирует. Она все знает: и что он пьет, и что ест... А я, Митя, не могу прогнать человека из дома только за то, что обо мне могут нехорошо подумать. И потом, у них свои отношения с Андреем Ивановичем.

Он прильнул к ней, стал торопливо целовать ее плечи, шею, быстро приговаривая:

– Прости меня, Маша! Милая, добрая... Ты всех готова принять под одну крышу... Ты святая... Прости меня!

– Что с тобой, Митя? Ты сегодня какой-то сам не свой.

– Прости! Я и в самом деле становлюсь как сварливая баба.

– Пошли отсюда! Ты хотел, по-моему, мне что-то сказать?

Они вышли на выгон к большому пруду, обсаженному тополями.

В низине возле пруда паслись две лошади. Они подняли головы и, поводя ушами, долго смотрели на Успенского и Машу, словно хотели их; спросить о чем-то и не решались. Закрякали невидимые утки и, шлепаясь в воду, поплыли от берега. Сквозь тополя дальнего берега просвечивала большая красная луна, и черная рябь ветвей ложилась на гладкую, тускло блестящую, как луженый таз, воду.

Обочь от села на взгорье за выгоном кучно теснились островерхие сараи одоньев, словно сдвинутые шатрища уснувшего табора.

Они остановились на плотине, в том самом месте, где стояла когда-то красильня и жил синельщик – творец этого пруда, перегородивший речку Ольховку. Теперь там виднелся рваный остов каменного фундамента да под обрывом, по ложу бывшей речки струился чахлый, заросший болотной ряской ручеек.



– Ну? Что? – спросила она опять тихо и призывно, глядя ему в глаза, и, казалось, ждала не ответа, не слов, а чего-то более нужного и важного.

Он обнял ее за плечи, притянул к себе и целовал долго, слушая грудью, как бьется ее сердце, видел, как пугливо, уклончиво, куда-то в сторону смотрят ее темные глаза. И ему теперь не хотелось говорить то, зачем он пришел сегодня. Ну что он мог ей сказать? Из артели еще не ушел, учителем поступит ли, и куда? На Возвышаева пожаловаться, что с работы гонит? Теперь только этого и не хватало.

– Знаешь, что я придумал, Маша? Пойдем к Сашке Скобликову. Давно у них не собирались. Они здорово обрадуются тебе. Старика повидаем... Побеседуем, попляшем, споем...

– Как хочешь. Пошли!

Они спустились вниз, прошли в обнимку пересохшим руслом бывшей Ольховки, вышли на обрывистый берег Пасмурки и в тени беспорядочно разбросанных ветел тихо брели до самых Выселок, где на отшибе возле Пасмурки стоял новый дом Скобликовых.

## 6

Иван Жадов с лесником Зареченского лесничества ночью добрались верхом до реки Прокоши напротив Пантюхинских рыбацких станов. Здесь они спешили, вытащили из прибрежных камышей речного затона припрятанный ботничок и спустили его на воду.

– Дальше пойду пешком, – сказал Жадов леснику. – А ты поезжай на Сенькин кордон. Приготовьтесь... Приеду послезавтра, к вечеру.

Ловко работая двухлопастным веслом, он переплыл реку, вытащил из воды ботник и спрятал его в густых ивняковых зарослях. Потом поднялся на прибрежный песчаный увал, заросший высоким, в колено, тяжелым зубчатым листом матошника, огляделся. Ночь стояла тихая, лунная, со светлыми небесами и темной, окутанной вечерним туманом землей.

В низинах в двух шагах ничего не видать. Зато по реке, на открытом лунному переблеску изгибистом плесе, видно было далеко. У самой излучины, под обрывистым берегом притулились черные развалистые рыбацкие лодки, а выше над ними маячила избушка с двускатным верхом.

Людей не видно и не слышно. Тишина. Только где-то недалеко от избушки редко и глухо брякал жестяной бубенец, какие обычно привязывают на шею лошадям да коровам, когда пасут их в кустарниках.

Жадов постоял, послушал и двинулся к рыбацким станам вдоль берега. Возле избушки паслись стреноженные кони. Жадов осторожно прошел между двумя рядами деревянных вешал, на которых висели сети, и заглянул в растворенное окошко. На свежем пахучем сене прямо на полу, освещенном сквозь окно полной луной, спали два рыбака в сапогах, накрытые с головы брезентовым плащом.

В избе тонко и нудно звенели невидимые комары. Жадов с минуту потоптался у раскрытого окна, потом решительно пошел к пасущимся лошадям. Сняв с одной лошади путо, он связал его кольцом, оставив один конец свободным, потом снял с себя брючный ремень, привязал к кольцу с другой стороны – получилось нечто вроде простенькой оброти.

Эту сварганенную за минуту обротку надел на морду лошади, вскочил на нее и поехал.

По лугам добрался до села Малые Бочаги, обогнул их по опушке Мучинского

леса, потом, не заезжая в Пантюхино, проехал вдоль Святого болота и по Красулину оврагу подъехал к самым тихановским садам. Здесь он спрыгнул с лошади, снял с нее веревочную обротку, размотал опять путо и повесил на шею лошади. Потом, хлыстнув по крупу, направил лошадь в ту сторону, откуда приехал. Лошадь резво побежала в овраг, фыркая и оглядываясь по сторонам, и скоро пропала в темноте. А Жадов конопляниками дошел до своей усадьбы, перемахнул через плетень, пригибаясь под ветвями яблонь, прошел к боковому окну и трижды осторожно постучал в наличник. Через минуту отворилась задняя дверь, и хриплый спросонья голос брата Николая спросил:

– Ты, что ли, Иван?

– Ну кто же? Чего гавкаешь, – приглушенно сказал Иван, входя в сени.

– Ты чего так нежданно? – спросил Николай в доме. – Засыпались, что ли?

– Все в порядке, – ответил Иван. – Дельце одно обтяпать надо.

Николай хотел было зажечь лампу, но Иван остановил его:

– Не надо света. Что я тут – не должна знать ни одна тихановская собака. В тайнике постель есть?

– А как же. Перина на топчане. В коробье подушки с одеялом.

– Я туда спущусь. Prospлю до завтрашней ночи. А потом исчезну.

– Как знаешь.

– Ничего не слышать про Бородина? Милиция не шевелится? Насчет меня никаких толков нет?

– Вроде бы тихо. Андрей Иванович все Вознесение мотался где-то по лугам. Да с носом вернулся.

– Он был у Васи Белоногого.

– Кто тебе об этом сказал? – тревожно спросил Николай.

– Свои люди. – Иван прошелся по комнате, заскрипели половицы под его тяжкими шагами, остановился у окна, глядя на улицу, зло сказал: – Эта сука... новоявленный комиссар советский что-то замышляет против меня. Ну, да не на того напал. Я его сам потешу... Утру по сопатке.

– Ты на кого это? На Васю Белоногого?

– Он захотел посчитаться со мной.

– Во падла!

– погоди, я его встречу на узенькой дорожке. А пока мы поохотаем над ним. Он на прошлой неделе наезжал в Большие Бочаги. Будто бы плуга возил. Остановливался у своих родственников. У Деминых. Он у них снова амбар обчистил. Они это знают. Вот я и послал в Большие Бочаги Лысого, посмотреть все на месте. Оттиски снять с их амбарного ключа.

– А разве Лысый вхож к Деминым?

– Дура! У Лысого рука в Бочагах. Ну? Те и сняли оттиски на мыле, а Лысый вчера привез. Я уж подобрал, подточил ключ. Вон он! – Иван вынул из кармана что-то темное и сунул в руки Николаю. – В точности.

– Эк, дьявол! Вот так ключ! Им укокать можно, – удивился Николай, перебрасывая с руки на руку большой увесистый ключ.

– Завтра ночью я обчищу у них амбар. Сделаю аккуратненько, – сказал Иван. – А Демины подумают на Васю Белоногого. И пойдет потеха.

– Почему это они подумают на Васю?

– Ну, во-первых, потому что он наемни ночевал у них, значит, ключ видел, мог

подделать. Во-вторых, Лысый был в Агишеве на медпункте и тяпнул Юзину расшитую бисером тюбетейку Васиной жены. Вот она! – Он вынул из другого кармана сложенную вчетверо упругую тюбетейку и сунул в руки Николаю. – Эту тюбетейку я подкину в амбар к Деминым. Понял?

– Ловко! – Николай залиvisto гоготнул, как жеребчик. – Постой! А Вася не видал случаев в Агишеве Лысого?

– Нет. А Юзя Лысого не знает.

– Здорово! Ты голову на плечах таскаешь, а не тыкву. Но, голова, на чем повезешь калым?

– На лошади.

– На моей, что ли?

– О, сундук! Найду, не твоя забота. Я все сказал... Пока. Остальное потом узнаешь. Я пошел спать. И до завтрашнего вечера меня нет. Понял? Где фонарь?

Николай на ощупь нашел в темноте висевший на стенке фонарь «летучая мышь» и подал его Ивану. Тот открыл подпольную дверь, спустился вниз и засветил там фонарь. Николай, свесив голову в проем, смотрел, как брат открыл потайную дверь за толстым угловым столбом и скрылся в тайнике.

Тайник, аккуратно обложенный кирпичом, как добрая кладовая, уходил под хлев, оттуда имел запасной выход в конце сада в терновых зарослях.

На другой день вечером, как только стемнело, Иван Жадов, сунув за пазуху литровку водки, бушлат нараспашку, пошел задами к Иллариону Сипунову, по прозвищу Сообразило, жившему через три двора. На стук в сени вышла Евдокия, за свою высоту и погибистость прозванная Верстой.

– Кто там? – глухо донесся ее голос.

– Это я, Дуня... Открой на час.

– Иван, что ли?

– Ну?

Она с минуту помедлила, как бы соображая – открывать или нет? Недовольно проворчала:

– Чего тебя нелегкая по ночам носит? Ларя спит.

– Я ему должок верну. На Пасху в карты проиграл...

Евдокия, шумно сопя, наконец открыла запирку.

– Вы уж вместе с курами на насест укладываетесь, – сказал Жадов, проходя в избу.

Ларион сидел на печи, свесив босые ноги. На нем была домотканая исподняя рубаха с расстегнутым воротом и темные штаны.

– Сообразило, слезай с печки! Давай к столу – есть разговор. – Жадов прошел в передний угол, освещенный лампадой, поставил литровку на стол и сел под образа.

Увидев водку, хозяин проворно натянул подшитые валенки и, не мешкая, спрыгнул с печки.

– Ваня, да у нас и закусить-то нечем, окромя хлеба да лука, ничего нет, – сказала Евдокия.

– И не надо. Обойдемся. Дай стаканы!

Евдокия подала два граненых стакана, сама пить отказалась. Жадов налил Лариону полный стакан, себе половину:

– Пей, Сообразило!

Тот широко перекрестился, размахнул черные вислые усища и, алчно глядя на

стакан, сдавленно произнес:

– Христос с тобой, Ваня!

Пил жадно, запрокинув голову, как пьют воду в жаркий полдень на молотье, ходенем ходил острый кадык, дергалась кожа в провале под кобылкой, где висел на засаленной бечевке медный крестик; глубоко в утробе Лариона булькала водка.

– О-ох! – Он поставил стакан, отщипнул корочку хлеба от каравая, поданного хозяйкой, нюхал ее, а сам косил глаза на литровку, зажатую в руке у Жадова.

Тот перехватил его взгляд, налил еще стакан:

– Пей, Сообразило!

– Дак что ж, все я один... А ты? – робко спросил хозяин.

– И я выпью.

Жадов чокнулся стаканом... Выпили.

– Спаси тебя Христос, Ваня! – сказал Ларион.

– Нет, Сообразило. За христа-ради водку не дают. Собирайся!

– Куда это на ночь глядя? – всполошилась от печки хозяйка.

– А ты сиди! Не твое дело, – цыкнул на нее Жадов.

– Вот! Ты ж пришел карточный долг отдать... – не унималась та.

– Все отдам. Заплачу как следует. Собирайся.

– Куда? – спросил Ларион, все еще поглядывая на водку.

– За кудыкины горы... Водку допивать, – сказал Жадов, заткнул бутылку, сунул ее опять за пазуху и встал. – Пегий мерин у тебя дома?

– Вчерась только из лугов пригнал, – ответил Ларион уже с суетливой готовностью броситься исполнить любое задание: ну как же?! В поездке выпить придется...

– Запрягай! Поедем, куда скажу. Не бойся. Хорошо заплачу. А ты, верста коломенская! – он повернулся к Евдокии. – Заруби себе на носу! Если кому скажешь, что я у вас был нынче ночью и что хозяин повез меня, – сожгу. Ты меня знаешь? – спросил грозно.

– Как не знать... – залепетала хозяйка. – Кому я скажу!.. Я, чай, зла себе не желаю.

– Ну, вот. Поехали!

Ларион быстро снял валенки, натянул сапоги, прихватил зипун, и они вышли.

Когда выехали на улицу, Иван накиннул свитку на бушлат и поднял высокий стеганый воротник. На селе было тихо, пустынно. В окнах кое-где светились тусклые огоньки – люди большей частью уже спали. И только в конце Нахаловки, куда они ехали, на Красной горке, заливалась гармошка и звенели девичьи голоса.

– Сверни в заулочок! Обьедем мимо кирпичного завода, – приказал Жадов Лариону.

Тот шевельнул вожжами, и пегий мерин свернул в Маркелов заулочок, ехали вдоль длинного плетня, потом спустились с горы, пробухали по новому бревенчатому мосту и взяли с дороги левее, вдоль обрывистого берега Пасмурки, мимо кирпичного завода, поднялись на высокое Брюхатово поле, где проходила столбовая дорога на Большие Бочаги. Крупный мерин тихо трюхал рысцей, опустив голову и помахивая хвостом, пустая телега шумно громыкала на жесткой полевой дороге, а где-то в задке высоко и надсадно зудела железка.

– Что у тебя за музыка в задке? – сдавленно спросил Жадов.

– Коса звенит, а что? – сказал Ларион.

– Это еще зачем?

– Коса-то? Как зачем? На обратном пути травы накошу, Сообразило...

– Тьфу, мать твою!.. – Иван скверно выругался, пошарил в задке, нашел косу, обмотанную вместе с замком и разводным ключом портянкой, и выбросил ее из телеги.

– Тпруу! – Ларион натянул вожжи.

Мерин остановился. Ларион молча спрыгнул с телеги, поднял косу и, засовывая ее под свое сиденье, под мешки, ворчал:

– Ишь ты... Сообразило. Горазд! Чужим-то добром разбрасываться.

– Об нее порежешься, дура! Вернемся с дела – я тебе три косы дам.

– Заткни их себе в ж... свои косы-то. На моей косе два лебедя. Ей цены нет, – Ларион оправил мешковину над косой и влез на телегу.

– А ну-ка, дай вожжи! – Иван вырвал у Лариона вожжи, встал на колени и огрел мерина вдоль спины кнутом.

Тот подпрыгнул, вскинул голову и, проскакав немного наметом, перешел на крупную, махистую рысь.

– Куда ты гонишь? Чай, лошадь не казенная, – проворчал Ларион.

– Молчи! – цыкнул Иван. – Не то суну дулю под дых, и запоешь у меня другим голосом.

Когда перевалили крутобокий Волчий овраг и выехали на просторное попово поле, потянуло свежим ветерком, из-за горбины заречного Бреховского бугра поползли темные навалистые облака, похожие на растрепанные копны сена. Вскоре они закидали, заслонили луну, и на земле стало таинственнее и глуше, словно телега въехала в Сырое ущелье. К Большим Бочагам подъехали в кромешной мгле.

Жадов остановил лошадь у крайней избы, кинул Лариону вожжи и, спрыгнув с телеги, подошел к окну и трижды стукнул тихонько в наличник. Из сеней моментально вынырнул малый в фуфайке и в кепке и со словами «Все готово!» прыгнул на телегу вместе с Жадовым, взял у Лариона вожжи и стал править.

Ехали безо всякой дороги, по задам, проваливались в какие-то ямы, поднимались на буераки, телегу кренило во все стороны, она то гулко грохала, то жалобно скрипела, разрывая душу Лариону.

– Скоро, что ль? – не вытерпел он. – Того и гляди, ось поломаем.

– Цыц! – прохрипел Иван, поймал его за шею и больно сдавил позвонки. – Башку оторву...

Наконец остановились возле высокого, на сваях, амбара. Жадов и бочаговский парень спрыгнули с телеги.

– Чего сидишь? – засипел Жадов на Лариона. – Слезай! Держи лошадь!

Ларион спрыгнул, взял мерина за повод.

– Где ключ? – спросил малый.

– Вот, – Жадов сунул ему ключ.

Тот подошел к двери, а Жадов рылся в телеге, шуршал соломой.

– Где у тебя мешки-то? – спросил шепотом у Лариона.

– Да где? Подо мной были...

Жадов нащупал наконец мешки, потянул их с телеги, из них вывалилась коса и загремела, ударившись о ступицу колеса. Парень как ужаленный отскочил от двери, а Жадов заскрежетал зубами, зашипел:

– Дура мокрошлепая... Башку тебе этой косой отрезать...

– Да кинь ее в лопухи, – сказал тихо парень.

– Чего? Чтоб по ней нас накрыли... – просипел Жадов. – Сообразило! Засунь ее себе в штаны. Если я еще наткнусь на нее, руки отсеку, – и парню: – Ключ подходит?

– Отпер уже.

– Где фонарь?

– У меня, – просипел парень.

Они скрылись в амбаре, притворив за собой дверь, и через минуту сквозь кошачий лаз в нижнем углу амбарной двери слабо замерцал желтый свет. Ларион положил косу опять в задок, под солому и, одинокий в этой ночной тишине, вдруг почувствовал страх. Ну что, если застанут их? Куда бежать? В какую сторону? Не видать ни черта... Дороги нет; погонишь – на первой же ямине из телеги выбросит. Кольями убьют. И лошадь с телегой отберут...

И хмель-то весь как рукой сняло. Он держал мерина за оброть и чувствовал, как бьет его ознобом, словно в лихорадке. Ажно зубы стучат и живот подводит...

Наконец погас в амбарной щели свет, скрипнула дверь, и на пороге вырос Жадов с двумя пухлыми мешками. Кинув их в телегу, крикнул приглушенно:

– Накрой соломой!

А сам опять в амбар. Появились вместе с тем парнем, неся еще три мешка.

– Дверь отворить? – спросил парень.

– Запри... Чем позже хватятся, тем лучше. Садись, Сообразило! – сказал Жадов, укладывая в телегу и эти мешки, и, обернувшись, парню: – А ты выведи лошадь на дорогу.

Парень взял мерина под уздцы, Жадов с Ларионом взлезли на телегу и поехали.

– Куда править? – спросил Ларион, когда выехали в конец Больших Бочагов.

– Давай в Прудки!

– Но, Манькой, ходи помаленьку!

– Нет, не помаленьку, а езжай как следует, – приказал Жадов. – Не то опять возьму вожжи...

Не доезжая до Прудков, Жадов поймал левую вожжу и рывком потянул ее на себя, сворачивая мерина с ухабистой дороги.

– Чего такое? – спросил Ларион.

– Давай в объезд... Низом.

– Куда ж править?

– На Богоявленский перевоз.

Но до перевоза они не доехали. В Липовой роще, там, где кончается озеро Лука и начинается длинный пологий спуск к реке, их остановил негромкий протяжный свист, похожий на ленивый загадочный посвист ястреба. Жадов перехватил у Лариона вожжи и резко осадил лошадь. Из кустов вылез широкоплечий человек и, подойдя к телеге, заговорил голосом Лысого, соседа Лариона:

– Здорово, Сообразило! – потом засмеялся и ткнул его шутливо в бок.

Ларион от удивления язык проглотил.

– Ну, что? – спросил Жадов.

– Все в порядке, – сказал Лысый.

– Берите мешки! – приказал Жадов и спрыгнул с телеги.

Парень и Лысый взяли по мешку, а Жадов сразу два и, обернувшись к Лариону, сказал:

– А ты чего сидишь? Бери пятый мешок. Айда за нами.

Ларион тоже закинул на загорбину мягкий, но нетяжелый мешок, от которого резко несло нафталином, и несколько минут вместе со всеми продирались сперва липовым лесом, а потом ивняковыми зарослями. Наконец вышли на песчаную речную мель. Здесь приткнулась у косы здоровенная черная лодка. Они сложили мешки в лодку, и Лысый с Жадовым, кряхтя, врастопырку, отпятив зады, стали сталкивать ее в воду. Потом одновременно прыгнули в нее и разобрали весла.

– Сообразило, поезжай на перевоз! – наказал из лодки Жадов. – А ты, Пашка, держись на телеге. Не то он вздумает еще по глупости удрать... Смотри у меня, Сообразило, не сболтни чего лишнего Ивану Веселому. Скажешь, мол, в Агишево едешь, поросят купить. Сегодня там базар.

– Ладно, скажу, – отозвался Ларион.

– За перевозом, на Овечьей плешу, возле дуба, свернешь направо. А дальше тебе Пашка дорогу укажет. Мы вас будем ждать на Куликовой косе. Поезжайте!

Жадов сел, зашлепали по воде весла, и широкая неуклюжая посудина стала медленно разворачиваться носом к тому берегу.

Сенькин кордон был самым дальним пристанищем Зареченского лесничества: здесь, на границе Ермиловского леса, на месте давних порубок выкорчевали десятин пять сухого лога уремы, засеяли их клевером да тимофеевкой, а на красном вземе, в сосновом бору, срубили просторную избу с широким подворьем и сараем с поветью. Здесь когда-то были отгоны для породистых симментальских коров ермиловского лесничего, жили скотницы да лесной сторож и объездчик Сенька Кнут. Отсюда Саровский тракт круто брал влево, к невидимому берегу далекой Оки, шел южными отрогами нетронутых Муромских лесов, у которых, говорили, нет ни конца ни края. Дорога эта была на редкость глухой и скверной, доступной в иные слякотные дни разве что одним пешим богомольцам. С закрытием далекого Саровского монастыря забросили и эту дорогу; опустел со временем и обезлюдел Сенькин кордон, исчезли симментальские коровы, позарастали кустарником клеверища. Остался на кордоне один Сенька Кнут, теперь уж не объездчик при лесничем, а государственный служащий – лесник Зареченского лесничества.

Иван Жадов, года два тому назад устроившийся лесником, сразу приглядел для себя это местечко. Он снял для отвода глаз квартиру в Ермилове, но все операции свои проводил через Сенькин кордон, там и «малина» его собиралась. Сенька Кнут, нелюдимый старый бобыль, был надежным сотоварищем: он мог отлучаться на целые недели – отгонять краденых лошадей в Муром или в Мордовию, отвозить барахло на толкучку в Нижний или в Растяпин – никто не хватится и не спросит: где Кнут? И в дележке был покладист, доли своей не брал: «На что мне деньги? Солить, что ли? Да и грех от них». Зато уж выпить любил: «Как выпию, наемся от пуза... Ляжу спать – ну, прямо дух замыкает».

Старший лесник Кочкин, тот самый, что отвозил Жадова до Пантюхинских рыбацких станов, привез утром из Ермилова на Сенькин кордон живого барана, передал Кнуту, чтобы тот к вечеру освежевал его да съездил бы в Елатьму, привез барышень. Сам Кочкин в делах Жадова никогда не участвовал, хотя косвенно помогал ему и брал всякие подарки. Сенька Кнут исполнил все в точности: запряг с утра в черный рессорный тарантас добрую рыжую кобылу, пригнанную Жадовым откуда-то совсем недавно, и одним духом отмахал тридцать верст туда и обратно по лесной ухабистой дороге, на счастье просохшей от жаркой сухой погоды. Барышни были ему

знакомые, не впервой возил их: одна маленькая, широкобровая, с тугими черными косами, носившая, как цыганка, цветастые шали да пестрые платки, хвасталась – будто она племянница самой Марии Ивановны Поповой, бывшей елатомской миллионерши; другая полная, белая по имени Алена, с низким хрипловатым голосом и хмурым, словно спросонья лицом, постоянно одергивала меньшую: «Верка, не ври!» – «Что ты понимаешь в историческом прошлом! Сипит, как труба самоварная...» – огрызалась та. «А ты погремушка! Или нет – колотушка ночная...» – «Я женскую прогимназию окончила. И работаю в гимназии!» – «Ага! Библиотечным счетоводом». – «А ты трактирная подавала!» Так они обычно переругивались всю дорогу, но не злились друг на друга, а посмеивались, вроде бы комплиментами обменивались. А то возьмут Семена в оборот – у него было подозрительно голое морщинистое лицо.

– Кнут, а ты когда-нибудь влюблялся?

– Чаво?

– Почему не женишься?

– Устарел я, девки.

– Кнут, а это правда, будто у мужиков, которые боятся баб, отсыхает?

– Чаво?

– Поливалка...

– У меня, девки, ишо хватит на семейку.

– Воды, что ли?

– Ах вы забубенные!..

Они только покатываются.

К вечеру подъехал с Выксы компаньон Жадова по сбыту лошадей, крупный барышник, знаменитый на весь Муром Васька Жук. Носатый, черноволосый, в щегольских сапожках, в коричневой, с широким поясом блузе, с кожаной полевой сумкой через плечо, он был похож на районного представителя: Сенька Кнут, суетившийся возле вздернутой бараньей туши на подворье, даже струхнул малость, как увидел этого щеголя, подходившего к высокому заплоту.

– Ты чего, не узнаешь, что ли, старый пень? – крикнул Жук.

– А, маткин корень! Никак, ты, Василий Порфирьевич? – с готовностью подался к нему Семен, вытирая руки о штаны.

– А где Матрос? – спросил тот.

– Обещал к вечеру приехать.

– Лошади есть?

– Там, в хлеву.

Но лошадей ему не удалось поглядеть; распахнулась дверь, и на крыльцо выбежала Верка в одном сарафане с открытыми белыми плечами, косы вразлет, картинно раскинула руки и, слетев по ступенькам, кинулась ему на шею:

– Жук-летунец! Букашка черномазая... Я задушу тебя, заласкаю... – она целовала его и тараторила.

Он едва на ногах устоял. Потом обхватил ее за талию:

– Откуда ты, ягода-малина? Цела? Дай-ка я взгляну на тебя. Не откусили у тебя какой-нибудь бочок?

– Не беспокойся, ее не убудет от таких пустяков, – сказала в растворенное окно Алена.

– У-у, баба-яга! И ты здесь? – удивился Жук. – Вот это встреча! Да где же Матрос?



Жадов приехал поздно вечером. Уже истухал костер перед домом, разложенный Сенькой Кнудом, уже истомилась до черноты, перекипела в нутряном сале баранья печенка, подвешенная в чугунном котле на треноге, уже отставлена была в сторону, обложена до самой крышки горячими углями глубокая жаровня-гусятница, полная шваркающими кусками жареного мяса, уже снят был с длинного и подвешен на короткий крючок, под самую подвязку треноги, огромный медный чайник, заваренный корнем шиповника да рублеными побегами черной смородины, уже успели сбегать да искупаться на дальнее лесное озеро Жук с Веркой, уже вздремнула Алена на разостланной байковой попоне в тени под сосной, – когда загромыхала по бугристым, свилистым кореньям лесной дороги тяжелая телега Сообразили и пегий мерин, потемневший от пота, устало потрюхивая, показался на поляне. Жадов, в белой рубашке и черных брюках, завидев гостей, прыгнул с телеги и, наказав Лариону ехать на двор, двинулся к костру.

– Хорош гусь! Позвал гостей, а сам в кусты, – встретил его Жук, посмеиваясь.

Рядом у костра сидела босая Верка, как бес вертела мокрой головой. И Жук был босой, в майке.

– Я вижу – вам тут было не до хозяев, – сказал Жадов и поглядел на бугор; там, под сосной, сидела Алена, обхватив оголенные кипенно-белые колени, ждала. Он сухо сглотнул слюну и для приличия потоптался возле костра.

– Иди, отопри ворота! Чего рот разинул? – приказал Семену. – Дай овса пегому.

– Дык-кыть ворота отперты. – Семен встал и лениво побрел ко двору, куда сворачивала телега.

Алена все ждала, глядела на Жадова исподлобья.

– Ну чего там колдуешь, баба-яга? – крикнул ей Жук. – Иль особое приглашение ждешь?

Она и не шелохнулось. Жадов коротко глянул на нее и опять сухо сглотнул, только кадык дернулся.

– Лошадей видел? – спросил он Жука.

Тот кивнул головой:

– Рыжая кобыла хороша. Трех сотен не жаль.

– Трех сотен... – Жадов только ухмыльнулся. – Ладно, столкуемся. Несите все в избу. Накрывайте столы. И окна закройте – не то комары заедят.

А сам пошел на бугор, туда, к Алене, как бык, нагнув голову, словно забодать ее хотел.

– Ну, здравствуй! – остановился перед ней, широкоскулый, приземистый, тяжело сопя, перекатывая под кожей бугристые желваки.

Она только сощурилась, и голубые глаза ее недобро потемнели, да складка легла надо лбом промеж бровей. Убей – не встанет. Он глухо рыкнул, бессильно стиснул кулаки и сел рядом.

– Вот так! – сказала она, убирая руки с колен. – Подлец ты, Ванька, и трус.

Он опасливо метнул взгляд на костер – не слышат ли? Жук с Веркой возились с котлами и чайником – расстояние далекое, не слышат.

– Ты все-таки поосторожней, – сказал Иван. – Не то я ведь...

– А что? – вызывающе спросила Алена.

– Давану разок – язык высунешь.

– Ну-ка, давани! Давани!..

– Ладно, – он опустил голову. – Не мог я приехать.

– Зачем же трепался? Я ушла с работы... Вещи упаковала. Три дня на узлах сидела, как дура. А ты?..

– Что я? Не могу я в Ермилово тебя взять...

– Кого ж ты боишься?

– Никого я не боюсь... Мне просто пора сматываться отсюда. Хотя бы на время...

Поняла?

– Вот и поедем вместе.

– Для этого деньги нужны... И немалые. Да место хорошее. Подготовленное!..

– Поедем в Орехово... Мой дядя устроит тебя по снабжению... И я на фабрику поступлю.

– Ты еще на стройку меня позови! – хохотнул Жадов. – В ударники... Темпы давать...

– Но я больше не хочу из-за тебя торчать в этом трактире. Понял? Больше ко мне не сунься. Я одна уеду.

– Да погоди ты горячку пороть. Что-нибудь придумаем. – Он взял ее за руку и потянул за собой в избу. – Пошли!

Гуляли долго с каким-то отчаянным остервенением, – две четверти водки выпили, пять бутылок красного, посуду побили, струны порвали на гитаре, наспорились, напелись до хрипоты и расползлись только на рассвете: кто зарылся в сено на повети, кто в сенях свалился, а кто и за столом уснул.

А начинали чинно: Жадов по-хозяйски сел с торца, по правую руку поставил четверть водки, по левую посадил Алену.

– Горько! – крикнул было Лысый, подобострастно ухмыляясь, заглядывая на Алену, порозовевшую под жарким светом висячей лампы, как сдобная булка.

– На, чмокни ее в горло и заткнись! – цыкнул на него Жадов, подставляя четверть водки, и сердито осмотрел все застолье: – Сперва дело обговорить надо, а потом – вольному воля...

У запасливого Кнута все имелось на такой случай: и вилки с ножами, и тарелки, и маленькие стаканчики, и даже рюмки на тонкой ножке – для барышень. Но только лишь Кнут открыл жаровню с духовитым мясом, как Сообразило залез в нее всей пятерней.

– Азият! – стукнул его по черепу ложкой Кнут. – Здесь обчество сидит, а не базарные мужики.

Ларион виновато ощерил свой щербатый рот и только тыкнул, беря вилку.

Но когда Жадов стал разливать водку, он опять пожадничал – схватил посреди стола фарфоровую чашку и потянулся с ней к четверти, а свой маленький стаканчик накрыл рукавом.

– Сообразило, за этим столом все равные... Коммуна, понял? – изрек Жадов. – Вот и веди себя, равняясь по всем остальным членам. И не хапай, как единоличник. Не то руки оторву, согласно Уголовному кодексу РСФСР.

Все засмеялись.

– Да, кодекс у нас все серьезнее с каждым днем, – сказал помрачневший Жук. – Меня так обложили налогами, что каждая лошадиная голова не в карман, а из кармана тянет.

– А ты что их, по ведомости проводишь, головы-то? – спросил Жадов.

– Нет, Ваня... Даже с тобой дело иметь накладно стало.

– Вон как... Что ж ты задумал?

– Пока только одно скажу – закрываю лавочку.

Жадов присвистнул:

– Ну, поехали! Остальное по дороге доскажешь!

Выпили и девчата. Им налили нежинской рябины. С минуту воцарилось молчание – все шумно работали челюстями и сопели, как будто воз везли.

– Так берешь лошадей? – спросил опять Жадов.

– Беру всех трех, – ответил Жук.

– А барахло?

– Как обычно... Пускай Семен везет до Муррома, а там свезу куда следует. Что-либо есть ценное?

– Шуба на козьем меху, крытая драп-кастором, бекеша из кенгуру, пальто с бобровым воротником. Отрезы есть... сапоги... и так, по мелочам. Нахапал Мельник в голодные годы будь здоров. Мы ему, значит, экспроприацию устроили...

– Иван, ну чего ты нудишь, как на поминках! – крикнула через стол Верка, сидевшая рядом с Жуком. – Налей! Иль удачи тебе нет? Иль руки сохнут? Или вахлаки перевелись? Хватит на наш век...

– Правильно, Вера! Мы еще покидаем телят на холку. – Иван тряхнул своими длинными волосами и взялся за четверть.

– Кнут! Ставь граненые стаканы! Наливай по полному... Не то закисло, как вчерашнее молоко, – крикнула Верка.

– Ух ты, ягода-малина! Фу-ты ну-ты... А плясать будешь? – спросил Жук.

– Буду!

– Сенька, гитару! – крикнул Жук.

Семен снял со стены гитару на розовой ленте, достал граненые стаканы с деревянной открытой полки и, дунув в каждый, как в патрон, поставил их на стол.

– Хоть бы сполоснул, дикобраз нечесаный, – сказал Жук, принимая гитару.

– Чего их полоскать?.. Из них никто и не пил с самой купли. Кружками обходимся, – сказал Семен, усаживаясь на свое место.

– Чаво там стакан, лей в кружку! – потянулся к четверти Ларион с кружкой.

– Смотри, Сообразило, в колхоз тебя не примут, – засмеялся Жадов, но в кружку налил: – Пей, черт с тобой.

И все потянулись к Жадову – кто с кружкой, кто с чашкой, а Жук протянул тарелку.

– Плесни сюда! Ложкой хочу похлевать.

– А выхлебаешь?

– Выхлебаю!

– Ваня, налей мне в блюдце! Я вприкуску с сахаром хочу, – потянулась Верка.

– Наливайте во что хотите... Пейте! – Иван принес из сеней еще одну четверть и – грох ее на стол...

И пошла разлитая...

Загудело, закрутилось колесо.

Лысый налил всклень оловянный ковш, выпил его одним духом и, надев ковш на голову, пошел вприсядку вокруг стола, посвистывая и приговаривая: «Как зять тещу завел в рощу...» Верка держала пальчиками блюдце и, шумно дую, как на горячий чай, схлебывала глотками водку. Жук, оставив тарелку, из которой выхлебывал водку ложкой, взял гитару, закинул голову, мучительно свел размашистые черные брови, потянул воздух, как на первом утреннем морозе, и, громко хакнув, тряхнул гитарой и

рассыпал высокие, томительные переборы цыганочки: «Эх раз, что ли! Да еще раз, что ли...»

– Верка, оторви да брось, чтобы доски загудели-запели!..

Та выкатилась из-за стола, как пущенная с карусельного круга, только дробь грохотом, да сарафан пузырем, да косы вразлет.

Жук бросил на стол гитару, поднял Верку на руки и, целуя, спрашивал:

– Ну, ягода-малина, проси чего хочешь! Все отдам, не пожалею...

– Подари мне рыжую кобылу, – сказала Верка, жарко играя глазами. – Купи у Ивана...

– Зачем она тебе?

– В гости ездить. Семен возить будет.

– Будь по-твоему. – Он опустил ее на пол и сказал Жадову: – Матрос, я покупаю рыжую кобылу и оставляю ее здесь... Для девчат.

– Чего? – Жадов выпучил зеленые жабыи глаза, встал из-за стола, подошел к Жуку, поймал его за отворот коричневой куртки и осадил, придвинул к себе. – Лучше меня хочешь быть? Не выйдет! Это я дарю девчатам рыжую кобылу. Кнут, слышишь? Беречь ее как зеницу ока. Во как... Гуляй, ребята, пока Жадов живой...

## 7

Зиновий Тимофеевич Кадыков решил собрать на совет весь актив артели и обговорить: что делать дальше, куда идти?

Собрались в той же конторке при магазине; на скамью вдоль стены сели все три зачинателя артели: Прокоп Алдонин, старчески сухой, но прямой и рослый мужик с аккуратно подстриженными треугольничком седеющими усами, Андрей Колокольцев, по прозвищу Ельтого, круглолицый здоровяк с младенческим румянцем во все щеки, да Иван Бородин, по-уличному Ванятка, несмотря на возраст бойкий еще и черноусый.

Руководство артели расположилось вокруг стола: Кадыков в центре, по торцам Успенский и Клим Барабошка – он был и кассиром, и экспедитором, и за продавца оставался.

Кадыков поднялся.

– Дело вот какое: надо подбить бабки, посчитать – сколько и кому задолжали, какие прибыли и тому подобное. Заодно посоветоваться – наметить новое руководство, а старое переизбрать.

– Как то есть переизбрать?

– Какое еще новое руководство?

– Новый блин всегда жжется.

Загомонили на скамье.

– На этот счет прений не требуется, – строго сказал Кадыков.

– Да ты чего это надумал, Зиновий Тимофеевич? – обалдело глядел на него Прокоп. – Чем мы тебе не угодили? Что ты, в самом деле, нас прогнать хочешь или сам уходишь?

– Обожди малость. Узнаешь все по порядку, кто кому угодить хочет, а кому надоело в угодничество играть! Давай, дорогой Дмитрий Иванович, выкладывай все наши счета.

Успенский раскрыл серую картонную папку и сказал, глядя поверху:

– А чего тут докладывать? Вы и сами все наперечет знаете. На июнь месяц изготовлено сто пятьдесят тысяч кирпича, да сто тысяч сырца лежит в сараях, ждет

обжига. Две печи хрущевки обожгли. Высаживать надо... Это по кирпичному заводу... Теперь каменщики. Капкин дом вывели под стропила, Кости Бердина дом сдали, Семену Луговому заложили фундамент – кирпич свезен на площадку. По кредитам задолженность погасили. Проценты за торговлю внесли. Магазин в полном порядке, можете проверить. Деньги на счету есть. Пусть бригадиры закрывают наряды. Рассчитаемся и с каменщиками и с кирпичниками.

– Дак чего у вас приспичило? – спросил опять Прокоп, беспокойно ерзая на скамейке. – Июнь еще почти весь впереди.

– На носу Троица, Духов день... Праздники, – нехотя отозвался Кадыков. – А после Троицы навоз будем вывозить. Тогда не до кирпича и кладки.

– Дмитрий Иванович-то не возит навоз! – крикнул Прокоп раздраженно. – Он и посчитает все не торопясь... В аккурат расплатится.

– Дмитрий Иваныч от нас уходит, – отдельно, точно по слогам, отчеканил Кадыков.

– Куда уходит?

– Чего ж ты молчишь?

– За этим и собрал вас, чтобы сказать. Дмитрий Иванович сдает дела.

– Кому?

– Ня знаю, – по-пантюхински, упирая на «я», отрезал сердито Кадыков и нахохлился, словно кто-то его обидел.

Бородин и Ельтого выжидательно и удивленно глядели на старших, но те молчали. Прокоп метал прокурорские взоры то на Кадыкова, то на Успенского; но Кадыков, резко вскинув подбородок, рассматривал тесовый потолок, а Успенский, низко опустив голову, что-то чертил в папке.

– Э-э, как она, как ее... Притчина ухода? – спросил наконец Барабошка.

– Указания свыше не обсуждаются, – ответил уклончиво Кадыков.

Успенский слегка покраснел и, глядя вкось на Барабошку, пояснил:

– Я в ближайшее время поступаю учителем в Степановскую школу.

После этих слов Прокоп, все время державший голову поверху, как гусак, сразу осел, подавая вперед мосластые плечи.

– Вопросы имеются? – спросил Кадыков.

– Кого подготовили взамен? – спросил глухо Прокоп.

– Вот рекомендую Клима Борзунова, если он, конечно, согласится, – Кадыков мотнул головой, взглянул на Барабошку.

– Э-э, как она, как ее... Работенка не под силу. Не по голове то есть... Запутая, мужики, все дебаты и кредиты... Сам черт не разберет, а сатана шею сломит. Право слов, мужики, – залотошил Барабошка.

Прокоп скривил щеку и вздохнул, потом с надеждой поглядел на Кадыкова:

– Может быть, ты возьмишь и бумажные дела? А, Зиновий Тимофеевич?

– Нет, мужики... Я тоже ведь ухожу, – отрезал Кадыков.

– Как? – Прокоп подался к столу и часто заморгал.

– Я не обучен с кредитами обращаться... Я человек служилый... То в армии, то в милиции. Пожары тушил, за преступниками бегал. Вот и пойду опять, пожалуй, туда же.

– А как же мы? Закрывай лавочку, да? – спросил Иван Бородин, обращаясь к своим приятелям Прокопу и Андрею.

– Ельтого, попросим в РИКе, может, пришлют кого с образованием, – сказал

Колокольцев.

– По почте выпишут, что ли? – усмехнулся Прокоп.

– Найти все можно, – сказал Кадыков. – Было бы желание. Боюсь, что в РИКе вам не помогут, а скорее наоборот.

– Как то есть наоборот? – спросил Прокоп, все более удивляясь.

– А так. Не нравится ваша артель Возвышаеву. Вот кабы все обобществить – землю, инвентарь, скот... тогда другой оборот.

– Так была же в Выселках коммуна?

– Возвышаев повторить хочет, – сказал Кадыков.

– Нет, на это я не согласный, – решительно отрезал Прокоп и хлопнул себя по коленке.

– Ты погоди, Прокоп, погоди! – Ванятка положил свою ладонь на сжатый кулак Прокопа. – Раскатать избу куда как просто. Сложи ее попробуй заново! Ты забыл, как мы артель создавали? Сараи строили, печи?! Жилы из себя тянули. Последние гроши закладывали... Думали – оправдает, обернемся... разбогатеем... И теперь вот, когда дело пошло на лад, сами разбегаемся. Куда? Пошто?!

– Окстись, Христос с тобой. Кто, я разваливаю артель? Ты их вон спроси, – указал Прокоп на засталицу. – Куда они бегут? И пошто?!

– Мы на службе, – ответил Кадыков. – Нас отзовут, других поставят. Это вам решать – быть артели или не быть. Обобществляйте землю, инвентарь, и разговор кончен.

– Не для того я двенадцать лет хрип гнул, чтобы свалить все свои манатки в общую кучу, – крикнул Прокоп.

– Да кто тебя заставляет делать кучу-малу? – подался к нему опять Ванятка. – Ведь бьем же вместе кирпич, дома вон строим. И ничего. Разбираемся, кто лучше кладет, тот и получает больше. Так и с землей приладимся, и с инвентарем.

– Приладимся! Один придет с сохой, другой – с блохой, – усмехнулся Прокоп. – Скажи уж проще: отдай, мол, нам свою молотилку, а сам ходи с цепями.

В отличие от худого и мосластого Прокопа, Ванятка был широк и плотен, с большой лысой головой, словно полированной на точильном станке. Взрывается он, как порох; цыганистые глаза его округлились, ноздри задрожали, голова пятнами покрылась:

– Скарעד лыковый! Ты дождешься... У тебя ее все равно отберут.

– Кто это отберет? Да я башку ему отвинчу, как гайку. И брошу под забор.

– Мотри, разбросался...

– Эй вы, забубенные! Поменьше размахивайте кулаками! – крикнул Кадыков и постучал ладонью об стол.

– Да я к нему по-человечески, – ринулся к столу Ванятка. – О себе думай и других не забывай. Сколько семей кормит наша артель? А развалим ее из-за каких-то сеялок да молотилок. Уж ежели на то пошло, – обернулся опять к Прокопу, – оплатим мы твою молотилку.

– Оборы от лаптей продашь? – с усмешкой спросил Прокоп.

– Не оборами, а хлебом артельным за три-четыре года погасим.

– Ага, десять лет по кружке молока...

– Прокоп Иванович, подумай все-таки. В колхозе тоже жить можно, – сказал Кадыков. – В конце концов твою же молотилку артель и так использует.

– То я за ней гляжу, потому как хозяин, а то она у Барабошки под навесом

валяться будет, – возразил Прокоп. – Ее ребятишки растащат из озорства.

– Э-э, как она, как ее, прошу без выпадов на оскорбление.

– Значит, кирпич можно бить сообща, а землю пахать нет? – обиженно спрашивал Ванятка.

– Кирпич, тьфу! – плюнул Прокоп. – Комок глины. И кладут его в станок. Лаптем шлепнул – и вся недолга. А земля – особь статья. Каждый клин свой характер имеет. К земле приравниваться надо. А вы наскакком хотели...

– Ельтого, Прокоп Иванович, не согласен – дело табак. Мужики за ним потянутся. Развалится артель наша, – сказал Колокольцев, с надеждой глядя на Кадыкова.

– Вот то-то и оно. За нос водить вас не хочу, мужики. Доложу Возвышаеву – все как есть. Захотят – найдут замену. Нет... На нет и суда нет. Значит, придется вам расстаться. По времени оно теперь и не страшно. Кладку кончаете... Кирпич успеете обжечь. А там полевые работы, луга, страда... И до самой осени. А магазин надо прикрыть. Паи раздать сможешь? – обернулся Кадыков к Успенскому.

– И паи раздам и жалованье выплачу, – ответил Успенский. – Надо бы с контрактами поторопиться, закончить работы до праздников. По сколько примерно каменщики заработали?

– Ельтого, посчитать все со всем, так, пожалуй, рублей по пятьдесят, а то и по шестьдесят выйдет.

– И кирпичники примерно по столько, – отозвался Прокоп.

– Мать твою в клюшку подорожную! – выругался Ванятка и головой покачал. – Что ж мне теперь, опять в кузницу итить? Лепиле железку держать? Что вы, мужики? Неужто вот так возьмем да разойдемся?

– Зачем же так просто и насухо? – мягко улыбнулся Успенский. – Или мы нехристи? Окропим усы и бороды святой водицей.

Смешок получился жидкий, весь какой-то вымученный.

– Ладно, мужики. Неча раньше времени слюни распускать. Сегодня же доложу Возвышаеву. А там, если понадобится, и к секретарю райкома ходим.

Возвышаев принял Кадыкова после обеда.

– Ну, что у тебя загорелось?

Он сидел за своим массивным дубовым столом и нетерпеливо поглядывал в окошко, – там, возле зеленой железной ограды, за сиреневый куст был привязан вороной риковский жеребец, запряженный в рессорный крылатый тарантас.

В задке на охалке свежескошенной травы сидел в белой расшитой рубахе навыпуск заведующий роно Чарноус, маленький подслеповатый мужичок, дремавший от жары, как кот на лежанке. Они с Возвышаевым собрались ехать в Степаново, принимать учебный корпус и кирпичные мастерские бывшего ремесленного училища под новую, пока что на бумаге созданную школу второй ступени. В кабинете Возвышаева было душно, как на солнцепеке, и Кадыков, прежде чем приступить к делу, сказал:

– Хоть бы окна открыли.

– Нельзя. Мухи отвлекают – не дают сосредоточиться. Расстегни ворот. – Возвышаев сам расстегнул френч, распахнул отвороты, так что показались узенькие синие подтяжки на белой коленкоровой рубашке. – Ну, что у тебя загорелось? – повторил свой вопрос.

– Гореть-то, пожалуй, нечему. Все уж давным-давно истлело.

– Как то есть нечему?

– Вот так... Решил уходить из вашей артели, если она является тормозом к общественному развитию.

Один глаз Возвышаева отвалил в сторону и зацепился за кафельную печь, второй из-под брови сизовато-черной дробинкой зрачка нацелился на Кадыкова:

– Во-первых, артель эта не моя. Не я создавал такую квашню для аппетита мелких собственников. А во-вторых...

– Но ты же меня посылал хлебать из этой квашни! – перебил его Кадыков. – Или, может, стоять с черпаком возле нее?

– Ты, дорогой товарищ, путаешь историческую обстановку. Это раньше, когда ты служил у купца Каманина, тебя единолично мог послать хозяин на выполнение своего задания. У нас же, как известно, такие вопросы решаются коллегиально, и ваше направление в артель решалось на волостном исполкоме.

– Вы мне политграмоту не читайте, – сердито вскинул подбородок Кадыков. – Я у купца Каманина эксплуатацией рабочего класса не занимался. Как раз наоборот – меня эксплуатировали за бесценку. И на исполкоме, где посылали меня в артель, председательствовали не кто-нибудь, а вы.

– Исполком посылал вас с определенной целью – перестроить артель в общественном плане, то есть весь рабочий инвентарь, землю и так далее – все обобществить.

– А если, допустим, артельщики не хотят этого, тогда как?

– Тогда вы не справились с поставленной задачей. Это – во-первых... А во-вторых, вопрос о вашем пребывании на посту председателя не ставился. Мы требовали только одного – снять с руководящей работы некоего Успенского, как чуждого элемента.

– Успенский с работы ушел.

– А его обязанности возьмете вы.

– Я вам не бухгалтер...

– Это одна сторона вопроса, – продолжал Возвышаев, не слушая возражений. – А другая и главная ваша задача – за летний период создать первый настоящий колхоз в нашем районе...

– А я вам говорю – бухгалтером не стану работать. В кредитах я не разбираюсь, подряды не брал и подрядчиком не был. Это дело для меня новое.

– Создавать колхозы – для всех нас дело новое. Вот нам, коммунистам, его и осваивать. Так что спорить не о чем. Кстати, как у вас подписка на заем? Полностью охватили?

Кадыков поморгал глазами, точно спросонья, и выпятил губы.

– Ну чего молчишь? Язык проглотил? Я спрашиваю – подпиской на заем всех охватил?

– При расчете за весенние работы все подпишутся, кто еще не успел, – ответил хрипло Кадыков.

– Ну вот... Доложишь. А пока до свидания. – Возвышаев застегнул китель, встал и резко подал Кадыкову руку.

– Я к вам пришел не за тем, чтобы получить задание, – сказал Кадыков, не подавая руки, – я требую делопроизводителя... Иначе артель распадается.

– Это что за ультиматум? – раздраженно повысил голос Возвышаев. – Вы с кем разговариваете? У кого требуете?..



Скрипнув, растворилась дверь, и без стука вошел худой носатый человек в черных роговых очках. Кадыков узнал первого секретаря райкома Пospelова, недавно присланного к ним из округа.

На нем была коричневая толстовка под широким командирским ремнем, темно-синие галифе и ярко начищенные сапоги, такие же, как у Возвышаева, только с заколенниками.

– Ты еще не уехал? – с ходу заговорил он с Возвышаевым. – Я забыл тебе сказать: звонили мне из Степановского селькова. Там у них лес заготовленный не принимают. Заезжай к ним, разберись. А вы кто такой? – строго спросил Кадыкова.

– Председатель тихановской артели, – ответил за Кадыкова Возвышаев.

– Здравствуйте! – Пospelов подал Кадыкову сухую узкую руку.

– А я как раз к вам собирался зайти, – сказал Кадыков, поздоровавшись. – Я бывший работник угрозыска. И товарищ Озимое снова приглашает меня на работу. Говорит, что с вами согласовывал. – Кадыков с вызовом поглядел теперь на Возвышаева – на-ка, мол, выкуси.

– Да, говорил, – подтвердил Пospelов. – Милиция у нас не укомплектована. Так вы за этим и пришли?

– За этим самым... Но товарищ Возвышаев приказывает мне стать делопроизводителем артели, поскольку нашего делопроизводителя он уволил.

– Почему? – глядя в глаза, спросил Пospelов Возвышаева.

– Как бывшего лишенца, – ответил тот.

– Ничего подобного! Это отец его был лишенцем, то есть попом, – сказал Кадыков. – Наш делопроизводитель был и бухгалтером и подрядчиком. Я за него не останусь, потому как не обучен ни тому, ни другому. Прошу меня отпустить по специальности, а в артель назначить вместо Успенского другого, более грамотного, знающего человека.

– А что, специалиста нет? – спросил Пospelов Возвышаева.

– Не в том дело... Эта артель, можно сказать, бельмо у нас на глазу... В свое время мы посылали туда коммуниста Кадыкова с целью обобществить все орудия труда, землю, скот и так далее. Но, к сожалению, Кадыков сам пошел на поводу мелких собственников, и артель стала убежищем зажиточных крестьян. Артель надо либо перестроить, либо распустить. В таком виде оставлять ее нельзя.

– Можно мне сказать? – Кадыков вскинул подбородок и поглядел на Пospelова.

– Давайте, – кивнул тот.

– Наша артель является объединением крестьян вокруг производственных задач, а именно: изготовление и обжиг кирпича, извести-хрущевки, строительство кирпичных домов и налаживание товарооборота среди населения – и это есть равноправная форма коллективного движения, я сам читал в брошюре.

– Читал, да не понял, – сказал Возвышаев. – Развел тут про кирпичи да хрущевку... Ты лучше скажи, какое хозяйство у вашего артельщика Алдонина? Молотилка у него, к примеру, есть?..

– Есть...

– Да еще всякие сеялки-веялки... А где он у тебя заседает? В совете артели, да?

– Заседает в совете. Зато он больше всех кирпичу набивает, да известь обжигает, да хлеб молотит. Его молотилкой половина артели пользуется...

– Вот так, за счет своего имущества кулаки авторитет себе в артели завоевывают, – криво усмехнулся Возвышаев. – И это называется коллективной

формой отношений...

– Кулак в артели? – удивленно поглядел Пospelов на Кадыкова.

– Он не кулак! У него отродясь батраков не было, – горячился Кадыков. – Он бывший боец. Ленту именно с броненосца имеет.

– Пусть он ее повяжет на дышло своей жатки системы «Джон Дир»! – закричал наконец Возвышаев. – Вот когда вы уберете из артели подобных типов да обобщите все имущество, тогда мы пошлем вам делопроизводителя.

Кадыков опять выпятил губы и тихо, но твердо сказал Пospelову:

– Я отказываюсь работать в артели. Прошу меня уволить. Пойду на прежнюю работу.

Пospelов снял очки, осмотрел их, будто впервые видит, и сказал, глядя в пол:

– Людей надо уважать и ценить по заслугам. Работа наша сложная. Поэтому меньше амбиции, больше трезвости, спокойствия... Ну что ж? Придется на бюро выносить...

И непонятно было – кому он говорил? Возвышаеву, Кадыкову или самому себе.

До бюро дело не дошло – Возвышаев послал в тихановскую артель своего секретаря: «Проведи собрание – лично опроси, уточни: хотят они обобществления или не хотят».

Тот вернулся и доложил: «Не хотят!» – «Тогда нечего и огород городить», – сказал Возвышаев и начертил на заявлении Кадыкова – отпустить. А начальник милиции Озимое упросил Пospelова не тянуть с утверждением Кадыкова в новой должности, потому что у него на весь отдел уголовного розыска числился всего один человек.

«Ну что ж, в каждом деле должно быть спокойствие и согласованность, – сказал Пospelов. – Не возражаю».

И вот новый помощник опера Зиновий Кадыков поехал в Большие Бочаги расследовать кражу.

Кадыков хорошо знал и Деминых и Андрея Ивановича Бородина, у которого лошадь угнали. Знал, что они какие-то дальние родственники, и оттого, что кража случилась с малым промежутком у людей близких, Зиновий Тимофеевич полагал, что тут замешано одно и то же лицо. Накануне вечером он зашел к Андрею Ивановичу и, к своему удивлению, застал там Возвышаева. Тот сидел в своем неизменном френче за столом в горнице и распивал чай. Кроме Андрея Ивановича, чаевничали хозяйка Надежда Васильевна и свояченица его – Мария Обухова, работавшая в райкоме комсомола.

Зиновия Тимофеевича пригласили к столу и спросили, что будет пить: чай со сливками или толокно? Кадыков замешкался:

– Извиняюсь, вопрос у меня пустяковый, могу и завтра утречком забежать.

– А мы все тут пустяками занимаемся, – сказала Надежда Васильевна. – Толокно сбиваем да языками мелем.

– Садись, не чванься, – пригласил дружелюбно Возвышаев. – Людей уважать надо.

Он был благодушен, улыбчив, сидел, развалившись на деревянном диванчике, и, глядя на его распаренное широкое лицо, можно было подумать, что хозяин здесь он самый, а не кто-нибудь иной.

Кадыкова усадили на табуретку, налили полную чашку чаю.

Возвышаев, как бы обращаясь к нему, повел прерванный разговор:

– Вот пусть Зиновий Тимофеевич нам ответит: когда человек имеет убеждение, может он устраивать не коммунальный, а личный комфорт или нет?

– Какое убеждение? – буркнул себе под нос Кадыков.

– То есть как это какое убеждение? Убеждение, значит, идейность. А идейность бывает только одна – передовая, прогрессивная, то есть коммунистическая.

– А что, убежденный человек или есть не хочет? – спросила Надежда Васильевна.

– Вопрос резонный! – подхватил Возвышаев. – Все, что касается поддержания сил и здоровья, а также опрятного внешнего вида, все это есть необходимая потребность. А тут комфорт, то есть самое причудливое излишество: всякие завитушки, финтифлюшки и прочие другие красоты.

– Так что ж выходит, Никанор Степанович, кисти на шали или кружева на кофте, к примеру, тоже излишество? – спросила, улыбаясь, Мария и повела рукой. Она сидела в белой кофточке с широкими рукавами, отороченными кружевом.

– Мария Васильевна, попрошу меня понять правильно, – Возвышаев от смущения упустил один глаз в сторону и густо покраснел. – Все женские наряды хоть и являются пережитком буржуазного прошлого, но покамест существуют. И я на них не покушаюсь, потому что вопрос женской формы одежды еще далеко не разработан.

– Ха-ха-ха! – закатилась Мария, запрокидывая голову. – А все-таки, Никанор Степанович, какую бы форму одежды предложили вы нам, работницам райкома комсомола?

– Темно-синие тужурки... Красиво и не марко, – услужливо улыбнулся ей Возвышаев.

– Под цвет ваших галифе? – спросила она, смешливо прищуриваясь.

И Возвышаев опять сделался пунцовым, затеребил пальцами по столу:

– Кроме шуток, мы ведь начали разговор про убежденность, – как-то боком обернулся Возвышаев к Кадыкову.

– Разговор бесполезный, – глухо пробурчал тот в ответ.

– Нет, извините! Речь идет о смысле жизни, то есть об уважении. Я вот за что уважаю Андрея Ивановича? За умеренность. Он не даст ходу и развитию частной собственности. Потому что имеет высший интерес – коней рОстить для государства, Красной Армии и так далее. А твой друг Прокоп Алдонин натуральное богатство копит.

– Он не мой друг, – сказал Кадыков.

– Это я к примеру. Андрей Иванович вон даже книжки немецкие читает, – кивнул Возвышаев на этажерку, где в самом деле рядом с Евангелием, Уголовным кодексом РСФСР, толстым томом Бауэра, пухлым справочником по сельскому хозяйству да комплектом журнала «Сам себе агроном» стоял старый немецкий календарь и наставление по скотоводству.

– Пустяки! В плену полтора года пробыл, вот и языку научился, – Андрей Иванович только покручивает усы да посмеивается.

– Вот именно – пустяки! – Возвышаев выкинул указательный палец. – Да разве не мог бы Андрей Иванович закупить коров, завести сепаратор и устроить молзавод у себя на дому?

– У него голова не так затесана, – сказала Надежда Васильевна.

– А я говорю – мог бы, да не хочет. Потому что не в том смысл жизни.

– А в чем он? – спросила Мария, озорно поглядывая на Возвышаева.

– Строить всеобщее счастье.

– А как насчет личного?

– Если эта личность не стоит поперек пути всеобщего движения, то она имеет право на счастье.

– А что это за право? Вроде удостоверения? За чьей подписью?

Мария дурачилась, как школьница, весело поглядывала по сторонам, точно приглашая посмеяться за компанию, а Возвышаев краснел, отдувался и терпеливо пояснял:

– Не подумайте, Мария Васильевна, что люди, связанные служебным положением, не хотят строить личного счастья...

«Батюшки мои! – сообразил вдруг Кадыков. – Да ведь этот бирюк ухажера изображает... и Бородина хвалит, и насмешки терпит, и краснеет... Кабы на меня не кинулся с досады».

Кадыков отодвинул выпитую чашку и сказал:

– Спасибо за угощение! Я побегу – нет времени.

– Да сидите! Куда торопиться на ночь глядя? – донеслось со всех сторон.

– Нет, нет, спасибо! – Кадыков встал. – Андрей Иванович, на минутку можно тебя?

– Пожалуйста!

Они вышли в летнюю избу, прикрыв за собою дверь.

– Дело в том, что мне поручено вести дело по вашей краже. Есть ли у тебя какие-нибудь подозрения?

Андрей Иванович, теребя ус, склонил голову.

– Пожалуй, нет, – сказал он после некоторого раздумья.

– Хорошо. Тебе Демины из Больших Бочагов кем доводятся?

– Да седьмая вода на киселе... Дальние родственники по жене.

– А ты слышал, что у них амбар обокрали?

– Слышал. Был у меня позавчера Федот Демин.

– Случайно?

– Нет... Говорил о краже...

– Зачем же приезжал? Просто поговорить?

– Не просто... Подозрение у них имеется на родственника, на Василия Демина. А я у него был как раз на той неделе. Он в Агишеве работает, уполномоченным в селькове.

– Значит, посоветоваться приезжал Федот Демин? И что ж ты ему сказал?

– Сказал, что не думаю на Василия Демина.

– Почему?

– Улика повторилась... Как-то странно. Лет десять назад Вася обокрал у Демина амбар и потерял свою рукавицу, а может, и подкинул, кто его знает. И теперь вот в амбаре нашли тубетейку жены Васиной.

– Где эта тубетейка?

– У Федота Демина.

– Ну, спасибо! – Кадыков тиснул руку Бородину и двинулся к дверям.

– Если чего нащупаешь насчет моей кобылы, скажи! – крикнул Андрей Иванович вдогонку.

– Непременно! – ответил Кадыков.

Кадыков поехал в Большие Бочаги верхом на милицейской лошади не верхней дорогой через сухое Брюхатово поле, а в объезд, низиной, через Пантюхино, мимо Святого болота на Мучинский дубовый лес, чтобы въехать в Большие Бочаги со стороны Прудков, от реки. Ему хотелось как бы окружить село, еще раз взглянуть на все торные и заглохшие дороги, на луговые, безлюдные пространства, попытаться прикинуть, определить – по каким распадкам да буеракам вернее всего, незаметнее уходить от людского дозора мимолетной воровской ватаге. Была у него еще задача – заехать в Пантюхино, оглядеть забитый родительский дом, подворье с амбаром – все ли на месте? Не растаскивают ли дотошные соседюшки шелуги с повети или приметины с соломенной защиты. А то, гляди, и до тесовой амбарной крыши доберутся. Многие не любят обходить мимо заброшенной постройки. У кого плохо лежит, а у нас брюхо болит.

От Тиханова до Пантюхина идут три дороги; одна торная, столбовая, чуть прихватывает дальний песчаный конец села и у самой околицы сворачивает в луга, минуя Тимофеевку, а там бежит вдоль сумрачного ольховского леса к далекому Богоявленскому перевозу; вторая дорога идет низом вдоль каменистой речки Пасмурки, как бы в обхват Пантюхина с другого «грязевого» конца, а третья виляет по овсам да оржам прямо на церковь, – она самая короткая – версты полторы всего, но по ней снуют пешие да верховые, на телеге ж редко кто ездит, разве что пьяный базарник, налижавшись в трактире, встанет во весь рост на наклестки; натянет вожжи и пойдет чесать напропалую, баб да девок пугать: «Разойдись, кому жизнь дорога!» Перед самой церковью глубоченный овраг, где оставила поломанные колеса не одна забубенная отчаянная башка.

Кадыков поехал полевой стежкой; возле церкви спешился, привязал коня за длинную, отшлифованную руками до блеска коновязь, а сам прошел за церковную ограду в дальний угол, где под раскидистой березой была могила его отца. Нагнулся, очистил ладонью могильный камень от моха, оглядел надписи: отколов не было, буквы цельные, аккуратные, будто вчера только выбитые. Сверху под православным крестом славянской вязью стояла дата рождения и смерти, имя и отчество отца, а сбоку еще им самим была выбита надпись: «Вы там в гостях, а я уж дома». Чудак был родитель – подрядился у попа Афанасия подправить иконостас, отремонтировать двери, окна, алтарь в храме за могильное место в церковной ограде да за памятник, высеченный из белого известняка. Памятник этот, а в нем было пудов двадцать, приволок домой и хранил на дворе до самой смерти. Да, странный был человек, и религиозный и бунтарь одновременно, думал Кадыков, стоя у могилы. Он вспомнил, как в семнадцатом году летом пантюхинские мужики воевали с уездной милицией. А зачинщиком был его отец.

Как раз накануне Троицы... Поехали они в Мучинскую дубовую рощу за молодняком. Отец передом. «Мужики, – говорит он, – поскольку царя нет, таперика распоряжаемся мы». Ну, заехали с краю, который поближе, и пошла щеповня... только роща загудела. Вот тебе является объездчик от управляющего хутором: «Пошто дубье дерем? Кто старший?» – «Я», – говорит Тимофей Кадыков. «Чье решение?» – «Наше... На сходе решили». – «Тогда, говорит, пойдете к выборным и управляющему. Акт подпишем. Ему ведь тоже отчитываться надо. Лес-то помещичий». Управляющий Квашнин, а помещик Кривокопытов сидит далеко, где-то в Рязани. Его лес-то... «Ну да, был его...» Пойдем, подпишем. Пусть знает наших. Пошли с объездчиком Тимофеем Кадыковым да кум Епифанием Драный. Этому не впервой, ходок бывалый по

всем мужицким хлопотам. Его и драли не раз в волости за недоимки, отсюда и прозвище прилепилось. Пошли весело, ходко... Вот тебе, не прошло и часу – бежит Епифаний без фуражки, рубаха располосована, пупок наружу и орет: «Ребята, наших бьют». Ну, ринулись мужики на хутор, кто с топором, кто с дубьем... А там – тишина мертвая. Ворота на запоре, двери дубовые... Не дом – крепость. Стучат, грохают в окна, в двери. Ни звука. «Они в погреб его затащили! – кричит Епифаний. – Высаживай двери!» Подняли бревно от завалинки, раскачали – шарах в ворота! Они с крюков слетели. Ворвались на двор... Так и есть. Сидит в погребе Тимофей, связанный валяется, весь в синяках, и кляп во рту. Ах, туды вашу растуды!.. Скрутили, связали управляющего и двух скотников и давай им банки рубить: один шкуру на животе оттягивает, закручивает, а другой ребром шершавой ладони, что доской, по натянутой коже как шарахнет – «бух!». «А-ы-ы!» И лиловые, иссиня-красные потеки плывут, растекаются радужным переливом по вспухшей коже. Управляющий Квашинин – мужчина солидный, кожа белая, живот большой. Захватывали толстую брюшину его пятерней, били в две руки глухо, как в дежу с тестом. После трех банок он и голос потерял, только носом свистит да хрипом исходит.

Этих кинули посреди двора связанными, Тимофея поставили на ноги. Ну, как – своим ходом пойдешь? Пойду... И только тут заметили объездчика – он на повети хоронился. Они было бросились за ним. Он через забор сверху-то маханул – да в сад. А там лошадь у него привязана была. Пока мужики очухались, выбежали со двора, он уж по дороге зацокал... Только пыль столбом.

«Ну, мужики, таперика берегись, – сказать Тимофей. – Всеи милицией явятся». – «Ня бойсь!.. Мы тебя не выдадим».

На другой день у пантюхинской околицы появился милицейский патруль – шесть верховых с винтовками через плечо. Мужики заставили околицу телегами, набросали на телеги бороны зубьями кверху и сами залегли, кто с дробовиком, кто с берданкой, а кто и с вилами да с косой. Баррикада!

– Выдайте зачинщика! – говорит старший наезда. – Не то отряд вызовем. Хуже будет.

А те из-за своей засады:

– Лес наш. Таперика мы сами хозяева. Подавайте в суд. Пускай рассудят по закону.

Так они потоптались возле околицы, а приступом взять побоялись – не осият. Чего их всего-то? Горсточка... Колами и то зашибут. Ладно, поехали по конопляникам, вдоль задов... Ну, думают пантюхинские, наша взяла, струсили.

А те заметили щербину в огородных плетнях – заброшенную усадьбу Марфутки Погорелой – и сквозь эту брешь ворвались с гиканьем в село. Сорвали винтовки: «Расходись по домам! Стрелять будем!» Захлопали выстрелы, забрехали собаки, завизжали свиньи, бабы заголосили. Ну, прямо как на пожаре. Думали милиционеры – мужики, мол, дрогнут от такого внезапного удара с тыла, побросают свои дробовики да вилы и по домам разбегутся. Но не тут-то было... Пантюхинцы, услышав выстрелы, как в штыковую бросились с обоих концов села с вилами наперевес. Ну, застрелили десяток, другой... А их сотни... Ревущая, разъяренная, неудержимая лавина. Сомнет и в землю втопчет. Постреливая в воздух, не спуская глаз сседающих мужиков, милиционеры заворачивали коней и один за другим, как застигнутые облавой волки, ныряли в спасительный проран Марфуткиной усадьбы. Победа пантюхинцам обошлась почти бескровно, если не считать убитой свиньи да раненого деда Михея

Каланцева, – шальная пуля прошила стену избы и задела ему ягодицу. Он лежал на печи... Мужики смеялись: «Ничего, Михей Корнеевич... Главное, бок не задела – спать можно. А сиделка тебе ни к чему. Похлебать щей и на боку можно. На печь подадут. Еще лучше».

Но Тимофея Кадыкова все-таки взяли. Схватили его недели через две на тихановском базаре. Били при всем народе кнутами... Потом сорвали с него рубаху, связали руки и ноги и везли через все деревни по столбовой дороге в уездную тюрьму. Просидел он до глубокой зимы, пока власть не сменилась. Пришел больной, избитый... Покашлял месяца два да и помер.

Гулкий скрежет церковных железных дверей заставил Кадыкова очнуться.

Возле паперти собирался народ к заутрене – больше все молодайки в длинных полосатых поневах, в темных, в белую крапинку ситцевых платках, повязанных углом, по-старушечьи, да с белой перевязью широких рушников, приторочивших на весу перед грудью запеленатых младенцев. Судя по густо запыленным сапожкам да высоко шнурованным ботинкам-румынкам, можно было предположить, что пришли они издалека. И Кадыков вдруг вспомнил, что скоро Троица – самая пора исцеления больных младенцев.

Пантюхинская церковь, срубленная из вековых дубов, стоявших когда-то на этом пустынном бугре, заложена была две сотни лет назад в честь Сергия Радонежского. В церкви хранились чудотворные мощи отца Сергия, изображенные на литом медном складне. Этот складень на красной ленте со святыми мощами надевали на страдающего младенца. Служили молебн... И с той поры замечали – либо дело шло на поправку, либо младенец исходил, истаивал за каких-нибудь два-три дня. Так и называлось это грозное приобщение – жить или помереть.

Оттого и скорбны были материнские лики и в просторных одеждах преобладали траурные цвета – белый<sup>5</sup> и черный.

Кадыкову пришлось самому против воли своей пережить мучительные часы ожидания этих чудодейственных молебнов. В молодые годы жена его, Нюра, по какой-то темной непонятной болезни лишилась молока, и на глазах увядали, чахли младенцы: на ножках и ручках сводило до сухой собачьей шурбы кожицу, раздувался и стекленел животик, хоть по столу катайся. С застывшим испугом в округленных сдавленных криком глазах, носила детишек Нюра под святыне мощи. Не выживали. На второй день умерла Настенька, на третий – Ванечка... А тот затаенный испуг в округлых глазах, тусменно-желтый болезненный цвет лица да вяло опавшие скорбные губы так и остались у Нюры с той поры, как наклеенная маска. Так и жили Кадыковы без детей...

Расстроенный до слез этими скорбными воспоминаниями, Кадыков понуря голову вышел из церковной ограды и направился к коновязи.

– Здорово, казак! – окрикнул его кто-то.

Кадыков вздрогнул и оглянулся – по тропинке к церкви шел ветхий кривоногий псаломщик Степан Глазок и шурил радостно свое и без того морщинистое, как печеное яблоко, лицо.

– Гляжу на лошадь и думаю: откентелева такой молодец прискакал? И лошадь породистая, и седельце вроде в серебряном окладе... Ан, оказывается, наш... Малайкина Соска.

---

<sup>5</sup> Раньше в России на помин надевали белые ширинки, платки и запоны.

Пантюхинских прозвали Малайкиной Соской. Принесла молодайка младенца издалека под святые мощи да и заночевала возле церкви. А утром хватилась – нет соски. Вот она и спрашивает дьякона, отворявшего храм:

– Отец дьякон, ты по церкви слонялся – малайкину соску не видал?

– А что у тебя за соска?

– Семь картох да хлеба ломоть...

Так и пошла с той поры дразниловка:

– Эй, пантюхинские! Кто из вас малайкину соску съел?

А потом и прозвище прилепилось к каждому жителю села – Малайкина Соска.

Степан подошел, протянул сухую детскую ручонку, поздоровались.

– Прогуляться к нам ай по делу? – спросил Степан.

– На избу свою хочу взглянуть, – ответил Кадыков, развязывая повод коня. – Случаем, сени не растащили на растопку?

– А чего хитрого? И растащат. Бесплизорная изба что мертвец незахороненный, один смрад от нее. Поди, надоело по квартирам тихановским шататься?

– Надоело, Степа, – весело сказал Кадыков, вскидывая свое легкое подтянутое тело в седло и разбирая поводья.

– Эх, голубь заблудший! Тяни до своей голубятни, не то чужие сизари глаза выключают...

«А что, и впрямь, пожалуй, надо в Пантюхино переезжать, – думал Кадыков, удаляясь от церкви. Работа у него теперь подвижная. Нынче здесь – завтра там. Утречком иной раз и пробежаться до милиции нетрудно. А то на лошадке – обещали закрепить за ним одну лошадь. Вот и будет держать ее на своем дворе. – Приволье в Пантюхине лучше тихановского. Нюра гусей опять разведет, овец... Двор просторный, а дом сухой да теплый... Чего уж лучше? Скажу-ка я Нюре. Вот обрадуется», – совсем размечтался Кадыков. И, осмотрев свой высокий под тесовой крышей дом из красного лесу, найдя все в отличном состоянии, он решил твердо переехать в Пантюхино. А решив, завернул на пантюхинские луга, лежавшие между Святым болотом и Мучами. Трава стояла непрорезная – уж не проползет. «Мелкая, шелковистая, упругая под ветром – шерсть, а не трава! – радовался Кадыков. – Нет уж, дудки! Луговой надел в этом году он возьмет здесь, в Пантюхине. Хватит, пошатался по чужой стороне...»

Крупной, машистой рысью, в добром расположении духа он быстро доехал до Больших Бочагов и свернул к мельнице Деминых. Увидев его, Федот остановил жернова, отряхнулся от белого мучного налета и пригласил Кадыкова в рубленый пристрой, вроде боковушки. Здесь он молча достал из деревянного настенного шкафчика школьную тетрадь, сложенную вдвое, и кинул ее на голый дощатый стол.

– Тут все записано, что украли, – и пододвинул к столу табуретку.

Кадыков мельком взглянул на тетрадь:

– Я уже знаю... Мне начальник показывал вашу опись. Ты мне скажи насчет улики.

– Какой улики? – Федот медленно, словно жернов, повернул голову, выкатил белки.

– Где тубетейка? – спросил строго Кадыков.

– А-а, вон что... – Федот мотнул, как мерин, головой. – Ни хрена не стоит эта тубетейка.

– Почему?

– Ездил я вчера к Васе Белоногому сам.



– Ну и что?

– В ту самую ночь, когда обокрали мой амбар, Вася был на лесозаготовках. Он работает уполномоченным от селькова... Заготавливает дрова и шпалы. Сотня человек у него работает.

– Это еще ничего не говорит. Он мог ночью незаметно съездить, а утром вернуться.

– Не мог... Во-первых, это далеко, верст сорок, а то и все пятьдесят будет. Сотню верст в телеге за ночь не сделаешь по нашей дороге. А во-вторых, он был в ту ночь с председателем селькова. Они деньги привезли лесорубам, получку... Ну и выпивали вместе. Я все разузнал.

– А почему тубетейку сразу не отдал начальнику угрозыска?

Федот вздохнул и поглядел на Кадыкова по-бычьему, исподлобья:

– Потому, мил человек, что он мой брат. Хотел знать наверняка. А потом заявил бы, будь спок.

– Вот народ... Нарушают инструкцию по уголовному розыску, да еще успокаивают. Понимаешь ты, голова два уха? За такое сокрытие улики я на самого тебя должен протокол составлять. Может быть, ты все дело нам запутал.

Федот и ухом не повел:

– А кто тебе сказал про тубетейку?

– Это уж не твое дело... Расскажи подробней, что украдено, при каких обстоятельствах?

– А чего тут рассказывать. Вон все записано, – кивнул он на тетрадь. – Амбар стоит на выгоне – съезди, посмотри. А мне некогда, меня люди ждут. Извиняй.

И Федот толкнул ногой легкую скрипучую дверь.

## 8

Поскольку в Тиханове базары собирались по воскресеньям, то на Троицу, как говаривали тихановцы, сам бог велел торговать.

Готовились к этому дню загодя – лавочники товары свои раздавали по лоточницам, накладывают всякой всячины: и ленты, и кружева, и платки, и духи, и пудру, и брошки... Саквояж наложат – только бери. Запишут в тетрадку, распишись и ступай, торгуй на счастье. Выручка будет – расплатишься, а нет – до другого базара откладывай.

Трактирщики квас варят, пиво привозят. Да что там пиво! Вином церковным подвалы забивали – бочками накатывали. А уж русско-горькой все буфеты уставят, хоть казенку закрывай. Правда, за последние годы поубавилось частных магазинов в Тиханове, но полдюжины еще торговало, да два трактира устояло, один артель на паях держала, второй – Семен Дергун, худоногий касимовский летун; снимал он мирское здание, построенное еще накануне мировой войны.

Зато уж чайных открывалось в этот день по доходу: с утра глядишь – десять пары пускают, а под вечер – все пятнадцать насчитаешь. А чего хитрого? Самовары разожгли, столы накрыли да мальчика в белом фартуке в дверях поставили. Вот и половой: «Дяденька, чайку испить! Калачи ситные, кренделя сдобные! Сухарики молочные!..» Заходи, присаживайся, хоть в одиночку, хоть артелью-обозом. Места хватит, дома в Тиханове просторные. Вода дешевая – три копейки заварной чайник, а калачей ситных – из калашных да булочных натаскали. Их в Тиханове целых три – выбирай на вкус. А хочешь – и колбаски подадут хоть чайной, хоть копченой...

Отрежут коляску – ломоть – в блюде не умещается, так чесноком шибанет, что дух замыкает. А ежели ты, к примеру, из Агишева приехал и тебе больше по душе сухая конская, пожалуйста, изволь конской... Так просушена, что без ножа зубы обломаешь. Пашка Долбач для всех старался и татар не забыл.

И пошло с утра, повалило со всех концов в Тиханово великое множество пешего и конного люду: от кладбищенского конца мимо двух церквей вдоль железной в крестиках ограды потянулись «залесные глухари» из Гордеева да Веретья, из Тупицына, из Лысухи, Шумахина, Краснова... Эти все в домотканом да в лаптях, – на мужиках суровые рубахи с расшитыми отложными воротниками, с жесткими стоячими гайтанами, с петухами по подолу; бабы в тройном облачении: снизу рубаха полотняная белая с красными лаптевыми – широкими врезками под мышкой на пухлых вышитых рукавах; на рубаху надевается в ярких разноцветных полосах суконная юбка – понька, а поверх всего – белый запон – урезанный сзади по талии сарафан с кумачовым обкладом по вороту, с черной вышивкой и множеством блестящих стеклянных пуговиц до самого подола. Да еще пояс плетеный, шириной в три пальца с длинными яркими кистями, свисающими на правое бедро... А ноги у всех толстые, обутое по-зимнему в белые онучи да в лапти-семирники.

– Эй, Ниночка! Заходи ноги погреть, на печьку посадим, – дразнили их тихановские.

Все залесные цокали и якали, но зато называли друг друга уважительно: Васецка, Манецка...

– Водохлебы! Самоварники! – кричали те в ответ. – Вы квасом стены конопатили!..

Залесные ходоки бойкие: один едет, трое идут. Возы у них громоздкие – не больно и усядешься: кадки да жбаны, самопряжи, ступы с пихтелями, пахтаницы, воробы, дуплянки, ложки и ковши, доньцы, гребни чесальные, веретена... И поверх всего связки желтых хрустящих лаптей с медовым сытным запахом.

Обочь залесным, с другой стороны церковной ограды, от Лепилиной кузницы, стоявшей на бугре у въезда в село, вливался в Тиханово другой поток торговых гостей; эти все больше ехали от Пугасовского черноземья, от городской станции далекой железной дороги, ехали по большаку в тарантасах, в бричках, на широких ломовых дрогах, ехали и на рысаках, и на битюгах, и даже впристяжку, на паре... Везли рожь, муку, пшено и гречку, везли селедку в бочках и воблу сушеную в мешках, а то и навалом, тянули за телегами коров и телят, везли в кошелках гусей, индюшек, поросят, а в тележных задках, притрушенные свежескошенной травой, лежали связанные свиньи. Этот живой и темный поток с коровьим мычанием, с поросычьим визгом и звонким гусиным гагаканьем обгоняли торопливые крылатки пугасовских извозчиков; везли они китайцев с белыми корзинами, с пухлыми кожаными саквояжами, набитыми пугачами и пробками, рожками и дудками, разноцветными фонариками, райскими птичками и пронзительно кричащими надувными чертиками: «Уйди! Уйди! Уйди! Уйди!»

– Ходя, соли надо? – роняли китайцам с возов.

– Шибакго гулупый... тебе, цхо! – отвечали китайцы, обнажая крупные желтые зубы, и сердито плевали под колеса.

А навстречу этим юго-западным колоннам двигались в село с севера, с востока, с юга такие же бесконечные вереницы людей и повозок, словно по единой команде сходилась одно большое войско на шумный бивак, чтобы разобратсья, построиться

толком и разом, дружно ударить по врагу. Здесь были свои и драгуны, и уланы, и гусары – с высокомерием истинных аристократов поглядывали на залесную публику речники. Эти не поедут в домотканых рубахах да в лаптях на базар: мужики в фуражках с лакированными козырьками, в яловых сапогах, а то еще и в хромовых; да с галошами, в костюмах-тройках, а если нет жилетки, то пиджак нараспашку, чтобы брючные подтяжки видны были. Вот мы как, по-городскому! И бабы у них в шелковых платках, в сапожках да в ботиночках на высоком каблуке, юбки длинные, широченные, в складках – шумят, что твои кринолины. И скот гонят отменный, коровы гладкие, пестрые холмогоры да симменталы, до рогов не достанешь, не коровы – буйволицы. А что ж такого? Эти желудевские да тимофеевские по сто возов одного сена накашивают. Вот оно что значит луга-то под боком. Да и река прибыль дает – на пароходах ходят, лес сплавляют. И торговля не последнее дело. Оттого и нос воротят и кричат презрительно с высоких телег каким-нибудь пантюхинским пешеходам с заплечными корзинами:

– Эй, родима, чего несешь, кунача аль макача?

Мало-помалу эта разношерстная масса людей, напирившая в село со всех концов, растекалась по улицам и площади, перемешивалась, занимала свои ряды, палатки, коновязи... И шумный пестрый российский базар принимал свои привычные очертания и формы: самая длинная, Сенная улица в зимнее время сплошь заставлялась возами с сеном в ряд по четыре (три рубля за воз, а в возу тридцать пудов), теперь, в весенне-летний сезон, становилась конной – сюда сходились барышники и цыгане, коновалы и кузнецы, подрядчики и скотогоны; здесь шумно и долго ладились, хлопали по рукам и совали ладони через полу, тыкали коням в бока, дули в ноздри, заглядывали в зубы; а на соседней улице в Нахаловке шел такой же шумный и азартный торг скотом: «А ну дай руку? Ну, сунь палец... Чуешь, по сгиб ушел?.. Вот колодец так колодец!..», «А хвост какой? Возьми, говорю, хвост! На три казанка ниже колена! Это тебе не порода?» Зерном, мукой – и пшенной, и пшеничной, и ржаной – забиты две улицы, прилегающие к церкви.

Вся площадь центральная застроена татарскими дощатыми корпусами: здесь и краснорядцы с шелками да сукнами, с батистом, сатином, с коврами, с персидскими шальями; здесь и татары-скорняки да меховщики с каракулем черным и серым, с куньими да бобровыми воротниками, с красными женскими сапожками, с мягкой юфтью и блестящим хромом, с твердыми, громыхающими, как полированная кость, спиртовыми подошвами. А вокруг них в легких палатках на фанерных полках расположилась шумная ватага лоточниц, своей яркой и пестрой россыпью товаров уступающая разве что одним китайцам. А на окраине площади, прямо на земле, на разостланных брезентах раскинули свои товары горшечники и бондари, жестянщики и сапожники; перед ними горы лаптей и драного лыка в связках, горшечные пирамиды, радужные переливы свистулков, петухов, глиняных барынь, расписных чайников, кадок, самопрях...

А там еще мясные и рыбные ряды, целиком забившие Сергачевский конец, да на улице Кукане два ряда – медовый да масляный. Мед сливной и сотовый: гречишный, липовый, цветочный. А в грузных серых торпищах тут же продавались семечки ведрами.

И горланили, соперничая, пантюхинские блинницы да пирожницы с тихановскими черепенниками: у одних корчаги со сметаной и чашки да тарелки с блинами, у других подносы с черепенниками.

– Родимый, бери блинка! Ешь, кунай в корчагу!

– А макать можно?

– Макай, макай...

– Так что продаешь, макача аль кунача?

– А мы черепенники! Теплые черепенники... Мягкие, воздушные... – кричали вперебой тихановские молодайки, поднося на большом противне принакрытые полотенцем, дымящиеся, коричневые, похожие на маленькие куличи, ноздрястые черепенники, испеченные из гречневой муки. Рядом с черепенниками бутылка конопляного масла с натянутой на горлышке продырявленной соской. Прохожий бросает на противень пятачок, берет мягкий, пахнувший гречневой кашей черепенник, разламывает пополам и подставляет дымящиеся ноздрястые половины:

– Голуба, посикай-ка!

Молодка берет бутылку и брызгает маслом на черепенник, отсюда и прозвище:

– Эй, ты, посикай-ка, подь сюда! Черепенники парные?

– Ой, родимый, духом исходят... Только рот разевай.

А над всем этим людским гомоном и гвалтом, над поросычьим визгом и лошадиным ржанием, над ревом и мычанием, над петушиными криками, над тележным грохотом и скрипом колес величаво и густо плывут в вышине тяжелые и мерные удары большого церковного колокола: «Бам-м-м! Бам-м-м!» Это корноухий церковный звонарь Андрей Кукурай, принаряженный по случаю праздника в черный суконный костюм и хромовые сапоги с галошами, с высокой колокольни под зеленой крышей посылает прихожанам господний благовест, приглашая к обедне в раскрытый храм, где входные врата и двери, иконы и клирос увиты зелеными ветвями берез; а на паперти, на изразцовом церковном полу густо растружена только что скошенная трава, отдающая горьковатым свежим запахом сырости.

Андрей Иванович Бородин вывел на Сенную улицу в конный ряд своего трехлетнего жеребенка Набата; ведет его под уздцы, шаги печатает прямехонько, точно половица под ним, а не дорога, сапожки хромовые, косоворотка сатиновая, прямой, как солдат на смотре, и жеребенок гарцует, ушами прядает. Картина! Темно-гнедой, с вороненым отливом по хребтине, грива стоит щеточкой, челка на лбу... Обороть с медными бляшками, с наглазниками, чтоб в сторонку не шарахался от каждого взмаха руки напористого барышника. Эй, православные, посторонись, которые глаза продают!

Не успел Андрей Иванович толком привязать жеребенка, как ринулся к нему бородатый хриплый цыган в белой рубахе и длинных черных шароварах, почти до каблуков свисавших над сапогами.

– Хозяин, давай минять? Твой молодой – мой молодой.

За цыганом вел мальчик круглого игреневого меринка.

– Хрен на хрен менять, только время терять, – ответил Андрей Иванович.

– Ай, хозяин!.. Пагади, не торопись. У тебя двугривенный в руке – я тебе целковый в карман кладу.

– Иди ты со своим целковым... Чертова деньга дерьмом выходит.

– Ай, хозяин! Ты пагляди, не копыта – камень. Гвоздь не лезет... Ковать не надо, – азартно хвалил за бабки своего мерина цыган.

– Эй, цыган, чавел! Не в те двери стучишься, – окликнул цыгана желудевский барышник, известный на всю округу по прозвищу Чирей. – Здесь именная фирма, понял? Здоров, Андрей Иванович, – протянул он руку Бородину и кивнул на

жеребенка: – Объезженный?

– Да... Весной даже пахать пробовал.

– Как в телеге ходит? На галоп не сбивается?

– Рысь ровная... идет, как часы... Можно посмотреть.

– Понятно! – Чирей худой и суровый на вид, в белесой кепке, натянутой по самые рыжие брови, нагнулся и быстро ощупал ноги Набата, хлопнул по груди, схватил пальцами за храп и так сдавил его, что лошадь ощерилась...

– Ну, что ж, – сказал, окидывая взглядом жеребенка. – Коротковат малость, и зад вислый.

– А грудь какая? А ноги? – сказал Андрей Иванович.

– Грудь широкая. Сколько просишь?

– Для кого ладишься? Для приезжих или своих?

– Свояк просил. Лошадь стара стала, татарам на колбасу продал.

– А что сам не пришел? Хворый, что ли?

– Слушай, ты лошадь продаешь или милиционером работаешь?

– Я ее три года растил. Хочу знать – в какие руки попадет.

Чирей растопырил свои длинные пальцы с рыжими волосами:

– А что, мои руки дегтем мазаны?

– Так бы и говорил – через твои руки пойдет. А там что будет делать – камни возить или на кругу землю толочь – это тебя не касается.

Чирей осклабился, выказывая редкие желтые зубы:

– Ты чего? На поглядку под закрышу хочешь его поставить, да? Чтоб овес на дерьмо перегонял... Ну, сколько просишь?

– Две сотни, – хмуро ответил Андрей Иванович.

– Вон как! Ты что, и телегу со сбруей отдаешь в придачу?

– Ага. И кушак золотой на пупок. Скидывай ремень!

– Это кто здесь народ раздевает? При белом свете! – послышался за спиной Андрея Ивановича частый знакомый говорок. Он вздрогнул и обернулся. Ну да!.. Перед ним стоял Иван Жадов, руки скрестил на груди, глаза нагло выпучил и ухмылялся. А за ним – шаг назад, шаг в сторону, руки навытяжку, как ординарец за командиром, стоял в серой толстовке и в сапогах Лысый. На Иване белая рубашка с распахнутым воротником, треугольник тельняшки на груди и брюки клеш. Андрей Иванович тоже скрестил руки на груди и с вызовом оглядывал их.

– Нехорошо как-то мы стоим, не здороваемся... Не узнаешь, что ли? – спросил Жадов и обернулся к Лысому: – Вася, тебе не кажется, что этот фрайер, который скушать нас хочет, вроде бы жил на нашей улице?

– Он, видишь ли, с нашей Сенной переехал в Нахаловку, а там народ невоспитанный.

– Вон что! – мотнул головой Жадов. – Он с нашей улицей теперь знаться не хочет.

– Ваша улица та, по которой веревка плачет, – сказал Андрей Иванович. – А Сенную вы не трогайте.

– За оскорбление бьют и плакать не велят, – процедил сквозь зубы Жадов.

– Начинать? – Лысый сделал шаг вперед и нагнул голову.

Андрей Иванович ни с места, только ноздри заиграли да вздулись, заалели желваки на скулах.

– Вы чего, ребята? С ума спятили! – сказал Чирей.

– Заткнись! – цыкнул на него Жадов.

– Ты давай не фулигань! – заорал вдруг Чирей. – Не то мы тебе найдем место...  
– Отойди! – надуваясь и багровея, сказал Жадов.  
– Нет уж, это извини-подвинься. Я ладился, а вы подошли. Вы и отходите. Я первым подошел – и право мое! – горланил Чирей.  
– У нас свои счета, понял ты, паскуда мокрая! – давился словами Жадов.  
Чирей раскинул губы раструбом, как мегафон:  
– Плевать мне на твои счета. Ты нам свои законы не устанавливай. Здесь базар, торговое место...

Эту скандальную вспышку, уже собравшую толпу зевак и грозившую разразиться потасовкой, погасил внезапно появившийся Федорок Селютан. Он ехал в санях по Сенной, стоял в валенках на головашках, держался за вожжи и орал на всю улицу:

В островах охотник целый день гуля-а-ет,  
Если неуддача, сам себя ругга-а-ет...

Увидев скандальную заваруху возле Андрея Ивановича, он спрыгнул с головашек, растолкал толпу зевак и попер на Жадова:

– Ванька, ты на кого лезешь? На Андрея Ивановича? На охотника?! На друга моего?! Да я тебя съем и в окно выброшу.

А был Федорок хоть невысок, но в два обхвата и грудь имел каменную; в Лепилиной кузнице на спор ставили на грудь Федорку наковальню и десять подков выковывали.

– Он, гад, про меня слухи распускает, – вырывался из цепких объятий Федорка Жадов. – Он треплется, будто я кобылу его угнал.

– Конь-кобыла, команда была – значит, садись. Пошли! Садись ко мне в сани, – теснил Федорок Жадова. – Поедем горшки давить.

Так и увел... Не то уговором, не то силой, но обхватил Жадова за пояс, затолкал в сани, сам прыгнул на головашки и заорал на всю улицу:

В островах охотник целый день гуля-а-ет!..

На Федорке была длинная из полосатого тика рубаха, похожая на тюремный халат. Неделю назад он на спор въехал верхом на лошади в магазин сельпо; поднялся по бетонной лестнице на высокое крыльцо, потом проехал в дверь, чуть не ободрав голову и спину, и остановился прямо у прилавка. На этом прилавке ему отрезали тик на рубаху, что он выпорил. «А носить будешь?» – «Буду. Пусть привыкают к тюремному цвету. Все там будем», – смеялся Федорок. И надел-таки тиковую рубаху и поехал горшки давить. Горшечники не обижались на него, платил он аккуратно.

А с Жадовым Андрей Иванович встретился второй раз вечером в трактире.

В общественный трактир – высокий двухэтажный дом посреди площади – собирались под вечер все свои и приезжие конники: владельцы рысаков, объездчики и просто игроки и пьяницы. Андрей Иванович любил накануне бегов посидеть в трактире, послушать шумных толкачей, завязывающих в застольных компаниях отчаянные споры, которые заканчивались то азартными ставками на того или другого рысака, то всеобщей потасовкой. Толкачей, которые погорластей да позабористей, подговаривали потихоньку, подпайвали, а то и нанимали за тайную ставку участники бегов. Андрей Иванович не больно поддавался азарту толкачей, он сам понимал толк в рысаках, играл «по малой» и ставки делал перед самым запуском рысаков.

Когда он поднялся по винтовой чугунной лестнице на второй этаж, там уже стоял дым коромыслом: просторный зал с высоким потолком, с фигурным карнизом, с лепным кружалом над многосвечной пирамидальной люстрой потонул и растворился в табачном дыму; официанты в белых куртках с задранными над головой подносами выныривали, как из водяного царства, и снова растворялись; редко висевшие на стенах лампы выхватывали вокруг себя небольшой клочок мутного пространства, и в этом таинственном полусвете сидевшие за столами казались заговорщиками с мрачными лицами. Пытались зажечь люстру – свечи гасли. Открывали все окна – никакого движения – природа застыла в тягостной душной истоме, ожидая грозу. Зато здесь, в пивном зале, бушевали словесные вихри и гром летал над головами.

Андрея Ивановича кто-то поймал за руку и потянул к столику. Он оглянулся.

– Ба-а! Дмитрий Иванович.

– Садитесь к нам! – сказал Успенский.

Ему пододвинули табурет, потеснились. Андрей Иванович присел к столику. Кроме Успенского он признал только одного Сашу Скобликова из Выселок, добродушного, медлительного малого с тяжелыми развалистыми плечами да с бычьим загравком. Остальные двое были незнакомы Андрею Ивановичу. Он поздоровался общим кивком и поглядел на Успенского: кто, мол, такие?

– Это мой давний приятель Бабосов, учитель из Климуши, – указал тот на своего соседа, успевшего захмелеть.

Бабосов только хмыкнул и головой мотнул, но глядел себе под ноги; он вспотел и покраснелся, как в лихорадке, бисеринки пота скатывались по его морщинистому лбу и зависали, подрагивая, на белесых взъерошенных бровях.

– А это Кузьмин Иван Степанович, – кивнул Успенский на хмурого чернявого мужика с высокой шевелюрой, в галстук и темном костюме. – Бывший богомаз, бывший преподаватель по токарному делу в бывшем ремесленном училище. А теперь – учитель Степановской десятилетки. И я тоже... И он, и он, – Успенский по очереди обвел глазами своих застольников. – И этот богатырь и наследственный воитель, – ткнул в плечо Скобликова, – мы все – новые педагоги новой десятилетки. Все, брат. Рассчитался я с вашей артелью. Прошу любить и жаловать, – Успенский был заметно под хмельком и чуть подрагивающей рукой стал наливать водку Андрею Ивановичу. – Мы сегодня угощаем. У нас праздник.

– Я тоже могу угостить. И у меня удача, – сказал Андрей Иванович, принимая стопку.

– Что? Уже на облигации выиграл? – хмыкнул Бабосов.

– Николай, окстись! – сказал Успенский. – Андрей Иванович патриот. Он из своего кармана кладет в казну, а мы с тобой из казны тянем в свой карман.

– Дак каждый делает свое... как сказал Карел Гавричек Боровский. А, что? – Бабосов сердито оглядел приятелей. – Скажем, пан, открыто: крестьяне жито из дерьма, а мы дерьмо из жита.

– О! За это и выпьем, – поднял стопку Успенский и чокнулся с Андреем Ивановичем.

Все выпили.

– Так что у тебя за удача? – спросил Успенский.

– Жеребенка продал, третьяка.

– За сколько?

– За сто семьдесят пять рублей.

- Хорошие деньги. Играть на бегах будешь? – спросил Успенский.
- По маленькой, – улыбнулся Андрей Иванович.
- Во! Учись у них, у дуба, у березы... У крестьян то есть, – сказал Бабосов. – Он и удовольствие справит, и деньги сохранит. Поди, поросенка поставишь на приз-то? – спросил Андрея Ивановича.
- Я не голоштанник, – ответил тот, оправив усы. – Могу и в долг дать.
- О-о! Богатый у нас народ... – Бабосов с удивлением оглядел Андрея Ивановича мутным взором. – А ты подписался на второй заем индустриализации?
- Ну, чего прилип к человеку! – толкнул его Кузьмин.
- Тот оглянулся, извинительно осклабился и вдруг загорланил:
- Нам в десять лет Америку догнать и перегна-а-ать...  
    Давай же, пионерия, усердней шага-а-ать!  
    Ать, два – левой!
- Опупел ты, что ли? – рассердился Успенский.
- А что, не нравится песня? Наша трудовая песня не нравится, а?
- Тут где-то ходит милиционер Кулек, – сказал Успенский. – Он тебя за неуместное употребление передовой песни-лозунга посадит в холодную, к Рашкину в кладовую. Понял?
- Ах, Дмитрий Иванович, политичный вы человек... Значит, ваше служебное ухо раздражает мое патриотическое пение? А почему? Слова не те?
- Да перестань наконец! – ткнул опять Бабосова под ребро Кузьмин.
- Тот поморщился и опустил голову на локоть.
- Какой расклад? – спросил Андрей Иванович. – На кого больше ставят?
- Поздно Ты пришел. Тут такое творилось... И содом и умора, – усмехнулся Успенский, наливая в стопки. – Васька Сноп с толкачом Черного Барина подрались.
- А Сноп от кого? – спросил Андрей Иванович.
- От Квашнина. Жеребец новый... С конезавода привез. Говорят, чуть ли не из Дивова. Ну, Васька Сноп тут нагонял азарту. Второй приз, говорит, в Рязани взял. А ему этот толкач... Чей-то климушинский и сказал: он, мол, у вас мытный. Ему Васька промеж глаз как ахнет. Вот тебе, говорит, мыть не отмыть. Ну и синяк во всю переносицу. Тот, климушинский, как схватил Ваську за ворот, так спустил с него рубаху. Сноп в одних штанах остался. Кулек отвел обоих в кладовую.
- А ты видел жеребца Квашнина? – спросил Андрей Иванович.
- Видел... Орловский, караковый... Статей безукоризненных. Идет чисто... Но каков он в деле? Черт его знает. Ставят на него хорошо.
- Поглядеть надо... – сказал Андрей Иванович. – Я больше русских люблю... Думаю, ставить на Костылина.
- А Боб? Орловский, но какому русскому уступает?
- Что Боб? Федор Акимович всего один раз и приезжал-то на нем. Да и то Костылина не было.
- Потому, говорят, и не было. Струсил твой Костылин.
- Ну вот, завтра поглядим... Сколько заездов будет?
- Четыре по четыре. Всего шестнадцать рысаков. Да заключительная четверка из победителей.
- Колокол, вышка поставлены? – спросил Андрей Иванович.
- Все на месте, – сказал Успенский.
- Да, веселые дела... – Андрей Иванович поднял стопку.



– Вот и мы пришли в самый раз повеселиться, – раздалось за спиной Бородина.

К столику незаметно подошли Жадов с Лысым. Все обернулись к ним, даже Бабосов поднял голову:

– Это чьи такие веселые?

– Сейчас узнаете, – сказал Жадов и схватил обеими руками за шею Андрея Ивановича.

Бородин выплеснул с силой водку в лицо Жадову. Тот захлебнулся от неожиданности и ослеп, машинально схватившись рукой за глаза. Андрей Иванович ударил снизу головой в подбородок Жадова, тот, взмахнув руками, отлетел к соседнему столику. Но, воспрянув, заревев, как бык, свирепо прыгнул на Бородина. Тот увернулся, и Жадов всем корпусом грохнулся об столик. Загремели, разлетелись со звоном бутылки и тарелки. Хрястнула отломанная ножка. Ухватив ее обеими руками, Жадов поднялся опять и, как дубиной, со свистом закрутил над головой.

– Убью! – завопил он, отыскивая глазами Бородина.

Но перед ним вырос, заслоняя свет от висячей лампы, Саша Скобликов:

– Брось ножку, или башку оторву!

– А-а! – захрипел Жадов. – И ты туда же. У-ух!

Скобликов нырнул к Жадову, ножка со свистом прочертила дугу над его головой, а на втором замахе Саша, как граблями, поймал левой пятерней руку Жадова, поднял ее кверху, заломил, а правой наотмашь, вкладывая всю силу своего могучего корпуса, ударил Жадова в открытое лицо. Тот отлетел к стенке, сбив висячую лампу. Где-то раздался тревожный свисток, и звонкий голос Кулька покрыл весь этот гвалт и грохот:

– Прекра-атить! Или всех пересажаю...

В полумраке Успенский поймал за руку Андрея Ивановича и потянул к выходу, приговаривая на лестнице:

– Пошли, пошли... Не то и в самом деле заберут... Бабосову на пользу – протрезвеет в кладовой. Сашке тоже не беда. Он молодой. Ему самое время по холодным сидеть. Славы больше. А нам позорно...

На улице было темно и тихо, накрапывал дождь. У Андрея Ивановича от возбуждения постукивали зубы. Успенский запрокинул лицо в небо и вдруг рассмеялся:

– Ну и потеха... Где ты научился так драться?

– Где же? На нашей улице. Помнишь, как стенка со стенкой сходились: «Мы на вашей половине много рыбы наловили»? Да, ведь ты поповский сын. Ты в наших потасовках не бывал.

– Пошли! А то их сейчас выводить начнут. И нас зацепят.

– Постой, а ты расплатился? Кто у тебя был официантом?

– Мишка Полкан. Расплачусь... Ну, до завтра... Встретимся на бегах.

От десятидворной Ухватовки, тихановского хутора, созданного в первые годы нэпа, тянулся версты на две непаханый широкий прогон, по которому гоняли стадо на прилесные пастбища Славные. Здесь же, на этом прогоне, устраивались по праздникам бега и скачки. Лучшего места для таких состязаний и не подберешь: ни выбоин, ни ухабов, ни колесников – все ровно затянуто плотной травой-муравой, лишь узенькие тропинки пробиты в ней, как по линейке; посмотришь от Ухватовки – тянутся они до синего лесного горизонта, как веревки на прядильном станке у самого лешего.

Во всю длину с обеих сторон прогон обвалован, да еще канавы прорыты за

валами; ни талые воды, ни дожди не страшны ему. А ширина – десять рысаков пускай в ряд, все поместятся.

На другой день с самого утра валом валит сюда разряженная публика – все больше мужики да молодежь, одни на лошадей поглядеть, другие себя показать. Ребяшня верхом – красные да синие рубашонки пузырем дуются на спине, в конских гривах ленты вплетены, на лошадях ватолы разостланы, а то и одеяла, что твои чепраки! Гарцуют друг перед дружкой, то цугом пойдут, то в ряд разойдутся. Словно всякому показать хотят: «Берегись, кому жизнь дорога!»

Но вот все съехались в конец села, сгрудились бестолково у церковной ограды и долго, шумно, с матерком разбирались – каждый норовил попасть в головную часть, чтобы поскорее окропиться и ускакать снова на прогон.

Наконец разобрались в длинную, на полсела, вереницу и замерли.

От церкви на Красный бугор за ограду выносят стол, покрытый сверкающей, как риза, скатертью. На него кропильню ставят – серебряный сосуд с распятым, воды святой наливают из хрустального графина. Потом выходят попы с хоругвями, за ними хор певчих, как грянут: «...Видохом свет истинный прияхом духа небесного», – листья на деревьях замирают. А там уж заерзали в нетерпении целые эскадроны вихрастой конницы – глазенки горят, поводья натянуты... Кажется, только и ждут команды: «Поэскадронно, дистанция через одного линейного, рысью а-а-аррш!»

Наконец священник подходит к столу, окунает крест в святую воду и, обернувшись с молитвой к народу, широким вольным отмахом осеняет крестом свою паству и торжественно распевно произносит:

– Пресвятая Троица, помилуй нас, господи-и-и!

А хор в высоком и звучном полете далеко разливается окрест:

– Очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши...

И мало понимающие этот смысл, но присмирившие от торжественного пения ребяташки и успокоенные кони бесконечной вереницей потянутся мимо кропильного стола. А как только попадут на них брызги святой воды, воспрянут, словно пробужденные от сна, натянут поводья и с гиканьем понесутся по пыльной столбовой дороге мимо кладбища на широкий прогон.

Федька Маклак еще с утра договорился с Чувалом и Васькой Махимом – после кропления лошадей мотануть на Ухватовский пруд, где их должны поджидать ребята с Сергачевского конца. Накануне вечером на посиделках у Козявки Маклак бился об заклад, что обгонит Митьку Соколика. Постановили всем сходом: кто проиграет, пойдет к сельповскому магазину и сопрет из-под навеса рогожный куль вяленой воблы.

Махим с Чувалом попали на кропление почти в хвост колонны, и пока их Маклак ждал возле кладбища, с досадой заметил, как прокатили в качалках на резиновых колесах полдюжины рысаков по направлению к прогону.

– Эх вы, хлебалы! – обругал он опоздавших приятелей. – С вами не на скачки ехать, а лягушек только пугать.

– Чего такое? – вытаращил глаза Чувал.

– Чего? Рысаки на прогон подались.

– Ну и что?

– Тебе-то все равно, а мне помешать могут.

– Кто?

– Нехто... Отец. Кто ж еще?

Маклак дернул поводьями, свистнул, и Белобокая почти с места взяла галопом.

На берегу Ухватовского пруда, возле одинокой задичавшей и обломанной яблони, оставшейся от большого барского сада, стояли их соперники. Их тоже было трое; Митька Соколик сидел на крупном мышастом мерине, почти на голову возвышаясь над Маклаком, хотя ростом они были равные.

– Мотри, Маклак, держись дальше, а то мерин Соколиков копытом до твоей сопатки достанет, – смеялись сергачевские.

– Волк телка не боится, – отбрехивались нахаловские.

Ехали рысцей к прогону, держались кучно, переговаривались.

– Как будем обгоняться? На всю длину прогона? – спросил Соколик.

– Поглядим по месту, – солидно ответил Маклак. – Кабы рысаки не помешали.

– А мы вдоль вала... Кучнее пойдем. Много места не займем, – сказал Чувал.

– Тогда надо хвосты перевязать, – предложил Махим. – Не то обгонять станешь, соседняя лошадь мотнет хвостом, – глаза высечет.

– Это дельно, – согласился Соколик и первым спрыгнул с мерина.

Он был сухой, жилистый, какой-то прокопченный и скуластый, как татарин. За ним поспрыгивали и остальные.

– Мой папаня говорит: если чертей не боишься, завяжи хвост у лошади, – сказал Махим.

– Что ж, твоя лошадь хвостом крестится? – спросил Чувал.

– А как же, – ответил Махим. – Ты погляди, как она бьет хвостом: сперва направо, потом налево, а то вверх ударит по спине и вниз опустит, промеж ног махнет. Вот и получается крест.

– Ну, а если завяжешь? – спросил Маклак.

– Завязанный хвост крутится, как чертова мельница...

– Зачем же ты завязываешь? – спросил Соколик.

– Папаня говорит – завязанный хвост скорость прибавляет.

– Ну и мудер твой папаня, – улыбаясь, сказал Соколик.

Решили так: четыре лошади получают по одному очку, а две лошади спорщиков Маклака и Соколика по два каждая.

Значит, чья команда наберет больше очков, та и выигрывает. Проигравшие вечером идут за воблой.

На прогоне их остановили с красными повязками на рукавах кузнец Лепило и сапожник Бандей.

– Вы куда? – спросил Бандей.

– За кудыкины горы... – недовольно ответил Маклак.

– Ты, конопатый тырчок, говори толком. Не то стащу с лошади да уши нарву, – погрозил ему своим кулачищем Лепило.

– Что ж нам – обгоняться нельзя? – обиженно спросил Маклак.

– Раньше надо было думать. Видишь – рысаков пустили на разминку.

По прогону и в самом деле рыскало с полдюжины жеребцов, запряженных в легкие коляски; возле Ухватовки стояло еще несколько рысаков, окруженных большой толпой. Со всех концов к прогону подходил народ; тянулись и от Тиханова, и от невидимого Назарова, и даже от залесной Климуши.

Вдоль прогона на высоких травяных валах, тесня и толкая друг друга, стояли сплошные стенки людей, а там, вокруг далекой бревенчатой вышки с колоколом, народу было еще больше.

– Дядь Лень, мы вдоль вала проскочим... Можно? – спросил Чувал.

– Вы отсюда попрете, а какой-нибудь жеребец навстречу вам выпрет от вышки... Что будет? Ну? И себе башки посшибаете и другим оторвете, – сердито отчитывал им Лепило.

– Выходит – вам праздник, а нам – катись колбасой? Вы, значит, люди, а мы гаврики? – спрашивал Маклак.

– На скачки объявлен перерыв... Понял? – отрезал Лепило.

– А кто его устанавливал?

– Не ваше дело... У вас есть две ноздри, вот и посапывайте...

Ребята сникли и с затаенной тоской глядели на прогон.

– Вот что, огольцы, – пожалел их Бандей. – Дуйте вдоль вала гуськом... Но потихоньку... А там, за вышкой, еще много места. Становись от вышки и гоняй до самых ухватовских кустьев.

– Спасибо, дядь Миш!..

Ребята вытянулись гуськом и легкой рысцой покатали вдоль стенки народа. Возле самой вышки Маклак заметил в толпе отца; тот стоял рядом с Успенским и Марией и разговаривал с ними. Вдруг он обернулся и махнул Федьке рукой.

Делать нечего, надо останавливаться. Маклак подъехал к толпе, из которой вышел Андрей Иванович. Он был сердит:

– Ты чего это хвост перевязал кобыле? Ты что задумал, обормот?

– Ничего... Так я... Ехал по лужам... чтоб хвостом не пачкала.

– Ты у меня не вздумай обгоняться! Увижу – ремнем отстегаю при всех. Куда едете?

– Девочек встречать... С березкой пойдут из леса.

– Слезай! Развяжи хвост...

Маклак, хмурясь, слез и торопливо стал развязывать хвост...

Когда он догнал приятелей, они уж взяли изготовку для скачек, поравнявшись в ряд.

– Стоп! – сказал Маклак, подъезжая. – Отец засек. Здесь все видно. Не пойдет...

– А где же? – спросил Соколик.

– Поехали на Славные, – предложил Чувал.

– Там кочки, – сказал Маклак.

– А вдоль березняка? К питомнику Черного Барина, – не сдавался Чувал.

– Это сойдет, – охотно согласился Маклак. – Поехали!

Они обогнули ухватовские кусты и по выбитому, как ток, зачочкаренному пастбищу свернули к хутору Черного Барина, стоявшему на опушке березовой Линдеровой рощи.

Хутор состоял из двух домов да большого подворья на берегу пруда. Черный Барин жил здесь бирюком уже лет тридцать, а то и больше. Говорят, что раньше он был барским лесником и охранял эту самую Линдерову рощу. Почему лес назывался Линдеровым, когда он с незапамятных времен принадлежал помещику Свитко, а по-тихановски Святку, никто толком не знал. Старики сказывали, будто у этого Святка была горничная немка Линдерша в любовницах и будто он ее убил по ревности и приказал схоронить тайно в березовой роще. Где ее могила – никто не видел и не знает, но любители ходить за папоротником в Иванову ночь видели ее в лесу: «Вся в белом... Увяжется за кем – так и идет, за березками прячется и все плачет и плачет...» А другие говорят – будто в этом лесу давным-давно проезжего купца убили, по

фамилии Линдер.

Как бы там ни было, но Линдерова роща считалась местом глухим и нечистым. «И как только здесь Черный Барин живет. Да меня ты золотом обсыпь, я и ночи одной не останусь здесь», – скажет иной суеверный человек, проходя мимо отдаленного хутора.

В сказках насчет горничной немки был намек на Анастасью Марковну, бывшую горничную того самого Святка, который выдал ее замуж при загадочных обстоятельствах за своего лесника Мокея Ивановича Тюрина, то есть за Черного Барина, и подарил ей свой лесной хутор и пятнадцать десятин прилегающей к нему земли. Сразу после революции часть земли у Черного Барина отрезали, а так – из построек и скота – ничего не тронули. Он и на семи гектарах неплохо управлялся: скота много держал, клевер сеял, питомник фруктовый развел. Так и жил на отшибе Черный Барин. Правда, он давно уж не черный, а седой, и жену похоронил давно... А все еще Барин, хотя всей прислуги у него было – муругий хриплый Полкан да такой же престарелый брат Горбун.

Подъезжая к хутору, ребята заметили, что все двери и ворота были заперты и хриплый голос Полкана доносился откуда-то с подворья.

– Эй, ребя! А ведь Черный Барин-то на бегах... – сказал Маклак. – Я видел его рысака.

– Ну и что? У него Горбун здесь сторожит, – отозвался Соколик.

– Если б Горбун здесь был, зачем ему собаку запирать? – спросил Чувал.

– А чего вы хотите? – недовольно морщась, спросил Соколик.

– Как чего? Обгонимся – и айда в питомник, – ответил Маклак.

– Чего там делать? Яблоки, как горох... И вишня еще зеленая...

– А мед?

– Пчелы заедят.

– А мы леток заткнем, утащим улей в лес – там дымом выкурим, – сказал Чувал.

– Это можно, – согласился Соколик.

Они нетерпеливо выстраивались в рядок у пруда, чтобы скакать вдоль рощи до самого питомника. Соколик раза два срывался, уходя один, и, сконфуженный, возвращался.

– Если ты сфальшивишь, уйдешь первым, я тебя за рубаху стащу, – пригрозил Маклак.

Наконец сорвались с гиканьем и понеслись, настегивая прутьями лошадей. И все-таки Соколик успел почти на корпус оторваться – схимичил, сатана! Мерин его гулко бухал копытами, как будто кто-то стучал кулаком в бочку.

«Редко бьет и ноги больно задирает, – радостно подумал Федька, – счас я тебя укатаю». Он опустил поводья, давая ход кобыле, и почувствовал, как напрягается, натягиваясь до мелкой дрожи, конская спина. Эй, залетная! Он лег на гриву, упоительно слушая частый дробный бег, видя, как его кобыла, вытянув морду, словно птица в полете, все ближе скрадывала мышастого мерина и вырвалась наконец вперед возле самой ограды питомника.

– Ну что, Чижик-Соколик?.. Кто кому доказал? – Маклак радостно похлопывал по шее разгоряченную кобылу. – Эх ты моя касаточка... Не подвела меня, красавица...

– В жисть тебе не обогнать бы... Мой Тренчик вчера только с извозу вернулся. Тятка в Меленки пшено возил, – оправдывался Соколик. – Но смотри, наша взяла!

Вдоль рощи последним попевал Махим, а Чувал проиграл обоим сергачевским.

– Ты чего, ягоду собирал? – крикнул Маклак Махиму.

– Фуражку сорвало, вот и подзадержался, – сказал тот, подъезжая.

– А после не мог ее подобрать?

– Он боялся, кабы Линдерша ее не сперла, – сказал Соколик, и все засмеялись.

– Дак чего, вам за воблой-то итить? – спросил Соколик.

– Почему это нам? Очки поровну. Мой выигрыш стоит два очка.

– Ну, давай канаться! – Соколик выломал палку из забора и кинул ее в воздух.

Маклак поймал ее за середину, и пошли мерить кулаками... Верх оказался за Соколиком.

– Ладно, хрен с вами. Накормим вас воблой. А теперь в сад, – сказал Маклак.

Они спешили, привязали лошадей к частоколу и только двинулись вдоль забора, как их окликнул слабый грудной голос:

– Что, робятки, ай яблочка захотелось?

Горбун вышел из вишневых зарослей и ласково глядел на них, опираясь на падожок.

– Да мы это... испить захотели, – смущенно пробормотал Маклак. – Жарко... Обгонялись... Ну и притомились...

– Колодец-то во-он игде... Возле пруда. И ведро там есть, – сказал Горбун. – Ступайте с богом. А за яблочками приезжайте на большой Спас. Тады и разговеемся. А до Спаса грех яблоки есть, робятки... В них еще сок не устоялся, раньше времени сорвешь – только сгубишь. А яблоко-то богом дадено. Это райский плод.

Сконфуженные ребята поотвязали лошадей и подались восвояси, на прогон. Они успели к заезду самой главной четверки. Еще издали, подъезжая к вышке с колоколом, вокруг которой застыла в мертвом ожидании огромная толпа, они слышали резкий нервный выкрик Успенского:

– Пошли!

Он стоял на вышке возле колокола и напряженно глядел в сторону Ухватовки, где приняли бег невидимые еще рысаки. И вот уже колыхнулась далекая стенка на валу, замахала руками, сорванными шапками, и многоголосый гул толпы, сперва отдаленный, невнятный, все более и более набирая силу, ураганом летел вдоль валов. Вот и рысаки показались: они шли по середине прогона грудь в грудь, высоко задрав головы, выпучив огненные глаза.

Крайним к вышке шел гнедой жеребец Костылина; сам хозяин, раскорячив ноги, сидел на качалке без кепки, со свирепым лицом, блестя на солнце лысиной. Дальше в ряд бежали похожие друг на друга, как белые двугривенные, два орловских в серых яблоках красавца: на одном сидел Федор Акимович, в черном картузе, с калининской бородкой, пароходчик из Малых Бочагов, а на втором, на квашнинском жеребце, – Васька Сноп в красной рубахе с рыжими, вразлет, волосами. Крайним с той стороны шел вороной в белых носочках рысак из Гордеева с чернородым ездоком.

Под рев, свист, вопли, улюлюканье они неслись с такой неотвратимостью, как если б там, впереди, их ждало блаженство вечное или небесное царство... Перед самой вышкой Костылин все-таки вырвался, ушел на полкорпуса вперед...

Успенский ударил в колокол и, подняв руки, бросился вниз по лестнице. А внизу уже ликовала возбужденная толпа.

– Ну что, ну что я говорил, крой вас дугой?! – тормозил Андрей Иванович Успенского и Бабосова. – Чья правда, ну?

– Васька Сноп виноват. Я видел с вышки, как он теребил жеребца. Задержал его,

стервец...

– Смерть найдет причину! Найдет... – возбужденно произносил Андрей Иванович.

Он радостно глядел вокруг себя и никого не видел. Даже на Федьку не обратил внимания. Видно было, рад, что выиграл.

– Андрей Иванович, на скачки останешься? – спросил его Успенский.

Теперь к ним подошли Сашка Скобликов с Марией, у Сашки под глазом был здоровенный синяк.

– Ну что ты? Какие теперь скачки? После таких бегов ваши скачки – мышьяная возня...

– Тогда, может, с нами пойдешь? – сказал Успенский. – Мы вот к Скобликовым собрались... – кивнул на Сашу. – Пропустим по маленькой в честь Духова дня.

– Нет, ребята... Я и так пьяный... Вы уж гуляйте... Вы молодежь... А мне домой надо. Гости приедут. Я ведь не безродный.

У Скобликовых был накрыт праздничный стол: скатерть белая, голландского полотна, узором тканная, с красной каймой и длинными вишневыми кистями; салфетки к ней положены тоже белые в красную клетку с темно-бордовой бахромой; бокалы и рюмки чистого хрустала с королевской короной, потрешь ободок, чокнешься – звенят, как малиновые колокольчики. Серебро столовое положили с вензелями, фамильное... Слава богу, хоть столовое убранство да сохранилось.

Сам хозяин надел кофейный костюм в светлую полоску и красный тюльпан в петлицу продел.

Все у него было крупным: и нос, и уши, и вислый, как у мирского быка, подбородок, в плечах не обхватишь, раздался, как старый осокорь. Свои седые косматые брови он чуть тронул тушью, да еще кочетом прошелся перед зеркалом.

– Папка жених! – прыснула Анюта, дочь его, двадцатилетняя красавица с темными волосами, зачесанными назад и затянутыми до полированного блеска в огромный пучок. На ней было зеленое шумное платье, с белым кружевным передником, в котором она прислуживала за столом.

Даже Ефимовна, тоже крупная, как хозяин, старуха с темным усталым лицом, принарядилась в черное платье из плотного крепа с шитьем и мережкой на груди.

И только один Сашка оделся по-простецки – он был без пиджака, в батистовой белой рубашке с откладным воротником и закатанными рукавами.

Он привел с собой Бабосова да Успенского с Марией, явились прямо с бегов.

– А-а, рысаки прикатили! – приветствовал их на пороге Михаил Николаевич. – Ну, кто кого объегорил?

– Вон кто виноват, – кивнул Саша на Успенского. – Знаток конских нравов.

– Проигрались?

– Васька Сноп подвел... Задергал, стервец, жеребца, – оправдывался Успенский. – У меня чутье верное: я еще на разминке видел – Квашнин маховитее.

– Эге... А мы, дураки, верили тебе, – с грустью сказал Саша.

– А вы что, играли скопом? – спросил Михаил Николаевич.

– Меня прошу исключить, – сказал Бабосов. – Я за компанию люблю только пить водку.

Он увидел выбегающую из кухни Анюту и бросился к ней:

– Она мила, скажу меж нами!.. – продекламировал, ловя ее за локоть.

– Коля, не дури! У меня поднос.

Тот выхватил поднос с закусками и поспешно скаламбурил:

– Я хотел под ручку, а мне дали поднос.

Анюта с Машей расцеловались.

– Уж эти лошади... Мы вас ждали, чуть с голоду не померли, – надувая губы, говорила Анюта.

– И все это надо съесть? – спросила Мария, оглядывая полный стол закусок.

Тут и балык осетровый, и окорок, и темная корейка, и селедка-залом толщиной в руку, истекающая жиром красная рыба, и сыры...

– Еще индейка есть и сладкое, – сияла, как утреннее солнышко, улыбкою Анюта.

– И пить будем, и гулять будем, – кривлялся, притопывая вокруг стола, Бабосов.

– Дети, за стол! – басил старик. – Мать, занимай командную высоту!

– Мою команду теперь слушают только чугуны да горшки...

Пили шумно, с тостами да шутками... Засиделись до позднего вечера...

Собрались не столько в честь праздника, сколько по случаю Сашиного поступления на работу. Почти два года проболтался он безработным после окончания педагогического института. В ту начальную пору нэпа, когда он поступал еще в Петроградский педагогический институт, мандатная комиссия, не набравшись силы и опыта, вяло и невпопад опускала железный заслон перед носом таких вот, как он, «протчих элементов»; зато уж в двадцать восьмом году ему, сыну бывшего дворянина, с новым советским дипломом в кармане пришлось не один месяц обивать пороги биржи труда. «Ваша справка на местожительство?» – «Пожалуйста!» И справка и диплом – все честь честью. Раскроют, глянут – пожуют губами, а взгляд ускользающий: «Придется подождать... Ничего не поделаешь – безработица».

«Ах, отец, отец! И зачем тебе надо было усыновлять меня? – досадовал Саша в минуту душевной слабости. – Долго дремала твоя совесть... И не просыпалась бы. Стояло бы теперь у меня в нужной графе – сын крестьянки... Сирота. Совсем другое дело».

Надо сказать, что Ефимовна работала экономкой у Михаила Николаевича... И только в двадцать втором году женился он на ней официально и детей своих усыновил; ввел в наследство, так сказать, хотя никакого наследства уже не было.

Поболтавшись весну да лето по столицам нашим, Саша приехал домой и стал осваивать новое ремесло – точить колесные втулки да гнуть дубовые ободья. Благо силенка была, в батю уродился.

Старший Скобликов в свои семьдесят годов легко и просто таскал мешки с зерном, пахал, косил и метал стога. Рано ушедший в отставку в чине подполковника, он свыкся с крестьянской работой и не очень переживал потерю старого поместья. «Идешь мимо барского дома, а сердце, поди, кровью обливается?» – спрашивали его мужики. Только отмахивался: «Э-э, милый! Чем меньше углов, тем забота легче... Главное – руки, ноги есть, значит, жить можно».

Но за детей переживал... Анюта после окончания школы сидела дома, и Саша домой приехал... Редкие налеты его на уроки в какую-нибудь школу (ШКМ) или в ликбез отрады не давали. И вдруг вот оно! Стронулось, покатила и наша поклажа...

И мы поехали. Взяли Сашу на пятые – седьмые классы, историю преподавать. В новую школу второй ступени. Как же тут не радоваться старикам? Как же тут было не загулять?

– Ну, омочим усы в браге! За народное просвещение... – поминутно говаривал



старик, поднимая рюмку и чокаясь ею...

Хотя пили они водку и, кроме графина с домашней вишневой наливкой, никакой браги на столе не было, но этот шутливо-торжественный тост вызывал шумное одобрение молодежи:

– Подыдем стаканы!

– Содвинем их разом!

– Да здравствует Степановская десятилетка!

И только Ефимовна укоризненно качала головой:

– Пустомеля ты, Миша... Ни браги у тебя, ни усов... Когда ты успел нализаться?

– Ну, хорошо – браги нет... Ладно. А просвещение есть у нас или нет? – вытаращив глаза, спрашивал Бабосов. – Просвещение-то вы не будете отрицать, Мария Ефимовна?

– Перестань дурачиться, – толкал его в бок Успенский.

– Вот видите... Я подымаю вопрос о наших достижениях, а он меня под девятое ребро. Прошу зафиксировать...

– Коля, достижения наши налицо, – сказала Мария. – Те, кто о них спрашивает, значит, сомневается. А всех, которые сомневаются, бьют. Стало быть, ты получил по заслугам.

– Ладно, я колеблюсь. А он за что получил синяк? – указал Бабосов на Сашку. – Он же незыблем, аки гранит.

– Я пострадал за веру, царя и отечество, – обнажая крупные, ровные, как кукурузный початок, зубы, улыбался Саша.

Михаил Николаевич погрозил многозначительно ему пальцем.

– За богохульство дерут уши.

– Так нет же бога... Стало быть, и богохульства нет, – сказал Бабосов.

– А ты почему знаешь? – удивленно спросила Ефимовна.

– Доказываю от противного: говорят, бог есть высший закон... Гармония! Согласие?! Разум вселенной! Нет ни закона, ни гармонии... И разума не вижу. И какой, к чертовой матери, разум в этой подлунной, когда все, точно очумелые, только и норовят друг друга за горло схватить. Если человек сотворен по образу и подобию божьему, то кто же сам творец, когда он равнодушно зрит на это земное душегубство?

– Это сатана людей мутит, – ответила Ефимовна. – При чем же тут бог?

– Святая простота! – Бабосов растопырил пальцы и потряс руками над головой. – Как у нас все разложено по полочкам для спокойствия и удобства. Вот человек в поте лица добывает хлеб свой. Красивая картина, это лежит на чистой полочке, под богом. Вот человек берет из кармана ближнего своего, да мало того – на шею сядет ему, да еще погоняет. Это нечисто, от сатаны... А если он сегодня добывает хлеб свой, а завтра берет дубину, ближнего своего из жилища гонит – это как, по-божески, по-сатанински?

– И все-таки верить нужно, – сказал твердо Михаил Николаевич. – Без веры нельзя.

– Да во что верить прикажете?

– Ну как во что? В торжество добра. В отечество, наконец.

– Ах, в отечество! – подхватил с каким-то радостным озлоблением Бабосов. – А точнее? В настоящее отечество? В будущее? Или в прошлое? Искать залог будущего расцвета в глубинах веков, так сказать? В историю верить, да?

– А что история? Чем она тебе не по нутру? – багровея, спросил Михаил

Николаевич.

– Вся наша история – длинная цепь сказок, разыгранных обывателями города Глупова, – ответил Бабосов.

– Молодой человек, не извольте забываться! – Михаил Николаевич повысил голос и тяжело засопел.

– А то что будет? – Бабосов сощурился.

– Я укажу вам на дверь.

– Отец, это не аргумент в споре, – вступился Саша за Бабосов а.

– Так мне продолжать или как? – спросил Бабосов.

– Как хотите, – хмуро ответил Михаил Николаевич и налил себе водки.

– Если про историю города Глупова, то лучше не надо, – ответил Успенский.

Бабосов с удивлением поглядел на него:

– А где же взять нам другую историю? Другой нет-с.

– Есть! Есть история... Да, изуродованная, да, искалеченная, но это великая история великого народа.

– Великая?! Пригласить на царство чужеземцев – владейте нами! Акция великой мудрости, да? Великого народа?! Двести лет гнуть спину под ярмом татар, посылая доносы друг на друга, – признак мудрости и величия? Ладно, бросим преданье старины глубокой и темную неразбериху междоусобиц. Возьмем деяния великих государей... Первый из них – Иван Грозный, душегубец, эпилептик, расточительный маньяк, безумно веривший в свою земную исключительность... Ради утверждения собственного величия жил в неслыханной роскоши, ободрал пол-России, вешал, казнил, голодом морил... Проиграл все войны, потерял приморские земли, вновь обретенную Сибирь. Вторым последовал за ним – слабоумный, юродивый, годившийся разве что в церковные звонари. Третий великий государь... Он же первый свободно избранный царь на Руси. Кто ж он? Детоубийца, клятвопреступник, манипулянт. «Какая честь для нас, для всей Руси – вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач». Может, хватит для начала? Или дальше пойдём!..

– Коля, да ты прямо как наш лектор Ашихмин из окружка, – воскликнула Мария. – У тебя талант... Тебе не математику преподавать... умы потрясать надо.

– Не умы, а воздух сотрясать. Старые песни новых ашихминых. Хорошо их распевать перед теми, кто плохо знает свое отечество, – сказал Успенский.

– Ну, допустим, Пушкина-то не отнесешь к плохим знатокам отечества, – усмехнулся Саша.

Эта реплика точно подхлестнула Успенского. Он встал, легко отодвинул стул и, чуть побледнев, как-то вкось метнул взгляд на Сашу и обернулся к Бабосову.

– Пушкин тут ни при чем. У Пушкина была своя задача – наказать гонителя своего, Александра Первого, с нечистой совестью заступившего на трон. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!» Вот кредо Пушкина. Однако истинный Борис совсем другое дело. Во-первых, он такой же татарин, как я киргиз. Его дальний предок Чет пришел из татар служить на Русь. За двести с лишним лет до рождения Бориса. От Чета произошли, кроме Годуновых, и Сабуровы. Но никто их татарами не называл. И вряд ли Василий Шуйский мог бы попрекнуть Бориса, что он женат на дочери Малюты Скуратова. Ведь на другой дочери Малюты был женат не кто-нибудь, а брат того же Василия Шуйского. Да и стыдного тут ничего не было: Скуратовы-Бельские были старинной боярской фамилии. Конечно, Малюта был опричником... Но ведь и все Шуйские служили в опричниках. Все. А вот Борис Годунов отказывался идти в

погромы. Отказывался, хотя рисковал головой. А это что-то значило в те поры. Вот вам исторические факты о нравственном облике царя Бориса. Что же касается его царствования, оно не нуждается в особых доказательствах разумности царя: он восстановил разоренное хозяйство страны, вновь присоединил Сибирь, замирился с Литвой, отстроил Москву и прочая... Вот так, друг мой Коля Бабосов, нашу историю козлиным наскоком не возьмешь. Дело, в конце концов, не в Борисе Годунове и даже не в истории. Дело в той привычке, традиции – пинать русскую государственность, в той скверной замашке, которая сидит у нас в печенках почти сотню лет. Дело в интеллигентской моде охаивать свой народ, его веру, нравы только потому, что он живет не той жизнью, как нам того бы хотелось. И мы упрямо отрицаем его своеобычность, разрушаем веру в свою самостоятельность с такой исступленностью, что готовы скорее сами сорваться в пропасть, чем остановиться. И срываемся... – Успенский поймал за спинку отставленный стул, с грохотом придвинул его к столу, сел, скрестив руки на груди, и посмотрел на всех сердито, как будто бы все были настроены против него, Успенского.

– Откуда сие, Дмитрий Иванович? – восторгался Саша.

– Я готовился когда-то в историки... Мечтал стать приват-доцентом. А что касается истории первой русской смуты, тут у меня к ней особое пристрастие...

– Дайте я пожму вам руку! Честную руку русского патриота, – Михаил Николаевич протянул через стол свою массивную ладонь с узловатыми пальцами.

– Вы уж лучше троекратно облобызайтесь, – усмехнулся Бабосов. – Да на иконы перекреститесь. А то спойте «Боже царя храни».

– Коля, это нечестно! При чем тут царь, когда говорят об отечестве? – сказала молчавшая весь вечер Аня, строго сведя брови. – Нехорошо плевать на своих предков. Совестно! Ты какой-то и не русский, татарин ты белобрысый.

Все засмеялись...

– Ну, конечно! Вы правы, мадемуазель. Я осмелился говорить о безумии национализма, толкающего народы на поклонение собственному образу. Кажется, это слова Владимира Соловьева? – с горькой усмешкой глянул Бабосов на Успенского. – Вроде бы вашего кумира.

– Правильно, Соловьева. Но Соловьев никогда не отрицал национализма, он только осуждал попытки противопоставить узкое понятие национализма служению высшей вселенской правде, – подхватил Успенский.

– То бишь не правде, а божеству, – поправил Бабосов.

– В данном случае это одно и то же. У Соловьева есть и такие слова: наш народ не пойдет за теми, кто называет его святым, с единственной целью помешать ему стать справедливым. И я не вел речи о патриотизме, превращенном в самохвальство. Я только хочу доказать, что наш народ много страдал, для того чтобы иметь право на уважение.

– Ну, конечно. Те, которые критикуют свою историю, народ не любят, те же, кто поют дифирамбы нашей благоглупости, патриоты. Салтыков-Щедрин смеялся над русской историей, следовательно, он был циником, очернителем. Суворин защищал нашу историю от Щедрина, значит, он патриот.

– Ничего подобного! Салтыков никогда не высмеивал русскую историю; он бичевал глупость, лень, склонность к легкомыслию и лжи. Это совсем другое.

– В таком случае говорить нам не о чем, – Бабосов нахохлился, обиженно, по-детски надув губы.

– Я тоже так полагаю, – Успенский взял рюмку с водкой и, ни с кем не чокаясь, выпил, пристукнул ею об стол и сказал: – Пора и честь знать. Спасибо за угощение...

Он глянул на Марию и встал. Она поднялась за ним.

– Куда же вы? – захлопотала Ефимовна. – А самовар?.. У меня пудинг стоит...

– А гитара, а песни? – Саша снял со стены гитару и с лихим перебором прошелся по струнам:

Эх, раз, что ли, цыгане жили в поле!..

Цыганочка Оля несет обедать в поле...

– Нет, Саша... В другой раз, – заупрямился Успенский. – Я пойду.

– И я пойду, – хмуро сказал Бабосов.

– Я вам пойду! – Саша стал спиной к дверям и еще звонче запел, поводя гитарой и подергивая плечами:

Я с Егором под Угором

Простояла семь ночей

Не для ласки и Любви —

Для развития речей...

– Анюта, ходи на круг! – крикнул он. – А там поглядим, у кого рыба кровь! Их-хо-хо ды их-ха-ха! Чем я девица плоха...

Анюта словно выплыла из-за стола – руки в боки, подбородок на плечо, глаза под ресницами как зашторены, и пошла, будто стесняясь, по кругу, выбивая каблучками мелкую затяжную дробь, развернулась плавно перед Дмитрием Ивановичем, поклонилась в пояс и даже руку кинула почти до полу.

– Дмитрий Иванович!

– Митя! Ну что же ты? – тотчас раздалось из-за стола.

Он глядел исподлобья на удаляющуюся от него Анюту и снисходительно-отечески улыбался, но вот подмигнул Саше, важно размахнул бороду и сказал:

– Кхэ!

Потом скрестил руки на груди, поглядел налево да направо и пошел шутивным старческим поскоком на негнущихся ногах:

Деревенский мужичок

Вырос на морозе,

Летом ходит за сохой,

А зимой в извозе...

– Вот так-то... Ай да мы! – весело крикнул Саша, сам бросаясь на круг, и закидал коленки под самую гитару:

Ах, тульки, ритатульки,

Ритатулечки-таты...

Ходят кошки по дорожке,

Под забором ждут коты...

– Ах вы мои забубенные! Ах вы неистребимые!.. Молодцы!.. – шумел Михаил Николаевич, пристукивая кулаком по столу. – Вот это по-нашему... Вот это по-русски. Наконец-то и у нас праздник... А то развели какую-то словесную плесень. Выпьем мировую!

Он налил рюмки и поглядел на Бабосова:

– А ты чего присмирел?

– А вот соображаю – с кого начинать надо...

– Чего начинать?

– Обниматься... Без объятий что за праздник. Не по-русски.

– Но, но! Не выезжай на панель, разбойник, – шутливо погрозил ему старик и сам засмеялся.

Все были довольны, что так легко и просто ушли от давешней размолвки, что стол полон всякого добра, а хозяйская рука не устала разливать да подносить вино:

– Пейте, ребята, пока живы. На том свете небось не поднесут.

Под вечер Успенский с Бабосовым уже сидели в обнимку и пели, мрачно свесив головы:

Скатерть белая залита вином,  
Все гусары спят непробудным сном...

Когда Успенский с Марией встали уходить, поднялся Бабосов; с трудом удерживаясь на неверных ногах, он решительно произнес:

– И я с вами. Без Мити не могу.

– А ты куда это на ночь глядя? До Степанова почти десять верст... В овраге ночевать? – набросился на него Саша, взял и осадил его за плечи. – Тебе постлано на сеновале. Сиди.

Михаил Николаевич проводил Марию с Дмитрием Ивановичем через двор до самой калитки. В наружном дворе, сплошь заваленном новенькими колесами, расточенными белыми ступицами, штабелями темного гнutoго обода и березовыми свилистыми чурбаками, Успенский спросил хозяина, кивая на эти древесные горы:

– Справляетесь?

– Освоился...

– Нужда заставит сопатого любить?

– Ну, это еще не нужда. Вон у Александра Илларионовича Каманина нужда так нужда...

– Какого Каманина? – спросил Успенский.

– Да сына купца... Бывшего уездного следователя.

– Ах вон кого! Он вроде где-то в Германии, говорят.

– Да... В пивной стоит... вышибалой. А мы-то еще живем, – невесело подтвердил Скобликов, прощаясь с Успенским.

Они пошли в Тиханово полем через зеленые оржи. Стояла вечерняя сухая жара с той вязкой глухой тишиной, которая расслабляет тело и навеивает странное беспокойство и нетерпение.

– У меня сейчас такое чувство, – сказал Успенский, – будто, того и гляди, мешком нас накроют; так и хочется скинуть рубаху, штаны да сигануть с разбегу в холодную воду...

Мария засмеялась:

– В Сосновку захотелось... К русалкам?

– А что? Пойдем в Сосновку?! – он поймал ее за руку и притянул к себе.

Она уперлась ему локтями в грудь и долго пружинисто отталкивалась, запрокидывая лицо:

– Да ну тебя, ну! Видно же... Ты с ума сошел? – твердила она. – Вон из деревни заметят.

– Пойдем в Сосновку! Слышишь? Иначе я понесу тебя... Возьму вот и понесу,

пусть все видят.

– Ладно, пойдем... Да пусти же.

Она вырвалась наконец и заботливо оправила кофту и юбку, заговорила с притворной обидой:

– Какой ты еще глупый... какой дурной.

Шли долго по мягким податливым оржам, оглаживая руками белесые колоски. В поле не видно ни пеших, ни конных, ни птиц в небе.

Они были одни во всем мире. Только солнце сквозь дымную завесу долго и слепо смотрело на них огромным тускло-красным оком.

– Кто такой Бабосов? – спросила она.

– Вот те на! Ты же с ним раньше познакомилась, чем со мной.

– Я знала, что он, да не знаю кто.

– Да как тебе сказать... В народе про таких говорят – теткин сын. Мужик способный, знающий... Но с завихрением: все, мол, вы пресмыкающиеся, а я орел, потому и парю в одиночестве. Петербургское воспитание. Отец его был каким-то чиновником. Почтовым, что ли... Умер в двадцать первом году, в петроградский голод. Матери тоже нет... Так он и мотался в одиночестве... Состоял в каком-то кружке. Их накрыли... Вот он и бежал с глаз долой. В деревню подался, к тетке. Она дальняя родственница помещику Свитке. Здесь вот и осел в учителях. Говорит, в самый раз. Спокойно, и мухи не кусают. А чего он тебя заинтересовал?

– Так. Шалый он какой-то. Варю, подругу мою, обманул. Она так плакала...

В Сосновку пришли в сумерки. Чистая родниковая заводь, обросшая густым раkitником по берегам, лежала в глухом отроге на дне Волчьего оврага. По кустарнику возле заводи заструился сизым оперением вечерний сквозной туман.

– Ну, смелее вниз! Прыгай!.. – Успенский первым спрыгнул в овраг, побежал размашисто по откосу, с трудом остановился у самой воды.

– Ну, прыгай! Чего же ты? – спрашивал он снизу, растворяя руки. – Не упадешь – я поймаю.

– Нет, Митя, нет! – крикнула она с отчаянием и силой. – Нет! – и побежала прочь.

Когда он вылез из оврага, она была уже далеко. Ее белая кофточка еще долго маячила на меркнувшем горизонте.

## 9

После Духова дня установилась затяжная зыбкая жара; чистое с утра, просторное небо мало-помалу блекло, серело, словно выцветало к полудню, а потом и вовсе покрывалось на горизонте малиново-сизой хмарью, сквозь которую закатное солнце выглядело непомерно большим и красным. Устойчивый юго-восточный ветерок приносил с полей вместе с волнами тягучего марева сухой горьковатый запах каменеющей земли.

«Теперь бы в самый раз пары парить, – думал Андрей Иванович, – но навоз еще не вывезен. Земля уходит, иссушается с каждым днем. А ничего не поделаешь, не выделишь свое поле из общего парового клина, не вспашешь один. По парам сейчас скотину гоняют. Тут такой шум подымут... заклюют. Кабы на отшибе был, на выделе, вроде Черного Барина...»

Андрей Иванович не то чтобы завидовал Черному Барину – жить на отшибе бирюком он не хотел, натура не выдержит одиночества. А вот хозяйство вести, землю обрабатывать так, чтобы не зависеть от мирского гужа да трехполки, это – другой

оборот. Будь у него выдел, то есть все пять десятин вместе, он бы давно на манер Черного Барина от трехполки отказался бы. Тот и под зябь навоз вывозит, и ранней весной, и даже зиму прихватывает. «Чистых» паров, под сорняками, у него и в помине нет: клевер чередует с озимыми, а то и люпин сеет под запах. По сто пятьдесят, а то и по двести пудов зерна снимает с десятины, а тут и до ста пятидесяти не дотянешь. Создали было у Святого болота опытный луговой участок, еще при волостном земотделе. Осушили болото, распахали... На одном участке тимофеевку посеяли, на другом люпин. И тимофеевка и люпин стеной вымахали. Участковый агроном собрал мужиков и спрашивает:

– Видали, что делает болото?

– Видали. Кто бы сказал – в жисть не поверили, – отвечают мужики.

Тимофеевка на семена пошла, крюками косили, как рожь.

А люпин, свежий, зеленый, ему бы еще расти да расти, агроном приказал запахать.

– Как запахать? Такой корм в землю? Да ему цены нет!

– Он сторицей обернется, – сказал агроном. – Здесь теперь место устойчивое, сухое... Посеем по запаханному озимые – уродится такая пшеница, что лошадь грудью не пробьет ее.

Ладно, посеяли озимые по люпину. Подошло лето, такая пшеница выстоялась, что перепел взлететь из нее не мог.

– Вот вам и выход, мужики, – говорил агроном. – Навоз вносите под зябь, а то ранней весной под яровые. А на парах люпин сейте и запахивайте... Верное дело!

На сходе отказались.

– Наши деды под зябь не пахали и нам не велели. Осень – для лошадей отгул. На лугах отава выросла дармовая, так пусть лошадки в зиму жирку запасут. На дворе-то не больно зажируешь.

– А люпин? – спрашивает агроном.

– И люпин не будем сеять. Ну-ка не уродится – лишние расходы понесем. А уродится – запахивать жалко. Да и скотину пасти негде.

«Оно, конечно, пары тоже подспорье, – думал Андрей Иванович, – особенно в сухое лето, когда подлесное пастбище Славное выбивает до молотильного тока. Но вот забота – как побыстрее навоз вывезти и пары спарить. Раньше, при двух лошадях, он управлялся дней за десять, а теперь и полмесяца не хватит. Навозу на дворе накопилось горы – под самые сцены. Больше сотни возов будет. Вот и считай по семь-восемь возов в день, а на дальние поля больше и не вывезешь, провозишься ден шестнадцать.

А там дня четыре парить, значит, до Петрова дня, то есть до лугов, только-только управиться».

Он проснулся ранехонько, еще стадо не прогоняли. Откинул тыльный стороной ладонь на соседнюю подушку – пусто, и подушка простыла... «Как кошка... Слезет с кровати, улизнет, и не услышишь, – подумал про жену. В летней избе, мягко обволакивая углы, плавал душный с ночи сумрак, лениво ползали по оконным стеклам мухи. Андрей Иванович натянул шерстяные носки, брюки, висевшие на спинке деревянной кровати, и, сунув ноги в растоптанные галоши, отворил заднюю дверь.

Солнце еще не встало, но на дворе все проснулось, ожило; по широкому подворью бродили куры и лениво, распевно лопотали: «Кра-ра-ра-ра...» У плетня суетился, разгребая землю, петух; приспуская крыло на ногу, сучил перьями,

пританцовывал и тоже что-то лопотал сердито курам.

В ошмернике под горницей разноголосо, как бабы на «толкучке», гагакали гуси – наружу просились. А из дощатого, крытого соломой сарая доносился звонкий Надеждин голосок:

– Той, дьявол! Той, сатана рогатая!..

Потом гремел подойник, что-то ухало, сопело, чавкало в навозной жиже, и снова откровенное и звонкое выражение Надеждиных чувств:

– На, заткнись, окаянная твоя душа!

Андрей Иванович сообразил – опять Белеска не дается. Что случилось с коровой? Три дня уже ни с того ни с сего не дается доить, и шабаш. Ее и уговором пытались взять, и корочкой кормили – нет. Бьет и хвостом и ногами... Того и гляди, рогом зацепит. Пришлось ноги связывать и доить.

– Головушка горькая, не знаешь, что и подумать.

Царица приехала из Бочагов, поглядела и говорит:

– Здесь и думать нечего. Дело ясное – наговор.

– Куда ее теперь вести?

– Надо молебен отслужить Власию и Людесию.

Приглашали отца Афанасия, отслужил и двор окропил святой водой. Трешницу отдали. Не помогло.

Пришлось идти к деду Агафону, тихановскому пастуху, четок водки отнесла Надежда да еще угостить посулилась:

– Загляни, ради бога. Чо с ней стряслось?

– Ладно, ладно... зайду, перед выгоном стада.

Что за дед? Вроде бы и на ногах еле держится, и плети у него нет – все время с палкой ходит за стадом, а, поди, вот слушают его коровы и держатся кучно. Раз хотел Савка Клин перебить у него коровье стадо. Двух подпасков нанимал да сам бодрый. И цену запросил более сносную, чем дед Агафон. Отдали ему на сходе стадо и что ж? Замучился Савелий и сам и подпасков загонял. С ног сбились, а стадо разбежалось по домам. Так и пришлось звать опять деда Агафона. А Савелий телят своих отправился пасти.

Андрей Иванович спрыгнул с крыльца, хлопая галошами, протопал по булыжной дорожке и растворил ворота. Надежда загнала корову в угол и охаживала ее по бокам подойником.

– Ну, чего ты ее понужаешь без толку, атаман? – сказал с досадой Андрей Иванович. – Не видишь, что ли? Заболела корова.

– Дурью она мучается! Черт с ней, пусть топает недоенной в стадо. Небось почует к вечеру, как от хозяйки бегать. Разопрет ее Самарская плеса-то. – Надежда бросила на гвоздь подойник и пошла прочь, покачивая подолом подоткнутой юбки и сверкая белыми икрами.

Андрей Иванович взял за оглобли стоявшую на подворье телегу, вкатил ее в сарай и начал набрасывать вилами навоз. Он рассчитывал к приезду Федьки из ночного наложить первый воз и с ходу запрячь лошадь. Но ему помешали.

Сперва пришел дед Агафон; в посконной рубахе, в синих молескиновых штанах, заправленных под онучи, худой и малорослый, как подросток, он стукнул палкой в высокое окно Бородиных. Надежда впустила его во двор.

– Ну, что стряслось? – спросил он Андрея Ивановича, подавая сухую скрюченную ладонь.



– От рук отбилась корова, – кивнул на Белеску тот.

– За вымя не тронешь... Вся треской трясется, – сказала Надежда от ворот.

Корова лежала в углу и покорно смотрела на людей, жуя свою жвачку. Овцы метнулись от пришлого человека в отгороженный хлев и, столпившись у калитки, смотрели горящими от любопытства и страха фиолетовыми глазами.

Старичок мягко прошел к корове, присел перед ней на корточки:

– Что ты? Что?! Господь с тобой...

Та перестала жевать жвачку, повела ушами и шумно вздохнула.

– Ну вот... А я тебе гостинца принес, – разговаривая с ней, как с ребенком, Агафон достал из полотняной сумки ломоть ржаного хлеба, присыпанный крупной солью, протянул его Белеске:

– На-ка вот, съешь...

Корова взяла губами ломоть и стала есть, глядя на старика своими печальными глазами.

– Вот и тоже... Вот и Вася...

Старичок положил ребром ладони трижды крест на ее крестце и сказал:

– Ну, будя... Таперика вставай!

Корова покорно встала.

– Дои! – коротко сказал Агафон и отошел к воротам.

Надежда сняла со стены подойник, опасливо озираясь, подошла, села под корову. Стоит! Ухватила за сосцы, брызнуло со звоном молоко в подойник. Стоит!! Затеребила, замассировала вымя обеими руками. Стоит!!

Андрей Иванович, обалдело глядевший на волшебное укрощение коровы, кинул на воз вилы да только и сказал Агафону:

– Бывает.

Через минуту в летней избе, налив по стопочке водки, он спрашивал старика:

– Чем же ты ее сумел взять? Хлебом, что ли? И что это за хлеб у тебя, наговоренный?

– Абнакнавенный, – отвечал старик, пряча ухмылку в жидкие, опавшие книзу монгольские усы. – Во, видишь? – он достал из той же сумки крошки и кинул в рот. – Кабы наговоренный был, я бы крошки не тронул, потому как наговор кого хочешь припечатает. Старый ты ай малый, наговор на всех силу притяжения имеет. Видишь наговоренную вещь или предмет какой – не замай, обходи.

– Ну отчего ж она послушала тебя? – допытывался Андрей Иванович. – Ай слово знаешь?

– Всякое слово от бога. Потому как еще в Писании сказано – допрежь всего было слово, – велеречиво отговаривался дед Агафон. – Стало быть, человеку не дано повелевать словом. Человеку досталось одно обхождение, и больше ничего.

Дед Агафон ушел от Бородиных только вместе со стадом, – ушел удовлетворенный, блаженно жмурясь от выпитой водки, как кот на солнце. Только запряг Андрей Иванович пригнанную Федькой из ночного кобылу, как его окликнул другой гость:

– Отпрягай, приехали!

Андрей Иванович оглянулся и увидел входящего на подворье Кречева.

– Чего это тебя ни свет ни заря подняло?

– Нужда заставит петухом кукарекать, – ответил Кречев.

– Что у тебя за нужда?

– Поговорить надо.

– Х-хеть! – засмеялся Андрей Иванович. – А то днем некогда будет поговорить...  
– Где тебя теперь словишь днем-то, жук навозный, – гудел с притворной сердитостью Кречев. – Небось улетишь в поля до самой темноты?

– Это уж точно, улечу, – согласился Андрей Иванович.

– Ну вот, пройдем в летнюю избу! У тебя там не осталось, случаем, на доньшке? Вчера с участковым агрономом фондовую рожь отмеряли. Ну и намерялись...

– Ясно, что у тебя за сердечный разговор, – усмехнулся Андрей Иванович, проводя Кречева в избу.

– Да поговорить-то надо, – Кречев в летней избе кивнул на горничную дверь и спросил приглушенно: – Девчата спят?

– Мария и Зинка в кладовой. А в горнице ребятишки.

– Ясное дело, – облегченно вздохнул Кречев. – Я зачем к тебе пожаловал? Вчера с меня стружку снимал Возвышаев. Поскольку стопроцентной подпиской не охвачены. Не то, говорит, горе, что не охвачены, а то, что богатые увильивают. Ну и воткнул мне за Прокопа Алдонина и за Бандея.

Андрей Иванович налил Кречеву стопку, пододвинул оставшуюся от деда Агафона селедку и сказал:

– А я тут при чем?

– При том... Ты депутат и член сельсовета. Вот я тебе и даю боевое задание – сходи к Прокопу Алдонину, убеди его на заем подписаться. – Кречев лукаво хмыкнул и выпил.

Андрей Иванович забарабанил пальцами по столу, как бы молчаливо отклоняя эту несерьезную просьбу.

– Прокоп вроде бы в артели подписался? – сказал наконец Андрей Иванович.

– Увильнул! Когда артель распускали, удерживали на заем при расчете. А Прокоп бригадиром был, сам рассчитывал. Ну и увильнул. Успенский спохватился, да рукой махнул. Ему теперь этот Алдонин что японский бог. А мне он на шею сел.

– Дак что ж ты от меня хочешь?

– Ну что я хочу? Всю эту шантрапу, вроде Максима Селькина да Козявки, я и сам прижму. А Прокоп и Бандей меня не послушаются. Пойдем к ним вместе с тобой. Ты их посовестишь, убедить можешь.

– Их убедишь...

– Ну, я для них молод. И чужого поля ягода. На горло их не возьмешь. Силой не заставишь – подписка добровольная. Законы они знают. А ты человек авторитетный. Сам подписался один из первых. На тебя только и надежда.

Андрей Иванович потер лоб и сказал:

– Ладно... Сходим в обед.

– Вот спасибо! Плесни-ка мне еще со дна погуще! – Кречев протянул стопку.

Андрей Иванович налил. Кречев помедлил, выпячивая губы, косясь на стопку, сказал:

– Сход надо собрать... На предмет рубки кустарника. Гати гатить.

– Черт бы вас побрал с этими гатями! – взорвался Андрей Иванович. – Видишь, какая погода? Земля уходит.

– Приказ райисполкома, – пожал плечами Кречев.

– Что ж вы раньше штанами трясли?

– Не наша на то воля. Ну что ты волнуешься? Пошлешь на рубку хвороста малого, а сам будешь навоз возить.

– Не ко времени это. Не по-людски.  
– Ну, мало ли что... Значит, до обеда. – Кречев выпил стопку и, не закусывая, тотчас вышел.

Прокоп Алдонин был скупым мужиком. Бывало, Матрена в печь дрова кладет, а он за спиной ее стоит и поленья считает, а то из печи вытаскивать начнет:

– Ты больно много кладешь. И так упреет.

У них хлеб сроду не упекался. Вынут ковриги, разрежут – ан в середке сырой.

– Ну и что... Я люблю хлеб с сыринкой, его много не съешь, – говорил Прокоп.

Мать его, баба Настя-Лиса, грубку зимой не топила. Дом большой, пятистенный, красного лесу, окна и на улицу и в проулок – не перечтешь, и все под занавесками тюлевыми... Крыльцо резное, под зеленой жестью. Куда с добром. А зима подойдет – горница не топлена и в избе хоть волков морозь. Баба Настя одна жила, хозяин механиком работал в Баку, и Прокоп там же, при отце.

– Одной-то мне зачем тепло? Яйца, что ли, насиживать?

Горницу она закрывала наглухо на всю зиму. Спала в печке. Положит подушку на шесток и свернется по-волчьи, головой на выход. А греться днем ходила в кузницу к Лепиле. Придет, вся рожа в саже, усядется на чурбан:

–левой, расскажи, что там в газетах пишут.

У Прокопа горница, правда, отапливалась – детей целая орава, семь штук. Но так отапливалась, что и сам Прокоп не прочь был заглянуть в морозные дни в кузницу к Лепиле – погреться. Впрочем, их связывала с Леоном общая любовь к слесарному да кузнечному ремеслу.

Когда распалась неожиданно артель, Прокоп переживал более всего за свой паровой двигатель, который он собирал по частям больше года – мечтал механическую глиномялку пустить. Ездил в Рязань, купил по дешевке старый мукомольный двигатель, из Гуся Железного привез поломанный мотор парового насоса, собирал воедино, прилаживал... А теперь куда девать все это добро? Артель оприходовать не успела, стало быть, оплатить не могли через банк. Продать ежели? Да кто купит такую непотребную машину? И надумал Прокоп – сходить к Лепиле, предложить ему на паях сделать паровую мельницу.

Лепилина кузница – высокий сруб с тесовым верхом, стояла на самом юру при выезде из села, за церковью. Три дороги сходились здесь, как у былинного камня: одна вела на Гордеево, вторая – в лес мимо кладбища, а третья, накатанная столбовая, вела по черным землям в Пугасово, на юг, в хлебные места. Редкий тихановский мужик не сживал возле этого ковального станка, не приводил сюда свое тягло. Да что мужик? Черти и те заезжали ковать лошадей к Лепиле. В самое смурное время – в двенадцать часов по ночам. Это каждый сопляк в Тиханове скажет. Правда, в Выселках вам скажут то же самое, но только про кузницу Лаврентия Лудило: приезжают на тройке – коренник в мыле, пристяжные постромки рвут. «Лавруша, подкуй лошадей!» А он выглянул в окно: «В такую пору? Что вы, Христос с вами!» Да знамение на себя наложил. Эх, у коней-то инда огонь изо рта паханул. «Ну, маленько ты вовремя спохватился, – говорят ездоки, – не то бы мы тебя самого подковали». Да только их и видели. Поверху пошли, по столбам – стаканчики считать...

Прокоп застал обоих кузнецов, Лепилу да Ивана Заику, за осмотром привезенной молотилки. Они сидели на чугунном кругу и стучали молотками. Молотобоец Серган и вновь принятый подручный Иван Бородин лежали в холодке под бревенчатой стеной

и покусывали былинки.

Увидев Прокопа, Ванятка приподнялся на локте:

– Ну что, христосоваться пришел? Праздник тебе? Развалил артель и слоняешься. Доволен теперь?

– Это вам праздник, бездельникам, – огрызнулся Прокоп. – Вон валяетесь, как боровы в холодке у стенки.

– Смотри, Прокоп, встанем – хуже будет, – сказал Серган.

– А то ни што! Напугали.

– Э-э, Прокоп! Ты легок на помине. Давай-ка сюда, помоги... – позвал его Лепило.

– В чем дело? – спросил Прокоп.

– Да вот баклашки ломаются. Дурит машина, но где? Не пойдем.

Прокоп оглядел круг, вставил в чугунное гнездо одно водило и сказал:

– А ну-ка, слезайте!

Те слезли с круга. Прокоп взялся за деревянное водило и тихонько повел его, раздався тяжелый размеренный скрежет.

– Как телега немазаная, – сказал Прокоп. Вел, вел, и вдруг резкий щелчок – грох!

– Стой! – скомандовал Прокоп сам себе, потом Лепиле: – Леонтий, давай зубило! Вот гляди... зуб стронутый на большом колесе. Выбивай его! Потом наклепаем...

– Гляди-ка, ты, Прокоп вроде бы и в логун не смотрел, а нашел, – сказал Лепило.

– Это он по з-з-звуку ап-ап-ап... – судорожно забился Иван Заика в тяжелой попытке выговорить нужное слово.

– Ладно, завтра доскажешь, – остановил его Лепило.

– Тьфу ты, Лепило, мать твою, – облегченно выругался Заика.

Работая, они вечно поругивались и подтрунивали друг над дружкой. Лепило был приземистый мужик медвежьего склада, лохматый, рукастый, с тяжелой загорбиной и мощной, в темных рытвинах шеей. Носил посконную рубаху до колен и с широким раструбом сапоги, как конные ведра. А Иван был высок и погибнет, с длинной, как тыква, лысой головой. Ходил босым с закатанными выше колен портками.

– Иван, зачем портки засучил?

– Г-г-гвозди везде... З-з-зацепишь – п-ыарвешь еще.

– А кожу обдерешь?

– Зы-а-растет.

Выбивая зубилом «стронутый» зуб, Лепило донимал Ивана:

– Иван, а Иван? Ты бы хоть поблагодарил гостя, – он нам услугу оказал, зуб нашел больной, а мы сидим как немые.

– З-з-з...

– Хватит, он тебя понял.

– Тьфу, Лепило! Мать твою...

– Счас я ему розочку подарю, – отозвался от стенки Серган.

Он встал, выбрал из ящика длинный шестидюймовый гвоздь, сжал его за шляпку, как тисками, железной черной ладонью, а другой рукой, ухватив за конец, стал легко свивать в колечки: на бицепсах, на открытой груди его заиграли, затрепетали крупные мускулы.

– На, – подал он Прокопу скрученный розочкой гвоздь.

– Что ж ты добро портишь? – сказал Прокоп, кидая это Серганово изделие. – Был гвоздь, а теперь финтифлюшка.

– Виноват, ваше-вашество! – гаркнул Серган, выпучив глаза и вытягиваясь по швам. – Счас исправлюсь.

Он поднял розочку, стиснул опять гвоздевую шляпку в своей каленой ладони и, ухватив за конец, пыхтя и синея от натуги, вытянул гвоздь во всю длину.

– Ваша не пляшет, – осклабился Серган, поигрывая гвоздем.

На дальней церковной паперти проскрежетала отворенная железная дверь, в притвор выплыл в рясе с крестом отец Афанасий.

– Ой, погоди-ка! – Лепило кинул зубило и бросился в кузницу.

Через минуту он вышел, держа в длинных щипцах разогретую докрасна подкову:

– Серган, на-ка отнеси попу подарок.

– Чаво? – Серган обалдело глядел на того, не понимая.

– Сейчас поп двинется на кладбище, в часовню служить. А ты вон на тропинке, через дорогу, положи подкову. Он ее подымет, а мы поглядим.

– Гы-гы! – Серган ухватил щипцы с подковой и в два прыжка пересек дорогу, положил горячую подкову на тропинку и моментально вернулся.

– А теперь все в кузницу. Ну, ну, марш! – скомандовал Лепило.

Поддавшись какому-то безотчетному озорному искушению, они сгрудились все у раскрытых дверей, глядя на неспешно идущего по тропинке отца Афанасия. Даже Прокоп неожиданно для себя поддался игре: подымет подкову или мимо пройдет?

Отец Афанасий шел, глядя в землю.

– Ишь, какой настырный, – сказал Лепило. – Все под ноги глядит... Поди, клад ищет...

– Счас найдет.

Отец Афанасий увидел подкову, приостановился в минутном раздумье – брать или нет? Стоящей показалась подкова, нагнулся, поднял и тут же бросил ее.

– Ай-я-яй! – кричал он и тряс рукой.

А от кузницы в раскрытые двери в пять глоток:

– Гы-гы-гы!

– Что, батя, взял? А ведь подкова чужая!

– Опять твоя проделка, Леонтий? Эх, Лепило ты, Лепило... Греха не боишься.

Отец Афанасий заметил Алдолина.

– И ты здесь, Прокоп Иванович? – он покачал головой и скорбно произнес: – Не ожидал я от тебя... Вольно вам над стариком смеяться, – и пошел, тихий и сгорбленный.

Прокоп весь зарделся до корней волос, отошел к машине, сел на круг и насупился.

– Брось ты! Нашел из чего переживать, – подсел к нему Лепило.

– Нехорошо! Старика одними налогами гнут в дугу, а мы над чем смеемся? Да в его положении не то что подкову, говях с дороги подберешь.

– Нашел кого пожалеть, – сказал Лепило. – А то он хуже нас с тобой живет.

– Не в том дело. Мы на вольном промысле, сами себе хозяева. А он божий человек, за всех за нас ответ держит. Нехорошо в нашем возрасте да в положении. Я ведь не зубоскалить к тебе пришел. Я по делу.

– Что за дело?

– Ты мою машину для глиномялки видел?

– Сборную, что ли?

– Ну! Глиномялка теперь нужна, как в поле ветер, а машину приспособить можно.

– К чему?

– Мельницу паровую сделать.  
– Мельницу?! А жернова? Нужен кремень, магний...  
– Кремень у меня есть, а магний в Рязани купить можно. Жернова отолью – будь здоров. Оковать их для тебя – плевое дело.  
– Дак ты что хочешь?  
– С тобой на паях мельницу сладить...  
– Не знаю, – тяжело выдавил Лепило.  
– А чего тут не знать? Дело само в руки идет. Машина есть, привод сообразим. Я теперь свободный от всяких артелей. Железо есть. Кузница своя, ну? Что ж мы вдвоем ай мельницу не сладим?

– Об чем речь!.. Сообразим... Но сил хватит ли? Лес нужен и на постройку и на мельничный стан.

– Я уж приглядел и дубовых столбов для стана, и лежаков сосновых. Тесаных.

– Где?

– У Черного Барина.

– У него, поди, не купишь.

– В долг отдаст...

– Ах ты, едрена-матрена. Завлекательно. – Лепило почесал свой лохматый затылок и вдруг толкнул локтем Алдонина: – Смотри-ка!.. – кивнул на дорогу. – Вроде к нам.

С дороги свернули к кузнице Кречев и Бородин. На Кречеве была неизменная гимнастерка хаки, с закатанными по локоть рукавами, Бородин шел в синей рубашке, без кепки.

Алдонин забеспокоился:

– Насчет мельницы при них ни слова.

– Ну, ясно дело. Вот денек, то поп, то председатель, – хмыкнул Лепило.

Кречев и Бородин чинно поздоровались, присели на водило.

– Чья молотилка? Твоя? – спросил Алдонина Кречев.

– Каченина, – ответил Прокоп.

– А ты чего здесь загораешь? Или новую артель сколачиваешь под названием «Чугунный лапоть»? – не скрывая раздражения, спрашивал Кречев.

– Я пока еще не подневольный, – огрызнулся Прокоп. – Хочу – дома на печи валяюсь, хочу – в кузнице семечки лузгаю.

– А у тебя кроме хотения совесть есть? – накалялся Кречев.

Андрей Иванович дернул его за рукав.

– Да ну его к... – отмахнулся Кречев. – Он ходит по селу, лясы точит, а мы топай за ним по жаре, уговаривай, как девку красную. Надоело!

– А чего вы за мной ходите? Я вам не должен.

– Ты не должен! У-у!.. Он еще смеется. А кто говорил на собрании, что подпишемся на заем при расчете с артелью? Я, что ли?

– Там много было говорунов, – ответил Прокоп. – Я их всех не упомянул.

– Так все они подписались. Все! А ты один увильнул.

– Я больше всех пострадал.

– Ты пострадал? Ври, да знай меру...

– Погоди, Павел Митрофанович, – осадил опять Кречева Андрей Иванович и к Алдонину: – Брось придуриваться, Прокоп. Ведь за тобой как за малым ребенком ходят, а у тебя все новые байки. Надоело же, пойми.

– Какие байки? Я мотор для артельной глиномялки покупал, а теперь он у меня на дворе валяется. Кто мне за него заплатит? – брал на горло и Прокоп.

– Черт-те что... Ну при чем тут мотор? – сказал Кречев.

– При том. Заем-то у вас какой? Индустриальный? Возьмите у меня мотор. Отдам по дешевке. Вот вам и будет заем от меня, индустриальный. – Прокоп глядел сердито и нахохленно, и не поймешь, то ли смеется, то ли всерьез предлагал свой мотор.

– Он мне зачем, твой мотор? Баб на собрании глушить? – спросил Кречев.

– И мне он не нужен. А я за него заплатил чистые денежки из своего кармана. Вот вам и заем.

– Слушай, не фокусничай... Добром говорю, – тоскливо сказал Кречев.

– Я фокусами не занимаюсь. Это вон Серган может вам кое-что показать.

– А это мы всегда пожалуйста! – Серган, все еще голый по пояс, вскочил от стены и с готовностью подошел к начальству. – Чего желаете? К примеру, кирпич попробовать на голове Сергана, а?

– Какой кирпич? – спросил отрешенно Кречев.

– А вот хоть этот, – Серган нагнулся, поднял здоровенный кирпич, валявшийся под деревянными водами. – Кладем его на голову... Вот таким манером, и молотом аккуратно... Грох.

– Ты чего, пьяный, что ли?

Серган осклабился, морда чисто продувная – круглая, шириной в таз, блестит от копоты и пота, как сапог:

– Был пьяный, но только вчерась... А седни я с похмелья... Да вы не беспокойтесь, много не возьму, по полтиннику с рыла, – и, не давши опомниться, позвал младшего Бородин: – Ваня, рубаху и молот... Живо!

Иван одним духом приволок кувалду и валявшуюся под стеной Серганову черную рубаху. Серган покрыл рубахой голову, положил кирпич на затылок и нагнулся:

– Бей!

Иван ахнул изо всей силы кувалдой по кирпичу. Серган только отряхнулся от пыли, поднял две половины от разбитого кирпича, развел руками:

– Алямс! Ваша не пляшет. – Потом кинул кирпичные осколки, стянул кепку с Ивана и подошел к Кречеву: – Прошу оказать поддержку чистому пролетарию.

– Ну и циркач, – усмехнулся Кречев. – А ты не пробовал головой сваи забивать вместо бабы?

– Могу, но только чужой. Как насчет платы за представление?

Кречев покопался в кармане, достал целковый.

– На, заработал.

– Премного благодарен! Следующий, – подsunул кепку Андрею Ивановичу.

Тот кинул несколько серебряных монет.

А Прокоп сказал:

– Бог подаст.

Серган покачал головой и скорбно произнес:

– Вот что значит несознательный элемент.

– Ладно, отойди, – сказал Сергану Лепило.

– Ну дык как насчет подписки, Прокоп Иванович? – спросил Бородин, после того как Серган удалился.

– А никак, – твердо ответил тот.

Кречев только зубами скрипнул.

– Мотри, мужик, с огнем играешь, – сказал Андрей Иванович. – Придется тебя на сходе обсуждать.

– А вы меня не пугайте. Подписка добровольная. Мы тоже законы знаем.

– Ну, твое дело – твой ответ.

Сход собирался вечером в верхнем зале общественного трактира. Любители погутарить сходились пораньше; не успели еще толком стадо прогнать по селу, как они лениво побрели, волоча ноги, точно притомленные кони на водопой. Толпились у входных дверей, курили, сплевывая на сухую, уплотненную до бетонного блеска базарными толкучками землю. Тут же ребята играли в выбитного, поставив на длинной черте крохотную кучку медяков, кидали тяжелые, надраенные до кирпичной красноты старинные гроши.

– Эй, Буржуй! Не заступай черту...

– А ты его грошем по сопатке.

– Но-но... Учи свою мать щи варить.

– Дак это я по теории мирового пролетариата...

– С буржуями обхождение известное.

– Заткнись, Кабан! А ежели тебя по сурну хряпнуть?

– А меня за что? Я ж не играю.

– Вот и стой да посапывай.

Ближе к дверям разговор иной:

– На Брюхатовом поле инда бель выступила.

– Следствия известная – сухменность.

– Навоз не успеешь растрясти, в момент прожаривает. Ветром, как щепу, гонит.

– Я его в кучах оставлю.

– Иван Корнев, говорят, вы с Тыраном плитняк подрядились возить?

– С Петряевой горы... Четвертак за воз.

– А в гору подыматься мысленно? Ась?

– Рожь возить выгодней... Намедни в Мелянки обозом ездили... По наему товарищества.

– Это с Колтуном, что ли?

– Ну... В Щербатовке остановились на постоялом дворе. Скинулись выпить. Вот тебе, сели за стол и сцепились. Дядя Вася Тарантас и говорит: «У меня сыны, мил моя барыня, офицерами вернулись. Один с именной саблей, а вы, мол, и в армии не служили». – «Как не служили? Ах ты, Тарантас, кривые ноги!» – «Расшибу!» Колтун как ахнул кулаком по столу, так чайник с самовара подпрыгнул и упал. Все и разбежались. А при расчете мириться стали. Колтун пыхтел, пыхтел, вынул из кошелки мешок с салом и говорит: «Ешьте, ребята, свинину...» Мы так и покатались.

– А я двенадцать целковых привез деду из той поездки. Он говорит: «Эх, теперь мы и сошники оттянем, и колеса купим, и дегтю». А я ему: «Деда, купи мне новую косу».

– Дождя не выпадет, и косить нечего.

– А в Веретье, говорят, был дождь, и в Степанове... Только нас обходит.

– Место у нас такое – притяжения нет.

– Яблок ноне много... Вот удержать бы их.

– Ветер сшибет.

– Ну не скажи... Ежели стихии не будет – устоит яблок.



- Э-э, как она... как ее, причина понятная.
- Дядь Андрей, как думаешь – дождь будет?
- Э-э, как она... как ее, наверно, будет, наверно, нет.
- Гы-гы-гык!

А народ все подходит, наваливает, прижимает передних к двери, подталкивает.

- Что у тебя за мослы? Как оглоблей пыряешь.
- Всю мякоть бабе отдал...
- Ты не гляди, что он кость. Но обширность большую имеет.
- Тесна рубаха-то?
- Да, щадна, щадна.

Кто-то из ребят, играющих в выбитного, заголосил петухом.

- Ребята, Кукурай плывет!

Через площадь к трактиру шел церковный звонарь Андрей Кукурай, шел как всегда неуклюже, кидая с носка на пятку негнущиеся ноги, точно пихтелями в ступе толлок.

Он был подслеповат, глух, и оттого ребятишки вечно вились вокруг него стаей, как стрижи возле немощного коршуна, и донимали озорными выходками.

Вот и теперь, завидя его, они закружились, завьюнили, приговаривая:

Кукурай, Кукурай.

Скинь портки и загорай...

– Вот скаженные... Нету на вас угомона, прости господи... – ворчал себе под нос Кукурай и топал к трактиру.

Худой и верткий подросток, по прозвищу Колепа, с засиненной от пороховой вспышки рожей, бросив свой грош у черты, на четвереньках поскакал на Кукурая и хрипло затывчал:

- Гав-гав-гав!
- Кто тут собак распустил? Пошла, окаянная! Позовитя ее, позовитя...

А от трактира несется дружный гогот:

- Гыр-гыр-гыр...
- Хо-хо-хо!
- Эх-хе! Вот это вызвездил...

Наконец появился председатель Кречев, он шел на манер командующего в окружении своего боевого штаба; слева семенил возле него и подобострастно закидывал кверху голову секретарь Левка, справа Бородин, с независимым видом, как будущий тесть, а по пятам табунились Якуша, Федот Иванович, Санек Курилка, Кабан и даже Тараканиха. Весь сельсовет в полном сборе. А ребятишки перекинулись от Кукурая к сельсоветчикам и, разинув рты, вытянулись за ними целой шеренгой.

- Куда попы, туда и клопы, – ухнул кто-то басовито у дверей.

И вся мужицкая орава загрохотала, встречая свое высокое начальство.

Поднимались по винтовой лестнице долго, грохали сапогами, гудели, как потревоженный улей.

На втором этаже четыре столика были составлены в большой стол – это для президиума; остальные были стасканы в кучу в передний угол. Рассаживались на табуретках, скамьях, на подоконниках или просто присаживались на корточки вдоль стен. А то стояли кучками и в дверях, и у стенок, и на лестничной площадке толпились, курили.

- Макар, ты чего на порог выпер? Тебе и так – плюнуть, не достанешь в

задницу, – это опоздавший Биняк рвется в залу.

– А ты что, на Тараканиху поглядеть хочешь? – сипит Макар Сивый, загоротивший, как бугай, весь проход.

– Он ей шепнуть не успел, под каким забором ждать будет, – бабьим голосом звенит Сенька Луговой.

– Эй, православные! Которые впереди... Молебен скоро начнут?

– Счас... Левка Головастый Евангелию раскрыл.

– Пропустите Василия Ольпова! Он гороху поел – выразаться хочет...

– Эй, ущемили, дьяволы!

– Ходи промеж ног, блоха.

А в президиуме Левка Головастый уже раскрыл во весь стол свою картонную папку с делами, вынул из кармана шкалик с чернилами, наострился писать. Кречев долго тряс над головой школьным звонком, а сам глядел в Лев кину раскрытую папку, остальной президиум облепил стол со всех сторон, облокотились, подперев челюсти кулаками, как обед ждали.

Наконец шум затих. Кречев схватил за кольцо звонок, оперся на стол:

– Сход объявляется открытым. Значит, по первому вопросу исполком сельсовета вынес такое решение: с завтрашнего дня приступить к рубке кустарника в Соколовской засеке. Возить будем через десять ден, после того как с навозом управимся. Возить, значит, в такие гати: к Волчьему оврагу по главной дороге на Богачи, к Святому болоту по дороге на Тимофеевку и на луга в конец озера Долгое. Какие вопросы имеются? Кто желает слово сказать? – Кречев крутит головой, словно вывинтить ее хочет из тесного ворота гимнастерки.

– Может, до осени отложим с гатями? – крикнул от дверей Биняк, он все-таки и на этот раз обошел Макара Сивого.

– А в луга ехать тоже на осень отложим? – спросил его из президиума Федот Иванович.

– А что Биняку луга? У него мерин и на базаре прокормится.

– По чужим кошевкам...

– Гы-гык!

– Между прочим, озеро Долгое гатить зимой надо. А теперь туда не сунешься. В тине потонешь с головкой... – Вася Соса приподнялся во весь свой саженный рост и даже руки над головой поднял.

– Гатить Маркел будет, – сказал Андрей Иванович. – Ему известка и то нипочем. Море по колена.

– Га-га-га!

– Ты зачем в президим сел? Вякать? – крикнул Маркел от двери. – Мотри, сам не дотянись, сапогом достану.

– Макар, посади его на ладонь, он разуется.

– Товарищи, давайте без выпадов на оскорбления!

– По скольку кубов хворосту на семью?

– Пять кубометров, – ответил Кречев и добавил: – Безлошадники и вдовы исключаются.

– Интересуюсь, как насчет маломощных хозяйств и престарелых лошадей? – спросил Максим Селькин. – Скостить то ись можно?

– При выдаче заданий будем учитывать, – ответил Кречев.

– Ладно, а как насчет дров? Решение будет ай нет? Где наши деляны? –

спрашивали опять от дверей из толпы.

– При чем здесь дрова? – спросил Кречев.

Но зал уже гудел, растревоженный, как насест ударом палки.

– При том... Линдеров лес назаровским отдали... Лес Каманина Климуса вырезала.

– А нам опять в Веретье да Починки?

– Двадцать верст киселя хлебать...

– Дак мы хозяева иль работники?

– Тиш-ша! – Кречев опять схватил звонок и затрепал им над головой.

– Вопрос с дровами поднят несвоевременно, поскольку подобные дела решаются осенью в общем порядке. Все. Перехожу ко второму вопросу. Товарищи! Я не стану говорить насчет важности заема. На этот счет мы провели два схода. И что же выяснилось? К нашему стыду, отдельные товарищи злоупотребляют доверием партии и всего народа. А именно? Не будем касаться некоторых бедняков и маломощных. С ними вопрос остается открытым. Но нельзя терпеть дальше увиливание зажиточных хозяйств. Возьмем того же Косоглядова и Алдонина. Сколько можно их уговаривать? Видимо, всему есть предел. Ежели они и дальше будут злостно упираться, применим оргвыводы. Косоглядов, встаньте! Поясните нам, почему вы отказываетесь от подписки?

Бандей встал с табуретки, поглядел исподлобья на Кречева:

– Ну, встал... Давно не видели меня?

Дремавшая все время Тараканиха качнулась, как будто ей под ребро ткнули, сердито вскинула на Бандея мутные глаза, колыхнула полным телом:

– Ты чего это спрашиваешь? Тебе что здесь – посиделки? Отвечай на поставленный вопрос!

– Что, очнулась? Черти, поди, приснились. За подол хватали?

Кто-то рассыпал реденький козлиный смешок.

Кречев ахнул ладонью об стол так, что Левка вскинул голову.

– Вы что, издевательство пускаете с чуждой позиции? Или хотите подорвать идею индустриализации? Не позволим! – Кречев замотал указательным пальцем. Все притихли. – Заявите здесь членораздельно – будете подписываться или нет? Под протокол. Понятно?

Наступила минута тягостного молчания, как на могиле. Бандей шумно подымал и опускал мощную грудь, раздувая ноздри.

– Ну? – спросил наконец Кречев.

– Буду.

– Когда? Запиши сроки! – кинул Левке.

– После базара... В понедельник.

– Так и запишем. Садись! Прокоп Алдонин!

Прокоп поднялся прямой и строгий, как апостол.

– Как вы поясните нам свое личное увиливание?

– Какое увиливание? Я вам не должен. Налоги уплатил сполна, квитанции имеются.

– Значит, подписка на заем вас не касается?

– Это дело добровольное.

– Значит, народ подобра подписывается, а вы не хотите?

– У каждого свое понятие.

– Вот вы и поясните нам свое понятие: отвергаете народный заем или нет? Отвечайте под запись!

Прокоп с удивлением поглядел на Левку, Левка на Прокопа.

– У меня таких замыслов нету, чтоб отвергать всенародный заем, – Прокоп пошел на попятную.

– Ты не юляй! – крикнул Якуша. – Скажи, на сколько подписываешься?

– А ты что? На базар пришел ладиться? – огрызнулся Прокоп.

– Не-е! Это ты нам базар устраиваешь, – сказал Кречев. – Развел канитель на целых полгода. Говори, на сколько подписываешься?

– Э, э, как ее, как она, он еще с Матреной не посоветовался, – крикнул Барабошка. Кто-то сдержанно тыкнул.

– Развлечения и подсказки отменяются, – железным голосом изрек Кречев и опять Прокопу: – Ну? Мы ждем.

– На десять рублей, – выдавил нехотя наконец Прокоп.

– Ты что, нищий, что ли? – крикнул Якуша. – Это Ваня Чекмарь да Ванька Вожак на десятку подписались.

– Больше не могу, – Прокоп аж вспотел.

– Хорошо. Решим сходом, какую сумму внести Прокопу Алдонину, – сказал Кречев.

И сразу ожило все, полетело со всех сторон:

– Под хрип ему... под хрип выложить... Пусть почешется!

– Не то мы все дураки, а он умна-ай...

– Дык ен, мил моя барыня, многосемейнай!.. Снисхождение детишкам окажите...

– У него дети, а у нас поросята?

– Дать под хрип!

– Верна... Топчи его, чтоб татаре боялись...

– Но-но! С чьего голоса поешь?

– Я не канарейка, ухабот сопливый!

– А в рыло не хошь?

– Хватит вам! Кому там выйти захотелось, ну? – Кречев тянул подбородок, поднимаясь над столом.

Стихли. Кречев обернулся к Прокопу:

– На сколько подписываешься? Последний раз спрашиваю.

– На тридцать рублей. – Прокоп тут же и очи потупил.

– Хрен с ним... Пиши! И срок ему проставь – завтра чтоб выесть. Учти, скаред Христов, если завтра не купишь облигации, запишем в двойном размере и на голосование поставим.

Прокоп сел.

– Теперь на разное. Поступило два вопроса: во-первых, несмотря на неоднократные предупреждения, Дарья Соломатина продолжает держать шинок; и во-вторых, жалоба Матвея Назаркина на сына Андрея Егоровича Четунова. Какие соображения будут?

– Обсудить.

– Ясно. Дарья Соломатина здесь?

– Нету...

– У нас за всех баб одна Тараканиха сразу рассчитается.

– Попрошу без выпадов на личное оскорбление. Кто хочет выступить?

- А чего тут выступать? Все и так знают – Козьявка шинок держит.
- Записать в протокол... То исть осудить.
- Правильно. Предупреждение по всем законам.
- Рассыльному отнесть... Под расписку ей вручить.
- Ладно... Пиши! Теперь насчет жалобы. Зачесть, или Назаркин сам скажет?

Назаркин?

– Ен самый. – Из разлива голов вынырнул, словно из воды, невысокий мужичок с рыжими бровями и, беспокояно бегая глазами, затараторил:

– Значит, позиция моя вот такая – за моей девкой бегают парень Андрей Егоровича, этот самый... Соколик. Я его предупреждал насчет последствий. Это говорю, не игрушки! Потому заставлял их во всех местах. И девку порол. Никакого толку. Бегают, и шабаш. Андрей Егорыч мер не принимает. Чего ж мне остается делать? Ждать приплоду? А куда я с ним тады денусь? Этого Соколика не женишь, потому как сопляк. Вот я и предлагаю – оштрафовать его для острастки других, то есть отца. Чтоб другим было неповадно. – Назаркин сел.

– Ясно. Какие будут еще предложения?

– Извиняюсь, я тоже сказать хочу, – поднялся Андрей Егорович, борода лисья с красным отливом, взгляд небесно-голубой в потолок: – К примеру, Васька Полкан... То ись Василий Сморгчов, извиняюсь, держит мирского быка. Этот самый бык ходит по дворам. Бывает, и приплод от него появляется. Дак ведь мы не берем штрафа с Полкана! Наоборот, мы еще ему приплачиваем. Может, за моего сына и мне чего приплатить надо?

Весь трактир от раскрытых дверей до стола президиума загрохотал, замотал головами, заохал:

– Хо-хо-хо-хо!

– Гы-гы-гы-гы-ык... Дьявол тебя возьми-то.

– Ах-ха-ха-ха!.. Ах!.. Ах!.. А-пчхи, чхи!

– О-о! О-о! О-о! Ох, держите... Уморил Соколик, уморил...

– Ну, хватит, хватит!

– Ох! Ох! Ох-хо-хо-хо! А-а-апчхи!

– Хватит!.. – трясет звонком над головой Кречев. – Хватит!

Но слабый, дребезжащий звонок меди глохнет все в новых безудержных взрывах хохота.

## 10

Секретарь райкома комсомола Митрофан Тяпин вызвал к себе в кабинет Марию Обухову и Сенечку Зенина.

– Ребята, – сказал он, стоя за столом, как на трибуне, – нужна помощь в выявлении из укрытия кулаками излишков хлеба. Установка райкома, ясно?

– Ясно! – дружно ответили ребята, приподымаясь со своих стульев.

– Вы можете не вставать, – осадил их Митрофан и нахмурился, глядя куда-то себе на нос, да еще выдержку сделал, чтобы подчеркнуть важность момента... отмахнул полу пиджака, засунул правую руку в карман и для чего-то пошевелил там пальцами. – Задача следующая: Гордеевский узел отстает по сдаче излишков хлеба. Сторона лесная, глухомань... Причина якобы в отсутствии хлеба. Допустим... Но по нашим сведениям точно установлено – на прошедшем тихановском базаре хлеб оттуда был. Значит, по государственной цене излишков нет, а спекулировать на базаре – находятся. Отсюда вывод – излишки найти. Черт возьми, у них колхоз «Муравей» и

тот излишки не сдал. Это ж развал! Задача номер два: товарищи, повсюду идет компания по выявлению кулаков для того, чтобы их хозяйства подготовить к индивидуальному обложению... Ведь новый сельхозналог не за горами. А у нас выяснилась такая позорная картина: в некоторых селах кулак внезапно исчез. Например, в Гордееве и Веретье. Дважды заседал тамошний актив бедноты, и кулаков не выявили. Ты, Маша, как член партии, свяжись с местной комячейкой. Помоги им. Народ ты знаешь, работала там учительницей. А ты, Семен, жми на комсомолию. Документы вам подписаны, можете взять их. – Тяпин сел и зашастал рукой по столу, как слепой. – Да где они?

На столе лежали газеты, какой-то журнал, раскрытая конторская книга и серая кепка посреди бумаг. Митрофан приподнял кепку.

– Ах, вот куда я их положил! – Кепку кинул на стул, ухмыляясь, шмыгнул носом. – Мужик собрался в извоз, да шлею потерял. Получайте!

Мария и Сенечка взяли свои командировки.

– Дак нам куда, в Веретье или Гордеево? – спросил Сенечка.

– Валяйте на агрономический участок. В барский дом. Там найдутся комнаты. Да, товарищи... Чуть не забыл! В воскресенье, то есть послезавтра, День Конституции и Международный день промкооперации. Сходите в Новоселки, в колхоз «Муравей», и проведите беседу... Еще вот что – там работает тройка по чистке партии и аппарата. Помогите своей активностью... Все! С комприветом!

Тяпин тиснул своей каменной пятерней руки активистам и проводил их, поскрипывая хромовыми сапогами, до дверей.

На другой день, с утра пораньше, Мария пришла в риковские конюшни и разбудила конюха Боцана, спавшего в хомутной.

– Дядь Федь, царствие небесное проспишь! – ткнула его каблуком в мягкое место.

– А-а! – Боцан поднял с попоны нечесаную, в сенной трухе голову и удивленно захлопал глазами: – Откуда тебя принесло, мать твоя тетенька?

– Вставай! Лошадь нужна, в Гордеево ехать. Вот тебе записка от управдела.

Боцан с опухшим ото сна лицом держал в руках записку и говорил, почесываясь:

– По такой нужде ехать надо. Ждать немислимо, дорога дальняя, – а сам ни с места. – Я тебе, Мария Васильевна, Зорьку запрягу. Она кобыла хоть и невидная, но выносливая, киргизских кровей.

– Ты бы лучше пошевеливался, чем сидя рассуждать.

– В нашем деле спешка ни к чему. Это тебе не за столом щи хлебать...

Боцан известен был на все Тиханово как непревзойденный едок, вместе с Филипком они кадку блинов съедали.

– Чего ж медлить? Дорога дальняя.

– То-то и оно, что дальняя, – продолжал рассуждать Боцан, приводя в порядок свою одежду после сна. – Тут надо все обдумать, взвесить... Это у вас, у теперешних, тят-ляп да клетка. Запряги тебе, к примеру, Молодца... Он и тарантас расшибет, и вас в лесу оставит. Или запряги Ворона... До ночи не приедете. Его хоть бей, хоть пляши на нем, он и не трюхнет... только хвостом отмахивается. Для него мужское слово надо. А ты баба. Тебя он не послушает.

Наконец Боцан пошел в конюшню. Через минуту вывел оттуда в поводу небольшую серую кобылу, а в другой руке нес лагун с дегтем.

Сунув повод Марии в руку, конюх торопливо подошел к тарантасу.

– В такую дорогу, Мария Васильевна, нельзя без подмазки ехать, не то колеса

сыграют тебе «Вдоль по Питерской».

Подмазывая колеса дегтем, он говорил:

– Зорька – кобыла смиренная. Но есть в ней один изъян – ежели ты заснешь, она упрет во ржи. А то в лес свернет, где трава погуще. Я одна ехал на ней из лугов, выпимши был с окончанием покоса. Ну и задремал... Проснулся – что такое? Куда ни посмотрю – черно, как в колодезе. Овраг не овраг, а вроде ущелья. Небо над головой в лоскут – все звездами утыкано, а по сторонам черные бугры. Пошевелился я, вроде руки-ноги целы, а шея болит, будто кожи на ней мяли. Встал. Гляжу, где телега моя валяется, где колеса... А Зорька на верхотуре травку щиплет, и две обломанные оглобли при ней. Огляделся я – мать честная! Оказывается, это Красулин овраг. Вон куда угодило! Ну как я там на дне очутился, убей не помню. Наверно, черти заташили.

Рассказывая, Боцан запряг лошадь. Потом хлопнул ее по спине и, обращаясь к Марии и передавая ей вожжи, заключил:

– Поезжай, Мария Васильевна! В добрый путь! Телега легкая, лошадь хорошая... Скоро доедешь... Нет, стой!

Он пошел к зеленой копне, взял огромную охапку свежей травы и положил в тарантас:

– Вот эдак мягче будет. С богом!

Мария неловко взобралась на высокий тарантас, взяла неумело, как все женщины, вожжи обеими руками и сказала:

– Растворь ворота!

Сенечка Зенин жил возле церкви, на выезде из села. Он подждал Марию на лавочке у палисадника. Перед ним стоял высокий черный ящик с ремнем. Завидев Марию, Сенечка закинул ящик за спину и вышел на дорогу.

– Это что за чемодан? – спросила Мария, останавливая лошадь. – Сухари на дорогу?

– Там увидишь, – ответил Сенечка, ставя ящик посреди тарантаса. – Дай-ка вожжи!

Он взял у Марии вожжи, прыгнул в передок и крикнул весело:

– Эй, быстроногая, покажи движение!

Хлыстнул по крупу, замотал, задергал вожжами, и лошадь, косясь глазами на возницу и поводя ушами, побежала резвой рысью. Ящик заколыхался в тарантасе, загрохал, как ступа с пихтелем.

Мария поймала его за ремень, открыла крышку – там лежала гармонь.

– Эй, учитель! Ты зачем гармонь взял? Ай на посиделки едешь?

– А тебе не все равно? – Сенечка обернул свою смешливую рожу: глазки подслеповатые, нос вздернут шалашиком, ноздри открытые – заходи, кому охота. – Может, я тебе страданье хочу сыграть. Дорога дальняя, – и подмигнул ей.

– Балбес! – беззлобно выругалась Мария. – Тебе уже за двадцать, а ты все кобенишься... На посиделки ходишь, по вечерам страданья играешь. Не учитель ты, а старорежимный тип.

– Дак ведь каждому свое – я на посиделках страданье играю, а ты вон с поповым сыном гуляешь. С бывшим офицером то есть. Так что кто из нас старорежимный тип – это еще вопрос.

– Он в Красной Армии служил, целой ротой командовал.

– Мало ли кто где командовал, – тянул свое Сенечка. – Вон я в газете прочел: вычистили одного завклубом. Оказался деникинский генерал. А командовал рабочим

клубом.

– При чем тут генерал?

– Это я к примеру...

– Ну и глупо.

Ругаться не хотелось... Утро было солнечное, прохладное, с тем легким бодрящим ветерком, который нагуливается на росных травах да остывших за ночь зеленах. Еще звенели жаворонки, лопотали перепела, еще пыль не подымалась с дороги из-под колес, еще солнце не грело, а ласкало, еще все было свежим, чистым, не затянутым душным и пыльным маревом жаркого летнего дня. В такие часы не езда по торной дороге, а любота. Телега на железном ходу бежала ходко, плавно, без грохота и дребезжания, только мягко поскрипывали, укачивая, рессоры да глухо шлепали по дорожной серой пыли лошадиные копыта. За кладбищем, до большака обогнали несколько подвод с навозом. На каждом возу, как пушка в небо, торчали вилы. Мужички учтиво снимали кепки, слегка наклоняя головы, Мария помахивала им рукой и с жадностью вдыхала сырой и терпкий запах навоза.

Когда пересекли большак и свернули на пустынную лесную дорогу, Сенечка сказал:

– Не понимаю чтой-то я наше руководство. Нерешительный народ.

– Как то есть нерешительный?

– Очень просто. Уж сколько месяцев кричат ограничить кулака, изолировать его... Наступление на кулачество развернутым фронтом... Где же он, этот фронт? Одни разговорчики! Мы вот зачем едем? Тоже уговаривать кой-кого. Надоело! Ежели фронт, дай мне наган и скажи: отобрать излишки у такого-то вредного элемента! Отберу и доставлю в срок, будьте уверочки.

– Ах ты, живодер сопатый! А ежели у тебя отобрать вот эту гармонь и в клуб ее сдать? Как ты запоешь?

– А у меня за что? Я ж не кулак.

– Разве с наганом в руке определяют – кто кулак, а кто дурак? Ты путем разберись – кто своим трудом живет, а кто захребетник. Наганом-то грозить всякий умеет.

– Я в том плане, что классовый подход требует решительных мер.

– Всему свое время. Был у нас и военный коммунизм. Слыхал?

– За кого ты меня принимаешь? Все ж таки я окончил девятилетку, да еще с педагогическим уклоном.

– Больно много в последнее время у нас всяких уклонов развелось.

– Вот именно... К примеру, от твоих разговоров правым уклончиком отдает.

– Ты эти провокации брось! А то на порог нашего дома не пущу. И Зинке скажу, чтоб она тебя в шею гнала.

– Нельзя, Мария Васильевна, личную жизнь чужого человека ставить в зависимости от своей общественной точки зрения. Это, извините, не марксистский подход. Что ж такого, что наши с вами взгляды расходятся. Почему Зинка должна отвечать за это? Только потому, что она ваша сестра? Но это и есть проявление чувства собственности в семейных отношениях. Отсюда один шаг к союзу с собственником вообще, то есть с кулаком.

– Нет, Сенечка, с тобой нельзя серьезно говорить. Ты форменный балбес и демагог.

– Вот видишь, и до оскорбления дошли. А все только из-за того, что я высказался за решительные действия.



– Да прежде чем действовать, надо разобраться! – Мария стала горячиться. – Мы же не к песиголовцам едем, а к людям. Почему низовой актив не выдвинул кулаков на обложение? Ведь есть же все-таки какие-то причины?

– А мне плевать на эти причины! – повысил голос и Сенечка. – Спелись они... Причины? Вон излишки хлеба государству не сдают, а на базар везут. Здесь тоже причину искать надо, да? Рассусоливать? Нет. Спекуляция, и точка.

– Какая ж тут спекуляция? Разве они везут на базар чужой хлеб? Спекулянт тот, кто перепродает. А кто продает свой хлеб – не спекулянт, а хлебороб.

– Так почему ж он не продает его государству? Дешево платят, да?

– Дешево, Сенечка. Ты слыхал о «ножницах»? Так вот за последние годы цены на промышленные товары, на инвентарь поднялись вдвое, а заготовительные цены на хлеб остались те же... Правда, на базаре они выше. Вот крестьянин и везет туда. Ему ведь бесплатно никто инвентарь не даст.

Сенечка обернулся и долго, пристально глядел на Марию.

– Ты чего, разыгрываешь меня, что ли? – спросил и криво, недоверчиво усмехнулся.

И Мария усмехнулась:

– Что, крыть нечем? А ведь такие слова тебе могут сказать и на сходе, и на активе. Ну, уполномоченный, вынимай свой наган...

– Иди ты к черту! – Сенечка отвернулся и стегнул лошадь.

Дальше до самого Гордеева ехали молча. Лошадь и впрямь оказалась выносливой – всю дорогу трусила без роздыха, и когда подъезжали к селу, на спине и на боках ее под шеей проступили темные полосы, а в пахах пена закурчавилась. Заехали к Кашириной. Лошадь привязали прямо возле веранды, отпустили чересседельник, кинули травы. Из дверей выплыла Настасья Павловна в длинном розовом халате:

– Марусенька! Душечка милая! Какими судьбами? Иди ко мне, касаточка моя...

Мария вбежала на веранду и кинулась в объятия к Настасье Павловне:

– Как вы тут поживаете?

– Слава богу, все хорошо... А ты смотри как изменилась! Похудела... Строже стала. Или костюм тебя старит? Не пойму что-то.

На Марии была серая жакетка и длинная прямая юбка.

– Должность обязывает, Настасья Павловна... – сказала вроде извинительно. – В платье несолидно в командировку ехать.

– Ну, ну... А это кто? Познакомь меня с молодым человеком.

– Секретарь Тихановской ячейки, учитель... Семен Васильевич, – представила Зенина Мария.

Сенечка крепко тиснул мягкую руку буржуазному элементу, так что Настасья Павловна скривилась.

– А Варя где? – спросила Мария.

– Спит еще... Вы так рано пожаловали. Дел, что ли, много?

– Да, дела у нас неотложные, – важно сказал Сенечка.

– Проходите в дом. Может, отдохнете с дороги? Я самовар поставлю.

– Извините, мне не до чаев... – сказал Сенечка и, обернувшись к Марии: – Часа через два зайду.

Потом спрыгнул с веранды, надел ящик с гармонью через плечо и ушел.

Чай пили на веранде; посреди стола шумел никелированный самовар, а вокруг

него стояли плетенки с красными жамками, с молочными сухарями, с творожными ватрушками, да чаша с сотовым медом, да хрустальная сахарница с блестящими щипцами, да сливочник, да цветастый пузатый чайник. Настасья Павловна розовым пуфом возвышалась над столом, восседая на белой плетеной качалке. На Варя была из синего атласа кофта-японка с широким отвисающим, как мотня, рукавом, ее пухлая белая ручка выныривала из рукава за жамками, как ласка из темной норы, – схватит и снова спрячется.

А над верандой цвела вековая липа, ее тяжелые в темных медовых накрапах резные листья свисали над перилами, касаясь плеч Настасьи Павловны, их влажный тихий шорох сплетался с гудением пчел в монотонную покойную мелодию.

От близкой реки тянуло свежестью, горьковато-робко веяло от скошенной травы, и распирало грудь от душного пряного запаха меда.

– Ну, как тебе на новом месте? – поминутно спрашивала Настасья Павловна Марию. – Как в начальстве живетесь?

– Я ж вам сказала – никакая я не начальница, – отговаривалась Мария. – Я простой исполнитель, понимаете?

– Как то есть исполнитель? Судебный? Или вроде дежурного по классу, что ли? – улыбалась Настасья Павловна.

– Вот именно... каждый день отчитываюсь – кто чем занимался, а кто где набезобразил...

– И с доски стираешь, – смеялась Варя, обнажая ровные белые зубки.

– За всеми не успеешь... Район большой, – в тон ей сказала Мария.

– А сюда с каким заданием? – спросила Настасья Павловна.

– Излишки хлебные не сдают... Поэтому вот и прислали.

– Господи, какие у нас излишки? Гордеево не Тиханово, не Желудевка. Там места хлебные.

– Там-то сдали. План давно выполнили.

– Не понимаю, какой может быть план, когда речь идет об излишках? – Настасья Павловна от недоумения даже пенсне сняла.

– На излишки тоже спускают план, – сказала Мария.

– Ну, деточка моя, что ты говоришь? Излишки – значит лишнее. Был у человека хлеб. Он рассчитывал съесть столько-то. Не съел. Осталось лишнее. Как же на это лишнее можно сверху дать план?

– Ой, Настасья Павловна, тут мы с вами не сговоримся. Поймите, государству понадобился хлеб, оно дает задание областям, округам, районам – изыскать этот хлеб. То есть определить излишки, ну и попросить, чтобы их сдали.

– А их не сдают! – Варя опять засмеялась.

– Вот вы и узнайте – почему не сдают, – сказала Настасья Павловна. – Потом сообщите туда, наверх, не сдают, мол, по такой-то причине. Измените закупочные цены – и все сами повезут эти излишки без понужения. Ведь как все просто.

Варя опять залилась смехом, запрокидывая голову, а Мария, вся красная, заерзала на стуле.

– Поймите, Настасья Павловна, страна вступила на путь индустриализации. Нужны средства, колоссальные усилия всего народа. Каждая копейка должна быть на счету.

– Ну да, конечно... Золото с церковей сняли, драгоценности отвезли... А теперь усилия. Да кто ж против усилий? Речь идет о том, чтобы эти усилия распределять

равномерно в обществе. Почему какой-нибудь там Орехов или Потапов должны отдать за бесценок сэкономленный хлеб? Вы же от своего жалования не отказываетесь во имя индустриализации, – Настасья Павловна тоже раскраснелась.

– Но я подписалась на заем!

– И они подписались...

– Ну хватит вам! – хлопнула Варя ручкой по столу. – Вон как обе распалились. Еще не хватает поругаться из-за пустяков.

– Это не пустяки, – сказала Мария.

– Согласна, согласна, – закивала Варя. – Но за чаем все-таки принято не политикой заниматься. Мы с тобой не виделись целую вечность... Подружка, называется... Приехала, подняла человека с постели ни свет ни заря – и развела канитель про усилия. Ты свои усилия напрягай знаешь где?..

– Я не пойму... Ты что, моим приездом недовольна? – перебила ее Мария.

– Ну, Манечка, милая, не будь букой, не сердись! – Варя прильнула к ней и сказала на ухо: – А мы с Колей помирились.

– С Бабосовым? Он был у тебя?

– Был, Маня, был... У-ух! – Варя зажмурилась и головой потрясла.

– Почти неделю здесь куролесили, – сказала Настасья Павловна. Минутное возбуждение сошло с нее, как с гуся вода, она сидела опять покойной и удовлетворенной.

– Мы с ним пожениться хотим, – доверительно шепнула Варя.

– В который раз? – усмехнулась Мария.

– Злюка, злюка! А я вот, пожалуй, возьму и не скажу тебе...

– Что еще за секрет?

– Этот секрет пол-Гордеева знает, – усмехнулась Настасья Павловна. – В Степанове собирается, к Бабосову.

– Ты к Бабосову? Насовсем?

– Ну не так чтоб насовсем... Пожить, приглядеться. Его в Степановскую десятилетку перевели. Да! – она хлопнула Марию по коленке. – И Успенский там же. Поселились они временно в бывших ремесленных мастерских. Школу приводят в порядок, получают имущество.

– Я слыхала, – сдержанно сказала Мария.

– Говорят, ты с Успенским того? – Варя пошевелила пальчиками.

– Перестань, глупости! – Мария снова пунцово зарделась.

– Ой, батюшки мои! – всплеснула руками Настасья Павловна. – Я ж совсем позабыла – у меня курица посажена на гнездо и корзинкой накрыта. – Она поспешно встала и ушла на двор.

– Ты надолго сюда? – спросила Варя.

– До понедельника.

– А ты бы смогла вернуться в Тиханово по Степановской дороге?

– Можно...

– Знаешь, что я надумала? Давай поедем завтра вечером. В Степанове заночуем. А утром двинешься в Тиханово. Там пустяки.

– Надо подумать...

– Манечка, милая, это ж такой момент. Представляешь, соберемся вместе! Я, ты, Коля, Дмитрий Иванович... Что будет! Что будет!

– У меня ж еще дела.

– Ах, их до смерти не переделаешь. Поедем! Маня, учти, второй молодости не

бывает. Это врут про нее.

– Я ж не одна... Со мной этот балбес... Кстати, сколько времени? – глянула на часы. – Ого! Уже десятый час. Где он там запропастился? Пора бы уже и делом заняться.

Но вместо Сенечки появился председатель сельсовета Акимов Евдоким – квадратный широколицый мужик в черном пиджаке и флотской тельняшке.

– Вот, оказывается, кто к нам припожаловал, – гудел он, подминая скрипучие ступени. – Здравствуйте, Мария Васильевна! Рады вас видеть, – протягивал он свои короткие толстые ладони с затейливой татуировкой.

Появилась Настасья Павловна.

– К столу, пожалуйста, Евдоким Федосеич.

– Премного благодарны, Настасья Павловна. Я уже отчаевничал. – Акимов галантно обошел всех дам и притронулся своей корявой ладонью к мягким ручкам.

Сел, обращаясь к Обуховой:

– Вы по делу к нам или в гости?

– По делу, и лично к вам. Только было собралась идти.

– Вон как! А вы, случаем, не на пару приехали?

– Да. Со мной тут Зенин, секретарь Тихановской ячейки. Вы его видели?

Акимов усмехнулся и смущенно крутнул белесой головой:

– Не знаю, как и сказать, – поглядел на пол, потом спросил: – Вы знаете, где он?

– Где? – Мария почуяла что-то недоброе.

– В избе-читальне лотерею устроил.

– Какую лотерею?

– Гармонь продает... Разыгрывает то есть.

Вся застольица грохнула затыжным смехом, а Мария покрылась красными пятнами:

– Вы это серьезно?

– Да какие там шутки. Заходит ко мне участковый агроном и говорит: «Эй, ты, власть! Ты чего это цирковой балаган устроил в избе-читальне?» Какой балаган, спрашиваю. Форменный, говорит. Приехал из Тиханова какой-то тип, сперва по домам шастал, как поп, потом собрал ребят в избе-читальню и гармонь там разыгрывает. Я туда бежать. Разгоню, думаю, паршивцев. Влетаю – мне избач навстречу. Евдоким Федосеевич, говорит, не гневайся. Это уполномоченный из райкома. Кто его знает? Может, у него, говорит, форма агитации такая. Он, мол, приехал с Марией Васильевной Обуховой. Она сидит у Кашириной. Сходи, узнай – в чем дело.

– Боже мой, какой позор! – Мария встала. – Надо немедленно идти туда, остановить его.

– Хуже будет, Мария Васильевна, – сказал Акимов. – Поначалу я сам думал – разогнать, и все. А потом смикитил – это ж скандал на всю округу. Он ведь уполномоченный...

– А что же делать?

– Пойдем и переждем эту лотерею. Сделаем вид, что все нормально. А потом всыплем ему, когда народ разойдется.

– Пошли!

Еще поднимаясь от Петравки на высокий уличный бугор, где стояла изба-читальня, они услышали визгливый голос Сенькиной ливенки, доносившийся сквозь раскрытые окна.

Играли вальс «На сопках Маньчжурии».

– Качество проверяет, – сказал Акимов.

В читальне было битком набито парней. Сенечка сидел на столе, опершись ногами на скамью, и самозабвенно наяривал старинный вальс – нос кверху, глаза под лоб упустил и даже головой покачивал от удовольствия. На протиснувшуюся Марию и Акимова только глянул туманным взором и отвернулся. Играл при гробовом молчании, зная цену своему искусству. Рядом с ним лежала кепка, полная белыми лотерейными ярлыками.

Кончил играть, откашлялся, как модный тенор, и спросил публику:

– Ну как?

– Мехи сильные.

– Голосисто... В Веретье, поди, слышать.

– А строй?

– Что строй! – сказал Сенечка. – Ты глухой, да? Я ж «На сопках Маньчжурии» не то что сыграл – выговорил. Не всякая хромка тебе так вот распишет.

– Чего там говорить, забористая гармонь.

– Да. Голоса выдержанные, – слышались одобрительные возгласы.

– А как насчет басов?

– Что басы?

– Вразной пусти!

– Пусть страданье сыграет!

– Какое – саратовское или сормовское?

– Давай сормовского.

Сенечка рванул мехи, и тотчас с первого колена влился в его разухабистую бурную мелодию легкий лукавый голосок:

Сормовской большой дорогой

Пробирался на Кавказ...

Второй куплет подхватил из другого угла невидимый яростный бас:

На базарном перекрестке

Продавала девка квас...

Первый голос игриво, насмешливо уводил за собой дальше:

Я спросил у ней напиться,

Она, дура, не дала.

Бас, очнувшись, ухнул зычно, как из бочки:

Я спросил у ней...

Но тут гармонь рывкнула и испустила дух.

– Все, – сказал Сенечка. – Дальше пойдет нецензурный мат. При женщинах запрещается.

Он оставил гармонь, поднял кепку, пошевелил сложенными ярлыками:

– Ну, все согласны тянуть? Никто не хочет взять назад деньги?

Молчание.

– Тогда приступим. Значит, двадцать девять номеров пустых, один выигрышный. Подходи по очереди.

Ребята стали подходить и вынимать билеты. Кто разворачивал тут же и бросал, плюясь себе под ноги, кто отходил к порогу и там тихонько матерился. Наконец объявился счастливчик. Он поднял кулак и заржал:

– Га-га-га! Вот она, ласточка... попалась!

– А ну-ка, прошу! – сказал Сенечка, беря билетик. – Сейчас проверим, сейчас...  
Правильно, роспись моя. Так, ваша фамилия, имя и отчество.

Парень назвался. Сенечка записал его в блокнот и сказал:

– Вас вызовем через неделю по почте, открыткой на заключительный тур. Гармонь разыграете вчетвером, то есть победители четырех кустов. Все, товарищи! – И, обернувшись к избачу: – Попросите публику оставить помещение.

Когда ребята вышли, Мария, еле сдерживаясь, процедила:

– Ты что же делаешь, артист?

– Как это что? То самое, что обязан, и вам рекомендую так же выполнять свою задачу.

– Какую задачу? Балаганить, да? – сорвалась на крик Мария.

– Но, но... Давай потише. Пока ты чай распивала, я зажимщиков хлеба выявлял.

– Каких зажимщиков?

– Тех самых, что излишки не сдают. – Сенечка достал из кармана свернутый вчетверо тетрадный лист, развернул его и подал Акимову: – Это ваши люди? Читайте! Те, которые излишки не сдали.

Акимов пробежал список глазами:

– Они. Кто вам дал этот список?

– Секретарь сельсовета. Да, да, ваш секретарь. С этим списком я и ходил по дворам, вроде бы агитировал в лотерею сыграть на гармонь, а сам глядел, где рожь спрятана.

– Ее, что ж, под порогом прячут, рожь-то? – усмехнулся Акимов.

– А где ее прячут? Ну-ка скажи! В сусеках, что ли?

– Ну, не в сусеках... В бане, на сушилках...

– Ага, еще в чулане, – подсказал ехидно Сенечка.

– Можно и в чулане.

– А вы пойдете с комиссией и враз все отберете... Ждите, так вам и положат. Эх вы, горе-сыщики! – Сенечка покачал головой. – Ноне дураков нет. Уж если прячут, так надежно. Вот я и спрашиваю вас – где?

– В землю зарывают, – сказал избач.

– Чепуха! Это вам не осень и не зима. Сейчас в земле рожь прорастет. Теперь прячут в сухом месте, в подпечнике.

– Чего? – сказала Мария.

– Села баба на чело... Вот, в списке подчеркнуты три фамилии. У них под печкой хранится хлеб.

– Ты что, лазил туда? – спросил Акимов.

– Вот еще! Я гармонист. Пришел – гармонь показал, страданье сыграл. Ну а сам глазом чик! Если есть новые доски на подпечнике или свежие затесы – значит, хлеб спрятан там. Будьте уверочки. Сходим!

– Ты не ошибаешься? – спросила Мария.

– А если и ошибаюсь, ну и что? Мы ж приехали дело делать. Вскроем, составим акт...

– Ну что ж, сходим хоть к Орехову Павлу Афанасьевичу, – сказал Акимов. – Он ближе всех живет.

– Как? Идти ломать подпечник? У меня таких полномочий нет, – решительно возразила Мария. – Я не пойду. Свяжитесь с прокурором.

– Может, понятых позвать? – заколебался Акимов.

Мария пожала плечами:

– Мы можем только пригласить кого-то, вызвать на беседу или сходить поагитировать. Но обыск делать? Извините! У меня еще голова на плечах.

– Вот это и есть либеральные мерехлюндии, – сказал Сенечка. – Мое дело выяснить и доложить. А вы как хотите. Если отказываетесь акт составлять, тогда нам вместе делать нечего. Ну пойдем акт составлять?

– Нет, – сказала Мария.

– И я не стану, – сказал Акимов.

– Как хотите! – Сенечка закинул гармонь на спину и двинулся к дверям, у порога остановился: – Я пошел в Веретье. Буду работать один, как подсказывает мне совесть. Но учтите, на вашу бездеятельность и покрывательство напишу докладную.

– Н-да... Вот тебе и точка с запятой, – Акимов сел за стол и нахмурился. – Вот что, Тима, сходи-ка к Орехову, позови его сюда, – наказал он избачу. – Если хозяина нет, давай хозяйку. Надо разобраться.

– Я в момент, – худенький белобрысый избач, в лапоточках, синие штаны навыпуск, вихрем слетел с высокого крыльца и помотал вдоль уличного порядка, только голова замелькала.

– Садись, Мария Васильевна, в ногах правды нет. Какие у вас еще задания? Говорите.

Акимов вынул кисет, свернул сигарку, закурил, смахивая табачные крошки в ладонь.

– Задание наше известное, Аким Федосеевич, – Мария усмехнулась. – Говорят, у вас кулаки внезапно исчезли.

– А-а, – протянул Акимов. – Индивидуальных обложений нет. Известно.

– Ну и как же насчет кулаков?

– У нас был один Осичкин, да уехал в прошлом году. В его доме сейчас ветпункт. А чего ты спрашиваешь? Ты же сама знаешь. Не один год, чай, работала у нас в Гордееве?

– А Звонцов?

– Подрядчик, что ли?

– Ну?

– Он бросил штукатурные подряды. И бригада его распалась. Теперь он от селькова работает в лесу на заготовках. Жалованье получает. Какое же ему давать индивидуальное обложение? Что обкладывать? Хозяйство вы его знаете.

– А лошади?

– Дак у него теперь одна рабочая лошадь. Второй рысак. Разве что рысака обложить? Но вроде бы такого постановления нет.

– А Потаповы?

– Мельники? Братья Потаповы, конечно, народ крепкий. Но ведь работников они никогда не держали. Сами вдвоем справляются... Мельница у них на два постава, тебе известная. Доход комиссия определила еще в прошлом году... в три тысячи. Подходный налог они платят исправно. А в хозяйстве у них всего по лошади да по корове. Как же их обкладывать? С какой стороны?

Акимов свел свои толстые обветренные губы трубочкой и начал пускать в потолок дым кольцами.

– Что же, выходит, претензии к вам напрасные? – спросила Мария.

Акимов подался грудью на стол и, глядя на нее исподлобья грустными серыми глазами, сказал с оттенком горечи:

– Разве в нас дело? Я же не надувало мирской, не фальшивомонетчик. Я коммунист, четыре года на флоте отслужил и здесь тружусь примерно, хозяйство свое содержу в порядке, чужого ничего не беру. Почему ж мне не верите? И актив у нас мужики честные, что надо. Мы ж не дети – видим, кто и как живет. А вы нас подозреваете в укрывательстве, а?

Мария отвернулась от его пристального взора:

– Вы говорите так, будто я питаю к вам это самое недоверие. Не беспокойтесь, я по домам не пойду.

– Да пожалуйста. Мы ничего не скрываем.

– Евдоким Федосеевич, а почему колхоз «Муравей» излишки не сдал?

Акимов как-то по-детски хмыкнул:

– А он их на портки выменял.

– Как это?

– Да так. Вы сегодня вечером свободны?

– Разумеется.

– Пойдемте на агроучасток. Как раз сегодня разбирают председателя колхоза. Вот и познакомитесь с ним, от него все узнаете.

Вошел избач с худым и погибистым мужиком в лаптях и посконной рубахе, подпоясанной оборкой.

– Здравствуйте вам! – сказал вошедший, степенно сгибаясь и подавая заскорузлую большую руку.

– Садитесь, Павел Афанасьевич, – пригласил его Акимов на скамью.

Орехов сел, осторожно поглядывая то на Акимова, то на Марию. Выражение его постного в жидкой рыжей бороденке лица было таким, как будто бы его только что разбудили и он не поймет, где очутился.

– Павел Афанасьевич, вот представитель района интересуется, почему ты хлебные излишки не сдаешь?

– Да ведь нету излишков-то.

– А говорят – под печкой у вас хранится хлеб? – сказал Акимов.

Орехов дернулся и захлопал глазами.

– Ну, чего молчишь?

– Я, эта, из амбара перенес в подпечник хлеб-от... Крысы там донимают.

– За тобой числится десять пудов излишков. Почему не сдаешь?

– У меня всего-то пудов десять будет. Вот с места не сойти, если вру. Еле до нового дотянуть. Ты ж знаешь, сколь у меня едоков-то. – У него дернулась верхняя губа и покраснели, заводянулись глаза. – Евдоким Федосеевич, – выдавил хрипло, – не губи детей! Перенеси на осень. Сдам до зернышка. Вот тебе истинный бог – не вру, – и перекрестился.

– Чего ж ты молчал, когда излишки тебе начисляли? – спросил Акимов.

– Меня никто не спрашивал. Зачитали на сходе, и валяй по домам.

– Ну, что будем делать? – обернулся Акимов к Марии. – Акт составлять? Сам признался, что хлеб есть.

– Пусть идет домой, – ответила Мария.

– Премного вам благодарны, – Орехов поспешно вскочил, низко поклонился, и только его и видели.



– Теперь до дому будет бежать без роздыха, – усмехнулся Акимов, глядя в окно. – Других будем вызывать?

– Нет. – Мария встала. – Для меня картина ясная. Извините за хлопоты, Евдоким Федосеевич. Я похожу здесь по селу. В школу загляну. Старое вспомяну.

– Отдыхайте. Вечером приходите на чистку.

– Приду.

Часов в пять на агрономическом участке, в бывшей барской усадьбе возле Веретья открылось очередное заседание. На скамейках расселись человек пятьдесят местных крестьян. Окружная комиссия из трех человек – все в белых рубашках с расстегнутыми воротами – двое лысых, один с бритой головой – сидела за столом, лицом к публике. Намеченных для чистки выкрикали строгим зычным голосом:

– Коммунист Сидоркин!

– Здесь! – отзывалось тотчас из зала, человек вскакивал, как на военной поверке – подбородок кверху, руки по швам, и шел к столу, становился с торца, так чтобы есть глазами начальство, а ухо держать к публике – вопросы сыпались не только из-за стола.

Когда Мария пришла на чистку, донимали этого бедолагу больше всего из зала. Он стоял красный и часто утирался рукавом синей рубахи.

– Вы, извиняюсь, коммунист. В бога не верите. А зачем крестины устроили? – спрашивал крупноголовый старик, стриженный под горшок, и учтиво оборачивался к председателю комиссии: – Я правильно говорю?

– Правильно, – подтверждал тот басом. – Сидоркин, отвечайте!

– Товарищи, это ж не настоящие крестины. Ребенка в купель не кунали.

– А чем ты нам докажешь? – выкрикивал с передней скамейки Сенечка Зенин. Он был уже здесь.

– Ну спросите хоть крестную с крестным. Они подтвердят мое показание.

– Ах, значит, кум с кумой были? А что это, как не предмет религиозного культа? – торжествовал Сенечка.

– Но ведь крест не надевали, – отбивался Сидоркин. – При чем же тут религиозный культ? Чего вы на меня напраслину валите?

– погоди, погоди, – остановил его бритый председатель. – А застолица была? Выпивка то есть...

Сидоркин задышал как притомленная лошадь, утерся рукавом и согласно мотнул головой.

– Вот вам и доказательство, – сказал председатель.

– Разрешите мне! – потянул руку Сенечка.

Председатель дал знак рукой, Сенечка встал:

– Товарищи, вот вам двойное нутро одного и того же лица: на словах он – член партии, работник советской кооперации, а на деле – темный приспешник старинных церковных обрядов. Комиссия разберется, место ли такому человеку в кооперации и тем более в рядах партии. Между прочим, завтра праздник международной кооперации – смотр боевых сил ее членов. А что это за боевая единица, которая занимается пьянкой в честь крестин? Факты говорят сами за себя. – Сенечка сел.

– Хорошо выступил товарищ, – сказал председатель и поглядел в зал: – Еще желающие есть? Может, предложения будут?..

– Вы свободны. – Председатель кивнул Сидоркину.

Тот вышел.

– Кто там очередной? – спросил председатель соседа справа.

Такой же строгий, насупленный сосед указал темным толстым пальцем на список.

– Ага, – кивнул председатель и прочел: – Миронов Фома Константинович!

– Здесь!

Это был молодой рослый мужик лет тридцати, чисто выбритый, в отглаженном коричневом костюме и в галстуке. По всему было видно, что готовился он к этой чистке серьезно и тщательно.

– Расскажите нам вашу трудовую автобиографию, – попросил председатель.

Миронов вяло и долго рассказывал, где родился, кто отец с матерью, на ком женился и прочее. Его почти и не слушали, в зале шушукались, члены комиссии задумчиво и строго смотрели прямо перед собой, погруженные в свои мысли. Но только дела дошли до колхоза, все оживились.

– Кто вас надоумил создать колхоз?

– Ну, кто меня надоумил? Собрались как-то ко мне мужики с нашего поселка. Я им прочел решение Пятнадцатого партсъезда о коллективизации. А потом и говорю: давайте, мужики, попробуем и мы создать колхоз. Конечно, кто хочет. Было нас человек пятнадцать. Одни сразу отказались, другие говорят – надо с бабами посоветоваться, а шесть человек тут же записались у меня за столом. Еще двое к нам примкнули, с бабами посоветовались. Значит, на восемь хозяйств у нас оказалось семь лошадей. Двое вступило безлошадных, а у меня было две лошади. Договорились – лошадей всех свести ко мне на скотный двор, а коров своих я переставил в конюшню. Вот и создали колхоз... Попросили председателя Гордеевского сельсовета Акимова, чтобы нарезал нам пахотные поля в одном массиве. Ну, от Гордеевской дороги к болоту он выделил нам, колхозу... И сенокосы нарезал близкие, за полверсты от деревни, к лесу. Стали семена собирать. Оказалось – я, да братья Синюхины, да Санек Мелехин семена сохранили. А у других колхозников семян не было – за зиму все съели. Делать нечего, пришлось мне за других вносить. Рожь и овес у меня были... А вот проса на две десятины не хватило. Пришлось и семянное просо мне покупать. Жена ездила за просом в Козлов.

– А что в результате вышло? – спросил председатель комиссии.

– Обождите, – нелюбезно оборвал его Миронов и продолжал: – Весной, значит, провели сев. Совместно. У меня была сеялка. И все яровые мы посеяли только сеялкой. А пары еще и прокультивировали. Кто культивировал да бороновал пары, а кто сенокосы расчищал, дрова рубил. Бабы пололи проса. То есть артельно дела пошли. А наступил сенокос – пришли к выводу: детей одних оставлять нельзя. Назначили домоседкой одну колхозницу Варвару Мелехину, снесли к ней детишек. А ей платили, как бы она ходила вместе с другими на сенокос или на жатву. Вот и результат появился. Первый год, то есть прошлый, был для нашего хозяйства успешный, мы получили с каждой десятины по сто пятнадцать пудов. И сеном себя обеспечили с избытком. В этом году в наш колхоз вступило еще два хозяйства.

– Вопросы имеются? – спросил председатель.

– Прошу! – Сенечка Зенин поднял руку и, получив разрешение, встал: – Вам были определены хлебные излишки. Почему вы их не сдали?

Миронов, переступив с ноги на ногу, оглянулся в зал, словно ища поддержки, и стал путано объяснять:

– Дело в том, что мы купили много инвентаря и двух лошадей. Всю выручку израсходовали.

– А налоги? – спросил председатель.

– Налоги полностью внесли. И хлебозаготовки выполнили одними из первых... Ну вот. Денег, значит, не было. А тут на общем собрании решили – купить мануфактуры, чтоб одеть колхозников во все одинаковое... Рязанское отделение Ивановтекстиль пошло нам навстречу – дало несколько кусков материала.

– А вы продали хлеб на базаре? – крикнул Сенечка.

– Значит, несколько кусков, – смущенно повторил Миронов. – Из одного куска красного сатина мы сшили колхозницам по платью и по красной косынке. А из черного материала – мужикам на брюки... Не знаю, что за материал. Ну, вроде «чертовой кожи». А еще из одного куска решили сшить детишкам парные костюмы, чтобы они выделялись чем-то среди других. Все ж таки колхозники.

– Ага, выделение за счет спекуляции! – крикнул опять Сенечка. – Хорош колхоз, ничего не скажешь.

В зале зашумели, а Миронов сказал:

– Я не спекулянт.

– Может, вы интересы государства выше собственных ставите? – спросил опять Сенечка. – Тогда поясните, почему вы государственные излишки пустили на женские наряды?

– Бабы ночью уговорили!

– Надышали... Гы-гык!

На красной шее Миронова веревками вздулись жилы. Он молчал.

Мария только теперь заметила в углу тесно сбившуюся, притихшую стайку женщин в красных платьях и в косыночках. Что-то резкое полоснуло ее по сердцу, и она крикнула, не помня себя:

– Прекратите издевательство!

Председатель забарабанил ладонью по столу.

– Товарищи, попрошу соблюдать спокойствие, – гася неожиданную вспышку, сказал он. – А вы, товарищ Миронов, свободны. Объявляется перерыв.

Все разом встали и двинулись на выход. Проходя мимо Марии, Сенечка выдавил сквозь поджатые губы:

– Поговорим в райкоме, товарищ Обухова.

– Нет! Нам с вами говорить не о чем.

## 11

Тихим воскресным вечером Мария с Варей приехали в Степанове. Еще солнце стояло высоко и с дальнего заречного бугра от белой колокольни, возвышающейся над мягкими куполами вязов и лип, доносился густой и вязкий вечерний благовест. Народ, одетый по-воскресному – бабы в белых платочках и в длинных темных юбках, мужики в картузах и в хорошо начищенных хромовых сапогах, – тянулся извилистыми тропами по открытому пологому взъему к церкви. При въезде в село из окон земской больницы – трех длинных деревянных корпусов под зеленой крышей – отрешенно и долго глядели на них больные в синих облезлых халатах и в белых колпаках. В больничном сквере паслись телята и свиньи, расхаживали куры. Сельская улица встретила их разноголосым собачьим лаем, кружением возле телеги шустрых босоногих ребятишек:

– Тетенька, дай на телеге прокатиться!

– Отойди прочь, ну! – отгоняла их кнутом от задка Варя. – В колесо попадешь –

ногу сломаешь.

Один из пареньков сделал ужасное лицо и схватился за голову:

– Тетенька, у тебя ось в колесе... Останови скорее!

– Стой, Маша, стой! С колесом что-то случилось, – испуганно крикнула Варя.

– Будет тебе, глупая, – обернулась та. – Над тобой же смеются.

– Не-е, тетенька... Правда, у вас ось в колесе...

– Вот я вам, мошенникам...

Бывшая ремесленная школа с красным двухэтажным учебным корпусом и приземистыми, длинными мастерскими стояла за селом на крутом берегу Петравки. Перед школой был широкий, заросший травой плац с высокой перекладиной, на которой висели два обрывка толстого каната и длинный шест, с турником и брусьями, с гигантскими шагами и с длинной коновязью возле самого палисадника. Мария привязала лошадь за коновязь, отпустила чересседельник, кинула травы. Варя сидела в тарантасе и растерянно глядела на пустынный плац, на запертую школу, на сиреневый палисадник. Нигде ни звука...

– Ты чего, передумала, что ли? – спросила Мария.

– Неужто опять обманул, подлец? – сказала Варя, передергивая нижней губой. – Он же обещал ждать вечером в школе.

– Может быть, где-то здесь? Надо поискать.

– Что он, иголка, искать его? – Варя, раздраженная, чуть не плача, спрыгнула с тарантаса.

Обошли все школьные подъезды – заперто, тихо, пустынно. Заглянули в мастерские, и там никого. Одно окно было занавешено газетами. Посмотрели с завалинки в верхнюю фрамугу – посреди комнаты стоял стол, на нем хлеб, колбаса, сыр, огурцы, бутылки вина и водки, на стульях в беспорядке висели рубашки, брюки, под койками валялись ботинки. А на койках, сваленные в кучи, лежали зеленые диагональные брюки и френчи с золотыми погонами. На кроватных спинках висели ременные портупеи... От этой загадочной комнаты, от незнакомых одежд, от запертой школы, от этой тишины, безлюдности веяло каким-то мистическим страхом.

– Что бы это значило? – спросила Варя.

– Не знаю... Вымерли все, что ли?

Они вышли на высокий каменистый берег Петравки. Далеко внизу кто-то плескался в широком темном омуте, доносились мужские голоса.

– Это они! – воспрянула Варя и заголосила, приставив руки трубочкой к губам: – Коля-а-а!

– А-а-а! – отозвалось эхо от дальнего пустынного берега. Потом снизу донесся голос Бабосова:

– Ого-го-о-о! Варюха, давай сюда! Кидайся в омут!

Варя, скинув туфельки, в одних носочках побежала вниз по каменистым уступам.

– Куда ты, сумасшедшая? – крикнула Мария. – Шею сломишь!

Варя и не оглянулась, неудержимо и быстро скатывалась все ниже и ниже, словно колобок. Белая кофта-разлетайка трепетала на ней, как на веревке в ветреный день. А от омута, из тальниковых зарослей вышел ей навстречу Бабосов в одних трусах.

Мария обошла обрывистый бугор по дальней тропинке и спустилась к речке. Возле тальниковой стенки, кроме Бабосова и Вари, она встретила Успенского и едва знакомого ей Костю Герасимова, степановского учителя, секретаря партийной ячейки. Это был носатый, здоровенный малый с красивым, но рябоватым лицом. Они с

Успенским, оба сухие и жилистые, боролись на руках, подпрыгивая и кривляясь, точно дикари в пляске. Бабосов с Варей отошли за куст и, занавесившись ради смеха полотенцем, беззастенчиво целовались.

– Здорово, белогвардейцы! – крикнула, подходя, Мария.

– Чш-ш! – Успенский приставил палец к губам и оглянулся. – Откуда тебе известно?

Бабосов испуганно отпрянул от Вари и обалдело уставился на Марию.

– Кто вам сказал?

Растерянно, с недоумением на лице окаменел и Костя.

– Вы чего? – удивилась Мария, сама не понимая, в чем дело.

– Кто тебе сказал про белогвардейцев? – спросил опять Успенский.

– Никто не говорил.

– Откуда же ты знаешь про нашу операцию?

– Какую операцию?

– Ой, ребята, значит, вы что-то задумали? – сказала Варя. – А мы видели в вашей комнате офицерские мундиры.

– И только? – Бабосов вдруг рассмеялся и ткнул Успенского в бок. – Ну что, испугался, штабс-капитан?

– Может, все-таки поясните? – требовательно и с подозрением спросила Мария.

– Это дело начальства. Вон, пускай секретарь отчитывается, – сказал Успенский, кивая на Герасимова.

– Обыкновенная деловая операция, Мария Васильевна, – сказал Герасимов. – У нас на неделе предстоит чистка. Вот мы и решили провести ее за сегодняшнюю ночь.

– Каким образом?

– Маленькая служебная инсценировка... Я согласовал на бюро. Переодеваемся в офицерскую форму, делаем ночной обход и собираем всех коммунистов в школьную кладовую, под видом ареста. То есть инсценируем переворот Советской власти. Налет отряда Мамонтова. И все коммунисты искренно признаются – кто за Советскую власть, кто – против. Инсценировка моя...

– А здесь что-то есть! – хлопнул себя по лбу Бабосов.

– Коля, это ж гениально! – захлопала Варя в ладоши. – Клянусь, это настоящая чистка верности.

– И тебя посажу в кладовую, чтобы проверить – верна ты мне или нет?

– Остолоп!

– Ну, чего молчишь? – спросил Успенский Марию. – Не нравится?

– Соображаю...

– Медленно, как всегда.

– А ты любишь быстроту и натиск?

– По крайней мере, не бегаю по полям, как коза.

Они еще не-встречались с того вечера, и Успенский заметно дулся на нее.

– Ну, чего ж мы стоим? – сказал Коля. – Приехали гости, значит, угощать надо. – Он поглядел на карманные часы, лежавшие на лопухе: – Ого! Скоро мой актив придет. Пошли!

Мария с Успенским поотстали.

– Ты как здесь очутилась? – спросил он.

– Из Гордеева Варю завезла. В командировку ездила.

– А я думал... – он запнулся.

– К тебе на свидание?

– Хотелось бы, – он поймал ее за руку повыше локтя.

– Ну-ну, Митя! – она кивнула на идущих впереди и отняла руку.

– Всего-то ты боишься, – вздохнул притворно.

– Где вы достали офицерскую форму?

– В клубе. На той неделе спектакль играли, кажется, пугасовские железнодорожники. Реквизит оставили пока. Вот Бабосов и сообразил. Давайте, говорит, неподдельную чистку проведем.

– А вам по шее не надают?

– Мне-то за что? Я беспартийный. Это Костя с товарищами. Говорят – лучше не придумаешь.

За столом, выпив вина да водки, вперебой стали рассказывать о школе.

– Я здесь вроде менялы – станки на парты обмениваю, – сказал Успенский.

– Ванька говорит – тебя завучем утвердят, – сказал Костя.

– Что за Ванька? – спросила Мария.

– О, да ты еще ничего не знаешь, – обрадовался Бабосов. – Кто директором нашим будет? А?

– Ну, кто?

– Ванька Козел.

– Леонард Давыдыч? – подхватила Варя.

– Ен самый!

– Боже мой! Да у него не то что диплома, свидетельства нет, – сказала Мария.

– Зато выдвигенец. А сие есть высшая аттестация! – поднял палец кверху Бабосов и, выпучив глаза, гаркнул: – А вы готовы выдвинуть из своей среды рабочих от станка в госаппарат?

Варя засмеялась:

– Коля, ну какие среди нас рабочие от станка?

– Неважно! Главное, чтоб была беспартийная прослойка.

– А химиком знаете кто будет? – спросил Костя. И сам же отвечал: – Самодуровский Ашдвас.

– И Петька Рыжий с нами!

– И Богомаз!

– И князь Львов-Подтяжкин.

– А физиком кто?

– Из Москвы едет... Какой-то штрафник.

– Ого-го! – заржал Бабосов. – Что стоит в графе против его фамилии? А там стоит: выгнан за пьянку, грубость и... гонку самогона.

– Откуда он изгнан? – спросила Варя.

– Из университета, – ответил Бабосов.

– Из университета за гонку самогона? Чего ты мелешь? – сказала Мария.

– А что, не нравится? – Бабосов опять вытаращил глаза. – Бейте саботаж организованным контролем масс!

– Нет, ты неподражаем, – засмеялась Мария. – А я было уши развесила – что это за самогонщик к вам едет.

– Его общественная физиономия – за четыре года работы не был ни разу на собрании, – кривлялся Бабосов. – Его политическая активность?.. Товарищи, какая может быть активность у протчего элемента? Только паразитическая. Значит,

вычистить паразита с рабочего тела нашей науки.

– Извините, на педагогов чистка не объявлена, – сказал в тон ему Костя. – Давайте не искажать генеральную линию.

– Но есть лозунг: проверяй безработных умственного и конторского труда! Стало быть, мы его проверяем по этой линии – он пока еще безработный. Правильно я говорю? – спросил Бабосов.

– Правильно! – гаркнули все хором.

– А теперь выпьем за чистоту наших рядов и неуклонность направления! – произнес торжественно Бабосов.

Все выпили. Костя, тыча вилкой в нарезанные огурцы, сказал, качая головой:

– Ну и брехун ты, Коля.

В дверь без стука вошли два мужика и, увидев за столом женщин, замешкались у порога.

– В чем дело? – поднял голову Бабосов.

– Может быть, мы не ко времени?

– Нет, в самый раз. Проходите, ребята, – сказал Костя, вставая, и представил вошедших: – Это мои активисты: Василий Семиглазов, – указал на черноусого, черноглазого молодца в мятом, сереньком пиджачке, – а это Филя Перевощиков.

Второй был коренаст и насуспен, – густые рыжие волосы росли у него почти от самых бровей. Бабосов встал, поздоровался с ними первым и неожиданно серьезно спросил:

– А вы сдали свои облигации на хранение в сберкассу по призыву сормовских рабочих?

Вошедшие активисты опешили – высокий черноусый молодец извинительно улыбался, а второй, рыжий, сердито засопел и поглядел с вызовом на Герасимова: что это, мол, за катавасия?

– Перестань, Николай! – строго сказал Герасимов. – Садитесь, ребята. И потом, по призыву не сормовских рабочих, а товарища Баумана.

– Виноват. А вообще жалею, что этот патриотический почин сделали не мои земляки-путиловцы.

Активисты сели.

– Так, – сказал Бабосов, глядя на них. – Вы что пьете?

– Что подадут, – ответил Семиглазов и улыбнулся на этот раз заискивающе.

– Я пью только чистое белое, – ответил хмуро Перевощиков.

Бабосов налил им по стопке водки. Те было взяли их в руки.

– Одну минуту! – осадил их Бабосов. – Вы слесари, браковщики, самоходчики?

– Чего? – спросили разом оба.

– Перестань дурачиться, Николай! – сказал Костя.

– Извини, мой друг, я с ними отправляюсь, можно сказать, на боевое задание...

Так должен я знать, что за братья по цеху идут со мной?

– Дак мы крестьяне, – ответил Семиглазов.

– Из соседнего села, – подтвердил Перевощиков.

– А-а, тогда выпьем за нерушимый союз!

Мало-помалу все втянулись в эту словесную чехарду, которую неумоимо изобретательно вел Бабосов.

– А мы еще не выпили за решительную перестройку культработы!

– Урра! Пьем за усиление пролетарского ядра!

– Почему только пролетарского? А где ядро крестьянское?

– Товарищи, товарищи! Чего нам считаться? Пьем вообще за ядро. Круглое, свинцовое... Бах!

– И мимо...

– А я пью только в яблочко...

– Под ложечку то есть. Уф! Дых запирает.

В сумерках стали разбирать офицерское обмундирование. А Бабосов произнес вдохновенную речь:

– Друзья и товарищи! Любое политическое мероприятие можно оказенить и низвести до скучной публичной процедуры, где на глазах у массы проводится формальный отчет. Вы же пошли по иному пути: на заседании своего бюро вы решили подойти к вопросу чистки творчески: вы избрали деятельную, смелую и необыкновенно оригинальную подготовку в форме инсценировки антисоветского налета. Этот вдохновенный прием поможет выявить истинное лицо, стойкость и преданность всех коммунистов вашей ячейки. Со своей стороны мы, как приглашенные вами специалисты по ненавистной офицерской касте, приложим все силы и старания к тому, чтобы приблизить эту операцию к неукоснительной реальности. Да не ускользнет от вашего бдительного взора ни один лазутчик или малодушный приспособленец, пролезший обманом в боевые ряды пролетарского авангарда. За дело, товарищи!

Мужчины разобрали обмундирование и вышли в сени переодеваться.

– А что? – сказала Варя возбужденно. – А ведь, ей же богу, неплохо придумано. Решили на бюро... Все свои люди. По крайней мере, откровение будет полное.

Теперь и Марии эта затея стала казаться не такой уж нелепой. Она вспомнила вчерашнюю чистку в Веретье, хамскую Сенечкину демагогию, растерянного председателя колхоза, пристыженных колхозниц в красных сарафанах и подумала: здесь, по крайней мере, если кто и струсит, то узнают только свои. На людях краснеть не придется. Два-три учителя что и увидят – не в счет.

Через несколько минут вернулись в комнату все преображенные до неузнаваемости, все будто выросли на вершок, подтянулись, поздоровели и одновременно вроде старше стали.

– Ой, Костя, какой ты красивый! – ахнула Варя. – Прямо настоящий артист.

– А я? – спросил Бабосов.

– У тебя ворот, как хомут, – ответила Варя. – А ты, Дмитрий Иванович, просто фраер.

– Настоящая контра с бородой и вообще патентованный эксплуататор, – засмеялась Мария.

– Но, но! Полегче на поворотах!

– Ребята, это что ж выходит? Я главный организатор, и в чине всего лишь штабс-капитана? Не выйдет. Дайте мне подполковничьи погоны! – Бабосов потянулся к подоконнику за погонами с большой звездой.

– Сними с них звезды – будешь полковником, – усмехнулся Успенский.

– А мне, пожалуй, усы наклеить надо. Ведь меня все знают, – сказал Костя.

– Вон возьми в коробке, – указал на койку Бабосов. – Хоть бороду наклеи.

– Перестань! – остановил его Успенский. – А то тебя в усах не узнают? Ты будешь завербованным белой разведкой, понял?

– Правильно! – подхватил Бабосов и отстегнул у активистов офицерские погоны:



– Вы тоже завербованные. Но вам еще рано офицерские погоны, вот вам солдатские, – сунул из коробки им зеленые погоны.

– Погоди, а это что за кожанка? – спросил Костя, поднимая с койки кожаную куртку.

– Комиссарши, – ответил Бабосов. – Кажется, Любки Яровой.

– Дай сюда! – схватил ее Успенский и к столу: – Маша, ну-ка встань!

Мария встала, тот натянул на нее кожанку, застегнул на все пуговицы. Она оказалась впору.

– Мать честная! Дак ведь это ж Маруся-атаманша! – ахнул Бабосов. – Айда с нами!

– А я? – надула губки Варя. – Одна я здесь не останусь...

– Ладно, пойдешь с нами и ты, – согласился Бабосов. – Будешь держаться поодаль, случайного прохожего изображать.

Зажгли два фонаря «Летучая мышь». Проверили «оружие». Настоящий наган был только один, у Кости Герасимова, остальные бутафорские. Разбились на две партии: Бабосов с двумя активистами и с Варей пошли на заречную сторону.

– Смотрите, не заберите там членов бюро! – предупредил Костя активистов. – Они знают о нашей затее. Всю игру испортите.

– Ладно, командовать буду я, – сказал Бабосов.

– Значит, взять там четырех человек, привести сюда, запереть в кладовую, – повторил задание Костя. – Знаете, где они живут?

– Знаем, – сказали активисты.

– Ну, пошли... – Бабосов запел: – Из Франции два гренадера...

– Тише ты ори, гренадер! – одернул его Костя.

– А может, у меня прилив энтузиазма?

– Вот барбос!..

На улице, освещивая во тьме фонарями «летучая мышь», разошлись в разные стороны: Бабосов со своей группой нырнул с берега вниз, к реке, а Герасимов, Успенский и Мария прошли вдоль деревенского порядка по направлению к больнице.

– Начнем с того конца, – сказал Костя, – чтобы не таскать с собой лишних людей.

Первый, к кому они зашли, был сельский уполномоченный по заготовкам Федот Бузаев, по прозвищу «Килограмм».

– Кто там? – отозвалась на стук из сеней хозяйка.

– Васюта, открывай! Герасимов.

– Что вас черти по ночам носят? – заворчала хозяйка. – Вот баламуты, прости господи. А то за день не успеете наговориться.

Она первой вошла в избу, не подозревая ничего дурного; за ней гуськом – конвойные. На пороге Герасимов споткнулся:

– Что у вас за порог? Прямо какой-то лошадиный барьер, – сказал недовольно.

– Вот, заметил родимый... А то ты не переступал его ни разу, да? – отозвалась хозяйка. – Пить надо поменьше. Залил глаза-то. Вот тебе и барьер.

– Но-но, поосторожней выражайся!

Герасимов, пригибая голову, – над порогом были полаты – осветил на кровать, где из-под лоскутного одеяла высывалась косматая голова Килограмма.

– Федот, вставай! – сказал Костя. – Собирайся!

– Чего? – Федот разинул пасть и звучно зевнул.

– С репой поехали. Говорят, собирайся! Кончилась Советская власть. Переворот.

Ну?

– А! – Федот тревожно вскочил, скинув с груди одеяло, и захлопал глазами: – Какой переворот, товарищ Герасимов?

– Я тебе не товарищ, а господин. Офицеры пришли, отряд Мамонтова. Видишь, полковник! – указал на Успенского.

– Вижу, вижу, – согласно замотал головой Федот. – Я сейчас, сейчас... А ты, значит, этим самым, международным агентом был?

– Давай пошевеливайся! Не то я тебе покажу агента кулаком по сопатке.

– Сей минут, – заторопился Федот.

– Куда ж ты его от малых детей? – всхлипнула хозяйка.

– Не хнычь, – сказал Герасимов. – Никуда он не денется. Проверят его и отпустят.

– Насчет какой проверки то есть? – настороженно застыл Федот, прикрываясь штанами.

– Ты уполномоченный? – спросил Герасимов.

– Ну!

– Излишки выколачивал? А небось свой-то хлеб припрятал.

– Дак что, и новая власть требует излишки? – спросил Федот. – Тогда я сейчас, все вам покажу... И в амбаре, и в чулане. Берите, что хотите, а меня только оставьте в покое.

– Собирайся! Ты коммунист? – спросил Костя.

– Ну какой я коммунист, товарищ Герасимов... Одна дурость моя, и больше ничего.

– Пошли, пошли, – подталкивал его на выход Герасимов. – Там разберемся.

– А ты не вздумай идти по дворам, – обернулся Успенский к хозяйке. – Солдаты сразу арестуют.

– Что же мне делать с малыми детьми? – опять всхлипнула хозяйка.

– Васюта, ты мне веришь или нет? – участливо положил ей на плечо руку Герасимов. – Это ж проверка, понятно? Допрос снимут и отпустят его. Ну кому нужен твой Килограмм? Не буди детей! К стаду вернется.

– Да, да... ты не бойсь, – говорил бодро Федот. – Я ж не то чтоб с целью обогащения старался. Брал по малости. Господа офицеры разберутся. Они народ образованный, не то что мы, дураки.

Когда они вышли из избы, Мария потянула за рукав Успенского, давая знак ему остановиться.

– Иди, мы сейчас догоним, – сказала она Герасимову, и когда тот с Килограммом отделился, добавила: – В избе брать нельзя – детей перепугаем... Надо вызывать на улицу.

– Это верно... Шуму меньше, – согласился Успенский.

Очередного члена сельской ячейки вызывали на двор.

– Матвей, выйди на минуту! – упрашивал его Костя.

– Входи в избу, – слышалось из сеней.

– Нельзя... Партийная тайна.

– Тогда говори через дверь.

– Да ты что, очумел? О партийных делах орать на всю улицу?

– Ладно, сейчас выйду, – сдавался Матвей.

Таким манером вызвали и еще двух человек. На улице им освещали фонарем лицо и говорили строго:

– Ты арестован!

Потом подносили тот же фонарь к Успенскому – высокая фуражка с кокардой, золотые погоны, португеза и борода сражали беднягу, как удар грома; понуря голову, он устало опускал плечи и покорно шел за конвоем.

Привели к школьной кладовой, отперли железную дверь, скомандовали:

– Проходи по одному!

– Надолго нас?

– Утром вызовут... Живей, живей!

Лязгнула дверь, щелкнул нутряной замок:

– Счастливо ночевать!

Из кладовой что-то вполголоса проворчали.

– Поговорите у меня! – прикрикнул Костя.

И, отойдя от кладовой, зашептал Успенскому и Марии:

– Вот вам ключи от школы. Возьмите вино, что там осталось, и давайте в канцелярию. Вызывать будем туда. Кто экзамен выдержит, тому благодарность и стопку водки. А кто опозорится, тому порицание. А Килограмма увольнять надо. Вот проходимец.

– А ты куда? – спросил Успенский.

– Побегу за реку – что-то тех не слышать. Чего они там валандаются? – Костя взял фонарь и помотал вдоль берега.

– Ну, атаманша, что скажешь? – спросил Успенский, беря за руки Марию и притягивая к себе.

– Никогда не думала, что так просто и уныло можно хватать людей, – сказала она с легкой дрожью в голосе.

– Ну, ну, не заигрывайся!

Он поцеловал ее в губы и, сняв фуражку, зарылся лицом в ее волосы.

– Митя, пойдем отсюда, – сказала она тихо. – Еще заметят из кладовой.

– Пошли!

Они шли быстро, втайне друг от друга думая, что идут в ту комнату только затем, чтобы взять вино и выйти на волю, на речной берег или в просторные, голые школьные классы, бродить бесцельно, бездумно взявшись за руки.

Когда он открыл дверь в комнату, пропустил ее вперед, она испуганно сказала:

– Как здесь темно! – и отшатнулась к нему.

Он одной рукой обнял ее, а другой, нащупав на дверном косяке крючок, накинул его в пробой.

– Что ты? Зачем? – спросила она шепотом, пытаясь найти рукой крючок и отпереть дверь.

– Не надо, Маша, не надо, милая! – умолял он ее и, схватив ее руку, стал целовать запястье, потом шею, волосы, щеки, приговаривая: – Я не могу без тебя, не могу... Милая.

Их губы встретились, и Машина рука повисла вдоль бедра плетью. Услышав, как он суетливо, путаясь, расстегивал пуговицы на куртке, она воспрянула:

– Не надо! Слышишь? Не надо...

Сопротивлялась упорно и долго, пока он не выбился из сил, не отошел от нее, сердито отвернувшись к окну.

Она гладила его по волосам, как маленького:

– Смешной и глупый...

- Ты меня совсем не любишь, – глухо отозвался он. – Или я не понимаю тебя.
- Я сама лягу. Только ты не трогай меня. Слышишь? Не трогай.
- Как хочешь...

Их разбудил частый и громкий стук в дверь. Успенский, очнувшись в серой предутренней мгле, увидел кожаную куртку и офицерский френч, валявшийся на полу, и дальше к окну на стуле целый ворох белого белья. Только потом он заметил спящую рядом с ним Марию. В дверь снова настойчиво постучали. Маша испуганно воспрянула. Успенский показал ей палец: «Чш-ш!» Потом спросил:

- Кто там?
- Дмитрий, открой! – крикнул Костя.
- Не могу... В чем дело?
- Ну так выйди скорее! Тревога.

Успенский встал с кровати и в одних трусах вышел в сени.

Через минуту он вернулся:

- Маша, вставай! Одевайся поскорее... У этого балбеса, у Бабосова, один человек сбежал.
- Какой человек? – не поняла Мария.
- Ну, арестованный. Вернее, его еще не успели арестовать. Он сиганул с кровати в окно. И в поле убежал в одних подштанниках. Кабы в район не утопал. Вот будет потеха...

На другой день, часов в десять поутру, Мария Обухова сидела в кабинете Тяпина, понуро свесив голову. Митрофан, засунув руки в карманы, ходил размашисто по кабинету, насупленно поглядывал своими круглыми медвежьими глазками себе под ноги. Его большая голова словно оцетинилась вздыбленным бобриком темных волос.

– Не понимаю, как можно шастать ночью по домам в офицерских погонах и таскать в каталажку людей. Да еще кого? Коммунистов! Не понимаю... – останавливался он перед Марией и крутил головой. – Ты хоть скажи толком, кому пришла на ум такая идея?

- На бюро ячейки обсуждали. Приняли сообща.
- По пьянке, что ли?
- Когда обсуждали, были трезвые.
- Не понимаю... Не понимаю!

– А чего тут не понимать, Митрофан Ефимович? Каждый день им звонят, спрашивают, требуют: вы готовитесь к чистке? Каким образом?! А вот. Письма печатают к женам да к родителям – кто хочет дом построить, кто перину купить.

– Эка беда, письма напечатали!

– Что значит беда? У нас есть закон, охраняющий тайну переписки.

– Ежели ты коммунист, у тебя не должно быть секретов от партии.

– Вот они так и рассуждали на бюро. Никаких секретов быть не должно. Раз идет чистка, выкладывай все наружу.

– А зачем прибегать к хитрости?

– Дак кто ж тебе так расскажет, что у него за душой?

Тяпин почесал затылок, поглядел на Марию и усмехнулся:

- Вообще-то, резон, – он сел за стол, плутовато прищурил один глаз и спросил: – А много у вас расколосось?
- В нашей группе один... сельский уполномоченный. А вторую группу и собрать

не успели: арестованный сбежал. Они его в поле до утра искали.

Тяпин опять закрутил головой, засмеялся:

– Это ж надо! В одних подштанниках прибежал в Сергачево, к милиционеру Симе и стучит в окно: вставай, говорит, Советская власть кончилась, Колчак пришел! Какой Колчак? – спрашивает Сима. – Тихановский, что ли, Семен-хромой? Нет, говорит, настоящий, который с гражданской войны. Дурак, его ж расстреляли!

– Это ваше счастье, что Возвышаев в округе. Он бы вам показал Колчака с Деникиным, – сказал Тяпин иным тоном. – Пospelов шуметь не любит. Но Косте Герасимову это даром не пройдет. От ячейки его отстранят.

– А ему что. Он учитель.

– Ну, не скажи. Небось закатают строгача в личное дело – и в учителях покрутятся. Ладно, перейдем к делу. Что там у вас в Гордееве с Зениным приключилось?

– Он уже успел наябедничать?

– Что значит наябедничать? Он обязан доложить.

– Подлец он и демагог!

– Ну, меня ваши личные отношения не интересуют. Скажи, как дела с излишками? И сколько хозяйств выявили для индивидуального обложения?

– Тут в двух словах не скажешь.

– Скажи в трех.

– Таких хозяйств, чтобы подходили под индивидуальное обложение, в Гордееве нет.

– Так... Скажи проще – кулаков в Гордееве нет. Значит, ты разделяешь мнение тамошнего актива? На каком основании?

– Я говорила с председателем сельсовета Акимовым. На другой день, то есть в воскресенье, собирали актив. Обсуждали каждое хозяйство в отдельности. И потом, я сама знаю эти хозяйства... Лично.

– Я, может быть, не хуже твоего знаю их. Ну и что?

– Как что? Я все-таки отвечаю за свои слова.

– Кому нужен этот ответ? Ты получила задание? От райкома! Я тебя предупредил: бюро вынесло постановление – выявить кулаков в Гордееве. Поручило эту задачу нам, райкому комсомола. Выявить! Понятно? А ты мне об чем толкуешь?

– Ну а если их нет?

Тяпин навалился грудью на стол:

– Разговоры, что у нас не стало кулаков, – это попытка замазать классовую борьбу в деревне. Тебе, инструктору райкома, заворгу, не к лицу такие разговоры.

– Я не отрицаю наличия кулаков вообще в деревне. Я говорю только, что в Гордееве их нет.

– Так что ж прикажешь, за счет Гордеева довыявлять кулаков где-нибудь в Желудевке или в Тиханове? Ты что, маленькая? Есть определенный процент, установленный не нами... На ноябрьском Пленуме сказано – обкладывать налогом в индивидуальном порядке не менее двух и не более трех процентов всех хозяйств. Ясно и понятно. Рассуждать здесь нечего.

– Вот именно, не более трех процентов! – воскликнула Мария. – Это же специально, чтобы меру знали. Не то дай волю какому-нибудь Сенечке или Возвышаеву, так они тебе поголовно всех обложат.

– Ну, в чем дело? Давай выявлять эти два процента.

– Два процента это ж дается на округ, на район в целом. При чем же тут каждая деревня? В иной, может, пять процентов кулаков, а в другой ноль целых пять десятых.

– А ты об этом скажи где-нибудь у нас, на тихановском сходе. На вас, мол, мужики, пять процентов, а на гордеевских ноль целых хрен десятых.

– Митрофан Ефимович!

– Слушай, давай конкретно. У них же там этот самый подрядчик на рысаке...

– Звонцев, что ли? Он в селькове теперь работает. Хозяйство у него середняцкое.

– А мельники?

– И у тех по лошади и по корове, а мельница подходным налогом обложена.

– Да ты что, не понимаешь? Кулака надо обложить в особом порядке, с учетом дохода от тех источников, которые у середняка не обкладываются.

– Да нет же кулаков у них.

– Ну черт с ними! Пусть назовут их богатой частью зажиточного слоя. Какая разница?

– А тогда зачем было меня посылать? Вызывайте сюда Акимова и прикажите ему – столько-то хозяйств выделить на индивидуальное обложение.

Тяпин покривился:

– Ты чего, смеешься, что ли? Вся налоговая политика так построена, что она представляет широчайшие права местным органам, то есть деревенскому активу, бедноте, сельсовету. А если райком начнет устанавливать налоги, это будет извращением. За такое дело нам по шее надают.

– Ну, вот и договорились. Я, как представитель райкома, утверждаю, что гордеевский актив поступил правильно.

– А то тебя за этим послали, – проворчал Тяпин. – Что там с излишками? Зенин говорит, что он нашел излишки, но якобы вы с Акимовым отказались составлять акт.

– Я работник райкома, а не агент уголовного розыска, – сказала Мария с вызовом. – Я не стану лазить ни в подполы, ни в подпечники и выгребать оттуда хлеб.

– Это, Маша, называется чистоплюйством. Извини, но тут я тебя не понимаю.

– А ты сам полез бы в подпол?

– Если прикажут...

– Кто прикажет? Зенин?

– При чем тут Зенин?

– При том. Эти оборотистые Сенечки, как шишиги, снуют у нас за спиной и подталкивают нас к обрыву. Сунься туда в подпечник. А если что случится, кто будет отвечать? Зенин? Нет, в ответе будет руководитель райкома, а Сенечка за нашей спиной руки умоет.

Тяпин забарабанил по столу пальцами:

– Н-да... Между прочим, он на тебя докладную подал. Пишет, что работала там на стихию, что прикрывала от критики растратчика колхозного хлеба.

– На клевету этого типа готова ответить в любом месте.

– Придется на бюро разбирать. – Тяпин потер лоб и спросил без видимой связи: – Как там Андрей Иванович поживает?

– В субботу луга собирались делить. Я еще и дома-то не была.

– Кобыла не нашлась?

– Пока нет.

Тяпин состоял в родственной связи с Бородиными; брат Андрея Ивановича, Максим, был женат на тетке Тяпина, на Митревне, по-уличному прозванной

Сметаной. Отец Тяпина погиб в мировую войну, а вырастил Митрофана Максим Иванович. Он увез его на Волгу, отдал в школу юнг с механическим уклоном, а потом взял к себе на пароход «Гоголь», где работал боцманом. На этом пароходе начинал свой трудовой путь с кочегара и Митрофан Тяпин. В зимний отпуск двадцать седьмого года Тяпин был избран в Желудевский волостной комитет как представитель рабочего класса, то есть выдвиженец. С той поры и потянулась его руководящая линия. Ему в значительной мере обязана была Мария своим переводом в райком.

– Ну что ж, Маша, ступай домой, отдыхай... – отпустил ее наконец Тяпин. – Прямо скажу, огорчила ты меня на этот раз.

– У меня иного выхода не было.

– Разберемся.

Прежде чем идти домой, Мария решила заглянуть на работу к Зинке и рассказать ей о Сенечке. Зинка работала в коопторге продавцом. Время близилось к обеду. Когда Мария подошла к магазину, зеленая, окованная жестью дверь закрылась перед ее носом. Она заглянула в зарешеченное окно. В магазине еще толпились несколько человек, Зинка стояла за прилавком. Пока Мария заглядывала в окно, дверь отворилась, вышло три женщины, и снова невидимая рука закрыла дверь перед носом Марии.

– В чем дело? – крикнула она в притвор. – Пустите меня. Слышите? Мне нужен продавец.

– Закрыто на обед, – ответил из-за двери голос Сенечки.

– Мерзавец!

– Поосторожней выражайтесь.

Мария решила войти в магазин со двора, в складскую дверь. Но и эта дверь была заперта. Она долго и настойчиво стучала в нее кулаком. Наконец изнутри спросил спокойный и насмешливый голос Сенечки:

– Кого надо?

– Негодяй!

Мария бегом обогнула здание и вновь заглянула в окно. Зинка все еще стояла за прилавком, но народу уже не было. Мария сильно застучала в переплет. Зинка увидела ее, сделала удивленное лицо и побежала к выходной двери. Наконец-то массивная дверь со скрежетом распахнулась перед Марией. Она вошла с бледным от злости лицом и, оттолкнув рукой Зинку, с порога кинулась к Сенечке. Он стоял руки за спину и как ни в чем не бывало поглядывал в окно.

– Жалкий трус и доносчик! Я тебя презираю, как недостойного интригана, – крикнула, почти задыхаясь от ярости.

– Что случилось, Маша? В чем дело? – испуганно спросила Зинка.

– Ты не меня спрашивай. Ты вон кого спроси!.. Жениха своего.

Сенечка по-прежнему поглядывал в окно, кривя в насмешке свои тонкие бесцветные губы.

– Семен, что произошло?

– Старшая сестра гневается, что я не служу ей на задних лапах, а имею собственное мнение.

– Мнение, которое подшивают в дело, не собственное, а подложное.

– Моя комсомольская совесть...

– Велит тебе писать доносы? – перебила его Мария.

– Да что с вами, в конце концов? Может, поясните? – теряя терпение, крикнула

Зинка.

– Выставь его за дверь! Мне надо поговорить с тобой, – сказала Мария.

– Маша! – Зинка умоляюще смотрела на нее, беспомощно опустив руки.

– Не трудитесь понапрасну, Мария Васильевна, – сказал Сенечка. – Я отсюда никуда без Зины не пойду.

– Не рано ли распоряжаешься ею? А ты чего молчишь, язык отнялся? – набросилась Мария на Зинку. – А может быть, ты с ним заодно? Спелись! Пойдешь с ним по амбарам шарить?

У Зинки задрожали губы, и редкие, как горошины, слезы покатались по щекам.

– За что вы его ненавидите? – всхлипнула она. – И Андрей Иванович, и ты, и Федька Маклак...

– За то, что он аферист... Он хуже Лысого, хуже Ваньки Жадова. Те хоть грабят по ночам. А этот днем войдет и без ножа зарежет.

– Вот как вас взвинтила моя непримиримость в идеях классовой борьбы.

– Классовой борьбы? Не ври! У тебя только одна идея – как бы погреть руки на чужом горе.

– Маша, так нельзя. Он ведь живой человек. Он одинокий...

– Может, его пожалеть надо? – усмехнулась Мария. – Ну, жалея. Ты у нас добрая... Только смотри, кабы он не укусил тебя.

– Я... я люблю его, – Зинка заплакала навзрыд и уткнулась Сенечке в плечо.

– Ну что, Мария Васильевна, убедились? Ваш старорежимный домострой не действует. Времена не те. – Сенечка глядел снисходительно и с выражением превосходства.

– Можешь утешать его, где угодно и сколько угодно. Меня это больше не касается. Но имей в виду: в нашем доме чтобы ноги его не было. – Мария откинула железный крюк и вышла из магазина.

Дома Мария застала Васю Белоногого и Зиновия Тимофеевича Кадыкова. Гости сидели в горнице за столом. На столе шумел самовар.

– А, сестричка-лисичка! – приветствовал ее Белоногий. – Ну, какого серого бирюка из лесу привела да приручила?

– И волков боюсь, и в лес не хожу, – отвечала Мария, здороваясь.

– Что так? Вроде бы Обуховы не из робкого десятка? – шумел Вася.

– Она у нас такая лиса, что к ней не токмо что волки, медведи прут на поклон, – сказала Надежда с оттенком гордости. – Отбою от них нет. А ты – в лес идти?

– Надя! – вспыхнула Мария. – Чего ты городишь?

– Ну, ну, застыдилась. Тоже мне – девка красная. Активист, называется, – проворчала Надежда. – Садись к столу. Проголодалась, поди.

Мария села рядом с Кадыковым. Тот чинно поздоровался за руку. На столе перед ним лежал раскрытый блокнот и карандаш.

– Маша, давай на мою сторону! – позвал ее Андрей Иванович. – Зиновию Тимофеевичу кое-что записать надо.

– Пожалуйста, пожалуйста! – Мария пересела.

– У нас тут беда стряслась, – сказала Надежда, пододвигая ей чашку и наливая чай. – Вчера вечером в Волчьем овраге свистуновского мужика убили. Ты, может, его знаешь? Он ветеринаром работал. Мы еще в двадцать третьем годе сватали у него старшую дочь за нашего Матвея.



– Не помню, – сказала Мария.

– Да где тебе помнить? Ты еще в гимназии училась. Красивая девка была.

– Кто, Маша? – усмехнулся Белоногий.

– Какая Маша! Дочь ветеринара.

– Что ж вы ее не сосватали?

– С таким женихом не больно развернешься, – сказала Надежда. – Вот тебе, собралась ехать на смотрины, свататься... А он и заявился в сапогах, в свитке, и кушаком подпоясан. Как извозчик. Ты куда, говорю, собрался – в извоз или на смотрины? А он мне – попа видно и в рогоже. Ну да, попа видно в рогоже, а дурака по роже. С той поры мы с ним и познакомились.

– С кем, с попом? – спросил Белоногий.

– С каким попом! С ветеринаром. – Надежда обернулась к Марии: – С нас тут допрос сымают.

– Ну, какой это допрос? – смутился Кадыков.

– Нет, нет, все правильно. Ты пиши, – ободрила его Надежда и опять Марии: – Я уж им рассказывала. Идем мы вчера из Бочагов. К нашим в гости ходили. Как раз к Брюхатову полю подходим. Не то чтоб сумерки, но солнце уже село. Андрей, говорю, давай прибавим шагу. Корова теперь ревет недоеная. Марии нет, а Зинка и за сиську путем ухватить не умеет. Пойдем скорее! Вот тебе – хлоп! – от оврага. Вроде бы кто тесом об тесо ударил. Андрей говорит, это выстрел, а я ему – какой выстрел? Пастух плетью хлопнул. Что теперь за пастух, говорит он. Стадо давно уж пустили. Так вот идем, рассуждаем. Подошли к оврагу. Смотрим – внизу, обочь тропинки, человек лежит. Ну, думаю, нализался. Еще Андрею сказала: вот она, ваша выпивка, до чего доводит. Ну ладно, спускаемся вниз, глядим... Да это же ветеринар убитый! Лежит лицом кверху, глаза закрыты, а из пробитого виска еще кровь пульсирует. Андрей, может, он еще живой? Тот взял его руку, пульс пощупал. Нет, говорит, мертвый.

– Кто же его застрелил? Что за мерзавцы? – спросила Мария у Кадыкова.

Тот только руками развел.

– Распутываем.

– Я думаю, здесь работает одна и та же рука, – сказал Вася Белоногий. – Узнаю почерк.

– Какая рука? Что ты имеешь в виду? – спросила Мария.

– И лошадь Андрея Ивановича, и амбар Деминых, и ветеринар убитый, и кое-что другое, – ответил Вася.

– А при чем тут ветеринар? Какое он имеет отношение к лошади да к амбару Деминых? – спросила Мария.

Вася погладил свой бритый затылок и сказал иронически:

– Некоторое... Уголовный розыск считает, что убийство совершено с целью ограбления. А по моим данным – с другой целью.

– Но твои данные к делу не подошьешь, – возразил Кадыков. – Пока это всего лишь предположение. Логическое рассуждение – и больше ничего.

– Логическое рассуждение, когда оно в книжке написано, есть игра воображения, то есть умственное занятие. Тут я с тобой согласен. Но если логическое рассуждение построено на фактах жизни, это совсем другое дело, – веско возразил Вася Белоногий.

– Какие же вы факты жизни имеете в виду? – вскинул подбородок Кадыков.

– Во-первых, займемся исследованием вопроса – для чего ветеринар приехал на базар?

– Ну, для чего?

– Во-вторых, почему задержался так поздно и ушел один? – уклонился Белоногий от прямого ответа. – Я ночевал в Бочагах у Деминых. И когда утром узнал, что ветеринар убит, то подумал сразу – Жадов в Тиханове. Мы здесь все свои, а ты, Зиновий Тимофеевич, работник уголовного розыска. Поэтому будем говорить все, что думаем. Так вот я и подумал – Жадов здесь, в Тиханове. И не ошибся. Федька ваш подтвердил: видел, говорит, вчера Жадова на конопляниках.

– Не может быть, – сказал Кадыков. – Вчера вечером мы сразу после убийства послали к Жадовым подставное лицо, вроде бы случайно денег занять; сказали, что Ивана дома нет. Соседей спрашивали, и те подтвердили: Ивана нет и никто его не видел. И как ты докажешь, что убил именно Жадов?

– Я и не говорю, что убил Жадов. Я только думаю, что дело это одних и тех же рук.

– Почему?

– Имей терпение, Зиновий Тимофеевич. Уж если я сюда приехал за тридцать верст, то не чай пить. – Белоногий пододвинул чашку к самовару: – Налей-ка мне, Надюша, погорячей да послаще!

– Я ведь почти всю зиму и весну проработал на лесозаготовках. От Ермиловского селькова заготавливали шпалы и дрова, – начал издавая Белоногий. – Большая работа, скажу вам... На вывозке дров да шпал по четыреста подвод было, да лесорубов, да шпалотесов человек восемьсот. Пять лесных делян от пяти сел, да склад продовольствия и фуража, да дровяные склады. Всего не перечислишь. Словом, целая карусель. И доверенным лицом у меня по свистуновской деляне был как раз этот самый убитый ветеринар, Федор Афанасьевич Полетаев. И вот какая приключилась у нас с ним катавасия: на одном из его дальних дровяных складов «потерялись» две поленницы дров кубометров эдак на триста. По каким-то особым приметам он нашел свои дрова на складе у Жадова. Разыгрался скандал. Этот кричит – мои дрова! А тот – не лезь! Мне их привезли возчики, я, мол, оприходовал и деньги выплатил. С возчиков и спрашивай. Ну где ты найдешь этих возчиков? Пошумели свистуновские, пошумели, так ни с чем и остались. Почти тысяча рублей уплыла у них с деляны в карман жадовских ребят. Вот вам один жизненный факт.

Вася вынул черный атласный кисет, свернул сигарку и затянулся всласть.

– А теперь слушайте другое. После посевной свистуновские мужики отправились на подчистку своей деляны. Срубали оставшиеся хвосты, то есть недорубленный лес. Надо сказать, что хорошо мужики старались; разбились попарно и за день нарубили хвостов по десять, а то и по двенадцать кубометров. Я им еще по паре сапог выписал в лесничестве за хорошую работу. Правда, начинали они с рассвета и работали до темна. Однажды рано утром ветеринар со своим напарником рубили хвосты в приречной деляне. Вдруг видят – прет какая-то подвода по заброшенной лесной дороге к реке. Чего ей там понадобилось? Ветеринар за ней следить назерком... Подвода к реке, он туда же... Видит из кустьев – на Куликовой косе лодка, и два мужика выгружают из нее тюки с добром. Он всмотрелся – и чуть не вскрикнул от радости. Один из них был Жадов. Ну, теперь ты у меня, милок, попляшешь, думает ветеринар. Теперь отольются тебе мои дровяные слезы. В тот же день он услышал, что ограбили амбар Деминых, и решил, что это Жадов сработал.

– А что ж он нам не сообщил? – удивленно спросил Кадыков.

– Потому что он сам был не вешай ухо, – ответил Вася. – Этот ветеринар был

дошлый мужик. Он решил выведать во что бы то ни стало, где Жадов хранит свое добро, и потом взять его за жабры.

– Откуда ты все это знаешь? – спросила удивленно Надежда.

Вася лукаво усмехнулся и выпустил пухлый клуб дыма:

– Его напарник был моим приятелем.

– И твой приятель следил за ветеринаром? – спросил Кадыков.

– Мой приятель следил за тем и за другим. Я сам хочу знать тайники Жадова, у нас с ним особые счета.

– И что же узнал твой приятель? – спросил Кадыков.

– К сожалению, не самое главное... Но узнал, что ветеринар выследил, открыл это место. И предъявил Жадову счет. Тот принял его условие.

– Какое условие? – спросил Кадыков.

– Затребовал триста рублей чистыми, иначе – донос. Мне, говорит, чужое не надо. Отдай, мол, за мои дрова хоть треть.

– А что Жадов?

– Согласился отдать. С тем и пригласил его на базар в Тиханово.

– Все это очень может быть... Но я не вижу доказательств, – сказал Кадыков.

– погоди... Появятся и доказательства. А теперь слушай дальше. Ветеринар приехал на базар якобы для того, чтобы продать кожаную тужурку. Допустим, он ее продал. Тужурка стоит от силы сорок рублей. А ветеринар в шинке у Нешки Орехи похвастался, вынимал из кармана целую пачку червонцев. Вон Федька вам может рассказать. Где он? Маклак! – закричал Белоногий.

– Лошадь на полдни угнал, – сказал Андрей Иванович.

– А кто еще видел ветеринара в шинке? – спросил Кадыков.

– Там много народу было, в карты играли. Это установить – пара пустяков. Труднее узнать другое – где был этот ветеринар целый день?

– Никто его на базаре не видел? – спросил Кадыков.

– Появился он только под вечер возле коопторга без куртки и пьяный. Песни играл. Потом зашел в шинок к Нешке и еще добавил... Ну, а что было дальше – кто его встретил в овраге, с кем? Неизвестно. Одно я только хорошо знаю – он требовал денег за свое молчание. Ему дали эти деньги, и он замолчал навеки.

– Когда ты успел все это узнать? – спросил Андрей Иванович.

– С утра пораньше, – ответил Вася.

– Извини, – сказал Кадыков, – но твоего приятеля я должен вызвать на допрос.

– Повремени малость. Он слишком на виду, – сказал Вася. – Иначе всю операцию погубишь.

– Да что у вас за операция?

– Мы и лошадь Андрея Ивановича засекли...

– Кобылу? – аж привстал Андрей Иванович.

– Да, твою кобылу. На ней Жадов приезжал в Елатьму. Но где он ее прячет, пока неизвестно. А брат Жадова надо только с поличным. Иначе вывернется. В Ермилове у него ничего нет. Он живет чисто. Дайте нам еще неделю срока... Мы вам пошлем сигнал и навалимся на него сообща.

– Ладно, – сказал Кадыков. – Подождем.

лишь только отогнали стадо, пропели пастушьи рожки, улеглась пыль на дорогах, как захлопали двери амбаров и кладовых, зашкрипели половицы в чуланах да в подвальных погребах – бабы носились как шатоломные, собирали до кучи на разостланные брезенты чашки да ложки, корчаги с топленным маслом, копченые окорока, завернутые в чистые рогожи, головки сахара, сыра, мешочки с пшеном, солью, жестяные банки с чаем, корзины с картошкой, свежие огурцы, ковриги хлеба и наконец кадушечки со свежей бараниной, насухо пересыпанной солью, еще не успевшей пустить густой и прозрачный сок. Все лучшее, что накоплено за долгие зимние да весенние месяцы, что хранилось под семью замками, – все это пущено теперь в расход. В луга едем, на сенокос! А мужики с ребятами выкатывали телеги на открытые подворья, несли лагуны с дегтем, вынимали чеки, откатывали колеса и поочередно, оперев тележные оси на подставленную дугу, смазывали их густым и блескучим на солнце дегтем. Дорога дальняя, катитесь, милые, веселее! И не успеешь толком сообразить что к чему, как – смотришь – уже поставлены в тележный задок сундук с продуктами и кадка с мясом, засунуты косы, плотно обмотанные мешковиной, уложены грабли, вилы, треноги с котлом и чайником, топор, веревки – целый воз добра! Накрыли его брезентом, накинули ватолы да шубняки для подстилки. И вот она, родимая, без стука и скрипа выкатилась из ворот, готовая двинуться в древний путь, проложенный десятками поколений предков, на истовый, хмельной работный праздник сенокосной поры. Выедут со двора, остановятся посреди улицы, переглядываются, выжидают, покрикивают:

– Андрей Иванович, давай передом!

– Что вы, мужики? Кабы на рыжей кобыле. А у этой куриный шаг, заснем еще в дороге.

– Петра, пускай своего Буланца!

– Велика честь, да лошадь мала.

– Пусть Иван Корнев трогает. У него Пегий маховитее.

– За ним не поспеешь. Он весь обоз растянет.

– Давай, Петра, выезжай. Окромя тебя некому.

– Как поедем, через Лавнинские или Шелочихой?

– Давай через Лавнинские... Или мы гати не гатили?

– Ну, тогда с богом, мужики!

– С богом, ребята! Трогай.

И пойдут, потянутся гужом один за другим по извилистой и пыльной дороге, и опустеет притихшая Нахаловка, самый молодой тихановский конец. Редкая семья не проводит своих кормильцев; на всей улице не двинутся с места только баба Васютка Чакушка со своим Чекмарем, да Гредная со Степаном, да Чемберлены – многодетная семья Вани Парфешина, в которой почему-то рождались только парни – кривоногие, голопузые забияки, вечные пастухи и подпаски.

Бородины отъехали втроем: Андрей Иванович, кроме Федора, взял с собой семилетнего Сережу, будущего дровосека и кашевара. На сенокос ехали пока одни мужики, редко кто брал с собой девчонку – чай кипятить да кашу варить. Бабы с девками потянутся на луга через неделю – сено согреть да стога метать. Тогда и гармони заиграют, гулянки вдоль реки начнутся. А пока только косьба до седьмого пота, да песни у костров, да веселые ребячьи проделки.

Сережа ехал впервые в луга. Не так чтобы в первый раз – брали его и за сеном и за хворостом, но то была обыкновенная езда – прокатишься, и больше ничего, а теперь

он едет, чтобы жить в лугах, долго-долго. Он сидел посреди телеги на разостланной овчине и правил лошадей, то есть держал вожжи. Белобокая покорно шла за передней телегой, глядя в землю и помахивая темным хвостом. Отец с Федькой сидели по бокам телеги, по-взрослому, то есть свесив ноги над колесами, каждый носком дотрагивался до чеки. Сереже так садиться не разрешалось, чтобы нога в колесо не попала. Он был доволен сидеть и так – ноги под себя, потому что его разбудили рано, как большого, а сестрички его – Санька, да Маруся, да Елька все еще спали в горнице, а когда проснутся, то будут реветь и проситься в луга. Но им скажут, «вам еще нельзя, вы маленькие, вас заедят в лугах комары». Сережа был доволен и потому, что все его приятели тоже поехали в луга: и Ванька Кочан, и Васька Курдюк, и Колька Колбаса, и Баран, и Сладенький – вся Нахаловка. Они уж сговорились искать в лугах перепелиные яйца и гонять дергачей.

Когда Сережа был маленьким, он всегда спрашивал – скоро ли подойдут луга? Теперь он знал, что до лугов будет Пантюхино, потом Мельница, потом Тимофеевка, потом еще Саверский пруд, а уж потом луга, да и то сперва чужие. Наши луга были под самой рекой Прокошей. А еще дальше, за рекой и за лесом стояли три осокоря; у среднего два сука росли ниже других и в стороны, как будто он руки растопырил, а два крайних дерева похожи были на чуть согбленных странников, остановившихся, чтобы послушать друг друга. Эти осокори появляются сразу, как только перевалишь Пантюхинский бугор, и потом все время будут стоять на одном месте: хоть целый день к ним ехай и никогда не доедешь. Отец говорил, что стоят они на Муромском тракте давным-давно, еще при царице Екатерине посажены были. Сережа знал, что тракт – это большая дорога, но не понимал, почему же там стоят три осокоря, когда в песне поется: «На муромской дорожке стояли три сосны...» Он сидел и шурился от яркого, но невысокого солнца, глядел на открытые с Пантюхинского бугра далекие деревни, затененные садами да ветлами, на одинокие белые колокольни, на синие сплошные леса, подымающиеся ярусами все выше и выше до самого неба, и на тех оторванных ото всего живого, заброшенных в небесное пространство трех осокорей-странников, которые все стоят на месте и думают, потому что не знают, куда им идти. Ему хорошо было так долго и лениво глядеть вдаль, вдыхать еще прохладный, отдающий пресным запахом дорожной пыли воздух, слушать, как заливаются невидимые в небе жаворонки, как погромыхивают колеса да бренчит пустое ведро, подвязанное к телеге Маркела, и думать о том, что его сестрички, поди, уж проснулись, узнали, что он уехал в луга, и режут, размазывая слезы по щекам.

Вдруг отец выхватил у него вожжи и перекинул их Федьке.

– Осади лошадь! – крикнул он и спрыгнул с телеги. – Кабы на вилы не напоролась.

Отец в два прыжка нагнал впереди идущую подводку и крикнул:

– Маркел Иванович, вилы убери!

– Какие вилы? – отозвался тот, оглядываясь.

– В задке у тебя высунулись.

– Ах, мать твою перемать!.. – проворчал он недовольно и, увидев выдвинутые вилы, крикнул девочке-подростку: – Панка, ты куда смотришь? Аль глаза еще не продрала?

Он спрыгнул проворно, зашел с задка, выдернул вилы, уложил рогами вперед.

Между тем проехали первый перекресток, вправо пошла дорога на Пантюхино, обоз взял левее, вдоль села.

– А что, с Лавнинских на Кулму поедем? – спросил Андрей Иванович.

– Передние решили на Кулму, – ответил Маркел.

– А не потонем там в отрогах?

– Ну, такая сушь стояла.

– Здорово живешь! Уже больше недели, как дожди льют. А потом ведь – там вода донная.

– Кто-то ездил... Говорят, сухо.

– Ну, как знаете. – Андрей Иванович поотстал от Маркела и вспрыгнул на свою телегу.

– Папань, я все тебя хочу спросить: вон там на самом взъеме ямины остались, – Федька указал на Пантюхинский овраг. – Говорят, будто землянки там рыли...

– Говорят, – отозвался Андрей Иванович. – Там стоял дубовый лес, когда пригнали сюда пантюхинцев. И церковь из тех дубьев срублена.

– А почему их зовут погаными?

– А кто их знает. Будто их в карты проиграл какой-то князь. И пригнали их сюда из Литвы. Вот и прозвали погаными.

Когда проезжали мимо пантюхинской околицы, от села бросились к обозу с полдюжины разномастных лохматых, неопрятных собак и залаяли враз, как по команде, стараясь перебрехать друг друга и подпрыгнуть одна выше другой перед лошадиными мордами. Отстали так же дружно, как только последняя подвода миновала околицу, лениво и неохотно возвращаясь в село.

– И собачки-то у них дружные, как сами пантюхи, – сказал Федька.

– Живут бедно, оттого и дружные, – ответил Андрей Иванович.

Возле мельницы обочь дороги стали попадаться пантюхинские бабы; они шли в полосатых поневах и в ярких цветастых платках, повязанных низко на лоб по самые брови, чисто по-пантюхински. За спиной у них висели корзинки, накрытые мешковиной, на плечах грабли. У пантюхинских луга были под боком, за Святым болотом, оттого они и начинали покос дня на два – на три раньше тихановских. И теперь пантюхинские бабы шли с граблями уже рядки ворочать. И завязался обычный перебрех:

– Эй, красавицы! Кто из вас малайкину соску съел? – кричали им с телег.

– Черепенники! Тихановские водохлебы! – отвечали бабы.

– Акулька, что там булькат? Сивый мерин в квашню с... Квас-то у вас того... С довеском, – кричал и Федька Маклак.

– Сам ты довесок... Молоко ишло на губах не обсохло, а туда же лезет.

– А ты сверни-ка со мной во-он в те конопки! Небось и про молоко забудешь...

Андрей Иванович ухмылялся и покручивал усы. Не замай – резвится малый, пора ему и характер проявлять.

Тимофеевка, большое чистое село с богатым выгоном, на котором вольно разлились озера с камышовыми зарослями да с желтыми кувшинками, что на твоих лугах, заметно отличалось от Пантюхина – дома здесь все кирпичные да побеленные, под железными зелеными крышами, в палисадниках сирень да мальвы, в окнах герань, тюлевые занавески, на крышах кони резные да петухи. Во всю улицу трава-мурава да ромашки, и не видно ни телят, ни свиней – вся скотина на широком выгоне; а здесь одни ребятишки гоняют железные обручи да старухи сидят на лавочках, чулки вяжут. Сережа и сам хорошо гонял обручи на длинной проволоке, изогнутой буквой «п», но теперь ему это занятие казалось скучным; он с восхищением глядел на кровельные

коньки.

– Папань, а кто им петухов да коней на крышу поставил?

– Сами, сынок. Здесь народ мастеровой живет – все кузнецы да ведерники.

– А где же их кузницы?

– На выгоне.

– Да на выгоне холстины сушат, а кузницы их задымят, – заметил Сережа.

– Ах ты мой стоумовый! – рассмеялся Андрей Иванович. – У них холстины на лугах стелют.

– А наши почему на выгоне?

– У нас луга далеко...

За Тимофеевкой на берегу Саверкина пруда стоял большой деревянный дом с мезонином, обшитый крашеным тесом. Бордовая краска местами облупилась, и дом теперь выглядел пегим, казалось, что его кто-то покрасил так из озорства. Вокруг него росли старые липы, усаженные грачиными гнездами, да заломанная сирень, да редко где торчали корявые раскоряченные ветлы.

– Папань, а правда, в этом доме барин Саверкин жил? – спросил Федька.

– Правда, – ответил Андрей Иванович. – Хороший был старичок, добрый. Бывалочи, едем из лугов с молоком, остановимся возле сада, крикнем: «Федор Корнев, дай яблочка!» Он выйдет на балкон, во-он с того этажа и скажет вниз: «Никодим, собери им, что упало». Сторож Никодим, такой же старичок сухонький, с подножкой ходил, наберет корзину яблок: «Ешьте, ребята!..» – Андрей Иванович помолчал и добавил: – Теперь здесь тимофеевский агроучасток.

– А где тот старичок живет? – спросил Сережа.

– Помер давно. – Андрей Иванович поглядел на старый облупленный дом и снова заговорил: – У Саверкина была племянница. На ней женился наш тихановский Сенька Каманин, родственник купца. А у Сеньки был в Желудевской волости свой человек в писарях. Вот Семен-то и подмулился к барину: откажи нам несколько десятин от своего поместья. Барин добрый был. Берите, говорит... Для племянницы мне ничего не жаль. Семен с этим желудевским писарем составили поддельное завещание – все поместье на Каманина отписали. А старичок сослепу подписал его. Вот проходит год, ему Каманин и говорит: хватит, мол, пожил ты в этом доме. Теперь убирайся. Как убирайся? А вот так, дом не твой. Саверкин в суд, а там ему эту бумагу под нос суют. Каманин был жох и в суде подкупил кого надо. Ну, Саверкин от горя взял да помер. А старуху, жену его, выгнали. Она все по кузницам ютилась. Так и померла под забором. А тут революция. Взяли в оборот этого Каманина. Он бежать... Вот и опустел этот дом, и сад заломали...

Солнце меж тем забиралось все выше и выше, припекало все горячее, потянул ветерок, и над лошадью появились оводы; они подолгу вились над крупом, но почему-то садились то на шлею, то на седелок, и Федька ловким ударом кнута, хакая, сшибал их наземь. От Саверкина пруда дорога свернула в низину и потянулась вдоль ольхов – чахлого леска на краю Святого болота. Вместо жаворонков в небе заголосили первые луговые птицы чибисы, кружась над подводками, они дергались на лету и торопливо, пронзительно вскрикивали – не то плакали, не то спрашивали:

– Чьи вы? Чьи вы? Чьи вы?

– Мы тиха-а-ановские, – отвечал Сережа, запрокинув голову.

И дорожка пошла луговая – ни пыли, ни ухабов, колеса покатались по еле примятой траве мягко, как по перине. Даже ведро на Маркеловой телеге перестало

греметь. Вспугнутые обозом, над ольхами иногда со свистом проносились утки и ныряли куда-то за кромку леса, где угадывалось большое, заросшее камышом да осокой болото.

– Папань, а что, правда или нет, будто в Святом болоте по ночам на Юрьев день свечка горит? – спросил Федька.

– Это правда, – ответил отец. – Там дружина рязанского князя Юрия чуть не утонула. Она гналась за татарским ханом Темиром и забрела в болото. Всю ночь выйти не могла. Чуть не потонула. Да слава богу, явился им на рассвете Николай Угодник. Он и сотворил чудо – хлябь болотную в твердь преобразил. Ну князь Юрий дружину-то и вывел. А в честь явления Николы Чудотворца на этой тверди церковь построил. А церковь взяла да провалилась.

– Почему? – спросил Сережа.

– Потому как твердь была чудотворной. А чудо, оно долго не держится, – ответил отец.

– Почему? – спросил опять Сережа.

– Значит, назначение у него такое – удивить и раствориться. Чудо, оно и есть чудо, штука недолговременная, вот с той поры и горит свечка по ночам.

– Папань, а догнал Юрий того хана Темира? – спросил Федька.

– Догнал... В Красулином овраге. Там и убил он татарина. Все его войско положил. С той поры Красулин овраг для всех татар – место поганое. Какой бы татарин ни ехал мимо того места – плюнет и отвернется.

Первое луговое препятствие – Лавнинские гати – проехали хорошо. Свежий хворост, связанный пучками в фашины, свободно держал на себе тяжелые телеги, одновременно пропуская сильный поток грунтовой воды. Гать была длинной, обнесенной поручнями из свежееотесанных слег.

– Какая сила хворосту была здесь, – сказал Федька. – Целые горы.

– Кречев говорил – будто двести возов ушло в гать, – отозвался Андрей Иванович.

– Ну да... Два шестака хворост рубили. Дворов полтораста. Папань, а почему село разбито на шестаки?

– Иначе луга не разделишь, запутаешься. Надо, чтоб у каждого хозяина был свой участок, хотя бы года на три. Он его и от кустарника почистит, и кочки срежет, и сорняки вырвет. А если все луга сплошняком пустить, – загаврают, потому как Иван будет надеяться на Петра, а Петр на Панфила. Так и пойдут валить друг на друга. Панфил, мол, не вышел на расчистку, а мне что, больше других надо?

– Папань, а вон в газетах пишут – колхозом работать веселее.

– Работать не плясать. Что за веселье?

Возле широких заболоченных отрогов озера Кулмы обоз сгрудился и остановился. Дороги дальше не было. Мужики поспрыгивали с телег, сошлись на берегу бочага, загомонили:

– Чья ж это умная голова завела нас?

– Дык сказали, что есть дорога, – чесал затылок Тыран. – Вон Климентий уверял...

– Где Барабошка?

– Э-э, как она, как ее, была дорога... Я осенью сено возил.

– То осень, а то лето... Голова два уха!

– Я думал – загатили...

– Думает боров на свинье, мил моя барыня.



– Что будем делать? Тыран, ты где? Проснулся?

– Ехать через Панские, мужики. Иной дороги нет...

– Вы что, пять верст в объезд киселя хлебать? Вожаки, мать вашу...

– Ну, поедем низом, вдоль бочагов.

– А бочаги с Долгим соединяются... Так и поедешь вдоль озер обратно в Тимофеевку?

Между тем Маркел, насупив брови, решительно распрягал своего высокого и мосластого вороного мерина.

– Ты чего, Маркел, ночевать здесь решил?

– Это вы будете ночевать здесь. А мне языком чесать некогда. Я поеду.

– Куда ж ты поедешь без телеги?

– На ту сторону. Сперва лошадь перегоню, а потом телегу перетащу на веревках. Захлестнете за оглобли да кинете мне конец...

– Померить надо. Небось глубоко.

– Чаво там мерить.

Маркел размотал лапти, снял портки и остался в одной рубахе, прикрывавшей срам.

– Панка, подымай подол! – крикнул дочке. – За мной пойдешь.

Сперва было повел мерина к воде в поводу. Потом передумал, подвел его к телеге, взял для чего-то деревянную хлебальную чашку с деревянными ложками, соль туда положил, сахар и влез с телеги на холку мерина. Взгромоздившись верхом, крикнул:

– Ну, чаво смотрите? Скидавай портки и айда за мной в бочаг. Но, ходися!

Маркел ударил голыми пятками по лошадиным бокам, мерин глубоко вздохнул и нехотя пошел к воде.

– Панка, за мной!

Панка подняла подол платья и двинулась за лошадью. Мерин возле берега остановился и, опустив голову, стал опасливо нюхать воду.

– Да ну же, дьявол сухостойный!

Маркел вытянул вдоль шеи мерина, тот отпрянул в сторону, споткнулся и упал коленями в воду. Маркел нырнул вниз, но пятками крепко держался за лошадиные бока, поэтому сползал медленно, рубаха на нем заголилась, обнажая все его сокровенное хозяйство. Мужики грохнули на берегу, хватаясь за животы и приседая. Мерин испуганно вскочил на ноги, отбежал сажени на три и спокойно стал щипать траву.

А Маркел вынырнул через минуту, как водяной, – все волосы, усы и борода в зеленой ряске. Испуганно тараща глаза, он озирался по сторонам, толком еще не соображая, что произошло. Перед самым носом его плавали ложки с чашкой.

– Маркел! – кричали ему с берега. – Похлебай из озера. Вода теперь, поди, сла-адкая.

Сердито отфыркиваясь, стоя по шейку в воде, он стал собирать ложки и кидать их в чашку.

Нахаловский шестаков остановился на Ходаво. Полсотни округлых, крытых свежей травой шалашей растянулось вдоль высокого речного берега, повернутые входом от реки, чтобы по ночам не надувало сырости. И только один шалаш Маркела открыл свой зев прямо на реку, – плевал я на вашу сырость, как бы говорил он своим

собратьям.

Перед шалашами в такой же длинный ряд выстроились телеги, подняв в небо связанные чересседельником оглобли, как спаренные орудийные стволы. Телеги пока не нужны были, их покрыли рядом, а под ними, как в амбарном закутке, сложили сбрую, картошку да пшено. На отлете у самого обрыва втыкали треноги, вешали на них прокопченные котлы да чайники, разводили костры, и полуденный озорной ветерок осаживал дымные столбы, рвал их в клочья и смахивал с берега в реку, как крошки со стола. А иные мужики, что попроворнее, уже оседлали скамеечки с железными бабками, стали отбивать на них косы; дробно затараторили молотки, зазвенели косы, и гулко, с оттяжкой, загахало, зацокало эхо где-то в кустарнике на дальнем заречном берегу. Началась открытая перед богом и людьми, колготная и размеренная, как на биваке, луговая жизнь.

Во-первых, эти протяжные, неумолимые побудки сизой ранью, когда еще солнце только угадывается за отдаленным и сумрачным лесным заслоном по живому переменчивому блеску светлеющей зари, когда над стоячей водой еще клубится, густеет молочная текучая вязь тумана, когда все спит и нежится, а тебе надо вставать с теплой постели, вылезать из уютного шалаша, на четвереньках, ладонями и коленями окунаться в холодную обжигающую росу.

– Ива-а-ан! Ты вылезешь или нет? Ай в оборах запутался?

– Онучи забыл снаружи... Они во-олглые.

– Надень носки!

– Иде они?

– Я те счас найду. Я те ткну носом-ту.

У другого шалаша кличут:

– Федор! Ты что, к подушке прикипел?

– Я эта... брусок потерял.

– Мой возьмешь... Вылезай!

– Сейчас...

И наступает мертвая тишина, которая взрывается сердитым окриком, переходящим в живописный протягновенный мат:

– Федор, едрит твою через реку переплюнуть... Ты вылезешь или нет? Не то за ноги вытащу.

Потом потягиваются, зевают долго, едят вяло, уходят с косами на плечах неверным заплетающимся шагом.

Зато на полдни бегут проворно, как лошади ко двору: ногами семят, шеи вытянут, ноздри навыворот – загодя ловят сытный запах от костра, чтобы враз определить: поспело варево или не поспело.

А как хорош, как отраден этот полдневный отдых, как сытен обед с жестковатым и сочным мясом, с припахивающей дымком разваристой луговой кашей, с этим веселым многозвучным кузнечным перезвоном отбиваемых кос, с этим глубоким и сладким до одури послеобеденным сном на колушке или ватоле между колес, под надежной тенью родимой телеги...

А эти дружные выходы всей семейной оравы, эти воинственные набеги от мала до велика на последний и решительный бросок – копны метать! Кто возить, кто подгребать, а кто на стога кидать: вилы трехрогие, что твои рогадины, черенки блестят – мозолями полированы, плечи вразлет, а силы не занимать... Ну-к те! Вилы – копне в бок, черенок в землю, упрется мужичок, крякнет... И опля! Тама... Не токмо что

охапку сена, медведя на стог закинет. А ветер злится, качает навильник, свистит, сено клоками рвет. Разметаю! Но не тут-то было. Знаем, откуда зайти и куда бросить: «Варюха, прижимай сено! Топчи!» А ветру подставит голые вилы, азартно усмехнется и крикнет: «На вот, напорись!»

А по вечерам, когда затихают травы и в грустном одиночестве понуро останавливаются посреди лугов потемневшие кусты, когда, отгомонив над рекой, налетавшись вдоволь, забиваются в свои бездонные норки-гнезда и затихают до утра короткохвостые пегие береговушки, когда торопливее, пронзительнее полетят с речных песчаных отмелей настойчивые клики черноголовых куликов-перевозчиков, а в мягком густеющем мраке пугающей тенью прошелестят широкие совиные крылья, – у поздних дымных костров, позабыв про долгую знойную маету рабочего дня, рассядутся притомленные косари, еще недавно такие хмурые и постные, а теперь удовлетворенные, как удачливые охотники, и запоют, затоскуют о дальних краях да о бродяжной воле:

Бежа-а-а-ал бегле-э-эц большой дорого-ой  
И заверну-у-ул в дрему-у-учий лес.

В первый же день Маркелу не повезло и на станах. Заняв мешочек соли у Бородиных, он завязал его узелком и передал Панке:

– Мотри, не потеряй у меня.

Панка отнесла его в шалаш и спрятала в надежном месте. Пока Маркел убирал сбрую да отбивал косу на бабке, пока отводил мерина на прикол, Панка варила ему обед, ломала через колено сухие тальниковые палки, оправляла костер, заслоня ладонью глаза от дыма.

– Скоро ли там у тебя сварится? – спрашивал Маркел своим хриплым басом.

– Когда у людей, тогда и у меня, – бойко отвечала Панка.

– Плевал я на твоих людей! Мне с ними не косить.

Наконец Панка крикнула на радость Маркела:

– Тятя, мясо всплыло.

– А пашано? – спросил Маркел со скамеечки, на которой отбивал косу.

– Хлопьями пошло.

– Ну, тогда сымай! Не то размазную сварить, собакам глаза замазывать, чтоб не брехали.

Панка сняла котел на землю. Маркел неторопливо подошел:

– Ну-ка, что ты наварила? – взял у нее ложку, зачерпнул варево и долго дул на него. Потом шумно схлебнул и выплюнул:

– Эх ты, разиня! А кто солить за тебя станет?

– Тять, я сейчас, – бросилась она к шалашу.

Но Маркел остановил ее:

– Не замай... Я сам посолю.

Двинулся вразвалочку с ложкой к шалашу.

– Тять, соль там, в сундучке.

Маркел скрылся в шалаше и долго не появлялся, гремя сундучком. Потом раздался оттуда протяжный, затейливый мат, и все те же злополучные ложки с деревянной чашкой дугой полетели с высокого берега в реку. За ними загремел, подпрыгивая на глинистых уступах, и сундучок. Потом полетели подушки, одеяло с ватолой... Наконец вылез из шалаша сам Маркел, пыхтя и матерясь, мрачнее тучи надвигался на Панку. Она попятилась от костра, озираясь по сторонам, выбирая – в

каком направлении сигануть.

– Иде же твоя соль, а? – рявкнул Маркел.

– Тять, я забыла... Она... она... в застрехе.

– Ах в застрехе? Ну так я тебя сейчас самую в застреху засуну.

Он бросился бежать за Панкой, но зацепил лаптем за хворостину, упал и свалил котел с варевом. Встал на четвереньки, замотал головой и завыл от ярости и досады. Каша растекалась по отаве, а кусок мяса дымился в золе.

– Гады, сволочи! – вставая, заорал на весь шестац, на всех, кто гоготал у своих костров. – Нате, жрите! – Он схватил мясо и запустил его в реку. Потом, пыхтя как паровоз, мрачно курил на скамеечке, глядя себе под ноги. Вдруг решительно встал, снял косу с тальникового куста, подвязал брусок к левой ноге и пошел на свой пай. Проходя мимо мерина, ударил его лаптем в брюхо. Тот поднял голову и с печальным недоумением долго смотрел вслед своему хозяину.

Мужики поймали в реке ложки с чашкой, собрали подушки, одеяло, сундучок – все сложили в кучу возле шалаша Маркела. Потом пришла из кустов Панка. Ее пригласили Бородины обедать.

Она была стриженная, с большой круглой головой и с оттопыренными ушами. Ела она торопливо и жадно. Сережа с удивлением глядел на то, как у нее шевелятся уши, и вспомнил частую ругань Маркела на Панку и тетю Фросю: «Работать у вас волос не шелохнется, а как жрать – так вся голова трясется».

Ему было очень жаль Панку, и он подумал, что когда вырастет большим, то ни за что не станет ругаться на своих детей.

К обедающим Бородиным подошел Якуша Ротастенький:

– Хлеб-соль, Андрей Иваныч!

– Едим, да свой, а ты так постой, – бойко отчеканил Федька.

– Ты у кого это выучился, у Маркела, что ли? – сердито одернул его отец.

– А это у него зубы прорезаются, – усмехнулся Якуша, присаживаясь на разостланный брезент.

– Давай, работай! – Андрей Иванович подал ему ложку и пододвинул чашку с мясным супом.

– Да я уж отстрелялся, – сказал Якуша, но ложку взял. – У вас вроде баранина?

– Свежая, не успела просолеть.

– А у меня еще прошлогодняя говядина. Так, веришь, ажно проржавела, зараза. Переламывается, как прелый ботинок. – Якушка обтер ложку и начал хлебать со всеми.

– Так что будем делать с улишками? – спросил он, когда выхлебали суп и накладывали кашу.

– Я свое мнение высказал. Как мужики? – отозвался Андрей Иванович.

– А кто мужики? Моя беднота вся за то, чтобы улишки продать. Есть которые и против – Алдонин да Барабошка с Тарантасом.

– А Бандей?

– Тому не токмо что улишки, тот пай пропъет. Алдолина уломать надо.

– Прокопу все мало, – сказал Андрей Иванович, подливая топленое масло в дымящуюся раскидистую кашу. – Конечно, лучше улишки продать. Делить их трудно... день провозишься, а времени нет.

– А я что говорю! – подхватил Якуша с радостью. – Не угодишь какому-нибудь Маркелу, – покосился на Панку, – косой порежет.

– Покупатели здесь?

– Ну! Гордеевские ждут. А там климуши на очереди. Можно и поладиться.

– Зачем же? Если гордеевские ждут, им отдать. У них лугов мало.

– Мы эта... договорились с ними, – Якуша запнулся. – Они ведро водки ставят. Вечером и привезут. А я уж все сообразил – бредешок наладил, рыбки, значит, вечером зацепим и посидим.

– Тебе бы только посидеть, – проворчал Андрей Иванович.

– Все ж таки луговая кампания! Отметить надо.

– А не жирно будет – улишки за ведро водки?

– Дак они еще обоз выделяют, сено за нас перевезут с заготпункта на Ватажку.

Расписку с них возьмем.

– Ну, тогда дело.

– Вот и правильно! Правильно!! – Якуша даже привскочил от радости.

– Куда ж ты? А кашу?

– Нет, я в самом деле сыт. Побегу к мужикам. Провернем это дело. Пошлем кого-нибудь за гордеевскими. – Якуша помотал вдоль шестака, только лапти засверкали.

– Ну, Федька, ешь быстрее, да пойдем. Не то проваландаешься здесь, нагрянут гордеевские – и вся нынешняя работа пойдет кобыле под хвост, – сказал Андрей Иванович.

– Папань, а что такое улишки? – спросил Сережа.

– Улишки, сынок, это остатки от паев. Когда пай делили, остались обрезы – возле болот, вокруг кустарников, в ложках. Одним словом, всякие неудобные сенокосы... Вот их и называют улишками.

– Ну как же можно обменять сенокос на водку?

– Хо-хо! – усмехнулся Андрей Иванович. – Вот вырастешь большим и узнаешь, как это делается.

После обеда отец приказал Сереже вымыть чашки с ложками, а сами с Федькой разобрали косы, взяли чайник с чаем и пошли куда-то на свой пай. Сначала они были видны все от макушки до лаптей, потом стали погружаться в траву – все глубже и глубже, как в воду заходили; трава шумела, волновалась, и было ее столько много – куда ни посмотришь, все трава и трава, даже кустарники в траве казались маленькими; а отец с Федькой все уменьшались да уменьшались, наконец от них остались одни черные кепки да косы, похожие на крылья серпчков. Потом и косы растворились, и кепки пропали. А по траве катились волны, как по настоящему озеру, и Сережа хотел еще немного постоять да подумать – почему это в траве пропадают люди? Не такая она уж и высокая. Но его потянула за рукав Панка и сказала:

– Хватит глаза пялить попусту. Надо чашки с ложками мыть.

Луговые пай на Ходаво принадлежали тихановцам с незапамятных времен. Здесь вокруг озера Выксала лежали места низкие, потные – даже в июле в дождливое лето чавкали в отаве конские копыта. А уж травы вымахивали по брюхо лошадиное, густоты непрорезной, и состава хорошего – все костер, да тимофеевка, да вязиль с синенькими цветочками, да белые и розовые кашки. Свалишь рядок, что твоя рожь – горой высится. Солнце не пробивает, если рядок не обернешь – и не просохнет. А сено мелкое, как шерсть, духовитое, хоть в чай заваривай. Оттого и зарились на Ходаво до революции помещики, а после – в год передела земель – желудевские подкатились:

наш конец и карта наша! Ходаво к нам ближе, берите взамен Лавнинские. Мы – волостные, нам виднее! Но шалишь... Не на тех напали. Тихановские в топоры: «За Ходаво головы снесем!» Стеной встали. Желудевским и волком не помог: а что? Власть новая – замах-то был, упора не хватало. Отстояли Ходаво тихановцы, да еще из помещичьих лугов – Краснова и Мотки прихватили. И там хорошие сена были, но перед Ходавом жидковаты.

Хотя луга делились, – нарезали пай до революции по душам, а после – по едокам – раз в пять, а то и в шесть лет, – случалось, что иные места попадали в одни и те же руки по два и по три раза. Этот приозерный пай, примыкавший к Липовой рощице, уже побывал и раньше за Бородиными. Впервые Андрей Иванович косил здесь еще до действительной службы в далекое и грозное лето девятьсот шестого года. Тогда впервые взбунтовались мужики, пошли косить помещичьи луга за Выксалой на Черемуховое. Здесь вот, возле Липовой роши, их встретил полицейский разъезд – два урядника и следователь Александр Илларионович Каманин.

– Стой! – кричит. – Лошадьми стопчем. Кто зачинщик?

– Ну я... – вышел вперед Ванятка Бородин, сын дяди Евсея. – Луга наши. И катитесь отселева колбасой, пока целы.

– Ты кто такой? – спрашивал Каманин.

– Я здешний. А вы чьи такие залетные?

– Взять его! – скомандовал Каманин.

– Но, но, потише! – Ванятка снял косу с плеча. – Мужики, не выдавай!..

– Вы разберитесь, Александр Ларионыч. Слезай с коня-то – и поговорим, – загомонили мужики.

– Вы что, бунтовать? Перестреляю! – Каманин взялся за кобуру. – Бросай косы!

И все, как по команде, кинули косы наземь. Один Ванятка остался с косой наперевес; раздувая ноздри, поглядывал то на полицейских, то на мужиков. Он пятился к роще, как затравленный волк.

– Взять его! – крикнул опять Каманин.

– Ага... Возьмешь хрен в руку. Догони сперва... – Ванятка кинул косу и дал стрекача, аж лапти засверкали. Пока те выхватили наганы и открыли стрельбу, он уж в кустарниках трещал, как медведь. Они было в рощу на лошадях. Но куда? Там пеший и то не каждый продерется сквозь заросли лутошки да свилистого дубнячка. Они рощу мнут, стреляют да матерятся, а Ванятка спрятался в камышах возле озера, поглядывает на них оттуда да посмеивается: Так ни с чем и уехали.

Да что там один беглец! В восемнадцатом году в этих кустах да камышовых зарослях дезертиры прятались целыми взводами. Первый тихановский набор разбежался с вокзала. До Пугасова их догнали честь честью, в теплушки посадили... Вот тебе, начальство разошлось с перрона, а поезд не трогается. Тихановские открыли свою теплушку:

– Ребята, соседи бегут!

– А вы чего рот разинули?

– Гайда!

И посыпались новобранцы из теплушек, как горох из дырявого торпища. Мешки с продуктами оставляли в вагоне, ежели сцапают на вокзале, скажем: «Это мы так... До ветру... Прогуляться, одним словом». Из тихановских один Митя-Пытя остался, все мешки с продуктами собирал и в кучу складывал.

– Бяжитя, ребята, бяжитя... Мне сытнее ехать... Вернусь с войны – рассчитаемся.

Но с войны Митя-Пытя не вернулся...

Андрей Иванович хорошо помнил и то лето. Как раз их шалаши стояли на берегу озера Выксалы. Вон там, за Липовой рощей. Ночью, только легли, еще толком заснуть не успели, кто-то откинул брезентовое закрывало и по-собачьи вполз в шалаш на четвереньках.

– Чего надо? – Андрей Иванович тревожно поднял голову. – Закрывай брезент, мать твою!.. Комары налетят.

– Это я, Андрей... Не шуми, – засипел в темноте знакомый голос.

– Кто это? – подняли головы и Николай с Зиновием, братья Андрея Ивановича.

– Я, Матвей Обухов...

– Откуда тебя принесло? – Андрей Иванович аж привстал. Это был его шурин.

– Тихо ты... Кабы кто не услышал, – сипел тот. – Пожрать у вас не осталось чего? Сутки не жрамши.

– Есть. И каша осталась и мясо. Николай, где котел? – спросил Андрей Иванович.

– На козлах.

– Пошли к костру... – сказал Андрей Иванович.

– Да тихо вы! – опять приглушенно сказал Матвей. – Я же дезертир...

– Эх ты, мать твоя тетенька! – сказал Андрей Иванович. – И в самом деле... Тебя ж третьего дня как в армию проводили. Николай, зажги фонарь!

Зажгли «летучую мышь». Матвей Обухов, непривычно обритый, отчего казавшийся глазастым и большеухим, громко чавкая, торопливо глотал холодную кашу. Зиновий, молодой тогда еще, шестнадцатилетний подросток, глазел-глазел на него да изрек:

– Не совестно в дезертирах бегать?

– А мне что, больше всех надо? – ответил Матвей. – Куда ребята – туда и я. Я же не Митя-Пытя.

С этими дезертирами в то лето мороки было... Не успеет отряд в волость приехать, как оттуда уже верховые скачут:

– Ребята, отряд появился. Завтра на луга поедет вас ловить.

Ну, те неделю по ночам работают да горланят, людям добрым спать не дают, а днем в кустах отсыпаются. Пойди, найди их. Да и кто пойдет показывать отряду? На ком две головы? Так до самого снега и скрывались в лугах. А потом этих дезертиров по селам ловили. Однажды Матвея отряд застал дома. Его успели положить в изголовье, поперек кровати, да подушками накрыли, а ребятешек на подушки. Ничего. Отлежался.

Андрей Иванович обошел весь пай, от рощи в длину шагами промерил. Уж мерено-перемерено ежегодно и по многу раз, и все-таки не удержался – замахал-замерил, не шаги, а сажени. Сто шестьдесят шагов! Из тютельки в тютельку. И трава добрая. Смечешь стог – на десяти подводах не увезешь, прикинул Андрей Иванович. А меньше тридцати пудов на сани он не навивает. Да на Красновом у него пай, да в Мотках. Возов двадцать пять – тридцать притянет до дому. Жить можно. Перезимует.

Он зашел от Липовой рощи на взгорок, снял косу с плеча, кепку кинул в траву и, обернувшись на восток, стал молиться, высоко за лоб закидывая троеперстие. Федька стоял за его спиной понурился головой. Он знал, что здесь, на этом самом взлобке, умер Митрий Бородин.

Лет десять тому прошло. Этот пай в те поры был за Митрием Бородиным, дядей

Андрея Ивановича. Горячий был в работе мужик. Сам и косил, и согребал со своей Степанидой, и стог метал. Посадит ее на стог и мечет. Один навильник кинет – сразу полкопны. Иной раз помогали ему метать племянники: и Андрей Иванович, и Николай, и Зиновий.

– Ты, тетя, не пускай его на метку. Пусть дядя Митрий закладывает. А ты покличь нас. Мы придем – смечем.

В тот день Степанида утром рано приехала из Тиханова. Выехала еще в ночь... Лошадь путем не покормила. Ей бы отдохнуть да покормить лошадь. А дядя Митрий свое:

– Когда теперь ее кормить? Давай копна возить. Потом наистся.

Возил, возил копны – лошадь сдавать стала. Он вместо лошади впряжется да на себе тащит. Потом мужики пришли стог метать. И он с ними.

– Отдохни, дядя Митрий!

– Опося, ребятки. Вот приметины привяжем, тогда и отдохнем.

Так и дometали к вечеру. Стог что твой дуб развесистый – поглядишь на макушку – кепка свалится. Сам залез на стог, приметины привязал. Потом слез, посерел весь и говорит:

– Ну, ребята, я отработался...

Фуфайка у него была. Он ею чайник накрывал. Взял он эту фуфайку, расстелил, встал на колени, помолился богу и помер. Степанида везла его в телеге домой и всю дорогу вопила.

– Ну, с богом, сынок! Начнем, пожалуй, – сказал Андрей Иванович, беря косу и поднимая кепку.

– Откуда пойдём, папань?

– От Качениной ямы.

После Митрия этот пай перешел к Ваньке Качене. Тот его изрядно запустил: от озера тальниковые заросли полезли, от рощи лутошка пошла да дубнячок. Андрей Иванович в позапрошлом году расчистил пай – десять возов хворосту нарубил... траву подсевал. На Каченю не пенял... Каченю можно было понять: сына у него здесь убило. Парнишке лет пятнадцать. Под копной сидел в грозу. А молния ударила прямо в копну. Когда раскидали сено, в земле пять дыр, как будто пятерней кто тиснул. Мужики хотели поглядеть – что за стрелы гром пускает? Копали долго... Так и не нашли ничего. Оттого и Каченина яма осталась...

Андрей Иванович зашел в дальний угол пая от рощи, где стоял у него дубовый столбик, врытый еще три года назад, и сказал:

– Начнем отсюда... Ряды погоним к озеру.

– Папань, пусти меня передом, – попросил Федор.

Андрей Иванович уклончиво нагнулся, вынул из липового туска, притороченного к левой ноге, смолянку<sup>б</sup>, так, нехотя, скорее для порядка, провел ею несколько раз по источенному жалю косы... Коса-то была отбита и наточена что надо. Просто Андрей Иванович медлил – не хотелось ему сразу отвечать... Любо ему слышать было Федькины слова: «Пусти передом!» Любо. Дождался наконец помощника... Парень хоть и растет сорвиголова, но в работе молодец. И плечи надежные, и грудь колоколом, стукни – зазвенит. А пускать передом рано. Запалишь в работе, сорвешь, как необъезженного третьяка.

---

<sup>б</sup> Длинная дощечка, с нанесенной с обеих сторон точильной смесью, для заточки кос.



И Андрей Иванович, поставив косу на окосье, затачивая носок, сказал, глядя поверху:

– Не лезь, Федор, в пекло поперед батьки. Обожди, находишься еще и передом.

Косить было легко и сподручно, и ладилось, как всякое дело на свежие силы; ветер дул сильно и ровно к озеру, трава металась, никла по ходу, выгибая стебли, откидываясь для свободного хода косы. «Возь-зьму! Возь-зьму! Возь-зьму!» – чудился Андрею Ивановичу жадный выкрик в каждом взмахе, в каждом скольжении косы; то зароется по самый черный ободок в дрогнувшую сочную зелень, то вынырнет из прокоса, прочертит мимолетную сверкающую дугу и снова в податливую и зыбкую травяную стихию: «Возь-зьму! Возь-зьму! Возь-зьму!» И нет больше ни рощи, ни озера, ни неба над головой – все улетучилось, растворилось в этой податливой многоцветной путанице травы, в этом торопливом, азартном полете и визжании косы.

Весь первый прокос до самого озера Андрей Иванович прошел без единой заточки, без роздыха, и как бы опомнившись, с удивлением заметил в двух шагах за собой Федора. «Неужели не отстал? Ай да парень! Вот это смолит...» Первый радостный порыв сменился горьким упреком и досадой на собственное легкомыслие: Федор тяжело дышал, лицом был красен, как из бани, пот капал с бровей и с кончика носа, синяя рубаха на спине и груди потемнела... «Экий я мерин норовистый, – подумал Андрей Иванович. – Закусил удила и попер... Чуть парня не угробил, а еще передом не хотел пускать! Экий мерин бесчувственный, право слово...» Но вслух похвалил:

– Что ты делаешь, Федор? Ты меня прямо запалил. Чуть пятки не порезал.

Федор откинул косу и, вытирая ладонью пот со лба, самодовольно, во всю физиономию заулыбался, а у самого грудь ходенем ходила.

– Уж нет, Федор... Ты как хочешь. А я так не могу. Знаешь: тише едешь – дальше будешь. Верное дело, говорю.

– Как хочешь, – милостиво согласился Федор. – Давай потише.

Андрей Иванович удивился еще, заметив на соседнем паю Тарантаса. Когда тот пришел? Когда успел размахаться? Вот как прет. Того и гляди, их нагонит. Этот Тарантас был, пожалуй, лучшим косцом на все Тиханово. На спор за день, правда, от зари до зари, десятину выкашивал... Невысокий, но широченный, как спиленный кряж, ноги кривые, ручищи до колен – не знал в работе он ни угомона, ни устали. Пойдет косить, – машет и машет, что твоя ветряная мельница. Пока ветер дует, и я, говорит, верчусь. А возраст серьезный – за шестьдесят перевалило. Но в бороде – ни седины, волосня еще густая да нечесаная, что ни один гребень не возьмет.

– Егор Терентьевич, бог на помочь! – крикнул Андрей Иванович.

– Спасибо, мил моя барыня. Тебя вроде бы огольцы наши ищут – Якуша с кумпанией. Им выпить хочется, а не на что. Подсоби им улишки продать. Ты, говорят, щедрый на общественное добро. Сбегай, мил моя барыня.

– Ноги жалко. Кабы ты меня на тарантасе прокатил, – отбрехивался Андрей Иванович.

– Ага. Садись на свой и гоняй пешой. Дешевле обойдется, – гоготал Тарантас.

На втором прокосе он нагнал Андрея Ивановича и стал уходить вперед. Бородин было загорелся, пошел на равных, но, вспомнив о Федоре, поутих... «Вот тебе и старик, – думал Андрей Иванович. – К такому деду попадешься в руки – натерпишься муки. И коса у него хорошая. Не коса, а змея! С тремя лебедями, да еще с загогулиной наподобие хомута – знаменитая отметина австрийской марки». И у Андрея Ивановича

коса была добрая – осташковская литовка с тремя ершами. Зиновий из Твери привез ее. Да шурин Матвей подпортил: взял покосить и пятку ей порвал. Правда, Лепило запаял ее медью, да все не как целая. С отбивки еще держится, а на третьем, на четвертом прокосе начинает садиться, приходится чаще затачивать.

– Андрей Иванович, цепляйся мне за портки! Сулой<sup>7</sup> поедем, мил моя барышня! – крикнул Тарантас.

– У меня свой напарник.

– Энтот стриган? – кивнул Тарантас на Федора. – Ен только в ногах путается. Пусти его травку пощипать. А мы вдвоем боле накосим.

– Ах ты, Тарантас кривоногий! – выругался Федька. – Ну, обожди. Ужо ты у меня покосишь!

Андрей Иванович пропустил мимо ушей эту Федькину угрозу и потом очень пожалел.

Вечером, не успел еще толком остыть Федор от косьбы, как подлетел к их шалашу Чувал, выкатил белки:

– Ты чего ж, ай передумал? Бредень готов, ребята в сборе...

Федор рубил сушняк, Сережка подкладывал полешки в костер под высоко вздернутый чайник и котел. Андрей Иванович сидел поодаль на скамеечке, отбивал косу.

– Папань, дак я пойду? – нерешительно спросил Федор.

Андрей Иванович будто бы не расслышал, продолжал тюкать молотком по косе.

– Дядь Андрей, гордеевские водку привезли. Пять четвертей! – стараясь разжалобить за Федьку, сказал Чувал, подумав, добавил: – У нас в шалаше стоит водка-то.

– Не попробовал еще? – спросил Андрей Иванович.

Чувал дернул носом:

– Отец говорит, без закуски нельзя – сопьемся... Послали нас за рыбой.

– А где она, рыба-то?

Чувал ослабил:

– В затоне плавает. Счас мы ее захомутаем.

– Дак нам итить? – спросил опять Федор.

– Ступай! Но смотри у меня – как только стемнеет, чтоб в шалаше был. Понял?

– Об чем речь!

Федька с Чувалом спустились с крутого берега к самой речной кромке и гулко зашлепали лаптями по влажной глинистой тропинке, вспугивая пестрых береговушек, которые выпархивали из норок отвесного берега, как пчелы из улья, и несметной крикливой стаей носились над тихой рекой.

Возле затона их встретила целая орава мужиков и ребят. Они вертелись возле развернутого бредня, перекорялись – кому идти в загон пугать рыбу, то есть снимать портки и лезть в самую середину затона, шлепать палками по воде, кому идти в заброд – тоже без порток и по шейку, а кому тянуть от берега. Говорили хором, шумели, как галки на колокольне. Портки снимать на ночь глядя никому не хотелось, а идти с водилом от берега мог всего один человек.

– Стой, мужики! Здесь вам не митинг и не сход, – крикнул Якуша по праву

---

<sup>7</sup> Вдвоем на одном седле.

хозяина бредня. – Чего орете? Дело голосом не сдвинешь. Это вам не улишки продавать. Вася! – позвал он длинного Сосу. – Тебе не токмо что затон, река до пупка будет. Скидавай портки, становись в заброд. Эй, вы, оголтыши! – сказал ребятам. – Марш в загон. А я от берега пойду, потому как бредень мой и колхоз рыбацкий я созвал. Значит, слушай мою команду.

Бандей и Биняк остались на берегу с ведрами под живую рыбу, покрикивали:

– Буржуй, портянку пожуй... Плыви на ту сторону!

– Я чаво там не видал?

– Рыбу гони... Во-он от тех камышов.

– Я ее туда не пускал.

– Ах ты дармоед... Ксплуататор.

– А ты, Бандей, слопал дюжину лаптей.

– А ведром по шее не хочешь?

– Попробуй тронь...

Якуша меж тем занес водило, поторапливал своего нерасторопного напарника:

– Ты скинешь портки или нет? Соса спеленатая!

– Ты, Ротастенький, не вякай. Не то съезжу по кумполу, зазвенишь у меня по-другому. – Соса сидел сгорбившись – лапти никак не скинет, сопит, запутавшись в оборах. Якуша перекинулся на ребят:

– А вы чего сопли распустили? Тоже в лаптях запутались? Кому говорят? Марш в воду! Гони рыбу с конца, а мы от горловины пойдем...

Ребята наконец оголились и, стыдливо прикрывая ладошкой срам, двинулись, как гусята, один за другим к воде.

– Чувал, ну-к обернись! – крикнул Биняк.

– Чаво? – тот обернулся, чуть пригнувшись и прикрываясь рукой.

– Ты эта, парень... твою штуку рукой не прикроешь. Ты бы фуражку надел на нее. Все грохнули и на берегу, и которые в воду зашли.

– Да ну тебя... – Чувал с разбегу бултыхнулся в затон.

– Якуша, а парень-то у тебя с довеском, – не унимался Биняк. – Держи его про запас на случай, ежели мяса не хватит.

– Ох-хо-хо-хо!

– Ги-ки-ки-ки-ки...

– Хек-хек-хек... Дьявол тебя возьми-то.

– Кусок у него добрый... Ты по стольку в котел не кладешь, – добавил Биняк.

Вася Соса плюнул на свои оборы и покатился по берегу, стуча локтями обземь:

– Брось, Осьпов, брось! Ей-богу, живот подводит.

– Ну, пойдем, что ли ча! – крикнул опять Якуша, берясь за водило. – Не то водка прокиснет.

Соса наконец встал, скинул с себя все до исподников и полез в воду, сводя лопатки и подымая плечи.

– Опускай водило, мерин сивый! – крикнул Бандей. – Что ты его задрал кверху, как ружье? Иль стрелять надумал?

– Дай окунуться... Холодно, – лязгая зубами, ответил Соса.

Наконец бредень опущен; Соса, отплевываясь и фыркая, как лошадь, зачертил подбородком по воде. Якуша шел вдоль берега и тыкал водилом в воду, как вилами в сено. Вода доходила ему всего лишь до колена.

– Эй, Ротастенький! Ты бы лучше послал за себя заместителя по активу –

Тараканиху: все ж таки она в юбке, – посоветовал ему Биняк. – Глядишь, и подол не замочила бы.

– Что, за подол хочешь подержаться? Вон ухвати кобылу за хвост, – отбрехивался Якуша.

Рыбу пугали боталами – двумя широкими жестяными раструбами, насаженными на шесты.

– Чувал, пугани от того куста! – кричал с берега Бандей. – Бей в корень!

Чувал заносил над головой ботало и резко швырял его под куст:

«Угук-гух! Угук-гух!» – утробно вырывалось из-под куста, и далеко за рекой отдавалось размеренно и гулко: «Ух... Ух...» Как будто там кто-то погружался в холодную воду.

– Маклак, ударь по камышам, – кричал Бандей.

«Угук-гух! Угук-гух!» – несло от камышовых зарослей, и снова таинственно замирало где-то за рекой: «Ух... Ух...»

Чем ближе подходили ребята с верховьев затона, тем шумнее становилось возле бредня, суетливее на берегу.

– Кончай заброд, Вася! – кричал Биняк. – Заходи к берегу. А ты подсекай, Якуша...

– Я те подсеку, – отвечал Якуша, матерился и плевал в воду. – Ты лучше пугни от берега, не то рыба в прогал уйдет.

Биняк грохал донцем ведра о воду, но стоял на своем:

– Гли-ко, дьяволы! Рыба скопления не любит, разворот даст. Уйдет! Ей-богу, уйдет...

– Куда она денется? Бредень-то с мотней, – ухал басом Бандей.

– Мотня, что твоя ширинка, расстегнется – не заметишь, как весь запас вывалится.

– Пожалуй, пора! – пускает пузыри Вася. – Не то глыбь пошла, кабы низом, под бредень, рыба-то не выметнулась.

– Давай, заходи к берегу! – сдался наконец Якуша и сам стал «подсекать», то есть кренить водило, подтягивать край бредня к самому урезу воды.

Улов оказался добрый: когда схлынула потоком вода с берега, в длинной, облепленной ряской мотне забили широкие, как лапоть, медно-красные караси, затрепетали радужным оперением брюхатые и гладкие лини, скользкие, плотные, сизовато-зеленого отлива, точно дикие селезни; лениво извиваясь, тыкали во все стороны расплоснутыми широкими мордами сомы; и прядала, путаясь в сети, пятнистая щука длиной с оглоблю.

Набежали ребята с гиканьем, хохотом, стали хватать рыбу, греметь ведрами.

– Чувал, а Чувал? Успокой ты щуку!

– Чем?

– Вот дурень! Ахни ее по голове своей кувалдой.

– Тьфу ты, пустобрех! Прилипнет как банный лист.

– Дак у него свой молоток отстучал. Он теперь только глядя на чужие и радуется.

– Гы-гы... Мысленно.

– Эге. Воображая то есть.

Рыбой набили оба ведра, да еще несли в руках отдельно щуку и сома. Завидя такую добрую кладь, мужики стали сходиться к Якушиному шалашу, откуда заманчиво поблескивали горлышками обернутые в мокрую мешковину четвертя с водкой. Первым пожаловал к ловцам Максим Селькин:

– Я, мужики, дровец нарублю. – А сам все ощупывал карасей, мял их, чмокал губами. – Жирные...

– А сырую съел бы? – спросил Якуша.

– Нашто?

– Ежели б вареной не дали.

– Съел бы, – покорно вздохнув, сказал Селькин.

Потом пришел Федорок Селютин в длинной, до колен, тиковой рубахе, босой. Этот заботливо оглядел и потрогал четвертя с водкой. Изрек:

– Якуша, надо мешковину смочить заново. Водка теплая.

– А может, в реку снести четвертя? – предложил Бандей.

На него зашикали:

– Ты что, в уме? Берега крутые... А ну-ка да споткнешься с четвертями?

– Можно в обход, от затона...

– А там крутит... Унесет четвертя...

– Они же не плавают!

– Говорят, бутылки океан переплывают.

– Дак то ж пустые.

– Неважно. И водку унесет.

– Куда ее унесет?

– В омут. Закрутит – и поминай как звали.

– Чтобы четвертя с водкой унесло? Ни в жисть не поверю.

– А ты знаешь, в Каменский омут Черный Барин мешок проса уронил. Слышал, где выплыл?

– И где?

– В Оке, под Касимовом. Мешок по таблу узнали, печати то есть.

– Дак то ж под Каменкой, пропасть!

– Может быть, и здесь такая ж пропасть. Ты ж туда не лазил, в воду! А хочешь четвертя поставить.

Петька Тыран пришел в валенках. Его позвали чистить рыбу.

– Не-е, мужики... не могу. У меня обувь не соответствует.

– А водку пить она соответствует?

– Дак я ж Кольцов! – бил он себя в грудь.

Все лето по вечерам носил он валенки, а зимой часто в сапогах ходил. Его спрашивали:

– Отчего в жару валенки надеваешь, Петька?

Он отвечал:

– Валенки летом дешевле, оттого и ношу их летом.

А называл себя Кольцовым потому, что любил декламировать его стихи:

Что, дремучий лес,

Призадумался?

Думой темною

Запечалился...

– Петька, лучше спой.

– Это можно.

Тыран оборачивался к реке, расставлял ноги пошире, точно в лодке плыл, и, закидывая свою кудлатую голову, безвольно опустив руки, самозабвенно, прикрыв глаза, широко и свободно затягивал песню, знакомую всем до малого словца, до

последнего вдоха:

На кленовой скамье-е, перед бледной луной,  
А мы праздной порою сидели;  
Солове-е-ей распевал над ея голо-во-о-о-о-ой,  
Липы нежно листвою шуме-е-е-ли.

Пока мужики готовили пирушку, ребята носились возле шалашей, затевая одну проделку за другой. На отшибе подальше от реки стоял кое-как сляпанный шалаш Кузьмы Назаркина, бывшего волостного урядника, к старости сильно погрузневшего, бестолкового и неповоротливого мужика. Он сидел у своего костра и ел кашу. Чувал подполз по высокой траве и крикнул ему в спину, точно как дергач.

– Ну, черт горластый! – проворчал Кузьма. – Чего тебе надо? Пошел вон! – и бросил в траву головешку из костра.

Чувал переполз на другое место и, только Кузьма взял ложку, крикнул ему в спину еще звонче. Кузьма опять оставил кашу, вытянул головешку из костра и запустил ее в траву, взял котелок с кашей, перешел на другое место. Но только принялся за кашу, как снова за его спиной раздалось навязчивое: «Кррр-я-як».

– Кузьма Иванович! – кричали с берега мужики. – Дай каши дергачу! Не жадничай...

– Птица тожесть есть хочет.

– У нас ноне равноправия...

– Не жадничай... Это тебе не при старом режиме... Гы, гы.

Кузьма бросил наземь котелок и, переваливаясь, как старый гусь, пошлепал в шалаш.

Меж тем Федька Маклак облюбовал Кукурая; тот собирался ехать в Тиханово и запрягал в телегу такого же подслеповатого, как сам Кукурай, серого мерина. Телега от Кукураева шалаша стояла далеко, и пока Кукурай сходил в шалаш за хомутом, Маклак обернул мерина в оглоблях, поставив его мордой к телеге, задом на выход из оглоблей. Кукурай, смутно видя мерина, занес хомут над ним и опустил его прямо на круп.

Мерин выдул животом воздух, а Кукурай бодро прикрикнул на него:

– Но-о! Рассапелся!.. Проснись, ненаглядная!

Мужики, сидевшие у костра, так грохнули, что даже мерин поднял голову, а Кукурай выпустил хомут из рук.

– Андрей! – кричали ему. – Поищи у него под хвостом голову-то.

– Он ее промеж ног спрятал.

– Атаманы, грабители! Что я вам сделал? – чуть не плача спрашивал Кукурай.

– А мы что тебе сделали? Телегу увезли?!

– Ты ж сам на задницу хомут надевал...

– Звонарь бестолковый, звонарь и есть.

Когда поспела рыба, ее вытащили на деревянные тарелки, нарезали большими кусками и посолили крупной солью. Уху черпали кружками, водку запивали ухой, потом уж заедали рыбой. Без малого сорок мужиков чинно расселись в кружок и в напряженном молчании ожидали свою порцию водки; каждый пришел либо с кружкой, либо с ковшом, но наливали всем одну и ту же мерку.

Якуша держал очередную четверть за бока, как гусыню, и, наклоняя, лил в свою алюминиевую кружечку, размером с чайный стакан.

Пили не чокаясь, – вольют ему порцию, он глянет на нее, жадно потянет ноздрями

воздух и, нахмурившись, словно недовольный, решительно опрокинет в рот. «Эх, кабы вторую вослед пропустить!» – «А что, соседу не надо? Он у тебя рыжий, что ли?»

Собрались на круг всем шестаком, только Кузя Назаркин не пришел – обиделся за дерчага, да Тарантас надулся, что его улишки в общий котел пошли: «Вам только волю дай – не токмо что улишки, загоны пропъете».

– Мужики, чего ж мы под сурдинку пьем? – спросил Якуша Ротастенький. – Хоть бы гармошку-то растянули.

– А где Буржуй?

– С ребятами.

– Обиделись они: рыбу, говорят, гоняли, а выпить не дают.

– Рано ишшо. Пусть сопли научатся подтирать.

– Буржую-то можно. Все ж таки – гармонист.

– Бурж-у-у-уй!

Он выкатился откуда-то из травы, по-собачьи отряхнулся, встал – голова большая, ноги короткие – с готовностью таращит глаза, руки по швам:

– Чего надо?

– Выпить хочешь?

Только головой мотнул. Подали кружку – осушил единым духом.

– Ого, этот без приманки берет.

– Шелешпер.

– А закусить хочешь?

– Мы уже рыбки поели, – сказал Буржуй.

– Молодец! Впрок закусывает.

– Ты чего в траве лежал?

– За Тарантасом смотрел.

– Зачем?

– Так.

– Где же он, Тарантас?

– На реку пошел, котел моет.

– Эй, мужики! Хватит ему экзамены устраивать. Неси гармонь, играть будешь.

– Я ее дома оставил.

– Как оставил?

– Дак девок нет пока. Вот приедут гребсти – тогда и гармонь привезу.

– Ах ты, забубенный! Зачем же водку пил?

– Впрок. Потом отыграю, – Буржуй ухмыльнулся и дал стрекача.

– Чухонин, сыграй на своей нижней губной барыню, а мы спляшем, – сказал Бандей.

– Дай воздуху набрать. – Биняк напыжился до красноты, встал на карачки и вдруг отчетливо заиграл на своем нижнем инструменте барыню:

Тра-та-та-ти

тра-та-та,

Та-ра-ра-ра

ти-ри-ри...

А Селютан с Бандеем тотчас сорвались в пляс, – пошли вприсядку вокруг котла с ухой, присвистывая и приговаривая:

Между ног – чугунок,

Сзади – сковородка...

Ой, вали, вали, вали!  
Закусили кумары,  
Кумары да мушки,  
Не боюсь Ванюшки...

- Тяни, Осьпов! Тяни! Крой дальше!!
- Дальше она у меня слов не знает, – сказал Биняк.
- Биняк, а сорок раз подряд дернуть можешь?
- Могу.
- В любое время дня и ночи?
- Могу.
- Если разбудить... И сразу чтобы сорок раз подряд?
- Могу.
- Спорим на стан колес!
- Ого-го! Дай разбить руки!

К Андрею Ивановичу подошел Тарантас с косою в руках и взял его за плечо:

- Отойдем в сторонку!
- В чем дело? – спросил Бородин.
- Ты погляди, что твой щенок сделал! – тыкал он пальцем в косу. – Он мне всю жалу заворотил.

– Чем?

– Пятаком медным по косою поводил. Вот что наделал твой атаман. Мне за такую косу свинью давали. А он, стервец, пятак по жалу. Это как расценить?

– погоди, я сейчас... – Андрей Иванович бросился к своему шалашу.

Но Федьки там не было.

Андрей Иванович побежал к затону. Кто-то свистнул от реки, и трое ребят: Буржуй, Федька и Чувал – вылезли на берег.

– А ну, подойди сюда! – крикнул Андрей Иванович Федьке.

Тот увидел стоящего в отдалении Тарантаса с косою, мигом смекнул, в чем дело, и легким поскаком побежал к затону.

– Стой, сукин сын! Догоню – заporю! – заревел Бородин и бросился за сыном.

Федька, знавший весь затон вдоль и поперек, добежал до брода и, разбрызгивая воду, кинулся на ту сторону. Легко, по-козлиному выскочил на песчаную гору и побежал к реке. Когда Андрей Иванович, увязая в песке лаптями, с трудом перевалил через гору, Федька снимал уже портки на речном берегу. Лапти с оборами валялись на песке. Завидев отца, Федька скатал штаны с рубахой и, огребаясь одной рукой, в другой держа над головой этот узелок, поплыл через реку.

Андрей Иванович погрозил ему кулаком:

– Ну, погоди! Вернешься – я тебя распишу этими оборами.

Он забрал лапти и подался восвояси. Возле шалаша увидел чужую лошадь под седлом, удивился: что еще за поздний гость? Откуда? Зачем??

Андрей Иванович невольно прибавил шагу. За шалашом на скамеечке для отбивания кос сидел в полной форме, при нагане, Зиновий Тимофеевич Кадыков. Фуражка со звездой лежала на чурбаке. Поднялся навстречу, поздоровались.

– Завтра в ночь будем ловить возможного вора твоей лошади, – сказал Кадыков. – Ты мог бы понадобиться. И лошадь опознать... итак, к делу.

– Спасибо. Я непременно поеду. Куда?

– Сперва в Ермилово, а потом в лес.



– Но мне надо домой съездить. Жenu сюда послать, – потом замялся. – Ружье можно с собой взять?

– Бери, пригодится. Нас всего трое из милиции, а их – неизвестно.

– Ничего, справимся.

– Давай! Я буду ждать тебя до обеда в Ермилове у Герасима Лыкова. Там спросишь.

– Приеду вовремя.

– Ну, пока, – Кадыков пожал ему руку и прыгнул в седло.

### 13

Андрей Иванович, наказав Петьке Тырану приглядывать за Сережкой, еще засветло выехал верхом домой. Лошадь, успевшая нагуляться за день и отдохнуть, легко и резво бежала по высокой траве, подгоняемая комариным зудом. Бородин скакал напрямки, не считаясь ни с болотами, ни с бочагами, бродов не искал – разбрызгивал лаптями воду на переездах; замочил не только штаны, но даже попону, которую подостлал на холку лошади. Думал только об одном – наконец-то посчитаемся, сойдемся в открытую... Только бы не помешали, не спугнули субчиков-голубчиков; а уж там повеселимся, поглядим, чья возьмет. Кто эти воры, Кадыков не сказал; но Андрей Иванович думал теперь только о Жадове, и лупоглазая, длинноволосая физиономия Ваньки маячила перед его мстительным взором, застя собой белый свет, и яростное чувство накатывало волнами из груди, перехватывало горло и жарко било в голову.

Очнулся он от этого наваждения только под Пантюхином, когда выехал к Святому болоту. Сперва увидел длинный загон картофельной ботвы, темным клином врезавшийся в широкий луговой разлив уже скошенной травы, – по сочной и шелковистой, салатного цвета отаве вразброс стояли желтовато-бурые копны, присаженные дождем, дальше, к лесу – нетронутая стенка высокого канареечника, синяя снизу и рыжая, от цветущих метелок, почти ржавая сверху, с яркими фиолетовыми вкрапинами одиноких цветов плакун-травы.

Облака на закате лилово-синие, размытые, словно расплавленные, и сквозь них багровела, касаясь земли, огромная горбушка солнца. Торопливо и настойчиво, как заведенный, бил перепел, мягко трещали кузнечики, да где-то за канареечником, возле ольхов, одиноко и пронзительно плакал чибис.

Наконец Андрей Иванович выехал на дорогу, черную, хорошо накатанную и пружинистую, какие бывают только на сухих торфяниках. Перед ним долго бежала, перепархивая время от времени, пестрая трясогузочка с желтоватой грудкой.

– Цвить! – крикнет звонко и радостно и бежит, бежит, словно вперегонки играет.

Когда взлетает, хвост, белый по краям, раскрывается как веер.

Ах вы, птички беззаботные! Все бы вам чирикать да веселиться, подумал Андрей Иванович. И нет вам дела до нашей суеты да злобы.

В Тиханово въехал он уже затемно.

Дома застал он настоящий бабий переполох: Надежда, Мария и приехавшая из Бочагов на помощь в сенокосную пору баба Груша-Царица встретили Андрея Ивановича пулеметной трескотней:

– Дожили, докатились... Нечего сказать! – кричала Надежда. – Ушла самоходкой... На все село опозорила! Иди сейчас же за ней! Хоть за волосы, но притащи ее, паскудницу.

– Кого тащить? Откуда?

– Торба наша... Торба выскочила замуж, – потрясала руками над головой Мария, словно в каждой руке у нее было по погремушке, но они не гремели, и Мария от удивления делала ужасное лицо. – Хорошенькое замужество! Она подол себе застирать не умеет.

– Эка невидаль, подол? С грязным походит. Не в том дело... Из какого он рода? Вот что важно, – гудела Царица, сидя на табуретке посреди летней избы неподвижно, как идол на пьедестале. – Говорят, он, этот Сенька, из приюта. Как он туда попал? Откентелева? А может, он воровского роду? Мотрите, запустите собачье семя в родню, сами брехать обучитесь...

– И смотреть нечего... Взять ее, дуру шлопутную, за косы притащить, – настаивала на своем Надежда.

– Кто ушел? Куда? Может, поясните мне толком, – сказал Андрей Иванович, все еще стоявший возле порога.

– Ну, Зинка ушла. Господи, вот еще балбес непонятливый нашелся, – хлопнула руками по бедрам Надежда. – В полдень я корову ходила доить в стадо, Маша у себя в конторе задержалась. Она пришла домой, собрала свои манатки – и айда через сад. Там, за градьбой, ее Сенька ждал, Опозорила нас, потаскуха окаянная. Иди за ней. Хоть упрашивай, хоть силой, но веди ее назад. А там поговорим.

– Что она, телка, что ли? – сказал Андрей Иванович, все еще думая про свое.

– Бирюк ты, бирюк лопаухий. И лошадь у тебя из-под носа увели, и родню поганят, и гляди – еще самого из дому прогонят. А ты и будешь хлопать белками да шириной трясти. Слышишь, иди за ней! Не доводи до греха.

Надежда застучала ладонью об стол.

– С ума ты сошла, баба. Она ж не дите малое. Все ж таки она совершеннолетняя. Это где ж такие порядки заведены, чтоб взрослых людей на веревке водить? Или вы позабыли, что у нас Советская власть? То есть свобода действий...

– Во, во! – обрадованно подхватила Надежда. – Это ваша свобода действий доведет до того, что мужики с бабами под заборами валяться начнут.

– Да иди ты! – отмахнулся Андрей Иванович, проходя в горницу. – Мне не до ваших глупостей.

– Погоди, Андрей Иванович! – сдержанным тоном сказала Мария.

– Ну? – он оправил усы и вздохнул.

– Дело не в том, чтоб вести кого-то на веревочке. Но узнать, что за человек стал мужем нашей Зинаиды, при каких обстоятельствах они сошлись. Не шутка ли здесь. Не обман ли одной более опытной стороны? Я знаю этого субъекта. Он на все способен. И вообще, брак ли это? Замужество ли? Насколько мне известно, они даже не расписались. Все это необходимо выяснить. И обязан это сделать ты, Андрей Иванович, как глава семьи.

Андрей Иванович только головой мотнул:

– Попал из кулька в рогожку... Заполошные! Вы даже не спросили, зачем я здесь оказался? Мне ехать надо в Ермилово. Лошадь, кажется, нашлась.

– Успеешь, – сказала Надежда. – Если нашлась, то никуда она не денется. А здесь не лошадь – живой человек.

– Андрей Иванович, ты у нас надежда и отрада всего рода нашего. Ты и судия и заступник. Разберись толком, рассуди по совести. А вдруг она не по своей воле? – сказала Царица.

– Как не по своей воле?

– А вот так. Наговором взяли. Как нашу Марфуньку за Филиппа выдали. Она девка видная была, красивая, а он так, ошурок, от горшка два вершка. Гоп-гоп, где мои гогицы! Зато дед его Тереха был колдун. Пришли к ним зимой вальщики, валенки валять. А Тереха им и говорит: «И для нас валяйте и на невесту». – «Как же мы будем валять на невесту, если не знаем, кто она?» – спрашивают вальщики. А он им: «Вон, глядите, девка за водой пошла. Вот на нее и валяйте». А те смеются: «Эта, мол, Марфунька Обухова. Станет она связываться с твоим Филиппком». – «Станет», – говорит Тереха. И добился своего. Придет, бывало, к нам и все к матери: «Сватья, выдай девку к нам!» А мать ему: «Какая я тебе сватья! Ступай с богом». А он все к Марфуньке норовит подсесть. «Терентий, – говорит ему Марфа, – ты человек меченый. Не трогай девку!» – «Да я что? Я так, все ха-ха да хе-хе». А один раз Марфунька пряла на скамье, он к ней все-таки подсел, в ухо ей дунул и в плечо толкнул. И что ж вы думаете? Ушла девка... Вот и я говорю – сходи разберись. Может, он сам меченый? Или подсылал кого? Теперь не прежние времена, за такое дело можно и привлечь куда следует.

Андрей Иванович скривился в усмешке:

– Ладно, подойдет время, выясним – колдун он или моргун.

– Ты не отмахивайся! – крикнула от стола Надежда. – Отвечай прямо: пойдешь или нет? А то сами сходим. Хуже будет.

– Хорошо, схожу, – сдался он. – А вы соберите мне поесть да в сумку положите чего-нибудь... С собой, на дорогу.

Сенечка Зенин жил возле церкви у Ильи Евдокимовича Свистунова, бухгалтера из райфо. Свистунов был человек хозяйственный, жил в пятистенном доме, детей не имел.

Зенину сдавали горницу с отдельным входом и готовым столом: молоко, яйца, жирные щи. По праздникам блины, драчены и брага. И за все это Зенин платил по рублю в сутки. Хозяйка, кривобокая Матрена, отзывалась о постояльце уважительно: не пьет, не курит. Одно плохо – иконы вынес из горницы.

Андрей Иванович застал Сенечку и Зинку дома; они сидели за столом и пили чай с конфетами, шумно втягивали воду с блюдец и громко причмокивали языком.

Нельзя сказать, чтобы их смутил приход позднего гостя, Зинка даже обрадовалась, заулыбалась, но покраснела, как недозрелая вишня.

– Садись с нами чай пить, дядь Андрей!

А Сенечка чинно подал табурет, сам сел напротив, скрестил руки на груди и запрокинул свои открытые шалашиком ноздри.

– Тебе налить, дядь Андрей? – повторила еще раз Зинка.

На столе стоял самовар, розовые жамки и конфеты «Раковая шейка».

– Спасибо, не хочу, – отказался Андрей Иванович.

– Поскольку я понимаю, вы пришли на предмет серьезного разговора насчет нашего бракосочетания, – степенно заявил Сенечка.

– Какой уж там серьезный разговор! Разговоры ведутся до женитьбы... – Андрей Иванович запнулся, – как принято у добрых людей. Хочу узнать: поженились вы или как?

Зинка опять покраснела и уткнулась в чашку.

– Если вы имеете в виду церковный обряд, связанный с религиозным дурманом, то такой женитьбы здесь не было и не будет. Все остальное налицо... Как видите, –

Сенечка широким жестом показал на стол и потом на кровать.

Андрей Иванович посмотрел на убранную постель и узнал свое пикейное покрывало и большую пуховую подушку с вышитыми Надеждой вензелями НБ. Вторая подушка была поменьше и, видимо, принадлежала Зенину.

– Ну, кровать это еще не женитьба, – усмехнулся Андрей Иванович. – А как насчет регистрации?

– Женитьба есть добровольный союз двух равноправных членов общества. По нашим понятиям, товарищ Бородин, любовь есть главная связь свободного брака. Все же остальные церковные и бумажные формальности только оскверняют истинное чувство. Как видите, мы за новые отношения людей, не зараженных буржуазными предрассудками отживающего мира. Но вы не беспокойтесь, мы распишемся.

– А посоветоваться с родными, поблагодарить хотя бы за приданое, – кивнул он на кровать, – это что, тоже предрассудок? А по-воровски убежать из дома? С узлом через заборы лазить? Это что, новый обряд? Примерная свобода действий? Где же вы такое вычитали? В каком уставе?

– К сожалению, мы столкнулись с упорным нежеланием родственников считаться с нашим чувством, то есть со стремлением навязать свою волю, почерпнутую из домостроя. И все только потому, что наши представления на классовую структуру и формы борьбы не сходятся.

– Какие формы? Какая борьба? Кто с вами не сходится? – строго спросил Андрей Иванович.

– Вам лучше знать, – уклончиво ответил Зенин.

– А ты чего молчишь? – набросился было Андрей Иванович на Зинку. – Что произошло? Ты почему сбежала?

– Я... я больше не могу, – Зинка хлюпнула носом. – Маша с Сенечкой поругались. Она не пускала его к нам. У них по... политические разногласия.

Андрей Иванович с трудом удержался от неуместного смеха и сказал строго:

– Ну ладно, у них политические разногласия. А у нас с тобой что за политика? Почему ж ты со мной не поговорила, что выходишь замуж? С Надеждой не посоветовалась? Мы тебя вроде в сундук не запирали и на привязи не держали. Зачем же тайком убегать из дома? Зачем обижать людей?

Зинка только всхлипывала и заливалась слезами.

– Товарищ Бородин, оставьте этот прокурорский тон. Вы не судья, а мы не подсудимые, – сказал Сенечка сухо. – Зина здесь ни при чем. Это я настоял на такой форме наших с вами отношений.

– Какая форма отношений! Просто сбежали, как воришки, и приютились в чужом углу. Жили бы у нас. Чай, не стеснили бы. У нас и горница вроде бы попросторнее.

– А если мне у вас не нравится? Если обстановка вашей жизни мне не по душе?

– Чем же тебя не устраивает наша обстановка? – искренне удивился Андрей Иванович.

– К примеру, своим уклоном к частному накоплению. Три лошади, двадцать овец, два дома, кладовая... Не много ли держите в одних руках при нашем всеобщем стремлении к равенству?

– Ты что ж, за то, чтобы всем жить в чужих домах и спать на чужих подушках? – накалялся Андрей Иванович. – Как до двадцать второго года, да?

– До двадцать второго года был коммунизм, а теперь торгашество, погоня за наживой... – кричал, багровея, и Сенечка. – Не для этого устанавливали Советскую

власть.

– А ты ее устанавливал? Ты в те годы под стол пешком ходил. А я и четыре моих брата всю гражданскую ворочали. И землю делили. Поровну, без обиды. Бери, старайся, работай...

– Я просто считаю по теории классовой борьбы – каждая собственность калечит отношения между людьми. Поэтому я и забрал свою жену из вашего частнособственнического гнезда... Где, между прочим, вы меня все ненавидели.

– Подлец! – Андрей Иванович встал и стиснул кулаки. – Если бы не моя племянница, я бы тебе голову намылил за такие слова.

Сенечка тоже встал:

– Спасибо за откровенность. Но мы еще как-нибудь встретимся. Посмотрим еще – кто кого намылит, а кто и утрется.

– Ну что ж, поглядим.

Андрей Иванович вышел и сильно хлопнул дверью.

У Васи Белоногого в Ермилове был свой человек, некий Герасим Лыков. Работал он в Ермиловском сельпо, а в лесную кампанию был у Васи весовщиком на продовольственном складе.

Этот Лыков однажды в Елатье увидел Жадова на рыжей кобыле, но не мог допытаться – куда уехал Жадов и где прячет кобылу. После убийства ветеринара Белоногой наказал Лыкову:

– Герасим, душа из тебя вон... Но с Жадова все эти дни глаз не спускай. Чего заметишь – дай мне знать.

И Лыков заметил... Как-то на ночь глядя заехал к Жадову Сенька Кнут на той самой рыжей кобыле, запряженной в тарантас. Не успев толком покормить лошадь, они тотчас уехали в лес. Подался за ними охлябью и Лыков.

Часа три рысил он по темным лесным дорогам за отдаленно грохотавшим тарантасом, пока не выехал на открытую поляну к Сенькину кордону. Здесь он спешил, привязал в лесу лошадь, а сам, хоронясь за соснами, назерком подошел к подворью.

Со двора доносились незнакомые голоса и лошадиное фырканье. Потом хлопнула сенная дверь, проскрипели под тяжелыми шагами ступени, и раздался частый жадовский говорок:

– Вы долго тут будете возиться? Лошадь распрячь не умеете!

– Да не видать ни хрена. Сбрую вот собрать надо, отнести в хомутную, – ответил кто-то недовольно, ухая басом как из колодца.

– Зачем? Оставьте все в тарантасе, – сказал Жадов, – завтра утром я на рыжей уеду в Елатьму. А вы давайте на Воронке в Ермилово. Заберете там все мои пожитки.

– А как же насчет барана?

– Барана привезешь послезавтра, понял? – сказал опять Жадов. – Я заночую в Елатье. Вернусь послезавтра к вечеру. Вот тогда и отходную сыграем.

– Один приедешь? Или как? – спросил кто-то третий жидким голоском.

– А тебе не все равно?

– Дак на сколько человек жарить?

– Жарь на всех, чтоб себя не обделить, – сказал Жадов, и все засмеялись.

– Ну, пошли в избу! Не то ждать не будем.

Через минуту хлопнула дверь, и все стихло.

Рано утром Лыков был уже в Агишеве. А в тот же день, пополудни, Вася Белоногий поймал в тихановской милиции Кадыкова и выпалил ему прямо в коридоре:

– Жадов уволился из лесничества. Послезавтра уезжает. Брать его надо в ночь перед отъездом. Он соберет приятелей на Сенькином кордоне, и лошадь Бородина будет там, и вещи краденые, как я полагаю. А может быть, и вся шайка окажется в сборе. Дорогу мы знаем. С завязанными глазами доведу.

Кадыков выпросил у начальника милиции Озимова двух милиционеров: Кулька и Симу; под вечер отправил их вместе с Белоногим в Ермилово, а сам завернул на луга – позвать Бородина.

Меж тем Иван Жадов, ничего не подозревая и ни о чем не догадываясь, гулял в Елатье «последний нонешний денечек». Он приехал налегке и с деньгами. Сенька Кнут удачно продал на базаре в Дощатом пару лошадей да барахло деминское переправил в Муром, за что Жук выдал ему полтыщи задатку. Да еще от лесничества, при расчете, капнуло две сотни за «беспризорные» штабеля дров.

Словом, Жадов был богат и весел. Он надел свою лучшую темно-синюю фланель – суконную блузу и шелковую тельняшку в голубую мелкую полоску. НагладилсЯ так, что рубчики с блузки сливались с рубцами на брюках, стояли как замороженные... стрелками! А клеша наглухо прикрывали носочки начищенных ботинок. Оделся, хоть в строй становись, на парад.

Алена снимала квартиру на речном съезде, недалеко от пристани. Высокий сосновый пятистенок под железной крышей, на каменном фундаменте был хорошо знаком Жадову. Он круто осадил возле тесовых ворот кобылу, привязал повод за большое бронзовое кольцо, ввинченное в дубовый столб, и легко взбежал на высокое крыльцо. Дверь ему отворила не хозяйка, а сама Алена. Вместо приветствия она сердито отчитывала его:

– Ты что, с ума спятил? Зачем лошадь сюда пригнал? Или забыл – где постоянный двор?

Он грубо стиснул ее за оголенные плечи и полез целоваться. На ней был розовый сарафан без кофты с широким вырезом на груди, из которого соблазнительно выпирали белые полушария.

– Вва! – азартно выдохнул он и запахал носом ей в грудь.

– Да пошел же! – она с такой силой оттолкнула его, что он стукнулся плечом о притолоку.

– Эх-ва! Пожалей косяк, – осклабилсЯ Жадов и снова поймал ее за плечи. – Ну, куда ты от меня денешься, пташка-канареечка? – и вдруг заголосил, выпучив глаза:

От наказанья-а-а весь мир содрогнется-а-а,

Ужаснется и сам сатана-а-а.

– Вот ты и есть сатана. Я что тебе говорила?

– Что? – мотнул он головой.

И Алена теперь заметила, что был он под хмельком.

– Не ездь ко мне больше! Ты меня обманул! Я из-за тебя с работы ушла, понял?

– А если и я из-за тебя ушел с работы? Тогда что? А?!

– Врешь. Покажи документы?

– Отворяй ворота! Вот лошадь распрягу... А там уж покажу тебе белый свет в уголке, который потемнее.

– Ты не дури. Хозяин не велит принимать чужих лошадей.

– А хрен с ним. Все равно завтра наверняка уедем отсюда.

– Куда?

– Куда хочешь. На все четыре стороны.

– А не врешь? – спросила так, что голос дрогнул и брови разошлись, разгладилось лицо, и даже улыбка заиграла на краешках губ.

– Отворяй! Иль не чувствуешь? За тобой приехал... Вот соберемся в дорогу, купим чего надо, гульнем и завтра уедем насовсем. И-эх! Нас не выдадут черные кони. – Жадов рассыпал ботинками чечетку. – Отворяй ворота!

– Сейчас хозяйке доложусь, а ты лошадь отвязывай. – Она, как девчонка, засеменяла по длинному коридору к избяной двери.

Когда Жадов, оставив телегу на подворье, вводил в конюшню лошадь, Алена кинулась ему помогать:

– Я тебе сенца принесу.

– Кто же будет теперь старое сено жевать?

– А у нас сенцо свежее.

– Где?

– На повети.

Алена проворно полезла по стремянке на поветь. Ее широкий подол сарафана распахнулся, как колокол, и сверху, из-под этого колокола, ударили по глазам Жадова, как световые столбы, мощные белые ноги.

– Подожди меня там! – крикнул Жадов.

– Чего?

– Мне надо тебе что-то сказать.

Он быстро привязал лошадь у кормушки и, пыхтя, как бык у месива, раздувая ноздри, полез на поветь.

– Чего ты? – спросила она с удивлением, глядя на его разгоряченное алчное лицо.

Он, как давеча, стиснул ее за плечи и повалил на сено.

– Господи! Вот ненормальный, – бормотала она, не сопротивляясь. – Увидят же! Что подумают хозяева?

– Ум-м!.. Ффх! – Он тряс головой, мычал и фыркал, распаяясь все больше, как кузнечный горн. И ему было наплевать на всех, кто его увидит, и на все, что о нем подумают.

...Потом долго лежали, притомленные, молчаливые, отрывисто и глубоко дыша, словно лошади после пробежки.

– Значит, завтра уедем? – наконец спросила она.

– Уедем. Сперва на Сенькин кордон. Там ночку отгуляем, простимся с друзьями... И гайда!

– Куда же? В Муром? К Жуку?

– Нет. Жук раскололся.

– Как? Посадили?

– Хуже – он пошел работать в потребкооперацию. – Жадов помолчал, отрешенно глядя вверх, на самый конек. – Обложили его индивидуалкой... Полторы тысячи рубликов приписали. Он и скис.

– А где взять такие деньги? – сочувственно спросила Алена.

– Не в деньгах дело. Деньги – навоз. Где люди обитают – там и деньги накапливаются. Деньги брать он умел... Не в том закорюка.

– И куда ж мы теперь? – затаенно спросила Жадова Алена.

– Двинемся на Пугасово... Продадим там лошадь, а дальше по железке на

Орехово. К дяде твоему в гости... Подарков накупим. Надо порадовать человека, заодно и посмотреть – на что он способен. Устроишься на фабрику. А я по задворкам похожу, понюхаю – чем пахнет. Говорят, в Шатуре сейчас весело: народу много. Там ведь недалеко... Поглядим.

После обеда, когда схлынула жара, пошли в торговые ряды. Подымались долго по извилистому пыльному съезду, отороченному короткими толстыми столбами.

– погоди, дай дух перевести! – часто останавливалась Алена и опиралась на торец аккуратно зачищенного гладкого столба.

– Садись мне на холку – вывезу, – смеялся Жадов и подставлял свой загорелый бычий загорбок.

На площади, над старыми белыми корпусами бывших земских да уездных управ, над высоким крепостным валом носились стрижи и ласточки. В отдалении у самого речного обрыва, застя собой полнеба, стоял громоздкий белый куб уездной тюрьмы с плоской и ржавой крышей, с черными квадратными дырами вместо окон, заплетенными узловатыми, такими же ржавыми, как крыша, решетками.

Над длинной кирпичной стеной уныло маячила одинокая дощатая вышка с часовым в черной фуражке; он смотрел на площадь, опершись на поручни, и зевал. Рядом стояла, прислоненная к столбу, его винтовка с примкнутым штыком.

– А что, Ванька? Давай перейдем площадь, постучимся в ворота. Небось пропустят. Куда еще ехать? Ведь все равно этих ворот не минуешь.

Жадов побледнел и нервно передернул пересохшими губами:

– Дура! Такими словами не шутят.

В торговых рядах под белокаменной аркадой, на исшорканных изразцовых полах было прохладно и глухо, как в подвале. Народу было мало – день будний, к тому же сенокосная пора...

– Ну, чего тебе надо? Выбирай! – говорил Жадов, водя ее вдоль прилавков.

Она взяла темно-синий бостоновый костюм – мечта всех елатомских модниц, подобрала к нему белую батистовую кофточку с шитьем и черные лакированные туфли на высоком каблуке.

– Я теперь как из песни, – радовалась Алена.

– Чего? – не понял Жадов.

– Слыхал песню:

Я одену тебя в темно-синий костюм

И куплю тебе шляпу большую...

– А-а! Сейчас мы сообразим насчет шляпы. Выбирай, пока не передумал, – подталкивал ее Жадов к прилавку с платками и сам удовлетворенно хмыкал: – Ну, что? Глаза разбежались? Или дух перехватывает?

Из яркого набора ситцевых и сатиновых платков, газовых, атласных, шерстяных, одноцветных – синих и красных, малиновых и небесно-голубых, канареечных, вишневых и черных в крупных разноцветных бутонах свисал один королевский персидский плат, весь перевитый тонкой набивной вязью вихревого рисунка, охваченный шафрановым жаром пылающей расцветки, с длинными черными кистями.

И такой громадный, что не только голову покрыть, кровать двуспальную застелешь. Алена остановилась перед ним как замороженная.

– Понравился? – спросил Жадов.

Она только вздохнула.

– Сколько стоит эта штука? – спросил он продавца, перегнувшись через прилавок



и схватив за конец свисающий плат.

– Платок персидский, – строго сказал продавец. – Просьба руками не трогать.

– Сколько стоит, говорю? – грубо окрикнул его Жадов.

– Пойдем, Иван! Пойдем, – сказала Алена, беря Жадова за руку.

– Отойди! – выдернул он руку и опять продавцу: – Ты что, язык проглотил?

– Двести сорок рублей, – ответил тот, чинно поджимая губы.

– Заверни платок! – Жадов вынул из кармана флотских брюк толстую пачку червонцев и, отсчитав нужную сумму, небрежно бросил на прилавок. – Сморчок! Знай, с кем дело имеешь.

А вечером, прихватив с собой Верку, они пошли в трактир. В трактире было пиво, и потому за столиками и возле буфета толкалось много народу. Алена сходила к «самому», который сидел за дощатой перегородкой, выкрашенной в голубой цвет. Через минуту вынесла оттуда круглый столик и поставила его в углу за высоким лопушистым фикусом в кадке. Не успели гости рассестись за столиком, как появился сам хозяин – лысый толстяк в белой куртке с покорным услужливым лицом, скорее похожий на полового, чем на владельца трактира. Извинительно улыбаясь, глядел только на Жадова, как кролик на удава, лепетал:

– Есть свежая стерлядка, судачок, грибки маринованные, тоже свежие...

– Сперва говори, что есть выпить! – сказал Жадов.

– Выпивка у нас известная: значит, рыковка, в розлив и под сургучом, для барышень – кагор и сетское, в бочках.

– Давай бутылку рыковки и графин сетского, – приказал Жадов. – А на закуску – всего самого лучшего, по тарелке. И пива поставку.

– Сейчас принесут!

Хозяин скрылся за дощатой дверью, и тотчас же вынырнул оттуда проворный официант с черными усиками и в такой же белой куртке, он одним махом накрыл на столик белую скатерть и, торопливо оглаживая складки, воровато поглядывал на Алenu.

– Очень приятная компания, – изрек наконец. – Уезжаете?

– Тебе чего? – сказал недовольно Жадов. – На свидание пришел или байки рассказывать?

– Поскольку вместе служили... – ступевался тот. – Простое любопытство то есть...

– Не в меру любопытных бьют и плакать не велят. Неси, чего приказано!

– Сей минут, – официанта как ветром сдуло.

Алена прыснула:

– Сейчас на кухне устроит переполох. Повара будут в окошко выглядывать. Вот посмотрите... Все решили, что я брошенная. Мы уж с Веркой в Растяпин собрались податься.

– Ты хоть меня не приплетай, – недовольно отозвалась Верка, покусывая ноготь. – Веселись, потешайся, но меня оставь в покое.

– Ты что сегодня кривишься – или муху съела?

– А мне что, на одной ножке скакать, оттого что ты устроилась?

– Вот ненормальная.

Между тем из раздаточного окна стали выглядывать распаренные физиономии в белых колпаках.

Алена хлопнула в ладоши и засмеялась:

– Ну, что я говорила, что?!

Жадов тоже засмеялся, махнул рукой поварам и крикнул:

– Подходите к столу, водки дам!

Официант принес на подносе отварную стерлядь, жареного судака, нарезанного крупными кусками, белые грибы, колбасу и сыр.

– Ну, девки! – сказал Жадов, наливая им вина. – Давайте помянем наши елатомские малины. Привольная была жизнь, веселая. Дай бог нам в другом месте так пожить.

Алена выпила большую граненую рюмку и опрокинула ее донцем кверху.

– Кто как, а я всем довольная: и на прошлое не в обиде и на будущее в надежде.

– Надеялся волк на кобылу, – сказала хмуро Верка. Она чуть пригубила и отставила на край стола рюмку с вином.

– Ты какая-то ноне прокислая, – сказал Жадов. – Все пузыри губами пускаешь.

– Ее Жук подвел, а мы виноваты, – хохотнула Алена.

– Уж больно ты веселая нонче, – поглядела на нее пристально Верка. – Не рано ль пташечка запела, каб те кошечка не съела.

– Типун тебе на язык! – сказал Жадов.

К ним подсел пожилой и небритый человек с землистым лицом в грязной рубашке, но при галстуке:

– Честь имею представиться, – с трудом пошевелил он языком. – Знаменитого Московского Художественного театра артист Ап... Аптекин.

– Будет тебе представляться, Таврило, – сказала Алена. – Ты что, или не узнал меня?

– А, пардон! – он поглядел на нее мутными серыми глазами, наморщив высокий лысеющий лоб. – Аленушка-сестриченька? Ты? А это кто? – кивнул на Жадова. – Братец Иванушка или серый волк?

– Хозяина за столом не спрашивают, – сказал Жадов. – У хозяина просят, что надо. Это что за артист? – спросил Алену.

– Какой он артист! Бывший стряпчий Томилин. Спился. Теперь по деревням ходит да от мужиков жалобы пишет в ЦИК. Они и поят его...

– Простите, мадам... А прежде я был артистом Ап... Аптекиным. С Михал Михалычем Тархановым начинали, да-с. Разрешите за доблестный русский народный флот, красу и гордость революции, осушить бокал из этого жбана? – указал на поставку с пивом.

– Ты артист? – спросил Жадов.

– Так точно.

– Ну вот сперва спой. А мы слушаем.

– Что прикажете?

– Валяй, чего знаешь.

– Судя по вашему требовательному вкусу и красивому воротнику, вам непременно придется по душе песнь о самопряхе, пошедшей за гвардейским командиром в высший свет.

Жадову понравилось замысловатое и вежливое изречение этого мятого пьяницы.

Он кивнул:

– Давай.

Томилин запел слабым хриловатым голосом:

В ни-изенькой све-е-телке а-а-гоне-е-ек гари-и-ит.

А потом прислонил к губам раструбом кулак и пропищал, как из рожка, высокие ноты.

– Отчего ж ты кулак приставляешь? – спросил Жадов. – Или голосу нет?

– Голос у меня есть, только воздуху не хватает, – ответил Томилин.

– Ладно. Выпей вот, – Жадов налил ему стакан пива. – Накачай в себя воздуху и ступай к другим столам.

Когда Томилин отошел, Жадов попросил Верку:

– Спела бы ты по-настоящему. А то у нас не веселье, а тоска зеленая.

– Нет уж, миленькие дружки мои. У меня тоже, как у Томилина, воздуху не хватает. Видать, я его весь израсходовала раньше. Счастливо вам погулять. – Верка встала и быстро вышла.

– Завидует нам – вот и бесится, – сказала Алена.

– Н-да... Что-то не клеится у нас сегодня. Не совсем весело.

– А я счастлива. Может быть, первый раз в жизни. Налей мне, Иван!

Кулек и Сима заночевали в Агишеве у Васи Белоногого и приехали в Ермилово только к десяти утра. Там, у Лыкова, их поджидали Кадыков и Бородин.

– Вы какого дьявола? К теще на блины поехали или выполнять оперативное задание? – набросился на милиционеров Кадыков.

– Погодь, погодь, – забормотал Кулек. – Оперативные сроки мы не нарушали. Сказано: к вечеру выехать на кордон. Вот мы и заявились.

– А мне чего делать до вечера? Сидеть и в потолок плевать? Или по воску гадать – где вы? В бочаге уходились или с похмелья дрыхнете? – заорал Кадыков. – Мне ж надо с местной милицией согласовать. Помощь запросить, если вас, оборотов, нету. Не одному ж мне в облаву лезть!

– Да понимаешь, месяц как раз народился. Ну и у татар была ураза, – вступился Вася Белоногий за милиционеров. – Соседи пригласили в гости. Одному мне неудобно идти. И отказываться нехорошо: все ж таки для здешних татар я – советский служащий. А милиционеры, само собой, представители власти. Почет и уважение. Вот мы и задержались на этой уразе.

– У вас там ураза, а мне здесь хоть камаринского пляши... Мать вашу перемать, – длинно выругался Кадыков.

– А где Лыков? – спросил Белоногий.

– Еще ночью ушел на кордон в засаду, – ответил Кадыков. – Сидите здесь... И до пяти часов без моего разрешения никуда не выходить. Даже до ветру. Понятно?!

– Понятно, об чем речь, – ответил разом за всех Вася.

– А я пойду в милицию. Предупредить надо. Не то и они выедут. В потемках еще перестреляем друг друга, в лесу-то.

– А хозяйка далеко? – спросил Вася.

– На огороде.

– Черт, хоть кваску попросить. Не то голова трещит и гремит, как пустая бочка, пущенная с горы.

– Не вздумайте тут у меня выпивку устроить! – строго предупредил Кадыков.

– Ну, что ты? Кваску хлебнем – и в самый раз.

Но не успел Кадыков путем от дома отойти, как Вася Белоногий сбегал на огород и послал хозяйку за водкой:

– Настюха, дуй в казенку! Чтоб одна нога здесь – другая там. И квасу там... целое

ведро!

– Что вам, голову мыть, квасом-то?

– Огонь заливать будем... унутренний.

– Вон, спустись в погреб. Там с квасом целая кадка стоит. Хоть уходите в ней, – сказала хозяйка.

Вася Белоногий принес с огорода целый подол зеленых в пупырышках огурцов да квасу глиняный кувшин. Из печки вынул чугунок гороху.

– Ну, ребята, не знаю, как в лесу, а здесь мы вот наедемся и немного погода такой огонь откроем, что, пожалуй, стекла не выдержат.

Милиционеры были ребята молодые, и Вася Белоногий все подтрунивал над ними:

– Вы как насчет ориентировки? Ночью в лесу работали?

– Нет. А что? – спрашивал Кулек.

– Сейчас узнаем. Как у вас ремни, туго затянуты?

– По-армейски, – бодро отвечал Кулек. – Сколько раз пряжку перекрутишь, столько нарядов вне очереди. На, покрути! Попробуй! – он подставлял брюхо и надувался до красноты.

– Да нет, не эти... Брючные ремни. – Вася задрал у него подол гимнастерки. – Вон, видишь, у тебя даже ремня брючного нет, а в лес собрался.

– У него задница толстая, небось не спадут штаны-то, – сказал Бородин.

– Так-то оно так, а все же это не порядок, – озабоченно заметил Вася Белоногий.

– А в чем дело-то? – спросил опять Кулек.

– Перед Сенькиным кордоном дорога просматривается, значит, свернем в низину, а там болото. Но как болото преодолевается в ночное время?

– Ну как? Брод надо знать. Выбираем направление по створу – и держись прямо, – бодро отвечал Кулек.

– Какой же створ ты увидишь ночью? Да еще в лесном болоте?

– А как же переходить? – таращил глаза Кулек.

– А вот как: затягивают потуже брючные ремни, а сквозь ширинку надувают в штаны воздух. На манер поплавок. И ты идешь по болоту, как в непотопляемом спасательном круге.

– От дает! – закатывался Кулек, как гусак, закидывая голову.

Сима сдержанно улыбался. И по своим повадкам и внешне они сильно различались. Кулек был горластый, высокий, с покатыми узкими плечами и толстым задом. Когда он восседал на лошади в своем буденновском шлеме со шлыком на макушке, то и в самом деле сильно смахивал на опрокинутый бумажный кулек. На всякие беспорядки кидался, как воробей на мякину, шумел, размахивал руками, готовый сам ввязаться в драку. Сима, напротив, был аккуратен, держался на расстоянии, точно боялся, что его помнут: «Прошу пройти за мной в отделение милиции». Настоящее имя его Степан Субботин, он был из Сергачева.

В Тиханово пришел в зятя, женился на Капкиной дочери Симе, на такой же тихой, как сам, и незаметной девице с приятными мелкими чертами лица. Оттого и прозвали его Симой. И хотя от Капки он ушел и опять поселился в Сергачеве, но прозвище так и осталось за ним.

Хозяйка принесла две бутылки водки и неловко сунула сдачу Васе в карман.

– А это что такое? – поймал он ее за руку. – Ба! Вещественное доказательство...

Он затолкал ей в карман эти деньги и сказал:

– Запомни, я тебя никуда не посылал, и ты никуда не ходила.

Затем свернул белую сургучную обливку, раскупорил бутылки и всю водку разлил по кружкам и ковшам:

– Выпием не глядя и позабудем.

Водку выпили залпом и запили квасом. Потом принялись за огурцы и горох.

– Первым делом, ребятки, надо подзаправиться, – рассуждал Вася за едой. – Потому как в лес идем. А в лесу, да еще ночью, главное дело – не падать духом, то есть чтобы дух всегда при тебе держался. Пусть эти волки и медведи издаля чувят – с кем они дело имеют.

– Ну, нашим ребятам волки и медведи нипочем, – подхватил Андрей Иванович. – Они по-темному ходили на зверя пострашнее.

– На кого это? – удивился Вася.

– На песиголовца.

– Да не может быть!

– Ей-богу, правда. Да не где-нибудь на задворках, а прямо в селе его брали.

– От дают! – закатывался Кулек.

А Сима улыбался.

– Да где же это? Когда? – спрашивал Вася.

– В марте месяце, когда шинки громили. Наперекосы от меня живет Андрей-слепой с вожакон Иваном. Может, слыхал?

– Милостыню который собирает?

– Ну! Он не только побирается, но и шинок держит. И вот однажды, на ночь глядя, Кулек и Сима решили его накрыть с водкой, с поличным то есть, как мы теперь Жадова.

– Но-но, говори, да не пробалтывайся! – одернул его Вася Белоногий и оглянулся.

Хозяйки в избе не было. Вася встал, поглядел в окошко и только после того как убедился, что хозяйка в огороде, вернулся к столу.

– Так вот, значит, нагрянули они на ночь глядя к Андрею-слепому с обыском. А того предупредили. Он собрал в мешок всю свою водку с самогонкой пополам и говорит вожаку: «Иван, лезь на чердак и заройся в мякину, там, за боровом. Мотри, мешок под собой держи». Ну, ладно. Эти пришли с обыском, а вожак на чердаке сопит. Поглядели они на полках да под лавками – все пусто. В избе просторно, хоть на телеге катайся – ничего не заденешь. Вышли в сени, Кулек и говорит Симе: «Ты на чердак лезь, а я в подпол спущусь». Полез на чердак Сима – там темно и пусто. Но вроде бы кто-то посапывает. Он с дрожью в голосе: «Кто тут?» Молчание. Что за черт, думает, домовый, что ли, шутит? Протянул руку за боровом пошарить и наткнулся на щетину вожаку. Тот голову сроду не моет и не чешет, а волосья у него – что у того полкана, напороться об них можно. «Кто здесь?» А вожак с перепугу слова сказать не может, только зубами стучит. Тут наш Сима как заорет: «Песиголовец!» Да с чердака топором – чуть голову не сломал.

– А я в подполе был. Кы-ык он грохнется об пол. Я думаю: что такое? Или ступа упала? – осклабился Кулек.

Сима только сладенько улыбался и блаженно покачивал головой.

Когда Кадыков пришел из милиции, его боевые соратники вповалку валялись на полу, подстелив под головы хозяйские шубняки и фуфайки. На всю избу гремел затажной богатырский храп. Зиновий Тимофеевич потолкал в мягкое место сапогом одного за другим – всех подряд, но никто даже не промычал.

– Хряки вы, хряки и есть.

Плюнул, выругался и полез на поветь спать, наказав хозяйке разбудить его в четыре часа пополудни.

Между тем Герасим Лыков лежал на лесном холме недалеко от Сенькина кордона, кормил комаров и матерился от бессилия. Местечко он выбрал удобное – отсюда, из-под могучей поваленной сосны, хорошо просматривались обе дороги, ведущие к кордону. И Сенькин запасник виден был – небольшая бревенчатая избушка, стоявшая на склоне озера на месте бывших тырлов.

Какой лес мощный, какая сила прет из земли, думал Герасим, глядя на молодую зачашенную урему, идущую сразу от озера и до самого извилистого русла Чертанки, мелкого притока Оки.

Всего двенадцать лет назад, на его памяти еще, здесь были такие клеверища и сеяные травы, что падай с разбегу – не ушибешься. Как в перину хлястнешься и уснешь без подушки. А теперь такая чертова прорва поперла – все заросло, и плюнуть негде: ольха, береза, осина, рябинник, чернотал, да еще хмелем перевито все и буйным вьюнком с горькой волчьей ягодой. Вот что поджидает всю нашу землю матушку-кормилицу. Чуть прозевал, и глядишь – вместо ели да сосны паршивая ольха, а вместо клевера – ядовитые бусинки волчьей ягоды.

Нет, не за страх и преданность перед Васей Белоногим лежал здесь по-медвежьи Герасим и кормил своей кровью комаров; его мучила и жгла лютая ненависть ко всякому ворью, к этому людскому черноталу, глушащему, по его разумению, добрые побегу. Если им дать волю, запсеем, сами в ворье превратимся, из горла будем рвать друг у друга последний кусок. Вот до чего дойдем, если не дать им окорот.

Он лежал и радовался, что удачное местечко выбрал, что всех он видит, как архангел Гавриил, только меча разящего нету у него. Не то бы он всем этим живоглотам башки поносил, не дожидаясь милиции. Он видел, как привез из Ермилова Сенька Кнут жадовские пожитки, потом – как приехали лесник Кочкин с каким-то лысым мужиком, привезли живого барана; видел, как ходил дважды Сенька в избушку на бывших тырлах и подолгу там оставался; потом в эту избушку ходил тот приезжий, лысый, и тоже долго не выходил оттуда. «Чего они там делают? – думал Герасим. – Клад у них там, что ли?» Ему хотелось переползти туда, заглянуть, но он боялся выдать себя. Они с меня здесь с живого шкуру спустят, и никто не увидит и не услышит.

Главное, ему надо было выследить Жадова, узнать – с кем он приедет? И на чем? Если на рыжей кобыле, то сыматься ему немедленно и бежать по ермиловской дороге навстречу милицейскому разъезду.

Жадов приехал только под вечер, когда спала жара и на озере закрикали, захлопали крыльями дикие утки, выплывшие на кормежку из камышей. В тарантасе вместе с Жадовым сидела наряженная девица с целой копной белых волос.

В упряжке была рыжая кобыла, в яблоках, та самая, которую видел он в Елатье.

Герасим вылез из своего укрытия, пробрался частым ельником до дороги и побежал без оглядки в Ермилово. Когда он собирался ночью в засаду, Кадыков предложил ему ехать на лошади.

– А где я ее спрячу? – возразил он. – Во-первых, ее кумары заедят. И потом, она заиржать может – выдаст меня с головой.

И какая лошадь смогла выдержать эту засаду? Медведь и то бы не улежал, посмеивался Лыков и трюхал по дороге. Был он невысок, плотен, с мощными

неугомонными ногами. Бегал хорошо. Бегать наперегонки – было его слабостью. В каком бы обозе ни шел, с кем бы ни повстречался на попутной дороге, обязательно предложит:

– Давай наперегонки! Вот до того столба чесанем? Ударим по рукам, на кисет? А?!

С воза спрыгнет, лошадь остановит, а побежит перегоняться. Лишь бы охотник нашелся. Да об заклад бы побились. А там, хоть на что – на кисет, на кепку, на рукавицы... Ну, чесанем? Во-он до того столба!

С милицейским разъездом встретился он в трех верстах от кордона. Его окликнул Кулек из-за толстой сосны.

– Стой! Ваши документы? – и высунул ухмыляющуюся рожу.

– А где Кадыков? – спросил Герасим.

– Вон там, все в чаще хоронятся.

Из густого подлеска – зарослей черемухи да жимолости вышел Кадыков, за ним остальные гуськом. У Бородин и Белоногого за плечами торчали ружья.

– Ну, что там, на кордоне? Рассказывай! – приказал Кадыков.

– Все в сборе, то есть пять человек: четверо мужиков и одна девка, – торопливо доложил Герасим.

– Жадов приехал?

– Только что... то есть, когда я убег. На рыжей кобыле, с девкой.

– Кто убег с девкой, ты?

– Какой я? Жадов, говорю.

– Перестань! – цыкнул на Белоногого Кадыков и Герасиму: – А еще кто?

– Значит, Сенька Кнут, лесник Кочкин и какой-то лысый... так, среднего роста.

– Понятно, – сказал Кадыков. – Чего делают?

– Барана привезли. Варят перед домом. Кто у костра сидит, кто на тырлы ушел, в избушку возле озера.

– Тьфу, дьявол! Заметят издаля – могут разбежаться, – сказал Белоногий.

– Догоним! Куда они денутся? Чай, не зайцы, – возразил Бородин.

Кадыков пожевал губами, почесал подбородок:

– Надо двигаться. Не то вдруг возьмут да разъедутся.

– Куда они разъедутся? Лишь бы не спугнуть. Их теперь от казана с мясом на веревках не утащишь. Подождем немного: соберутся они все у стола, выпьют как следует... Тогда им море по колено. Вот мы и нагрянем в гости. Всех сразу и возьмем, кучей, – говорил Вася.

– Ладно, поехали! А там поглядим, что делать. По коням!

– А мне куда? – спросил Герасим.

– За нами пойдешь, пешой. Мы потихоньку поедем.

Дальше поехали с такой осторожностью, словно под ногами были кочки и болота. Впереди, припадая на луку, вытягивая шею, ехал Кадыков с таким выражением лица, будто к чему-то принюхивался и никак не мог определить – чем это пахнет? За ним, мерно покачиваясь, поглядывая в разные стороны, ехали остальные. Замыкал эту настороженную кавалькаду всадников топотающий в широких разношенных лаптях Герасим Лыков; его неопределенного цвета выгоревшая куртка потемнела на спине от пота и болталась понизу, как помятый мешок.

В лесу было торжественно и тихо, сосны на песчаных гривах стояли строго и прямо, как свечи, чуть тронутые сверху багряным отсветом закатного солнца; а из

темных лесных падей, понизу, у выпирающих горбатых корневищ текли и путались в переплетении мягких ветвей жимолости и лещины сизые языки вечернего тумана. Невнятно, издалека, как с того света, доносился одинокий и сдавленный крик дятла-желны:

«Уа-ак! Уа-ак! Уа-ак!» Словно безнадежно и устало плакал потерявшийся ребенок.

К Сенькину кордону подошли еще засветло. Лошадей оставили в придорожных лесных зарослях.

– Герасим, останешься здесь, – приказал Кадыков Лыкову. – И что бы ни случилось – ни шагу от них, понял? Если кто кинется к лошадям с кордона, кричи нам.

– Сморчков, а ты давай низом, – обернулся он к Кульку. – Чеси той чашей, к озеру. Там есть избушка – бывшие тырлы. Так я говорю? – спросил Белоногого.

– Так точно! – упредил Васю Герасим Лыков. – Избушка на тырлах.

– Вот эту самую избушку обследуй. И заляжешь там. В случае чего – сигнал выстрелом.

Подождав, пока Кулек, по-медвежьи ломая валежник, скрылся в чаще, Кадыков спросил:

– Собаки есть на кордоне?

– Нет собак, – ответил Герасим.

– Странно, лесной кордон – и нет собак, – сказал Бородин.

– А это – верный признак воровской малины, – пояснил Вася Белоногий. – Там, где собираются волки, собакам делать нечего. Еще не вовремя шум подымут.

– Ну, ребята, с богом... пошли!

К дому зашли со стороны сарая, чтобы из окон не увидели. Перед заплотом догорал костер; на треноге висел, пуская пары, прокопченный чайник. Второй крючок болтался пустым, значит, котел с мясом сняли.

Кадыков, прижимаясь к стенке сарая, а потом к высокому бревенчатому заплоту, быстро продвигался к дому. За ним, растянувшись, топали остальные. На крыльцо поднялись все вместе и толкнули дверь. Было заперто. Кадыков забарабанил щеколдой. Изнутри послышался скрип растворяемой избяной двери, хлябанье жидких сенных половиц. Наконец раздался отрывистый голос Жадова:

– Кто здесь?

– Отворяй! – сказал Кадыков.

– У нас все дома.

– А я говорю – отвори дверь! Милиция, понял?

Молчание... Кадыков и Вася Белоногий дружно налегли на дверь, она затрещала и затряслась.

– Открывай, слышишь!! Или высадим дверь...

Вдруг в сенях гулко грохнул выстрел, как будто в пустое ведро выстрелили.

– Кто сунется в дом – на пороге уложу! – крикнул из сеней Жадов.

– Брось дурить! – сказал Кадыков. – Добровольно не сдадитесь – выкурим, как пчел.

В сенях еще раз стрельнули, на этот раз в дверь – пуля пробила доску и, зудя как шмель, улетела в лес.

Все шаррахнулись от двери, попрыгали с крыльца под надежную бревенчатую стенку заплота.

– Бородин, давай вдоль сарая на задворки! Там станешь за сосной... И замри! –



шипел Кадыков. – Гляди, кабы кто вдоль сарая не ушел.

– А ты, Василий! – обернулся он к Белоногому. – Ползи вдоль завалинки под окнами, за угол. Возьмешь под надзор тыльную сторону. А мы вместе с Субботиним будем стрелять по окнам. Никуда они не денутся. Ну, марш!

Бородин и Белоногий поползли на свои места, а Кадыков наудалую выстрелил из нагана в ближнее окно. Раздался звон осыпающегося стекла. Изнутри не ответили.

Кадыков вытащил из-под крыльца слегу и сказал Субботину:

– Шуруй в разбитое окно слегой... сбоку! А я под прицел возьму. Авось кто-нибудь высунется.

Субботин схватил слегу и бросился на крыльцо.

– Куда ты, дура? – остановил его Кадыков. – Я ж говорю – сбоку! Сбоку надо.

Вдруг издаля, от невидимого озера, куда был послан Кулек, раздался выстрел.

– Субботин, кинь жердь! Ползи под окнами, – сказал Кадыков. – Ползи! Я буду начеку. Прикрою, ежели что. Главное, давай на тырлы, к Сморчкову. У него нужда...

Андрей Иванович тем временем стоял за шершавой теплой сосной, наваясь на нее плечом и опустив ружье стволами книзу. Он напряженно глядел на отдаленную избу, на бревенчатый заплот, под которым лежал Кадыков, на тыльную сторону сарая с соломенной крышей. Вот грохнул отдаленный выстрел – Кулек, должно быть, сигнал подал. Прополз вдоль завалины Сима и растворился в высокой траве.

Все опять затихло. Андрей Иванович начал было подумывать – а не пойти ли ему до Кадыкова, не подсказать ли: пора, мол, выкуривать их. Что ж мы, так и будем всю ночь стеречь? Много чести! Ежели они сами стрелять начали, так какого хрена медлить? Поджечь это воровское гнездо.

Он не заметил, не услышал, как Жадов с поветей прокопал соломенную крышу, как вылез оттуда на сарай...

Они увидели друг друга одновременно: Жадов глядел на него с крыши сарая, Бородин – из-за сосны. Глядели в недоумении, минутной растерянности. Жадов был во флотской блузке с синим воротником, в левой руке он держал, опустив к бедру, наган, правой рукой из-за пазухи вынимал другой наган. Стояли, как дуэлянты, возле своих барьеров и смотрели друг на друга...

Первым выстрелил Жадов из правого нагана; пуля вжикнула возле самой щеки Андрея Ивановича и щелкнула в сосну. Потом выстрелил Бородин, стрелял навскидку, как по набегающему медведю; Жадов как-то неловко шагнул вниз по крыше, подогнув колени, выронил оба нагана и, не хоронясь, ударился с маху лицом об солому, потом покатился, раскидывая руки, и глухо шлепнулся наземь, как мешок с песком. Андрей Иванович успел заметить, как быстро расплывалось темное пятно на полосатой тельняшке, на воротнике, на груди Жадова.

Тотчас же с грохотом растворилась дверь, и на крыльцо выскочила в белой кофточке с непокрытой головой Алена.

– Стой! Ни с места! – крикнул на нее Кадыков.

Но она, вытаращив глаза, подняв кверху руки, точно полоумная, со словами: «Где Иван?» – бросилась на зады. Увидев под сараем лежащего с запрокинутым лицом Жадова, она с пронзительным воплем: «Убили, злодеи!.. Проклятые изверги!» – бросилась, накрыла его своим телом и забилась в бессвязном вопле, заводила, затрясла головой.

Кадыков, пытавшийся было поднять Алену, увидев, как на крыльцо вышли Сенька Кнут, Кочкин и Лысый с поднятыми руками, подбежал к ним.

– Где остальные?  
– Все тут, – ответил Кнут.  
– А кто на тырлах? Кто там стрелял?  
– Наверное, ваши храбрецы... Лягушку за разбойника приняли, – изрек Лысый.  
– Молчать! – заорал на него Кадыков. – Отойти в сторону! И без моей команды никуда не двигаться. Поняли? Бородин, обыщите избу и двор!

Андрей Иванович, осторожно ступая, поводя в стороны стволами заряженного ружья, прошел в избу, – там было пусто, лишь на столе в жаровне дымилось еще горячее мясо да стояла четверть водки. Во дворе он увидел свою Веселку; она была привязана возле тарантаса и ела свежескошенную траву.

– Веселка, Веселка! – позвал он ее.

Она подняла голову, фыркнула и вдруг, раздувая ноздри, поводя ушами, тихо утробно заржала.

– Узнала! Эх, мать твоя тетенька!..

Бородин приставил ружье к забору, подошел к лошади и трясущимися руками стал развязывать повод. Затянутый узел сыромятного ремня никак не поддавался. Бородин нагнулся к облучку, за который была привязана лошадь, попытался зубом захватить узел, но не мог – зубы плясали и щелкали как на морозе и судорожно сводило губы. Он кинул повод, махнул рукой и, всхлипнув, уткнулся лицом в лошадиную гриву.

## 14

Сенечка Зенин понимал, что Мария набросилась на него, заручившись поддержкой Тяпина. Идти к тому вторично было бесполезно: Тяпин не любил его, да и Сенечка не больно ломал перед ним шапку. В районе были козыри и повыше. Так что, если идти на поклон, то уж не к Тяпину. Подумаешь – гусь с горы. Давно ли вылез из двухоконной избушки, а теперь морду воротит.

За каких-нибудь три года уже здесь, в Тиханове, при Сенечке, Тяпин превратился из Митьки-Сверчка в Митрофана Ефимовича. В ту пору Сенечка начинал свою первую учительскую зиму. Вместе с гармошкой-хромкой он привез в фанерном бауле шевровые сапожки, зеленый змеистый галстук в косую красную полоску да пупырчатую кепку-восьмиклинку. Думал – королем пойдет по Тиханову. Кудри завил у парикмахера. А его в клубе на смех подняли: «Эй, баран с гармонией, сыграй вальс «Кошачьи слезы!»»

Он играл назло: «Ты, Настасья, ты, Настасья, отвори-ка ворота...» – и делал неприличные жесты. Его дважды побили. В отместку он перестал ходить на вечеринки, играл только на свадьбах за деньги. Его окрестили шаромыжником. Тогда он продал гармонь и купил ксилофон. На престольный праздник покров день он поставил ксилофон перед школой, недалеко от церкви, а в самый разгар службы ударил молоточками по ксилофону и запел антирелигиозные частушки: «Долой, долой монахов! Долой, долой попов!..»

Сбежалось полсела зевак на эту диковину, ребяташки полезли на забор, столбы не выдержали, ограда рухнула и зашибла двух человек. Их отвезли в больницу, а Сенечку прозвали членовредителем. Где бы он ни появился, на него указывали рукой и говорили: «Ты думаешь это учитель? Это членовредитель...»

И над кепкой его пупырчатой смеялись: «Ребята, вон гриб мухомор на двух ногах торчит». Зимой здесь кепок не носили. У фартовых ребят были пуховые шляпы, а то и

бобровая шапка на ином. Но всех перефасонил в ту зиму механик из казанского затона Митька-Сверчок. Он ходил с непокрытой головой, в зеленой бекеше, отороченной кенгуровым мехом, и в белом кашне навывпуск – один конец спереди свисал до самого пупа, другой сзади. Как выяснилось потом, он только представлялся механиком, а на самом деле был всего лишь помощником механика, но бегали за ним тихановские ребята, что за твоим капитаном. Что за чудо! И жил он на самом краю Тиханова в подслеповатой семиаршинной избушке, и мать его прозывали в насмешку Красивой за отечное, чугунного цвета лицо. Пересказывали, как она вместе со своей сестрой Сметаной на пересменках носила в Степановскую больницу горшком на себе отца, Кузю-Сверчка, деда Тяпина. «Махонький был Кузя-то, одна и слава, что голова большая. Я вам, говорит, девки, голову-то на плечо положу, а ноги у меня усохли... и все остальное. Там и тащить нечего. Лошади в лугах были. А он жаром исходит... Что делать? Понесли на себе... Сметана до Сергачева на закорках несла, а Красивая – дальше, до самого Степанова. И назад принесли. Дотемна управились...»

По всем расчетам, над Митькой-Сверчком должны бы смеяться. А его завеличали – Митрофан Ефимович! Сперва в ячейку избрали секретарем, потом продвинули в волость... А теперь он в районе голова всему комсомолу. Сенечка так себе объяснял это загадочное возвышение Тяпина: есть люди, которым тяготение к отдаленным мыслям и внутреннему переустройству не знакомо. Они ухватывают только то, что им говорят, но пропускают мимо ушей – что подразумевается. У них один лозунг – навались, пока видно! А что делать в темноте – не знают. Этот Митрофан умел крикнуть: «Ребята, дороги мостить!» И сам в гати лез с хворостом. Его и заметили, продвинули. Ну и что? Дороги-то мостить и дурак сумеет. А ты попробуй определи – где выбоины будут? Ничего, Митрофан Ефимович, поглядим еще, кто на крутых поворотах вперед уедет, а кто и в канаву свалится.

Он дождался возвращения из округа Возвышаева и утречком, пораньше, смиренно поджидал его на просиженном диване возле Банчихи. Никанор Степанович громко поздоровался с Сенечкой:

– Привет передовой комсомолки! Ну, комса, по какому вопросу?

– Вопрос, Никанор Степанович, всеобщий, – о классовой борьбе и ее отклонениях.

Сенечка, с одной стороны, как бы с почтением наклонил голову, с другой стороны, нахмурился, придавая лицу своему выражение озабоченное и скорбное. Возвышаев тоже нахмурился и, в широком отмахе указав ладонью на дверь, решительно произнес:

– Прошу проследовать!

В кабинете Сенечка вынул из бокового кармана двойной тетрадный листок, аккуратно обернутый газетой, и протянул его Возвышаеву:

– Это копия моего донесения на имя бюро. Отчет о поездке в Гордеево и Веретье. Я хочу, чтобы вы познакомились с ним заранее.

– Гм, – Возвышаев со значением посмотрел на Сенечку, но листок взял и прочел.

– Очень правильно сделали! – Возвышаев не пояснил – что правильно? То, что он сделал там, в Гордееве, или то, что передал ему копию донесения. Но лицом подобрел, пригласил Сенечку сесть в кожаное кресло и даже улыбнулся.

Сенечка хоть и присел в кресло, но на самый краешек, да еще подавшись туловищем к Возвышаеву, как бы подчеркивая всем существом своим, что не беседовать на равных он пришел сюда, а выслушать дельный совет, в любую минуту

может встать и двинуться в том направлении, куда ему укажут.

– Мы живем в такое время, когда нас призывают к действию, а некоторые товарищи упираются обеими руками и ногами, как парнокопытные животные.

– Не только упираются, дорогой товарищ, – с чувством отозвался Возвышаев. – Более того, толкают нас в сторону и под уклон. А этот уклон называется правым.

– На стихию работают, – со вздохом подтвердил Сенечка.

Возвышаев встал, крупно зашагал по комнате и, глядя себе под ноги, сердито рассуждал:

– Советская власть дала нам всеобщее право жить в братском равенстве и отвечать друг за друга. Поэтому все эти подоходные налоги, индивидуальные обложения есть повестка на приглашение – стать в строй. Идти не к личному обогащению, а всеобщему.

– Правильно, Никанор Степанович! У нас не мирное прозябание, а культурная революция, как сказал поэт.

– Хорошо мыслишь, комса, хорошо! Побольше бы нам таких горячих сторонников.

– А вы действуйте смелее. Пора ударить по кулаку и по всей этой зажиточной сволочи.

– Но, но, не забывайтесь. На все есть установленные сроки и свои приказы. Раз приказа нет, сиди и жди. Но готовиться к этому нужно.

Возвышаев сел за стол и как-то неожиданно спросил:

– Вы член партии?

– Кандидат.

– Тоже неплохо. С каким стажем?

– Да уж на второй год перевалил.

– Пора в члены переходить... Инициативные товарищи нам нужны. Местная низовая партячейка, прямо скажем, плетется в хвосте событий... – Возвышаев одним глазом смерил Сенечку, другим уперся в его донесение, лежащее на столе. – А что, не засиделись ли вы на комсомольской работе?

– Так ведь наше дело известное – где бы ты ни находился, а держи четкую пролетарскую линию в повседневной работе, – уклончиво ответил Сенечка.

– Верно! А если сказать конкретно, – на последнем слове Возвышаев словно споткнулся, и Сенечка уловил это «конкречно», – то теперешняя пролетарская линия заключается в том, чтобы ни одно кулацкое хозяйство не ускользнуло от индивидуального обложения.

– Действовать конкретно, – повторил Сенечка, – значит привлечь бедноту к выявлению кулацких хозяйств. Так я вас понимаю?

– Именно! Вы который год у нас в Тиханове?

– Четвертый пошел.

– Срок подходящий. Местное население, надеюсь, знаете?

– Как не знать! Я ведь учитель – вроде попа по дворам хожу...

– Ну да, в целях, так сказать, культурного переворота... революции то есть. Родственники есть?

– Какие у меня родственники? Я же ведь из детдома.

– Да, да... я припоминаю... Мы вас в школу определяли... Еще в волости. Значит, вы безродный?

– Безродный.

– Это хорошо. Объективная мера действия и никаких материальных оснований. – Возвышаев глянул на Сенечкино донесение, прочел в конце его подпись и в скобках полное имя-отчество. – Вот так, Семен Васильевич... А как вы на это посмотрите, если мы предложим вам поработать секретарем местной партячейки?

– Но секретарем работает Кадыков. Как-то неловко, – Сенечка приподнял плечи и широко развел руками.

– Он уходит... В Пантюхино переезжает.

– Ну, если он уходит, тогда другой оборот. – Внутри у Сенечки все ликовало, но он смиренно глядел себе под ноги и тихо шевелил носками.

– Там выберут тебя или нет... Я надеюсь, конечно, что выберут.

– Никанор Степанович, я всегда готов...

– Обожди, не перебивай! Обстановку готовить надо теперь. Среду прояснять. С массой работать. А то получится вон как на гордеевском активе. Собрались выявить кандидатуры на индивидуальное обложение, а проголосовали против.

– Ну, в Тиханове этот номер не пройдет, – Сенечка шумно вздохнул и покрутил головой.

– Это легко сказать... В сельских учетных комиссиях есть зажиточные элементы. И они пользуются влиянием в народе.

– В таком случае их не надо привлекать, – спокойно возразил Сенечка.

– Они же члены комиссий, голова два уха! Как ты их не привлечешь? Сначала их исключить надо.

– Да не членов комиссии, – мягко пояснил Сенечка. – Сами комиссии не нужно привлекать. Да, да. Комиссии в полном составе.

– Как? Без комсода начислять хлебопоставки и обложения?

– Ну и что? Поручить это активу бедноты да партячейке. Проще будет.

Возвышаев с удивлением поглядел на Сенечку, словно впервые видел его, – тот сидел, колени вместе, носки врозь, по команде смирно, и тоже глядел на Возвышаева с детским простодушием – чему тут удивляться-то? – будто спрашивал он. – Это ж ясно само собой. Вот как дважды два – четыре.

– Я согласен. А теперь слушайте меня: встретьтесь с активистами из бедноты с глазу на глаз... Кандидатов сами подберите. И потолкуйте с ними. Подготовьте их насчет выявления хозяйств к индивидуальному обложению. Вы меня поняли?

Сенечка кивнул головой:

– То есть прикинуть, кого именно, и неплохо бы список составить. Я имею в виду обложенцев.

– Именно, именно, – подтвердил Возвышаев.

Сенечка вышел из РИКа окрыленным. Ну, что вы теперь скажете, Андрей Иванович и Митрофан Ефимович? Да, Зенин – Сенечка! Да, он в лаптях гармонь носил менять. Да, его били и в передний угол не сажали! Он что же – глупее вас?

Он зашел в магазин, отозвал из-за прилавка Зинку и шепнул ей на ухо:

– Есть предложение устроить нынче вечером уразулямс. Так что не заговаривайся тут...

– Сеня, милый! Я – одна нога здесь, другая – там.

Сенечка сбегал к Левке Головастому в сельсовет, переписал всех лишенцев – держателей патента на заведения и торговлю, да от себя еще двух добавил. И получилось шестнадцать человек. Вот вам и кандидаты на обложение. Потом спросил: по скольку излишков сена начисляли в прошлом году? «И по десять пудов и по

двадцать, – отвечал Левка, – это смотря по едокам». – «Так как налог у нас прогрессивный, излишки тоже должны начисляться в геометрической прогрессии», – изрек Сенечка. Левка не понял, что такое «геометрическая прогрессия», но согласно кивнул головой: «Это уж само собой».

Пригласил Сенечка к себе в гости Якушу Ротастенького и Ванятку Бородина. Выбрал их в собеседники Сенечка не случайно, – Якуша был не просто бедняком-активистом, но еще и членом сельсовета, а Ванятка на все Тиханово славится своей честностью и прямоотой. Недаром фондовый хлеб и семена для сортоучастка Кречев доверил хранить в первую очередь Ванятке. К тому же он был партийный, умел не только повеселить народ, но и вдарить словом, как свинчаткой. Да и Зинка хорошо знала его и доверяла. На этот счет у Сенечки было особое соображение.

Он купил литровку рыковки, да килограмм копченой селедки, да у Пашки Долбача штуку колбасы, сам нажарил картошки на тагане, отварил яйца и даже самовар поставил.

Зинка прибежала домой возбужденной от любопытства и спросила, не успев дверь за собой притворить:

– Сень, куда тебя повысили?

– На кудыкины горы. Ты бы еще с улицы крикнула.

– А что, это секрет?

– Нет, ступай скажи Матрене Кривобокой. Она семи кобелям на хвост навяжет.

– Ну вот, у тебя всегда одно и то же: секреты и намеки. – Зинка сняла красную шелковую косыночку, взбила рукой навитые железными щипцами мелкие кудряшки, прошла к столу. – А между прочим, от жены секретов не бывает.

Она потянулась к нему целоваться.

Но Сенечка подал ей белую скатерть (из Зинкиной корзины достал) и приказал:

– Накрывай!

Потом, нарезая в тарелки колбасу и селедку, сказал нравоучительно:

– И когда ты, Зина, бросишь эти мещанские замашки и понятия? Уходишь на работу – целоваться лезешь, с работы приходишь – тебе вынь да положь, где был, отчитайся – что без тебя делал, с кем виделся? А как же? Я, мол, жена... А между прочим, жена есть понятие старорежимное. Это понятие сковывает свободные отношения в равноправной любви. Дружба превыше любого брачного союза. А если мы друзья, то и веди себя с достоинством – никогда не выпытывай, а располагай к себе доверие.

– Ну ладно, ладно! – Зинка потупилась, разгоняя рукой складки на скатерти. – Я знаю – ты образованный, умный, и взгляды у тебя передовые, и живешь правильно. Ну, так научи! Ты же обещал меня учить, когда уговаривал пожениться... – Она подняла голову и смотрела на него с легкой растерянностью.

Сенечка улыбнулся:

– Ну, ну... Не обижайся, – подошел и поцеловал ее в губы.

Зинка обхватила его за шею, шумно вздохнула:

– Тебя не поймешь, то целоваться не велишь, то сам лезешь.

– Это я любовь твою испытываю.

– Глупый! Чего меня испытывать. Кабы я не любила, не пошла бы самоходкой.

– Опять ты это гадкое словцо...

– Да ну тебя. Возьму вот сейчас и задущу!

– Эй-эй! Тише! Ты и в самом деле задушишь, – Сенечка попытался выскользнуть из мощных Зинкиных объятий.

– Не пущу! Говори, ну! – она все сильнее прижималась к нему разгоряченным телом.

– Да постой же! Люди придут, а мы тут с тобой черт-те чем занимаемся, – рассердился Сенечка. – Сядь!

Зинка нехотя присела, глядела на него в ожидании, как ребенок, у которого на время отняли любимую игрушку.

Сенечка оправил рубаху, плеснул в стакан водки, выпил и понюхал хлеб:

– Меня Возвышаев вызывал.

– Ну?

– Просил меня взять партячейку... Секретарем поработать.

– Согласился? – она приподнялась на локте.

– Сказал, что посоветуюсь с женой.

– Вот глупый! Чего тут советоваться?

– Есть одно соображение...

– Ты в самом деле решил со мной посоветоваться? – она поднялась с табуретки.

– А ты как думала?

– Сенечка, милый! А я такая дура... Ведь я подумала... – она опять кинулась к нему.

– Но, но! Давай на расстоянии. Садись! Что ж ты подумала? Что я тебя ни во что ставлю?

– Не обижайся... Но мне казалось, что ты в политику меня никогда непустишь.

– А я вот хочу пригласить тебя на заседание бедняцкого актива.

– А что я должна делать?

– Выступить. Ты ведь хочешь быть моим другом. А друзья познаются в борьбе. Мы живем в такое время, когда борьба есть любовь и жизнь. И даже в песне поется: «И вся-то наша жизнь есть борьба».

– А что я должна сказать на активе?

– Надо показать пример высокой сознательности. На этом активе будут обкладывать кулаков налогом. А все прочие середняки должны внести излишки... Я надела не имею. А твой земельный пай остался у Бородиных. Вот и скажи, что сдаешь свое сено, как излишки, государству. Мы это запишем и потребуем с Бородина.

– Но ведь я жила у них... Они кормили меня.

– Что значит кормили? Ты не иждивенец, а полноправный рабочий человек. Да если разобраться, они попросту эксплуатировали тебя. Кто с ребятами нянчился? Ты! Кто белье полоскал на пруду? Ты! Кто картошку копать? Ты! Сено согревать? Опять ты! А в гимназию отдавали небось не тебя, а Марию. Она, видите ли, талант. А у тебя, мол, способностей не хватило? Выдумки! Клевета!!

Зинка закрылась рукавом и всхлипнула.

А Сенечка еще на носках приподнялся, пальцем покрутил, и голос его звенел высоко и гневно:

– Каждый хозяин что-нибудь да придумает, лишь бы удержать возле себя работника. Почему они все против твоего замужества? Да потому, что от них работник уходил забитый и безропотный. И сестрица твоя хороша. Вместо того чтобы раскрыть глаза человеку на мир свободной, счастливой и новой жизни, она умышленно удерживала тебя в путях домашних предрассудков. И это называется комсомольский

вожак? Пособник домостроевщины, вот кто она такая.

– Надюша тоже хороша, – сказала Зинка, вытирая рукавом глаза. – Обещала мне подарить куний воротник на шубу, но подарила Маше на шапку. А мне сунули смушковый, серый. И козий мех пошел Маше. Небось Машу к проруби белье полоскать не посылали. Как что, так: Зиночка, милая, сходи, выстирай. И картошку ворочать она не станет, и в луга не поедет. Все Зинка да Зинка.

– И ты еще с ними церемонишься! Да я бы весь пай забрал.

– Как ты его заберешь? Это ж земля!

– Земля государству перейдет. А сено отдай! Хлеб, зерно – все отдай! Солому, полю, мякину и ту забрал бы. Так что нечего церемониться, выступишь.

– Ты прав, конечно. Но все-таки я не могу... Встать эдак вот и сказать: Андрей Иванович, отдай мое сено?

– Темный ты человек, Зина. Это ж проформа. Бородин все равно обязан сдать излишки. И никуда он не отвертится. А в данном случае ты сама проявляешь инициативу. Отдаешь свое сено. И Бородину легче будет расстаться с такими излишками.

– А сколько сена?

– Сто пятьдесят пудов.

– Так много? Это ж на целую корову хватит.

– А что ж ты думаешь, крохи сдавать государству? Пойми ты – актив должен определить, кому сколько сдавать. И что же получится, если члены актива чужих будут обкладывать, а своих щадить, под крылышко брать. Это ж будет самая что ни на есть позорная старорежимная семейственность. В том и заключается передовой комсомольский настрой, чтобы судить всех по совести, то есть свою рубашку первой отдать.

– Нас могут неправильно понять. Осудить...

– А что делать, Зина? Будем терпеть. Но сама рассуди – каково будет мне, будущему секретарю, на первом же активе выгородить, освободить от обложения своего родственника. Да какими же глазами я буду смотреть на людей? Что они скажут мне? Ты хочешь, чтобы я был секретарем, то есть борцом переднего края? Хочешь или нет?

– Хочу.

– Ну тогда выбирай что-нибудь одно: или высокая принципиальность чистой идейности, или заскорузлая выгода родственных отношений.

– Ладно, я согласна с тобой. Только на этом активе выступай сам, говори за меня.

– Дай пожму твою честную, принципиальную руку! А теперь собирай на стол.

– Кто хоть к нам придет?

– Якуша Савкин и Ванятка Бородин.

Ванятка Бородин родился в семье, не обремененной хозяйскими заботами. Отец его, Евсей Нечесанный, в отличие от своих братьев – Ивана, да Петра, да Митрия, в погоне за богатством не топтал волжских берегов, не тянул бурлацкой лямки, не бегал по скрипучим сходням Нижегородской да Астраханской пристаней с тяжкими тюками за спиной и в Каспии не хлебал горькой штормовой похлебки; его Баку – спячка на боку, как говаривали про него братья. Не любил Евсей хлопотливой и бойкой жизни на стороне: «Чего я там не видал? – отвечал братьям, соблазненным его прелестями вольной жизни. – Мне и тут неплохо».



И в самом деле, жилось ему неплохо: лошадь и корова водились постоянно, сбруя, хоть и наполовину веревочная, была, землю ковырял не спеша. Зато уж погутарить на сходе ли, на базаре или на кулачную выйти, в стенку... тут пятерых отставь, а одного Евсея приставь. И откуда бойкость бралась у него, сила да увертливость? Увидит драку – с воза спрыгнет, соху в борозде оставит и убежит, ввяжется непременно: либо растащит дерущихся, либо сам подерется. Бывало, ребяташки сопливые только грохнут в наличник: «Дядь Евсей, наших бьют!» – за обедом сидит – так ложку бросит, в момент полушубок накинёт, рукавицы на руки и помотает: «Игде они? Кому тут жизнь надоела?»

А так смирный был, скотину какую ни на есть пальцем не тронет. Сядет на край телеги, плетется, бывало, в хвосте обоза: «Но, ходися! Но, глядися!» Все мечтал о чем-то. В извоз ли собирается – навертывает онучи на ноги, уж ногу одну в лапоть сунет, оборой захлестнет и вдруг остановится, свесив нечесаную голову, задумается, позабыв про лапти и оборы. «Евсей, ты что, ай уснул?» – крикнет Паранька. «А что тебе?» – «Как что, мерин снулый! Вон люди добрые уже на улицу выезжают. А у тебя и лошадь не запряжена!» – «Поспею. Куда они денутся!» Однажды поехал просо волочить. День был воскресный, на улицах народ праздный. А он ведет себе лошадь в поводу, по обыкновению свесив голову. Возле колодца, на краю села лошадь потянулась пить. Евсей охотно подвел ее, попоил, повел дальше. Борона задела за колоду, постромки были у него веревочные, да еще на узлах. Лошадь дернула, постромки оборвались, борона у колодца осталась, а он пошел себе в поле. Ребята эту борону затащили ему на крышу. Не обиделся. «Вота, глупые... Пыжились, подымали на такую высоту. Чай, надорваться могли...»

Эта странная смесь дерзкой взрывной силы и одновременно незлобивости да вялой мечтательности была присуща всем Бородиным. Награжден был ей в избытке и единственный сын Евсея.

Ванятка Бородин женился поздно; не повезло ему с действительной службой: кто всего три года, а он пять с лишним лет отбарабанил на Черноморском флоте. Не успел толком оглядеться со службы, как забрали его на войну. А после мировой еще два года гражданской хлебнул.

Вернулся в двадцатом году, – у Евсея и крыша соломенная прохудилась. Отощал совсем старик – годы брали свое.

– Ванька, женись первым делом. Износились мы совсем – вон работник-то наш в борозде падает, – кивала на отца Паранька. – Да и я слепну, нитки в иголку не вздену. Латать портки некому.

– Жениться-то женись, да на ком? – рассуждал Евсей. – Кто теперь в наши хоромы пойдет? От нужды ежели какая...

– Глупые вы люди, – сказал Ванятка. – По теперешним временам все богатство вот где хоронится, – хлопнул себя по лбу. – Говорю вам: кого ни сватайте, а у меня будет в шляпах ходить.

Просватали за него Саньку Рыжую; она хоть носатая да конопатая, но девка справная – одна у матери. И мать ее, Настена Монахова, портнихой была. Не последний человек в селе. А тетка – кидай выше! – в монашках числилась. Свахой ходила Степанида Колобок, а провожаткой – Надежда Бородина. Ей Санька Рыжая доводилась дальней родственницей – монашка была племянницей бабе Груше-Царице.

Надежда и к венцу наряжала Саньку Рыжую: платье белое шерстяное, уваль<sup>8</sup>, цветы поверху, букет на груди приколола да еще венок надела, перед алтарем стелили плат белый, на который становились жених с невестой; одежду невестину в церкви держала – шаль и накидку, день был ветренный. И домой их проводила и за стол посадила. А стол-то, стол Бородины собирали всей коммунией: тут и мясо жареное, и колбаса, и котлеты, и курники, и печенье, а сладкое из свеклы сотворили (сахару не было), варенье из яблок да вишенья наварили – не отличишь, – где он, твой сахар? Поставь его рядом, ты и не глянешь на него!

Поп, отец Иван, отслужил молебен, родителей поздравил, да как глянул на стол: «Ого, говорит, вот это стол! Здесь купца Иголкина посадить не грех. Это что ж у вас застряпуха, что за мастерица такая?» Есть у нас, мол, старуха-повитуха, сказали бы, да боимся сглазить. А старики-то все провожатке подмигивают... Это ее затея, ее рукомесло... Кажется, всем провожатка угодила: и накормила и спать молодых уложила – постель им разбирала.

А наутро пришла к Евсеевым, с ней никто ни слова, – все отворачиваются и промеж себя шепчутся. Оказывается, молодые заболели. А монашка, приехавшая на свадьбу из Нижнего, успела уж в Сергачево сбегать к ворожее. Та ей и сказала: провожатка виновата. Она! Кто же еще? Известное дело – с нечистой силой путалась, бочажина! Погодите... Это ее печенья да варенья всем нам боком выйдут. Еще неизвестно, что за сласти она туда намешала. А пантюхинская юродивая, прозорливая Наташенька, глядя на провожатку, так и сказала:

– Как увижу неверующего, так у меня глаз задергается, задергается... Нет ли у вас святой водицы? Лицо окропить.

– Кипятком бы тебе брызнуть в бесстыжую рожу-то, – ответила в сердцах Надежда.

– Надежда, ты в нашем доме божьего человека не трогай, – простонала Паранька. – Нам и так бог милости не дает. Не то и совсем все прахом пойдет.

Тут и заговорила матросская совесть у Ванятки, он ахнул кулаком об стол, так что вилки с ножами брызнули в стороны:

– Вы что, мать вашу перемать? Человек для вас всю душу выложил, а вы плевать на него! Вон отсюда, кулугурки длиннохвостые! – и вытащил из-за стола монашку с юродивой.

Всю застольицу как ветром сдуло. И свадьба на этом кончилась. А Надежде Ванятка сказал:

– Надя, век твоей доброты не забуду. И жену заставлю уважать тебя. И детям накажу... Мое слово – олово.

И подался матрос Бородин после женитьбы в Донбасс, на шахты. За шляпами поехал, как смеялись в Тиханове. Три года от него не было ни слуху ни духу. На четвертый год приехал партийным в черной фуражке с молоточками. Как снял фуражку, а у него макушка голая.

– Иван, где тебя так вылизали? Или там, под землей, с чертом «картошку копал»?

«Копать картошку» у тихановских драчунов значило – дергать клочья волос.

– Я-то накопал... Вы попробуйте. Моя картошка денег стоит... Не чета вашей, в мундере.

И в самом деле, деньги у него оказались. В скором времени построил он себе

---

<sup>8</sup> Вуаль (простореч.)

новый дом из красного лесу и даже лошадь молодую прикупил. Но, видать, место худое было. Сгорел его дом. И сгорел-то по-чудному. С утра загорелось... Воскресный день был. Уже базар собирался. Люди к заутрене пошли. Ванятка лошадь пригнал с выгона, привязал к плетню, а сам собирался в лес за хворостом. Санька у окна сидела, что-то шила. Вот тебе – народ бежит мимо окон, и все к ним в проулок.

– Спроси-ка, что за оказия, – сказал жене Ванятка.

– Шумят чего-то. Выйди, погляди, – отозвалась та.

Он вышел в сени-то, как дверь раскроет, его жаром так и обдало. Мать ты моя горькая! Горим! Вся крыша на сарае занялась, и огненные языки аж на подворье кидаются. Ванятка вспомнил, что в хлеву у него поросенок остался.

Он растворил ворота – да туда. А поросенок от него. Стой, скотина неразумная... Поджаришься раньше времени. Ну, гонялся за ним, гонялся, аж рубаха на самом затлела. Плюнул, выскочил наружу, а тут уж дом горит. Крыша соломенная была, под глинку покрыли. Она подсохла...

С треском загорелась. Искры шапкой поднялись. Толком и вытащить ничего не успели. Стропила рухнули, и все пнем село. Весь его капитал шахтерский дымом вышел. Кто поджег?

Одни говорили, будто базарников видели под защиткой, от проулка – выпивали да закуривали. Другие намекали – ребятишки, мол, играли на проулке в выбитного, и кто-нибудь залез в защитку покурить. А то и случайный прохожий мог обронить незатушенный окурок. Место бойкое – проулок, шастают люди взад и вперед. Пойди там, разберись.

И переехал Ванятка на новое место в конец села. Авось там повезет. Получил страховку. Собрал кое-как сруб из осиновых бревен, крышу соломенную. А что на страховку сотворишь? Сам окна и двери вязал. Сени из плетня сплел. Двор из жердей... Нагородил чурку на палку. Да и то в долги залез по уши. Вот и мотал соплей на кулак – то в извоз подряжался, то к Лепиле ходил в молотобойцы. Да какие это заработки! На хорошую выпивку и то не хватит. И земли всего четыре едока. А много ли возьмешь с четырех едоков? В город ехать – не подымешься – двое детей, сам четвертый. Оставить их здесь – жить на два дома выгоды нет. Куда ни кинь – все клин.

Вот тут и подвернулась ему счастливая мысль насчет артели. Андрей с Прокопом подхватили, и пошло дело. Три с лишним года – забота с плеч. Ванятка и сам оделся-обулся, и семью одел, и сбрую новую справил, и даже сад рассадил. Мечтал о новом кирпичном доме. Вот тебе, домечтался. Лопнула их артель. Как в песне поется: «...да не долго была благодать». Эх мужики-мужики, все жадность ваша да зарасть мешает жить сообща да в согласии. Одному молотилку жалко, другому жатку, третьему кобылу... А того не понимают, ежели все сложить вместе да по-хозяйски оборот наладить, выгодней дело пойдет.

Как-то в кузницу зашел Андрей Колокольцев. Вспомнили артельное житье-бытье, размечтались... И надумали по осени колхоз сотворить. «Собирайтесь все до кучи, ребята, – сказал Серган. – Я вам каждый день представленья давать буду: кирпичи бить на голове». – «А я вам коров подкую, – сказал Лепило. – Лошадей-то у вас мало – беднота». Ну, посидели, посмеялись да разошлись.

С тайной надеждой шел он к Андрею Ивановичу: поймет он его или нет? Авось отзовется? Авось поддержит? И еще толкала его в спину одна необходимость: узнал он от Сенечки, что на активе впишут Андрею Ивановичу сто пятьдесят пудов излишков сена. И потребует не кто-нибудь, а сама Зинка. Ванятка инда ус прикусил, а

потом целый день ворочалась в голове его, словно жернов, каменная мысль – свинья я или не свинья? Помню добро или не помню? Помню! Пошел-таки вечером к Андрею Ивановичу предупредить. А там уж пусть соображает.

Размечтался по дороге. Хорошо бы зажили все одним колхозом: ни тебе налогов, ни излишков. И добрых людей тревожить не надо.

Все равны, как перед богом. Отвел бы он скотину на общий двор – ни тебе забот, ни хлопот. Уж как-нибудь вдвоем-то с женой заработали они бы и денег и хлеба. Семья маленькая – любота...

У Андрея Ивановича застал он милиционера Симу. Они сидели за бутылкой водки. Самовар на столе сипел, Надежда с Царицей пили чай.

– Чай да сахары! – приветствовал хозяев от порога Ванятка.

– Прямо к столу угодил. Быть тебе богатым... Садись, Иван Евсев! – пригласил его хозяин, пододвигая к столу табуретку, – мы тут со Степаном Никитичем (это про Симу) возвращение кобылы отмечаем. Пей! – Андрей Иванович налил и Ванятке.

Выпили.

– А я ноне приезжаю из лугов, смотрю – лошадь на дворе, под седлом. Бона, гость из Ермилова, – рассказывал Андрей Иванович, кивая на Симу.

– Как из Ермилова? Вроде бы он сергачевский? – спросил Ванятка.

– Неделю дома не был, – ответил Сима. – Дело все разбирали.

– А, с Жадовым! – догадался Ванятка. – Слыхали.

– Не только с Жадовым. Там целая компания.

– А что Жадов?

– Что Жадов. Зарыли, – ответил Сима.

Ванятка мельком взглянул на Андрея Ивановича и ничего не сказал.

– Вот приехал передать Андрею Ивановичу, чтоб съездил в Ермилово, протоколы подписал. С Жадовым кончено. А Лысого забреют как миленького. Получит и он по заслугам.

– Велики ли заслуги? – спросил Ванятка.

– Они ж с Иваном свистуновского ветеринара ухлопали. Их видели в Волчьем овраге братья Мойеровы из Выселок. Ну и доказали. Лысый крутился, вертелся... Суток четверо все отпирался. Но запутался совсем... И признался. Иван, говорит, стрелял, а я на бугру стоял.

– Этот живодер отстрелялся, – зло сказал Ванятка, играя желваками. – Многих он отправил на тот свет...

– Сказано, чем ты меряешь, тем и тебе откидается, – со вздохом заметила Царица.

Андрей Иванович сидел насупленно, чувствовалось, что разговор ему этот не по душе. Ванятка, заметив сноп, прислоненный к стенке, спросил Надежду:

– У вас ноне вроде бы зажинки?

– Да. Ходили пополудни с бабой Грушей. Рожь спелая. Завтра начнем жать.

Ванятка подошел к снопу, сорвал несколько колосьев, потер их в ладонях, взял на зуб осыпавшиеся спелые зерна.

– Зерно сухое, и налив хороший. Завтра и мы двинемся с Санькой. Я уж крюк<sup>9</sup> наладил.

– Говорят, вы с Андреем Колокольцевым опять артель надумали собрать? – спросил Андрей Иванович.

---

<sup>9</sup> Коса, приспособленная для скашивания ржи.

– Не артель, а колхоз. Вот по осени уберемся и думаем сообразить такое дело. Кое-кто из мужиков согласен.

– Ага... Поди, Якуша?

– Он.

– А Ваню Парфешина еще не пригласили? Степана Гредного, Чекмаря, – посмеивался Андрей Иванович.

– Як тебе не в шутку, а всерьез, – обиделся Ванятка. – Мы тут прикинули промеж себя – вроде бы получается. С властями посоветовались – одобряют, помочь обещают. Вот я и пришел с тобой посоветоваться. Ты мужик авторитетный, тебя слушают.

– Ну что ж, поговорим всерьез. – Андрей Иванович скрутил «козью ножку», закурил. – Значит, земля общая, скот вместе собрать, инвентарь... И работать сообща. Так я вас понимаю?

– Ну так.

– Мудрость невелика. Ладно, я пойду в колхоз... Но ты мне сперва организуй хозяйство, построй дворы, мастерские, машины закупи да дело покажи. Видел я в плену у немцев один колхоз. Коллективершафт называется. Да у них не токмо что люди обучены каждый своему делу – коровы и те сами себе водопой устраивают. Подходит к корыту, а там сосок от трубы выставлен. Она надавливает на него – и вода течет. Пей сколько надо. Чуешь? Капли воды лишней не пропадет. Вот это колхоз. Все участвуют на паях. Прибыль – которую часть по себе делят, которую в дело пускают: на строительство или машины покупают. Все идет вкруговую. А мы что сотворим?

– Ну вот, нашел чего в пример ставить – буржуйское хозяйство. Мы по-крестьянски, по-пролетарски, плечо к плечу станем, да друг перед дружкой так пойдем чесать, что будь здоров. Догоним и тех буржуев. Или ты не веришь, что мы супротив них сработаем?

– Веришь не веришь... Не в том дело. Ладно, тебя я знаю. Мужик ты горячий, работать с тобой можно. Но как только я подумаю, что поеду в поле на мосластом мерине Маркела, а на моей кобыле поедет Маркел и будет лупить ее промеж ушей чем попадя, так у меня ажно коленки дрожат.

– Он не токмо что бьет, кусает лошадь, черт зловредный, – сказала Надежда. – Намедни копна возил, мерин притомился, стал. Он его бил, бил – ни с места. Тогда он ухватился за холку и зубами его за шею: гав, гав! Ну, чистый кобель. Да нешто можно ему доверять чужую лошадь, когда он свою грызет?

– Опять двадцать пять. Я про колхоз, а они про Маркела да про лошадь. Кто у вас к кому приставлен? Ты к лошади или лошадь к тебе? Ежели хозяин ты, а не лошадь, так и рассуждай по-хозяйски. Что лошадь? Одна сработается, вторая появится. А здесь речь идет о жизни! Объединимся – машины появятся. Государство даст. Ни тебе налогов и обложений. Не бойся, что лошадь угонят или корова сдохнет. Все общее, и никаких забот. То есть ходи в поле, работай, старайся за все хозяйство.

– Конечно, у тебя какие заботы? – всего двое детей. А у меня их вон целая орава. Ты мне скажи, будет ваш колхоз выдавать хлеб по едокам?

– Это на общих основаниях... Кто сколько заработает. По справедливости.

– То-то и оно. Советская власть поступила мудро – она каждому народившемуся человеку выделяет пай земли. Все равны перед богом или, как теперь говорят, перед обществом. А вы что хотите сделать? И мою землю – восемь едоков, и землю Степана Гредного – два едока, объединить решили. Работать мы с ним будем в одинаковых условиях, да еще на моем тягле. У него нет ни хрена. И платить нам будут примерно

одинаково: что я спашу на этой лошади, то и он примерно спашет на ней же. Но Степану со Степанидой на двоих делить заработок, а мне на семерых тот же заработок. Где же у вас справедливость? Значит, вы хотите создать такой колхоз, который будет на пользу бездетным и во вред многодетным. Это не по-советски, это, мужики, не по-ленински.

– Ну, это можно обговорить... Соберутся колхозники и решат.

– Так вы сначала соберитесь и решите. А мы поглядим. Никуда мы не денемся... Вон у меня самого целый колхоз подрастает. Чего им делать в одном хозяйстве? Настанет время – все они к вам пойдут. Так что старайтесь на здоровье, начинайте, – и он обернулся к Симе: – Я все хотел у тебя спросить: в кого это стрелял Кулек там, в избушке возле озера? Ну, когда засада была?

– А-а? Это когда я бросился к нему на помощь? – Сима ухмыльнулся и покачал головой. – Прибегаю к избушке, – а он лежит на бугре в кустах. «В кого стрелял?» – спрашиваю. Он глазами на меня хлоп-хлоп, а глаза-то осоловелые, красные. Раненый, что ли, думаю. «В тебя попали?» – «Нет, говорит, я стрельнул. Черный какой-то, здоровый... Сиганул из дверей прямо у камыши. Я вослед ему пальнул. Поищи там. Может, где валяется». Я бросился в камыши – никого. Вода да кочки. Ну, чего лежишь, говорю. Пошли в избу! А он мне – ты, мол, осторожней. Там прячется кто-то. Только что стучал в избе. Скамейку, наверно, повалил. Кабы кто сидел там, говорю, давно бы нас из окна ухлопал. Пошли! Встал мой Кулек на четвереньки, а на ноги подняться не может. Руками шарит по траве, как будто гривенник потерял. Вон ты, брат, какой воитель! Поднял я его, на ноги поставил, а от него самогонкой, как из пивной бутылки.

– Где он успел нализаться? – спросил Андрей Иванович.

Надежда и Царица засмеялись.

– Нешто за вами уследишь, – сказала Надежда. – Вы на причастии и то успеете нарюниться.

– Вот и я его спрашиваю: где ты нарезался? А он мне: я только, мол, попробовал... крепкая, зараза, как спирт. Вошли мы в избушку, и вся картина прояснилась: в углу стоит в плетенке бутылка с самогоном, а посреди пола валяется копченый окорок с оборванной веревкой. И следы когтей на окороке. «Ты дверь-то, наверное, не затворил?» – спрашиваю. «Не помню, говорит, я окорок не трогал, только из бутылки хлебнул малость и залег». Ну, ясное дело: вошел в избушку кот, с лавки прыгнул на висевший у потолка окорок, веревка оборвалась, кот испугался грохота и выбежал в дверь. А Кулек пальнул спяну в кота. «Ты в кота, говорю, стрелял-то». А он свое тянет: «Ннеет. Энтот был здоровый и черный... А может, повержилось?»

– А что? Могло и повержиться, – отстраняя выпитое блюдце, сказала Царица. – Ничего хитрого нет.

– А я в тот раз и смотреть ни на кого не хотел, – сказал Андрей Иванович. – Так-то мне тошно сделалось. Сел на кобылу и только крикнул Кадыкову: в лугах буду, ежели на допрос вызывать. Он мне рукой махнул – давай, мол.

– Ох-хо-хо, время баламутное, – вздохнула Царица и продолжала свое: – Как по такому времени и не вержиться. Вон, наемни ехал дед Пеля из лугов мимо старого бочаговского кладбища. Припозднился... Время клонилось к полночи. И вот тебе на самом бугру за канавой стоят два вола. И вроде бы ярмом связаны. Стоят к нему мордой. Рога здоровенные! Ну как мимо них проедешь? Запорют! Остановил лошадь. Он стоит, и они стоят. Откуда, думает, здесь два быка? Ежели один мирской Демин? А

другой откуда? И чего они стоят рядом? Да они и на быков не похожи. У наших рога толстые и короткие, а у этих длинные, тонкие и ажно кверху загнутые. Ну в точности такие волы стоят, на которых татары и дончаки к нам на базары арбузы привозят. Но ни арбы, ни упряжки... Стоят, не шевелятся. Да с нами крестная сила! – подумал дед Пеля. «Ну-ка я крест наложу». Окстился! Стоят. Тогда он молитву читать «Живые в помощь»: «Господи, заступник мой еси, прибежище мое...» Как дошел до слов: «да не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей, во тьме приходящей...» – они и растаяли. Правда, говорит, вроде бы земля тронулась, колебнулась чуток и будто вздох какой слышался. Стеганул, говорит, я лошадь – и до самых Бочагов зубами стучал.

– Да у него и зубов-то, поди, нету, – возразил Андрей Иванович. – Ему уже за сто десять лет, пожалуй, перевалило.

– Что ты, Андрей Иванович! Новые поросли. Как за сто лет перевалило, так белеть во рту стало.

– Это он, поди, десна сжевал до костей, – сказала Надежда.

И все засмеялись.

– А может быть, это клад был? – сказал Ванятка.

– Все может быть, – подтвердил Андрей Иванович. – Там старая Крымка проходит. По той дороге татары с юга на Владимир ходили. Добра-то поувозили не перечесть. Может, какой мурза или хан второпях, при налете русских и зарыл у дороги клад. Да и позабыл, поди, место. А то и самого мурзу убили и конников его посекали. Все может быть.

– Если клад, то ба-альшой, – оживленно блестя глазами, сказал Ванятка. – На телеге не увезешь.

– Какой клад? Будет вам небылицы городить, – сказал Сима.

– Чего? – недовольно спросил Ванятка. – Ты знаешь, как дядь Егор Курилкин клад откапывал? Ну?

– Не знаю.

– Вот и помалкивай. У Екатерининского моста, под самым Любишином ему вот так же в полночь показался бык. Он его кнутовищем по холке! Бык и рассыпался. Вроде бы что-то блеснуло при луне, как бы углубление на том месте. Лопата при нем оказалась. Пока он в задке лопату искал, пока лошадь остановил, к перилам привязал... Подошел – все ровно. Нет никакого углубления. Он перекрестился, поплевал на ладони и давай копать. Он копает, а под ним что-то позвякивает и земля вроде бы осаживается, со вздохом таким... Все ух да ух! Ну, как вон снег с тесовой крыши по весне оползает. Он уж по шейку зарылся. Вот тебе, едет тройка вороных. Тпру! «Ты чего здесь копаешь? – спрашивает с облучка. – Не сумел взять словом, лопатой не возьмешь!» И так, говорит, замахнулся на меня, вроде бы не кнутом, а саблей. И я, говорит, сознание потерял. Очнулся на рассвете: лежу в овраге под мостом, и где моя телега, где колеса валяются, а лошадь траву щиплет.

– Поди, по пьянке угодил под мост, – усмехнулся Сима.

– Почему? – спросил Андрей Иванович. – Это клад не дался в руки. Могло и хуже кончиться.

– А я вам говорю – слово знать надо, чтобы клад взять, – настаивал Ванятка.

– А нам весной дался в руки один клад, – сказала со смехом Надежда. – Расскажи, Андрей, как ты багром зацепил его в колодце?

– Ну тебя!

– Что за клад? – недоверчиво спросил его Ванятка.

– Да-а... – махнул рукой Андрей Иванович. – Шинкарей трясли по весне. Вот Слепой с Вожакон и надумали в колодце богатства свои схоронить. А у меня, как на грех, ведро оторвалось. Опустил я багор, щупаю... Что-то вроде зацепил. Потащу – мешок какой-то. Тяжелый! Чуть над водой приподыму – он плюх опять в воду. Мешковина рвется. Что за чудо? Изловчился я, зацепил за узел. Вытащил. Развязал мешок – а там одни медяки: пятачки да семишники. Ну, ясно, чей клад. После обеда, смотрю, – Вожак бежит с багром. Уж он буркал, буркал возле колодца... до самого вечера. А вечером ко мне приходит: «Андрей Иваныч, ты, говорят, ведро ловил багром?» – «Ловил, говорю». – «А ты еще ничего не поймал?» – «Поймал деньги в мешке». – «Это наши деньги». – «А я их в милицию отнес, говорю. Мне сказали, если хозяин найдется, сообщите нам. Так что идем в милицию». Эх, как он задом от меня шибанул в дверь и наутек. «Не наши деньги, кричит, не наши!» Так и пришлось мне самому тащить к ним этот мешок с медяками. Да еще дверь не открывают. Не берут. Вот так клад!

Все дружно рассмеялись, а Царица мотнула головой и сказала:

– Нет, мужики... хотите верьте, хотите нет, а деду Пеле знамение было. Потому как он у нас самый старей на селе, ему и сподобилось. Быть туче каменной и мору великому, говорит дед Пеля. Кабы война не разразилась?

– Упаси бог, – сказала Надежда.

– Говорят, что Чемберлен нам какой-то все время грозит.

– Вот спохватилась, милая, – отозвался Андрей Иванович. – Чемберлен отгрозил свое. Теперь в Англии правит Макдональд.

– А хрен редьки не слаще, – сказал с уверенностью Ванятка.

На кровати в горнице кто-то заворочался и хриплым голосом попросил:

– Пить подайте.

– Вроде больной у вас? – спросил Ванятка.

– Сережа заболел, – Надежда встала, пошла в летнюю избу, загремела кружкой о ведро.

– Дак в больницу надо, – сказал Сима.

– Мы с ним только сеодни из лугов приехали, – сказал Андрей Иванович.

– А что ваша больница! – вступилась Царица. – Трубку деревянную приставят к брюху и слушают. Болезнь не кошка, когтями не царапает, ее не услышишь. Она дух человеческий поражает. Ее изгонять надо. Я вот послала Федьку за водой из-под трех шумов. Наговорю водицы, окроплю Сереженьку – и вся лихоманка пройдет.

– Ну, мне пора... Совсем засиделся, – Сима встал и начал прощаться. – Спасибо за угощение! В Сергачеве будете – милости просим к нам.

– Сами заходите почаще! – отозвалась Надежда от кровати. – Когда на базар заедете... Когда и просто по пути.

– Спасибо, спасибо! – Сима вышел.

– Андрей Иванович, что-то мне тут не курится. Вон Сережка больной, – сказал Ванятка, подмигивая хозяину. – Давай на вольном воздухе потянем.

– Пойдем, потянем.

Они вышли на подворье, уселись на завалинке, закурили.

– Актив у нас готовится, – вроде бы между прочим начал Ванятка.

– Какой теперь актив? Страда только лишь начинается.

– Будем выдвигать на индивидуальное обложение. Список уже подработан. Вчера мне Зенин показывал. Говорит – согласован в РИКе.



- Сколько человек? – без видимого интереса спросил Андрей Иванович.
  - Шестнадцать душ.
  - Многовато. Кто именно?
  - Шесть лавочников. Молзаводчики. Шерстобитчик Фрол Романов. Колбасник. Калашники. Трактирщик и Скобликов.
  - А чего Скобликова обкладывать? За то, что ободья гнет своими руками? За это?
  - Ну, ты сам знаешь за что... Все-таки из бывших.
  - Н-да, жаль Скобликова.
  - Ему все равно этой кутерьмы не миновать. Месяц раньше, месяц позже. Какая разница?
  - Помногу обкладывают?
  - Кого по пятьсот рублей, а кого и на тыщу.
  - Да-а...
  - Ну, это еще по-божески. Вон в Тимофеевке Костылина на полторы тыщи обложили. И то, говорят, платит.
  - У того лавка богатая... Мастерские.
  - Я ведь тебя предупредить пришел...
  - О чем? – резко вскинул голову Андрей Иванович.
  - Кроме этих обложений, будут излишки начислять по сену. Это пойдет по списку середняков. И такой список тоже составляется.
  - Постой, излишки начисляем мы, комсод и сельсовет... Вы не имеете права.
  - Зенин говорит – будто бедноте передают такое право.
  - По сколько же начисляют сена?
  - Кому по тридцать пудов, кому по сорок. А тебе сто пятьдесят пудов записали.
  - Кто записал? На каком основании?
  - Говорю тебе, пока это прикидывают лишь в узком кругу. Основание нашли. Зинка от вас ушла? Ушла. Вот она и сделает заявление на активе – свой пай по сену отдает государству. За твой счет, конечно. И с тебя его вычтут, будь спокоен.
  - Да разве ж на ее паю столько накопишь? Это ж четверть всего сена! Они что, обалдели? – взорвался Андрей Иванович.
  - Тише, ты не на собрании. В своем они уме или нет, я их не проверял.
  - А Якуша был там... на этом самом вашем узком кругу?
  - Был.
  - Он что, тоже согласен?
  - Говорит, раз член семьи за – у него возражений нет.
  - Друг называется... Ну, погоди же! Не на того напали.
  - Смотри, меня не выдавай. А то сам знаешь – по головке за такое не поглядят.
  - Ну, ну, давайте, старайтесь... Мать вашу...
  - Ты чего на меня-то?
- Андрей Иванович обернулся к нему, недовольно запыхтел:
- А ты что скажешь там, на активе?
  - Что я скажу? Моя сказка ничего не изменит. А все ж таки хоть и двоюродным, но братом тебе довожусь. Сам понимаешь, как на это смотрят. Если Зенин выступит, да еще от имени жены потребует сена, то его могут поддержать. Так что учти. Свяжитесь как-нибудь с Зинкой, уговорите ее.
  - Ну что ж, спасибо на добром слове. Но эта вошь на мне зубы поломает. – Андрей Иванович кинул окурок и растер его сапогом.

Проводив Ванятку, поднялся в летнюю избу хмурый и злой.

За столом сидел Федька.

– А ты чего тут сидишь? – спросил Андрей Иванович.

– Воды принес, – кивнул тот на поставку, стоявшую на столе. – Как наказывали – из-под трех шумов! Сперва зачерпнул возле плотины синельщика, потом на перепаде в Пасмурке, за Выселками, а за третьим шумом аж на Сосновку бегал.

Не слушая его, Андрей Иванович прошел в горницу и остановился на пороге: в переднем углу горела лампада, перед иконами, упав на колени, горой громоздилась Царица, наговаривала воду, налитую в обливную чашку.

– Стану я, раба божия Аграфена, благословясь, перекрестясь, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота в восточную сторону, в восточной стороне есть окиян-море, на том окиян-море есть остров, на острове том есть святая православная церковь; в церкви той стоит стол-престол, на престоле том стоит божья мать. Подойду я, раба божия Аграфена, поближе, поклонюсь пониже; поклонюсь, помолюсь, попрошу ее милости: сними с раба божия Сережи все скорби и болезни, уроки и призорья...

И вдруг этот торопливый бубнящий говорок оборвал детский сухой голос:

– Пить, баба! Пить...

Андрей Иванович почувствовал, как мягкая теплая волна хлынула из груди и застряла, забила где-то в горле.

Он торопливо вышел в сени, сбежал по ступенькам скрипучего крыльца на подворье и, запрокинув лицо в темное наволочное небо, уловил холодные крапинки бесшумного дождя.

– Этот надолго зарядит... обложной, – вслух подумал Андрей Иванович и, вытащив из-под лапаса скатанный брезент, начал накрывать им телегу, на которой лежало вязанки две примятого свежего сена, только что привезенного из лугов.

## 15

В конце июля перед жатвой в кабинете секретаря райкома собралось бюро в узком составе. Председательствовал сам Пospelов, протокол записывал завотделом агитации Паринов, хмурый неразговорчивый человек с отечным лицом и высокими залысынами. Кроме них за торцовым столом уселись еще трое: Возвышаев, Озимов и Тяпин.

Приглашенные на бюро остались в приемной, ждали поочередного вызова.

Для отчета вызвали двух председателей сельских Советов – Тихановского и Гордеевского. Первым слушали Кречева.

– Моя работа строится двояким образом: значит, первым делом аппарат и, во-вторых, я сам, – начал свой отчет Кречев, заглядывая изредка в школьную тетрадь, перегнутую пополам. – Весенний сев мы провели под знаком реформации сельского хозяйства, то есть устраивали читки и беседы для деревенского актива, для малограмотного читателя и для женской части населения отдельно... Кроме того, были организованы красные обозы по вывозке излишнего зерна, дров для школы и райисполкома, хворосту для гатей и так далее. Всего провели мы десять подобных кампаний, да плюс к тому работа по самообложению, да еще подворный обход. В результате рост посевных площадей увеличен на семь процентов за счет освоения болот и кочкарника, урожайность запланировано повысить тоже на семь процентов. Выполнен план по контрактации. На наше село спущено триста га сортового сплошняка под шатиловские овсы. Обмен семян проведен вовремя. Получено на село

за отчетный период семьдесят плужков, восемьдесят железных борон, две диски, три сеялки, две тысячи рублей лошадиного кредита. Число беспортошных хозяйств уменьшилось. Полагаем к концу пятилетки от бедняцких хозяйств освободиться полностью.

– Каким образом? – перебив Кречева, спросил Пospelов.

– Частично за счет отъезда на стройки.

– А если ему не на что уезжать? – спросил Возвышаев.

– Поможем.

– Чем?

– Надо за счет самообложения создать фонд и выделять из него подъемные.

– Утопия, – сказал Пospelов и сложил свои сухие губы бантиком, словно поел чего-то сладкого.

Массивный Озимов заворочался, будто спросонья, так что стул под ним заскрипел.

– А что? Это любопытно! Значит, товарищеская взаимопомощь. А если он ваши деньги проездит и назад вернется?

Кречев огладил пятерней свой ежик и чуть заметно усмехнулся:

– Если насовсем уезжает, не возвратится. Дом свой продаст, а стало быть, и надел сдаст. Куда же он теперь вернется?

– Выходит, вы ему вроде бы теперь полную откупную даете?

– Пока еще не даем. Думаем наладить вскорости такое дело.

– Развел ты здесь канитель с буржуазной подкладкой, – сказал раздраженно Возвышаев. – А если эти безлошадные не захотят уезжать? Что ж ты их, силом будешь выпихивать?

– Зачем же выпихивать? Пусть остаются как есть все в селе.

– Но они же беднота, их подымать надо, понял?

– Ну и что? Ремеслу обучать будем, в промысловые артели вовлекать.

– Вот вам коммунист-сращенец и коммунист-примиренец в одном и том же лице, – выкинул широкую ладонь Возвышаев в сторону Кречева. – Могут, к примеру, в вашу кулацкую артель на Выселках принять неграмотного пастуха?

– Отчего же нет? Правда, артель эта не кулацкая, а профессиональная. Надо подучить того пастуха, подождать, пока он ремесло освоит...

– А если мы не хотим ждать? – повысил голос Возвышаев. – Если наша задача направлена ко всеобщему уравниванию труда и жизни?

– А я разве против? – спросил в свою очередь Кречев.

– Ты не против, но и не за. Есть такая фраза – промежуточная индифферентность, то есть ни то ни се – ни богу свечка, ни черту кочерга. Чего ты нам развел тут оппортунистическую теорию постепенного выравнивания бедноты? Всю бедноту можно враз выровнять только всеобщей коллективизацией. Создать один колхоз на все Тиханово. Понял? И самообложения никакого не будет. Некого обкладывать – все станет общим. И это есть единственно правильная политика на сегодняшний период.

– Но пока еще нет такого колхоза. Есть только промысловые артели.

– Значит, создадим.

– Но какая ж моя конкретная задача? Какую линию нынче проводить?

– Поменьше рассуждать. Хлебозаготовками заниматься надо – вот твоя задача.

– Зачем же тогда вызвали меня с отчетом? – Кречев ткнул в свою погнутую тетрадь. – Или он никому не нужен?

Неожиданная перепалка выростала в откровенный скандал.

– Никанор Степанович, может, вопросы потом зададим? – осадил раскрасневшегося Возвышаева Озимов. – Будем слушать или как?

– Да, товарищи, прежде всего спокойствие, – опомнился Поспелов и постучал карандашом. – Давайте не терять делового настроения. На повестке дня стоит отчет товарища Кречева. Вот и давайте послушаем его. А там примем оргвыводы. Пожалуйста, товарищ Кречев, расскажите нам теперь о вашей личной работе. Как складывается ваш, так сказать, бюджет времени? Какие помехи встречаются? Какая помощь нужна и так далее, чтобы перестроить работу по-боевому?

– Ну, как я работаю? – переспросил Кречев. – В восемь часов иду в сельсовет... Меня уж поджидают крестьяне; вопросы всякие: тут тебе и сельхозналог, и самообложение, и страховка, и о лесе спрашивают, и о семенном фонде, а то споры земельные, с разводами, с семейными разделами – все ко мне. И дай ты каждому или справку или разъяснение. Иное утро пропустишь человек шестьдесят. А в полдни – собрание: сегодня комсомол, завтра середняцкий актив, потом беднота, потом комиссии содействия по хлебозаготовкам, там пленум сельсовета, а то еще красноармейские жены. А сельсходы! Энти так выматывают силы, что на карачках выползаешь. После обеда занимаешься канцелярией – отвечаешь на запросы из района, ведешь всякую арифметику: сводки заполняешь, заказы даешь, всякие обложения выписываешь. Народу много, а ты один – иной раз по три часа пишешь. А тут партийцы собираются на заседание. Идешь к ним – надо. Да еще много времени тратишь на беседы с товарищами из округа: то из коопхлеба, то из союзхлеба, то женотдел, то комсомол, то из окрфинотдела, окрторготдела и тому подобное. Вот он – мой бюджет времени. За отчетный период, за пять месяцев то есть, провел тридцать групповых собраний, концевых двадцать четыре, чисто бабьих двадцать пять, сходов – три. Индивидуальная обработка не в счет. Спрашивается – какие помехи встречаются? К примеру, подбил я на контрактационный сплошняк полтора ста хозяйств, затвердил за ними по десятине шатиловского овса, выдали им аванс под будущий урожай... И вот тебе, приходит в сельсовет телефонограмма: «...в изменение контрактационных условий, преподанных от четвертого сего мая...» Какие же теперь могут быть изменения условий? Овес посеян, аванс выдан. Нет! Изволь теперь изменить закупочную цену, понизить то есть. Ну как, с какими глазами идти теперь к мужикам? Я ж их уговаривал, договор подписали. И все, выходит, кобелю под хвост? Кто же на другой год мне поверит?

– Не о том речь, товарищ Кречев! – сказал Возвышаев, глядя в стол перед собой. – Ты нас не агитируй насчет своей занятости. Мы не меньше твоего заняты. И не попрекай нас ценами на контрактацию. Не мы их устанавливали, не мы и менять будем. Ты лучше скажи, как на сегодня и на ближайшее время думаешь план хлебозаготовок выполнять?

– Каждому хозяйству, как вы знаете, задание доведено.

– А излишки?

– Излишки на общих правах. Вот уберемся, сдадим основные поставки, потом соберем общее собрание и примем на нем контрольные цифры насчет излишков. Потом комсод, то есть комиссия по содействию, определит, сколько каждое хозяйство сможет продать хлебных излишков. У нас даже пастухи сдают излишки. Дед Гафон на целых десять пудов записался в прошлом году сразу же.

– И когда же вы сдали прошлогодние излишки? – спросил Тяпин.

– В мае месяце, – с запинкой, не совсем твердо ответил Кречев.

– Этого года? – спросил Пospelов.

– Да.

– И вы думаете – мы будем ждать до следующего мая месяца? – спросил Возвышаев.

Кречев даже вспотел от напряжения:

– Осенью сдадим.

– Нет, не осенью, а летом! – прихлопнул Возвышаев об стол. – Кстати, сеноуборку кончили?

– Заканчиваем...

– А где излишки по сену?

Кречев сухо сглотнул, будто ему что-то мешало говорить, но промолчал.

– У них комсод еще богу не помолился, – хохотнул Возвышаев.

– Ну да, гром не грянет – мужик не перекрестится, – отозвался насмешливо Тяпин.

– Товарищи, товарищи, давайте по-деловому! – застучал Пospelов карандашом. – Сперва с хлебозаготовками решим. Вы сможете взять на себя обязательство – сократить сроки хлебозаготовок? Ну, рассчитаться, допустим, к первому сентября?

– Сможем.

– Вот и отлично. Запиши ему, Иван Парфеныч! – обратился Пospelов к Паринovu. – Сдать хлебозаготовки к первому сентября.

Паринov только крикнул и строже наморщил желтый лоб.

– Так! – удовлетворенно сказал Пospelов, снял очки и разглядывал их на отдалении. – Теперь второй вопрос: значит, по просьбе рабочих Балтийского завода выпущен третий заем индустриализации. В какие сроки вы обязуетесь охватить все население подпиской?

– В сжатые, – выдохнул Кречев.

– Э, нет! Слово «сжатые» еще ничего не говорит. Сроки, товарищ дорогой! Назовите сроки?!

– К зиме подпишем.

– Ага, на Святки! Когда все ряжеными выйдут на улицу... Кто откажется – и рожки не видать, – усмехнулся Возвышаев. – А еще лучше на масленицу, на бегах. Он, знай, чешет наперегонки, а ты ему на запятки встань и упрашивай: подпишись, пожалуйста, дорогой товарищ, на заем!

– Да, да, – согласно закивал Пospelов. – К зиме – срок несерьезный. Вот как вы смотрите, чтоб к Октябрьским праздникам охватить все население стопроцентной подпиской?

– Постараемся!

– Отлично! Иван Парфеныч, запишите им срок – седьмое ноября. Наконец третий вопрос: как у вас обстоят дела с индивидуальными обложениями?

– Все, которые имеют заведения, то есть, к примеру, молзавод, трактир, колбасную или калачную, булочную, – все обложены.

– На сколько обложен бывший помещик Скобликов? – спросил Возвышаев.

– У него же нет заведения, – Кречев пожал плечами. – Он работает в артели, хозяйство у него середняцкое – лошадь да корова. За что ж его обкладывать?

– А вы знаете, на сколько они продают телег? – спросил Возвышаев.

– У них в артели учет налажен. Там фининспектор бывает, знает.

– А кто ведет этот учет? Сами ж они и ведут. Где гарантия, что они Советской власти не втирают очки? – спросил опять Возвышаев.

– Да я вам что, милиционер? – взорвался Кречев. – Мне некогда ловить их с поличным.

– Это мы видим, что вам некогда, – согласился Возвышаев. – У меня есть предложение.

– Пожалуйста, – сказал Пospelов. – Иван Парфеныч, запиши!

– Вопрос об индивидуальных обложениях передать на совместное заседание партячейки с беднотой. Это первое. Второе – распределение хлебных излишков, а также излишков насчет сена у комсода изъять и передать полномочия по этому вопросу бедноте и партячейке. Надо переходить на более решительные позиции. Давайте по-новому работать.

– Вы согласны? – бросив строгий взгляд, спросил Пospelов Кречева.

– А мне не все равно, что с комсодом заседать, что с беднотой.

– В таком случае дадим ему недельный срок, – продолжал Возвышаев. – Пусть определит излишки и по селу и по хлебу.

– Иван Парфеныч, запиши! И последнее, товарищ Кречев, секретарь вашей ячейки Кадыков подал заявление об уходе в связи с переездом его в Пантюхино. На повестку дня ставится вопрос – кого рекомендовать вам в секретари партячейки? – сказал Пospelов.

– Милентий Кузьмич, я полагаю, что этот вопрос мы разберем и без председателя сельсовета, – с легкой иронией заметил Возвышаев. – К тому же товарищ Кречев устал... Вон как вспотел, будто с молотьбы. Может, отпустим его?

– Я не возражаю, – согласился Пospelов. – Как вы, товарищи члены бюро?

– У меня к нему больше вопросов нет, – сказал Озимов.

– А у меня есть. Вы чистку проходили, товарищ Кречев? – спросил Тяпин.

– Нет еще.

– Тогда ответьте на вопрос, какие основные задачи второго года пятилетки?

– Рост промышленности на тридцать два процента, рост производительности труда на двадцать три процента. Значит, снижение себестоимости...

– Правильно! А еще? Можно сказать, главный вопрос!

– Насчет капиталовложений на строительство?

– Это, конечно, самый основной вопрос. Ну, а главный?

– Не знаю! – по-бычьему недовольно и шумно засопел Кречев.

– Ну как же? – раздосадованно махнул рукой Тяпин и ладонью кверху. – Ну, ну? Добиться решительного перелома в борьбе за качество продукции. Вот оно яблочко, в которое стрелять надо. Кстати, работой Осоавиахима охвачены призывные возраста?

– Охвачены. Ходим стрелять по мишеням в Волчий овраг.

– Ну и последнее: как ответил рабочий класс на провокацию китайских наймитов на КВЖД?

– Внес три четверти миллиарда на индустриализацию страны.

– Молодец! Ступайте и постарайтесь ответить на происки китайских наймитов организованной хлебосдачей.

– Ну как, товарищи, отпускаем Кадыкова из Тихановской партячейки? – спросил Пospelов после ухода Кречева.

– Ячейка от его ухода не пострадает, – усмехнулся Возвышаев.

– А в чем дело? Почему он уезжает из Тиханова? – спросил Тяпин.

– На квартире жить надоело, – ответил Озимое. – А в Пантюхине у него собственный дом.

– Он же на работе здесь, в милиции?

– Ну и что? Полторы версты не расстояние.

– А кого в секретари на место Кадыкова? – спрашивал Тяпин.

– Есть кандидатура, – ответил Пospelов. – Никанор Степанович, пожалуйста...

Возвышаев встал:

– Мы тут прикинули с Милентием Кузьмичом и решили отрекомендовать в секретари Тихановской партячейки товарища Зенина.

– Сенечку? – удивленно вскинул голову Тяпин.

– Кто это такой? – спросил Озимов, глядя исподлобья.

– Семен Васильевич Зенин, секретарь Тихановской комсомольской ячейки, учитель местной школы, – пояснил Возвышаев. – Он уже успел зарекомендовать себя идейно стойким борцом за дело рабочего класса. У него развита прирожденная ненависть к частнособственническим инстинктам. Умеет выявлять скрытый кулацкий элемент. Безжалостен в борьбе... И вообще – человек хорошей трудовой автобиографии, он из детдома. Комментарии, как говорится, излишни. Грамотный, даже образованный. Девятилетку кончил. Одним словом, подходит по всем статьям.

Возвышаев сел.

– А то, что он самокруткой женился и расписываться не хочет, по этой статье он тоже подходит? – спросил Тяпин.

– Не торопитесь, товарищ Тяпин. Задайте этот вопрос самому Зенину, – сказал Возвышаев. – Я думаю – он достойно ответит тебе.

– Поглядим.

– Ну что ж, зовите этого Зенина... И в самом деле, поглядеть надо, что за орел, – с готовностью предложил Озимов.

– Но дело в том, что Зенина мы вызвали совместно с председателем Гордеевского сельсовета и работником райкома комсомола Обуховой, в связи с хлебными излишками, – сказал Пospelов.

– Ну и что? Зовите вкуче, секретов у нас нет. – Озимов глядел то на одного, то на другого, как бы спрашивая: «Чего тут церемониться? Пропустим всех сразу, и вся недолга».

– Иван Парфеныч, зовите! – кивнул Пospelов Паринову.

Тот осторожной мягкой походкой, поскрипывая сапожками, вытягивая шею, как заговорщик, пошел в приемную.

Опережая Паринова, первым вошел в кабинет Акимов, поздоровавшись кивком с начальством, он решительно протопал в передний угол и сел на стул, не ожидая приглашения.

На нем была белая косоворотка с расстегнутым воротом, на груди синела полосатая тельняшка; плотный, с каменным скуластым лицом, он закинул ногу на ногу и сцепил на колене пальцы так, что они побелели. По нему видно было, что пришел он разговаривать серьезно.

Мария, войдя в кабинет, сразу нырнула в сторону и присела возле самой двери. А Сенечка Зенин шел к столу, улыбаясь почтительно и робко, наклоняя голову, будто кланялся всем сразу и каждому члену бюро в отдельности. А руки, сжав калачиком, нес перед грудью, готовый в любую минуту выкинуть и правую и левую, кто какую попросит. Но здороваться не пришлось, руки ему никто не подавал, а только

Возвышаев показал на крайний стул у торцового стола.

Зенин тотчас присел, пригибая голову, и этим сразу как бы отдалился от своих товарищей, оставшихся возле стены.

– Так, товарищи, – начал Пospelов, надев очки и глядя в бумажку перед собой. – Значит, поступила докладная от товарища Зенина, в которой сообщается, что во время своей командировки он, то есть Зенин, установил злостных укрывателей хлебных излишков в селе Гордееве в количестве шести человек. Однако председатель сельсовета Акимов и уполномоченный от райкома комсомола Обухова отказались конфисковать указанные излишки, тем самым проявили акт укрывательства кулацки настроенных элементов. – Пospelов поднял голову, обернулся, поглядел на Акимова и Обухову, спросил: – Было такое обстоятельство?

– Не было, – ответил Акимов твердо и строго поглядел на членов бюро.

– Вот те раз! – как-то обрадованно подхватил Сенечка и ласково поглядел на Пospelова. – Я им составил список – шесть человек... Поименно. И указал даже, где у каждого хлеб хранится, а именно в подпечнике. Ну, как же?

– Было такое? – требовательно спросил Пospelов Акимова.

– В точности... Список он составил и насчет подпечника сказал.

– Чего ж еще надо? – радостно спросил Сенечка.

– А то, что я не прокурор и не начальник милиции. И ходить по дворам, шарить да еще ломать печи и подпечники – не имею права. Мало ли кто мне на кого укажет.

– Формальная придирка и уклонение от существа дела, – раздраженно заметил Возвышаев.

– А по моему соображению, резонное, – неожиданно поддержал Акимова Тяпин. – Как вы полагаете, Федор Константинович? – спросил он Озимова.

– Что тут полагать? Есть закон – чтобы провести обыск, а тем более конфисковать имущество, надо получить санкцию от прокурора, – отозвался тот.

– Странное заявление, – сказал Возвышаев. – Вся политика налогов прежде всего есть козырь в руках местных органов. Все права им дадены. Старайся! Покажи свою преданность и смекалку. В частности, сельсовет имеет право наложить штраф до пятикратного размера стоимости хлеба с применением, в случае необходимости, продажи с торгов имущества неплательщика, причем – двадцать пять процентов взысканных сумм идет в местный фонд кооперирования бедноты. Вот что такое налоговая политика!

Озимов слушал, выдавливая на груди свой массивный складчатый подбородок, наклонив лобастую бритую голову, удивленно глядел на Возвышаева, помолчал, а потом изрек:

– Занимайтесь себе на здоровье налоговой политикой, обкладывайте, требуйте, убеждайте... Но если идете делать обыск, ломать печь или амбар, то прихватите с собой понятых да работника милиции. Не забудьте взять разрешение у прокурора. А еще, для начала, потрудитесь установить, что хлеб прячут именно там, куда идете. Иначе конфуз выйдет.

– Разрешите мне! – Сенечка даже руку выкинул, не так чтобы высоко, а робко, у самого плечика.

– Да, пожалуйста, – кивнул ему Пospelов.

– Мне, например, известно, что некий укрыватель по фамилии Орехов признался, что хлеб он прячет именно в подпечнике. И тем не менее товарищи Акимов и Обухова категорически отказались отбирать у него излишки. Это может подтвердить



гордеевский избач. Или вон товарищ Обухова...

Все обернулись к двери и поглядели на Марию; она выпрямилась, быстро глянула на Акимова, и глубокий вырез на ее груди заалел, как пионерский галстук на белой кофточке.

– Я сказала, и теперь могу это повторить, – ответила Мария без колебаний. – Я ездила в Гордеево как представитель райкома комсомола. Следствие я не вела и ходить по избам с обыском не собиралась.

– Очень жаль, Мария Васильевна, что закрываете лицо на политическую сторону этого вопроса, – сказал Возвышаев. – Это не по-партийному.

– Партия учит нас, Никанор Степанович, любой вопрос рассматривать со всех сторон. И главное – не превышать своих полномочий. Ни в коем случае не нарушать законов.

– Вас никто не призывает нарушать закон, – проворчал Возвышаев, недовольно и резко отваливая глазом в сторону.

– Если не призываете, то по крайней мере подталкиваете.

– А вы что можете сказать по этому поводу? – спросил Акимова Пospelов.

– Я председатель сельсовета, – сказал, багровея, Акимов. – Если вы мне не верите, то ставьте на мое место этого самого избача или кого другого, который будет шарить в печке да на полатах.

– Ну зачем так обострять, товарищ Акимов? – Пospelов опять снял очки, внимательно их рассмотрел и завертел их в пальцах.

– У меня вопрос к председателю сельсовета. – Возвышаев, не дожидаясь разрешения Пospelова, спросил: – Как вы полагаете выполнить план по сдаче хлебных излишков?

– Мы один план по излишкам выполнили. А это уж второй план, и дали нам его не кто-нибудь, а вы.

– Что значит я? У меня не частная лавочка, – вспыхнул Возвышаев. – Заседал райисполком, распределял по селам задание округа... Лично мне эти излишки не нужны. Хлеб закупает под сохранную расписку райторготдел.

– Дак один раз обкладывали... Зачем же обкладывать второй раз? – крикнул Акимов. – Неужели сразу нельзя определить?

– Подобные выступления коммунистов против двухкратного и трехкратного обложения кулака льют воду не на нашу мельницу. Они, видите ли, за уравнительность... А где классовый подход? – Возвышаев встал и откинул одну полу френча, засунув руку в карман. – На то и введен новый сельхозналог, как удар по кулаку, как задача – выявить богатую часть населения в количестве большем, чем это было выявлено в прошлом году. Понимаете, товарищ Акимов?

– А если нет лишнего зерна?

– Ну да, по вашему представлению нет, а мельница гордеевская завалена зерном. Это как следует истолковать? – усмехнулся Возвышаев. – Как игру в жмурки? Вон в Веретье тоже говорили – нет излишков. А ведь нашли!

– Дак они в соседнем районе купили зерно и сдали, – сказал Акимов. – А теперь этими квитанциями открещиваются от самообложения.

Озимов и Тяпин засмеялись, а Возвышаев бросил им с упреком:

– Между прочим, смешного тут ничего нет, – и сел.

– Товарищ Акимов, но ведь из каждого положения нужно искать выход. Какой же выход вы нам подсказываете? – спросил Пospelов.

– Выход только один – дожждаться нового урожая. Тогда и сдадим старые хлебные излишки, – ответил тот. – Но только давайте договоримся – новые излишки определять один раз в году, а не пять раз.

– Небось сам садишься есть каждый день, и по три раза, – проворчал Возвышаев. – А рабочий класс одним днем хочешь накормить на целый год?

– Рабочих-то мы накормим, а вот те, которые считать не умеют, пусть теперь зубами звонче щелкают, – ответил Акимов.

– Товарищи, без перепалки, – скривился Пospelов. – Итак, давайте установим сроки. Когда вы сдадите старые излишки?

– К первому сентября, – запинаясь, неуверенно ответил Акимов.

– Вот и хорошо. Иван Парфеныч! Запиши! А как насчет индивидуальных обложений?

– От обложений мы не отказываемся. Но установите сперва строжайший порядок, кого и как обкладывать по закону.

– Хорошо, мы тебе установим порядок обложения, – сказал Возвышаев. – Вот после уборочной назначим к вам комиссию. Я сам поеду. Разберемся...

– Пожалуйста!

– Иван Парфеныч, запиши! Итак, вопросов больше нет? На сегодня вы можете быть свободны, товарищи.

Акимов и Сенечка с Марией не спеша встали и тихонько вышли.

– Ну что, будем рекомендовать в секретари Тихановской партячейки Зенина? – спросил Пospelов. – По-моему, он производит очень хорошее впечатление – старательный. У него, как говорится, глаза на самом затылке – все замечает.

– Чего ж хорошего? – мрачно спросил Озимое, засопел и тяжело, по-медвежьи заворочался на стуле, так что его кожаная коричневая куртка захрустела, как несмазанные сапоги. – Он, видать, из блинохватов. За ним за самим глаз нужен. Сопрет еще чего-нибудь. Глаза подслеповатые, а бегают будь здоров. Это ж надо? Разломай ему подпечник! Не нравится он мне, подозрительный тип.

– Ну, это несерьезно, – возразил Пospelов.

– Спереть, может, и не сопрет, но глаз за ним нужен, – сказал Тяпин. – Он какой-то шалый. Прошлой весной чего выкинул? За школой стадо пасли, а он на перемене выскочил быка дразнить. Ну, бык за ним погнался. Он залез на ветлу. Бык под ним землю роет, а он на него сверху по-собачьи лает. Всю школу собрал. А то по селу пойдет с гармоньей, за ним девки гужом: «Сыграй, Сеня, сыграй, милый, страданьце с переливом!» Нет, рано его на самостоятельную. Пусть еще подрастет.

– Товарищи, я вас не понимаю! – встал из-за стола Возвышаев. – Товарищ Зенин пролетарий, можно сказать, из пролетариев – сирота! В детдоме освоил рабочие профессии – умеет плотничать и штукатурить. Давайте вспомним резолюцию ЦК по докладу Самарского окружка, пункт второй: решительно изменять состав деревенских парторганизаций за счет вовлечения бедноты и представителей рабочего класса. Чего же еще надо? Я требую ставить на голосование! – Возвышаев сел.

– Других предложений нет? – спросил Пospelов. – Ставим на голосование. Кто за то, чтобы рекомендовать товарища Зенина секретарем Тихановской партячейки?

Руки почти разом подняли Возвышаев, Пospelов и Паринов.

– Кто против? Так... Тяпин и Озимое. Иван Парфеныч, запиши! Значит, большинством голосов товарища Зенина рекомендуем... – и облегченно: – Ну, кажется, все?

– Да, уж пора. Засиделись. – Озимое достал из брючного кармана часы: – Вот, девятый час.

– Как все? – переспросил удивленно Возвышаев. – А разбор налетчиков?

– Каких еще налетчиков? – недовольно буркнул Озимов.

– Степановских белогвардейцев.

Озимов поморщился, его усы бабочкой под Демьяна Бедного дернулись, как привязанные на нитке:

– Бросьте вы эту самодеятельность! Подумаешь – учителя по пьянке комедию разыгрывали.

– Ну, знаете, товарищ Озимов?! Напялить погоны, ходить по селу да еще людей добрых пугать – ничего себе забава! – тарачил глаза Возвышаев.

Но Озимов уже завелся против Возвышаева и теперь попер на него медведем:

– Ты забыл, как в третьем годе вы перепились в желудевском волкоме, переоделись в баб и поехали на степановские станы девок щупать?..

– Я там не был!

– Ты не был, зато твои заместители да помощники были. Ты же не вызывал их на бюро?

– По-твоему, все равно, что в баб нарядиться, что в белогвардейцев? Да?!

– Подумаешь, в белогвардейцев! На сцене вон в царей переодеваются, и Советская власть от этого нисколько не страдает.

– То на сцене, а то по дворам ходить! – кричал Возвышаев.

– Да уймись ты, никто тебя не боится. Ну, потешились ребята, хватили через край. Сунули им за это по выговору. Чего ж еще? Зачем дело лепить? Или мы сами молодыми не были? Какое преступление? Четверо в кладовой два часа просидели, пятый сбежал да милиционера насмешил? Вот и все. Нечего там штанами трясти.

– Но мы же вызвали Герасимова, – сказал Пospelов.

– Ничего, так отпустим. Небось не обидится... Хватит, сегодня и так наговорились, – Озимов решительно хлопнул ладонью по столу.

– Да. Пожалуй, и в самом деле пора кончать. – Пospelов тоже поглядел на часы.

– А я решительно возражаю, – повысив голос, сказал Возвышаев.

– Хорошо, будем голосовать. Кто за то, чтобы дело Герасимова считать законченным? То есть оставить в силе ранее вынесенный выговор? – Руки подняли Озимов, Тяпин и Пospelов. – Сам видишь, Никанор Степанович, ты в меньшинстве, – обернулся к нему Пospelов.

– Вот это и есть либеральная терпимость, против которой мы и собрались сегодня выступить. Но ничего... Мы еще повоюем с этой либеральной терпимостью, – Возвышаев вышел первым.

Костя Герасимов упросил Марию подождать его в палисаднике, возле райкома:

– Вместе пойдем к Успенскому. Там уже все в сборе. Варьку пропивать будем. Они с Бабосовым решили пожениться.

– В который раз? – усмехнулась Мария.

– А тебе не все равно? Подожди! Успенский наказал – без тебя не приходить. Он завтра переезжает в Степанове.

– Знаю.

– Вот и отлично! Без тебя все равно не начнут, а без меня могут всю водку выпить, – дурашливо скривился. – Умоляю, подожди! Может, я последний раз гуляю.

Не то выгонят на бюро – в бродяги подамся, – продекламировал:

Провоняю я редькой и луком  
И, тревожа рассветную гладь,  
Буду громко сморкаться в руку  
И во всем дурака валять.

– Ладно, не хнычь загодя. Подожду.

Не успела Мария присесть на лавочку под сиренью, как вылетел из дверей Герасимов и, возбужденно сияя, выпалил на ходу:

– Индальгенцию получил! Прежний приговор оставлен в силе. Господа присяжные, пересмотра не будет и не ждите!

– Благодарю Тяпина. Его забота. Иначе с тебя Возвышаев шкуру бы спустил.

– Откуда ты знаешь? И кто я Тяпину? Что ему Гекуба?

– Ну, допустим, Гекуба ему человек не посторонний. Если бы стали драть тебя, то и мне несдобровать. А я – тяпинский кадр. Что ж это? Выходит, кадры у него не совсем те?!

– Маша, ты наша икона-спасительница. Тебя в угол ставить надо.

– Хамло!

– Да нет... Я для того, чтобы молиться на тебя.

– У Бабосова выучился, что ли?

– Пошли! А то кабы они без нас ненароком не нарезались.

По дороге Костя рассказывал:

– Приехал к нам тот доцент-физик.

– Какой доцент?

– Ну, из Московского университета. Помнишь, Бабосов рассказывал?

– А-а, самогонщик?!

– Он самый. Математиком оказался.

– За что ж его вычистили?

– Черт его знает. Говорит – индусским егам поклонялись: на голове стояли.

Одним словом, буржуазные замашки.

– Еги считаются аскетами. Или как там? Вроде бедняков, что ли. При чем же тут эти буржуазные замашки?

– Ну, ты даешь! Это же не наша, не пролетарская беднота. Это беднота от скудости буржуазной науки, – и загоготал.

– Ты сам заразился от Бабосова замашками мелкобуржуазного злопыхателя.

– Мы с Колей приходим в школу познакомиться с новеньким, – он занял комнату в бывших мастерских, рядом с Успенским, – стучим... Войдите! Отворяем дверь. Никого. И вдруг над нами с потолка этакий писклявый голосок: «Здравствуйте!» Мы как чесанем назад. А он сверху: га-га-га! Смотрим – висит вниз головой, зацепившись коленями за перекладину в самом углу. В первый же вечер успел шведскую стенку себе соорудить. Спрыгнул, ходит вокруг меня, глазами косит и фыркает, как кот. «Вы чего, Роман Вильгельмович?» – спрашивает его Бабосов. А он положил голову набок, рожу скривил сладенько и пропищал: «Так это-о, я люблюсь, как слажена у него фигура». У меня то есть. «Естественно, – говорит Бабосов, – в крестьянской семье вырос, на хороших харчах». – «Это понятно, – хмыкнул тот. – А вот теперь бы побороться?» Что ж, говорю, давайте поборемся.

– И поборолесь? – улыбнулась Мария.

– Поборолесь... Этот хохлацкий немец, хоть и говорит писклявым бабьим

голосом, но здоровяк что надо, я тебе доложу...

– Кто ж одолел?

– Никто. Потоптались, как лошадки, заложив головы на плечи друг другу, посопели, пофыркали... Правда, пытался он раза два взять меня подкатом, но я отбрасывал его ногу. Доволен... Руку мне пожал, раскланялся. Замечательно, говорит. Чудной!

Их ждали на веранде: все уже сидели за столом, а Варя хозяйничала в сенях возле керосинки – яичницу жарила. На столе навалом и в тарелках лежали красные помидоры, огурцы, зеленый лук, ветчина и колбаса. Бутылки с вином и с водкой стояли нераскупоренные.

– Ага, что я говорил? Без тебя не начнут, – заголосил Костя от дверей, пропуская Марию вперед. – Доблестные рыцари ордена ножа и вилки приветствуют первую даму почтительным ожиданием. Ура!

– Она первая, а я, выходит, вторая? Коля, вызови его на поединок! Пропори его вилок и на тарелку его, – кричала из сеней Варя.

– А кто его есть будет? Он теперь того... подмоченной репутации, – сказал Бабосов.

– Но-но, не забывайся.

– Ты лучше скажи, как вас встречать? Во здравие или за упокой? – спросил Успенский.

– Пойте осанну ей, пресвятой Марии! – торжественно глаголил Костя, указуя пальцем на Машу. – Она спасла меня своим незримым присутствием.

За столом кроме Успенского и Бабосова сидели Кузьмин, Саша Скобликов с Анютой и новый учитель, темноволосый, с хрящеватым сплюснутым носом и резко означенными глазными яблоками; на нем был серенький костюм и белая расстегнутая рубашка. Он встал навстречу Маше и представился:

– Роман Вильгельмович Юхно, – потом скорчил рожу и губы вытянул трубочкой: – Так это-о вы ходили в кожаной тужурке в ночной маскерад?

– Вроде бы, – смутилась Мария.

– Замечательно! – он прыснул, залился визгливым смешком и, приставив ладони к вискам, покачал головой.

Варя вышла из сеней с полной жаровней шваркающей яичницы, с возбужденным красным лицом и в длинном белом платье.

– А где фата? – спросила Мария, целуя ее.

– Фата есть предмет роскоши, – ответил с улыбкой Бабосов. – А наш лозунг – энтузиазм и лохмотья.

Юхно взвизгнул и радостно погрозил пальцем:

– Так это-о вы удивительный мастер выворачивать слова наизнанку.

– Это бывает... когда у человека мозги набекрень, – хмуро сказал Кузьмин. Он сидел, как всегда, строгий, в темном костюме, весь застегнутый и затянутый галстуком.

– Ты, Иван Степаныч, злой, потому что призрак, – изрек Бабосов. – Ты как английский крестьянин.

– Чего?

– Всем известно, что английских крестьян сожрали овцы, а они живут. Так вот и ты – живешь, бывший богомаз, хотя все знают, что богомазов у нас нет. Они давно исчезли.

– Перестань, Бабосов! – сказал Успенский, разливая вино. – Ты свое отговорил. Теперь слушай, что тебе скажут, да исполняй вовремя... Я предлагаю выпить за счастье Вари и Николая, которых мы с вами знали и любили по отдельности, теперь мы будем не меньше любить их как нечто целое, единое и неделимое во веки веков.

– Аминь!

– Ура! Дурак.

– Так это-о горько, кажется?..

– Горька-а-а!.. Горька-а-а!

Варя встала на цыпочки, потянулась губами к Бабосову.

– Черта с два! – Бабосов дурашливо скривился, заслоняясь ладонью. – Я не позволю наш новый передовой свадебный обряд опозорить этим пошлым старорежимным поцелуем. Хочу сказать речь!

– Bravo!

– Крой дальше!

– Чудно роль ведешь...

Бабосов вытянул руки по швам, надулся, как мужик перед фотоаппаратом, и пошел чеканить:

– Вступая в новый, социалистический, равноправный брак, мы – Варвара и Николай Бабосовы – обязуемся: первое – сочетать личную заинтересованность с энтузиазмом; второе – на рельсах нэпа усилить борьбу с капиталистическими элементами и пережитками в семье; третье – используем все рычаги в борьбе за новые кадры; и, наконец, четвертое, и последнее, – будем работать без порывов и вспышек, по соцзаказу.

– Ха-ха-ха! – Костя согнулся в дугу, и вино расплескалось.

Успенский застыл с поднятой рюмкой как истукан, но так заливался, что слезы выступили. А Юхно взвизгивал, прыскал, махал руками – все что-то хотел сказать, но с трудом выдавливал только два слова:

– Так это-о... так это-о-о-о...

– Вот скоморох, – гоготнул и Саша. – Ему язык отрежут, так он животом рассмешит.

А Бабосов с Варей обменялись рюмками, выпили вино и церемонно расцеловались.

– Вот вам уступка вашим рюриковским устоям, – сказал Бабосов.

– Коля, ты беспринципный человек, – сказала Мария. – На словах ты перековался на пролетарский лад, а нутро у тебя так и осталось сладострастное мелкобуржуазное.

– Нутро есть материальная оболочка, а содержание человека – суть его взгляды. А взгляды же у меня только передовые.

– Вот балабон, – хохотнул Саша.

Кузьмин помрачнел, повернулся зачем-то в сторону и неожиданно изрек:

– Нехорошо все это.

– Что нехорошо? – спросил Бабосов. – С женой моей целоваться?

– Дурачимся тут, кривляемся, как обезьяны. И я заодно с вами, дурак старый. А ведь женитьба не обезьянский обряд. Женитьба – дело божеское. Нехорошо. Не к добру все это.

– Ну, знаете!.. Не хватало нам еще в церковь идти, – сказал недовольно Бабосов.

– Иван Степанович! – удивленно подался к Кузьмину Успенский. – Что с вами? Люди женятся, а вы с пророчеством, да еще мрачным.

– Ах, извините! Я не то хотел сказать, то есть не по отношению к Бабосовым. Им-то я желаю ото всей души многие лета счастья и согласия. Я это сказал, имея в виду другое... Бога мы позабыли... Вот что плохо.

– Ну-у! – протянул Костя. – Приехали! Что ж, давайте займемся еще богоискательством. Этого нам только не хватает.

– Бога не ищут, – сказал Кузьмин. – Он в поле не рыскает, бог не заяц.

– А что есть бог? – спросил Саша.

– Бог есть стремление понять друг друга, чтобы жить в согласии, – уверенно и с какой-то легкостью ответил Кузьмин.

– Но как же тогда объяснить основное положение Евангелия? – спросил Юхно. – «Оставь мать свою, друга своего и ступай за мной!» Что же это, слова бога или дьявола? Так это-о, растолкуйте, пожалуйста, мне, – и губы вытянул трубочкой, готовый вот-вот взорваться от хохота.

Кузьмин покраснел, отвечал путано:

– Дело в том, что учение Христа основывается на чистой и святой вере. И если ты принял эту веру, то она должна быть для тебя превыше всего...

– Ну да... Так это-о, пошел за Христом и бросил мать и друга, – все-таки хохотнул сдержанно Юхно. – А как же тогда ваше стремление понять ближнего, чтобы жить в согласии?

– Одно другому не противоречит, – буркнул Кузьмин в тарелку.

– Ну да! Подставь вместо бога дьявола, и все сойдет, – сказал Бабосов. – Словом, от перестановки мест слагаемых сумма не изменится.

Все засмеялись.

– Нехорошо балаганить, всеу памятуя бога, – упрямо сдвигая брови, сказал Кузьмин.

– Не кто иной, как ты сам и начал об этом, – сказал Бабосов.

– Кузьмин сказал истину: одно другому не противоречит, – повысил голос Успенский, вступив наконец в разговор.

– Так это-о, любопытно! Значит, Христос был добрый, отрывая сына от матери?

– Христос не хотел слепого подчинения, – ответил Успенский. – Проповедуя любовь между людьми как основной закон жизни, он требовал, чтобы человек возвысился до бога. То есть способен был любовь к ближнему ставить выше родственных связей и сердечной привязанности. Когда на искушении в пустыне дьявол спросил его: «Ты сын божий, ты все можешь... Вон камни лежат. Обрати их в хлебы, накорми жаждущих, и они пойдут за тобой». Но Христос ответил: «Не хлебом единым жив человек». То есть мне не нужны идущие за мной ради куска хлеба, и вообще ради материальных благ. Такой человек, если был развратен, развратным и останется, куда бы я его ни привел. Нет, ты сначала дорости до меня, переродись, порви пути эгоизма, тогда иди за мной, тогда мы сможем построить общество справедливости. А дьявол дает жирный кусок пирога и говорит... топай за мной. Я тебе скажу, что делать. И ты будешь делать то, что я скажу. А нет – я отберу у тебя кусок пирога, и ты сдохнешь с голоду. Потому что был свиньей, свиньей и остался. Но веди себя смиренно, по-человечески.

Юхно восторженно глянул зачем-то вверх, выкинул палец:

– Так это-о, замечательно толкуете! Эдакий тихановский златоуст. Не обижайтесь, но такого примитивно-точного толкования я еще не слыхал, – и прыснул, довольный собой.

– Но я не понимаю, какое отношение имеет этот разговор к нашей вечеринке? – сказал Бабосов. – Кажется, мы собрались сюда сегодня вовсе не затем, чтобы Евангелие читать...

– Некоторое отношение имеет. – Кузьмин мельком глянул на Варю и снова хмуро уставился к себе в тарелку. – Мы, мужики, народ компанейский, нам лишь бы до рюмок дотянуться, а там, что день, что ночь, нам все равно. А женщины устойчивее, они и порядок соблюдают лучше, и к жизни относятся строже. И ждут они большего и надеются на лучшее. Через них мы связаны не только с семьей, но и с традициями, с религией, стариной, историей. Вот и сегодня пришел я сюда, увидел Варю в белом платье, как она хлопотала по дому, как стол накрывала, как смотрела на всех с затаенным ожиданием такой радости... Вот, мол, оно придет сейчас, настанет озарение – и все вы ахнете. У девочек бывает такое выражение перед причастием... А мы ее чем причастили?

– Иван Степанович, да вы что? – крикнула Анюта. – Что вы делаете? Поглядите на Варю.

– Ничего, это ничего, – всхлипывала Варя, утирая платочком слезы. – Это пройдет. Я, должно быть, утомилась... Мало спала...

– Нет, нет! Это оттого, что мало выпила, – крикнул Герасимов. – Мы сейчас, пожалуй, повторим по полной, по полной...

– Выше голову, Варя!

– А я говорю, – выше бокалы!

– Бабосов, горька-а-а!

– Вам горько, а мне солоно...

– Бабосов, не увиливай! Горько-о-о!

Меж тем смеркалось. Успенский вдруг поднялся из-за стола:

– Сейчас свечи принесу.

– Сиди! Я, пожалуй, быстрее тебя сбегаяю, – сказала Мария.

Она сидела с краю, возле Вари, встала и быстро ушла в дом.

– Они там в буфете. В нижнем ящике! – крикнул в раскрытую дверь Успенский. Но Мария не появлялась, из дома долго доносилось хлопанье дверок и скрип выдвигаемых ящиков.

– Уверенно рвет ящики, – сказал Саша, усмехаясь.

– Как свои, – добавил Герасимов.

– Кабы стекла не побила. Пойду посвечу ей. – Успенский встал и погромел спичками.

– Смотрите не столкнитесь там ненароком в потемках-то!

– Берегите лбы!

– И губы...

– Ха-ха-ха!

Мария стояла возле буфета – все дверцы были открыты, все ящики выдвинуты.

– Где же твои свечи?

– Сейчас покажу. – Он подошел к комоду, выдвинул верхний ящик и достал пачку свечей.

– Это ты называешь буфетом? – насмешливо спросила, указывая на комод.

– Глупая! – Он поцеловал ее. – Мне нужно с тобой поговорить. Ступай, зажги свечи и выходи в сад. Я подожду тебя.

Мария вынесла бронзовый подсвечник с тремя стеариновыми свечками.



- Да будет свет, да сгинет тьма!
- Да здравствует солнце!
- Да здравствует разум!
- Да здравствуют жены!
- Нет, братцы, надо что-нибудь одно – либо разум, либо жены...
- Жены хороши только чужие.
- И разум...
- Ха-ха-ха!

Мария незаметно вышла в сени, оттуда в сад. Успенский поджидал ее на скамейке, что стояла под яблоней. Поймал ее за руки, притянул к себе прямо на колени и обнял.

- Молодец, что вышла.
- И это ты называешь разговором?
- Мне в самом деле с тобой поговорить обязательно надо.
- Поговори.
- Я давно собирался. Я хотел тебе сказать... Но ты не смейся.
- Я и не смеюсь.
- Я хочу жениться на тебе... Считаю это моим предложением. – Он опять притянул ее, поцеловал и зарылся лицом в волосы. Он любил ее густые, прохладные волосы и часто делал так. Она молчала, и ему сделалось тревожно.

– Почему ты молчишь? Ты не согласна?

– Как же мы станем жить? После уроков в Тиханово будешь бегать? А утром – в Степанове? Десять верст не шутка. На уроки опоздаешь. Да и смешно – бегающий муж.

– Переходи в Степанове, учителем. Это не гордеевская дыра. Приятное общество, все свои люди, друзья...

– Но я не хочу уходить со своей работы.

– Ты что, веришь в карьеру? – Он теперь откинулся, и даже в темноте заметно было, как иронически кривились, вздрагивали его губы.

– О карьере я не мечтаю, Митя, – сказала она невесело. – Я хочу быть честным человеком.

– Кто ж тебе мешает? Поступай в педагоги. Чего уж честнее? Учишь ребятишек уму-разуму и ни на что не претендуешь.

– И все-таки уходить мне сейчас с работы было бы нечестным поступком.

– Не понимаю. Ты что, такой незаменимый человек?

– В том-то и дело, что заменимый. И даже очень заменимый... Свято место пусто не бывает. Я только что с бюро, как тебе известно. Некий Сенечка Зенин хотел выгрести зерно из-под печки гордеевского мужика. А мы с председателем не дали. У того мужика пять человек детей. Вот за это нас и разбирали. Одни старались понять, другие – осудить. В том числе и Возвышаев, который ради голого принципа не только с какого-то мужика, с себя штаны сымет. Так вот, если я уйду, Тяпин уйдет, Озимов... останутся одни возвышаевы да зенины. И тогда не только худо будет гордеевскому мужику Орехову, но и всем, и нам с тобой в том числе.

– Ну спасибо тебе, наша опора и заслон.

– Не смейся, Митя. В том, что я говорю, мало веселого. Мы все видим, как эти сенечки да никаноры из кожи лезут вон, чтобы проползти любым способом, ухватиться за штурвал, подняться на капитанский мостик, чтобы повыше быть,

позаметнее, с одной целью – отомстить всему миру за свою ничтожность. Ведь ты же сам мне говорил насчет Возвышаева. Ты! И что же? Вместо того чтобы хватать их за руки, а если надо, зубами держать – мы отваливаем в сторону.

– Позволь, позволь!..

– Я же знаю! Прости, я не тебя имела в виду. Ты не трус и не малодушный. Ну ладно, тебе мешает происхождение... А мне что? Дед мой николаевский солдат, двадцать пять лет отечество штыком подпирал. Отец – боцман, в первой революции дружинником был, три года в бегах скрывался, до самой амнистии. Дядю, сормовского слесаря, пять раз в тюрьму увозили... Так почему ж мне равнодушно взирать на то, как всякие сенечки плюют на идеалы моих предков? Или во мне кровь рыба?

– Пойми ты, Маруся, дело не в коварстве оборотистых сенечек, дело в принципах. Ну что можно ожидать хорошего от общества, в котором ввели обратный счет сословных привилегий: ты – сын пастуха, следовательно, ты подходишь по всем статьям – ступай вперед. Ты сын священника, следовательно, негоден, отойди в сторону.

– Это не принцип. Это извращение. Это временно... Недоразумение, и больше ничего. Но если мы будем хвататься за такие недоразумения и сами отваливать в сторону, тогда нечего пенять на принципы и винить сенечек да возвышаевых. Мы сами виноваты.

– И ты уверена, что вы сотворите добро?

– Уверена.

– Ну что ж, тогда оставайся. – Он строго и холодно поцеловал ее. – Пойдем к столу. И позабудь, зачем я вызывал тебя.

*Сентябрь 1972 г. – июнь 1973 г.*

## КНИГА ВТОРАЯ

### 1

Впервые за всю свою жизнь Андрей Иванович бежал от праздника, бежал, как вор, ночью, тайно, хоронясь от соседей... Белобокую вывел к заднему крыльцу и при жидком оловянном свете ущербной луны приторочил на спину лошади ватолу, натянул на себя задубенелый брезентовый плащ и придавленно засипел:

– Надя, сумку неси! Ружье там... возле койки.

Надежда появилась на крыльце с фонарем «летучая мышь», Андрей Иванович замахал на нее руками и ногой притопнул:

– С ума спятила! Кому светишь? Иль чертей собираешь?

– Что ты, Христос с тобой! На ночь глядя и черным словом... – Надежда задула фонарь и подала мужу брезентовую сумку и ружье.

– А патроны где?

– Тама... И сало, и хлеб, и спички... Все в сумке.

Андрей Иванович подпоясал плащ, закинул за спину ружье, повесил сумку.

– Так и скажешь Кречеву, ежели явится... Нету, мол, с лугов не приезжал. С Селютаном по болотам шастают...

– А ежели Матвей с Царицей приедут?

– Встретишь как следует... Гуляйте по-людски... А мне не до праздника.

– Не простудись... Видишь, как вызвездило! На мороз.

– В лугах сена много. Не замерзнем...

Андрей Иванович поднялся на вторую ступеньку, закинул повод на шею лошади

и, ухватясь рукой за холку, сказал, глядя себе под ноги:

– Мария ушла с Успенским...

Надежда не отозвалась, она торопливо, горячим шепотом читала молитву и мелким крестом осеняла сверху Андрея Ивановича:

– Заступница усердная, мать господа всевышнего, всех молящихся за сына твоего, Христа – бога нашего, всех нас заступи. Державный твой покров прибегаем...

Андрей Иванович помедлил, словно зачарованный этими магическими словами, поднял голову, что-то еще хотел наказать жене, но, увидев ее запрокинутое лицо и сложенные молитвенно руки, только выдохнул устало и прыгнул на спину лошади. Острая жалость полоснула его по сердцу: жалко было и жену, в одной исподней рубаше застывшую на крыльце в эту глухую полночь, жалко гнать безответную животину в дальнюю беспутную дорогу, жалко было и себя, словно бродягу, изгнанного из теплого ночлега.

Он выехал через Маркелов заулочек на зада, чтобы ненароком не столкнуться с каким-нибудь шалым ночным гулякой, и потрюхал рысцей вдоль крутого обрыва, огибая родное село.

Федорок Селютан поджидал его за Тимофеевскими тырлами, возле озера Падского. Расстояние немаленькое. Пока доедешь, все думы передумаешь. А думать было о чем – весь день колесом прошел...

Сперва нагрянул Кречев, злой и отчаянный. Раз мне, говорит, голову секут, и я кой-кому успею башку снести... Его на бюро вызывали и дали перцу: ты что, спрашивают, в пособники классового врага записался? Где хлебные излишки? Ну где, отвечает. Собираем... А ты мешок с сухарями не думаешь собирать? Ты забыл, что делают с теми, кто не выполняет советские планы? Не хочешь других сажать – сам в тюрьму садись! Сколько можно собирать эти излишки? Да ведь много наложили. Зенин перестарался. А ты где был? Ты кто, председатель Совета или писарь при Зенине?

Кречев все рассказывал Надежде, ходил, крестил половицы, скрипел зубами от ярости и бессилия. А теперь, говорят, садись завтра же и составляй твердые задания. Говорю, и так обложили шестнадцать человек. Некоторых по два раза. А Возвышаев ногами затопал: мало, кричит. Еще шестнадцать заданий давай! Собирай завтра же пленум! Сам, говорит, приду к вам. Давай, ищи Андрея Ивановича. Скажи ему, чтоб завтра с утра в Совет шел на пленум. Кулаков выявлять.

Это еще спасибо Надежде – башковитая баба, сообразила что к чему и туману напустила. Вроде бы он на луга подался, говорит. Не знаю, приедет ли на ночь.

Андрей Иванович на одоньях был, в молотильном сарае ухобот<sup>10</sup> провевал. Прибежала Надежда да второпях все выложила.

– Ба-атюшки мои! Кого обкладывать? Всех торговцев давно уж прищучили. Остались одни трудовики. Свой брат, мужик сиволапый. Ну дай ему задание, проголосуй! Завтра же всем будет известно, что ты руку поднял на своего брата. И против слова не скажешь. А скажешь – рот заткнут. Нет, бежать! Бежать с глаз долой от этого пленума. Тут Андрей Иванович и договорился с Селютаном махнуть на ночь глядя в луга поохотиться. А сам до вечера заперся в горнице.

Но и под замком покоя не было. Уже в сумерках нагрянул младший брат Зиновий,

---

<sup>10</sup> Сорный хлеб.

из Пугасова приехал. Возле порога схватился бороться с Федькой. Табуретку опрокинули, вешалку сорвали. Топот, грохот, пыхтение... Как стадо свиней ворвалось. Что за черт? Андрей Иванович высунулся из горницы – они, как бараны, лоб в лоб, зады отпятили и топчутся на четырех ногах. У Федьки рубаха заголилась по самую шею, спина голая, красная...

– Зиновий, тебе сколько лет? Все в мальчишки играешь?

– Теперь все во что-нибудь да играют. Время такое. – Зиновий распрямился, скаля белозубый рот. – Он, черт сопатый, перед дядей родным шапки не снимает. Я его научу старших уважать.

– Дак я ж на улицу собрался, вот и шапку надел, – оправдывался Федька, с трудом сдерживая выпирающую радость. Ну, как же? Против дяди Зины устоял – лихому бойцу и забияке не поддастся.

На Зиновии был черный драповый пиджак с каракулевым воротником, модная, мохнатая восьмиклинка с огромным козырьком валялась на полу.

– Молодец, Маклак! Вот так и держись. – Зиновий хлопнул Федьку по плечу. – Бей своих, чтоб чужие боялись... А теперь мотай к дяде Коле и дяде Максиму. Зови их сюда, на великий совет. Живо!

– Дак я – одна нога здесь, другая там... – Маклак накиннул пиджак, схватил кепку и – кубарем с крыльца.

– Что у тебя загорелось? – спросил Андрей Иванович.

Зиновий вынул из кармана сложенную брикетиком свежую «Правду», сунул Андрею Ивановичу.

– На, радуйся! Остальное выложу опосля... Ремень затяни потуже, а то штаны спадут. – И, подмигивая карим бойким глазком, стал раздеваться.

Вошла Надежда с полным ведром пенистого парного молока, захлопотала, увидев деверя:

– Откуда явился? Прямо из Пугасова?

– Ага. Верхом на облаке.

– Проходите в горницу. Сейчас самовар поставлю.

– Хозяин проход загородил.

Андрей Иванович стоял в дверях и разглядывал, распахнув во все руки, огромную «Правду», перелистывал ее мятые полосы. Зиновий покачивался перед ним на носках, засунув ладони под лакированный ремешок, перехвативший серую суконную толстовку, подтрунивал:

– Ну что, нашел, где собака зарыта?..

Андрей Иванович скользил по заголовкам статей, читал вслух и комментировал:

– «День урожая и коллективизации». Допустим... «За ускорение поворота в работе КИМ». Поворачивайтесь на здоровье... «После совместного заявления Гувера и Макдональда»... Не слыхал и слышать не хочу. Так. «На важнейшем участке... Собрано только 50% законтрактованного хлеба». Меня это не касается. Я хлеб сдал и по плану, и по излишкам. Еще что? «Растет новая деревня». Правильно, растет. «На новом подъеме». Эге, выше ногу, грудь вперед. «За боевой темп перестройки сельского хозяйства». Верно, даешь пятилетку в четыре года! – поднял глаза на Зиновия. – Все известно. Ну, и что ты хотел сказать?

– Надо уметь читать нашу газету. Вот, видишь? – Зиновий ткнул пальцем под заголовок статьи «На новом подъеме». – Читай! «Контрольные цифры колхозного строительства на 1929-30 гг.».

– Что мне эти цифры?

– А то самое... Конец приходит твоей единоличной жизни. Дай сюда газету! – Зиновий отобрал газету и стал читать: – «В связи с указанными достижениями колхозного строительства...» Погоди! Так, так... Ага, вот оно! «...в результате чего стоит вопрос о пересмотре проектировок пятилетнего плана в сторону решительного увеличения темпов коллективизации...» Понял? Теперь слушай дальше: это «...дает основание предполагать, что к концу пятилетки колхозное движение охватит 50% индивидуальных крестьянских хозяйств».

– Ну и что? К концу первой пятилетки половина да к концу второй половина. Это ж десять лет! Их еще надо прожить.

– Ах ты заскорузлый собственник! Ничем тебя не прошибешь... Не будет тебе отпущено десяти лет, не будет! Наберись терпения и слушай: «Строительство крупных колхозов влечет за собой большие качественные изменения в структуре колхозной сети. Крупные колхозы должны являться высшими формами и должны обобществить 100% рабочего скота, 80% продуктивного скота и хозяйственных построек и 20% жилых построек (директива правительства)». Во, в скобочках помечено, смотри! – ткнул пальцем Зиновий.

– Как это – жилых построек? – опешил Андрей Иванович.

– А так... Выселят тебя из твоего дома, а здесь контору откроют или сыроварню.

– Да ну тебя!

– Ты не нукай, а слушай и мотай на ус. Вот оно, главное: «Совершенно новым явлением в колхозном строительстве, радикально изменяющим социальное лицо деревни и даже функции деревенских и советских организаций, будут районы сплошной коллективизации...»

– Что это значит? Власть будет другая? – спросил Андрей Иванович.

– А ты что думаешь, комсоды вам сохранят, Советы? Вон, смотри, другая статейка: «Три района в одну колхозную семью». Колхоз-гигант на площади в 135 тысяч гектаров. Как, доходит?

Андрей Иванович только сухо сглотнул.

– Слушай вывод. – Зиновий прочел: – «В пятилетнем плане колхозного строительства совершенно не были предусмотрены эти районы (то есть сплошной коллективизации), в то время как уже сейчас выявилось не менее 25 таких районов и намечается к сплошной коллективизации за предстоящий год до 60-80 таких районов. Колхозное строительство в районах сплошной коллективизации должно вылиться в совершенно иные формы, чем это мы привыкли видеть до настоящего времени...» Так-то, братец мой. Совершенно иные формы! Понял? Не будут тебя уговаривать, не будут! Проголосуют – и Вася. Наша Московская область, по слухам, будет вся районом сплошной коллективизации. Тульский округ уже объявлен таким районом. Рязанский округ на очереди, если уже не объявлен... Вчера нашу снабженческую базу прикрыли. Хватит, говорят, возиться с этими сельковами. Да здравствуют колхозы! В наших помещениях открывается машинно-тракторная станция. А это значит, что наш район намечен к сплошной коллективизации. А проведут ее, говорят, за зиму. Весеннюю посевную начнут уже колхозы, а не вы, собственники.

Зиновий сложил газету опять брикетиком, хлопнул ею по ладони и передал Андрею Ивановичу.

– Вникай!

Тот потерянно теребил ус, все еще нелепо стоя возле горничного порога. Надежда

успела процедить и разлить по кринкам молоко, сказала от стола:

– Что вы, в самом деле, как чужие, топчетесь у порога. Проходите к столу да читайте...

– Как чужие! – подхватил Зиновий. – Именно чужие. В этой жизни мы перестали быть хозяевами. Нас просто загоняют в колхозы, как стадо в тырлы. И все теперь становится не нашим: и земля, и постройки, и даже скотина... Все чужое. И сами мы тоже чужие... А раз так, то вались все к чертовой матери.

Он ходил по избе, поскрипывая хромовыми сапожками (калоши в коридоре снял), и ворошил рукой волнистые каштановые волосы, словно перед девками красовался. Андрей Иванович тихонько, как пришибленный, удалился в горницу и до прихода братьев читал и перечитывал без конца эту грозную статью, подписанную каким-то Терлецким. Он читал ее до шума в голове, до звона в ушах, и ему стало казаться, что кто-то из-за плеча посмеивается над ним, нашептывает: «По теории классовой борьбы – каждая собственность калечит отношения между людьми...» Он оглянулся и увидел – в углу, на бревенчатой стене, лукавую рожу Сенечки: и подслеповатые глазки, и открытый вздернутый нос с черными ноздрями... Он вздрогнул и поднялся с табуретки. Наваждение пропало... На стене в углу, на месте Сенечкина носа, виднелось два черных сучка, чуть выше – волнистые затесы, напоминавшие изгиб бровей...

– Эдакая чертовщина... – выругался Андрей Иванович, потом перекрестился, – спаси и сохрани, царица небесная...

На братьев – Максима и Николая – статья, к удивлению Андрея Ивановича, подействовала совсем иначе.

– Я знаю, – сказал Николай Иванович. – Тарантас вчера сказывал. Из Рязани вернулся, от зятя. Говорит – насчет сплошной коллективизации – дело решенное. Ну и что же? Опролетаризируемся к чертовой матери, и дело с концом. Двум смертям не бывать, а одной не миновать...

Максим Иванович вроде бы обрадовался: правильно говорит. А чего тянуть резину? В колхоз так в колхоз... Всем сразу! Давай поглядим, чего из этого получится?

– Нет, не поглядим... Загорбину подставлять надо. И не чужую, а свою собственную! – горячился Андрей Иванович. – Все туда отвезти... И лошадей, и корову, и овец... Инвентарь. Все снасти свалить в кучу малу. Все, что наживал своим горбом, вот этими мослаками... – выставлял он вперед ладони и яростно сжимал кулаки. – Все отнести своими руками? Да я... Да мне легче руки на себя наложить!!

– Круши все подряд! – сказал Зиновий. – Начинай с самовара... Лупи его в брюхо!..

Надежда только что поставила на стол самовар и цыкнула на мужа:

– Ты чего размахался, фараон? Смотри, чайник со стола не смахни! Я тебе тогда покажу сплошную коллективизацию... Сам убежишь из дому...

Зиновий переломился в поясе и прыснул, как кот, а Николай Иванович и Максим Иванович оба словно по команде отвернулись и затряслись в беззвучном смехе; только уши наливались краснотой, будто подсвеченные лампой.

...Остыл Андрей Иванович и сам рассмеялся:

– Мне что, в самом деле, одному за всех отдуваться? Переживу и я. Не хуже иных-прочих.

– Да ты пойми, Андрей, пойми! Если уж руки зудят у начальства, так они все

равно перекроют по-своему, – рассуждал Максим Иванович. – Это они друг перед дружкой стараются. Кто-то кому-то кузькину мать хочет показать. А наше дело – сиди и смотри. Сунешься свою правду доказывать – язык отрежут. Кому нужна твоя мужицкая правда? Им свою девать некуда. Вот они ее кроют да перекраивают, на нас вешают, примеряют. Кто всучит свой покрой, тот туз и король. И хрен с ним, пускай тешатся. Ну наденем эти ихние колхозные шинели да армяки... Поносим год, другой. Все же увидят, что в коленках жмут. Ну посмеются да скинут. За старое возьмемся, за свое исконное-посконное. Только и всего.

Максим Иванович гудел, добродушно ухмылялся в черную окладистую бороду – он был медлителен, коренаст, с большой кудрявой головой, сидел, как в малахае.

– Ты только надень этот колхозный хомут... Так засупонят, что до самого издоха не вырвешься, – возражал Андрей Иванович. – Не только ты, дети твои увязнут в этой тине и проклянут тебя. Эх ты, башка большая! Да тебе что? Твои дети выросли да разлетелись. Тебе ветер дует в зад.

– Нехорошо, Андрей! Вразнобой мы пошли. Чертогон какой-то. Беда. Нам вместе держаться надо, крепко, как пальцы в кулаке. Тогда мы всего добьемся. Как в восемнадцатом году. Вместе пошли воевать: и ты, и я, и Михаил, и Колька. Он в те поры еще соплю подтирать не научился толком, а туда же, в строй. И воевал будь здоров! И Андрюшка мой успел. А теперь врозь?

– Ты не равняй хрен с пальцем, – огрызнулся Андрей Иванович. – В восемнадцатом году мы землю разделили по едокам, нарезали поровну, без обиды. Только работай, старайся... А теперь вы все валите в кучу малу, как тряпишник в телегу: кто чего принесет, то и ладно. Вам бы все перемешать да поглядеть – что выйдет из этого. А чего глядеть? И так все ясно: кто ближе окажется, тот и вытянет из этой кучи что получше, а тому, кто на отшибе, – шиш!

– Дак ведь не по своей охоте! Нас же склоняют. А раз так – все должны делать что-нибудь одно. Хочешь ты или нет, а большинство пойдет. Склонют! Зачем же тебе в меньшинстве оставаться, голова два уха? Сомнут! Не лучше ли всем враз притопать и всю затею обнажить. Смешно?... Так вместе и посмеемся.

– Стыдно ведь старым мужикам придуриваться.

– Стыдно тому, кто заставляет.

– Э, нет! Я не Петрушка, чтоб под сурдинку дергаться на краю балагана. И ежели уж пойду на такое дело, так и отвечать за него должен сам. И грех мой.

– Ну вот, сразу и грех. Я это к примеру сказал. Может, что и доброе получится из этих колхозов. Надо попробовать.

– Иди ты со своей пробой! Одна вон попробовала... – Андрей Иванович не договорил, сердито, с грохотом отодвинул табуретку, встал из-за стола и, заложив руки за спину, начал крестить пол.

Вдруг остановился посреди горницы, круто взглянул на братьев и спросил, вроде с испугом:

– Да вы понимаете или нет? Это же не артель, а сплошной колхоз! Куда ни кинь – все клин. И выхода из него нет. Бежать захочешь – так некуда.

– Брось, брось яриться-то, – осаживал его Максим Иванович. – Эка, напугал колхозом. Вон, в девятнадцатом году все пароходы потопили. Лоцманам делать нечего – работы лишились! И то не пропали. Вот видишь, живу и здравствую. И в колхозе проживем. Чего ты боишься? Кругом же свои люди. Председателем станет Ванятка Бородин. Поди уж, не обделит тебя-то.

– Ему и делить-то нечего будет. Теперь вон хлебные излишки приходится силой выколачивать из каждого. А тогда? Подъедет обоз к амбару – выгребут все под метелку, и поминай как звали.

– Андрей, Андрей, не складывай руки на груди раньше времени. Мы еще помашем да попашем.

– Нет, нет! Опролетаризоваться вчистую... и к чертовой матери! – сказал Николай Иванович; на безусом горбоносом лице старался он изобразить суровую озабоченность, но глаза озорно поблескивали, поглядывали на Зиновия, который за самоваром строил уморительные рожи, передразнивая старших братьев.

Андрей Иванович, так и не одолев старшего, набросился на Николая:

– А кому ты нужен голым пролетарием? Куда денешься? В мытари пойдешь?

– К Михаилу подамся, в Юзовку. Все ж таки он слесарь. Поможет устроиться.

– Он сам живет в глиняной мазанке. Куда же он тебя устроит? Да еще с двумя детьми?

– Ну в Рязань подамся... Вон вместе с Зиновием.

– А у Зиновия что там, в Рязани, свой департамент?

– Меня зовут на завод «Сельмаш»... В бухгалтеры, – вынырнул тот из-за самовара.

– А дом куда? Хозяйство? Надел?

Зиновий жил с матерью в отдельной половине семейного дома Бородиных, вторую половину занимал Николай Иванович. Хозяйство, скотину – все держали на одном подворье. Верховодил Николай Иванович, а Зиновий больше все в Пугасове околачивался.

– Я вам не цепной кобель, чтоб семейное добро охранять, – горячился Зиновий. – Надел сдам Ванятке в колхоз, в дом пушу квартирантов. А мать сама выберет, – где ей лучше жить.

– Ты что, с Ваняткой договорился, что ли? – спросил обозленный Андрей Иванович.

– Да, – ответил Зиновий. – И не я один. Вон, Максим тоже договорился с ним.

– Ты идешь в колхоз? – Андрей Иванович аж привстал.

– Иду, – Максим Иванович нахмурился и потупил голову.

– Вот спасибо... Потешили меня братцы родные накануне праздника Покрова Великого... А ты чего молчишь? – спросил он Николая Ивановича. – Тоже, поди, наострил туда лыжи?..

– Я – нет. Мать не велит... Она ко мне переходит. – И, помолчав, добавил: – И Пегого жалко. Все ж таки я за него полтыщи отвалил. Такого тяжеловоза во всем районе не сыщешь...

– Да, причина сурьезная... – криво усмехнулся Андрей Иванович. – Значит, мама не велит...

– Напрасно упираешься, Андрей, – сказал Максим Иванович. – Все равно свалят. Одними налогами задушат.

– Говорить больше не о чем... – Андрей Иванович отвернулся и забарабанил пальцами по столу.

Разошлись братья при гробовом молчании.

А затемно явилась со службы Мария и совсем доконала Андрея Ивановича. Скобликовы, говорит, уезжают.

– Куда уезжают?



– А куда глаза глядят. Бегут на все четыре стороны. Бросают дом, хозяйство...

– От кого же бегут?

– От твердого задания. Одну тысячу рублей выплатили... Еще на тысячу дали. Нечем платить. Вот и бегут... Пойдем, проводим...

– Я сам спрячусь...

– А мы потихоньку, оврагом... Боюсь одна идти. А селом – нельзя. Увидят – беды не оберешься. Скажут – связь с чуждым элементом. Мне уж и так Тяпин все уши прожужжал – не ходи ты к этим бывшим... то к попам, то к помещикам. Себя не бережешь, так хоть меня, говорит, пожалей...

Провожали Скобликовых поздно вечером. Чемоданы, саквояжи, узлы громоздились посреди пола, как на вокзале; окна занавешены газетами; ни половиков, ни скатертей, ни штор... Все голо и просторно, как в казарме... Сидели за столом, говорили вполголоса, будто на поминках. Еще пришли Успенский да Федот Иванович Ключев.

– А где Бабосовы? – спросила Мария.

– Уклонились... – ответил Саша. – Николай теперь на смычке... Он да Ванька Козел. С беднотой заседают... Излишки хлебные выколачивают, по дворам ходят вместо Килограмма.

– Быстро он перековался, – сказала Мария.

– Я, говорит, мобилизованный и призванный от наркома Бубнова. Все жалобы и претензии направляйте к нему.

– Острит и гадит, – хмуро заметил Успенский.

– Самая сатанинская замашка, – согласился Федот Иванович. – Злодейство в голом виде отпугивает. Разбой. А так, со смешком да всякими призывами, вроде бы и на дело смахивает...

– Хорошенькое дело – людей выживать из дома, – сказал Михаил Николаевич. Он сидел с торца стола, уронив перед собой ненужные тяжелые руки и потерянно глядел куда-то в угол.

Ефимовна и Анюта зябко кутались в черные шали, горбились, диковато озирались на двери, словно ждали еще кого-то незваного и неотвратимо-страшного. И такая тоска, такая смертная мука томила их темные лики, что Андрею Ивановичу казалось: вот-вот они сорвутся и завоюют в голос, забьются, зацарапают ногтями от горького бессилия эти голые доски.

– А может, вы торопитесь? – спросил он участливо Михаила Николаевича. – Может быть, еще образуется?

– Нет, не образуется, – спокойно ответил Михаил Николаевич. – Первое обложение в тыщу рублей увело и лошадь, и корову, инвентарь кой-какой. А где еще брать тыщу? Больше продавать нечего. Не внесешь – выселят. Да еще посадят. Читаешь небось газеты? В Москве, в Ленинграде требуют выселять. Вот, из колхоза «Красный мелиоратор» вычистили двадцать пять семей. Из домов выселяют. И все за то, что бывшие. Да что там колхозники. Фофанову, у которой Ленин скрывался в семнадцатом году, обозвали гадкой птицей дворянской породы, посадили. Прокуратуру кроют за либерализм. Нашли либералов.

– Куда же вы теперь?

– В Канавино. Там сестра живет, бывшая монашка. А теперь она кустарь – портнихой работает, в артели. Тетка померла. Если мы не приедем, ее уплотнят. Кого-нибудь подселят. А то еще и выгонят.

– И вас могут выгнать, – сказал Федот Иванович.

– Анюта пойдет на работу... А нас, стариков, глядишь, и не тронут при ней. Кто нас там знает? А здесь мы на виду...

– Куда ж дом девать? – спросил Андрей Иванович.

– Саша сдаст в Совет. Может, и его не тронут. А то мы для него, как бельмо на глазу...

Сын Федота Ивановича пригнал лошадь, стукнул кнутовищем в окно... Мужчины разобрали чемоданы, узлы, Ефимовна с Анютой перекрестились на опустевший передний угол, и все двинулись.

На дворе, увидев под навесом токарный станок и целый ворох колесных ступиц, Андрей Иванович не вытерпел:

– А это добро кому оставляете? Федоту Ивановичу?

Михаил Николаевич только рукой махнул и ничего не ответил.

– Мне и своих девать некуда, – отозвался Клюев. – Отколесничали. Не ноне, так завтра, гляди, и меня обложат.

– Ты ж середняк!

– Говорят завтра новых обложенцев выдвинут... В честь дня коллективизации. Не слышал?

Андрей Иванович вспомнил налет Кречева и осекся...

Мария не пошла с ним домой.

– Что сказать Надежде? – спросил он ее.

Она странно рассмеялась и крикнула нарочито громко:

– Передай, что поминки справляем. По старой жизни.

«Все рушится, все летит к чертовой матери», – думал Андрей Иванович, возвращаясь домой.

Якуша Ротастенький заметил Бородина, когда тот при лунном свете, по-волчьи хоронясь, задами, огибал Выселки.

«Никак от Скобликовых вышел? – сообразил Ротастенький. – Чего ради он полем чешет? Бона, оврагом да буераком. Вприпрыжку! И кепку по самые уши натянул, чтоб не признали».

Но Якуша угадал его по высоким сапогам, по вельветовой тужурке, длинной, как чапан.

Изба Яхуши была крайней к оврагу, промытому за многие годы до белого плитняка бурной в половодье и пересыхающей летом речкой Пасмуркой. Якуша стоял в саду в тени высоких яблонь скрижапеля, на ветках которых висели тяжелые и литые, как булыжники, реповидные яблоки. Якуша не обрывал их до сильных морозов, гоня по ночам охочую до садовых набегов ребятню. Он и спал здесь на топчане, под лубяным навесом.

«Ага, – думал он, глядя на согбенную, легкую как тень фигуру Бородина, ныряющую по холмам и провалам, – на сходке был... на тайном промысле. Чего ради они собирались? Ба! Да ведь они это самое... имущество в оборот пускают!» – сообразил Якуша. Он вспомнил наставление Сенечки Зенина на заседании группы бедноты: бдительность и еще раз бдительность. С кулаков глаз не спускать! Особенно с тех, которых индивидуалкой обложили...

А Скобликова обложили третьего дни, обложили повторно, значит, они того... в оборот пускают. Надо сходить, поглядеть, кабы не сплывили народное имущество.

Насчет «народного имущества» – это Сенечка придумал, хорошо выразился. Все, чего у них есть, говорил, это не ихнее, а наше, народное. Они, мол, только хапали, а производил все народ. А потому надо заставить их все вернуть народу. Мы, говорит, долго ждали это часа. А теперь, мол, он наступил, последний и решающий.

Что наступил «последний и решающий», Якуша и сам чувствовал, только не мог так ловко объяснить, как Сенечка умел. Якуша понимал, что не каждому дано выбирать направление классовой борьбы. Одни направляют, другие исполняют. Наше дело не рожать, застегнулся – и бежать. Эту обязанность Якуша мог исполнить в любое время дня и ночи. Чего надо? Постоять за общее дело всемирной борьбы пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством? Всегда пожалуйста! Только покажи, кого надо привлечь, у нас рука не дрогнет.

Якуша проворно натянул азам, валявшийся на топчане, подпоясался сыромятным ремнем и, пощелкивая зубами, не то от внезапно охватившего его озноба, не то от охотничьего азарта, в один мах перелетел через плетень и в короткой перебежке достиг моста через Пасмурку. Пригнувшись, припадая к перилам, он поглядел вслед удалявшемуся Бородину и радостно укрепился: «Прячешься? Значит, нечисто».

Когда Бородин скрылся за сараями кирпичного завода, Якуша вышел на дорогу. Луна, как потерянная овца, одиноко паслась на высоком бледном небе, и в ее холодном зеленоватом свете стеклянно поблескивали придорожные лужи. Якуша старался держаться обочь колесников и чувствовал, как под лаптями вязко пружинит стынувшая придорожная грязь. Это хорошо, что морозит, думал он, где и оступишься, лапоть не пустит загустевшую жижу. Можно и напрямик махнуть, по пахоте. Не промокнешь...

Он шел полем, огибая Выселки, и радостно думал, как неожиданно-негаданно вынырнет из-под забора, как ни в чем не бывало ленивой походочкой подойдет к крыльцу: «Чего тут народ собрамшись? Продаем аль покупаем?»

А что они теперь на крыльце сидят и шепотом судачат – это уж точно. В избе, при бабах, такие сделки не ведут. Уж, поди, вся тележная артель теперь в сборе...

Якуша Ротастенький ненавидел их всех вместе и каждого в отдельности. Скобликова за то, что в стародавние годы Якуша ходил к нему в поле на поденку вместе с Феней, а Скобликов придирался к нему, выговаривал, не слезая с дрожек: «Якуша, ты косишь овес или дергаешь?» – «А что?» – «Погляди назад – половина метелок на стерне грозятся. Отдай косу Фене, а сам снопы вяжи...» Ну, мать-перемать, ты у меня еще вспомнишь эти снопы! А с Клюевым вместе на Волгу ездили, к Андрею Бородину. Он тогда в боцманах ходил. Дак Федота Ивановича в матросы определил, к трюмному механику, а Якушу поставил палубу драить да бочки катать. Тому тридцать рублей жалованья, а Якуше шестнадцать с полтиной... Где же она, правда? Бывало, праздники подойдут – у кого мяса невпроворот, а они с Феней один купленный кусок три дня варили: в первый день щи съедали. Жирные! Второй день мясо с новыми щами. Хорошо! А уж на третий день чугуна навар давал. Опять мясом пахло...

Скобликовых застал он на улице в сборе: только уложили узлы с саквояжами, уселись бабы в телегу, малый Клюев вожжи разобрал, так вот он и Якуша. Вовремя угодил.

– Тпруу! Распрягай, приехали! – сказал Якуша, беря лошадь под уздцы.

– Что такое? – обернулся к нему Скобликов. Он стоял поодаль и о чем-то говорил с Клюевым и Сашей.

Мария и Успенский прощались с Ефимовой и Анютой.

– Вещички проверить надо... Кабы чего лишнего не прихватили, – сказал Якуша миролюбиво.

– Какие вещички? – не понимая, переспросил Скобликов.

– А те самые, что на телеге.

– На телеге все вещи наши.

– Ага, были ваши. Ты сперва расплатись с обложением. А потом поглядим – что останется.

– Да как ты смеешь, сукин сын? – вскипел Скобликов. – Да кто ты такой, чтоб считать?

– Потихе выражайся, гражданин помещик. Я тебе не сукин сын, а член актива. А посчитаться пришел, потому как ты задолжал перед народом...

– Отец, я сейчас расплачусь. – Саша двинулся вразвалочку к Якуше.

Все еще стояли и сидели в прежнем положении и прикованно смотрели, как, покачивая плечами, Саша подходил к Якуше; смотрели, застыв в ожидании чего-то страшного и непоправимого. Якуша ухватился второй рукой за оглоблю и, мерцая округленными от страха глазами на плоском скуластом лице, мертвенно высвеченном луной, азартно раздувая ноздри, цедил:

– Попробуй трронь! Трронь попробуй!

Сашу остановил Успенский; он метнулся от телеги наперерез ему и прикрыл собой Якушу:

– Стой, Саша! Опомнись! Это не трактир... Здесь кулаками ничего не докажешь.

– Таким подлецам словами не доказывают. Вот ему доказательство! – Саша вскинул кулак.

– Да стой же! – Успенский схватил его за руку.

– А ну трронь, трронь... – деревянно твердил свое Якуша.

– Да замолчи ты наконец! – обернулся к нему Успенский. – Вы что, очумели? В чем дело, ну?

– Я говорю, проверить надо. Что за имущество увозите, – сказал Якуша.

– Решение Совета насчет проверки есть? Ну! – спросил его Успенский. – Санкция прокурора на обыск есть? Покажи документы и проверяй...

– А вот я и есть для вас Совет. Какие вам еще документы нужны?

– Ты Совет? – кинулся к нему Клюев. – Ты шаромыжник! Бездельник и горлохват...

– А ты кулак недорезанный...

– Ну на, сволочь, режь! Режь, ну!.. – теперь уже Клюев напирал грудью на Якушу.

– Да стойте же! Уймитесь!! Вы кто, мужики или петухи? – кричал Успенский. – Вам что, законы не писаны? Вы, товарищ Савкин, еще не начальник милиции. Но если у вас есть такие полномочия – задерживать людей, то делайте это по всем правилам закона. Составляйте протокол, подписывайтесь... И мы подпишемся как свидетели. Ну, идемте? Лампа горит, бумага найдется... – Успенский взял Якушу легонько под локоток, а другой рукой указал на крыльцо.

Якуша опешил от такого вежливого оборота; он отцепился от лошади и с опаской поглядывал на крыльцо, на освещенные окна, занавешенные газетами; воровато озираясь по сторонам, сделал неуверенных три шага и остановился:

– Протокол составим потом... завтра то есть...

– Нет, не завтра, а сейчас... Дураков ныне нет... Они перевелись на заре туманной юности. Дискредитировать Советскую власть на наших глазах мы не позволим. Берете

на себя ответственность – пожалуйста! Составляйте протокол, мы засвидетельствуем как официальные лица. Вот Мария Васильевна Обухова – как работник райкома комсомола и я – учитель Степановской школы второй ступени...

– Дак я, эта, товарищ Успенский, насчет обложения беспокоюсь. Поскольку они уезжают, а как насчет выплаты?

– Ну и что? Одни уезжают, другие остаются. Дом они с собой не забирают. Он, поди, стоит чего-то? Сарай вон, подворье... Или что, дешевле обложения?

– Да нет... Они, эта, не спросясь, значит...

– Разве они арестованные? Ехать им или нет... это их право. Какое ваше дело, куда они едут? Вы знаете, товарищ Савкин, что за превышение полномочий власти судят? А у вас и власти даже нет. Одно нахальство. Так зачем же вы лезете под статью Уголовного кодекса РСФСР? Вам что, на Соловки захотелось?

– Как хотите, товарищ Успенский. Я могу и уйтить. Но только я предупреждаю вас – завтра доложу куда следует, что вы, значит, принимаете на свою ответственность известных элементов, которые уклоняются насчет уплаты.

– Это пожалуйста... А теперь – скатертью дорога.

Якуша пятился до самого забора – боялся, что ударят в спину, и, почуяв прикрытие за спиной, обернулся и чесанул вдоль плетня к Выселкам. Все заговорили после его ухода разом, и получился гвалт.

– Я вам говорила – ехать надо. А вы, как бабы, у колодца судачите, – крикнула с телеги Ефимовна. – За столом не успели наговориться!

– Нет, каков подлец, каков нахал? – спрашивал всех Михаил Николаевич. – Вещи пришел проверить... За пазуху лезет! Ах, подлец!

– погоди, еще не то будет, – ласково уговаривал Клюев. – Такие, как он, не токмо что амбары, души нам повывернут...

– Небось съездил бы ему разок по кумполу, сразу поумнел бы. Прицепились – не тронь! Не лезь! – пенял Саша Успенскому.

– По тюрьме соскучился, да? – спрашивал его Успенский.

Мария чувствовала спиной и корнями волос, как все еще похаживал по всему телу холодок, вызванный стычкой Успенского с Якушей, и думала невесело: «Эти проводы еще отыграются на мне, отыграются...»

– Папа, ну поедем мы наконец? Или подождем возвращения Ротастенького? – крикнула с телеги Анюта. – Не то лошадь вон совсем уснет.

Лошадь и в самом деле дремала, слегка подогнув ноги и низко опустив голову. Дремал и Санька Клюев, сырой и сутулый малый, рассеявшийся в передке по-бабьи – ноги под себя.

– Да, да... Пора! – опомнился Скобликов. – Ну, Федот Иванович, почеломкаемся. Удастся ли свидеться – бог знает Спасибо тебе за все... Поработали вместе, славно. Дай бог каждому. Не поминайте лихом! – И они по-братски обнялись.

– Я провожу вас до Волчьего оврага, – сказал Саша, отклоняя объятия отца и поглядывая на Марию с Успенским.

Те поняли, что ему надо побыть наедине со своими, и стали прощаться. Михаил Николаевич галантно поцеловал руку Марии, а Ефимовна обняла ее и расплакалась:

– Машенька, голубушка моя... Не забывайте нас, грешных. А я стану бога молить за вас. Авось обойдет вас нелегкая... Время-то какое? Какое время, господи! Содом и Гоморра...

Успенский и Мария долго стояли посреди дороги и слушали скрип телеги и

грохот отдалявшихся колес. И казалось им, что это не телега натужно скрипит да утробно погромыхивают колеса, не Скобликовы отъезжают в горестном молчании, а что-то большее уходит, отваливает от них по ночной дороге в сиротливой и скорбной потерянности. В этой уходящей одинокой подводе по ночной пустынной дороге, в этом холодном просторном небе, в этой худосочной ущербной луне, в темных горбатых увалах, встающих где-то за Волчьим оврагом на краю земли, они почувствовали свою заброшенность, бессилие и обреченность: все идет мимо них, не спрашивая ничьего желанья, не считаясь ни с какими потерями. Это уходила от них молодая и вольная жизнь, уносила с собой несбывшиеся надежды, навевая грусть и отчаяние.

Притихшие и скорбные, рука в руке, они молча шли полем и задами, пугливо озираясь по сторонам, вздрагивая при неожиданном лошадином фырканье или отдаленном собачьем брехе. Обходили одинокие строения – амбары да сараи, словно кто-то их выслеживал в темноте.

Обогнули церковь с черными провалами окон, с блестящим крестом над голыми березовыми ветвями. В кирпичной угловой сторожке, где жил одинокий отец Афанасий, теплился блеклый огонек. Они прошмыгнули под тенью высокой железной ограды, перебежали улицу и очутились на темном крыльце Успенского.

Он долго не мог открыть замок и сердился, гремел ключами.

– Может быть, в сад пойдем? – сказала она.

– Нет, нет! – резко ответил он и открыл наконец дверь.

Из сеней пахло густым настоем яблок и тонким сухим запахом березовых веников.

– Пойдем же, пойдем! – подталкивал он ее через порог, в этот черный дверной проем.

– Не надо бы, Митя... Теперь не надо, – слабо упиралась она.

– Ах, Маша!.. Не все ли равно, когда?.. Теперь или после. Все пройдет... Идем же!..

В доме было сухо и тепло от натопленной кафельной печи. Сквозь тюлевые занавески и заставленные геранями да «сережками» окна пробивался лунный свет, и причудливые тени лежали на крашеном полу. В углу светила под белым чехлом-покрывалом с горой расшитых подушек широкая кровать. Тесно обступили длинный обеденный стол дубовые стулья с высокими спинками. Где-то за темным буфетом потренькивал сверчок. И таким дремотным миром, таким покоем веяло здесь от всего, что не хотелось верить в те тревоги и смятения, которые испытывали они там, в поле, провожая Скобликовых.

Мария не была в этом доме с той самой свадебной вечеринки и удивилась этому обихоженому уюту.

– Ты разве ежедневно ездешь в Степаново? – спросила она.

– Нет. Я там квартиру снял. Дома бываю только по воскресеньям. – И добавил, перехватив ее испытующий взгляд: – Здесь Маланья убирает... Она и перепутала замки. Другой повесила.

– А где она теперь?

– У себя дома.

Он зажег свечи, открыл бутылку темного сетского вина, поставил вазу с яблоками.

Они встречались с той вечеринки всего дважды, и то на людях: первый раз на

открытии Степановской школы, куда Мария приезжала на митинг вместе с Чарноусом, заведующим районом. После митинга на школьном плацу, где они стояли рядом с Успенским на дощатом помосте, он пригласил ее на праздничный обед: учителя в складчину стол накрыли в канцелярии... Но Чарноус тогда заторопился домой, лошадь у них была одна на двоих... И неловко было оставаться ей одной... А еще они виделись на учительской конференции в клубе. И опять разминулись в суматохе... И вот теперь одни. Он налил в рюмки вино:

– Ну! Твое здоровье...

Выпили, глядя в глаза друг другу.

– Ты не сердись за тот вечер? – спросила она.

– Я тебя люблю, – он бережно взял ее руку и поднес к губам.

– Но я не могу поступить, как ты желаешь.

– Я хочу, чтобы ты любила меня.

– Я люблю тебя.

– Больше мне ничего не надо.

– Ах, Митя, Митя... Какой ты большой и добрый. Кабы не ты, быть сегодня беде там, у Скобликовых.

– Беда все равно придет, Маша.

– Только не теперь...

– Только не теперь, – повторил он и стал расстегивать ее тяжелый драповый жакет.

Она смотрела на него с немым и долгим укором, он почувствовал опять оплошность, руки его задрожали, он отвернулся и сказал:

– Извини... Я позабыл, что ты все делаешь сама, – и задул свечи.

Он раздевался за печью. И когда вышел с подушкой и одеялом в руках, она стояла возле окна с распущенными волосами и в расстегнутой белой кофточке.

Он выронил на пол подушку и одеяло и бросился к ней с объятиями:

– Маша, милая!

Она упала ему на грудь и вдруг отчаянно и глухо зарыдала.

– Что ты, Маша? Господь с тобой! Успокойся, милая! – утешал он ее и гладил по волосам, как маленькую.

Федорок Селютан приехал на луга еще засветло. Для осенней охоты за Липовой горой у него был загодя приготовлен шалаш. Впрочем, это даже и не шалаш, а нечто вроде диковинной сенной избушки. В летнюю пору, в сенокос, Федорок вырубал ровные гибкие дубки толщиной в руку, вкапывал их в землю и пригибал, заплетая из них круглый каркас, похожий на киргизскую юрту. Этот прочный, гибкий каркас он заметывал стогом сена, оставляя приметный лишь ему одному, хорошо замаскированный лаз. Когда подходила осень, он очесывал стог, открывал потаенный лаз и жил в этой темной сенной избушке до зимних холодов, гонял по лугам зайцев, бил выхухоль, охотился на уток и на гусей... Помогал ему поджарый мосластый пес Играй, костромской гонец с темной спиной и рыжей подпалиной.

Бородин нашел его стог по хриплому собачьему бреху; Играй сидел на юру, освещенный луной, и, закинув за спину тупую морду, побрехивал лениво и монотонно, словно опробовал свой простуженный голос.

– Что, страшно одному-то? – спросил Бородин кобеля, спешиваясь. – Или скучно?

Тот подозрительно покосился на Бородина и умолк. Андрей Иванович привязал

повод к передней ноге, пустил лошадь пастись, а сам двинулся к стогу.

Играй в короткой перебежке оказался возле лаза и зарычал на бесцеремонного гостя.

– Ишь ты, какой проворный! – удивился Бородин, останавливаясь возле стога, и крикнул: – Федор, убери часового! Без пароля не пускает.

Селютан зашуршал сеном и высунул голову:

– А я думал, ты не приедешь... Ждал, ждал. – Он вылез наконец наружу и потянулся. – Да замолчи ты!.. – заругался он на рычащего кобеля.

Играй обиженно махнул хвостом, отошел к висевшему на перекладине котелку и с глубоким вздохом улегся возле потухшего костра.

– А я на вечерней зорьке пару клохтунов добыл, – сказал Селютан, снимая котелок. – Чуешь, чем пахнет? – спросил, поднося к Бородину и поигрывая крышкой котелка.

– Н-да. – Бородин сухо сглотнул слюну и сказал: – Поздно уж. Может, на завтра отложим?

– Дак новый день принесет и новую пищу; сказано: хлеб наш насущный даждь нам днесь.

– Ну, как хочешь. – Бородин сперва снял ружье, поставил его к стогу, потом и сумку снял.

Присаживаясь к котелку, достал поллитру водки, обжимая головку, снял с похрустыванием белый сургуч, потом с ласковой осторожностью хлопнул ладонью в доньшко.

Между тем Селютан заострил палочку и, как вилкой, достал из котла утиную тушку. Бородин в кружки налил водки.

– Ну, поехали!

Выпили, выдохнули дружно и молча начали раздирать утку, словно совершали торжественный обряд. И ели молча, чмокая губами и громко чавкая. Играй, почуяв скорые объедки, поднял морду и замахал хвостом.

– Нынче ночью Скобликовы уехали, – сказал наконец Бородин, закуривая.

– Куда уехали?

– В Канавино, к сестре. Вроде бы насовсем.

– А как же дом? – спросил Селютан, все еще не беря в толк суть разговора.

– Бросили дом, – сказал Бородин и длинно выругался. – Убежали, Федор. От налогов убежали, а может быть, и от тюрьмы.

– От тюрьмы не убежишь, – хмыкнул Селютан и закурил, отвалиясь на локоть. – В Канавине, здесь ли, – все едино.

– Здесь у них свой дом, поместье рядом... А там они квартиранты. Разница!

– Какая разница – где подыхать? Что здесь, что в Канавине?

– Дак ведь люди жить хотят!

– Что там за жизнь, в чужом углу! Нет, ты держись своего болота. Где жил, там и помирай с честью.

– А если из дома выгонят?

– Ну и что? Дом мой понадобился? На, возьми, подавись им. А меня не трогай. Я и в стогу сена проживу. А затронешь – спуску не дам. Вот как надо держаться. Небось они крепко подумают перед тем, как гонять нас во всякие колхозы. А то что? Не успеют кнутом хлопнуть, как бе-эгут. Не люди, а стадо.

– Я, брат, тоже решил держаться до последнего. Ни в город не поеду, ни в колхоз



не пойду.

– Это правильно, – согласился Селютан. – Давай еще помаленьку глотнем.

Бородин побулькал в кружки. Выпили.

– Эх, Федор, – сказал Бородин. – Может, последний разок ездим с тобой... на охоту. Придет время – пешой будешь топтать.

– Это почему?

– Всеобщий колхоз создадут на всю Рязанскую губернию. Поголовный... И вроде бы за год. А лошадей, коров и всякую живность отберут.

– Кто тебе сказал?

– В «Правде» прочел.

– Брежут. Я вот по чему сужу: чтобы лошадей держать в общем месте, надо построить конные заводы. А ты знаешь, что такое конный завод? Я видел у фон Дервиза. Это ж дворец лошадиный! Чтобы построить такой завод на всех тихановских лошадей?.. Дак нам все заложить надо – портки последние снять с себя! И то не хватит. А ты говоришь – на всю губернию. Кто же нам отвалит такие деньги?

– Государство.

– Государство? Оно с нас последние гроши тянет. Хлеб вон до зернышка выколачивает. А ты хочешь, чтоб это самое государство заводы нам конские строило? Дворы коровьи? Да ни в жисть не поверю.

– А ежели объединят лошадей, да на наших же дворах оставят? – спросил Бородин.

Селютан рассмеялся:

– Это пожалуйста! Такой колхоз мне по нутру, ежели моя лошадь на дворе стоит. Куда хочу – туда и еду.

Бородин только усмехнулся и спросил, оглядываясь по сторонам:

– А где твоя лошадь?

– На приколе, возле озера.

– Волки не задерут?

– А Играй на что?

– Он на луну брешет.

– Это он мне вроде колыбельную поет. Я сплю и сквозь сон слушаю. Брешет, значит, все в порядке. Волки подойдут – он завоет, в голос затыкает. А то совсем замолчит. Стало быть, рассвет. Пора вставать. Он у меня службу знает.

Когда укладывались в кромешной темноте на мягком духовитом сене, Селютан толкнул в бок Бородина и сказал со смешком:

– А ты жох... Хитрован!

– Чего такое?

– Поедем, говорит, по случаю праздника уток погоняем. Так, мол, от нечего делать. Оказывается, не от нечего делать, а от актива бежал.

– Кто тебе сказал?

– Кречев. Пришел ко мне и спрашивает: говорят, у тебя Бородин отсиживается?

– И ты ему сказал, где я? – тревожно спросил Андрей Иванович.

– Ага, испугался! – хохотнул Селютан. – А я говорю: был да сплыл. Зачем он тебе? Актив, мол, завтра проводим, посоветоваться надо. Тут я сразу понял твою задачу смотаться с глаз долой. Я и сказал ему: на лугах, говорю. Случаем, не туда собираешься? Собираюсь, говорю. Будь добр – встретишься с ним, передай, пусть приезжает к двум часам дня. Исполню, говорю, в точности... Ну, мотри, Андрей! Я

тебя предупреждаю.

– Ладно дурака валять, – сердито отозвался Бородин.

– А ты не боишься, что тебе самому хлебные излишки начислят за отсутствие?

– Индивидуалкой будут обкладывать, – буркнул Бородин. – Подворкой.

– А говорят, хлебными излишками.

– Кто говорит?

– Да Кречев. Передай, мол, Бородину, ежели не приедет, хлебные излишки начислим на него самого, чтоб другим неповадно было бегать с актива.

– Типун тебе на язык.

– На тебя же, говорят, сена накладывали. Сто пятьдесят пудов.

– Накладывали... Да я не повез. На меня где сядешь, там и слезешь...

– Да, у тебя рука... И кем ты успел заручиться? Говорят, племянницу просватал за комиссара из «Красного лаптя»?

– Дрыхнуть давай... Небось выспался и мелешь языком.

– Сейчас, будильник заведу, – отозвался Селютан и, закрывая сеном лаз, крикнул наружу: – Играй, а кто брехать будет? Я, что ли?!

И тотчас послышался приглушенный, как из подпола, размеренный собачий брех.

«Ну и обормот. С такими и в тюрьме не соскучишься», – невесело подумал Бородин, засыпая.

Ему приснилось, что едет он по летней пустынной дороге, а навстречу ему идет седой дед, идет потихоньку, опираясь на посох. И сума за спиной. Вот поравнялись они, Бородин и спрашивает его с телеги:

– Отец, куда путь держишь?

– Иду в Саров, богу молиться.

– Дак монастырь-то закрыли!

– Э, милый, ноне где лес – там и монастырь. Вставай, пошли со мной!

– Мне некогда. Я работаю.

– Какая теперь работа? Иль ты не слыхал? Команда была – штык в землю. Отвоевались, пошли молиться.

И он вдруг с неожиданной проворностью схватил Бородина за рукав и потащил с телеги:

– Вста-а-авай!

– Да погоди ты! Брось, говорю! Отцепись!!

Бородин вырвал рукав и в ужасе проснулся.

– Ты чего брыкаешься? Иль черти приснились? – посмеивался Федорок.

Лаз уже был открыт, и в него пробивался серый рассвет, тянуло сырým холодом.

– Богомолец приснился, – сказал Бородин. – Схватил меня за локоть и тянет в монастырь. Пошли, говорит, богу молиться.

– Погоди! Вот Кречев подведет тебя под монастырь... За уклонение:

– А хрен с ней. Молиться будем.

– Нет, брат, не помолишься. Ноне в монастыре вкальвают. По заведенному распорядку.

Они вылезли наружу. Трава была в белой изморози и похрустывала под ногами, как мелкий хворост. Небо посветлело, стало бледно-зеленым, и в его холодной стеклянной глубине слабо мерцали блеклые звезды. Луны не было. На ее месте на восточном краю неба расплывалась, играя жаркими красками, заря, и в подсвете ее угрюмо чернел сосновый бор на бугре за озером. В матовом сумеречном свете далеко

проглядывались разбросанные бурые стога, затененные опушки кустарников и рыжевато-сизая щетина несрезанных камышей возле округлых бочажин. Лошади стояли вместе, понуро опустив головы и ослабив дугою передние ноги. Играй вертелся в ногах хозяина, поскуливая и помахивая хвостом.

– Что, в дело просишься? погоди, будет тебе ноне работенка. Дай толком глаза продрать. – Селютан подошел к перекладине, снял котелок и стал пить из него через край. – Ах супчик! ажно зубы ломит. Глотни! сразу протрезвеешь, – протянул он котелок Бородину.

Андрей Иванович принял котелок, размахнул усы и тоже потянул через край. Суп горчиал не то от дыма, не то от плавающих потрохов. Бородин повесил котелок и проворчал:

– Ты бы еще с перьями сварил. Зачем потроха пустил? Поди, и не вымыл как следует.

– Все в нас будет, – посмеивался Федорок, затягивая патронташем стеганую фуфайку. – В потрохе самая сила. Сказано, от хорошей хозяйки за год пуд дерьма съешь. А от замарашки – невпроворот. Главное – соли круче: соль запах отбивает.

– Тьфу ты, мать твою! Ты и в самом деле насолил, чтоб запах отбить.

– Ха-ха-ха! – гоготал во все горло Селютан. – Ешь солоней, пей горячей, – помрешь, не сгниешь...

Между тем разобрали ружья и двинулись к озеру.

– Ты становись на кривуне. Во-он, в тех кустиках. А я к горловине пойду, от реки стану, – рассуждал Селютан. – Утка счас потянет, с полей. Бей ее влет. А сядет – подымай на крыло. Тады она к реке пойдет. Там, на горловине, я ее встрену. Ну, бывай!

Коротконогий и широченный Селютан катышем покатился, оставляя за собой на белой траве сочно-зеленую дорожку.

Андрей Иванович прошел на самую излучку озера и затаился в дубнячке на высоком берегу. Листья еще не опали, но пожухли, и теперь на свежем утреннем ветерке они подрагивали, будто их дергали за нитку, и сухо шелестели. На середине озера появилась мелкая изгибистая рябь, отчего вода здесь потемнела, а по краям – к дальнему берегу – радужно играла розовым перламутровым блеском от растекающейся в полнеба зари. Деловито и молча облетывала озеро одинокая чайка, да торопливо, пронзительно, словно захлебываясь от радости, кричал с невидимой реки куличок:

– Жи-ить, жи-ить, жи-ить, жи-ить!

«И в самом деле жить хочется, – думал Андрей Иванович. – И не где-нибудь, а только здесь, на этом вот просторе, при этой милой сердцу умиротворенной благодати. Прав Федорок... Никуда я и ни за что не уеду отсюда. Пусть все возьмут – дом, корову, лошадь... Пусть землю обрежут по самое крыльцо... В баню переселюсь – и то проживу. Проживу-у! Лишь бы руки-ноги не отказали, да ходить по воле, самому ходить, по своей охоте, по желанию... Хоть на работу или эдак вот по лугам шататься, уток пугать. Лишь бы не обратали тебя да по команде, по-щучьему велению да по-дурацкому хотению не кидали бы из огня да в полымя. А все остальное можно вынести...

Вчерашняя тревога, эти ночные страхи да предчувствия улеглись теперь в его душе, и он взбадривал себя, хорохорился, как воробей на оконном наличнике.

А что в самом деле? Кругом же свои люди. Он не кулак и не помещик, а свой

брат, сеятель да хранитель, как в песне поется. Неужто и его сомнут? А за что? Мало ли чего в газетах пишут? Что его, силом потянут в этот колхоз? Их уже десять лет пугают колхозами. Ну и что? Живы? Живы! И будем жить.

Прож-живу-у!

Он совсем размечтался и не заметил, как вдоль берега, низко, прижимаясь к воде, просвистели утки. Он ударил из обоих стволов вдогонку, чуя, что опоздал, что не достанет, и досадуя на себя за поздний выстрел. Косячок легко взмыл ввысь, словно подкинутый этим выстрелом, и часто, насмешливо загнусавил:

– Кво-кво-кво!

«Клохтун... С полей тянет, – определил Бородин, перезаряжая... – Теперь жди потехи. Этот в одиночку не ходит».

Второй косяк появился от горловины; он долго шел вдоль реки на хорошей высоте, наконец снизился и пошел к озеру на посадку. Его встретил двумя выстрелами Селютан. Одна утка кувырком полетела в прибрежные камыши. Остальные шли прямо на Бородина. Он пропустил над собой косяк и ударил вдогонку дублетом. Две утки упали на берег с глухим мягким стуком.

«Эти не уйдут, – подумал Бородин, оставаясь в кустах. – И отава низкая, не затеряются. Подберем».

Между тем в дальних камышах возле горловины озера долго шлепал Играй, так, словно в лоханке лапти мочили, на него прикрикивал Селютан:

– Назад! Назад! Кому говорят?

И на том, лесном, берегу отрывистое гулкое эхо забористым протягновенным матом проклинало и озеро, и небо, и душу, и бога, и даже восход солнца... Как будто бы сам леший сердился в дальнем темном бору на утреннюю побудку.

Селютан так увлекся живописным матом, что прозевал новый косяк уток.

Бородин опять выстрелил дублетом, и две утки упали посреди озера.

– Федор, веди лошадь! Она слазает за утками, – крикнул он, приставив ладони рупором.

Через несколько минут Селютан притопал с убитой уткой и сказал, довольно ухмыляясь:

– Видал? Из-под земли нашел. Где твои утки?

– Вон, посреди озера.

– Это мы счас, в один момент. Играй! – он поднял палку, поплевал на нее и, поведив возле морды кобеля, закинул в озеро. – Пиль! Ну, пиль! Кому говорят?

Играй спустился к озеру, понюхал воду, полакал немного и повернул в кусты.

– Ты куда? Я тебе, мать твою...

Но кобель легко просквозил кустарник и пошел ленивым наметом к стоянке.

– Гонец! Что с него взять, – миролюбиво изрек Селютан, глядя вслед собаке. – Зато уж зайца не упустит. Ни в жисть. И лису берет. Один гонит...

Он спустился к воде и стал стягивать сапоги.

– Ты чего это? – спросил Бородин.

– Придется самому лезть...

– С ума ты спятил! В этакый холод? Да пропади они пропадом, эти утки.

– Ага! Гляди-ка, раскидался: такое добро и пропадай пропадом, – ворчал Селютан, раздеваясь.

– Простудишься, Федор!

– Дак потеплело... Солнце взошло. Смотри вон, парок идет от воды-то.

Раздевшись донага, Селютан перекрестился, прикрыл ладошкой срам и пошел в воду. Плыл, мерно выкидывая руки, вертя головой, бултыхая ногами. Достал уток, выплыл, отряхнулся на берегу по-собачьи и, сунув мокрые ноги в сапоги, накинув на голое тело фуфайку, сказал Бородину:

– Ты собирай уток, а я побегу... Обогреться надо, выпить то есть. Там вроде бы осталось?

– Осталось, осталось, – сказал Бородин. – Давай, жми!

Когда Андрей Иванович, собрав уток, подошел к стоянке, Селютан уже сидел одетый возле костра и уплетал утятину.

– Глотни там... Я тебе оставил чуток, – указал он на опустевшую поллитру.

Потом пальцем сосчитал уток и сказал:

– Андрей, а хрен ли нам делать здесь у костра с такой добычей? Поехали в Тимофеевку к Костылину. Все ж таки нонче праздник. Великий Покров! – И, поглядев мечтательно в костер, добавил: – Фрося, поди, брагу варила. У них престол.

– А ну-ка там будет кто-то из наших? Из Тиханова? – заколебался Бородин.

– Он же с краю живет. Кто нас там увидит? И чего нам прятаться? Чай, не крадем. Свое едим. Поедем!

– Ладно, поехали. Что мы, в самом деле, иль нелюди!

## 2

Иван Никитич Костылин по случаю праздника Покрова решил сходить в церковь к заутрене. Хозяйка еще накануне с вечера засветила в переднем углу лампаду и дважды ночью вставала, крестясь и охая, подливая в светец деревянного масла, читала молитву.

Ивану Никитичу плохо спалось; он лежал на широкой железной кровати с высокими ажурными спинками, связанными из гнутых железных прутьев, выкрашенных голубой краской. Кровать Иван Никитич отковал своими руками в собственной кузнице. Да так отковал, что ходили все на поглядку, дивились – ни винтика, ни болтика, все прутья связаны, словно веревки, узлами. И концов не видать. Смотришь на высокую переднюю спинку – затейливые вензеля, будто кружево, а присмотришься – буквы прочесть можно: «Иван Костылин». А на задней спинке другая вязь: «Ефросиния». «На такой кровати не токмо что спать, умирать и то сладко», – смеялись мужики. И широкая – растворяй руки, не обхватишь. И перина высокая, и подушки взбиты умелой рукой, а не спалось Ивану Никитичу.

Накануне весь день колесом шел. Заказали ему из тихановского сельпо отковать пятьсот железных обручей под осенний сезон. Готовились к рубке капусты. Он принял заказ и сходил к брату Семену – договориться, чтобы тот не уехал куда-нибудь в извоз. С братом они и кузницу держали на паях, и скобяную лавку.

Семен кочетом встретил его на дворе и в избу не пустил. «Ты что, – говорит, – рехнулся? С нас последние штаны сымают, а ты подряды берешь?» – «Одно другому не помеха». – «Как не помеха? Голова два уха! Мы только выплатили по восемьсот рублей. Ты хочешь, чтобы еще обложили?» – «Чего там обкладывать? По гривеннику за обруч берем». – «Ты возьмешь гривенник, а с тебя полтину сдерут». – «Да ведь не сидеть же сложа руки. Мы ж кузнецы». – «Это ты так считаешь. А вот Совет нас в торговцы зачислил. И все из-за тебя». – «Я, что ли, списки на обложение составляю? Подписи моей там нет». – «Подпись чужая, а дурь твоя. Как я тебе говорил – давай закроем лавку? Погасим обложение, и баста. А ты что? Оборот нала-ажен.

Выдюжим... Жеребца, мол, продам, а с делом не расстанусь. Купец Иголкин! Слыхал? Завтра опять готовят нам задание по дому? Чем платить будешь, а?» – «Что ты на меня кричишь? В чем я перед тобой провинился?» – «Во всем! Имей в виду, принесут задание – я так и заявлю: лавка не моя. Куда хочешь, туда и девай ее. Хоть в штаны себе запихай. А я сяду и уеду». – «Куда?» – «На все четыре стороны...» – «А как же твой пай?» – «За оковку телег с Шостинской артели получу пятьсот рублей... Вот и пай. А ты лавку продавай... Закрывай ее завтра же, слышишь?»

Закрывать лавку немудрено. А что потом делать? Куда девать железо? Кто его теперь возьмет? А его – сто листов одного оцинкованного. Это – двести ведер. По рублю – и то двести рублей. А ежели его продать в чистом виде, и сотни не выручишь. Да кто его теперь купит? А скобяной товар куда девать? В разноску непустишь, это не галантерея... Связал он себя по рукам и ногам этой лавкой. Лучше бы закрыть ее летом. А он, дурак, жеребца продал. И всего за семьсот рублей! Даром, можно сказать. Одних призов больше брал. Приспичило – отдал за семьсот рублей. А что делать? Иначе все хозяйство с торгов пошло бы. Спасибо, хоть совхоз купил... Эх, Русачок мой, Русачок! Как ты теперь без меня-то! Поди, холку набили. А то еще запалят или опоят. Засечь могут на гоньбе... Эх-хе-хе...

Плохо спал Иван Никитич, ворочался без конца и под утро надумал: схожу-ка в церкву, богу помолюсь. Отношение с богом у него было общественным. Ежели уж молиться, так на людях, в храме, чтобы все знали – Иван Никитич богу молится. Не то чтобы он не верил, что бог есть дух святой и присутствует всюду незримо, а потому, что считал: молитва наедине имеет не ту силу действия; всякое надежное дело тем и прочно, что на миру творится: тут всякое усердие заметнее, всякий изъян на виду. И ковал, и паял в кузнице на людях и любил приговаривать: «Ино дело у печи возиться, ино у горна. Там свою утробу ублажаешь – здесь обществу служишь».

Скотину убирал наспех – вместо месива воды налил в желоб для лошадей и повесил на морды торбы с овсом, коровам и овцам кинул в ясли сена, к свиньям не пошел, намял им картошки с мякиной и велел Фросе покормить.

Потом долго и тщательно умывался...

По случаю праздника надел он белую рубаху со стоячим красным воротником с гайтаном, с малиновыми петухами по расшитому подолу, поверх накинул черный шевиотовый пиджачок. Сапоги с бурками натянул, лаковые. Варезкой потер их. Перед зеркалом висячим постоял, усы рыжие подправил бритвой, щеткой их взбодрил, и потонул в них по самые ноздри тяжелый мясистый нос.

– Лысину деревянным маслом смажь, – сказала Фрося, проходя со двора в избу. – Заблестит, как твоя икона.

– Не богохульствуй, дура, – незлобно выругался Иван Никитич. – В церкву собрался.

– Можешь разбираться. Службы не будет. Отменили.

– Кто тебе сказал? – Иван Никитич испуганно оглянулся от зеркала.

Фрося поняла, что напугала его не отмененная служба, а что-то другое, то самое предчувствие чего-то нехорошего, что не давало спать всю ночь Ивану Никитичу и заставляло ее самое вставать к лампаде и читать молитвы. И она сказала спокойнее и мягче:

– Вроде бы митинг собирают там. Иов Агафонович сказал. От них уж все побегли туда: и Санька, и Ванька... И сам Иов пошел.

Иов Агафонович был соседом, работал у Костылина молотобойцем, в активе

состоял. Уж он-то знал наверняка, что За митинг собирали. Иван Никитич, еще более пожелтевший от этого известия, чем от бессонницы, как-то осунулся весь, подошел к вешалке и молча стал натягивать щегольскую драповую поддевку. Руки плохо слушались, и он никак не мог поймать крючком верхнюю петлю.

– Ты еще крест на брюхо повесь, – опять зло, как давеча, изрекла Фрося. – Отменен праздник-то! А ты чего вырядился, как под образы? Чтоб тебя на смех подняли? А может, ишо на заметку возьмут, как злостный алимент. Надень вон зипун.

– Да, да, – забормотал, краснея, Иван Никитич. – Кабы и в самом деле не напороться на кого-нибудь из района.

Он быстро снял поддевку, надел порыжевший просторный зипун, перекрестился от порога и, сутулясь, вышел.

На улице перед кирпичной церковной оградой толпился народ. У коновязи, возле зеленых железных ворот стояло две подводы, лошади запряжены налегке, – в крылатые рессорные тарантасы. По черному заднику, по лакированному блеску Костылин сразу узнал эти тарантасы – риковские. Видать, и вправду праздник отменяется, подумал он. Но чего *они* тут делают? Не за попом ли приехали?

Эта тревожная догадка холодком пробежала по спине и напряженно стянула лопатки, – из ограды от растворенных ворот выходил в синей шинели и фуражке со звездой милиционер Кадыков, шел решительным крупным шагом; за ним, еле поспевая, семенил церковный староста, Никодим Салазкин, прозванный за длинную сутулую спину и пучеглазое лицо Верблюдом. Шли они через дорогу, прямехонько к попову дому, стоявшему в окружении тополей на высоком кирпичном фундаменте под красной крышей. Костылин почтительно поздоровался с ними, приподняв кепку; Кадыков сухо ответил, кивнув головой, а Никодим приостановился и, глядя сверху своими печальными верблюжьими глазами, извинительно произнес:

– Отец Василий заупрямился – ключи от церкви не дает. Идем вот... вразумлять, стало быть.

– Почему? – спросил Костылин.

– Из району приехали... Митинг проводить в церкви. А отец Василий заупрямился. Божий дом, говорит, не содом.

– Тебе что, Салазкин, особое приглашение надо? – крикнул, приостанавливаясь, Кадыков.

– Иду, иду! – подхватил Никодим, торопливо засовывая руки в карманы, словно поддерживая полы поддевки...

У ограды молчаливо толпились мужики, бесцельно прохаживаясь, словно быки у водопоя. Бабы плотно обступили церковную паперть и горланили громче потревоженных галок на колокольне. Перед ними выхаживал на паперти, как журавль на тонких и длинных ногах, в хромовых сапожках и синих галифе Возвышаев. Он картинно приостанавливался и, покачиваясь всем корпусом, закидывал руки за спину, отводя локти в сторону, примирительно упрашивал:

– Гражданочки! Не действуйте криком себе на нервы. Вам же сказано – мероприятие запланировано! Понятно? Это вам не стихия, а митинг!

– Вот и ступайте со своим митингом кобыле в зад.

– Вам митинг – горло драть, а нам лоб перекрестить негде.

– Вы нас, весь приход, спросили, что нам с утра делать? Богу молиться или материться?

– Гражданочки, запланировано, говорю, и все согласовано. С вашим Советом.

Вон, пусть председатель скажет.

На краю паперти стоял председатель Тимофеевского Совета, молодой парень в суконном пиджаке с боковыми карманами и в кепке; в руках он держал красный флаг, прибитый к свежеструганной палке. Услыхав, что Возвышаев просит поддержки его, он поднял над головой флаг и замахал им. Бабы засмеялись:

– Ты чего машешь? Иль кумаров отгоняешь?

– Тиш-ша! Сейчас он молебен затянет...

– Родька, нос утри! Не то он у тебя отсырел.

Родион Кирюшкин поставил древко к ноге, как винтовку, и крикнул переливчатым, как у молодого петушка, голосом:

– Граждане односельчане! Довольно заниматься пьяным угаром и темным богослужением! Сегодня день революционной самокритики, коллективизации и праздник урожая.

– А ты его собирал, урожай-то? Ты в Совете семечки щелкал.

– Сами вы поугорали, советчики сопливые! Из одного дня три сделали.

– Ступайте к себе в Совет и празднуйте свою самокритику.

– Ага. Раздевайтесь донага и критикуйте! Ха-ха-ха!

– А у нас великий Покров день...

– Не гневайте бога! Откройте церкву!..

– Вам же сказано было – служба ноне отменяется, – покрывая бабий гвалт, крикнул звонко Родион. – Не у нас одних отменяется – по всему району.

– Это самовольство! Против закону...

– Ты нам районом рот не затыкай.

– Пошто прогнали отца Василия?

– А ежели вас турнуть отселена?

– Мужики-и-и! Бейте в набат! В набат бейте!

Мужики, увлеченные перепалкой, стали подтягиваться от ограды, темным обручем охватывая подвижную бабью толкучку. Костылин почувствовал, как этот крикливый бабий азарт, точно огонь, перекинулся на мужиков, и они задвигались, занялись ровным приглушенным рокотом и гулом, как сухие дрова в печке. И многие стали подталкивать друг друга, подзадоривать, поглядывая на паперть, где в низком провисе – так, что рукой достать – опускалась веревка с набатного колокола. Возвышаев подошел к кольцу, за которое привязана была веревка, и заслонил его спиной. На него тотчас закричали:

– Ты нам свет на загораживай!

– Эй, косоглазый! Тебя кто, стекольщик делал?

– Отойди от веревки! Ты ее вешал?

– Мотри, сам на ней повисня-ашь...

– Эй ты, стеклянной! Отойди, говорят, не то камнем разобьют.

Возвышаев, затравленно озираясь, как волк на собачье гавканье, выхватил из кармана галифе наган и поднял его высоко над собой:

– Кто сунется к набатному колоколу – уложу на месте, как последнюю контру.

Наган на отдалении казался маленьким, совсем игрушечным, и сам Возвышаев, заломивший голову в кожаной фуражке, тоже казался не страшным, а каким-то потешным, будто из озорства нацелился наганом куда-то в галок на колокольню. В толпе засвистели, заулюлюкали, раздались выкрики:

– Мотри, какой храбрый!



– Эй, начальник! Убери пугалку, не то потеряешь!

– Подтяжком его, ребята, подтяжком.

– Заходи от угла!.. Которые сбоку.

Ну, ежели не чудо, подумал Иван Никитич, то быть беде. И оно пришло, это чудо.

– Православные, одумайтесь! – прозвучал от ворот такой знакомый всем тревожный и повелительный голос отца Василия.

Он шел впереди Кадыкова и Никодима, легко раздвигая толпу, – мужики расступались торопливо и прытко, как овцы от пастуха, бабы крестились и наклонялись в легком поклоне. Он шел с непокрытой головой, высоко неся впереди себя злаченый крест и осеняя им примолкшую толпу. Порывистый прохладный ветерок трепал его седые волнистые волосы и широкие рукава черной рясы. При полном напряженном молчании поднялся он на паперть, подал ключи от церкви Возвышаеву и, обернувшись к народу, сказал:

– Православные! Братья!! У нас нет таких весов, чтобы взвесить грехи наши и сказать – кто из нас больший грешник, а кто праведник. Это дело суда Божия, на котором все будет измерено и взвешено, не утаены будут не то что дела, но и мысли сокровенные. У нас одно желание, одна цель жизни: получить оправдание у бога. А для этого у всех людей – и праведных, и грешных – один путь, путь евангельского мытаря. Люди различаются между собой в своей силе и в своей славе. Но фарисей только то и делает, что спесиво возвышает себя до неба, а всех других людей унижает клеветой и укорением. А мытарь, смиренно сокрушаясь о своем недостоинстве, всех других повышает в чести и в славе. И выходит фарисей врагом, а мытарь другом ближних своих. И дивно ли, братья христиане, что на праведном суде Божиим мытарь оправдывается более, чем фарисей, и что господь здесь, на земле, устраивает весьма часто так, что всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Станем же уповать, братья, на волю божию – да простит нам господь смирение наше перед силой неправедной, желающей осквернить храм божий. Унижение наше не грех, а спасение от вражды междоусобной. Не подымайте ж руки на притеснителя своего! Обороняя вас от бунта, прошу вас не поддаваться и богохульству, не переступать порога храма с нечестивыми намерениями. Желаящий спастись да спасен будет...

Отец Василий пошел с паперти в притихшую толпу. Но его остановил Возвышаев:

– Не торопитесь, гражданин Покровский! За вашу антисоветскую проповедь придется отвечать по закону.

– Закон совести повелевал мне успокоить народ. Что же есть в этом преступного? Разве я что-нибудь сказал против власти? – спросил отец Василий.

– В прокуратуре разберутся. Кадыков, задержите бывшего священника Покровского! – И, не давая опомниться и воспрянуть растерявшимся прихожанам, Возвышаев зычно объявил: – Митинг, посвященный дню коллективизации, объявляется открытым. Слово для доклада имеет секретарь Тихановской партиячейки товарищ Зенин.

Сенечка Зенин вынырнул из толпы и в два прыжка оказался на паперти. Одну ногу согнув в коленке, другой шагнув на нисходящую ступеньку, как бы весь подавшись к народу, он сорвал с себя серенькую кепку и, зажав ее в кулачок, вытянув в пространство над людьми, крикнул:

– Товарищи! Отбросим колебания нытиков и маловеров. Ни шагу назад от взятых

темпов! К общему труду на общей земле! Вот наши лозунги на сегодняшний период. Наступил срок продажи хлебных излишков. Мобилизуем все наши силы на хлебозаготовки! Головоотяпство одних работников заготовительного аппарата и вредительство других не ослабят наших усилий. Недаром этот год пятилетки объявлен сверху решающим годом. А в текущее время определяющим моментом хлебозаготовок является решительная борьба с кулаком. Курс на самотек и доверие к здоровому кулаку привел к тому, что не продано и половины излишков. Настала пора определять твердые задания по продаже хлеба для кулаков и зажиточной верхушки населения. Если в отношении бедноты и середняков, выполняющих свои обязательства, необходимы чуткость и внимание, то в отношении тех групп, которым даются твердые задания, не может быть и речи о каких бы то ни было послаблениях и отсрочках...

Иван Никитич, холодея сердцем, слушал эти грозные слова и с ужасом чувствовал, как они сковывают все его помыслы, движения, наваливаются и душат, как тяжелый кошмарный сон. Неужто никто не возразит ему, не крикнет: «Замолчи, сморчок! На што призываешь? Кого горишь? За што?!» Но никто не крикнул, не остановил оратора; все слушали, покашливая, сморкаясь, шаркая ногами, погуживали, но слушали. А тот, грозясь серой кепочкой, все бросал и бросал в толпу эти горячие как угли слова.

– Иван Никитич! – шепнул кто-то на ухо и взял Костылина под руку.

Он воспрянул и отдернул руку, как от чего-то горячего, даже не успев оглянуться.

– Да это я, свой, – шепнул голос Иова Агафоновича.

– Чего тебе? – спросил Иван Никитич.

Тот привалился к нему грудью и задышал в щеку:

– Ты зачем пришел? Лишенцев на митинг не велели звать. Мотри, возьмут на заметку. Уходи от греха! Ступай в кузницу. Я приду и расскажу тебе...

Костылин поймал железную пятерню Иова Агафоновича, слегка пожал ее и стал пятиться к воротам; и до самой кирпичной ограды хлестал его, изгоняя, словно мерина из теплого хлева, хрипнувший Сенечкин голос:

– Мы должны наладить поступление хлеба сплошной волной, устранить технические затруднения в приемке, хранении и перевозке. Комсомол – легкая кавалерия, изыскивает новые емкости для хранения хлеба. Поступило предложение от Тимофеевской комячейки ссыпной пункт открыть в церкви. Хватит равнодушно взирать на этот дурдом – настоящий рассадник суеверия и мракобесия.

Вот как, значит – дурдом? Рассадник суеверия? Да где же как не в церкви очищались от этого суеверия? А теперь ссыпной пункт. Амбар из церкви сделать! А что ж мужикам останется? Где лоб перекрестить, святое слово услышать? Дурдом? Скотина вон – и та из хлева на подворье выходит, чтобы вместе постоять, поглядеть друг на друга. Тварь бессловесная, а понимает – хлев, он только для жратвы. А мне, человеку, ежели муторно на душе, куда податься? Где обрести душевный покой, чтобы миром всем приобщиться к доброму слову? А чем же взять еще злобу, как не добрым словом, да на миру сказанным? Иначе злоба да сумление задушат каждого в отдельности. Зависть разопрет, распарит утробу-то, и пойдет брат на брата с наветом и порчей. Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие. Темное время настает.

Так думал Иван Никитич, идя к себе в кузницу, стоявшую за селом на выгоне, возле широкого разливанного пруда. Более всего сокрушало его даже не требование твердых заданий, не выколачивание хлебных излишков, а закрытие церкви. Старики

говорили, будто заложил ее рязанский князь Юрий в честь победы над ханом Темиром. Когда жил этот князь Юрий и где была битва с ханом Темиром – никто не знал и не помнил, и казалось, что церковь стояла на этой земле вечно; хорошая каменная церковь с белой луковичной колокольней и с зеленым стрельчатым шатром. И крестился в ней Иван Никитич, и венчался, и родителей отпевали здесь, – все, от восторженного венчального гимна «Исайя, ликуй!» до печальных торжественных песнопений зауспокойной панихиды, – все прослушал здесь Иван Никитич и запомнил, унес в душе своей на вечные времена. И вот теперь не будет ничего этого – ни задравных молитв, ни поминаний, ни свадеб, ни крестин... А что же будет? Как жить дальше?

Возле своей кузницы он увидел двух лошадей, привязанных к ковальному станку. На спинах лошадей были приторочены ватолы. «Стало быть, дальние, – подумал Иван Никитич. – С Выселок, что ли? Ковать пригнали. Своих-то уже вроде бы всех подковал, торопились с братаном управиться до Покрова дни...»

Но вот из-за кузни навстречу ему вышли двое с собакой, с ружьями за спиной, и Костылин узнал их – тихановские. Люди места себе не находят от переживаний, а эти веселятся, уток гоняют по озерам...

– С праздничком престольным, с Покровом Великим! – приветствовал его Селютан, давний приятель Костылина. – А ты чего такой снулый, как судак в болоте?

– Не с чего веселиться, – ответил тот. – Закрыли ваш престол.

– Как закрыли? – спросил тревожно Бородин.

– Так и закрыли. Службу отменили, церковь отвели под сыпной пункт.

Селютан присвистнул и заковыристо выругался.

– Это кто ж так размахнулся? – спросил Бородин. – Иль местные власти озоруют?

– Да кто их разберет? И ваши, и наши – все там, митингуют на паперти. Возвышаев приехал с милицией, попа арестовали.

– Вот так пироги! Хорошенькое веселье на праздник, – опешил Бородин. – Что будем делать, Федор?

– А что нам делать? Попу мы все равно не поможем. Пожалеем самих себя – выпьем и закусим... – Он приподнял связку уток и предложил Костылину: – Раздувай горн – на шомполах зажарим.

– Вроде бы не ко времени, не по настрою, – заколебался Костылин.

– Да ты что нос повесил? Иль твоя очередь подошла в тюрьму итить? – затормошил его Селютан.

– Типун тебе на язык...

– И стаканчик веселилки, – подхватил Селютан. – Давай, разводи огонь! А ты уток потроши, Андрей. Счас я сбегаяю на село, принесу вам две гранаты рыковского запала. Рванем так, что всем чертям будет тошно, не токмо что властям. А то тюрьмы испугались. Вот невидаль какая. В России от тюрьмы да от сумы сроду не зарекались.

Селютан снял ружье, уток с пояса, сложил все это добро на порог кузни и, пошлепывая себя по животу и голяшкам сапог, притопывая каблуками, пропел частушку:

Ты, товарищ, бей окошки,

А я стану дверь ломать!

Нам милиция знакома,

А тюрьма – родная мать.

Но жарить уток не пришлось. От деревни, напрямиком через весь выгон, ныряя в

кочках, торопливо размахивая руками, бежала Фрося. Незастегнутый плюшевый сак разлетался полами в стороны, делая ее еще приземистой и толще. Не добежав до кузницы трех сажен, она повалилась на траву и заголосила:

– Разорили нас, разорили ироды-ы! Иван! Ива-а-ан! Что нам делать теперя-а! Ой, головушка горькая! Где взять такую прорву хлеба-а?

– Что случилось? Чего вопишь, заполошная? Скажи толком! – подался к ней Иван Никитич.

Она подняла голову, отерла слезы и, всхлипывая, кривя губы, сказала:

– Подворкой обложили нас. Сто пудов ржи!

– Кто тебе сказал?

– Рассыльный бумагу принес из Советов. Я как прочла, так и хрястнулась. В глазах потемнело. Это ж опять готовь рублей пятьсот... А где их взять?

– Возвышаев с Родькой накладывали, пускай они и ищут. А у меня ни хлеба такого, ни денег нет.

– Дак ведь скотину сведут со двора, из дому самих выгонят. Задание-то какое? Чтоб в недельный срок рассчитаться.

– Да что ж это такое? – растерянно обернулся Костылин. – Что ж это делается, мужики?

Федорок только шумно вздохнул по-лошадиному и скверно выругался:

– Вот тебе и выпили!

– Иван Никитич, продай ты лавку. Весь соблазн от нее идет, – сказал Бородин.

– Да что я за нее возьму? Мне и трех сотен не дадут за нее. Да и кто ее теперь купит?

– Ах, кто теперь купит? – подхватила со злорадством Фрося, вставая на ноги. – Довел до точки... Докатился до оврага. Как я тебе говорила? Продай ты ее к чертовой матери! Чтоб глаза не мозолить... А ты что? В дело мое не суйся! Завел торговое дело! Эх ты, мужик сиволапый. С каленой-то рожей да в купеческий ряд полез. Где они ноне, купцы-то? С головой-то которые – все поразъехались. Где Зайцев? Где Каманины? Серовы? Плюнули на эту канитель да уехали. А ты дело завел? Вот и трясись теперь штанами-то... Иди в Совет сейчас же! Проси ревизию на лавку провести. Все, скажи, чего потянет, обществу отдам. А остальное, мол, не обессудьте. Нету-у! Ни хлеба нет, ни денег. Пускай хоть с обыском идут...

– Да, да... Я, пожалуй, пойду в Совет. Так вот и скажу... может, Возвышаева застану. Так вот я и скажу, – деревянно бормотал Костылин. – Вы уж извиняйте, мужики. Выпить не пришлось. Мне не до праздника.

– Какой теперь, к чертовой матери, праздник, – сказал Бородин. – Поехали, Федор!

– Эхма, – вздохнул опять Селютан. – Рожу бы намылить кому-нибудь... Кому? Подскажите!

Но, не дождавшись ответа, плюнул и пошел отвязывать лошадь.

Долго ехали молча, обогнув вдоль Святого болота ольховый лес, ехали домой, не договариваясь. О чем говорить? От кого прятаться? Где? Разве есть такое место, где можно пересидеть, пережить эту чертову карусель? Вон как ее раскрутили, разогнали, не советуясь ни с кем, никого не спрашивая. Ну и что, ежели ты в стороне стоишь или задом обернулся? Думаешь, мимо пронесет, не заденет? Как же, проехало!.. Вон, Костылина оглоушили из-за угла оглоблей – и оглянуться не успел. Тоже, поди, думал

– в стороне отсижусь, в кузнице. Нет, прав Федор – нечего бояться и прятаться. Заглазно, глядишь, и меня самого оглошат, вроде того же Костылина. Уж Сенечка не упустит такой момент. Уклонист, скажет... Чуждый элемент. Обложить, как зажиточного! И никто из бедноты не заступится. Спасибо, в тот раз с излишками сена Ванятка упредил. И Надежда молодец – тройку гусей не пожалела, отнесла Ротастенькому. И сам он на Кречева нажал... Вот и сняли сто пудов сена. Не то, гляди, об одной лошади остался бы. Нет, не в луга – домой надо ехать. А там будь что будет.

Бородин так увлекся своими мыслями, что не заметил, как удалился от него Селютан, ехавший передом. Он услышал дальний выстрел и вскинул голову. Федорок, подняв кепку на ружье, махал ею в воздухе. Андрей Иванович понял, что лошадь взяла левее, на Мучинский лес, чтобы выйти на торную дорогу, ведущую на Большие Бочаги, знакомую ей по частым наездам в гости. Натянув правый повод, он ударил ее каблуками по бокам и пустил в намет. Селютан поджидал его на окраине Пантюхина.

– Ты чего, уснул, что ли? Или в лес по грибы надумал? – шумел он и крутил на месте своего вороного мерина. – Ехал, ехал, оглянулся – нет моего Бородина. Уж не черти ли, думаю, в болото затащили? А он вон игде – в гости к лешему подался. Все, поди, сам с собою гутаришь?

– Небось загутаришь, ежели голова кругом идет, – нехотя отозвался Бородин. – Через Пантюхино поедем?

– Нет, свернем в Волчий овраг и по оврагу выедем на тихановские зада. Чего мы скрозь села поскачем? Да с ружьями... как казаки-разбойники. Ребятишек пугать?

– Поедем оврагом, – согласился Бородин.

Свернули в ложок, переходящий в дальний овраг, поехали конь о конь.

– Ну, чо ты нос повесил? – спросил Селютан. – Тебя-то еще не обложили?

– Подойдет время, и нас с тобой обложат.

– Опять двадцать пять! Ну и хрен с ней, пускай обкладывают.

– Тебе все – хрен с ней. Разбегутся мужики, опустеют села, и запсеет наша земля, как при военном коммунизме. Помнишь, что говорил Иван-пророк?

– Какой пророк?

– Ну, Петухов.

– Ах, куриный апостол! Ну как же? «Ох воля-воля, всем горям горе. Настанет время – да взыграет сучье племя, сперва бар погрызет, потом бросится на народ. От села до села не останется ни забора, ни кола, все лопухом зарастет. Копыто конское найдете – дивиться будете: что за зверь такой ходил по земле. Есть будете каменья, а с... поленья...» – заученно твердил Федорок, посмеиваясь.

– Ты помнишь, как его брали? Я-то на войне был.

– А как же? Помню. Это весной было. Нет, зимой, в восемнадцатом году, по первому заходу брали его, когда купцов трясли. Приехали за ним из уезда. Мы еще к Елатьме относились. Привели их свои, Звонцов из Гордеева да Иов Агафонович, в матросской форме, с наганом. Тоже волостным комиссаром был. За подпись свою брал бутылку самогонки. Чего хошь подпишет, только покажи – где каракулю поставить. Сам – ни бумбум, читать не умел. Да и те, уездные, были такие же аргамаки – ни читать, ни писать – только по полю скакать. Иссеры, одним словом.

– Да, в ту пору здесь левые эсеры заправляли.

– Какая разница! Один хрен.

– Тебе все едино; сажаешь всех на хрен, как на пароход.

– Дак ты будешь слушать или нет?

– Ну давай! Ври, да знай меру.

– Я вру?! Да мне сама Федора рассказывала. Прибежала к нам, как его увезли, и вся треской трясется. Все рассказала, как было. Вот пришли они и говорят ему: Иван Петухов, ты есть настоящий агитатор за божье писание, то есть чистая контра. Посему подпиши обязательство, что отрекаешься от своих вредных речей. А он им говорит: что богом записано, то сатане не стереть. Каждый делает то, что ему предназначено. Вы зачем пришли? Забирать меня? Вот и забирайте безо всяких обязательств. Ишь ты, говорят, какой настырный. Все знаешь. А что имущество у тебя заберем, тоже знаешь? Берите, берите. А у него этого имущества... ты же знаешь! – Федорок прыснул и выругался: – Лаптей порядошных – и то не было – всю зиму босой ходил.

– Как не знать! – подхватил Бородин. – Он же мне соседом был, до нашего раздела. Помню, в марте как-то, оттепель была сильная... Лужи натекли, потом замерзли. Пошел я в сад, баню топить. Вдруг слышу – кто-то за плетнем не то стонет, не то хохочет. Что такое? У меня аж мурашки по коже. Захожу за угол и вижу – дед Иван нагишом разламывает лед и ложится в воду, а сам все: «О-хо-хо! Ух-ха-ха!» У меня аж зубы застучали от озноба. Всю зиму голову мыл на дворе, в желобе. Идет, бывало, со двора, а с волос сосульки свисают...

– Какой крепости был человек, – заметил с детским умилением Селютан. – Сто тринадцать лет, а он все еще без очков читал. Сидит возле окна, в переднем углу, под божницей, и все – «Ду-ду-ду». Так и барбулит целыми вечерами. При лампаде читал! Он бы еще пожил, кабы не взяли его. Ну вот, собирают они его книги и спрашивают: а ты чего ж не переживаешь? Не хочется, поди, в заключение идти? А он им – чего переживать? Вон у меня Федора из подпола картошку выбирает – сперва, с осени, крупную, а по весне и всю мелочь доберет. Такой порядок и вы завели... Сперва забираете людей видных, богом отмеченных, а потом и всю мелочь, вроде вас, туда же потянут. Чем вы меряете, тем и вам будет отмерено. Так и увезли его. Целую телегу книжек наложили.

– Да, книжек у него много было, – более для себя сказал Бородин, – и Библия, и псалмы, и жития святых, но больше все чекмени. Он был начетчик, Библию толковал по чекменям. На каждую главу из Библии по чекменю написано. То-олстые книги. В них вся соль, все толкование. Без них к Библии и не подступишься. А он ходы знал. И все, что было, определял, и все, что будет, мог предсказать.

– Да, как скрозь землю видел, – согласился Селютан.

– А как он купцу Каманину предсказал, знаешь?

– Что-то не припомню.

– Ну-у!.. Собирает после базара лапти худые да всякую рвань. А тот сидит на балконе своего дома и говорит: «Иван Максимыч, зачем ты шоболы собираешь?» А он ему: «То, что я набрал, это мое, а вот ты сидишь на чужом». И ушел. Купец и задумался, как же так – сижу я на чужом? И дом, и балкон, и кресла – все мое. Ополумел он, что ли? И взяло купца сумление. Пришел он к Ивану-пророку вместе с попом. До глубокой ночи просидели. Будто бы Иван-пророк предсказал ему разор. Все, говорит, обществу отойдет – все твои магазины со всеми товарами. И поверил Каманин – за год до революции все магазины распродал и сам помер. Мой батя дружбу с ним водил когда-то, еще в том веке. Ну, маманя была у Каманина перед смертью. Сам позвал. Малаховка, говорит, конец подходит решающий сперва нам, а потом и за вас примутся. Купленную землю продай, пока не поздно. У нас было всего три десятины купленной земли-то, да две арендовали, да своих надельных две.

Примерно столько же, сколько и теперь. Так что мы-то ничего не потеряли... – Андрей Иванович помолчал и добавил: – Пока.

– Да, старик Каманин вовремя ухватился. – Селютан покрутил головой и засмеялся. – Зато сын его приехал, который в следователях был, как начал шерстить!.. Всех должников пообщипал, как кур ошпаренных. Я вам покажу, говорит, свободу и равенство. Всех раздену, пушу по миру одинаковыми, голозадыми...

– Иван-пророк и этого не обошел. Ну, говорит, Сашка, по миру пускать людей не диво, а вот что сам пойдешь по миру за свою алчность – вот уж подлинно диво дивное будет. И пошел ведь. Говорят, он где-то в Германии, вышибалой в трактире или в чайной... Вот как припечатал его Иван-пророк.

– Да, уж припеча-атал, – обрадовался Селютан. – И какой же был честности человек! В одних опорках ходил, а ведь при деньгах больших состоял. Говорят, все деньги на тихановскую церковь он собирал.

– Он. И казначеем был, и сам с кружкой медной ходил, – подхватил Бородин. – Я еще помню. Ма-аленький был. Он с посохом, в посконной рубахе, а на груди кружка медная на желтой цепочке и надпись с крестом подаяния: «На храм божий...» Когда церкву нашу освящали, ему пели многая лета. Сам архиерей кланялся ему поясным поклоном. Вот тебе и куриный апостол. Ребяшня сопливая придумала это глупое прозвище. – Бородин вдруг натянул поводья и с каким-то испугом глянул на Селютана. – Я о чем подумал! Церковь-то в Тимофеевке закрыли? А там же, в ограде, дед мой лежит. Теперь и кладбище в ограде опоганят!

– Насчет кладбищ вроде бы установок не было.

– В церкви-то ссыпной пункт сделают! Колесами подавят могильные плиты. Эх, мать твою... Кому это все нужно? Такое издевательство над русским людом! Жить тошно.

– Не живи, как хочется, а как бог велит.

– Какой бог? Из церкви ссыпной пункт сделать – это по-божески? Чего ты мелешь?

– Это я к примеру.

– Бывало, на родительскую субботу ездил туда, панихиду по деду заказывал. А теперь где ее отслужат?

– Погоди малость... По нас самих панихиду придется заказывать...

На берегу Волчьего оврага, напротив Красных гор, толпились люди. Заметив верховых, они замахали маленькими флажками и стали что-то кричать. Один парень, махая кепкой, бежал к ним навстречу:

– Сто-ойте! Останови-и-итесь!

Бородин с удивлением узнал в этом пареньке сына своего, Федьку. И тот, узнав отца, оторопел:

– Это ты, папань?

– Вы чего здесь делаете? – строго спросил Бородин.

– Стреляем от Осоавиахима. Неделя стрельбы проходит.

– А почему не в школе?

– Дак ныне ж день урожая! Отпустили нас, потому как стрельба. Военное дело.

– Какое там дело? Бездельники вы! – выругался Бородин, чувствуя, как в груди закипает у него злоба ко всем этим стрелкам.

– Мы ж не просто так... Зачеты сдаем, – оправдывался Федька.

– Ты отстрелялся? – спросил Селютан, чтобы перебить гневный запал Бородина.

– Ага. Сорок шесть очков выбил из пятидесяти, – расплылся тот в довольной улыбке. – Две десятки выбил.

– Молодец! Значит, в отца пошел.

Шаткой походкой спешил к ним Саша Скобликов, приветливая улыбка играла на его сочных, по-детски припухлых губах:

– Андрею Ивановичу салют!

Он подошел и поздоровался за руку, открытая, обнажающая ядренные зубы улыбка так и не сходила с его крепкого широкого лица. «И чему он только улыбается?» – опять раздраженно подумал Бородин. И спросил сердито:

– Вы чего людей останавливаете по оврагам, как разбойники?

– Нельзя по оврагу ехать, там еще две бригады стреляют. Валяйте в объезд, на Выселки.

– Это уж мы сами сообразим – как нам ехать, – отозвался недовольно и Селютан.

– Я эти стрельбы не устанавливал, – ответил Саша. – Так что претензии направляйте в Осоавиахим да в райком комсомола.

– Да мы не тебя ругаем... Так мы... сами на себя дуемся, – примирительно сказал Бородин. – Давай, Федор, заворачивай на Выселки! – И, придерживая лошадь, спросил Сашу: – Как родители, сели в поезд?

– Се-ели! – обрадованно произнес Саша. – Ключев уже вернулся из Пугасова. А твердое задание я утром в Совет отнес. Все, говорю, ответчиков нет. Сами уехали, а дом оставили. Можете забирать его. Все! Я чист! Сдаю дом – а сам в Степанове, на квартиру.

«И чему только радуется? – думал Бородин, отъезжая. – Родительский дом пошел псу под хвост, а он веселится. Дитя неразумное. И Федька, мокрошлеп, подбежал похвастаться – две десятки выбил. Тут мыкаешься, не знаешь, куда деться, а они веселятся – в солдатики играют. И что им наши заботы? Чего они теряют? Имущество, скотину? Разве они все это наживали? Нет, не они, и терять им нечего. Вот так время подошло – дети родные не понимают тебя.

Но мысль эта вела за собой другую, в которой и признаваться не хотелось. Разве дело в детях? Жизнь твоя, налаженная годами тяжелого труда и забот, стала выбиваться из колеи, как норовистая кобыла. Вот в чем гвоздь.

Кому ветер в зад – тот и в ус не дует, а тебя сечет в лицо, с ног валит, но ты терпи да крепись. А что делать? Податься некуда и жаловаться некому. Иным потяжелее твоего, и то терпят. Ведь каждый живет как может, живет сам по себе – вот что худо. Тебя растопчут, растерзают на части, и никто не чихнет, не оглянется. Пойдут дальше без тебя, будто тебя и не было.

В этой мысли он укрепился еще более, когда увидел на окраине Выселок толпу народа вокруг телег с флагом. Поодаль паслись стреноженные лошади, валялись плуги по кромке черной, лоснящейся на солнце свежей пахоты. Бородин вспомнил, что накануне собирались всем активом вспахать больничный огород, в честь дня коллективизации. И по тому, как на телеге развевался флаг, а рядом стоял Кречев без фуражки и что-то говорил в толпу, Бородин понял, что дело уже сделано. И скрываться было поздно – их заметили. Кречев замахал рукой с телеги, в толпе оживились, стали показывать в их сторону.

– Спрятался! Мать твою перемать, – выругался Бородин.

– Это что за люди? Больных, что ли, выгнали на митинг? – спросил Селютан, усмехаясь.



– Молебен служат в честь трезвого Селютана, – в тон ему ответил Бородин. – Обед подходит, Покров день! А Селютан все еще трезвый. Было такое в жизни?

– Отродясь не бывало. Видно, сатана гоняет нас с раннего утра.

– А ты окстись, глядишь, и отстанет сатана-то. И обрящем с тобой покой и чревоугодие.

– Благослови, господи, и ниспошли странствующему рабу твоему покой и утоление жажды...

– Вот зараза! За себя молит, а про товарища позабыл, – сказал Бородин, спешиваясь.

– Дак поделюсь! Аль мы нехристи?..

Бородин вел в поводу лошадь и дивился на ходу, разводя руками:

– Кто ж так делает? На общую пахоту ездят, как на праздник, веселясь да прохлаждаясь. А вы ни свет ни заря сюда приперли. Как на барщину! Кто вас выгонял?

– Вот те на! Активист, называется... – шел от телеги навстречу ему Кречев. – Вчера хватился – нет Бородина! Огород пахать, актив проводить, а он в лугах шастает. Слава богу, хоть на актив успел, – говорил он, здороваясь с охотниками. – Ты оповестил его, Федор Михайлович?

– А как же! – ответил Селютан. – Слово председателя – для меня закон. – И ухмылка плутовская во всю рожу.

Среди мужиков были и Якуша Ротастенький, и Ванятка Бородин, и Максим Иванович, брат родной. Значит, коллективисты всем миром выехали, сообразил Андрей Иванович.

– Колхоз создали или коммунию? – спрашивал Бородин, подходя к мужикам и кивая на вспаханную землю.

– А вот сходим на обед, с бабами посоветуемся, – отвечал Ванятка, играя смоляными глазами. – А ты, поди, торопился на собрание? Боялся, что в колхоз не примем?

– Я торопился, да вот лошадь упиралась. Бойтся в руки Маркелу попасть.

– Ну да, у него руки, а у других крюки! – проворчал Маркел и хрипло выругался.

– Утром набили уток? – спросил Максим Иванович, отводя разговор от перепалки.

– Какой утром! Вчера весь день за ними по болотам шлепал, – подмигивая ему, ответил Андрей Иванович.

– А я слышал, вроде б ты Скобликовых вечером провожал? – сладким голосом спрашивал Якуша.

– Куда провожал? Разве они уехали? – удивился Бородин.

– Уехали! – радостно улыбаясь, сказал Якуша. – Отказали обществу свой дом. А друзьям, значит, ничего не оставили? – И смотрел с невинным любопытством на Андрея Ивановича.

– Не знаю, я у них опись имущества не составлял, – сухо ответил Бородин; обернувшись, Кречеву: – Значит, после обеда собираемся?

– Да. К трем часам давай в Совет! В Капкином доме собираемся.

– Буду! – Бородин закинул повод на холку и с полуприсяди прыгнул животом на спину лошади.

– Ишь ты, какой прыгучий! Как заяц.

– Служивый...

– Андрей Ивана-ач! Возьми ключ у Ключева да сходи проверь, может, чего и оставили, – советовал все тем же голоском Якуша.

– Чего проверить? Какой ключ? – спрашивал хмуро Бородин, разбирая поводья.

– Дак от дома Скобликовых ключ в Совет ноне принес Сашка, а от сарая ихнего ключ у Ключева остался. Говорят, он всю ночь туда нырял. Вроде бы и на твою долю осталось. Ведь друзья были с помещиком-то.

– Я по дружбе на чужие постели не заглядывался и гусей не выколачивал у друзей своих, – терзая удилами лошадь, осаживая ее на задние ноги, говорил Бородин, раздувая ноздри. – Чем добро чужое трясти, ты сперва блох своих повытряси. Авось злоба отпустит тебя, не то вон пожелтел весь. Ревизор шоболастый.

И, огрев концом повода лошадь, сорвался с места в галоп, – только ископытть полетела черными смачными ошметками.

Собирались в Капкиной чайной; тридцать пять человек тихановского актива и бедноты – ватага не малая, всех в сельсовете не разместишь. Многие пришли принаряженные и заметно навеселе. Бабы в плисовых саках, в шнурованных полусапожках, мужики в старомодных картузах с лакированными козырьками, в сапогах, смазанных чистым дегтем. В чайной к стойкому запаху веников из клоповника да пресному духу распаренного чая примешался острый скипидарный запах хомутной и приторный, тягостно-удушливый настой нафталина.

Смотрели друг на друга с нескрываемым любопытством и как бы с вызовом даже: я хоть и записан в бедноту, а понятие насчет порядочности тоже имею, не лаптем щи хлебаем. Даже Васютка Чакушка, нищенка, можно сказать, и то пришла в чистой поддевке из чертовой кожи да в латаных опорках с боковой резинкой. А те, что из актива, из крепких семей, не поскупились надеть и совсем праздничное. На Тараканихе длинная черная юбка с оборками, черный шерстяной плат с кистями в крупных огненно-алых бутонах. И лицо ее, как перезрелый подсолнух, – того и гляди, угнетенно свесится долу, обопрется подбородком на богатырскую необъятную грудь. Издаля было видно, что хорошо пообедала баба и брагу сварила добрую.

– Палага-то у нас в крынолине, – дурил, наваливаясь плечом на нее, Серган. – Пусти погреться под черный полог!

– Поди вон, бес гололобий! Бушуешь, как самовар незаглушенный.

Один Серган оделся не по-людски, – были на нем легкий не по сезону серенький пиджачок и расстегнутая во всю грудь синяя рубаха. Но лицо его горело; он метался по чайной, беспокойно осматривал каждого, будто искал что-то важное и не находил.

– Кого потрошить будем, а? Шкуры барабанные!

– Будя шебуршиться-то, Саранпал, – благодушно отбивались от него.

Даже Кречев не сердился; он беспричинно улыбался, икал, часто подходил к глиняной поставке, пил квас и тихонько матерился. Ждали Зенина и уполномоченного от райисполкома.

Наконец подкатил тарантас прямо к заднему крыльцу, влетел в расстегнутом пиджаке Сенечка, хмурый, встревоженный, как с пожара, и сказал от порога:

– Рассаживайтесь, товарищи! Уполномоченного не будет. Мне поручено совместить его обязанности.

За длинным дощатым столом, похожим на верстак для катки валенок, уселись Кречев, Сенечка Зенин, Левка Головастый со своей картонной папкой да Якуша Ротастенький. Все остальные сели на скамьях, сдвинутых поближе к столу. Хозяйке,

кругленькой подвижной хлопотушке с пламенеющими свекольными щечками, Кречев наказал неотлучно сидеть в бревенчатом пристрое, где у Капки была кубовая, и гнать всякого в шею, ежели попытается с заднего крыльца проникнуть в чайную. Переднюю дверь заперли на висячий замок и прилепили жеваным хлебом к дверному косяку тетрадный листок с надписью: «Чайная закрыта по случаю престольного праздника».

Но не успели толком рассестись по местам, еще и повестку дня не зачитали, как в окна полезли любопытные рожи, плющили в стекла носы, кричали дурными голосами.

– Бородин, выйди, шугани их от окон! – сказал Кречев.

Поднялся Ванятка; Андрей Иванович и не шелохнулся, будто он и не был Бородиным.

Через минуту зычный Ваняткин голос с улицы стал перечислять и бога, и Христа, и мать его, и поименно всех апостолов.

– Знает службу. Мотри, как чешет, без запинки, – умиленно говорил Якуша, поглядывая в окно.

И актив загомонил на разные голоса:

– Хоть бы мать божью пощадили, срамники...

– А то ни што! Дождемся от них пощады.

– Он мать родную опудит.

– Кто опудит? Чем?

– Известно, матерщиной.

– Это ж присказка, темные вы головы! Мать вашу... Извиняюсь, то есть в род людской.

– Это что еще за ералаш? Актив называется!..

– Не укрывайтесь активом. Где беднота, там и срамота.

– Чего, чего? Кто там в бедноту пальцем пырять?

И вдруг пьяный Серган заорал частушку:

Хорошо тому живется,  
Кто записан в бедноту:  
Хлеб на печку подается,  
Как ленивому коту!

– А ну, кончай базар! – поднялся Кречев. – Вы зачем сюда пришли? В матерщине состязаться? Которые пьяные и не могут держать язык за зубами, прошу выйти! Капитолина Ивановна! – крикнул хозяйке. – Задерните шторы, чтоб ни одна рожа не заглядывала.

И пока хозяйка ходила по окнам, задергивая и оправляя шторы, Кречев читал повестку дня:

– Значит, на первый вопрос у нас стоит – утверждение контрольной цифры и распределение хлебных излишков по хозяйствам. На второй – выявление кандидатур на индивидуальное обложение. Вопросы, товарищи, серьезные, а потому требуется внимание. Слово имеет товарищ Зенин.

Сенечка встал, оправил на себе гимнастерку темно-зеленого сукна – первую вещь, полученную им из партраспределителя, разогнал складочки под широким командирским ремнем и, глядя в потолок, начал издавая, как и полагалось, по его разумению, начинать речь большому человеку.

– Товарищи, как вы все знаете, нашу страну из края до края охватил небывалый трудовой подъем. Трудящиеся массы под водительством партии большевиков и ее испытанного боевого вождя всемирного пролетариата, верного продолжателя

ленинского дела товарища Сталина идут от победы к победе. Нет в мире такой силы, которая смогла бы остановить это наше победоносное движение вперед к всемирной революции, к победе всеобщего коммунизма...

Не успел Сенечка как следует развернуться вширь и вглубь этого всемирного наступления, как его хорошо налаженную речь перебил затяжной раскатистый храп.

– Это что за соловей? – вскинул голову Кречев.

– Тараканиха запела.

– А ну-к, разбудите ее!

Сидевший с ней рядом Максим Селькин ткнул ее локтем в бок:

– Очнись, баба! Мировую революцию проворонишь.

– Дык ить я вовсе и не сплю, – захлопала глазами Тараканиха. – Слушаю я, слушаю.

– А кто храпит?

– Это я по болезни. Нос закладывает.

– Так выйди на двор и просморкайся!

– Я эта, ртом дышать буду.

– А може, еще чем? Гы-гык!

– Прекратите вредные выходки и намеки! – Кречев хлопнул пятерней об стол и сказал Зенину: – Продолжайте в очередном порядке.

Зенин еще долго говорил о всеобщем энтузиазме в ответ на происки международного капитала и его китайских наймитов на КВЖД, о важности подписки на третий заем индустриализации, и, когда дошел до классовой борьбы, Тараканиха опять заснула, но без храпа, на этот раз тоненько и заливисто высвистывала губами. Зенин метнул взгляд на Селькина, соседа ее, тот было замахнулся локтем – потормошить, но его остановил Андрей Иванович.

– Ш-ш! – осаживая ладонями ропот, Бородин взял со стола шкалик с чернилами, оторвал клочок газеты, пожевал его, намочил комочек в чернилах и, положив себе на ладонь, выстрелил щелчком в Тараканиху. Чернильный шарик шлепнул ей прямо в губы. Тараканиха почмокала губами, потом рукой сняла шарик, размазывая чернила по лицу. Все грохнуло разом и на скамьях, и за столом. Тараканиха воспрянула и, не понимая, в чем дело, тоже засмеялась за компанию. Это подстегнуло всеобщий смех. Даже Сенечка, поначалу укоризненно смотревший на свою застолу, не выдержал, прыснул раза два, точно кот, прикрывая рот ладонью.

– Ну хватит, хватит, товарищи! – начал он урезонивать смеявшихся и вдруг перешел на серьезный тон: – Кулачество и его пособники стараются повсюду срывать собрания, принимающие контрольные цифры. Вы что, забыли, где находитесь? Или не понимаете, что наступил накал классовой борьбы?

– При чем тут классовая борьба? Какое кулачество? Это ж актив! – говорил укоризненно Кречев, оправившись от смеха.

И все сразу притихли, виновато поглядывая друг на друга.

– Это не имеет значения, что актив, – строго отчеканил Сенечка, – формы классовой борьбы бывают разные: и явные выступления кулаков, и закулисные, путем использования подкулачников. Кстати, еще совсем недавно в вашем активе заседал некий кулак Федот Клюев.

– Он не кулак, – ответил угрюмо Кречев.

– По вашему мнению. А по решению партячейки Клюев занесен в списки кулаков, и райисполком утвердил этот список.

– Не понимаю, куда гнешь? – спросил Кречев. – Что ж, по-твоему, среди нас есть недовыявленные кулаки?

– Я ничего такого не говорил. Но устраивать комедию из серьезного мероприятия не к лицу, товарищи активисты.

– Дак ты же сам смеялся! – крикнул со скамьи Серган.

– Мало ли что, – важно вскинул голову Сенечка.

– Ах, тебе можно смеяться, а нам нет?

– Что ж, выходит, у Тараканихи классовое лицо, ежели над ней смеяться нельзя?

– А какая у нее задница?

– Товарищи, успокойтесь! Я же не в порядке осуждения сказал это, а в порядке профилактики. – Сенечка почувал, что перегнул палку с классовой борьбой, – и Кречев нахохлился, и активисты забузили. – Давайте перейдем, к делу. А вы, товарищ Караваяев, идите в кубовую и вымойте лицо.

Тараканиха встала и, шурша длинной черной юбкой, пошла в пристрой, а Сенечка взял из Левкиной папки какую-то бумагу и стал махать ею:

– Значит, так, на Тихановский сельсовет спущена контрольная цифра на хлебные излишки по ржи. Надо сказать, что райзо явно занизило наши возможности; составляя хлебный баланс, оно указало всех излишков по Тихановскому району тысячу пудов ржи. Это позорно малая цифра! Тихановский исполком под председательством товарища Возвышаева поставил на этой цифре большой крест. И вывел новую для Тиханова – 5230 пудов. Вот эту цифру мы, товарищи, и должны сегодня принять к сведению и распределить ее по хозяйствам. Беднота от обложения конечно же освобождается. Значит, основная часть должна быть наложена на кулаков, остальное разнести по середнякам. Какие будут соображения?

– А чего тут соображать? Расписывайте!

– Правильна! Пускай те соображают, которым платить надо.

– Нам от этих соображений ничего не прибавится. Что на нас, то и при нас.

– Так-то... Чистая пролетария.

Это бабы загалдели: Санька Рыжая, Настя Гредная, Васютка Чакушка; их так и звали на селе – красноносые сороки.

Кречев покосился на бабий угол и ворчливо изрек:

– Повторяю, базар ноне отменен, поскольку день урожая.

– Дай мне сказать слово! – потянулся Якуша к председателю.

Тот кивнул, и Якуша вскочил проворно, по-солдатски, руки по швам, голова стриженная, уши торчком, как самоварные ручки.

– Мы на партийном собрании подработали этот вопрос и предлагаем его на утверждению всего актива и группы бедноты. Значит, со всех кулаков, а их восемнадцать хозяйств, по установленному максимуму – взять по сто пудов; на середняцкие хозяйства наложить, исходя из количества едоков, – по два пуда на рыло, на едока то есть. Итого у нас выйдет в самый раз, поскольку едоков в Тиханове всего две тысячи сто восемьдесят, минус беднота и служащие районного масштаба.

– Дак ежели вы все уже решили, тогда зачем нас пригласили сюда? – спросил Андрей Иванович.

– К вашему сведению, партячейка имеет право выражать собственное мнение, – снисходительно пояснил Зенин, подслеповато щурясь на Бородина. – А ваше дело соглашаться с ним или отвергать его.

– Раньше на пленуме сельсовета и партийные, и беспартийные вместе вопросы и

намечали, и обсуждали. А теперь вы там решили, а мы здесь либо голосуй за, либо отвергай... Чтобы видно было – кому шею мылить. Так, что ли? Хитро вы придумали, ничего не скажешь.

– Товарищ Бородин, вы что, ставите под сомнение авторитет партии? – вскочил Сенечка.

– При чем тут партия? – поднялся и Бородин. – Ты в ней состоишь без году неделя и уж за всю партию хочешь распоряжаться. Людей уважать надо! Пригласили сюда чего делать? Работать? Вот и давайте вместе работать, считать – что почему. И нечего подсовывать нам готовые бумажки. Вы их писали, сами и подписывайтесь под ними, а нас не впутывайте.

– Правильно, Андрей Иванович! – гаркнул опять Серган. – Дай ему понюхать нашего самосада.

– Кречев, может, ты внесешь ясность на попытку опорочить партийную линию? – багровея, обернулся Сенечка к Кречеву.

– Давайте спокойнее, без выпадов на оскорбление. Не то ералаш какой-то выходит, а не заседание актива. Перепились вы, что ли, по случаю престольного праздника? – сказал Кречев.

– Спасибо за тонкий намек, – Сенечка обиженно сел и уткнулся в свою бумагу. – В таком разрезе говорить отказываюсь.

– Ты, Семен, не горячись. Ведь никто еще не отвергает партийного решения. Говорят – нельзя так в упор ставить – «за» или «против». Давайте обмозгуем, пошевелим шариками. Может, придумаем что-либо и не хуже?

Язвительная и в то же время какая-то горькая улыбочка передернула губы Зенина; он растворил ладони, пожал плечами и с обидой произнес:

– А кто же против? Я никому рот не затыкаю. Я только против злостных выпадов насчет неоспоримого авторитета партии.

– Выпадов не будет. Договорились. Теперь кто хочет по существу? Ты, что ли, Андрей Иванович?

Бородин встал, распахнул черной дубки нагольный полушубок, оправил усы, словно за обед садился, и крякнул для солидности:

– Во-первых, 5230 пудов излишков наложили на весь район. Зачем же мы перекладываем эту цифру на плечи одного села? Что ж мы, за весь район отдуваться должны?

– Это ж только ржи! – крикнул Сенечка. – А там еще столько ж овса... Да просо, да гречиха, да ячмень...

– Во-вторых, – невозмутимо продолжал свое Бородин, – у нас было шестнадцать кулаков. Откуда же взялось восемнадцать? Кого добавили?

– Как будто он не знает, – ухмыльнулся Сенечка, глядя на Кречева. – В список кулаков занесены Прокоп Алдонин и Федот Ключев. Вам ясно? – Это уж Бородину сказал.

– Нет, не ясно. Во-первых, на каком основании? Во-вторых, я их кулаками не считаю.

– Скажите на милость, какой сословный вождь нашелся! Кто это «я»? «Я» – последняя буква в алфавите. Занесли их в список на заседании партячейки совместно с группой бедноты. И утвержден этот список не где-нибудь, а в райисполкоме. Под ним стоит подпись самого товарища Возвышаева. С вас довольно? – Сенечка закинул голову и с вызовом глядел на Бородина.

– Список кулаков составлялся на пленуме сельсовета, а утверждал его сход. Такой у нас порядок.

– Был! – крикнул Сенечка. – А теперь сплыл. Это не порядок, а круговая порука. Кулаки и подкулачники сами покрывали себя за счет одураченной массы. Такая чуждая тактика решительно осуждена районным комитетом партии. Выявление кулаков поставлено теперь на классовую основу. Понятно?!

Бородин вопросительно посмотрел на Кречева. Тот, глядя в пол перед собой, сказал:

– Да. Нам запретили на сходе обсуждать кандидатуры кулаков.

Бородин оправил рукой воротник косоворотки, будто он ему тесен стал:

– Ладно, допустим... Теперь третий вопрос: почему излишки хлеба снова выплыли? Мы же их сдали, за исключением отдельных личностей.

– Контрольная цифра спускается сверху, – ответил Кречев. – Обсуждать нечего.

– То ись как нечего? – крикнула Тараканиха. – Мы кто, хозяева или работники?

– О! Проснулась наша Маланья! – ухнул кто-то басом, и все засмеялись.

– Что касается нас, то мы работники, – пояснил с улыбочкой Зенин. – Даже в песне про это поется: «Лишь мы работники на славу». А песня эта – «Интернационал». Вы согласны, товарищ Караваева? А вы записывайте! – обернулся он к Левке Головастому.

– Да я записываю, – виновато отозвался тот и нырнул в свою папку.

– Ежели мы все работники, тогда давайте излишки на всех начислять поровну, – сказала Тараканиха, – по едокам то ись. А то что ж выходит? На работников начисляем, а на лодырей нет. Пускай и беднота платит!

– Чем она заплатит? – спросил Кречев. – Горсть вшей насыпят?

– И это называется классовый подход. Ах-ха-ха-ха! – по-козлиному рассыпал мелкий смешок Сенечка.

В бабьем углу затараторили:

– Ежели бедноту не уважать, тогда и заседать нечего.

– Я вам чем, кусками заплачу?

– Советская власть не позволит! Чтоб смеяться над беднотой?.. Это ж кулацкая отрыжка.

– Тише вы, сороки! – гаркнул на них Ванятка. – Ждите голосование. И не мешать.

А Бородин все стоял в расстегнутом полушубке, ждал, когда угомонятся растревоженные бабы. Наконец он произнес:

– Я вот что предлагаю. Давайте обкладывать не всех скопом, а по хозяйствам. Мы же знаем – у кого какой был урожай. Только такая цифра – в пять тысяч пудов с гаком! – прямо скажу – не по силам для наших мужиков. Это обложение подрежет нас под корень. – Бородин сел.

Зенин с той же горькой улыбочкой покачал головой и произнес печально:

– Ну и ну! Это ж надо так уметь – взять и свалить в одну кучу все классы и прослойки. Все покрыть одним словом – мужики?! А ведь мужики-то разные. Мы, товарищ Бородин, не затем создали Советскую власть, чтобы всех подряд одним миром мазать. Нет, мы за классовое расслоение. И путать, собирать всех крестьян до одной кучи никому не позволим! Вы как-то ловко вывели из нашего обложения всю кулацкую часть. Думаю, что не без цели.

– Какая ж у меня цель? – крикнул Бородин.

– Поживем – увидим, – спокойно изрек Сенечка и опять Левке Головастому: – А

вы записывайте, записывайте! Значит, кулацкую часть вы не посчитали? А напрасно. Давайте прикинем: восемнадцать кулаков по сто пудов на каждого – это выходит тысячу восемьсот. Значит, на середняков, то есть на всех крестьян, остается не пять тысяч пудов с гаком, а всего три тысячи с небольшим. Много ли это? Нет, товарищи, эта цифра далеко не крайняя. Возьмем то же хозяйство Бородина Андрея Ивановича. У него семь едоков, значит, по два пуда с едока – будет четырнадцать пудов. Неужели, товарищ Бородин, четырнадцать пудов, то есть три мешка ржи, разорят ваше хозяйство? Не смешите народ! Все равно вам никто не поверит. Нет, середняка мы не разорим таким обложением. А что же касается кулаков, то здесь мы непреклонны. Никакой пощады классовым врагам! Это не крестьяне, а мироеды. Вот и давайте соберем все, что можем. А ведь с миру по нитке – голому портки. Наш хлеб идет не куда-нибудь в пропасть, а на питание рабочего класса, на индустриализацию страны. То есть на строительство фабрик и заводов, на изготовление машин, инвентаря, одежды, на нас самих. Так неужели ж мы не поможем родному государству? А стало быть, неужели не поможем самим себе построить лучшую жизнь? Я думаю, говорить больше не о чем. Ставьте на голосование.

Кречев прокашлялся, будто он сам это все только что сказал, и спросил строго:

– Другие предложения будут? Нет? Тогда голосуем в порядке поступления: кто за первое предложение, то есть за обложение кулаков по сто пудов ржи, а остальное по едокам на середняков, прошу поднять руки.

В бабьем углу взмыли руки, дружно, как по военной команде, – все враз. Потом потянулись мужики, с оглядкой, но проголосовали «за». Не подняли рук только Тараканиха, Серган и Андрей Иванович.

– Поскольку большинство «за», то голосование по второму предложению отпадает. Теперь, значит, еще один вопрос, насчет индивидуального обложения кулаков. Слово имеет товарищ Зенин.

Сенечка говорил сидя, усталым голосом, как бы закругляясь – говорить, мол, и спорить уже не о чем:

– Значит, на последнее у нас – вопрос об индивидуальном обложении кулаков. Как вы уже знаете, у нас оказалось по Тихановскому Совету два недообложенных кулацких хозяйства. Установка, надеюсь, всем известная: ни одного недовыявленного кулака! Поскольку Прокоп Алдонин и Федот Клюев в списки попали позже, то они механически оказались недообложенными. Винить здесь персонально некого. И потому ставим на голосование: кто за то, чтобы обложить в порядке индивидуального налога Алдонина и Ключева по восемьсот рублей? Виноват, голосуйте вы, товарищ Кречев!

– Какая разница? – отозвался тот. – Давай поставим вопрос на голосование.

Но встал Андрей Иванович:

– Мы только что обложили их по сто пудов. Сколько же можно?

– Можно, товарищ Бородин! – повысил голос Сенечка. – Кулаков можно обкладывать до полного искоренения как классовых врагов.

– Какие ж они кулаки? Это ж трудяги из трудяг. Они портки последние закладывали на хозяйственные нужды!

– И обдирали своих соседей! – вставил Сенечка.

– Кто обдирал? Кого?

– Кого? А чей кон будет! – крикнул Степан Гредный. – К примеру, Прокоп Алдонин хлеб молотил на своей машине. По восемь пудов ржи брал за день молотбы.



Это как посчитать? Скольких он обобрал.

– Дак он же сам молотил, у барабана стоял. И машина его, и лошади! Это ж какая работа! И все за восемь пудов ржи! Кто тебе еще за такую цену сработает? – распалялся Андрей Иванович.

– Ты, Андрей, Прокопа не выгораживай, – сказал Ванятка. – Из-за него артель развалилась. Все жадность его виновата.

– Так за жадность, что ли, восемьсот рублей с него дерем? Зачем разорять человека?

– Прокоп только побряхтит...

– Распла-атится. У него денег-та куры не клюют.

– А ты считал?

– В чужом кармане завсегда денег больше, чем в своем.

– Голосовать давайте!

– А как с Клюевым быть? – спросил Серган.

– Как со всеми кулаками, – ответил Сенечка.

– Он же член сельсовета! Депутат! – заорал Серган.

– Был, да вывели. А вы не берите на горло! – крикнул Сенечка.

– Федот – мастер, колесник! А ты – сморчок! Слепень на конской заднице!

– Это что за подкулачник? – обернулся Сенечка к председателю. – Клюев его напоил? Специально подпоили!

– Меня подпоили?! Ах ты, мать-перемать... Я тебя самого счас напою Капкиным кипятком. Утоплю в кубовой!

Серган бросился к столу, опрокидывая скамейки, но на плечах его повисли Ванятка и Андрей Иванович. А Сенечка побледнел, по-заячьи выпрыгнул из-за скамейки да брызнул через заднее крыльцо на улицу. Только его и видели.

– Да я ему ноги из шагалки повыдергаю, как у цыпленка. Соплей зашибу и разотру в порошок! – долго еще бушевал Серган, но на улицу не вышел, не побежал за Сенечкой.

### 3

В тот же день Сенечка Зенин передал в окрисполком заверенную Возвышаевым телефонограмму:

«Срочно: о классовой борьбе в Тихановском районе при проведении хлебозаготовок:

В с.Тиханове подкулачник Клюев Сергей на заседании пленума с/совета пытался избить секретаря партячейки Зенина, но, по независящим от него причинам, действия эти вовремя были пресечены.

Того же числа, т.е. 14 октября, в с.Тимофеевке была проявлена массовая попытка к избиению районной делегации и пред, с/совета на церковной паперти. С подстрекательством в неповиновении местным властям выступил б.священник Покровский. И только решительное противодействие пред, райисполкома т.Возвышаева и всей делегации предотвратило опасные последствия.

В ночь на 14 октября три неизвестные личности в саду Тихановской больницы выстрелами из огнестрельного оружия разогнали сторожей сада, а потом были украдены все заготовленные яблоки прямо в кооперативных кадках, и в ту же ночь в здании клуба, где происходила репетиция к спектаклю, через окно был произведен выстрел и разбито стекло.

Все это, вместе взятое, а также жалобы чуть ли не всех членов комсода говорят, несомненно, о том, что кулацкая часть деревни перешла в активное наступление.

Просим содействия со стороны органов ОГПУ».

На другой день явился из Рязани уполномоченный ОГПУ и увез с собой арестованных отца Василия и Сергана. А после обеда Возвышаев вызвал к себе Кречева.

Возвышаев был строг и хмур, руки не подал Кречеву, а только указал на стул, приставленный с торца к столу:

– Расскажите, что там у вас произошло доподлинно? Что это за подкулачник Клюев? С какой целью он задумал избиение?

– Какая у него цель? По пьянке да по дурости. – Кречев тоже хмурился и был недоволен, что его принимают, как подследственного.

– Плохо вы знаете своих людей. Говорят, он родственник кулака Клюева?

– Вроде бы, седьмая вода на киселе.

– Почему он оказался в списках бедноты?

– Потому как беспортошный. Все, что ни заработает – все пропивает.

– Но у него ж корни сырые. По социальному происхождению Клюевы относятся к обеспеченной прослойке.

– То Клюевы, а этот Серган, осколок от Клюевых.

– Значит, по-вашему выходит, что родственные узы ничего не значат в классовой борьбе?

– При чем тут классовая борьба? Человек пьяный, обыкновенный хулиган.

– Обыкновенный хулиган, да? А почему он не набросился с кулаками на Бородина? Или на кого-нибудь еще из мужиков? Они ж его за руки хватили да связывали!

– Об этом вы самого Сергана спрашиваете.

– Его спросят где следует и как следует... А вам делаем предупреждение – во избежание подобных случаев шерстите весь состав актива и бедноты. Не то у вас, оказывается, кулаки да подкулачники заседали на пленумах... случайно.

– Дак чего? Вывести всех, что ли, которые выпивают?

– Вы мне тут не разыгрывайте комедию с непониманием классовой борьбы! Вы что, гордитесь тем, что сорвали индивидуальное обложение двух кулаков?

– Я ничем не горжусь.

– Тогда объясните, как это у вас вышло, что голосование насчет обложения Алдоина и Клюева сорвалось?

– Вы же знаете! Поднялся пьяный Серган и бросился на Зенина.

– А кто вел агитацию перед этим? Кто оспаривал законность обложения кулаков?

– Какую законность? – опешил Кречев.

– Забыл?! Так я тебе напомним: выгораживал кулаков Алдоина и Клюева хорошо известный тебе Бородин. Говорят, он является твоим другом.

– Мало ли чего говорят! Вон, говорят, что и ты к нему шастал, вроде бы в зятя навязывался, – обозлился и Кречев.

Возвышаев вскочил из-за стола, одернул свой коричневый френч и, кося глазом на печку с отдушником, отчеканил:

– Вы, товарищ Кречев, с огнем играете. Я ведь могу и запротоколировать вашу попытку приплести к выгораживанию кулаков авторитет самого председателя РИКа. Дело не в личности Возвышаева, а в священном авторитете Советской власти. Мало ли

где я бываю в свободное от работы время. Но у меня, у председателя РИКа, на пленумах исполкома некий Бородин не принимал участия. Понятна вам разница между моими связями и вашими?

– Вы меня зачем вызвали? Чтоб о связях толковать? – встал и Кречев.

– Я вас вызвал затем, чтобы выслушать, каким образом вы собираетесь исправить ошибку вашего пленума? Вот и давайте выкладывать свой план на этот счет. – Возвышаев сел и сердито уставился в стол перед собой.

Сел и Кречев.

– Никакого плана тут нет. Просто Зенин попросил на этот счет провести заседание группы бедноты совместно с партячейкой, а комсод исключить. Я согласился.

– А что думаете насчет колхоза? Почему медлите с его организацией?

– Где его размещать? Двор, правление! Под чистым небом, что ли? Дайте нам дом Скобликова!

– Нет. Там организуем ссыпной пункт. А вы возьмите дом Успенского. Вот вам и правление.

– Как это – возьмите? Конфисковать, что ли?

– Хотя бы.

– Дак ведь он учитель. А учителей, по указу, трогать не полагается.

– Успенский компрометирует себя как учитель. В ночь на четырнадцатое он оказал сопротивление активисту Савкину при задержании незаконно отъезжающего помещика Скобликова.

– Тогда арестуйте его.

– Физического действия с его стороны не было. Стало быть, аресту не подлежит.

– Ага, сами арестовать не можете, но хотите, чтобы мы его выселили из дому. А нам за это по шее дадут.

– У вас есть формальное право – увязать его действия с незаконным бегством помещика Скобликова. А увязав его пособничество в этом деле, вы имеете право вывести Успенского из-под указа о запрете на конфискацию имущества учителей, поставить вопрос о нем на голосовании перед беднотой. Понятно?

– Нет, этого я не понимаю. Как это я могу доказать его пособничество?

– Не беспокойтесь. Он сам во всем признается. Он человек откровенный и болтливый, – усмехнулся Возвышаев.

– Но я с ним почти не знаком. Не могу же я вызвать его в Совет на допрос!

– И не надо. Ты поедешь вместе с Зениным в Степановскую школу. Будешь присутствовать при их разговоре. И как лицо официальное зафиксируешь признание Успенского. Ясно?

Кречев свесил голову, помолчал с минуту и наконец сказал:

– Ясно.

Вышел он от Возвышаева в скверном настроении. Что делать? Ехать вместе с Зениным опутывать этого учителя не хотелось. Мало ему своих забот с выколачиванием хлеба да самообложением, да подпиской на заем, от которой все бегают, как черт от ладана. А теперь вот – ущучивай антисоветские элементы. Захомутай его попробуй на основании словесных признаний. Он тебя за пояс заткнет в любом разговоре. Это не наш брат, мужик сиволапый. А тот под охраной указа. Он тебе ноне признается – ты его цоп! А завтра комиссия нагрянет, тебя шерстить начнут: на основании чего конфискуешь? На основании словесных показаний? Где они? Кто

их подшивал? Сенечка что? Тот вывернется, как вьюн. А ты отвечай – ты власть. Тебя и по шее стукнут.

А что, если упредить его? Не так, чтобы официально, а косвенно. Пусть на это время смотается куда-нибудь. Мы съездим с Зениным, поцелуем замок и назад вернемся. А что ж, это неглупо. Формально указание выполним, а фактически спросить не с кого и привлечь не за что в случае чего. Ныне только так и жить можно, тот уцелеет, кто в пекло не суется.

А передать Успенскому, чтобы поостерегся, можно через Бородина. Они друзья. У них связь... Он туда шастает из-за Марии. Уж эта Мария! Кречев злился на себя за то, что испытывал перед ней какую-то постыдную утробную робость. Когда идет с Андреем Ивановичем, еще ничего, но стоит пойти одному, как при виде высокого тесового крыльца Бородиных у него появляется противная слабость в коленках и урчание в животе, словно принял слабительного. Так и мерещилось – выйдет она сейчас на крыльцо, он остановится и начнет заикаться. И признаться в этом стыдно было даже перед самим собой. Он, здоровенный детина, двухпудовой гирей крестился и робеет перед девчонкой.

Этот конфуз впервые испытал он весной. На церковный праздник – красную горку – райком комсомола решил вывести сельскую молодежь на стрельбы, чтобы отвлечь ее от игры в орлянку, катания яиц и поповского дурмана, то есть посещения церковной службы. Так и сказали Кречеву по телефону – организуй, мол, мероприятие. А с утра явились в сельсовет Мария Обухова и Сенечка Зенин. На Обуховой было темное пальто с глухим воротом, перехваченное широким поясом, и блестящая черная шляпа, похожая на шлем. Статная, рослая, и говорит громко, решительно – командир. И руку пожала крепко и еще посмеивается: что это, говорит, вы, товарищ председатель, такой молчаливый, как с похмелья? Или, может, не выспались? А он глядит в ее узкие темные глаза и ничего путного сказать не может. Он и в самом деле всю ночь провел у Сони Бородиной и подумал испуганно – уж не догадывается ли? И ноздри так раздувает, и глаза сощурила... Может быть, натрепал кто-то, неудобно перед Андреем Ивановичем. Но более всего совестно перед ней. Отчего? Что ему с ней, детей крестить? И в ухажеры не навязывался, и свататься не собирался... А посмотрит она, засмеется или руку пожмет – так и обрывается все внутри.

Попросили вырезать мишени из фанеры в виде четырех фигур: попа, монаха, буржуя в цилиндре и генерала. Сенечка нарисовал на бумаге. Кречев было заупрямился: вынул из шкафа лучковую пилу, рубанок, молоток. Вырезайте, говорит, и сбивайте. А мне некогда. Хотел уйти. Задержала, взяла под локоток: «Павел Митрофанович, вы же мастер. Настоящий пролетарий, да к тому же строитель. А он кто? Посмотрите на его руки! – указала на Сенечку. – Не то подросток, не то счетовод. Разве такие руки смогут держать пилу и рубанок? Или вы хотите, чтобы я вырезала эти фигуры?»

Уговорила, вырезал. А на стрельбище легла в одну четверку рядом с Кречевым. Не успел он как следует изготавиться, как она толкнула его носочком в сапог и опять насмешливо: «Павел Митрофанович, вы слишком близко легли ко мне. И дышите шумно». И Кречев все четыре пули пустил в белый свет. Над ним смеялись, остряли. Особенно Тяпин старался: Кречев, говорит, не в буржуев пулями стреляет, а глазами в наши кадры. А Мария добила Кречева. Если он, говорит, так же стреляет глазами, как пулями, то за наши кадры опасаться не стоит.

Шел Кречев к Андрею Ивановичу еще и затем, чтобы сказать ему, предупредить – дело дрянь. Донес на него Зенин. И не просто, видать, понаушничал, а документально изложил, как тот взял под защиту кулаков и сорвал заседание актива. Иначе Возвышаев не стал бы отрещиваться от Бородина. А впрочем, черт ее знает! Может быть, и Мария в этом замешана? Обидела Возвышаева, отбрила. Она отбреет. А может быть, сошлась с Успенским, и Возвышаев решил отомстить им? Что бы там ни было, а предупредить их надо.

В сумерках уже прошел он по Нахаловке – ни ребятни, ни скотины, ни собак. Была та тихая пора межвечерья, когда сельская улица пустеет: скотина вся на дворах, ворота заперты, околицы затворены, ребятишки, которые поменьше, рассаживаются на печи да возле грубок со своими играми, те, которые постарше, помогают на дворе родителям убраться со скотиной, а невесты хлопочут по дому, подбирают наряды, глядятся, завиваются, пудрятся – готовятся к ночным игрищам да гуляньям.

У Бородиных светилась горница; окна передней избы холодно поблескивали, точно слюдяные. Рано они убралась, подумал Кречев, подходя. В боковом кармане он нес бутылку рыковки и надеялся посидеть за самоваром. На стук щеколды никто не вышел в переднюю избу. Он рванул на себя дверь, нырнул в темноту и громко спросил:

– Есть кто-нибудь живой?

Растворилась дверь из горницы. На пороге появилась Мария, и свет от лампы-молнии заполнил всю избу. Кречев от непривычки к свету сощурился.

– А что, хозяев-то или дома нет? – спросил он растерянно.

– Они на одоньях припозднились. Ухобот провевают...

– Во-он что! – Он оглянулся на дверь, будто извиняясь за вторжение, сказал с улыбкой: – Не сам зашел – собаки загнали.

– Догадываюсь, что за собаки, – сказала Мария с оттенком скорби и пригласила его в горницу: – Проходите! Раздевайтесь, пожалуйста!

В горнице топилась грубка. Ребятишки играли возле открытой дверцы, освещенные переменчивым пламенем пылающих дров. Сама села на деревянном диванчике у стола, Кречеву указала на табуретку. Он присел осторожно, все так же стесняясь и вроде бы опасаясь, что табуретка не выдержит его веса, потер ладонями о колени и сказал:

– Я пришел вас предупредить... Меня Возвышаев вызывал... Дело в том, что ему известно, будто Андрей Иванович сорвал актив и взял под защиту кулаков... Это, конечно, оговор. Но тем не менее.

– Мы знаем, – ответила Мария все тем же ровным и скорбным тоном. – Зенин написал донос, будто мы с Андреем Ивановичем помогали убежать от расплаты помещику Скобликову.

И только теперь Кречев сообразил – почему нет хозяев. Ясно же, прячут пожитки или хлеб, боясь неожиданной расправы, и он решил успокоить Марию:

– Не вы главные виновники... Насколько мне известно, здесь замешано третье лицо. Вот ему стоило бы поостеречься.

– Успенский? – быстро спросила она.

– Да.

– И что ж ему грозит?

Кречев опять потер ладонями о колени, качнул по-медвежьи корпус, будто бы что-то мешало ему говорить, но все-таки сказал:

– Разговор между нами... Если об этом кто узнает, сами понимаете... Попадет не только мне, но и ему.

– Да что ж ему грозит? – нетерпеливо спросила Мария.

– Конфискация имущества... если он признается, что помешал Савкину задержать помещика Скобликова. Вот что ему передайте: завтра вечером мы с Зениным поедим к нему в Степанове, чтобы расспрашивать его. Пусть он на это время куда-нибудь уйдет. На допрос его вызывать никто не станет – не имеют права. Это всего лишь блажь Возвышаева и Зенина. Но если он не увернется от нас, Зенин может и дело сострять. И меня впутает. А я обязан ехать. Не могу уклоняться. Вы меня поняли?

– Спасибо, Павел Митрофанович! – Она потупилась на минуту, потом взглянула на него с виноватой улыбкой и сказала тихо: – Ради бога извините! Я так часто была несправедлива к вам. А вы честный и мужественный человек. Извините.

– Об чем вы, Мария Васильевна! Все это пустяки.

Он встал как бы с облегчением, свободно расправил плечи, будто скинул с себя мешок с зерном, и вновь заметил ребятшек – настороженные и притихшие, как воробьи, они смотрели на него с испугом; видно было, что им не до игры, что подобный разговор сегодня для них не впервой.

– Извините и вы меня, ежели в чем виноват, – сказал Кречев и вышел.

Ах ты, едрена-матрена! Ну и ну! Дети малые и то затаились, как пришибленные. Вот так заварилась похлебка. Кто ее только и расхлебывать станет? Он полез в боковой карман за куревом и задел бутылку, жестко даванувшую его в ребро. А куда ж мне этот снаряд девать? С кем бы раздавить его? И надумал: пойду-ка к Соне. Хоть душу отведу.

Соня Бородина доводилась Андрею Ивановичу снохой, она была второй женой брата его Михаила. После смерти Насти, оставившей трех малолетних дочек, Михаил приехал из Юзовки, женился наспех на этой Соне – из соседнего села Сергачева взял ее – и снова укатил в Юзовку, где слесарничал, деньги зарабатывал на новый дом. Дом этот строил ему Андрей Иванович, не сам, конечно, строил, а вел подряд, нанимал мастеров, присматривал. Кирпичные стены сложили братья Амвросиевы; а крышу, полы и все столярные работы вел Федот Иванович Ключев. На этой новостройке и сошелся Кречев с Соней.

Дело было весной, сеяли овес по контрактации. Кречев зашел под вечер к Андрею Ивановичу договориться насчет раннего выезда в поле. Но хозяина не было дома, сказали, что он на стройке. И на стройке его не оказалось. Кречев пробухал сапогами по желтому свежеструганному полу, заглянул и на кухню, и в чистую половину – никого. Прошел в тесовые сени, здесь тоже, как и в доме, были хорошо оструганные полы, скипидарно пахло свежей стружкой, – двери не заперты, раскидан да развешан по стенам инструмент – и никого. Что за чудо-юдо? Не ушли же, так все побросав и не заперев двери? На дворе стоял дощатый сарай. Кречев вошел в торцевую дверь и столкнулся нос к носу с Соней. Она была в одной исподней рубашке – видно, переодевалась из рабочего платья в выходное, – сцепив руки, прикрыла полуобнаженную грудь и смотрела на него не то с испугом, не то с недоумением.

– Тебе чего? – а глаза посинели, зрачки расширились и ноздри задрожали.

– Искал Андрея Ивановича... – с пересохшим горлом сказал он.

– Нету его, ушел... Ну, уходите же! – И брови сломались, мучительно сдвинулись, как от крика.

– Сейчас, сейчас. – Он смотрел не ее голые плечи и тяжело, отрывисто дышал.

– Уходи же!..

– Да я, это, хотел тебе сказать... Погоди-ко!.. – Он обнял ее за плечи, навалился, сграбастал мягкое податливое тело и легко принял на грудь, как бремя дров. У стены стоял топчан, накрытый лоскутным одеялом, он понес ее на топчан, больно стукнулся об него локтями и, ловя губами ее маленькое упругое ухо, услышал горячий несвязный шепот:

– Крючок накинь. Дверь, дверь... крючок...

С той поры он часто навещал ее, за полночь, когда угомонится село и заснут, раскидав ручонки, малые падчерицы. Жила она в кособокой избенке, снятой Михаилом Ивановичем после выдела из семьи. Снимал на год, на два... Но зажился в Юзовке. Не просто и не скоро давались заработки на новый дом. В этой старой избенке и Настя умерла, и дети подрастали.

Стояло это жилье на Сенной улице в самом конце, как идти на Пантюхино, напротив Ванятки Бородина.

Кречев с поля зашел уже по темному, стукнул трижды щеколдой. Соня вышла в сени и, оглаживая его небритые щеки маленькими твердыми ладонями, шептала:

– Иди, Паша, к Фешке Сапоговой... Я приду через часок. Девочку уложу и приду...

Надежда с Андреем Ивановичем работала не в сарае, а в кладовой: насыпали под завязь пятипудовые травяные мешки просом и рожью. Еще накануне ночью Андрей Иванович выкопал в саду яму и прикрыл ее копной сена по жердевому настилу. О доносе узнали они от Зинки. Та забежала в обед к Марии в райком и с оглядкой торопливо прошептала на ухо: «Савкин заходил и рассказал Сенечке, как вы с Андреем Ивановичем провожали Скобликова и помешали ему задержать неплательщика... Сенечка записал все; мы, говорит, их вздрючим за пособничество. А мне наказал: ежели, говорит, проболтаешься – язык отрежу или того хуже – посажу в тюрьму! Маша, милая, не выдавай!»

Надежда бушевала: «Добегались, дотрепались, сердобольные матрены! – И все на мужа: – О ком хлопотал, о ком убивался? Барина пожалел? Дак он, что птица перелетная – шапку в охапку, хвост трубой и улетел. А ты куда подынешься, с такой оравой? Вот придут завтра, возьмут тебя за штаны: что делать? Куда жаловаться? Где защиту искать? Эх ты, помело подворное! И ты хороша! – Это на Марию. – Нет, чтобы линию держать по всей строгости, как и полагается партийной. А ты по ночам шастаешь со всякими элементами!» Но Мария не Андрей Иванович, сама Обухова, как часовой, всегда наготове, ежели кого встретить или сдачу дать. Ты чего, говорит, лезешь в мою линию со своими элементами? Что ты в них понимаешь? Вон где твои элементы, в печке! Горшки да чугуны. Вот и ворочай их. А в своих элементах я и без тебя как-нибудь разберусь...

Ну, поостыли, примирились. Чего делать? Решили – зерно прятать. Куда везти? «К Ванятке», – говорит Надежда. «Да ты что, очумела? – осадил ее Андрей Иванович. – Он же вот-вот председателем колхоза станет, свое зерно понесет на общий семенной пункт, а чужое у себя прятать станет? Совесть, поди, не пропил еще!» Куда же? И надумали – два мешка отвезти к Фешке Сапоговой, племяннице Царицы, работавшей женоргом. Место у нее надежное – никто проверять не сунется, да и сама – баба компанейская, уважительная, не из робкого десятка. А еще пять мешков решили спрятать у себя в надежном месте.

Вот и прятали... Надежда держала концы мешка, Андрей Иванович завязывал бечевкой. В кладовой горел фонарь «летучая мышь», было сумрачно и тихо. Вдруг кто-то резко постучал в железную дверь.

– Накрыли! Эх, твою мать... – Андрей Иванович тихо выругался, выпустил из рук бечевку и сел верхом на мешок.

– А может быть, Маша? – прошептала Надежда.

– Что она, очумела? Мы же договаривались – в кладовую ни-ни...

В дверь опять сильно постучали, и Мария в притвор зло прошипела:

– Вы что там, уснули, что ли?

– Ой, слава тебе господи! Царица небесная! Пронесло. – Надежда бросилась на порог, впустила Марию и снова, заложив дверь на крючок, распекала ее: – Рехнулась ты, что ли? Ведь не маленькая, понимать должна, что мы тут пережили от твоего стука. Вон хозяин сел верхом на мешок и встать не может.

– Ой, Маша, Маша!.. Прямо руки-ноги отнялись, – признался и Андрей Иванович, вставая с мешка.

– Чего вы перепугались? Ведь не воруете!

– Хуже, – сказал Андрей Иванович. – Свое прячем. За кражу теперь меньше дают.

– А кто знает, что вы прячете?

– Дите малое и то догадается. Ночью, при свете, мешки насыпаем... Я уж думал – Ротастенький подглядел. Или кто другой.

– Сам Кречев приходил. Предупредил, чтоб осторожнее были. Его Возвышаев вызывал. Задание дали – захомутать Успенского. Завтра поедут с Зениным. А я решила сегодня сходить в Степанове, предупредить. Потому и помешала вам.

– Куда ж ты на ночь глядя? Полем, оврагами?! Может, лошадь запрячь? Андрей!

– Ни в коем случае, – остановила ее Мария. – Андрей Иванович сам теперь на подозрении. Ему лепят срыв актива, защиту кулаков. Я одна. Пешком незаметнее. Дайте мне сумку! Масла положите, пышек. Если кто спросит, скажу: Федьке несусь, на квартиру.

Федька Маклак жил теперь в Степанове, учился в седьмом классе, домой приходил только на выходной день. Без него да еще без Зинки, без этих шумных перебранок, беготни, драк, плутовских проделок, без песен дом Бородиных словно опустел и поугрюмел. Не было и шумных застолий – то сенокос да страда, то выколачивание излишков. С Якушей и Ваняткой поругались из-за сена, отнесли тройку гусей; Ротастенький принял, а Надежда, вернувшись от него, с порога сердито крикнула на хозяина, словно тот был во всем виноват: «Этого живоглота беспорточного чтобы духу больше не было в нашем доме! Пригрели змею подколодную».

Возвышаев тоже не появлялся, Сенечка донес ему, что Мария погуливает с бывшими элементами – с Успенским да Скобликовым. Глава района почел себя оскорбленным. На совещании в районо, по случаю начала учебного года, Мария, уловив минуту в перерыве, сказала ему с обычной своей насмешливостью: «По вас, Никанор Степанович, самовар у Бородиных в голос воеет». На что тот сердито изрек: «Нам теперь, Мария Васильевна, некогда чаевничать в компании бывших попов да помещиков». – «Бородины вроде бы в попах не ходили». – «Зато водятся с ними». – «Впервые слышу». – «Надеюсь, что не в последний раз». И пошел от нее козырем, закинув голову, аж затылок побагровел. И этот отвалил от нашей застольицы, подумала Мария.



Времечко наступило не до песен и застолий. Даже праздник Покрова прошел как-то всухомятку – из Больших Бочагов родственники не приехали, свои, тихановские, не пришли. Ярмарку отменили, торговлю хлебом запретили, и скот приказано взять на учет. Каждый день ходили по дворам комиссии, переписывали наличные головы, даже ягнят и гусей засчитывали. И все под роспись! Сунут хозяевам учетную книгу: «Распишитесь!» – «Родимые, глаза не видят». – «Не беда. Пиши здесь, на ощупь». – «Дак я и писать не умею». – «Ставь крест!» – «Крест, ен от нечистой силы. Скажут – Советскую власть крестом пужаешь...»

Упирались, отнекивались, чурались этой учетной книги, как чумы. А ты слушай всю эту наивную, полудетскую дребедень, хлопай глазами, упрасивай, заставляй, требуй. Нельзя иначе. Придешь с пустой книгой – выговор схлопочешь. А то и нечто похуже. На заметку возьмут, мол, пособничаешь, на стихию работаешь. Социализм – есть учет! И они, весь райком комсомола, целую неделю таскались по дворам, как попы.

Вот так, Мария Васильевна, и ты ходила за милую душу, заглядывала по хлевам да ошмерникам, выявляла «спрятанные головы». Погоди, то ли будет. Пойдешь еще и зерно выгребать, в амбары полезешь, в сундуки... Что, откажешься? С работы уйдешь? Нет. Полезешь как миленькая, думала Мария, идя по ночной дороге в Степанове.

Да что же это делается? Куда мы катимся? К чему идем? Еще каких-то три месяца назад она с гневом отвергала даже мысль одну, намек – сходить и проверить у мужика подпечники. И ведь ее понимали, ее поддерживали. И думала она, полагала, что этих ретивых выгребальщиков они укоротят, как норовистых лошадей. На прикол поставят... Вот возмутся за них, навалятся разумнее, дружнее, все враз. И замах вроде был, но удара не получилось. Как во сне. И страшно становится, и руки опадают.

Тяпин и не глядит на нее теперь, как будто задолжал перед ней и долг отдавать нечем. Намедни, узнав о проводах Скобликова, сказал сухо и на «вы»: «Напишите объяснительную, разберем на бюро». А там поблажки не жди. Пospelов слег. У этого всегда на крутом повороте изжога начинается. Он язву лечит. Озимова послали в округ, новые инструкции получать. Зато Возвышаев теперь, как чирей, дуется и пухнет. И еще два прыща вынырнули возле него: заврайзо Чубуков и судья Родимов. Эти открыто кричат: выметем правых из района, как сор из дому.

Кто же правые? Где они? Покажите их в лицо. А может быть, мы и есть правые? Вот объявят тебя, Мария Обухова, первой и поволокнут завтра на чистку, как на лобное место. Будешь стоять на краю сцены без права голоса, а только отвечать на вопросы: «С какой целью ходили вы к помещику? А что вы делали в поповом доме?» Сенечка умеет задавать вопросы: «Объясните нам, как вы совмещаете дружбу с помещиком и службу в райкоме?» И ведь смеяться будут, ощупывать глазами ее, как руками лапать. И никто не остановит это позорище, никто не крикнет: «Прекратите, изверги!» Попрячутся ее защитники, а которые и придут поневоле, так ее же и пинать начнут. Вон, один пришел сегодня, как вор, впотьмах. Прошептал на ухо и смылся. Да и то благо. Сме-элый! Не побоялся к ним прийти после окрика самого Возвышаева... А что же дальше будет? Что дальше? Неужели Митя прав? Ничего путного не жди от общества, где введены сословные привилегии. Вперед проскочат только проходимцы – для этих сословий не существует. Да нет, неправда! Окоротят их. Но кто? Когда это сделают? Какие силы? Этого Мария не знала, не видела теперь этих сил.

Она не заметила, как прошла мимо Сергачева, как пересекла овражек, тальниковую поросль, как вышла на большак. Опомнилась только на развилке дорог – большак уходил на Степанове, а дорога влево забирала на Бусыгино, Веретье, Гордеево. По этой дороге она ходила и ездила не раз, когда работала учительницей. И теперь ее повело влево, как работную, вечно углубленную в себя лошадь. Ой, господи! Куда ж это я? Совсем спятила, остановилась она, оглядываясь по сторонам.

Ночь была морозная, безветренная. Кособокая луна клонилась долу, словно хотела поскорее уйти с этого пустынного, холодного неба. Над Степановом темными стогами громоздились ветлы, и горбатая дорога, ведущая к ним, далеко видна была по зеленому блеску замерзающих луж. Марии сделалось неприятно и знобко. Шла, высоко подняв плечи, сутулилась, и каблуки ее глухо стучали по мерзлой земле.

Успенский снимал квартиру напротив церкви в пятистенном, крашенном суриком деревянном доме. Его хозяйка, тихая, опрятная старушка, какая-то дальняя родственница степановского священника, встретила Марию на пороге, взяла ее за руку, как маленькую девочку, и повела темными сенями в горницу. Сперва вошла сама, безо всякого стука, и сказала из прихожей, огороженной дощатой перегородкой и цветастой занавесью:

– Митя, к тебе Маша пришла.

Сказала так, будто ежедневно встречала Марию и провожала, хотя на самом деле видела ее впервые. Занавесь тотчас раздвинулась, и в дверном проеме появился Успенский в вязаной безрукавке и в валенках.

– Боже мой, Маша! А мы только что о тебе говорили, – сказал, и вроде бы испугался чего-то, и замер на месте, и она стояла недвижно и смотрела на него во все глаза, и только губы чуть вздрагивали и слезы набегали.

– Проходи же! Не стой у порога, – опомнился он. – Неодора Максимовна, ставьте самовар! Здравствуй, милая, здравствуй! – Он взял ее за руки, поочередно целовал их и заглядывал в лицо. – Что-нибудь случилось?

Мария, не стыдясь старушки, уткнулась ему в грудь и всхлипнула. Неодора Максимовна, торопливо перекрестив ее мелким крестиком, клубочком выкатилась из горницы. А Успенский распрямился, взял ее за плечи, смотрел в лицо ей с какой-то радостной скорбью и сказал тихо:

– Я ждал тебя, Маша.

И обнялись, и целовались у порога, как перед долгой вынужденной разлукой. Она прижималась к нему грудью, трепетала всем телом, с шумом вдыхая его табачный горьковатый запах, терлась щеками, лбом, носом о его мягкую шелковистую бороду и, поводя лицом, закрывала глаза; горячо и торопливо металась ее руки по его спине, словно не верила, что он стоит здесь, с ней рядом, будто боялась, что в любую минуту он может исчезнуть, раствориться, как привидение...

– Милая моя, нежная... Славная моя! Как я счастлив с тобой! Как безумно рад тебе...

Через несколько минут, усаживая ее за стол, он хлопотал, возбужденно поблескивая глазами, оглаживая ее руки своими сухими и длинными, нервными пальцами:

– А теперь выбирай, что твоей душе угодно. Во-первых, у нас есть наливочка, вишневая... Сама Неодора Максимовна делала; во-вторых, соленые рыжики, капуста квашеная с изюмом, с моченой антоновкой, помидоры красные с укропом... А! Каково?

– Милый мой, мне все ладно. Все, что ты скажешь.

– А может быть, портвейна хочешь? У Бабосовых есть три бутылки. Настоящего, старого, массандровского. Николай из Рязани привез. Хочешь, сбегаю?

– Нет, не хочу, чтоб ты уходил, – ответила она, кутаясь в пуховый оренбургский платок. – Я к тебе пришла, по делу. И никого, кроме тебя, видеть не хочу.

– Это прекрасно! И мне никого, кроме тебя, не нужно. Сейчас я прихвачу кое-чего горяченького, и займемся твоим делом. – Он сорвался к порогу.

– Дело-то не мое, а твое.

– Тем лучше, – кивнул он, улыбаясь через плечо, и исчез.

Горница состояла из просторного зала с голыми, чистого оструга бревенчатыми, красноватыми стенами, из маленькой спальни, зашторенной розовой занавеской, и прихожей. В переднем углу огромная икона Иверской божьей матери с ковanej бронзовой лампадой перед ней, висящей на красной ленте. На стене висячая книжная полка застекленная, под ней кожаный диван с высокой спинкой. Грубка из голубеньких цветочного орнамента изразцов. Полдюжины венских темных стульев вокруг стола да высокая плетеная качалка на полочке возле грубки. Да еще возле Евангелия на белом столике-треугольнике под иконой – пучок сизой засохшей травы богородицы. Ровно светит лампада да настольная лампа под зеленым абажуром, да тихо потрескивают, погуживают горящие в печке дрова. Какая светлая, уютная благодать! Все Митино, будто всю жизнь он здесь прожил, хорошо подумала о нем Мария.

На столе лежал томик Ключевского, «Вехи» в сером картоне да в мягкой обложке томик Владимира Соловьева «Чтение о богочеловечестве», в нем – кожаная закладка; видно, его только что читал Успенский, потому что рядом лежала тетрадь с записью. Чернила еще не успели как следует просохнуть. Мария прочла: «Каждая человеческая личность есть прежде всего природное явление, подчиненное внешним условиям и определяемое ими в своих действиях и восприятиях. Но вместе с этим каждая человеческая личность имеет в себе нечто совершенно особенное, совершенно неопределимое внешним образом, не поддающееся никакой формуле и, несмотря на это, налагающее определенный индивидуальный отпечаток на все действия и на все восприятия личности...»

Успенский застал ее за чтением тетради. Она оторвалась от чтения и залилась краской.

– Ради бога, извини. Я думала, ты готовишься к урокам и выписываешь историю.

– Извиняться не за что. Правильно сделала, что прочла. Для этого и выписано мной.

Он поставил графин с темно-бордовой наливкой и деревянную резную чашу с яблоками.

– Давай для сугреву по рюмочке. Цитата из Соловьева. Это удивительно глубокая мысль. Точно схвачено. И заметь – начисто опрокидывает такие хлесткие изречения, вроде этого, м-м... Влияния среды и прочее... – говорил он, разливая вино в граненые рюмки. – Твое здоровье! – И выпил торопливо, боясь, что она перебьет его. – Как это ни называют, но есть оно, это нечто, в каждом человеке – душа ли, наитие, врожденное благородство, порода... Но это нечто и заставляет каждого человека поступать и в самых ужасных условиях только так, а не иначе. Оглянись вокруг себя! И ты поймешь, как благородство, порядочность не сломлены бывают даже перед смертью.

«Митя, Митя, – подумала она с тоской и жалостью. – Дитя ты неразумное. Его

могут в любую минуту обобрать, выгнать из дому и даже в тюрьму посадить, а он упивается чистой философией до самозабвения».

– Ты хоть спроси, зачем пришла-то я?

– Маша, разве это важно? Важно то, что ты пришла. – И он потянулся через стол к ней руками. – Дай мне свои руки. Я люблю твои сильные, белые, прекрасные руки. – Он приложился разгоряченной щекой к ее ладони. – Ах, Маша! Как я рад тебя видеть. Я просто счастлив.

Она запоздало испуганно оглянулась на окна.

– Занавешены, занавешены! – засмеялся он и погрозил ей пальцем. – Ай-я-яй! Трусиха.

– Я не поэтому, – оправдывалась она. – Мне уже мерещится, что всюду и за всеми подглядывают. Я ведь предупредить тебя пришла. Зенин донос написал, что ты помешал активисту Савкину задержать убегающего от расплаты помещика.

– Да, помешал. Верно донес этот Зенин.

– Если ты признаешься, тебя могут наказать.

– Что же со мной сделают? – спрашивал он весело и глядел на нее с улыбкой.

– Смешного тут ничего нет. Могут дом отобрать, обложить твердым заданием...

– Ну и пусть! Буду жить у Неодоры Максимовны. Разве здесь хуже?

– Митя, не дури. Завтра к тебе придут Зенин с Кречевым. Придут вечером, чтобы зафиксировать этот самый факт. Я прошу тебя, уйди куда-нибудь на это время.

– И не подумаю. Мы договорились завтра встретиться у меня с Бабосовым и с этим лектором Ашихминым. Он здесь хлеб выколачивает. И собирается меня перековать. Бабосов вроде бы перековался. И доволен. – Успенский посмеивался и оглаживал лежащие на столе ее руки.

– Митя, не дури! Не такое теперь время.

– А что изменилось, Маша? Все те же призывы к искоренению во имя чистоты рядов. Те же камни кидаем в воду, только круги от них шире, волны все круче, захлестывать стали и тебя...

– Я не о себе беспокоюсь. Тебя мне жаль.

– Ты меня жалеешь, я тебя. Кто-то жалеет еще кого-то. Одни безумствуют, сеют ненависть, другие мечутся, страдают, прячутся. И все несчастливы; одни страдают от ненасытности в злобе своей и мстительности, другие от страха и неизвестности дрожат. И выход из этой кутерьмы только один – в спокойствии и в любви. Я люблю тебя, Маша! И что за беда, ежели я живу в чужом доме, а не в своем. Важно, чтобы мы любили друг друга, и только эта любовь способна заглушить ненависть и страх. Не прятаться надо, а идти друг другу навстречу. Пусть они приезжают. Я их встречу дружелюбно и сделаю все, чтобы мы поняли друг друга. Вся вражда от непонимания.

– Ты не исправим, Митя. Меня мороз пробирает от этой жертвенной философии. – Она отняла руки и зябко передернула плечами, кутаясь в платок.

– А ну-ка, вылезай из-за стола! Садись к печке. Ну-ну!.. Живо!

Он отодвинул стул, приподнял ее, поставил на ноги, обнял в перехват и прижался крепко к ней всем телом, чувствуя, как сильно забилося, зачастило ее сердце. Она прикрыла глаза и откинула голову, безвольно опустив расслабленные руки.

– Я тебя так ждал... Всю жизнь жду, – шептал он, увлекая ее от стола. Потом потянулся на цыпочках и дунул сверху в настольную лампу.

– Что ты делаешь? Неодора Максимовна войдет.

– Она не придет. Мы к ней пойдем сами... Но только не теперь. Потом, потом... –

Он подталкивал ее к потемневшей в лампадном свете занавеске и жарко дышал в лицо.

– Мне домой надо, – слабо упиралась она.

– Нет! Ты со мной останешься... Я люблю тебя... Я возьму тебя. Я буду с тобой, где хочешь. Как хочешь... Когда хочешь.

– погоди... Я сама.

Она неторопливо снимала с себя все: платок, кофту и юбку, аккуратно складывала, вешала на кресло-качалку. Но, оставшись в сорочке и в чулках, стыдливо закрылась ладонями и сказала:

– Погаси лампаду.

Он прошлепал где-то за ее спиной босыми ногами туда, в передний угол. Неожиданно для себя она оглянулась и обомлела: он стоял совершенно нагой, опираясь ладонями о стол, тянулся к лампаде губами, словно приложиться хотел к Иверской божьей матери, вся его сухая сильная Фигура – и впалый живот, и высокая бугристая грудь, и стройные мускулистые ноги, и эта борода, и эти прикрытые в мертвой истоме глаза – все показалось ей до жути знакомым... Тревожным. Боже мой! Что с нами будет?

И всю ночь не спала... И путала его то беспричинными внезапными слезами, то приступом безудержной ненасытной ласки.

Она ушла еще по темному; в избах горели огни, горласто и протяжно заливались на все село предрассветные петухи. У колодцев скрипели журавли, гремели ведра, а над крышами в чистое светлое небо тянулись белые пухлые хвосты дыма. «Заспалась Маланья, – с досадой подумала Мария, – теперь не проскользнешь незамеченной. Уж разглядят, рассудят: откуда плывешь, милая? Чье крыльцо подолом обметала? Поэтому на выход из села идти не стоит. Лучше пойду в глубь села, к Федьке, – рассуждала про себя Мария. – Поди, проснувшись, оголтыши».

Федька Маклак квартировал на том берегу Петравки, поближе к школе. Надо было пройти мимо церковной ограды, потом через лесной парк бывшего поместья Свитко, потом спуститься вниз к Петравке и через лаву перейти на тот берег реки. Дорога окольная, пустынная, и не встретила она до самой Петравки ни души. Шла бойко и радовалась, что ускользнула от липкой деревенской молвы. А где-то в глубине сознания постукивала, проклевывалась, как цыпленок в насиженном яйце, беспокойная мыслишка: как же с ним-то быть? Не бегать же к нему так вот по ночам, по его домам да квартирам! А ей и принять-то негде. Еще смеялась над ним – бегающий муж! А сама превращается в бегающую жену. Да хуже – в любовницу! А что же делать? Уйти из райкома? Выходить замуж? Он требует: брось ты эту канитель, Маша. Вы же играете в дело, в идейность, в прогресс, в будущее. В жизнь играете. А надо жить. Работать надо, а не играть. Переходи в школу. И славно мы заживем. Пойми ты, вера в прогресс, в будущее только у тех истинная, кто сам работает на этот прогресс, кто детей учит уму-разуму, кто кует железо, дома строит, людей лечит, хлеб растит. Кто работает, творит, а не командует. Командиры часто меняются, и вера их меняется. Сегодня наверху левые, завтра правые... «Кто их, к черту, разберет?» – как сказал поэт. А ты в этой погоне за правыми или за левыми только силы потратишь и душу свою опустошишь. И тогда придет к тебе усталость и цинизм – самая страшная пора неверия и безразличия. И жизнь пройдет впустую, и душу свою загубишь.

А может быть, и в самом деле уйти, пока не поздно, пока не затянула тебя эта

азартная игра в перегонялки; как в гору бежим – кто скорее, кто выше, чей кон будет. Ну окажись я на месте Тяпина, убери я с дороги Сенечку. А что изменится? Подворку отменят? Излишки перестанут выколачивать? Заем?! Да все то же будет. Я кого-то пошлю или меня пошлют выколачивать эти излишки. Откажусь – снимут. Не мы здесь заводим эту машину. Мы, как лошади на молотье, – ходим по кругу, привязанные к одному и тому же водилу, и не видим, кто погоняет: наглазники мешают.

Легко подумать: уйти с работы; мысленно плюнуть на все, на эти строгости, на слежку, на контроль. Но тогда прощай и гордость твоя, и надежда на лучший исход. Тогда смиришься перед Сенечкой и Возвышаевым и заранее готовься к тому, что из них будут погонщики. Только из них! А ты ходи с наглазниками по этой вот пустынной дороге с горы да в гору, таскай детские тетради в клеенчатом портфеле и утешай себя жалкой мыслью, что истинная вера с тобой, так как ты двигаешь прогресс. Нет, Митя! Пока еще течет во мне бунтарская кровь Обуховых, добровольно в лошадки я не пойду. Я хочу в погонщики, чтобы мародеров разогнать и остановить наконец эту адскую карусель. Что, не доберусь? Сил не хватит? Зубами грызть буду. Раздавят? Замордуют?! Пусть. Лучше быть замордованной в таком деле, чем стоять в сторонке чистенькой.

Она перешла длинную бревенчатую лаву через шумную светлую Петравку и долго подымалась на крутой каменистый берег. Здесь, наверху, было совсем светло и погуливал колючий ветерок. На маленьком квадратном пруду, вырытом для водопоя скота, резвились ребятишки; они забегали на чистый, лучезарный в утреннем блеске ледок, бросали камни, летевшие с прискоком и раскатистым гуканьем на другой берег, дружно топали подшитыми валенками, лапотками, полусапожками – ледок прогибался, трещал, покрывался местами проступающей влагой; ребятишки визжали, бросались наутек и снова выбегали на гладкое зыбкое ложе. В избах гасли огни, хлопали калитки, скрипели надворные ворота, повизгивали свиньи, призывно мычали в ожидании теплого пойла нахолодавшие за ночь буренки.

В большем пятистенком доме с высокой плетневой завалинкой, с зелеными резными наличниками, где жил теперь Федька, были все двери настежь. Двое ребят, по пояс голые, сцепившись руками, раскорячив ноги и выпятив зады, прыгали возле крыльца, как связанные петухи. Третий умывался теплой водой из висячего, на веревке, рукомойника, – пар густо валил от его мокрой спины и шеи. Один из боровшихся вдруг залаял утробным собачьим брехом и сказал, распрямившись:

– Маша, я тебя не узнал, потому и облаял, – и озорно осклабился.

– Что иное и ждешь от тебя, обормота. Я тебе масла принесла, пышек. А ты брехать?

– По нынешним временам это не еда. Подумаешь, пышки, еловые шишки, – ломким баском отшучивался Федька. – Заходи к нам, мы тебя курятиной угостим.

– Откуда она у вас завелась? От сырости, что ли?

– Со стола классовой борьбы перепала, – важно изрек Федька.

– Чего-чего?

– У нас здесь обострение началось, – сказал Федька, приседая и выкидывая перед собой руки. – Рр-аз-два! Все в ряд! Шагай, отряд! – и зачастил, подпрыгивая, пружиня на носках.

Мария только головой покачала и поглядела с упреком на его приятелей.

– Перестань кривляться! – сказал от рукомойника одутловатый парень по прозвищу Сэр.

– Сэр, изложите вкратце! – крикнул Федька. – Ты на крыльце, как на трибуне. Твое слово олово. Поливай классовых врагов.

– Позавчера тут разнесли одно хозяйство, – сказал, обтираясь полотенцем, Сэр. – За неплатеж излишков.

– Злостный неплатеж. Злостный! – крикнул Федька, распрямляясь, и подошел к тетке: – Давай в общий котел! Мы живем коммунией. Что ты нам принесла? – говорил он, отбирая сумку у Марии и заглядывая в нее: – Так, масло, пышки, свинина. Конфискуем на нужды пролетариата. Айда к нам в коммунию!

– Коммунары чужих кур не воруют, – сказала Мария.

– Сэр, разве мы украли кур? Нам их дали, как награду.

– Врет он, – сказал третий паренек, чернявый, прямоволосый, как еж. – Мы купили за рубль три штуки.

– За рубль три курицы? – удивилась Мария. – Это где ж такой базар находится?

– Не базар, а классовый аукцион, – говорил Федька, увлекая ее под руку в дом. – Пошли, а то заморозишь нас. Говорят тебе, разнесли одно хозяйство – экспро-приировали! Как раз напротив школы. За неплатеж. Распродавал сам Наум Ашихмин, уполномоченный из Рязани, да с ним Чубуков, заврайзо. А мы помогали. Вот нам и дали трех куриц за целковый.

– А ну-ка, пусти мою руку! – Мария высвободила руку и оттолкнула от себя Федора. – Пошел вон, экспроприатор сопатый!

– Ты чего? – опешил тот у порога.

– Ничего. Вытряхни все из сумки, и я уйду сейчас же. На, отнеси в избу. Я на крыльце подожду тебя.

– Вот номер! Я же не сам по себе. Мне поручили по линии комсомола. Бабосов и Герасимов поручили. А сегодня митинг будет, просили выступить меня.

– Что за митинг?

– Посвященный смычке со старшими. А после занятий – культпоход против неграмотности. Я думал – ты на митинг к нам пришла.

– У меня свой митинг... В Желудевку тороплюсь, – соврала Мария. – Ступай освободи сумку!

– Дак пошли, позавтракаем! Чай, не чужие.

– Нет, не могу. Я в самом деле тороплюсь. И хозяев нечего беспокоить, и друзей твоих смущать. Вон они все еще голыми на крыльце толкуются и в самом деле простудятся, – говорила она миролюбиво.

Через минуту Федор вынес ей опустевшую сумку, и Мария пошла в Желудевский конец села. Но возле школы ее окликнул Бабосов:

– Батюшки-светы! Да никак Маша? Сколько лет, сколько зим? – подошел, в сером мохнатом пальто, в необъятной кепке, галантно в щечку чмокнул. – Нашего полку прибыло, значит.

– С каких это пор ты записал меня в однополчане? – Мария насмешливо сощурилась.

– Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Не вы ко мне, мадемуазель, а я к вам пошел. Я! Поскольку время такое – грешно стоять в стороне.

– Какое же это время?

– Все-ем известно своей остро-отой, – пропел он, дурачась. Потом стал декламировать: – Время требует обеспечить здоровую товарищескую смычку партийцев с беспартийной массой. Вот я и полагаю, что вместе с вами проведу сегодня

одно мероприятие. На митинг пожаловала?

– Нет, Коля, ошибся ты. Не будет у нас с тобой смычки. У меня своя задача. Так что не с вами я.

– Мне жаль тебя. Ты слыхала? У нас здесь орудует Наум Ашихмин. Неужели и эта личность тебя не остановит? Кстати, а вот и он!

На резное крыльцо пятистенного красного дома вышел с непокрытой головой черноволосый худой человек в защитном френче с накладными карманами и махнул рукой:

– Бабосов, ты мне нужен!

И скрылся в дверях, ни минуты не сомневаясь, что нужный ему Бабосов придет незамедлительно.

Бабосов кивнул в его сторону:

– Видал, как диктует? Вот у кого вам следует поучиться. Неделю здесь прожил – и все излишки сами принесли. Один заупрямился – и с домом распрощался. Мы в этом доме избу-читальню открываем. Зайдем! Посмотришь. Доложишь, какой очаг передовой культуры создаем.

– Поглядим, – сказала Мария, сворачивая к дому. – Куда семью выселили?

– В чистое поле... Вроде бы они в кладовой поселились в соседнем селе.

– Большая семья?

– Четверо детей, старики, самих двое.

– Сколько пудов наложили на них?

– Двести.

– Многовато на восемь едоков. Земля здесь песчаная да глинистая.

– Хлеба нет – пусть деньги платят.

– Это ж тыщу рублей надо? А где их взять?

– У него шерстобитка, топчажная машина. Продать надо было.

– Кто их теперь купит?

– Так надо раньше было думать. А то нахапал Авдей дюжину лаптей – и без порток остался.

Этот беззаботно-насмешливый тон Бабосова выводил Марию из себя; она поднялась на крыльцо и, наваливаясь плечом на дверь, сказала:

– Без порток остался не только Авдей, но и старики, и дети его. А в чем они виноваты? Над кем ты смеешься?

Бабосов в два прыжка заскочил на крыльцо и с побелевшими губами зло процедил:

– А ну-ка, прикрой дверь!.. Это ты не меня спрашивай, а его спроси! Того самого сверчка в защитном френче, устроителя всеобщего рая. И себя самое спроси, друзей своих – вы уж давно ползаете, как тараканы, по избам. А меня не трогай. Я отца с матерью потерял в петроградский голод. А эти Авдей посмеивались над нами. В двадцатом году еле дотащился до деревни. Вошел к одному Авдею, показываю отцовский мундир, говорю, хлеба дайте или картошки. А он с печки мне: «Мундиры теперь не носят. Вот зерькало я бы взял». У-у, мерзавцы! Казаков били, офицеров стреляли... Диктатуру помогали установить? Вот и расхлебывайте эту самую диктатуру...

– Понятно, кто ваша тетя, – сказала Мария, кивая головой. – Думаю, что радость преждевременна. Рано вы запели.

– Я-то еще попою... А вот ваша песенка, Мария Васильевна, уже спета.



– Слепой сказал – посмотрим, – она толкнула плечом дверь и вошла в сени.

– Бабосов, где ж вы там провалились, черт вас возьми! – кричал из дому Ашихмин.

Обгоняя ее в сенях, Бабосов рванул дверь и первым вошел в избу.

– Я тут объяснял ситуацию представителю райкома комсомола. Говорю, конфискация имущества и продажа его с торгов явилась прекрасной наглядной агитацией для всего села. А она вроде бы сомневается. – Бабосов посмеивался и хорохорился, взбадривая себя, точно петух перед курицей.

– И напрасно сомневаетесь, товарищ! – сказал Ашихмин, подходя к Марии и протягивая ей худую жилистую руку. – Позавчера продали имущество. Выручили 679 рублей. А вчера все село внесло излишки, как по команде. Кто не смог хлеб отдать, заплатил деньгами. А? Что?! Как вам это нравится? Пойдите, а мы с вами вроде знакомы? – спросил удивленно Ашихмин, отступая к окну и уводя за собой Марию.

В избе было сумеречно, лампа на столе закоптилась до черноты.

– Знакомы, – ответила Мария. – Весной были мы на семинаре в окружном агитпропе. Вы читали нам лекции.

– Помню! – Ашихмин выкинул кверху узловатый палец. – Вы были с товарищем Тяпиным и еще такой лысоватый, с желтым лицом... Как его?

– Паринов.

– Во-во! Народ вы молодой, энергичный, а в компании по хлебозаготовкам проявляете вялость... Да, да, не возражайте! – он потряс обеими руками над головой и наморщил свои впалые щеки, хотя ему никто и не собирался возражать. – Вы читали последний доклад товарища Бубнова? – вдруг спросил он Марию.

– Читала.

– А данные помните? А ну-ка, назовите мне, сколько изб-читален и церквей приходится на одну волость в Московской области? Не помните? Позор! А я вам скажу – десять церквей и две избы-читальни. А? Что?! Позор! А по вашему району и того хуже. На двадцать девять церквей всего четыре избы-читальни. Эта будет пятая, – он сделал округлый жест, как бы показывая содержимое избы. – А? Что?! Как вам это нравится?

– Помещение просторное, – сказала Мария, пожимая плечами.

– Вот именно! Бабосов, я тебе что хотел сказать, – в этой половине откройте собственно избу-читальню. Настенную агитацию я принес. Вон, на столе лежит, – указал он на пачку плакатов. – Сегодня же развесить все по стенам и установить дежурство старшеклассников и учителей, пока не назначат избача. А вторую половину, ту, что за сенями, превратить в ликвидном. Ответственность за него возлагаю на вас лично. Достаньте стулья, столы, и до начала занятий с неграмотными проведем здесь семинар с учителями по текущей политике и задачам коллективизации. А? Что? Как вам это нравится? Педагоги у них, прямо скажем, – бором собором, – это он Марии говорил. – Никаких понятий о текущих задачах, кроме, пожалуй, Герасимова и Бабосова. Эти в ногу идут. Остальные – кто в лес, кто по дрова. Но Успенский, Успенский – это, я вам скажу, тип. А? Что? Ох, упорен! Не то монархист, не то эсер, не то портяночный славянофил. Намедни в школе, в канцелярии, я развивал мысль о том, что Клюев, Клычков и Есенин поэты не крестьянские, а скуфейные, религиозные пропагандисты. У них нет описаний трудовых крестьян. Одни праздники религиозные, символы веры, поповщина, одним словом. А он стал доказывать, что символы веры – суть духовные черты русского крестьянства. А? Что? Сегодня будем

говорить с ним. Надо обработать его. Иначе он беды натворит. Пойдемте с нами вечером к нему на квартиру?

– Я не могу. У меня задание. Я должна идти, – заторопилась Мария.

– Куда же вы?

– В Желудевку.

– Как? И на митинге у нас не останетесь?

– Нет, не могу. У меня срочное задание.

Мария полсала Ашихмину руку и, не прощаясь с Бабосовым, вышла на улицу.

«Ступайте, ступайте, – думала она, идя в Желудевку, – поцелуете замок да уйдете». За ночь сумела-таки уговорить Успенского уйти на вечер из дому к Саше Скобликову. И Неодору Максимовну услать. А дом запереть на замок.

#### 4

Но вечером они встретились. Бабосов сперва послал Варю узнать – дома ли Успенский. Не собирается ли уйти? Тогда – беда. Ашихмин строго наказал обеспечить встречу. А может, лучше пригласить Успенского на ужин? И проще, и надежнее. А ежели он не пойдет – уговорить, чтобы остался дома, подождал их.

Варя вернулась и сказала, что Успенский у Саши Скобликова, что узнала это она от церковного сторожа Тимофея, у которого застала Неодору Максимовну. Бабосов сунул в карманы две бутылки массандровского портвейна, зашел за Ашихминым, и вдвоем пошли к Скобликову.

На церковной площади настигла их крошечная тьма, – пошел мелкий частый дождь, промерзшая дорога осклизла и пропадала в трех шагах перед носом. Скользя по глинистым мерзлым ковлагам, нелепо взмахивая руками, Ашихмин ворчал:

– И это называется обеспечить мне встречу? Ты не меня гонял бы по этой тмутаракани, а его. Наше время лимитировано историей.

– Немного осталось. Скоро придем, – виновато отзывался Бабосов.

Скобликов снимал квартиру на Белой горе, отделенной от церковного бугра дорожным распадком.

На крутом берегу Ашихмин остановился и, тыча рукой в черный провал, сердито спросил:

– Может быть, ты посоветуешь спускаться на ягодице? А? Что? Как вам это нравится?

– Погодите! Я сейчас позову звонаря, он проведет нас по надежной тропинке.

Бабосов подошел к кирпичной церковной сторожке и постучал в освещенное окно. На пороге появился ветхий старик в нагольном полушубке.

– Чаво надо?

– Учителя мы. Я муж Варвары, что была у вас перед вечером, – торопливо говорил Бабосов, боясь, что старик нырнет обратно в растворенную дверь. – Проводите нас до Сметанкиной Агриппины. У нее наш товарищ живет. Не то мы шею сломим с крутояра в эдакой темноте.

– Счас.

Старик вернулся в дом, надел шапку и, не запирая двери, повел их куда-то в обход по извилистой тропинке. Шел впереди и разговаривал сам с собой:

– Учитель, а живет у ведьмы. Какая от него божья благодать будет? Одни игрища сатанинские. Тьфу! Прости меня, господи.

– Ты чего плюешься, старик? – спросил его Ашихмин.

– Так я, про себя, – испугался Тимофей. – Нечисть отпугиваю, – и торопливо перекрестился.

– Что за нечисть? Уж не мы ли? – пытал его Ашихмин.

– Я вас знать не знаю. Что за молодцы? Откелева залетели? А говорю, стало быть, про ведьму Веряву.

– Какая ведьма?

– А та самая, куда идете.

– Вот те на! Мы идем к учителю, а ты ведешь нас к ведьме. А? Что? Как вам это нравится?

– Дак ведь сами велели весть. К Сметанкиной Агриппине. Она и есть ведьма Верява.

– Откуда ты знаешь, что она ведьма? – спросил Бабосов.

– Все знают, – смиренно отвечал Тимофей. – Здесь, на этой дороге, она и балует. То коню глаза отводит – тот по ложному скату да в реку. А то и ходока в прорубь толкает.

– Это как же она толкает? Под локоток берет, что ли? – насмешливо спросил Ашихмин.

– Не-е. Свиной оборачивается да в ноги бросается.

– Фу, какая дикость! – фыркнул Ашихмин. – Истинно тмутаракань!

– Дед, а лягушкой она не квакает? – спросил Бабосов.

– Зачем лягушкой? Она зимой все озорует да осенью. По ночам. Какие в те поры лягушки?

– Кто ж видел, как она свиной оборачивалась? – спросил Бабосов.

– В прошлом годе на зимнюю Миколу мужики с помола ехали... С желудевской мельницы. Ночей. Она и кинулась свиной под ноги головному. Тот с горы да в реку. И весь обоз за ним. Что делов было! Поймали ее мужики. Она юзжит диким голосом, брыкается. Связали да в сани положили. Вот тебе, поднялись в гору к церкви, стучат мне в сторожку: принимай, говорят, сатанинское отродье. Зови попа! Счас мы ее крестом обротаем. Тады она завопит по-другому. Ладно, подвели меня к саням, сдернули ватолу. Что такое? А там вместо свиной мешок лежит, веревками опутан. Вот как она им глаза-то отвела.

– Пьяные были, – сказал Ашихмин.

– Ты, дед, брось рассказывать эти религиозные побасенки. Хватит народ одурманивать. Не то возьмем тебя на заметку и в ликбез привлечем, – пригрозил ему Бабосов.

– Леригию я не навязываю. За что ж меня привлекать? А ежели говорю о нечистой силе, так это всем известно. Намедни шел больничный сторож Макарий. Она его и ветрела на горе. В двенадцать часов ночи, в самое смурное время. Крутила его, крутила... Он изловчился и цоп ее! Зажал промеж ног, вынул нож да уши у нее отрезал. Таперика пусть ее поживет без ушей-то. Поднялся ко мне на гору и говорит – я счас у Верявы уши отрезал. Как так отрезал? А вот так, говорит, зажал ее промеж ног и отрезал. Вот они, уши-то, в кармане. Вынул из кармана – это, оказывается, полы. От своей шинели отчекрыжил. Вот что она делает, ведьма-то.

Слушая сбивчивые, нелепые рассказы о нечистой силе, Ашихмин чувствовал, как в душе его закипает неприязнь к этому суеверному, болтливому существу, к этой темени и слякоти, к этой грязи непролазной, к глубоким оврагам посреди села, ко всему этому тмутаракановскому распорядку жизни. Вспомнилась одна из последних

статей Михаила Кольцова, в которой он отстегал заштатный мир окостенелого домостроя и дикости.

Газету со статьей он прихватил с собой, чтобы ткнуть в нос Успенскому – защитнику деревенских собственников. Ведь не понимают, что наступление социализма на село в текущий момент следовало толковать широко – и как осуждение старого быта, и как беспощадное выколачивание хлебных излишков из потаенных нор двуногих сусликов. Хлеб – это и золото, и новые станки, и трактора, и автомобили. Без большого хлеба немислима великая индустриализация, без передовой развитой промышленности невозможно отстоять независимость советского государства. Кто не участвует в великом походе за большим хлебом, тот играет на руку врагам Советского государства. Вот как теперь стоит вопрос. Вот чего не принимают эти успенские. И он, Ашихмин, именно так и заострил вопрос в школьной канцелярии перед учителями, ибо многие из них уклонялись от сбора хлебных излишков. Но в открытую спорить с ним никто не решился: да, мол, хлеб нужен государству, это мы понимаем, но ходить по домам некогда, школа еще только становится на ноги, и дел своих по горло.

Но зато все зашевелились, как только затронул Ашихмин косвенные религиозные проповеди в стихах Есенина да Клюева. Особенно Успенский старался. Даже прочел явно поповское четверостишие Клюева:

Осенюь могильною иконкой,  
Накормлю малиновок кутьей  
И с клюкой, с дорожною котомкой  
Закачусь в туман вечеревой.

И доказывал, что это вовсе не религиозные стихи, а образный строй истинно русского восприятия жизни. Тьфу! Позор!! Ашихмин даже фыркнул, вспоминая эти слова. Истинно русское восприятие жизни! Ффа! Нафталинные бредни! Бабушкины сказки!

Он ему ответил. Он всем сказал, что такое истинно русское восприятие жизни. Классовая борьба! Вот альфа и омега нашей жизни. Приходите на первую в селе распродажу кулацкого имущества. Устроим митинг боевой солидарности с трудовым крестьянством. И вот какой наглец – отказался демонстративно. Глядя на Успенского, не пришли и другие учителя. Один Бабосов пришел, да и тот потому, что назначен был временным избачом.

Ясное дело, что мутит учителей Успенский и что надо встретиться с ним и поговорить в открытую об этом его уклонении от экспроприации имущества. Ежели он станет упорствовать или осуждать это мероприятие, придется заявить о нем на бюро. Пусть возьмут на заметку. Как вам это нравится? Сегодня не явился даже на школьный митинг. Ашихмин сам позвонил в районе, запросил данные из биографии Успенского. Странно! Ему сказали, что был этот Успенский красным командиром и даже волостным военкомом. От этого известия антипатия к Успенскому даже усилилась. И теперь, идя к нему, слушая глупую болтовню церковного сторожа, Ашихмин чувствовал, как раздражение закипало где-то в глубине его груди и подкатывало мягким клубком под самое сердце.

Он считал этих уклонистов с заслугами наиболее вредными людьми, потому что, прикрываясь своим боевым прошлым, они сильнее других мутили воду. Бравируют, посмеиваются над иными прочими, чуть ли не трусами обзывают. Это им еще Шляпников да Троцкий пример показали, да вот Бухарин подзуживает их. Весь оппортунизм идет от этих людей с прошлыми заслугами. И правильно теперь делают,

что перенесли упор на рабочих от станка, призванных в партию.

Сам Ашихмин за станком никогда не стоял, но считал себя чистым пролетарием, потому что всю жизнь был рядовым послушным бойцом – то студентом пединститута, то газетным репортером, то низовым партработником. Но даже и на низовой работе он старался создавать направление; он не рвался, как усердный солдат, рубить и колоть направо и налево, он, как хороший кочегар, топку вовремя раздувал, чтобы обеспечить высокое напряжение пара.

Отец его хоть и был провинциалом, касимовским татаринном, но еще в начале века переехал в Москву и уже взрослым крестился. Купец! Держал он где-то в Средней Азии на паях отары овец, а в Касимове дубильный завод – каракуль выделывал. Однако татар, кроме престарелой бабки, Наум и не видывал. В доме царила мать – завзятая театралка и даже сочинительница пьес, которых никто не печатал и не ставил. Зато вечно в доме околачивались какие-то лохматые громогласные типы, пили, ели, произносили речи, хвалили мать, называя ее не иначе как шестикрылой Серафимой. А бабка ворчала: «Э-эх! Опять Серапим сабантуй делал. Все пропьет Серапим».

В мировую войну пошли семейные скандалы – мать гуляла, отец разорился, впал в оборончество, чем вызывал чувство особого отчуждения в душе Наума. Наум терпеть не мог этих патриотов; духовно сложился он еще до войны, в период шовинистического угара, как выражалась боевая русская интеллигенция, а к ней и причислял себя Наум; тогда проповедь Достоевского о смирении в себе гордыни, подхваченная «Вехами», считалась ренегатством, всякого рода оборончество – признаком духовной дегенерации. Тезка его и двоюродный брат по материнской линии Наум Кандыба, анархист и боевик, сгинувший потом где-то в Америке, любил говорить: «Кто надежный патриот? – Совершенный идиот». И еще из Пушкина: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей».

Люди плывут по воле волн, куда толкает их неведомая сила. А человек мыслящий чувствует лучше других это направление и, следовательно, выбирает его сам раньше других. Это необыкновенное чутье в себе Наум открыл в революцию, и оно помогло ему идти в голове событий, тех самых, которые одерживают верх.

Сразу после Октября Наум отказался и от купеческого звания, и от наследства, впрочем, довольно скудного, и даже с отцом порвал. Отец проклял его и умер в нищете где-то по дороге в Бухару. Наум же пристал к большевикам, шумел в газетах, пытался продвинуться в аппарат. Но сдерживало его это проклятое купеческое прошлое.

Попав наконец в агитпроп Рязанского окружкома, он решил доказать, что умеет не только в газету писать или читать лекции, но и действовать решительно и беспощадно. Он даже псевдоним себе придумал – Неистовый. И теперь вот, слушая ветхого церковного звонаря, утверждался и в правоте своей личной, и в правде общего наступления на кондовую деревенскую Русь.

Они подошли к большому дому с кирпичным цоколем и деревянным верхом. Возле крытого тесом высокого крыльца Тимофей остановился и сказал:

– Таперика сами ступайте. Я туда не ходок, – и растворился в темноте.

Бабосов с Ашихминым поднялись в просторные тесовые сени, постучали в обшитую войлоком дверь.

– Рвитя смелее! Ня заперто, – звонко крикнули из дома.

Дверь подалась со скрипом, как немазаные ворота.

– Добрый вечер, хозяйюшка! – сказал Бабосов.

– Проходите к столу, гостями будете!

Ведьма Верява оказалась бойкой краснолицей бабенкой средних лет; она сидела под образами в переднем углу на широкой скамье, на коленях держала девочку лет восьми и темными пухлыми пальцами мяла, оглаживала ей шейку, что-то шептала вперемежку с громкими восклицаниями: «Фыр! Куй! Пойди!» – и плевала на пол.

– Что вы делаете? – спросил Бабосов.

Ответила за нее пожилая посетительница, раскинувшая на плечах огромную клетчатую шаль:

– Жабу давит... внучке моей.

– Александр Николаевич дома?

– Проходите в горницу, – кивнула на боковую, крашенную белилами дверь Верява и снова забубнила про себя что-то важное и потаенное.

Ашихмин покачал головой и проворчал на пороге:

– Истинная тмутаракань.

В горнице за столом под висячей лампой сидели пятеро и резались в карты, – кроме Саши Скобликова и Успенского были еще Костя Герасимов, Роман Вильгельмович Юхно и медицинская сестра Соня Макарова, чернокобая красавица с эдаким вялым, сонным прищуром больших янтарных очей. Она сидела на отлете и смотрела на игроков.

При виде ее Ашихмин дернул подбородком, выпятил острый кадык на жилистой шее, и строгое сухое лицо его наморщилось в улыбке:

– Прошу простить за позднее вторжение. Заместитель заведующего АПО окружкома Ашихмин, – и подал руку Соне. – С остальными сегодня виделись.

Соня приняла его рукопожатие, словно каменный идол, даже век не подняла.

Ашихмин с Бабосовым разделись.

– Пожалуйста, садитесь, – пригласил их к столу Саша. – Самовар заказать?

– У нас есть кое-что погорячее. – Бабосов выставил на стол две бутылки портвейна и с упреком глянул на Успенского: – Нехорошо, Митя, друзей обманывать. Договорились встретиться у тебя или у меня. А ты?

– Виноват! Невольник чести, так сказать. Вот видишь, привлекли меня как старого картежника на преферанс. За компанию страдаю.

– Так это-о, за компанию, говорят, даже монах женился и кто-то удавился. – Роман Вильгельмович вытянул губы трубочкой и, довольный собой, прыснул.

– Кто же? Неужели позабыли? – Ашихмин спрашивал Юхно, а сам глядел на Успенского.

– Нет охоты вспоминать, – ответил Успенский.

– Скажем проще – отбили у вас эту охоту.

– И то правда, охотников до кулака ноне много развелось.

– О! Это неплохой каламбур! – подхватил Юхно.

– Не каламбур, а политическая двусмысленность, – обрезал того Ашихмин и, с вызовом глядя на Успенского, спросил: – Вы что ж, против политики ликвидации кулачества как класса?

– Я политикой не занимаюсь, – уклонился тот. – Костя, твоя очередь сдавать.

Герасимов взял колоду карт.

– Да погодите вы с картами, – остановил его Бабосов. – Давайте выпьем сперва. Саша, инструмент! – и показал на пробки.

– Нет, сперва дело! – возразил Ашихмин. – Я завтра уезжаю. Надо поговорить.

– Вот за этой самой слабенькой и поговорим, – тряхнул бутылкой Бабосов. – А то сухо во рту и на душе кисло.

– Это потом! – остановил его жестом Ашихмин и обвел застоллицу хмурым взглядом утомленного человека. – Мне очень не нравится ваша пассивность. Вы здесь, на селе, проводники линии партии. Но скажем прямо: всю хлебную кампанию вы отсиделись. А впереди еще более важная задача: сплошная коллективизация! Вы и впредь будете отсиживаться по углам, как тараканы? А? Что? Как вам это нравится?

– Допустим, агитацию мы проводили, – сказал Костя. – А что касается прямых актов конфискации, то нас никто не уполномочивал на это.

– Ффа! Вы ждете, когда к вам придет секретарь ЦК да построит вас в две шеренги и поведет на конфискацию? Этого вы ждете? – Он сложил руки на груди и откинул голову, выпячивая острый кадык. – А где ваша большевистская сознательность? Где чувство долга перед революцией? Где инициатива? – При каждом вопросе он встряхивал головой, как петух, и поводил носом.

Но застоллица все молчала, и, приняв это молчание как знак признания его правоты и авторитета, Ашихмин расслабился, положил локти на стол и перешел на доверительный тон задушевной беседы:

– Самим надо действовать, дорогие товарищи. Направление главного удара вам известно: коллективизация есть борьба со всем старым укладом жизни. Это штурм ненавистной крепости под названием «частная собственность». Подошло время потряхнуть как следует посконную Русь. Не то уж некоторые стали подумывать, на печке сидя, что революция выдохлась. Нет, революция зовет на новый приступ кондового мира. Скажу вам прямо, мы в Рязани чесаться не будем и в стороне отсиживаться не намерены. И вас призываем к этому. Правильно делают товарищи наверху, что предупреждают нас на этот счет. Вот что пишет Михаил Кольцов в «Правде». – Ашихмин вынул из бокового кармана газету и прочел: – «Пусть пропадет косопузая Рязань, за ней толстопятая Пенза, и Балашов, и Орел, и Тамбов, и Новохоперск, все эти старые помещичьи, мещанские крепости! Или все они переродятся в новые города с новой психологией и новыми людьми, в боевые ставки переустройства деревни. Или же – наступление социализма на село пойдет мимо этих городов, и они останутся в стороне унылыми матерними развалинами, скучными даже для историков старого, забытого социального уклада». А? Что? Как вам это нравится?

– Ну, знаете ли... – Роман Вильгельмович вытянул губы и вскинул кверху палец. – Так это-о, от вашего призыва устроить карачун Рязани да Пензы во имя новой психологии отдает старым головотяпством. – И залился тоненьким смешком.

– Почему? – сурово спросил его Ашихмин.

– Да потому, что Рязань и Пенза не помещичьи крепости, а русские города. И все, что построено в этих городах, построено и создано народом. Разрушать это – значит, разрушать народную культуру. Так это-о...

«И этот пучеглазый умник туда же лезет, в народность», – неприязненно подумал Ашихмин и ответил, как тупому школьнику:

– Не народную культуру, а дворянскую да поповскую, понимать надо.

– Ну-с, дворяне да попы ничего своими руками не строили, – ответил Юхно и опять хохотнул. – Культура – это вам, понимаете ли, не форма одежды, она не бывает ни помещичьей, ни чиновничьей, а только национальной. Это тоже понимать надо.

– Не национальной, а классовой! Дело не только в культуре... Я имею в виду

уклад жизни, быт, традиции, наконец, – начал горячиться Ашихмин. – Все то, что осталось в наследство от старого мира и мешает нам жить по-новому. А? Что?

– Ну да, Рязань с Пензой помешали нам жить, – сказал угрюмо Герасимов, и застолица зашевелилась.

– Это ж надо такое сказать: пропади пропадом Рязань да Пенза! Да кто ж мы такие? Китайцы или монголы? – возмущенно спрашивал Саша, глядя попеременно на приятелей.

– Ты, Сашура, определенно самоед, потому что все свое семейство слопал, а имущество отдал дяде. Глуп и дремуч, – сказал Бабосов.

– Не вижу возражений по существу, – обернулся к Успенскому Ашихмин, теперь уж с вызовом глядел на него и кривил губы.

– Уклад жизни, быт и особенно традиции формируют национальный характер, – сказал Успенский и посмотрел на Ашихмина тем оценивающим взглядом, когда смотрят на противника, чтобы решиться, спорить или нет. – А национальный характер есть главная сила или, если хотите, центр тяжести нации. Без национального характера любая нация потеряет остойчивость и распадется как единое целое.

– Ах, вот как! – подхватил Ашихмин, весь оживляясь. – Вот вы и попались! Национальный характер – фикция, вымысел. Его выдумала буржуазия, чтобы одурачивать пролетариат. Удобнее эксплуатировать народ в эдаком трогательном единстве национальных интересов. Ах, мы русские! Мы одним миром мазаны. У нас одна задача, одна цель, одно отечество. Вы любите свое отечество, свой уклад, свою историю, свой язык, свои города и веси, а мы вас будем потихоньку околпачивать, заставлять вас работать не столько на себя, сколько на нас, блюстителей этого уклада, да языка, да любви к отечеству. А? Что?.. У пролетариата нет отечества! Его отечество – всемирная революция. Его цель – объединение всех языков в единую семью. А все эти косопузые Рязани да толстопятые Пензы мешают такому объединению своей приверженностью к домостроевщине, к мещанству, к патриархальной жизни. Вот почему надо разрушать эти затхлые миры и выходить на простор интернационального общения. А? Что? Как вам это нравится?

– Национальный характер вовсе не мешает интернациональному общению, – холодно возразил Успенский. – И при чем тут эксплуатация? Одно с другим не связано. Разве английская буржуазия, к примеру, эксплуатирует только англичан? И если вы считаете национальный характер фикцией, то скажите: разве англичанин ничем не отличается от немца или от француза?

– При чем здесь англичане и французы? – крикнул Ашихмин.

– Да все при том же, – повысил голос и Успенский. – И русская буржуазия не одних русских пролетариев эксплуатировала. И нечего в этом винить русский уклад жизни или русский национальный характер. И то и другое помогло Древней Руси окрепнуть и выстоять в тяжелой борьбе, объединиться в могучее государство. И все это потому, что Русь сумела раскрыть смысл национальной идеи во вселенском православии. Вся наша история, вся живая жизнь говорят об этом; наряду с подвижничеством святых иноков на Руси канонизировались подвиги князей и героев, то есть вождей народных. Святость веры стояла рядом со святостью национальной жизни. А вы пытаетесь призывом к интернациональной солидарности отрицать национальный идеал. И напрасно делаете. Немного сыщете вы доброхотов на такое дело среди толковых русских людей. Православие действовало умнее вас, тоньше. Не к смешению языков призывало Писание, а к расчленению их. И каждый язык, то есть



каждая нация, с ее культурой, с ее духовным обликом, – бессмертна, ибо есть творение божье. А все вместе нации – суть хор ангелов, воспевающих хвалу богу. Вот как ставилась вселенская идея православия, без обид и притеснений отдельных наций. Да, да! И без привилегий какой-нибудь из них в отдельности. «В церкви христовой нет ни эллина, ни иудея». Все равны, не смешаны в безъязыкое стадо, а каждый свят в своем национальном облике.

– Вот вы и скатились к явной апологетике религии. Старо! Мы боремся за прочность государства, за обновление, а вы за возврат религии! – крикнул Ашихмин.

– Вы боретесь за прочность государства? Так как же можно стремиться к единству и прочности государства, выбрасывая краеугольный камень из фундамента его – национальный характер, национальный идеал?

– Bravo, Дмитрий Иванович! – крикнул Юхно и заплодировал. – Здесь есть логика, черт возьми!

– Ффа! – фыркнул на него Ашихмин. – Это не логика, а подтасовка понятий. Мы вовсе не отрицаем национальный идеал. Наоборот, мы поддерживаем национальное самосознание всех народностей, входящих в Советский Союз.

– Ну, а если русский человек гордится святыней национальной жизни, мы тотчас обвиняем его в шовинизме и требуем переделать среду, то есть разрушить памятники культуры, выразившие эту национальную идею все в тех же самых презрительно поименованных вами русских городах. Де, мол, все это матерний развалины, скучные даже для историков. Для каких историков? Для сочинителей сказки про пустопорожнюю голопятую Русь? Да, для таких сочинителей они скучны. Но для каждого русского, любящего свое отечество и его историю, они полны глубокого смысла и значения... – Успенский сцепил пальцы на колене и откинул голову.

– Так это-о прекрасно, – сказал Юхно тихо.

– Митя, ты попал мне в самую душу... Вот куда! – хлопнул себя по груди Саша. – Возьми ее и делай с ней что хочешь...

Даже Соня Макарова порозовела, во все глаза смотрела на Успенского и затаенно улыбалась.

– Митя, но ведь это же черт знает что! Выходит, что ты бахвалишься даже и не патриотизмом, а какой-то квасной исключительностью, – сказал Бабосов. – Как ты ни крути, а национализм – бяка, хотя бы по одному тому, что он любит свое собственным пупком.

Ашихмин, нервно потирая ладонями, весь в пятнах, лихорадочно блестя глазами, говорил:

– Мы осуждаем русский национализм, называя его шовинизмом за то, что он подавлял самостоятельность других народов, входивших в русскую империю.

Успенский, устало прикрыв глаза, отвечал, будто самому себе:

– Если кто-то и подавлял и ограничивал самостоятельность иных народностей, так уж не русский национализм, а самодержавие, его бюрократическая система, в которую входили не только русские люди. А где, скажите нам, какая правящая бюрократия не ограничивала самостоятельность народов? Это особый вопрос, не станем его касаться, иначе уйдем в глубокие дебри. – Он открыл глаза, выпрямился и в упор посмотрел на Ашихмина. – Я же говорю о русской национальной идее, о культурном призвании. Русская идея культурного призвания всегда была не привилегией, а сущей обязанностью, не господством, а служением. Посмотрите хотя бы на историю освоения Сибири, приобщения к русской культуре ее народностей. Вы

заметите всюду необыкновенную жертвенность русских учителей, докторов, миссионеров. Конечно же, национализм, замыкающийся в своей исключительности, как в ореховой скорлупе, скуден и ограничен. Но идея национальности, понимаемая как культурная миссия, благотворна по сравнению с бесплодным космополитизмом. Люби все народы, как свой собственный! Вот что я вам скажу в ответ на ваши призывы разрушать русскую старину, русский быт и культуру.

Успенский встал и прошелся по горнице.

– Но как же увязать вашу любовь с классовой борьбой, с тем, что называется – поживиться за счет ближнего своего? – спросил Ашихмин, едко усмехаясь.

– А это вам лучше знать, – сказал Успенский, останавливаясь. – Вы помогли тут позавчера поживиться койкому за счет одного ближнего.

– А ежели без намеков? – вспыхнул Ашихмин. – Вам не нравится политика конфискации? А? Что?

– Ну что вы? Я же вам сказал – политикой я не занимаюсь. – Успенский подсел к столу. – Я учу детей, говорю им, что нехорошо брать чужое, нельзя зариться на чужое, потому что чужим добром не проживешь.

– Знакомая песенка! И мне в детстве пели так же вот. Кажется, вы сын попа? Ваш батюшка каждый праздник по домам шастал за этим чужим. Или он брал свое? А? Что? Как вам это нравится? – Ашихмин громко засмеялся, оглядываясь на застольицу, словно приглашая каждого повеселиться за компанию. Но всеобщего смеха не получилось; Саша с тревогой поглядывал на сумрачного Успенского, Юхно весь напрягся, подобрался, как кот для прыжка, и только Бабосов, закинув голову, залился козлиным смешком.

– Брось дурачиться, – ткнул его в бок Костя.

– Поп брал, но не отбирал. Разница! – сказал Успенский и пристукнул по столу. – За работу брал подаяние, потому что епархия платила ему мало. Помните у Чехова? Двенадцать рублей всего лишь. Маловато за работу.

– Поп работал? Извините! – Ашихмин растопырил пальцы, как бы оттолкнул от себя и этого попа, и его работу. – Кадить во имя отца и сына и святого духа еще не значит работать на благо людей.

– А вы уверены, что благо творите, выселяя стариков и детей под открытое небо?

– В силу необходимости мы вынуждены расчищать дорогу для исторического прогресса. Не жалостью надо измерять наши дела, а величием поставленной цели.

– Никакой великой целью нельзя покрывать бессмысленную жестокость.

– Это вы классовую борьбу называете бессмысленной жестокостью? А? Что? – Ашихмин ярился, постоянно вскидывал голову, как бы с удивлением смотрел на застольщиков. «Отчего это они молчат?» – было написано на лице его.

– Оставьте вы эти громкие слова – «величие цели», «классовая борьба»... – сказал Успенский.

– Это не громкие слова, а назначение и смысл нашей жизни. Я приехал сюда не для того, чтобы кому-то мстить, а выполнять высокую обязанность. Обязанность моя, так же как и ваша, в данный момент заключается в том, чтобы сломить сопротивление кулачества в строительстве совершенного человеческого общества. Мы не сказки здесь рассказываем о загробном царстве, мы открываем глаза людям на грядущий мир всеобщего равенства и счастья, научно обоснованный. Построить такой мир – не огород загородить. Это надо понимать. В это верить надо! Великая цель не за углом. Путь к ней долог. Прогресс бесконечен. Во имя этого прогресса мы совершаем

необходимую расчистку, убираем с дороги те препятствия, которые оставило нам классовое общество старого мира. И называть эту нашу, я бы сказал санитарную, работу бессмысленной жестокостью непозволительно и преступно! А? Что? Как вам это нравится?

– Верить в загробный мир – глупо, а верить в рай земной – умно; говорить о боге, о бессмертии – неуместно, а о прогрессе человечества – необходимо. А ведь, коли разобраться, в сущности, это один черт получается, как говорил Иван Карамазов. И в том, и в другом случае необходима одна и та же отправная точка – вера. Что понимать под прогрессом? Царство всеобщей сытости – это одно. Социальную справедливость и нравственное совершенство – совсем другое. В нравственное совершенство, как и в царствие небесное, верить надо. Опять нужна вера. Вера на слово, наобум, ежели не в бога, так в человечество, ежели не в царствие небесное, так в прогресс. Если цель – прогресс, а прогресс бесконечен, как вы говорите, то для кого мы работаем? Что мы скажем тем, кто истощил свои силы в работе? Что после их смерти на земле будет лучше? И заставим других встать на их место и тянуть ту же лямку? Не я задаю вам вопросы, это Герцен спрашивал еще в прошлом веке, и никто не ответил ему. По нашему-то глупому разумению, люди страдали и боролись не даром, – они получили от Советской власти землю, право на собственное хозяйствование. И слава богу! Пусть стараются. Исполать! Так вас это не устраивает, вам спокойствия не дает ваша великая цель: отчего это она все еще маячит в туманном отдалении? Дай-ка мы ее приблизим, да так, чтоб всем чертям стало тошно. А кого считать чертями, это, мол, мы укажем. Вот и тычете перстом, как слепой Вий. Вчера вы изволили выбросить из дому двух стариков и четверых детей, якобы помешавших вашему победному шествию к намеченной цели. И теперь вот пришли к нам за одобрением. Но аплодисментов не будет. Мы не воюем с детьми. Если ваш так называемый прогресс требует невинных слез хотя бы одного замученного ребенка, то возвращаем вам билетик обратно. В построении такого прогресса мы не участвуем. И это было доказано давно. Но вы рассчитываете на короткую память. Нет! Мы ничего не позабыли.

– Кто это – мы? Мы – Николай Второй! Не рано ли вы расписываетесь за других, гражданин Успенский? За этот прогресс люди на смерть шли. Не для того мы воевали за Советскую власть, чтобы позволить...

– Вы воевали? – перебил его Успенский с некоторым удивлением. – Где же, на каком фронте, позвольте узнать? Говорят, что репортером в губернской газете?

Ашихмин дернулся всем корпусом, как будто его током ударило, и тоже с некоторым удивлением посмотрел на Успенского, но ответил без тени смущения:

– Это не имеет значения. Мы с вами разговариваем, как люди, стоящие по разные стороны баррикад.

– Нет, все имеет значение! Когда мы сражались на этих баррикадах, мы не представляли, что от нашего имени будут выбрасывать из домов стариков и крестьянских детей во имя будущего прогресса.

– Это не крестьяне, а кулаки! Разница!

– Какая? Кто ее определил? Что Ленин говорил? Одно дело – дореволюционный кулак, совсем иное дело – послереволюционный. Земельные наделы по едокам нарезаны. Если все его богатство от собственного труда да от казенного надела, так что это за кулак?

– Вы не путайте тот период с нынешним! Обстановка обострилась, понятно? И

нечего за Ленина прятаться...

– Я по существу говорю. Где, с какой коровы кончается крестьянин-середняк, а начинается кулак? С какого волоса начинается лысина? Где тот устав или хотя бы бумажная директива, которая определила бы размер кулацкого хозяйства? Раньше в России кулаком назывался барышник, ростовщик, перекупщик, а не хлебороб. Загляните хоть в словарь Даля.

– Ваш Даль – реакционер! И словарь его устарел, – кричал Ашихмин. – А кулак и богатей – один черт. Это и так всем понятно.

– Вам все едино, лишь бы в расход пустить. Но даже если он кулак и богатей... Надо доказать его вину! А за что мучаются дети?

– Он эксплуатировал других и наживался за счет народа!

– Кто, Лопатин? Тот, что выброшен вами из дому? Да он не только что других нанимать, лошадей и то подменять готов был своим горбом.

– Он хлебные излишки отказался сдавать!

– У него не было такого хлеба. Вы его не спрашивали, чем он заплатит, когда накладывали так называемые излишки.

– Не мы накладывали, а группа бедноты.

– Вот именно – группа! Да еще по вашей указке. А село спросили? На общем собрании голосовали, прежде чем выбрасывать Лопатина из дому? А ведь он равноправный член нашего общества. Его даже голоса не лишали. То, что вы совершили над этой семьей, называется беззаконием!

– Как вы смеете! С чьего голоса вы поете? – Ашихмин стукнул кулаком об стол, вскочил с табуретки, сделался весь красный, глаза его бешено метались с Успенского на всех остальных, как бы требуя броситься на этого человека, связать его, скрутить и выбросить вон.

Успенский тоже вскочил, так что табуретка отлетела от него, опрокинувшись с грохотом.

– Я голоса займы не беру и свой голос не продаю! Готов доказывать где угодно, что вы совершили беззаконие.

– Беззаконие? Я?!

– Да, вы...

Ашихмин, худой, маленький, с пылающим лицом, того и гляди – черные волосы его задымятся, приподнявшись на носках, потрясая сухими жилистыми кулачками, кричал:

– Да вы!.. Вы правый либерал, жалкий последыш Бухарина. Кулацкий адвокат! Да вы опаснее открытого врага. Вы подтачиваете, как черви, революционный порыв рабочего класса, отравляете волю масс своим ядовитым сомнением, неверием в наши темпы, задачи, конечные цели... Да вы...

– Я не последыш! – кричал и Успенский, перебивая задыхающегося от ярости Ашихмина. – У меня своя голова на плечах. Это вы потеряли головы. Вы, последыши Иудушки, кровопивца Троцкого. Сколько вас судили за перегибы? Но вам мало прежних голодовок? Новых захотелось! Лишь бы покомандовать! Лишь бы народ помордовать... Так запомните – даром это для вас не пройдет. Беззаконие – это слепой зверь; сегодня вы его спустили на крестьян, завтра он пожрет вас самих. И не размахивайте передо мной кулаками. Я вам не мерин, я – бывший командир. Могу и по физиономии съездить.

– Что вы сказали? Что вы сказали? Повторите! Люди, что он сказал? – Ашихмин

снова метнул взгляд на сидящих, ища поддержки.

Все мужчины встали как по команде, и сделался шумный переполох, всякий говорил свое, не слушая других.

– Мужики, это, уж извините, не спор. Это на драку смахивает. А ради чего хватать друг друга за грудки? – кричал Костя Герасимов. – Мы же здесь все свои люди!

– Так это-о, побороться бы! Ха-ха-ха!

– Дмитрий Иванович! Митя! Ну какой он троцкист? – спрашивал Скобликов. – Он же член партии!

– А я ему что за бухаринец? Я терпеть не могу эти их ярлыки и групповые дележки.

– А я говорю – выпить надо. Выпить! – кричал свое Бабосов.

– Не надо шуметь, мужики. Помиритесь. Пожмите друг другу руки...

– Саша Скобликов! Тащи скорее стаканы! Перепьем это дело. Наум Османович, куда же вы? Погодите!

Бабосов поймал за подол френча уходящего Ашихмина:

– Вы один заблудитесь. В реку попадете!

– По мне лучше в реке искупаться, чем сидеть в одной компании с этим защитником Тмутаракани.

– Да погодите! Перепьем это дело, и все уладится.

Дверь вдруг распахнулась, и на пороге появилась в белой вязаной шапочке Варя, а за ней, вытягивая шеи, как гуси, заглядывали в комнату Сенечка Зенин и Кречев.

– Коля, Митя, а мы по ваши души! Вот гости к вам, из Тиханова. Заблудились совсем. Благо, меня нашли. Подказала им добрая душа, – щебетала Варя, подходя к столу. – А что это вы все стоите? Или собрались расходиться?

– Это мы вас встречаем. Хотели обнимать вас по очереди, да я отсоветовал, – изрек Бабосов. – Говорю – она кусается. – И, обернувшись, Ашихмину: – Тихановское начальство. Прошу любить и жаловать. Это секретарь партячейки товарищ Зенин, председатель Совета Кречев. А это представитель окружка, товарищ Ашихмин. Заместитель заведующего АПО.

Ашихмин, все еще красный, как из бани, молча пожал протянутые ему руки.

– А теперь за знакомство по наперсточку не грех. Причастие на столе. Остальное... Саша, сообрази! – скомандовал Бабосов и, разводя руками над столом, приглашал: – Раздевайтесь, товарищи, и садитесь.

Рассаживались в неловком молчании, переглядывались, как заговорщики. Одни не знали, о чем говорить после скандала, а другие боялись брать за бока Успенского в присутствии неизвестного начальника.

Саша принес граненые рюмки, вилки, за ним вошла Верява с двумя тарелками – соленых огурцов и квашеной капусты.

– Ешьте, ешьте на здоровье. Может, кваску налить?

– Тащите! – обрадовался Бабосов. – Мы сперва сладенького попробуем, а потом уж кисленького... – Поглядел на Зенина и добавил: – На дорожку хватим. – Он ловко выбил пробки из бутылок и налил вина. – Господи, не почти за пьянство, прими за причастие! – Бабосов поднял рюмку и важно произнес: – За мировую революцию!

Саша прыснул, но, видя, что его веселое настроение никто не подхватывает, крикнул, как с мороза, и торопливо опрокинул рюмку, поспевав за другими.

Задев вилкой капусту, Бабосов весело спросил, поглядывая на пришельцев:

– Каким важным известием порадуют нас дорогие гости?

Кречев сидел сгорбившись, угрюмо глядел в стол перед собой, Зенин же поглядывал то на Ашихмина, то на Успенского и лихорадочно соображал, что же надо говорить. Успенскому надоела эта игра в молчанку, и он спросил Кречева:

– Павел Митрофанович, вы по делу ко мне?

– Пусть Зенин и скажет, – ответил тот хмуро.

– Дмитрий Иванович, – сказал Зенин, извинительно улыбаясь, все так же поглядывая то на Успенского, то в сторону Ашихмина, – вот какая у нас оказия... Понимаете ли, товарищ Ашихмин, передовые, сознательные крестьяне нашего села решили объединиться в колхоз. А мы их поддерживаем со всей душой.

– Очень хорошо! – живо отозвался Ашихмин. – За чем же дело стало?

– Дело-то за сущим пустяком. Надумали объединиться в колхоз маломощные хозяйства и отчасти середняки. Сами понимаете, дворы у них ветхие, сараи маленькие. Держать обобществленный скот, инвентарь негде. Вот они и поручили нам с Кречевым съездить к Успенскому и попросить у него поддержки и помощи. Мы, говорят, знаем его как опытного коллективизатора. Он уже создавал одну артель. Пусть и колхоз поможет нам создать.

Кречев обалдело, как спросонья, глядел на Зенина, тот же, толкая его сапогом под столом, продолжал выжидательно улыбаться и ухитрялся одновременно говорить с Успенским и обращаться как бы к Ашихмину за поддержкой.

Ашихмин впервые после размолвки с удивлением глянул на Успенского, но промолчал.

– А чем же я могу им помочь? – спросил Успенский.

– Дмитрий Иванович, у вас великолепный дом, большой двор, сарай молотильный. Если вы вступите в колхоз, то окажете нашим крестьянам ба-альшую помощь, – уже с воодушевлением, с энтузиазмом закончил Зенин.

– Это кто ж придумал? – спросил Успенский. – Вы, Павел Митрофанович?

– Н-нет, – ответил Кречев.

– Дак сами, сами крестьяне и придумали, Дмитрий Иванович! Уверю, они вас так высоко ценят, – расплылся опять в любезной улыбке Зенин.

– Хорошо, Павел Митрофанович. – Успенский умышленно смотрел только на Кречева. – Заявляю вам как представителю Советской власти: передайте крестьянам, что я с радостью вступаю к ним в колхоз. И отдаю им в полное коллективное владение мой дом, двор, сарай молотильный, весь инвентарь, лошадь и обеих коров.

– Дмитрий Иванович, позвольте пожать вашу щедрую руку! – потянулся к нему Зенин.

– Нет, не позволю, – сухо сказал Успенский. – Я вам не купец, сходно продавший товар. И вы не посредник на сделке.

– Но выпить-то можно? – спросил Бабосов. – Хотя бы за новый колхоз.

– Пейте на здоровье!

– Ну, слава тебе господи! Наконец-то смягчился, отошел, – сказал Бабосов и стал наливать вино.

– А Дмитрий Иванович и не заходил, – неожиданно сказала Соня Макарова. – Он говорил очень разумно и... красиво, как в спектакле.

– Ха-ха! Браво! – крикнул Роман Вильгельмович. – Так это-о, устами младенца глаголет истина. Ха-ха!

– Соня, ты с кем сюда пришла, со мной или с ним? – нарочито строго спросил Костя.

– Наконец-то она проснулась и оценила, кто здесь мужчина, – хохотнул Бабосов. Ашихмин с немым вопросом глянул на Бабосова, и тот стусевался.

– Я в том смысле говорю, что почуяла она присутствие истинного ловеласа, – выкрутился Бабосов. – Берегись, Костя!

– Н-да, это и в самом деле на спектакль смахивает, – сказал, вставая, Успенский. – А у меня еще дел по горло. Всего хорошего!

Слегка кивнув головой, он пошел к настенной вешалке.

– И я с вами, Дмитрий Иванович! – ринулся за ним Юхно.

На улице все так же мелко моросил дождь, дул порывистый ветер, и мокрые ветви дробно стучали о деревянный карниз дома.

Прикрывая уши драповым воротником, Юхно сказал:

– А вы, так это-о, отчаянный человек. Смотрите, Дмитрий Иванович, эти функционеры, как покинутые женщины, обиды не прощают.

– Мне терять нечего. Я один как перст. Пускай докладывает, – сказал Успенский, вынимая портсигар.

– Доклад еще полбеда... Хуже, если донесет.

– А по мне хуже – так молчать. Видеть, как лютуют эти самозванцы, выбрасывают на мороз ни в чем не повинных людей, и молчать. – Успенский прикурил, пыхнул дымом и щелчком выстрелил в темноту красной спичкой.

– Э-э, батенька! Наши слова, как свист ветра в голых прутьях, – шуму много, а толку мало.

– Мне не столько важно было ему доказать, сколько себе, что я еще человек, я мыслю, следовательно, я свободен.

С минуту шли молча, наконец Юхно отозвался:

– Да, вы правы. Так это-о, если нельзя сохранить свободу в обществе, то ее непременно следует утверждать в мыслях, в душе. Иначе – пиши пропало.

## 5

Вернувшийся из округа Озимов вызвал к себе в кабинет Кадыкова, Кульку и Симу; едва успели они сесть на стулья у стены, как он попер на них по-медвежьи, хлопнув лапой об стол:

– Спите, удовлетворенные! У вас под носом классовые враги стрельбу открывают, а вы дрыхнете? Кто стрелял в больничном саду?

– Когда стреляли? В каком больничном саду? Вы что, сами сбрендили? – вскинул на него подбородок Кадыков.

– Молчать! – рявкнул Озимов. – Милиционеры сопливые. Стражи закона и тишины называются. В окружном ГПУ знают, что здесь выделяет недобитая контра, а вы нет. Вы и меня заставляете глазами хлопать. Я как дурак стоял перед начальством и мычал: найдем, разыщем, узнаем... Какая-то банда в ночь накануне Покрова дни открыла стрельбу в саду бывшего помещика Скобликова, разогнали сторожей и увезли все яблоки, приготовленные для замочки в кооперативных кадках. Напоследок разбили стекла в клубе во время репетиции. А в Степанове отрезали хвост у риковской лошади, на которой Чубуков приезжал распродавать имущество злостного неплательщика. И что вы на это скажете, соколики-чижики?

– А может быть, никакие это не классовые враги, а воры да хулиганы, – ответил опять Кадыков.

– Я же вам русским языком говорю – факты эти взяты на учет окружным ГПУ.

Кто-то им сообщил. Ведь не нам сигнал пришел, а им. Значит, были основания отнести эти факты на счет классовых врагов, то есть кулачества. А с нас за это спросят, если не найдем виновников. Вот я и вызвал вас затем, чтобы вы землю носом изрыли вокруг Тиханова, а виновников положили мне на тарелочке. Ясная задача?

– Ясно, – разногласно ответили милиционеры.

– Идите и выполняйте! А ты останься, Кадыков.

Когда Сима с Кульком ушли, Озимов другим тоном, как бы с опаской поглядывая на дверь, озабоченно спросил:

– Ты был в Тимофеевке, когда мужики забузили возле церкви?

– Был.

– Что там случилось? Неужели бунт?!

– Да чепуха. Возвышаев круто повернул насчет церкви. Ну, мужики и загудели. Может, и накостиляли бы ему по шее. Да поп вовремя подвернулся, усмирил их.

– Ах, мать твоя тетенька! Я так и чуял, что этот обормот накуролесил. А жаль, жаль... По шее бы ему хорошенько. Небось поумнел бы. А расписали в округ – мать честная! Что этот самый попик подымал народ на бунт, что Возвышаев, героически рискуя жизнью, усмирил народ. О, из мухи слона дуют. На меня топают: за чем смотрите? Куда морду воротите? А я говорю, не наше это дело – за попами приглядывать. С нас и воров да хулиганов довольно. Штаты маленькие, и те не заполнены. Пришлите, говорю, своих уполномоченных ГПУ, пусть они и шуруют этих классовых врагов. А мы, говорю, порядок охранять будем. Что ты! Орут на меня. Порядок, мол, тоже классовый характер имеет. У тебя под носом хлебные излишки прячут, а ты порядок блюдешь? На чью мельницу воду льешь? А я говорю, наша мельница – не ветряк придорожный; откуда ветер дует, в ту сторону и крылья поворачивает. У нас расписаны все времена года по закону. Твой закон, мол, – революционное сознание. Пожалуйста, говорю, и сознание примем к сведению, только напишите его, зафиксируйте в качестве указания. А мы в дело подошьем и все в аккурат исполним... Н-да, дела. Все подбивают на то, чтоб милиция по домам ходила с обыском. Но в случае чего милиции и дадут по шее, зачем закон нарушали? Как думаешь?

Кадыков слушал, сурово сведя брови, думая о чем-то своем.

– Чубуков меня звал в Степанове на распродажу имущества одного неплательщика, – ответил он, как бы очнувшись. – Но я отказался. Начальника, говорю, нет. А без него решить такой вопрос не могу.

– И правильно. Это не наше дело – распродавать с торгов мужицкие портянки.

– И в стороне нам не удержаться, – продолжил как бы прерванную мысль Кадыков. – Ну, в Степанове обошлось без шума. Хозяин оказался смирным. А ежели буйные попадутся?

– Ты думаешь, конфискации имущества нам и впредь не миновать?

– Непременно не минуем. В Тиханове два хозяина заупрямились, в Тимофеевке, в Больших Бочагах. Но особенно в Гордеевском кусте. Там эти самые излишки и не думают сдавать. Придется выколачивать. И тут без нас не обойтись.

– Да, веселая работенка. – Озимое крепко потер бритый затылок и усмехнулся: – Ха-ха! Как ночь не поспишь, так, веришь или нет, щетина прет, как хлебная опара. Вчера только обрил голову в Рязани, а теперь вот наколоться можно, словно проволока. И чешется, зараза. Ладно! Завтра на бюро прояснится, что нам делать, как нам быть. А ты, Зиновий Тимофеевич, узнай к завтраму – что там за хреновина с этими



яблоками и с кобыльим хвостом. Я думаю, что здесь хулиганье дурит. А то Возвышаев оргвыводы сделает и раздует классовую борьбу из кобыльего хвоста.

Кадыков первым делом отыскал садового сторожа Максима Селькина, он стоял теперь у ворот сыпного пункта, бывшего последнего приюта помещика Скобликова. На нем был рыжий зипун, подпоясанный чересседельником, тряпичная шапка, из которой торчал клочок ваты на самой макушке, и новые лапти с онучами, замотанными в частую косую клетку оборами аж за колена. Ружье на веревке он закинул за спину, как кошелку с мякиной. Утро стояло тихое, морозное; слабо и безвольно, как в прореху, сыпался мелкий сухой снежок и покрывал острые гребешки вздыбленной застывшей грязи. На заборе, как чучела, сидели, втянув головы и опустив хвосты, вороны – то ли спали, то ли думали о чем-то серьезном и таинственном. И Максим не шевелился, как заколдованный, смотрел важно и прямо перед собой, тараща маленькие, запавшие в морщинах глаза.

– Здорово, часовой! – сказал Кадыков, подходя.

– Здравия желаю, – сипло ответил Максим, переступая с ноги на ногу.

– Ты чего спишь, ай озяб?

– Баба где-то провалилась, ни дна ей ни покрышки. Приди, говорю, утречком, подмени, а я схожу картошки поем, погреюсь. Не идет!

– Ружье-то стреляет? А ну-ка?!

Кадыков протянул руку, Максим проворно снял ружье и подал.

– Зачем же ты ружье отдал? А ну-ка я тебя этим ружьем да по уху? А хлеб казенный увезу?

– Дак на то вам и власть дадена.

– Ты же часовой! Ты никаким властям не подчиняешься, только тому, кто тебя ставил. – Кадыков свалил вправо хвостовик, переломил ствол – ружье было заряжено. – Кто тебя поставил на пост?

– Председатель Кречев.

– Вот ему и подчиняйся. Больше никого не слушай. На, держи! – вернул Кадыков ружье.

Максим взялся за веревочную поцепку и закинул ружье за спину, как кошелку.

– Как же у тебя из-под носу яблоки увезли?

– Так вот и увезли. Из ружьев палили, отогнали нас ажно к Волчьему оврагу.

– Сколько вас было?

– Я да Маркел.

– А вы чего ж не стреляли?

– Дак у нас одно ружье на двоих с одним патроном. На крайний случай, ежели сильничать начнут. Они ж с трех концов палили. Куды тут!

– Хороши сторожа. Нечего сказать... Ты хоть видел, куда ваши яблоки повезли? По какой дороге?

– Повезли в Тиханово на двух подводах.

– В какой конец?

– В Нахаловский... В какой же ишшо?

– Ладно... Разберемся, – сказал Кадыков.

Он сходил в казенку, купил поллитру сладкой наливки облепихи и зашел к Насте Гредной. Несмотря на позднее время, хозяева все еще дрыхли, – Настя лежала на печи, как в окопе, наружу торчали только ее подшитые валенки носами кверху. Степан, завернувшись в свиту, валялся на деревянной кровати в шапке с завязанными ушами,

лицом к стенке. В избе было холодно, пар валил изо рта, как в предбаннике.

– Есть кто живой? – спросил Кадыков, переступая порог.

– Кого там черт занес? – нехотя отозвалась Настя, и даже валенки ее не шевельнулись. Она проявляла интерес только к тому, что свершалось на улице, у себя же в избе она делалась сумрачной и глухой.

Степан приподнял голову и, увидев фуражку со звездой на Кадыкове, вдруг застонал.

– Ты что, или заболел? – спросил его Кадыков.

– Заморила, проклятая баба. Всюю ночь у окна просидит, а потом дрыхнет до обеда. – Степан встал с постели, опустил на пол ноги, обутые в валенки. – Верись ай нет, в валенках ноги зашлись от холода.

– Что ж вы не топите избу?

– Спроси вон ее, ведьму, – кивнул Степан на печь.

– Сперва надо избу ухетать, а потом топить, – отозвалась Настя. – Сделай, говорю, защиток вокруг избы, все теплее будет.

– Изба не сарай. Что ж вокруг нее застреху делать? От людей совестно, – сказал Степан.

– Ну и не кряхти, ежели совестно.

– Слезай, Настя! У меня тут есть обогревательная. – Кадыков поставил бутылку на стол и сам сел на скамью.

– Это каким тебя добрым ветром занесло? – веселея, спросил Степан.

– Да иду вот по селу, вижу – окна замуравели, зацвели серебряными цветиками. Дай, думаю, загляну. Хоть печку растоплю им – не то замерзнут.

Настя подняла голову, приставила очко к единственному оку и, разглядев бутылку на столе, проворно слезла с печи.

– Ну, погреемся, хозяйка? – обернулся к ней Кадыков и потер ладони. – Давай стаканы.

Настя достала стаканы с полки, занавешенной шторкой, поставила на стол. Выжидательно спросила:

– А как же насчет закуски? У нас ведь, кроме квашеной капусты, ничего нет.

– Эту не закусывают, – сказал Кадыков, разливая облепиху, – она сладкая. Вроде чая с сахаром. Ну, будьте здоровы!

– Спасибо вам, Зиновий Тимофеевич. – Степан слегка поклонился и выпил залпом.

Настя долго тянула и кривилась.

– Ты чего морщишься? Или горько? – спросил Кадыков.

– Вино, она и есть вино. Ты ее пьешь, а тебе страшно, инда сердце замирает, – ответила Настя, ставя стакан. – А вы чего ж не пьете? – А сама поглядывала на оставшееся вино в бутылке.

– Я пью только чистое белое, – ответил Кадыков, забирая в руку бутылку. – Что, Настя, еще хочешь?

– А ты петь меня не заставишь? – осклабилась Настя, раскрывая свой щербатый рот.

– А спела бы.

– Ой, не греши! Ну тебя к богу за пазуху. – Она кокетливо махнула рукой и рассмеялась.

– Ты, Настя, вот что мне скажи: ночью накануне Покрова ребята на улице шибко

гуляли?

– Да ну их к лешему, – ответил Степан. – До полуночи спать не давали.

– А выстрелы вы не слышали? Говорят, стреляли в больничном саду?

– Ен далеко, аж за горой. Вон игде, – сказал Степан.

– Далекое, это верно. Но если люди бдительность проявляют... Не спят. То услышать можно. А? Как ты думаешь, Настя? – Кадыков покрутил бутылку и стал наливать Насте вино.

– Да слыхала я эти выстрелы, – сказала Настя, глядя на вино.

– Молодец! И я, пожалуй, выпью за твое здоровье. – Кадыков плеснул и себе в стакан. – Ваше здоровье! – И выпил вместе с хозяевами. – Н-да, дела... – Кадыков покачал головой и спросил: – Говорят, в мешках таскали яблоки?

– Врут, – отрезала Настя. – В кадках увезли. На двух подводах.

– Да что вы говорите! – сделал удивленное лицо Кадыков. – И вы сами видели?

Настя только высокомерно усмехнулась:

– Я все вижу.

– Н-да... молодец... Просто молодец. – И снова налил ей вина. – Настя, яблоки-то кооперативные. Общественное добро! Ведь это ж, можно сказать, и нас с вами обокрали.

– Не говори! – подхватил плаксиво Степан. – Всюю жизнь над нами издеваются. Грабют! То дрова растащат, раскидают, то окна соломой завалют. С крыши натеребят. С моей крыши. А с первесны портки стащили да в трубу мне ж и затолкали. Вот чего они делают.

– И яблоки – их дело?

– А то чье же. Да вон пусть Настя скажет. – Степан махнул рукой и сделал обиженное выражение.

– А ты нас не выдашь? О, мотри! Тады они нас подожгут, ей-богу правда.

– Не выдам, Настя. Я ж лицо официальное. Хочешь, расписку напишу? – Кадыков полез в карман за блокнотом.

– Да мы верим, верим, – остановила его Настя и шепотом заговорила: – Ребята все это озоруют. Я все видела. Стащили они одну телегу у соседа нашего Климачева, на проулке стояла, вторую у Максима Селькина. Смеются. Пущай, говорят, он яблоки караулит, а мы в его же телеге их увезем. А лошадей с выгона пригнали. Яблоки отвезли к Козявке. Там у них посиделки устраиваются. Вот тебе, истинный бог, правда, – Настя перекрестилась.

– Ну спасибо, Настя, спасибо! – Кадыков вылил им остаток вина.

– Только ты мотри, не выдавай.

– Ну что вы. Могила!

Козявка жила под горой, у самого оврага, промытого речкой Пасмуркой. Кадыков зашел от оврага к большому амбару, покрытому тесом. Здесь на травянистой лужайке, полусасыпанные снежком, четко виднелись узкие вмятины, недавно оставленные колесами тяжело груженных подвод. Дальше к дороге следы колес остались вдавленными в податливую когда-то, а теперь замерзшую грязь. Ясно как пить дать, сюда привезли яблоки, подумал Кадыков, сворачивая к дому.

От окна запоздало метнулась в избяной полумрак Козявкина голова, покрытая клетчатой шалью. «Подглядываешь, плутовка. Чуешь, что дело ткном<sup>11</sup> пахнет», –

---

<sup>11</sup> Взбучкой.

подумал Кадыков и застучал в дверь.

– Кто там? – с притворным испугом спросили из сеней.

– Открывайте! Милиция.

Дверь моментально открылась, и маленькая щуплая бабенка, с лучезарным от множества морщинок лицом, с приклеенным посреди его, точно пуговкой, носом, выросла на пороге. – Тебе чего? Ай опять насчет самогонки? Да я эта, шинок не держу. – Ни тени испуга на лице, одно хитренькое лисье выжидание и настороженная улыбочка.

– Чего ж ты дорогу загородила, Мария Ивановна? Чай, не на пороге нам стоять и разговаривать.

– Да к милости просим. Проходите в избу! – А сама не сводит с Кадыкова настороженных глаз.

В избе было чисто прибрано, на стенах над фотокарточками висели расшитые рушники, и в переднем углу над божницей тоже рушники – красные петухи да крестики на широком белом полотне.

– Гуляют у вас, говорят? Посиделки собираются?

– Гуляют! Дело молодое. Смолоду и погулять не грех.

– А не случилось такое, что за гуляньем-то закон нарушался?

– Э-э, батюшка мой! Нешто за ними углядишь? Их вон сколь собирается. Иной раз и до тридцати, и до сорока человек.

– И то правда, за всеми не углядишь. А что у вас в ночь на Покров творилось?

– Что творилось? Пели да плясали... Веселились, одним словом.

– Хорошенькое веселье с ружейной пальбой. Даже сторожей из больничного сада поразгоняли.

– Да к то ж в больничном саду-у! Я за тем садом глядеть не поставлена.

– А яблоки из того сада, случаем, не к тебе переехали?

– Как это – переехали?

– А так... На колесах да на телегах.

– Ты, батюшка мой, сперва окстись. Сатана тебя путает.

– Вот уж не думал встретить ноне сатану. – И, поглядев на нее, добавил: – В сарафане.

– Ежели ф вы на меня подозрение имеете, так ишщите. Вот вам подпол, вон сени, подвал. Ишщите!

– Открой-ка мне амбар.

– Это можно... Отчего ж не открыть, амбар-от?

Амбарный ключ висел тут же, на стояке возле печки. Козьявка было потянулась к нему, но ключ не взяла.

– Он, эта... колефтивный у нас, амбар-от.

– Кто ж им пользуется, кроме вас?

– Сестра. И Селькины там воробы хранят да самопряху.

– Ну ничего, вещи сестры мы не тронем. И ваши вещи не возьмем. Посмотрим только. Давайте, смелее! – Он снял ключ и пошел к амбару. – Тот самый, ключ-то?

– Тот самый.

Козьявка затаенно шла за ним по пятам. Открыли дверь – и посреди амбара в восьми кадках стояли замоченные яблоки, и даже ледок слабый схватил их поверху.

– Ну, что? Сама признаешься или из кооперации вызывать, чтоб они кадки свои опознали?

– Шут их возьми! – махнула рукой Козьявка. – Как я им говорила: не связывайтесь с этой кооперацией. Посодят вас. Дак разве ж они послушаются?

– Кто привез яблоки?

– Ребята. Кто ж еще?

– Конкретно. Кто? Имена назовите!

– Соколик, Четунова Андрея парень, Федька Маклак, Бородин, то ись Ванька Савкин, Чувал. Они все озоровали... Говорят, на зиму запас девкам сделаем.

– Кто верховодил?

– Да все Маклака называли. Он у них заводила.

– Ладно... Яблоки пусть у вас пока останутся. Заберем позже.

– А как же мне теперь быть? Ведь я ни в чем не виноватая.

– И с вами разберемся. Пока никому ни слова.

– Да, да. Я уж не проговорюсь... Я ведь не то чтоб с целью прибрала яблоки. Я так, для порядка...

– Вот всыпем тебе для порядка года два принудиловки, небось запоешь другим голосом.

– Дак было б за што.

– Старое зашло, а новое заехало...

Кадыков зашел к Андрею Ивановичу и потихоньку от Надежды рассказал ему всю историю с яблоками.

– Запорю! – вскипел тот, схватываясь с табуретки. – Сейчас поеду в Степанове и буду гнать его, стервеца, кнутом до самого Тиханова.

– Ты погоди лютовать! – осадил его Кадыков. – Мне еще надо кое-что выяснить. Поэтому я сам поеду и поговорю с ним. А тебе вот мой наказ – ни слова об этом. Никому. Ясно? Не то спугнуть можешь стервецов покрупнее, если за этими сопляками с их яблочной проделкой скрывается кто-то другой. И пороть парня не следует. Он не скотина. Ну, схулиганил. Так ему и без тебя перепадет. А убытки невелики – оплатишь.

Уже под вечер Кадыков заседлал лошадь и верхом поскакал в Степаново.

Вот тебе и классовые враги, думал он по дороге. Это ж надо кому-то раздувать кадило, чтобы из простого хулиганства сделать всеобщую ненависть. Ага! Классовые враги завозились? Так дави их без пощады! Потом разберемся, кто под телегу попал. Ну, ладно... Ныне ты моего брата свалил, а завтра я тебя ущучу. И пойдет всеобщая потасовка. А кому это на руку? Кто выиграет от этой злобы? Разве что Степан Гредный? Ну, перепадет ему зипун или валенки от шальной конфискации. Дак ведь он все равно пропьет их. И за скотиной конфискованной ухаживать не станет. А ежели и станет, дак скотина не вынесет его ухаживания, сдохнет! Нет и нет. Никому выгоды на селе не будет от такой потасовки. Дьявол, видать, мутит людей. Хулиганство и раньше было на селе, и воровство было. Но зачем разыгрывать все по классам? В любом деле есть и сволочи, и добряки. Зачем же смешивать всех в кучу?

Ему вспомнилось, как еще до революции к ним в Пантюхино приезжал пристав к мельнику Галактионову. Пока они сидели с мельником, водку пили, ребята обрезали у лошади пристав хвост по самую сурепицу. Как увидел пристав свою лошадь без хвоста, так инда кровью налился. Рычал, как медведь. А потом вынул наган и застрелил лошадь. Ну и что? А тут – смотри, какая оказия! Над Чубуковым посмеялись. У лошади хвост отчекрыжили? Кадыков заходил в риковскую конюшню, видел эту лошадь. Ничего страшного! Хвост как хвост. Ну, обрезан на ладонь, до

колен. Экая беда! Отрастет.

Федьку Маклака застал он дома; тот лежал на деревянной кровати и наярывал на балалайке, задрав ноги в шерстяных носках. Увидев Кадыкова, сразу вскочил и балалайку бросил. Ага, чует кошка, чье сало съела, подумал Кадыков, проходя к столу. За столом сидело двое приятелей Маклака, учили уроки. И они встали, как по команде. И все молча уставились на него.

– Не ждали? – спросил Кадыков, снимая полевую сумку и кладя ее на стол.

– Вы, должно быть, ко мне, Зиновий Тимофеевич? – спросил Маклак, стараясь изобразить на лице невозмутимость и безразличие. Но во все щеки его расплывались кумачовые пятна, и на лбу выступили мелкие бисеринки пота.

– Ты догадливый, – криво усмехнулся Кадыков и приказал его приятелям: – А вы, ребята, погуляйте, оставьте нас наедине с Бородиным. У нас военная тайна.

Ребята вышли, Кадыков сел на табуретку к столу, вынул из сумки тетрадку:

– Ну, сам будешь говорить или допрашивать?

– О чем говорить-то?

– К примеру, о том, как яблоки из больничного сада перекочевали в Козявкин амбар?

Маклак облизнул верхнюю губу и присел на кровать.

– Чего ж ты молчишь? Рассказывай, как приставил ноги кооперативным кадрам?

– Да я ж не один их брал. И не для себя.

– Ага, на коллектив старался. Девкам угодил... Эх ты, угодник. Драть тебя некому. Комсомолец, поди?

– Ага. Второй месяц как вступил.

– Отличился, нечего сказать. Рассказывай все без утайки, не то хуже будет.

Маклак только головой мотнул.

– Кто из вас был с ружьями?

– У нас не было ружей.

– Как это не было?! Кто же стрельбу открыл в саду?

– Это мы не из ружьев...

– А из чего же? Из пушек, что ли?

– Да ключи у нас такие... Из них и палили.

– Чего, чего? Из каких ключей вы палили?

– Из обыкновенных. – Маклак полез под подушку и вынул большой амбарный ключ. За дужку была привязана веревка, на другом конце которой болтался толстенный, обрубленный с конца гвоздь.

– А ну-ка? Что это за снасть? – Кадыков взял ключ, обрубок гвоздя, понюхал: – Серой пахнет. Как же он стреляет?

– Серку надо со спичек соскоблить, гвоздем ее уплотнить, потом шарахнуть по шляпке гвоздя. А лучше ударить об дерево или о камень. Она и бабахнет.

– А ну, покажи! – приказал Кадыков.

– Да целую коробку спичек соскоблить надо. Ключ-то большой.

– На, соскабливай! А я погляжу. – Кадыков протянул Федьке коробок спичек.

Маклак открыл его и стал набивать спичечной серой ключ, как патрон порохом; соскоблит три-четыре головки, утрамбует их гвоздем и снова скоблит. Так и опустошил весь коробок. Заткнул гвоздем канал ключа, одной рукой взялся за веревочку, второй придерживая «снасть», сказал:

– Вот эдак размахнешься и ка-ак шляпкой гвоздя шандарахнешь... Хотя вот о

печку, хоть о кровать. Она и выстрелит.

– Ну, давай, покажи свою орудию в деле. Или нет, погоди минуту! – Кадыков вышел из горницы в избу и сказал хозяйке, сучившей на веретене пряжу: – Вы, мамаша, не пугайтесь грохота. Это мы опыт делаем... по химии. – И, вернувшись, с порога приказал: – Бей!

Маклак с размаху ударил шляпкой гвоздя о грубку, грохнул выстрел, дым с огненным блеском вырвался из ключа, и в горнице запахло серой. Кадыков только головой покачал.

– Давай сюда! – Он отобрал у Федьки ключ вместе с гвоздем и положил его в сумку. – А кто в клубе в окно стрелял?

– Это я. Все из того же ключа. Об угол стукнул.

– А кто окно разбил?

– Соколик, Четунов.

– Зачем?

– У него есть зазноба, Маруська Силаева. Она в репетициях участвует и целуется с учителем. А Соколик ее ревнует к тому учителю. Ежели, говорит, будете целоваться – застрелю. Вот он и попросил меня ахнуть из ключа, когда они целоваться стали. А сам ударил палкой по стеклу...

– Ах вы, мать вашу перемать! Ревнивцы сопливые! Доигрались... Вот как вы рассчитываться станете? – ругался Кадыков, а в душе у него отлегло – слава богу, подтвердилась его догадка. И Озимое успокоится. Не то хоть из милиции беги, под носом шуруют всякие элементы, а они ушами хлопают.

– Ладно... Яблоки в сельпо отвезут. Недостачу родители ваши оплатят. Сообщим в школу, попросим, чтобы вас пристыдили. Всыпали публично. Авось отобьют охоту озоровать... Но имейте в виду, если еще раз попадетесь, тогда не пеняйте. Посадим и будем судить. Ясно?

– Ясно, – пересохшим горлом ответил Маклак.

– А теперь скажи, кто хвост отрезал у лошади Чубукова?

– Это не я.

– Так, может, приятели твои?

– Не мои...

– Кто же? Назови фамилию!

– Не скажу. Хоть посадите, не скажу. Тогда мне – из школы беги.

– Боишься?

– Никого я не боюсь. Но доносчиком не буду.

– За что ж хвост отрезали?

– Говорят, что он сволочь...

– Ты о ком это выражаешься? О Чубукове?

– Это не я. Я его вовсе и не знаю. На селе так говорят.

– Ну ладно, Чубукова невзлюбили. А за что лошадь обидели?

– Никто ее не обидел. Хвост ей теперь не нужен – комаров нет. А к весне отрастет.

– Эх вы, обормоты! Смотри, Федор, если еще попадешься, пеняй на себя. – Кадыков убрал тетрадь, надел через плечо сумку и вышел.

Ашихмин явился на заседание бюро ячейки райкома с решительным намерением – расшевелить это сонное царство. Надо же – конец октября, а у них еще излишки не

собраны – семь тысяч пудов ржи да три с половиной тысячи пудов овса. Колхозное движение – на мертвой точке, сельхозналог еще кое-где не внесен, самообложение запущено, окладное страхование завалили, заем не распространен. Позор!

Еще в Степанове они договорились с Чубуковым потребовать на бюро введения чрезвычайных мер. Возвышаев нас поддержит, на остальных – плевать.

Но заставить проголосовать членов бюро за чрезвычайные меры оказалось не так-то просто.

Доклад делал первый заместитель Возвышаева, заведующий райзо Егор Антонович Чубуков, прозванный на селе Чубуком; он и в самом деле чем-то напоминал этот старинный курительный инструмент, изо рта его вечно вымахивал сизый дым вперемешку с затейливым матом, ходил прямой и длинный на негнущихся ногах и рокотал гулким басом, словно все нутро его было пустым и составляло одну сплошную полую глотку. Лицо с запавшими черными глазами было мрачно от глубоких аскетических морщин и неровно торчавших во все стороны жестких седеющих волос.

– Первое, что губит весь наш район, это недоучет, товарищи. Во всем недоучет! Перво-наперво – недоучет урожая. Бывший аппарат райзо до моего назначения составил неверный баланс по зерну. Они, видите ли, зачислили этот год в неурожайный и определили недостаток ржи в количестве 7824 пуда по району. На что они опирались? На старые методы земской статистики. Да, когда-то земскую статистику хвалил Владимир Ильич. Но правильно сказал товарищ Молотов – эта статистика теперь устарела. Ибо статистика тоже имеет классовый характер. Почему хлебозаготовка у нас растет? Да потому, что мы переходим от политики ограничения кулачества к политике решительной борьбы с ним. А до некоторых товарищей в нашем районе эта простая истина так и не доходит. Отсюда у нас и недоучет во всем. Жалеют у нас кулака, до того жалеют, что не наладили даже учет помола на мельницах. Неземледельческий доход вообще не учитывается. Данные урожая приняли такие, какие их прислали с мест. Мы с товарищем Возвышаевым пересчитали зерновой баланс в сторону увеличения. Мы сбалансировали по одному только Гордеевскому кусту пять тысяч пудов излишков. Но мало сбалансировать – надо их еще взять. И тут у нас не все в порядке. Некоторые уполномоченные поют с кулацкого голоса – мол, твердые задания невыполнимы. Шкурнические интересы ставят выше государственных. Колхоз «Муравей» вместо сдачи хлебных излишков распределил хлеб по колхозникам. И хуже того – пятьдесят пудов продали на базаре. Позор! В Гордееве начальник ссыпного пункта разослал по сельсоветам извещение о приостановлении вывозки хлеба на том основании, что девать некуда. А церковь на что? Мы сняли этого начальника и отдали под суд. В комсоде Веретья некий Калужин уверял всех, что подворкой<sup>12</sup> переоценили мощь зажиточных. А другой член этого заведения даже сказал, что он-де не согласен. Почему обложили только зажиточных? Если нести тяжесть, то пусть несут и лодыри – беднота. Это не комсод, а комвред. Политика таких комсодов понятна – наряду со всеми освободить и себя.

Чубуков еще долго перечислял все «случаи увиливания и проволочек», под конец хмуро и твердо потребовал:

– Я предлагаю ввести против таких действий чрезвычайные меры: беспощадное обложение штрафами в пятикратном размере вплоть до конфискации имущества.

---

<sup>12</sup> Вид дополнительного налога, обложение хозяйства, подати, повинности деньгами или припасами.



Слушали его молча, насупленно, не глядя друг на друга, – каждый, казалось, по-своему переживал и оценивал эти трудные задачи, поставленные перед районом.

– Ну, какие будут соображения по существу? – спросил наконец Поспелов после долгой паузы.

– Я хочу задать вопрос представителю окружкома, – сказал Озимов, тяжело ворочаясь на стуле, так что его выпирающая из ворота черной гимнастерки шея покраснела. – Как обстоят дела со штрафами в других районах?

Ашихмин вынул из кармана френча записную книжку и прочел с места, не вставая:

– Политика наложения штрафов, согласно постановления ВЦИК и СНК о мерах воздействия на кулака, по некоторым районам развернута была недостаточно. Так, например, по Ермиловскому району за невыполнение заданий всего было наложено штрафа на сумму тысяча девятьсот девяносто пять рублей; Пугасовский район – три тысячи рублей, оштрафовано семь хозяйств; Захаровский район – две тысячи триста пятнадцать рублей пятьдесят копеек... – Он запнулся и пояснил: – Виноват, на эту сумму было продано имущество пяти хозяйств. Зато в Сараевском районе было оштрафовано сто три хозяйства. Продано имущество в сорока одном хозяйстве, из них попов двенадцать, мельников – семнадцать, остальные кулаки. В этом районе хорошо поработали. Как видите, товарищи, цифры говорят сами за себя. За исключением одного района, со сдачей хлебных излишков по линии кулацких хозяйств у нас не все благополучно. Надо подтянуться.

– Так, хорошо. Кто хочет выступить? – спросил Поспелов.

– Дайте мне слово! – Возвышаев встал, приподнял со стола пачку исписанных листов, потрепал ею в воздухе и снова бросил на стол. – Вот здесь записано детально по каждому сельсовету наше позорное отставание по хлебозаготовкам. В чем тут дело? Где корень зла? Может быть, мы не получили вовремя контрольные цифры? Нет, округ спустил нам эти цифры. Может быть, мы их не распределили по сельсоветам? Нет, распределили. Так в чем же дело? Корень зла – в нашей либеральной терпимости. Только там, где проявлена пролетарская воля и решительность, дело стронулось с мертвой точки. Вот вам пример по Степановскому узлу. Стоило взяться товарищам Чубукову да Ашихмину и тряхнуть публично одного кулака, как все остальные сами прибежали, привезли свой хлеб на ссыпной пункт. О чем говорит этот случай? О том, что мы позабыли, в чьих руках находится власть. Наша милиция бежит от хлебозаготовок. Ее и калачом не заманишь на конфискацию имущества. Видать, товарищ Озимое боится бунтовщиков. Зато классовые враги не дремлют – они, понимаете ли, у нас под носом, в районном центре, стреляют по сторожам и клубным окнам, обрезают хвосты у наших риковских лошадей в насмешку перед всем народом и даже подбивают несознательные элементы к открытым выступлениям против властей, как это было в Тимофеевке и на заседании актива в Тиханове. Сколько дней прошло, как мы роздали твердые задания? В Тимофеевке да в Тиханове десять дней, а по Гордеевскому узлу и того больше! А эти кулаки и не думают вносить деньги и хлеб. Я предлагаю на бюро обязать органы милиции и представителей сельсоветов провести конфискацию имущества у злостных неплательщиков в течение двадцати четырех часов.

Возвышаев сел и с вызовом уставился на Озимова. Тот смерил его спокойным взглядом и равнодушно отвернулся.

– Милентий Кузьмич, – сказал он Поспелову. – Пока вы болели, а я находился в

округе, Возвышаев тут целую обедню устроил насчет классовых врагов. На весь округ развонил, будто у нас кулачье открыло стрельбу в больничном саду да в клубе и увезли кооперативные яблоки...

– Это не звон, а проверенные факты! – вскочил Возвышаев. – Я прошу зафиксировать документально этот выпад Озимова.

Паринов, писавший протокол, оторвался от бумаги и посмотрел на Пospelова.

– Ну зачем же так горячиться? – поморщился Пospelов, снял очки и стал протирать их носовым платком, словно они запотели. – Давайте, товарищи, проявлять сдержанность и уважение. Работа наша сложная, поэтому меньше амбиций, больше трезвости. – И не понятно было, кому он говорил: Возвышаеву или Озимову.

– Я это говорю не в амбиции, а после расследования уголовным розыском, – сказал Озимое. – Вот что установлено: яблоки из больничного сада увезли ребята на сиделки, спрятали их в амбаре. Яблоки в кадках и в полной сохранности. Они возвращены кооперативу. Хулиганство в клубе с разбитым окном – дело тех же самых рук.

– Хорошенькое хулиганство – стрельба из ружей по активистам и сторожам, – усмехнулся Возвышаев.

– Ружей не было. Стреляли вот из чего. – Озимов вынул из кармана Федькин ключ и положил на стол. – Соскабливали серку со спичек, набивали ее в канал этим гвоздем и палили.

– Ну-ка, ну-ка? Знакомая снасть! – потянулся Митрофан Тяпин. – Из этих шуток и мы бабахали, особенно в половодье на праздники.

– Стрелять из ключа? – удивился Пospelов и водворил очки на место. – Ну-ка, дайте мне!

К Пospelову потянулись и другие члены бюро:

– Что за пушка?

– Амбарный самопал! Хе-хе.

– Это на сказку похоже, товарищ Озимов, – сказал Возвышаев.

– Митрофан Ефимович, бабахните из этой штуки об голову Возвышаева, как о булыжник. Может быть, он поймет тогда, что это не кулацкий обрез.

– Это можно, – сказал Тяпин и хохотнул.

– Что? – Возвышаев опять вскочил с места и – к Пospelову: – Я предлагаю кончить этот балаган.

– Дак вы же не местный, и не знаете, что у нас издавна палят из таких шуток, – повысил голос Тяпин.

– Спокойствие, товарищи, спокойствие! – Пospelов постучал карандашом об стол. – А хулиганы арестованы?

– Они несовершеннолетние, – сказал Озимое. – Им по шестнадцать лет.

– Чьи ребята? Фамилии? – спросил Возвышаев.

– Четунов, Бородин, Савкин.

– Посадить родителей! Отцов то есть.

– А это уж не ваша забота, товарищ Возвышаев. На то у нас прокурор имеется.

– Товарищи, давайте решать вопрос по существу. Хватит перепалок! – опять постучал карандашом Пospelов. – Есть предложение насчет применения чрезвычайных мер, то есть конфискации имущества неплательщиков. Какие будут мнения?

– Надо сформулировать так, – сказал Озимов, подымаясь. – Конфискацию

имущества с распродажей применять в крайних случаях, то есть как исключение.

– Постановление ВЦИК и СНК применять как исключение?! – крикнул Возвышаев.

– Согласно этому постановлению, Милентий Кузьмич, мы обложили кулаков еще в августе месяце, – ответил Озимов, но не Возвышаеву, а Пospelову. – А в октябре, согласно новому зерновому балансу, составленному Чубуковым и Возвышаевым, нам спустили новые контрольные цифры. Обложение идет фактически по второму кругу. Мы это должны учитывать. Круг облагаемых значительно расширился, и не каждый способен быстро внести необходимую сумму обложения.

– Так что же нам делать? В ноги кулакам кланяться, что ли? – спросил Чубуков.

– Есть кулаки, а есть и дураки, – ответил, озлясь, Озимов. – Заниматься политикой – это вам не в подкидного дурака играть. Объявил – бубны козыри и лупи сплеча. А если мы впопыхах в кулаки середняка затолкаем да пустим его в расход, тогда как? Кто отвечать будет? Митька-милиционер, который по твоей указке этой конфискацией заниматься будет?

– Не надо бояться ответственности, – сказал Возвышаев.

– Ну, это ты учи свою мать щи варить. А мы учены. Я эскадронком командовал.

– И мы не на печке сидели.

– Товарищи, товарищи! Ближе к делу. Что вы предлагаете конкретно? – спросил Пospelов.

– Штрафы накладывать не в пятикратном размере, а в соответствии, то есть почему зерно стоит на рынке. Чтобы каждый знал: не хватает – купи. А штраф в пятикратном размере – это обыкновенная обдираловка, – сказал Озимов.

– А ежели все равно платить откажется, тогда как? – спросил Пospelов.

– Распродажу проводить только с согласия общего собрания, – ответил Озимов и сел.

Спорили долго, гудели, как шмели на лугу. Между тем Пospelов незаметно подвел всех к решению, необходимому для каждого: штрафовать надо, но не в пятикратном размере, милицию использовать при конфискации, но... в качестве охраны порядка. Милиция ничего не отбирает, актов и протоколов на конфискацию не составляет. Всю распродажу и конфискацию берут на себя органы Советской власти, то есть сельсоветы и райисполком.

Потом по вопросу о сплошной коллективизации делал сообщение Ашихмин. Он заверил от имени окружкома, что сплошная коллективизация округа – дело решенное, что ждут всего лишь утверждения, а вернее, сигнала, чтобы объявить об этом во всеуслышание. В Москве сам товарищ Каганович говорил об этом на закрытом совещании. И уже теперь надо готовиться к этому великому событию, которое опрокинет наконец самую надежную опору капитализма – частную собственность в деревне.

– Поэтому, товарищи, в октябре все твердые задания должны быть покрыты. Пример успешного решения этого вопроса был показан товарищем Чубуковым в Степанове. Должен сказать, что некоторым работникам просвещения это не понравилось...

Все поглядели в сторону заврайона – подслеповатого широкобрового Чарноуса, прикорнувшего на диване; при слове «просвещения» он очнулся и удивленно таращил на Ашихмина свои светлые, как стеклярусные бусы, глазки.

– Да ведь и то сказать, – продолжал Ашихмин, переждав всеобщее оживление. –

Среди просвещенцев много у нас людей из духовного звания, не порвавших со своим прошлым ни в духовном, ни в материальном отношении. Чего греха таить, пуповина старого грешного мира еще многих из нас прочно удерживает. Надо рвать ее и выходить на простор новой жизни, который открывает нам всеобщая коллективизация. В ответ на нытье правых, пугающих нас, что-де, мол, темпы коллективизации не под силу, что мы-де захлебнемся в горлышке узких мест, партия призывает в поход против узких мест. Вы все знаете из газет, как в Ирбитском округе три района вошли в одну колхозную семью. Положено начало колхозу-гиганту на площади в сто тридцать пять тысяч гектаров. Вот на какие великие дела надо себя настраивать, товарищи. А для этого смелее ломать сопротивление кулака и в ударном темпе завершить к праздникам все хлебозаготовки.

В заключение решили: послать в отстающий Гордеевский куст по хлебозаготовкам специальную комиссию из района. В нее вошли по собственному желанию Возвышаев, Чубуков, и вписали еще судью Радимова.

– Товарищи, на разное у нас намечалось несколько дел коммунистов, хромающих в кампании по хлебозаготовкам. Но поскольку мы собрались в экстренном порядке и не успели вызвать их, то предлагаем перенести этот вопрос целиком на следующее бюро, – сказал Пospelов.

– Может, проголосуем? – спросил Чубуков.

– Чего ж голосовать, когда людей не вызвали? – сказал Озимов, вставая.

– С мест не вызвали, зато тихановские здесь. – Возвышаев стрельнул косым глазом на Марию, сидевшую рядом с Черноусом на диване.

– Разбирать, так всех сразу, – сказал Озимов. – Чего поодиночке таскать, как хорек цыплят.

– Да, да, товарищи. Давайте перенесем на конец кампании. Может быть, некоторые поймут, подтянутся, – сказал Пospelов, вставая.

Тяпин подошел к Марии и слегка толкнул ее локтем:

– Ну, Маша, скажи Озимову спасибо. Не то оципали бы тебя, как курицу.

– Жаль, жаль, что разное отменили, – сказал Ашихмин, подходя к Возвышаеву. – Я хотел насчет учителей степановских поговорить.

– А что там случилось? – поспешно спросил Черноус, вставая с дивана.

– Отказываются!

– Как? От чего отказываются?

– От хлебозаготовок. От конфискации имущества. Предложил митинг провести на распродаже – отказались. И мутит воду, по-моему, Успенский.

– А-а, этот обиженный! Он когда-то военным столом заведовал в волости, – сказал Возвышаев. – Типично правый элемент.

– Педагог хороший, – сказал Черноус и, вроде извиняясь, добавил: – Инспектор хвалит его.

– В наше время мало быть только хорошим педагогом, – возразил Ашихмин. – Учитель – проводник политики партии на селе. А он по взглядам не то эсер, не то славянофил, и не поймешь.

– Хорошо! Мы разберемся, – заверил его Черноус.

– И разбираться нечего. Правый уклонист, – сказал Возвышаев.

– Впрочем, в одном деле он меня удивил, – сказал Ашихмин уже у порога. – Приехали в Степанове тихановские представители агитировать его за вступление в колхоз. И он, знаете ли, согласился. Все имущество отдает колхозу: и дом, и амбар, и

коров, и лошадь...

– Вовремя сообразил, – усмехнулся Возвышаев. – Мы бы у него и так все отобрали. Добро это попом награблено и принадлежит народу. Просто его кто-то предупредил.

– Ах, вон оно что! Тогда мне все понятно, откуда забил источник благородства, – со значительным выражением поджал губы и покачал головой Ашихмин.

– Мы все выясним, все выясним, – торопливо говорил Чарноус и кланялся у порога, пропуская всех впереди себя.

## 6

В семье Бородиных обеденное время, а еще перед ужином было не только долгожданным, но и веселым, людным и каким-то отрадным.

До нынешней осени частенько приезжали и приходили гости, а перед тем, как сесть за стол, подолгу беседовали в горнице. Младшие девочки Елька и Саня просились гостям на руки и любили теревить кофты да полушалки, а то расчесывать бороды или усы. Особенно одолевали бабу Грушу – Царицу.

– А почему тебя Царицей зовут?

– Нос у меня царский, дитяtko, да голос зычной, как у Ильи Муромца. Вот и зовут, стало быть...

– А почему у тебя бороды нету?

– Нам с дедом одну бороду дали на двоих. Дед Филипп унес ее.

– Куда?

– На тот свет.

– А ты сходи на тот свет и принеси ее...

И хохот на всю горницу. Больше всех приставала с расспросами бойкая шалуныя Елька, прозванная отцом ласково Коконей-Маконей.

Сережа, напротив, был молчалив и застенчив, он любил незаметно присесть где-нибудь в уголке и слушать, слушать без конца эти разговоры взрослых о войне да о колхозах, о тяжелых дорогах, о плутании в метель, о встречах с волками, а то еще про нечистую силу. «Иду я, братушки, с мельницы через выгон в самую полночь... Осень, грязь... в двух шагах ничего не видать. Он и летит. Голова вроде вон конфорки, круглая и светится. И хвост лентой вьется, искры от него во все стороны. Стоп – себе думаю... Это же змей...»

Этой осенью гости перевелись, так ребятишки придумали другую забаву – как только отец, убравшись со скотиной, приходил к обеду, они с визгом и хохотом бросались на него с печки, с полатей, лезли по ногам с полу, забирались на плечи, на спину и весело приговаривали: «Пилю дуб! Пилю дуб!» Это у них называлось – спилить дуб. Андрей Иванович топтался, как слон по полу, подходил к высоко взбитой, убранной постели и, придерживая детишек, издавал громкий вздох: «Ух ты, спилили!» И валился вместе с ними на кровать.

То-то было визгу и хохоту, барахтанья в подушках ребятишек, пока не разгоняли их сердитые окрики матери:

– Вы опять всю постель скомкали? Вот я вас мутовкой да по мягкому месту... Да по башке родителя вашего, который дурью мучается...

А за обедом сидели чинно, работали ложками вперегонки, особенно когда мясо таскали из чашки по общей команде отца.

– Папань, ты говорил – ноне сниматься пойдем к фотографу, – сказала Елька,

отработав ложкой.

– Я тебя сам сниму, – ответил Андрей Иванович, подмигивая Надежде.

– В ботинках? – обрадовалась Елька.

– Ага. Давай, тащи их!

Елька соскользнула со скамьи и побежала в горницу за новыми ботиночками.

– Вот они, вот мои ботины! Снимай!

– Это мы сейчас... Надевай их!

Андрей Иванович принес сапоги, поставил на табуретку Елю и сказал:

– Ну, Коконя-Маконя, покажи, как ты будешь стоять у фотографа?

– Вот как! – Еля вытянула руки по швам и замерла.

Андрей Иванович поднес сапоги к вискам, накрылся черным платком и поглядел, пригнувшись, из-под платка на Елю:

– Ты меня видишь?

– Вижу, – ответила Еля.

– И я тебя вижу. Завтра будет карточка готова.

Маруся, Елька, Саня захлопали от радости в ладоши, а Сережа и мать засмеялись.

Тут и вошел Санька Клюев, снял шапку и, глядя себе под ноги, изрек от порога:

– Андрей Иванович, тятка тебя зовет.

– Что случилось?

– Нам штраф принесли, семьсот рублей. Ежели ф не заплатите, говорят, в двадцать четыре часа, все отберем и распродадим.

– Кто говорит?

– В бумаге написано. Мамка в голос вопит. Не знаем, что и делать.

– За кем еще ходил?

– За Алдоновым, за Бандеем.

– Ладно, приду, – сказал Андрей Иванович, провожая парня.

– Доигрались, – сказала Надежда.

За столом Бородиных воцарилась мертвая тишина, даже ребяташки присмирели, толком не понимая – что случилось, отчего так посуровели отец с матерью.

Наконец Андрей Иванович обмыл над лоханью руки, обтер полотенцем усы и двинулся к вешалке.

– Не ходил бы, Андрей, – неуверенно сказала Надежда.

– Еще чего? – отозвался сердито Андрей Иванович от порога.

– А может, всех вас там на заметку возьмут, как эти самые алименты.

– Ты вон со стола убирай. Да скотину напои, – насупившись, отвечал Бородин, натягивая шапку. – А в мои дела не суйся. Я и без тебя разберусь как-нибудь.

– Гляди-ко, твои дела... А это чьи дела? – показала она на детей. – Дядины, что ли? Ежели с тобой что случится, куда их девать? Тебе ж на шею не намотают их, а со мной оставят.

– Намотают, намотают, намотают, – засмеялась Елька и замахала ручонками.

– Цыц ты, бесенок! Типун тебе на язык, – шлепнула ее мать.

Та притворно захныкала.

– Ладно тебе каркать, ворона! А то, не ровен час, накаркаешь беду, – сказал Андрей Иванович. – Не могу ж я к человеку задом обернуться? Надо же посоветоваться, помочь ежели в чем. Иль мы не люди? Сегодня его тормозат, завтра за меня возьмутся. А мы, как тараканы, по щелям расплозимся? Так, что ли?!

– Тебя разве перетолкуешь? Ты как жернов на помеле – закрутишься, так черт не

остановит. Ступай, ступай, только потом не пожалей. Локоть близко, а не укусишь.

– Ты чего, сдурела, что ли?

– Не я сдурела, а вы с ним вместе сдурели. Уперлись, как быки. Довели ж ему задание на сто пудов, так пусть сдает. Чего ждать-то? Власть шутить не любит. Поперек пути пойдешь – все потеряешь. Не он первый, не он последний. Чего он ждет?

– Да голова – два уха! Сегодня они сто пудов наложили – отдай им без слов, завтра, глядишь, еще сто привалят. Вон как Костылину. Не то еще и двести запишут. У них аппетит, как у того Тита, что с большой ложкой лезет за стол кашу есть. Ежели окорот им не давать, они нас без порток по миру пустят. Понятно?

– Тоже нашлись укоротители! Смотрите, сами на задницу не шлепнитесь. Окорот! Кому, властям, что ли?

– Да ведь власть-то из живых людей состоит, а они все разные. Один прет напролом, глаза вылупив, а другой и посмотрит, что к чему... Да что с тобой говорить! – Андрей Иванович махнул в сердцах рукой и вышел.

А что, пожалуй, Надежда права, думал он, идя к Федоту Ивановичу. Такая карусель завертелась, что поперек дороги станешь – сомнут. Клюев не понимает этого – больно азартен до выгоды. Где что услышит насчет купли и продажи, да по дешевке – ночи не будет спать, на край света улетит, а достанет. Недаром его Совой прозвали: «Энтот на локте вздремнет и снова на добычу улетит». Он и мышью не побрезгует, уберет, ежели оборот от нее будет. После отмены продрозверстки, когда ввели свободную торговлю хлебом, они с братом Спиридоном по три тысячи, а то и по пять тысяч пудов зерна скупали за один базар, засыпали доверху свой семейный амбар, потом нанимали обозы и отвозили его на окскую пристань Ватажку, с Амросиевыми состязались. Прибыль – по копейке с пуда. Над ними смеялись: «Сова, дерьмо клевать и то выгодней – далеко летать не надо». А они богатели – по тридцать и по сорок рублей с каждого базара брали. Вот тебе и дерьмо! Спиридон молотилку купил, а Федот расстроился, как купец Иголкин – к пятистенному дому вышку прирубил да еще теплую мастерскую сложил из кирпича, что твой цех. Весь двор и подворье обнес высокой кирпичной стеной, инструменту накупил дорогого, австрийского и колесы точить начал. Руки у него золотые, ничего не скажешь. Но азарт, зарасть покоя не давали.

Мало колес! Шерстобитку подкупил, валенки валять начал в зимнюю пору, а по весне еще и кирпич подряжался бить. И когда он только успевал все делать? Семижильный, что ли? Видать, уж порода такая.

Дед его, Омеля, помер через свой азарт. Как напьется – бьет себя в грудь и кричит на весь проулок: «Я капитан!» В Астрахани на ботике людей перевозил с берега на берег. Вернулся домой с неукротимой жаждой – разбогатеть. А земли – всего две души. Так он половину надела морковкой заседал. Вот и ковырялся в ней – всю осень ходил грязный, как боров из лужи. Только что не течет с него. Все морковку продавал на базаре. Про него говорили, смеясь: капитан красным товаром торгует. А как землю получил после революции, так первым делом желоб вырубил из мореного дуба величиной с добрую лодку. «Ты что, Омеля, али купаться задумал в желобе-то?» – «Я, братушки, к этому желобу четыре лошади поставлю». – «Откуда ты их возьмешь?» – «Куплю!» – «На что купишь, на какие шиши?» – «А вот с морковы разбогатею. Таперика земли много».

Но разбогатеть с моркови так и не успел. В большой пожар двадцатого года он

зацепил желоб вожжами, выволок его со двора на дорогу и тут же помер. Надорвался...

Возле кирпичного подворья Клюевых, привязанная за кольцо, стояла накрытая попоной лошадь. Эге, кто-то издалека прискакал, подумал Бородин. Он прошел по дорожке из красного кирпича, выложенного елочкой на подворье. Входом парадным хозяева, видно, никогда не пользовались, двустворчатая дверь была забита наглухо, и на каменных ступенях крыльца торчал рыжий, спаленный морозом пырей. На подворье Бородин заметил свежую кучу березовых болванок, приваленных к стенке мастерской. Ба! Да это ведь Скобликове добро-то перекочевало сюда. Видать, в ту ночь Клюевы не спали.

В горнице за столом кроме хозяина сидели брат его, Спиридон-безрукий (руку оторвало ему на молотилке), Мишка Бандей, Прокоп Алдонин, Иван Никитич Костылин да еще бродячий юрист Томилин, который забрел из далекой Елатьмы. Он летел сюда, как ворон на добычу; чуял, когда мужиков трясли. Появлялся он здесь и в ту пору, когда прогрессивным налогом обкладывали, и когда самогонщиков гоняли, и когда торговлю хлебом запрещали, ловили на ночных дорогах подводы с зерном.

Завидя его высокую сутулую фигуру в длинном черном пальто, как в сутане, бабы шарахались в стороны и торопливо, истово крестились: отнеси, господи, от порога моего. Тот, к кому он сворачивал, обреченно опускал голову и смиренно выслушивал – куда надо идти жаловаться и кому писать прошение. И вот что диво: горожане знали одного Томилина, а поселяне – совсем другого; в городе Томилин околачивался возле трактира да пивной, попрошайничал, кривлялся, изображая из себя то артиста, то певца, то скомороха, а здесь, по селам, ходил угрюмый и важный, как поп, и вместо грязной рубашки с галстуком надевал черную просаленную, как власяница, толстовку. «Перво-наперво изложите вашу обиду, кто вас потревожил? А насчет закона не беспокойтесь – распутаю и напишу куда следует».

Он и рассказывал, покуривая «козью ножку», заложив ногу на ногу в латаных и растоптанных сапогах. Бородин снял шапку и, распахнув полушубок, присел на скамью. Ему кивнул головой хозяин, и он кивком головы поздоровался со всеми разом. Слушали Томилина все, угрюмо насупившись.

– Вы, мужики, народ упрямый и недоверчивый. Пока вас оглоблей по шее не ахнут, вы и не почешетесь. Ведь ясно же – проводится политика ликвидации кулачества как класса. В этой связи надо перестраивать свое хозяйство – видимую часть его надо уменьшать, а невидимую – увеличивать.

– Это какая же видимая, какая невидимая? – спросил Прокоп.

– Видимая часть та, что состоит на учете в сельсовете, а невидимая часть лежит у тебя в кармане.

– А чего с этой невидимой частью делать? В карты ежели спустить или пропить, – сказал Бандей.

– Деньги, ежели они находятся при трезвой голове, могут делать еще деньги.

То-то и видно, что за трезвая у тебя голова, подумал Бородин, глядя на его отекавшее серое лицо с проваленными подглазьями.

– Нет, – сказал Федот Иванович, – этот оборот не для нас. Наше богатство – вот оно! – выложил он на стол огромные, как лопаты, ладони. – К ним нужен еще добрый инструмент да справное хозяйство – иначе с голыми руками ничего путного не сотворишь. В каждом деле должен быть упор, но когда этот упор выбивают из-под тебя, тогда как? Ну, продам я хозяйство, продам инструмент, а самому куда деваться?



В город на торги, что ли?

– Зачем в город? Здесь оставайся, – смиренно отвечал Томилин. – Вступай в колхоз. Уравняй себя со всеми иными прочими в этой видимой части. А дома, для себя – ты тот же мастер. Или тебе заказы не принесут? Принесут. Кому самопряху сделать, кому кадку, кому рубель... Да мало ли нужды в хозяйстве у каждого останется.

– Это что же выходит? Вы мне вроде бы советуете отвезти самому и лошадей, и коров, и весь инвентарь энтим голозадым? Отдай жену дяде, а сам ступай к б...? Нет уж, дудки. Пускай лучше порушат и хозяйство мое, и меня с ним, ежели ф есть у них такое право. А я погляжу, погляжу! – Клюев сжал кулаки и стукнул себя по коленке.

– О каком праве ты говоришь, Федот Иванович? – сказал Костылин. – Разве тебя по праву обложили? Ты же все налоги выплатил? Ну! И я выплатил. Я даже одно твердое задание оплатил, так второе дали. Откажемся – разорят вконец. Вон Лопатина в Степанове из дому выбросили и все имущество распродали. Ступай теперь на все четыре стороны, ищи свое право. Куда хоть жаловаться? – спросил он Томилину.

– В этой связи надо писать в президиум ВЦИК на имя товарища Калинина, – ответил Томилин.

– А что толку от этих писаний? – сказал Бандей. – Туда писать, что на луну плевать, только себя тешить пустой надеждой.

– Ну, не скажите, – возразил Томилин. – Михаил Иванович – свой человек, он из тверских крестьян.

– Ты сколько ему писал жалоб-то? – спросил его Прокоп. – У тебя на голове волос, поди, меньше будет, – глянул он на лысеющую голову Томилину. – И что ж, на все ответ приходит?

Тут расхлестнулась дверь, и, грохая сапогами, ввалился Федорок Селютан.

– Здравствуйте, с кем не виделись! – загремел он от порога. – Кого ждут, а кто и сам идет.

– У нас лишних не бывает, – отозвался хозяин. – Присаживайся, Федор! – И опять Томилину: – Вы вот что скажите: отчего этот свой человек из ВЦИКа многого не замечает? Или задание такое получил?

– До всех у него руки не доходят, – ответил Томилин. – Сколько нас? Миллионы! А он один. Но верить надо, что твое дело дойдет.

– Н-да. И тут верить надо, – сказал Иван Никитич. – А я вот вам что скажу, мужики. Политика – такая штука, что она существует сама по себе. Ты в нее вошел, как вот в царствие небесное, а назад ходу нет. Там уж все по-другому, вроде бы и люди те же, а летают; ни забот у них, ни хлопот – на всем готовом. А порядок строгий: день и ночь служба идет. Смотри в оба! Перепутаешь, не ту молитву прочтешь – тебя из ангелов в черти переведут. Нет, мужики, им не до нас, они своими делами заняты. Так что надеяться нам не на кого. Есть у тебя своя голова на плечах – вот и кумекай, чтобы не попасть как кур во щи.

– Извини, братец, но у тебя понятие о политике старорежимное, – усмехнулся снисходительно Томилин.

– А ты что, политик? Юрист, да? – спросил Селютан, выкатывая на него белки.

– Да, юрист, – качнул головой Томилин.

– Тогда ответь на такой вопрос: почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах?

– Ну, это несерьезно!

– Как так – несерьезно? Видел на портретах – Ленин в ботиночках со шнурками.

И брюки отглажены. Все честь по чести. А Сталин завсегда в сапогах. Почему?

– Такая уж форма одежды. Сталин – человек полувоенный, – ответил, пожимая плечами, Томилин.

– Чепуха! – сказал Федорок. – Ленин был человек осмотрительный, шел с оглядкой, выбирал места поровнее да посуше, а Сталин чертом прет, напролом чешет, напрямик, не разбирая ни луж, ни грязи.

Все засмеялись, задвигались, зашаркали сапогами.

Вошла в горницу через внутреннюю дверь худая горбоносая старуха, мать Ключева, прозванная на селе Саррой, хотя по крещению записанная когда-то Сосипатрой. Сурово и прямо глядя перед собой, она несла в протянутых руках графин с зеленоватой, как расплавленное стекло, самогонкой и краюху хлеба. Положив это добро перед хозяином, она все с той же погребальной строгостью прошла к переднему углу, зажгла лампаду перед божницей, перекрестилась, кидая щепоть пальцев длинной худой руки, и вышла все с той же сосредоточенной строгостью на лице, ни на кого не глядя и никого не замечая. С минуту все молчали, будто покойника пронесли.

Хозяин, нарезаая хлеб, стараясь расшевелить притихших гостей, весело спросил Селютана:

– У тебя, Федор, на все есть готовый ответ. Скажи откровенно, платить мне штраф или нет? Только подумай сперва.

– Тут и думать нечего: ежели дурак, то плати штраф. За что? Сам подумай! Советской власти ты не должен. Налог внес, самообложение тоже, госпоставки всякие и тому подобное. А это – беднота дурит, она свой оброк на тебя наложила. Ротастенький старается, под корень тебя секут. Покажи им вот такую малину, – он заголил по локоть руку и покачал здоровенным кулаком.

– А если мое хозяйство разнесут? – спросил Ключев.

– Бери с собой Сарру и топай в Москву. Покажи ее в Кремле. Вот, мол, до чего нас довели. Они испугаются и все вернут тебе сполна.

Бородин не выдержал и захохотал, потом, сглаживая неловкость перед Ключевым, сердито сказал Селютану:

– Обормот ты, Федор! Тебя всерьез спрашивают, а ты жеребятину несешь.

Ключев, насупившись, молчал, а Иван Никитич, глядя в передний угол на ровно светившую лампаду, сказал, вздыхая:

– Ох-хо-хо! Жизнь окаянная настала. Мечемся, грыземся как собаки, прости господи! А про спасение души своей и подумать некогда. Я уж, грешным делом, совсем запамятовал. Что за праздник ноне, Федот Иванович?

– Праздник не праздник, а все ж таки день Иверской иконы Божьей Матери, – ответил Ключев.

– Да, да. Принесение иконы в Москву в царствование Алексея Михайловича. Спаси и оборони нас, царица небесная. – Костылин торопливо перекрестился и, склонив голову, задумался.

– Да, – подтвердил собственные мысли Прокоп. – Это верно. Каждое явление Божьей Матери своей иконой отмечено. Одно слово – акафист.

– Всего было семьдесят пять явлений Божьей Матери. А вот почему теперь их нет? – спросил все время молчавший Спиридон-безрукий.

– Явления Божьей Матери исторически никем не зафиксированы, – сказал Томилин. – То есть это вроде мифологии.

– Чаво? – Федорок поглядел на него с презрением и добавил: – В другом месте

наставил бы я тебе самому эту пифологию под обоими глазами.

– Это не доказательство. Ты вот ответь человеку, почему теперь нет этих явлений? Ясно же, что религиозный дурман схлынул и вера в чудеса пропала.

– Дурман никуда не схлынул; кто был дураком, тот дураком и остался. А явлений нет потому, что бог махнул на нас рукой. Как вы, говорит, деретесь, так и разберетесь.

– Логика оригинальная, но ответ не по существу. – Томилин отвернулся от Селютана и забарабанил пальцами по столу.

Вошел Санька Клюев, одутловатый сутулый малый лет двенадцати. Он принес тарелку соленых огурцов и на деревянной чаше квашеный вилок капусты. Клюев-старший, заметив вилок на чаше, строго сказал сыну:

– Это кто ж надумал квашеный вилок на хлебную чашу класть?

– Бабаня подала из подпола.

– Бабаня! А ты чем думаешь? С него сок течет, а дерево влагу не любит. Живо тарелку!

Бородин глянул на чашу и поразился ее диковинной резьбе: по широким краям ее были рельефно выточены груши, да яблоки, да виноградные грозди вперемешку с игрушечными седелками и хомутами. И только теперь, будто в первый раз, заметил он и затейливую резьбу на божнице в виде петушков да лисиц, и косяки оконные и дверные, покрытые резьбой на манер церковных колонн, и верхний кружевной бордюры на изразцовой лежанке возле грубки. Ну и ну! Такое вырезать да выточить может только человек, и взаправду не спящий целыми ночами.

Санька принес еще тарелку и стеклянные стопки. Федот Иванович мотнул ему головой:

– Присаживайся!

И тот, зардевшись от радости, с повеселевшим лицом, сел на лавку. Федот Иванович нарезал вилок широкими ломтями, положил их на тарелку и полил конопляным маслом, в стопки налил самогонки.

– Ну, будем здоровы, если не помрем.

Выпили дружно, с выдохом, потом шумно хрустели капустой, разгоняя по горнице тяжелый и смрадный запах сивухи.

– Явлений теперь нет, это верно, – сказал Федот Иванович. – Не слышать про них что-то. А вот к чему знамения бывают?

– Какие знамения? – спросил Томилин.

– Обыкновенные. Летом на старом бочаговском кладбище спаренных волов видели. Не наших быков, а волов – с длинными, загнутыми кверху рогами. Пытались их взять и наговором, и молитвой, по-всякому. Пропадают. Не даются, и шабаш.

– Клад, наверно, – сказал Федорок.

– Клад рассыпается от удара. А эти даже к себе не подпускают. Пропадают! Растворяются в воздухе, как пар с воды. Нет, это не клад. Это знамение. Ох, не к добру. Вон, в Линдеровом лесу опять немка в белом появилась. В старые времена ходила она и плакала в Ивановскую ночь. А теперь, говорят, по осени ходит. Намедни Тарантас за дровами ездил. Да припозднился. Она его и встретила на порубке. Стоит на пеньке, плачет и все руки к нему протягивает. Лошадь как захрапит – да в сторону. Телега – со шкворня долой. Вожжи оборвались. Лошадь с одними передками умотала, а Тарантас пешком пришел. Инда поседел, говорят.

– Куда еще? Он и так седой как лунь, – сказал Прокоп.

– Что за немка в белом? Не призрак ли? – усмехнулся Томилин. – Ах, темнота

ваша!

Федорок положил свою каменную пятерню на плечо Томилину, так что тот вильнул корпусом и охнул.

– Ты, паразит, зачем сюда пришел? Жалобы писать? Вот и сиди жди – когда твоя очередь подойдет. А в разговоры наши не суйся! Понял?

– Федор! – осадил его Бородин. – Ты где находишься, на базаре?

– Это он базарит. Начитанность нам показывает. А я ему об уважении напомнил.

– Линдерша, как говорится, здешняя. Эта не в диковину, – сказал Иван Никитич, потом сделал выдержку и понизил голос: – А вот что царская дочь появилась в наших краях, это, мужики, чудо из чудес.

– Фантазия. Царская семья вся была расстреляна, – не удержался от возражения Томилин и опасно покосился на Федорка.

Тот с выжидательной готовностью уставился на Костылина: чего, мол, с ним делать – бить или подождать? – было написано на лице Селютана.

– Вся, да не вся, – сказал Костылин. – Анастасия уцелела. И за границей об этом пишут.

– Интересно, как могла уцелеть она, ежели их в подвале дома купца Ипатьева расстреляли всех в одну и ту же ночь?

– А ты что, сам расстреливал? – спросил все так же враждебно Томилина Федорок. – Ежели ф люди говорят, значит, видели ее. Ну, игде она появлялась? – обернулся к Ивану Никитичу.

– Говорят, она целый месяц в Касимовской типографии работала. Заехал за ней брат царя, Михаил. И по дороге в Пугасово они ночевали у Тихона Карузика. И будто бы, прощаясь, они сказали: граждане, пора надевать кресты. Теперь уж, мол, недолго. Мы вернемся еще.

– Интере-эсно! – покачал головой Федорок, потом вдруг заматерился, ударил по скамейке кулаком и заскрипел зубами: – Ух ты, мать твою перемать! Давай еще по одной дернем!

Клюев, разливая самогонку, повеселев, покосился на Прокопа:

– Ну, и что ты скажешь, Прокоп Иванович? Как, будем платить или нет?

– Я свое все заплатил. Больше мне платить нечем.

– А ты, Иван Никитич?

Тот горестно вздохнул и потер лысину:

– Эх, Федот Иванович, Федот Иванович! Ты, брат, человек опытный и с понятием. Ну неужто не видишь, что они только и ждут, чтобы мы заупрямились? Тут нас и ахнут, как быка по лбу. Как вон с Лопатиным поступили, так и с нами будет. Надо платить.

– А ты что отмалчиваешься, Андрей Иванович? – спросил Клюев Бородина.

– Иван Никитич прав. Ва-банк теперь не играют. Не такое время. Заупрямишься – и сразу пойдешь в расход. Иные приткие из начальства только этого и ждут. Он, мол, несговорчивый. Зачем же самому напрашиваться на конфискацию? Зачем облегчать им работу?

– Постой! Но ведь ты сам не внес сто пятьдесят пудов сена?!

– Я действовал окольным путем. Руку позолотил. Тройку гусей отдал. У меня приняли. А ты и говорить ни с кем не хочешь.

– Не с кем говорить. Да об чем? Отдать семьсот рублей – значит, свести со двора обеих лошадей и корову. Больше продать нечего. А что мне делать без скотины? Как

Томилину, по дворам итить? Нет уж, своими руками хозяйство рушить не стану. Пусть берут, что хотят. – Он поднял стопку. – Эх, двум смертям не бывать, одной не миновать. Поехали!

Уже по-темному вернувшись домой, Андрей Иванович застал у себя Ванятку Бородина, тот сидел на деревянной приступке запечника и покручивал свои пышные цыганские усы, а за столом – целая орава белоголовых ребятишек. Кроме четверых своих сидело еще три Мишиных девочки, и деревянными ложками все дружно хлебали жидкую молочную кашу – разварку. Андрей Иванович с недоумением глядел то на ребят, то на жену, сидевшую поодаль от стола на табуретке, то на лукаво ухмылявшегося Ванятку.

– Папаня, мы на ту сторону пруда переезжаем, – похвасталась из-за стола Елька. – Как все съедим, так и переедем, маманя говорит.

– Дак чего, с прибылью, значит? – сказал Ванятка, здороваясь с хозяином.

– Откуда бог послал? – спросил Андрей Иванович Надежду, кивая на ребятишек.

– Вон, Иван привел.

– А Соня где?

– А черт ее знает...

– Заболела, что ли?

– Ага... той самой болезнью, которую лечат чересседельником по толстой заднице, прости господи, – ответила Надежда.

– Наша мамка с дяденькой Павлом ушла, – сказала от стола шестилетняя Маруська, старшая.

– Куда ушла? – еще не понимая, спрашивал Андрей Иванович.

– На собранию, – опять ответила Маруська и хвастливо добавила: – А дяденька Павел принесет нам конфе-эт. Если мы будем сидеть тихо и не орать.

– Какое собрание? Какой Павел? – начиная терять терпение, раздраженно спрашивал Андрей Иванович.

– Твой друг, Кречев, – сказала Надежда. – Увел ее, суку... туда, где черти собираются на шабаш.

– Постой, постой... Кречев увел Соню? – бледнея от скверной догадки и как бы не веря еще тому, что случилось, спросил Андрей Иванович.

– Господи! Вот пихтель-то... – хлопнула себя по коленям Надежда. – Да все село об этом языком треплет, а до тебя все еще никак не доходит.

– Гадина! Подлюка! Убить ее мало! – взорвался Андрей Иванович и, сжав кулаки, скрипя зубами, бросился в горницу.

– Дошло наконец, – сказала Надежда и, обращаясь к Ванятке: – Погоди малость, не ходи к нему, счас он отойдет... Не то с ним толковать теперь, что с цепным кобелем.

Из горницы послышался грохот передвигаемых табуреток.

– Ну, за табуретки взялся, – пояснила Надежда, прислушиваясь, и вдруг зычно крикнула через дверь: – Ты смотри, комод не опрокинь, Саранпал! Или я тебе покажу гром среди ясного неба. Ступай, ступай! – заторопила она Ванятку. – Расскажи ему, всю картину распиши – не то он и в самом деле как бы чего не поломал.

Ванятка застал сердитого хозяина, рыскающего по горнице, как тигра в клетке.

– Гадина! Сука! Всю нашу родню опозорила! А Пашка-то, Пашка! Вот подлец! Я ли его не поил? Его ль не привечали всей семьей. А он, как вор. Хуже Ваньки Жадова.

Где они? Скажи, где?

– Да погоди ты кипятиться. Все узнаешь в свое время.

– К черту это время! Не хочу ждать. Говори сейчас же, ну! – подступал Андрей Иванович к Ванятке.

– Откуда я знаю? Кабы знал, к тебе бы не привел детей, голова два уха. Ты сядь. Чего кипятиться, как паровоз? Что ты, в самом деле, иль дите малое, иль не замечал, как увивался вокруг тебя Кречев! Все к Марии норовил подмулиться, так, видно, по зубам получил. А Соня податливей оказалась. Вот он и подлагунился.

– Ах, стерва! Ах, сука! – Андрей Иванович достал кисет и трясущимися руками, рассыпая махорку, стал скручивать сигарку. – Опозорила всех нас.

– Да что она тебе, жена или дочь?

– Какая разница! Семья-то одна. Сам, головастый, в Юзовку укатил, а на меня свалил все. Я ж ей и дров вожу, и картошку... Дом вон строю. Она ж рядом, рука об руку. И такое выделывает? А что, ежели забрюхатеет? На меня ж пальцем указывать начнут. Ведь целыми днями со мной крутится, в пустом доме. А-а! – и головой замотал.

– Да ты садись! Что мы, как на большой дороге встретились, – уговаривал его Ванятка. – Давай сядем – и я тебе все расскажу.

Сели на диванчик, закурили.

– Я, грешным делом, думал, что ты с умыслом не замечаешь. Или отношений портить не хочешь. Все ж таки он председатель.

– Да пошел он от меня к едрене фене со своим председательством! – взорвался опять Андрей Иванович.

– Ну, ясное дело. Тогда слушай все по порядку. Она ж квартирует напротив меня, и видно же все... Правда, ходил он к ней только по-темному. И с поля заходил, как волк. По ночам, когда девчонки засыпали. И уходил на заре. Однава мы с ним встретились. Я шел на Тимонино болото, мерин у меня там на приколе пасся. Вот тебе, только я вышел на конопляники – и он тут как тут, через плетень лезет. Павел Митрофаньч, говорю, ты что, или за терном лазил? Я, говорит, Иван Евсев, за тем терном, который только ночью в постели щелыкают. И еще подмигнул мне. Ладно. Встрел я ее как-то в картошке на задах. Вокруг никого. И говорю: Соня, ты все ж таки мужняя жена, на тебя дети оставлены. Хоть они тебе и чужие, но ведь матерью зовут. Мотри, говорю, ежели они пожалуются на обиды, я тебя ущучу перед всем селом. Да чхала, говорит, я на ваше село. А к детям ты не прикасайся. Ладно. Стемнелось ноне, собрались мы ужинать. Вот тебе сосед Ботик – грох, грох в окно. Я выглянул: чего тебе? Ступай, говорит, к Соне. Там дети криком надрываются. Схватил я куфайку – и туда. Прибегаю. Заперто на висячий замок. Прислушался, а в доме разлюли-малина! Кошки орут дурным голосом на чердаке, и дети в три голоса в избе визжат, будто кто их режет. Я поднял камень с дороги, ахнул им по замку, ажно дужка отлетела. Вошел – они ко мне, вцепились в штаны и все треской трясутся. А кошки, кошки на чердаке еще пуще заливаются. Я успокоил детей, залез на чердак, а там одна кошка в капкан попала – на кадке с мясом поставили капкан, а вторая (кот, наверно) за боровом<sup>13</sup> сидит и перекликается с этой дурным голосом. Прогнал я кошек, спустился к детям, спрашиваю: где мать? Ушли с дяденькой Павлом, а нам конфет дали и спать уложили. Ну, я туда-сюда. Посидите, говорю, я ее счас найду. Ой, дяденька Ваня, не уходи ради

---

<sup>13</sup> Лежачая дымовая труба на чердаке.

Христа! Вцепились опять в меня, дрожат... Ну что делать? Крикнул свою Нешку: посиди, говорю, с ними, а я Соню поищу. Сбегал в клуб – нет. На квартиру к Кречеву – нет. Оставлять ребят одних – плачут. И есть просят. Я их одел и к тебе вот привел, а Нешку послал Соню искать. Найдет – скажет нам. Нет – пусть у тебя заночуют. Небось придет.

– Ну, уж я с ней поговорю, – мстительно сказал Андрей Иванович. – Придется братьев звать. Надо что-то делать. Или Михаила вызывать?

– Это уж непременно. Не то она детей загубит.

Вошла Надежда:

– Вы чего ж тут расселись? Давайте к столу, самовар подходит.

– Тут поговорим. Там ребятишки, все ж таки неудобно, – возразил Андрей Иванович.

– Чего они понимают? – сказала Надежда.

– Все они понимают... Говорю вот, Михаила придется вызывать, иначе детей загубит.

– Вызывай... Да толку-то от него, – махнула рукой Надежда. – Он, головастый, в рот ей глядит, как телок в помойное ведро. Что она захочет, то и вытворяет с ним.

Ванятка хохотнул, а Надежда, подстегнутая этим смешком, набросилась на мужа:

– Еще два года назад я вам что говорила? Она жить с детьми не будет. Ее ж за версту видать – вертихвостка. А вы что? Слюбится – стерпится... Стерпелось... Если уж кому и приходится терпеть, так детишкам. В прошлом году, как раз перед отъездом Михаила, – обернулась она к Ванятке, – прибегает ко мне Маруся, старшая. Мы завтракали как раз. Она, бедная, глаз от стола не отводит. Ты что, аль есть хочешь? Хочу. Мы, говорит, не завтракали. А где мамка? На конопляники ушла. Что ж она вас не покормила? У нас, говорит, ничего не сварено. Хлебца поели – и все. Ладно, накормила я ее и повела домой. Смотрю – у них посреди стола лежат краюха хлеба и нож. Они, бедные, и отрезать хлеба толком не умеют. Так, пощипали от него, как мышата. И на печи сидят. Я залезла в подпол, набрала картошки, наварила им, намяла, маслом заправила и накормила. Мои девки повеселели и защебетали, как галчата. Ну, ладно, думаю про себя, уж я устрою тебе, головастый дурак, представление. Кто-то, видать, вызнал и предупредил их. Пришла я вечером – Соня прикинулась больной, в постели лежит. А сам сидит за столом, ужинает и пыхтит, как самовар. Я и говорю: Соня, пошто ты детей не кормишь? Иль у вас картошки мало? Иль некогда помыть ее да отварить? Сказала бы нам, что тебе некогда. Мы придем, наварим и натолкем. Ой, господи, застонала она, помереть спокойно не дадут. Сердце у меня заходится, Миша! А он надулся до красноты, как рак ошпаренный, и говорит: что ж ты нам жить не даешь? Ту жену отправили на тот свет и теперь за эту беретесь. Ах ты, тара большелобая... Дурак ты, дурак и есть. Мне-то что? Я плюнула да ушла. Это ж надо такое сказать: ту жену со свету сжили. Да она ж больная была, чахоточная. Я за нее всю войну ворочала и в поле, и в лугах. Ей сроду пахать не давали. Все на мне выезжали...

– Ну хватит тебе свои заслуги расписывать! – оборвал ее Андрей Иванович. – Самовар, что ли, принеси.

– Что, не любишь правду слушать? Ну да, правда – она всем глаза колет, – сказала Надежда и вышла.

– Я зачем еще зашел к тебе... – Ванятка кашлянул, помялся и вынул из брючного кармана измятую брошюрку. – Вот, прислали нам устав колхозный. Может,

посмотришь.

– И смотреть не буду, и говорить не о чем.

– Это ты напрасно. Здесь, например, сказано, что мелкий скот можно на дому держать.

– Где хотите, там и держите. А разговаривать нам не о чем. И не хочу я говорить с вами!

– За что ты дуешься на нас?

– За что? – поднял голову Андрей Иванович. – Старое зашло, а новое наехало. Вы за что Клюева и Прокопа в расход пускаете? Какие они кулаки? Это трудяги из трудяг!

– Ты на меня так орешь, будто я руководил тем собранием, на котором обложили их подворкой.

– Ты же там сидел!

– Сиде-э-эл! – передразнил его Ванятка. – А что толку от моего сидения? Иль ты хотел, чтоб я, как Серган, бросился с кулаками на Сенечку и на Ротастенького? Шалишь! Я не о двух головах. Дураков ноне нет.

– Ну вот и собирайтесь все умники в свой колхоз. А меня тянуть нечего. Гусь свинье не товарищ.

– Все делишь на свиней да на гусей, все от старого понятия идешь. А того понять не хочешь, что в колхозе с дележкой будет покончено. Ни бедных, ни богатых не будет. Никаких меж, не токмо что в поле... Промеж нас все уравниется. Миром одним жить станем. Ми-иром.

– Миром? Ты видел, как в свинарниках свиньи живут? Когда кормов вдоволь, еще куда ни шло. А чуть кормов внатяжку, так они бросаются, как звери. Рвут друг у друга из пасти. А то норуют за бок ухватить друг друга или ухо оттяпать.

– Дак то же свиньи.

– А человек зарится на чужое хуже свиньи.

– ...и кормов, говоришь, мало, – продолжал Ванятка свою мысль. – А у нас в колхозе еды будет вдосталь. Это самое придет, изобилие.

– Откуда оно к вам придет? С неба свалится? Чтобы достаток был, надо хорошо работать. А человек только тогда хорошо работает, когда чувствует выгоду. У вас, сам же говоришь, выгоды не будет. Все на сознательность. Какая у нас, к черту, сознательность? Где ты ее видел? У кого? У Ротастенького сознательность, да? Или вон у Степана Гредного? Да с такою сознательностью вы до точки дойдете, до голодного пайка. И пойдет между вами грызня. Еще похлеще свиней начнете рвать все, что можно.

– Это ты напрасно... У нас собирается уже более тридцати семей. И не одни Степаны Гредные да Ротастенькие. И брат твой, Максим, и вон – сам Успенский к нам вступает.

– Слыхал, – сказал Андрей Иванович, поморщившись. – Максиму в деревне делать нечего. Он лоцман. Привык указания давать. И здесь норовит распоряжаться. Поди, каким-нибудь завхозом станет. А Успенский что ж? Успенский – учитель. Не все ли равно, где ему числиться, – в единоличниках или в колхозниках?

– Он же все свое имущество отдает! И дом, и сарай, лошадь, обоих коров. Весь инвентарь!..

– И правильно делает. Ему этот инвентарь, как собаке пятая нога. А дом? Что ж ему пустому стоять? Имей совесть, скажут. Сам не догадываешься отдать – отберем. Он не дурак, Успенский.



– Все у тебя с умыслом. Каждый идет в колхоз вроде бы по нужде или выгоду ищет. Так неуж нет таких, кто по чистому желанию вступает?

– Таких дураков, Иван, маловато. Пока... – Андрей Иванович подумал и добавил: – Не то беда, что колхозы создают; беда, что делают их не по-людски, – все скопом валят: инвентарь, семена, скотину на общие дворы сгоняют, всю, вплоть до курей. То ли игра детская, то ли озорство – не поймешь. Все эти куры, гуси да овцы с ягнятами перепутаются в общей массе да передохнут, и семена сортировать надо, и лошадей в руках держать, каждому поручать ее под роспись, чтобы ответственность чуял. Что с ней случится – пороть нещадно виновника. И за землю так же отвечать надо: за каждое поле, за каждый клин ответчик должен быть, чтобы спросить с кого! Видал я в колхозе «Муравей», как они работают. Поля и лошади общие, да. Но вся остальная скотина своя, по дворам стоит. И за каждую лошадь свой ответчик, и за каждое поле – тоже. А теперь и «Муравей» ликвидируют. Все под общую гребенку чешут, все валят в кучу. Нет, так работать может только поденщик. А мужику, брат, конец подходит.

– Какой же конец? Все в колхоз соберемся, и мужик сохранится.

– Э, нет! Это уже не мужик, а работник. Мужик – лицо самостоятельное. Хозяин! А хозяйство вести – не штанами трясти. То есть мужик способен сводить концы с концами – и себя кормить, и другим хлебушко давать. Мужик – значит, опора и надежда, хозяин, одним словом, человек сметливый, сильный, независимый в делах. Сказано – хозяин и в чужом деле голова. За ним не надо приглядывать, его заставлять не надо. Он сам все сделает как следует. Вот такому мужику приходит конец. Придет на его место человек казенный да работник... Одно слово, что крестьяне.

– Вот, завел панихиду. Новую жизнь надо песнями встречать, а ты за упокой тянешь.

– Для кого жизнь, а для кого и жестянка.

Вошла Надежда, а с ней краснощекая с мороза рослая девица в пуховой шапочке, племянница Ванятки.

– Вот она, окаянная, что делает! – опережая Нешку, затараторила Надежда. – На попойку собирались к Фешке Сапоговой.

– Кто окаянная? Нешка, что ли? – спросил Андрей Иванович, плохо соображая, и весь еще наполненный своими мыслями.

– Какая Нешка, бирюк? Соня! Гуляют с Кречевым у Фешки.

– Кто вам сказал? – спросил Ванятка.

– Да вот она, – указала Надежда на Нешку.

– Ты что, была у них? – спросил опять Ванятка.

– Нет, мы в окошко подглядели... С завалинки, – сказала Нешка, от смущения прикрываясь vareжкой.

– Ну, я туда не ходок, – сказал Ванятка. – Меня Фешка и на порог не пустит.

– Ладно, я сам схожу, – сказал Андрей Иванович, вставая.

Еще ранним утром Кречева вызвал по телефону сам Возвышаев. Не успел тот переступить порог сельсовета, как оглоушила его дежурившая ночью у телефона Козьявка:

– Павел Митрофаныч, тебя разыскивают.

– Кто это по мне соскучился?

– Возвышаев велел итить немедленно в РИК. Колепа на квартиру за тобой бегал. А теперь к Бородиным пошел.

– Зачем?

– Мы думали – ты тама.

– Думает боров...

Но Кречеву не дал договорить заверещавший телефон. Он подошел к стене, снял трубку и, закрываясь кулаком от Козьявки, сказал:

– Кречев слушает.

– Ты где шляешься? – сердито спросил голос Возвышаева.

– Где я шляюсь? День только начинается... Вот, на работу пришел.

– А ночью в прятки играешь?

– Это мое дело. Ночь существует для отдыха.

– Отдыхать будем при коммунизме, когда колхозы построим. А пока не до отдыха. Изволь оставлять свой адрес, где ночуешь. У нас боевая обстановка, понял?

Кречев выругался про себя, запыхтел, но ответил покорным голосом:

– Понял.

– Сегодня же, и немедленно, вручите повестки кулакам Алдонину и Клюеву, которые злостно уклоняются от сдачи хлебных излишков.

– Какие повестки? Мы их известили и насчет штрафа предупреждали.

– Предупредить вторично. И ежели в течение двадцати четырех часов не выплатят штрафа, то по истечении срока приступить к конфискации имущества вышеупомянутых кулаков.

– В каком разрезе?

– В обыкновенном. Конфисковать все. Дом, сарай, подворье, инвентарь оставить в собственность за сельсоветом, все остальное, вплоть до одежды, продать в счет погашения штрафа. Ясно?

– Ясно.

– Подготовьте комиссию. Соберите членов, проинструктируйте.

– Завтра соберем.

– Нет, не завтра, а сегодня. Завтра же, с девяти часов утра, приступить к исполнению. Вот так – коротко и ясно: конфисковать!

– Может, кто из РИКа возглавит комиссию? Пришлите представителя.

– Никаких представителей! Вы сами не дети. У вас – власть, вы и распоряжайтесь. Работать двумя группами. Ты одну возглавишь, а Зенин другую. И не забудьте взять с собой работников милиции. Чтоб никаких вспышек на стихийность. Закон и порядок.

– Ясно.

Кречев повесил трубку и обалдело поглядел на Козьявку. Та стояла у порога и силилась отгадать – за что ругают председателя. Что ругают – это она догадывалась по тому, как он замер на месте, словно его мешком накрыли. Глядел он на нее, глядел и выматерился.

– Дак мне чего, итить? – спросила Козьявка.

– Позови ко мне Левку и Зенина и уходи домой.

Как эта конфискация выглядит на деле, Кречев себе не представлял. Он ходил по своему кабинету, давил скрипучие половицы и думал, старался вообразить, как это он придет к Федору Ивановичу, с которым пил не однажды, и скажет ему: «Выйди вон! Сейчас мы твои пожитки продавать будем...» А если тот не пойдет, дан чего ж, вязать его? Силом выводить?

Первым пришел Левка Головастый, он заполнил стандартные повестки насчет штрафа, оба расписались, шлепнули печатью, и рассыльный Колепа помотал к

«вышеупомянутым» кулакам. А что дальше?

– А дальше я ни бе, ни ме, ни кукареку, – сказал Кречев. – Надо ждать Зенина.

Пришел и Зенин, пришел важный, с парусиновым синим портфелем, в кожаной фуражке, полученной из районного распределителя, и в хромовых сапогах с галошами.

– Ну что, комарики-сударики? Получили боевое задание и растерялись? – весело спросил он от порога. – Эх вы, телята на поводу классового врага. Быками надо становиться, реветь и землю рыть. Сейчас я вам покажу, что надо делать.

Он кинул портфель на стол, фуражку на портфель, пиджак расстегнул, и закипела работа.

– Сперва надо комиссию составить. Значит: ты, да я, да мы с тобой. Еще кто?

– Да я с чернильницей, – пропищал Левка.

– Ишь ты, блоха какая! – удивился Сенечка, глянув на Левку. – Туда же лезет, в руководители. Запомни, Левка, если ты хочешь сделаться большим человеком, научись сперва быть маленьким. И не вякай, когда говорят старшие. – И опять Кречеву: – Значит, ты да я. Это уже кое-что значит, – и записал в тетрадь обе фамилии. – Теперь давай прикинем, кого за компанию брать? Установка такая: по одному от Совета, по два от бедноты, по два от комсода, да плюс к тому два человека от села, вроде понятых, и от милиции. Ну, кого берешь?

– Да мне все равно, – сказал Кречев. – Пусть идет Левка, из милиционеров Сима. А этих тихановских пиши подряд. Все равно от них толку хрен да копейка.

– Ну, не скажи, – возразил Сенечка. – Я за Якушу Савкина двух Тараканих не возьму. А Бородина, Андрея Ивановича, советую не брать.

– Да он и сам не пойдет, – сказал Кречев.

– Чует, что его песенка спета, – хмыкнул Сенечка, расстегнул свой парусиновый портфель и вынул оттуда поллитровку водки, початую и заткнутую деревянным кляпом, потом кусок копченой колбасы и подмигнул Левке: – Где у вас стаканы? Живо!

– У нас только один, – сказал Левка, подавая граненый стакан.

– А вот другой! – Сенечка снял стеклянную крышку с графина, налил в нее водки и подал Кречеву. Себе налил в стакан и, чокнувшись, произнес: – Лиха беда начало. За великий почин!

Вот с этой крышки и повело Кречева. Сперва они допили эту поллитровку. Потом с Левкой пошли к милиционеру Симе договариваться о завтрашнем деле и там выпили еще поллитру. После обеда он нагрязнул к Соне и выпил у нее еще четушку. Там, в кухонном чулане, отгороженном от общей избы легкой дощатой переборкой и пестренькой бумазейной шторкой в дверном проеме, он захватывал ее голову клешневатыми непослушными ладонями и тянулся к лицу, целовал ее губы, щеки, нос и бубнил заплетающимся языком:

– Ах ты, моя сладенькая! Дай-ка ты откушу тебя с какого-нибудь бока. Дай-ка ты ухвачусь...

Она слабо сопротивлялась и уговаривала его:

– Паша, не надо... не надо. Девки увидят... Нехорошо.

И разгоряченная наконец его ласками, прижавшись грудью к нему и жадно заглядывая в глаза, прошептала:

– Ступай в хлев. Козу выгони да постели свежего сена. А я сейчас же за тобой выйду. Одеяло прихвачу и подушку...

В хлеву было темно, пахло плесенью и нашатырным спиртом. Коза испуганно

забилась в угол и, млякая, потряхивая рогами, глядела блестящими, как влажные голыши, глазами. Кречев поймал ее за рога и вытолкал на подворье. По лестнице залез на сушила, стащил целую охапку сена, натолкал его в деревянные ясли и бросился в него, утонул как в перине. Соня появилась с подушкой и одеялом и, притворив за собой дверь, спрашивала в темноте с нарочитым испугом:

– Ты куда делся? Иль с домовым в прятки играешь?

Кречев поймал ее за подол из яслей и зарычал:

– Р-р-ра-а, нга-нга-нга!

– Ой, вихорь тебя возьми-то! Ой, напужал до смерти! Да не тyani ты... Сама залезу.

Он поднял ее на вытянутых руках, как маленькую, и бросил под себя на сено, затолкал, накрыл ее своим большим телом, сграбастал ручищами, как мягкую податливую подушку...

Так они, умаявшись, угревшись, прижимаясь друг к другу, накрывшись одеялом, уснули в тесных яслях.

Проснулись уже в сумерках. Прислушались: на подворье бляела коза, покрикивал да хорохорился петух возле кур, где-то в отдалении перебрехивались собаки.

– Девчат не слышать, значит, дома, – сказала Соня.

– Эх, не хочется от тебя уходить, – сказал, потягиваясь, Кречев. – Давай куда-нибудь затешемся на вечер? А не то мне – тоска зеленая. Как подумаю, что завтра надо Ключева громить, все нутро переворачивается.

– А ты откажись, – сказала Соня.

– Вот дуреха! Как же это можно? Придумать такое – откажись! У меня же не частная лавочка, хочу торговую, хочу закрою. Совет, что твоя машина молотильная, завели ее – и стой возле барабана да поталкивай в него снопы. Остановишься или зазеваешься – он ревет: давай! И остановить его тебе не дано. Схвати его рукой – оторвет руку. А завела его другая сила, тебе не подвластная. Над ней другие погонщики стоят, а тех в свою очередь подгоняют. Вот оно дело-то какое, вкруговую запущено. И уйти от него никак нельзя. Ежели не хочешь лишиться куска хлеба. Я ж партийный.

– То-то и есть, что партийный. У вас все игранки какие-то заведены, как у маленьких. Соберетесь во кружок, загадаете чего промеж себя, рассчитаетесь по номерам – и на кого счет выпадет, тот и валяй – ищи или лови, пока всех не перехватаешь. Не жизнь у вас, а какая-то карусель.

– Ты чего, опупела, что ли? Чем тебе наша жизнь не по нраву?

– Да всем. Ты ответь: любишь меня или нет?

– Ну, положим, люблю.

– Так чего ж мы по яслям прячемся? Что ж ты, как вор, по задам крадешься да через плетень лазаешь?

– Вот дуреха! Ты ж мужняя жена, а я при должности.

– Да что мне муж, объелся груш! Я хоть сейчас от него уйду и с тобой сойду. Ну, хочешь? Ноне же всем расскажу, что ты мой муж, а я твоя жена. Хочешь?

– Ну, ты даешь стране угля. Регистрация брака – дело официальное, его с бухты-барахты не делают.

– То-то и оно. Вы храбрые только на словах: все про свободу отношений талдычите. А сами боитесь в открытую сходить, такие ж трусы, как и встарь. Только раньше на церковное венчание ссылались, а теперь на регистрацию.

– Гляди ты, какая храбрая нонче. Атаман! – он поцеловал ее, потом положил голову ей на грудь и, слушая гулкие, чистые удары ее сердца, сказал: – Вот так и пролежу всю ночь. Не хочу с тобой расставаться.

– Ладно, пошли к Фешке Сапоговой. Гулять – так уж гулять.

Он поднял голову и, замявшись, изрек:

– Мы ж ей задолжали тридцать рублей... Еще за ту гулянку.

– Я уже расплатилась.

– Где ж ты деньги берешь?

– Это не твое дело. Ступай к ней, скажи, чтоб готовилась. А я приду позже.

Фешка Сапогова встретила появление Кречева вопросом:

– А судью позовешь?

– На что он тебе сдался? – опешил Кречев. – Чай, не судилище задумали.

– Вам веселье, а я что, рыжая? Зови Радимова. Черта хромого нет. Где-то в Пугасове застрял, на базаре. Поди, под забором валяется.

«Черт хромой» – это муж ее, Мишка Сапогов, шапошник и пьяница, известный на всю округу.

– Ладно, – сказал Кречев, – позову я тебе Радимова. Только приготовься...

– Это уж не твоя забота. Все будет на столе – и самогонку поставлю, и пельменей накручу. Мотай за Радимовым.

Фешка Сапогова была разбитной бабенкой, ко всему прилипала: она и в народных заседаниях сидела, и на собраниях шумела, и хлеб выколачивала. Посылали ее в самые глухие безнадежные села, то одну, то с подружкой, Анной Ивановной Прошкиной, – гнать показатели. И они «гнали», по неделям не показываясь в районе. Обе носили белые пуховые шапочки, мужские из черного сукна пиджаки с боковыми карманами и белые чесанки с галошами. Их прозвали сороками. «Бона – сороки прилетели, опять стрекотать начнут». В их облике и в самом деле было что-то сорочье: обе остроносые, сухие, прогонистые, с бойкими карими глазками. Анна Ивановна волосы коротко стригла, подбривая шею, носила гимнастерку, отчего смахивала на молодого мужика; а Фешка любила шелковые кофточки, тесные юбки и на спину закидывала толстые темные косы. Сапогова была женоргом, а Прошкина культоргом, прислали их одновременно из Московской партшколы, вернее, Фешка утянула за собой Анну Ивановну в родные места.

Ее «хромой черт» за год вынужденной разлуки, пока Фешка училась, все добро пустил в расход – остались в доме чугуны да чашки, да еще шапочные болваны. Даже платье ее подвенечное, пальто, шубенку на козьем меху – все пропил.

Когда Фешка, возвратясь, увидела опустевшую коробью, то завывала в голос от досады, разбила в кровь Мишке лицо, вытолкала его из дому и выбросила на подворье все его шапочные болваны.

– Убирайся вместе со своими болванами на все четыре стороны!

Мишка Сапогов с той поры жил в бане, но за женой следил в оба, когда был трезвый, и если замечал ее с каким-нибудь мужчиной, то, припадая на правую ногу, бежал в баню, брал припасенную веревку и возвращался к воротам вешаться. Здесь, на виду у всей улицы, перекидывал через перекладину надвратного навеса веревку, завязывал конец петель, становился на колени и начинал молиться богу, одновременно проклиная матерными словами свою благоверную.

– Дай хоть на четушку! Иначе повешусь у всех на глазах. А причину тому – твоя гулящая жизнь. Дай, ради Христа! – орал он напоследок, подойдя к окну.

Фешка, добрая душа, не выдерживала, давала ему откупную, Мишка сворачивал веревку и спокойно уходил к себе в баню. Продолжалось мирное житье до новых вспышек ревности.

На этот раз собрались без помех; пришла Анна Ивановна Прошкина, судья Радимов и Соня с Кречевым. На столе красовалась стеклянная кринка самогонки, подкрашенная клюквенным соком, тушеная гусятина с картошкой, и в круглом тазу для мытья головы горой высились пельмени.

– Ты чего, на свадьбу, что ли, навертела пельменей-то? – спросил Радимов хозяйку.

– А что нам, холостякам! – сказала Фешка, поблескивая глазенками. – Что ни гулянье – то и свадьба. Пей, Кузьма, ешь! Однаво живем.

– Ах ты, едрена-матрена! Да ты как погремушка отзывается. А ну-ка, погреми еще! – Радимов ахнул ее ладонью ниже спины, как лопатой по тесту ударил – бух!

– Ой, лошак сивый! – скривилась Фешка. – Ты мне два ребра вышиб.

– Иде они у тебя, ребра-то растут? Тут, что ли? – обхватил он ее за талию. – Аль пониже?

– Уйди, лошак! – притворно обиделась Фешка и обоими кулаками замолотила ему по груди.

Радимов только похохатывал, как от почесухи. Фешка опустила руки и сказала с досадой:

– Он и не чует.

– Его бить – только руки об него отколачивать, – сказала Прошкина.

– А ты пробовала? – спросил Радимов, подмигивая ей.

– Одна попробовала да родила, – угрюмо ответила Прошкина.

– Говорят, тебе это не грозит. Будто ты сам с усам, – гоготал Радимов.

– А ты что, в баню со мной ходил?

– По баням у нас Мишка Сапогов специалист.

– Ты Мишку не поминай на ночь глядя. Не то накаркаешь – он прилетит и всю обедню нам испортит, – сказала Фешка.

– Ну уж дудки, брат! Пока эти пельмени не съедим, я не вылезу. Меня и канатом не вытянешь из-за стола.

Самогонку разливал Радимов, весело разливал, с прибауточками, чокался со всеми и приговаривал:

– Лей, да пей, да заедай, да про меня не забывай. Ах, рыжая девчонка игривее котенка...

И все норовил ухватить Фешку то за коленку, то за бедро, то выбирал иное место, помягче.

– Кот кичига, вот те лен, вот те сорок веретен... А ты пряди попрядывай да на меня поглядывай.

Могучего сложения, губастый, носатый, с редкими отметинами оспы на лице, с густыми непослушными волосами, торчащими во все стороны, как щетина на кабане, Кузьма Радимов являл собой образчик несокрушимого здоровья и самоуверенности. Даже Кречев перед ним казался застенчивым и немного растерянным, и самогонка его не веселила.

– Ты чего такой кислый? – спросил его Радимов.

– Так что-то, настроения нет, – покривился тот.

– Да уж признайся, здесь все свои люди, – сказала ему Соня, вся пылающая от

выпитого.

– А что такое, Паша? – спросила Фешка, посмеиваясь. – Иль тятка жениться не велит?

– Да он боится... – прыснула Соня.

– Кого, тебя, что ли? – огрызнулся Кречев.

– Боится на эту самую итить... на конфискацию.

– Ого! Это кого ж потрошить задумали? – спросил Радимов.

– Клюева, Федота Ивановича, – нехотя ответил Кречев, сердито глядя на Соню.

– Это твоего активиста, что ли? – удивилась Фешка.

– Был активистом, но еще в августе вывели его из членов сельсовета.

– И правильно! – сказала Фешка. – Он же кулачина. Богатей!

– Какой кулачина! Говорят, из лаптей сроду не вылезал. Только и поднялся на ноги в последние годы.

– Ну и что? – сказала Фешка. – Мало ли кто в бедняках ходил. Раз поднялся до запретного барьера – стричь его без разговоров.

– Легко сказать – остричь... Он со мною два года бок о бок работал.

– Ты сам-то его не трогай, голова два уха, – сказал Радимов. – Ты стой на командной высоте и за порядком следи, а подручные разнесут.

– Кто эти подручные? Левка Головастый да Сима-милиционер. Они сами, как утята, в закуток полезут, ежели что.

– А Зенин? – спросила Фешка.

– Он пойдет Алдолина громить. А мне Клюева подсунул. Знает, стервец, что я с ним работал.

– Послушай-ка, – сказала Фешка. – Возьми нас с Анюткой. Мы тебе так распишем и распродадим, что ты и глазом не успеешь моргнуть. Пойдем, Анюта? – обернулась к Прошкиной. – Надо ж нам руку набивать на классовом враге. – И пьяно захохотала.

– Пойдем. Отчего ж не помочь человеку, – согласилась Прошкина.

– Кузьма, пошли с нами!

– А что ж, и пойду.

– Пошли! Всем скопом. Мы им покажем, как дела делаются, – шумела Фешка. – Тебя поставим за прилавок. Ты цены будешь назначать, а мы с Анютой сбивать их станем. Как на этом самом, на аукционе. – И запела: – Эй, комроты! Дашь пулеметы! Дашь батареи, чтоб было веселея! Налей, Кузьма! Выпьем за всеобщую борьбу. Ты борец или не борец?

– погоди, вот разбредемся по углам, тогда узнаешь, – ухмылялся Кузьма, разливая самогонку.

Эта неожиданная поддержка обрадовала Кречева: хорошо идти с такой компанией, за широкой спиной Радимова да вслед за этими горластыми сороками и ему вроде бы сподручнее, думал он. А что? Не он же всю эту бузу затеял. Он сам не волен проводить и отменять такие штуки. Есть и повыше его власти. Они ударили с Радимовым по рукам и выпили за успех завтрашнего дела.

В самый разгар веселья кто-то сильно постучал в двери. Все разом стихли и молча глядели на Фешку.

– Что такое? – спросил наконец Радимов, трезвея.

– Не знаю... Может, кто из соседей, – ответила Фешка, вставая. Ее качнуло, она ухватилась за спинку стула и растерянно улыбнулась.

– Если Мишка вернулся, не пускать! – приказал Радимов. – И других не пускать!

Никого! – крикнул ей вслед.

С минуту все так же напряженно молчали, ждали ее возвращения. Наконец она вернулась и сказала:

– Соня, за тобой Андрей Иванович Бородин пришел.

– Пошли ты его куда подальше... Кто он мне? Свекор, что ли? – вспыхнула Соня.

– Говорит, дети перепугались. Кошка в капкан попала и перепугала детей...

Они у Андрея Ивановича. Просит забрать...

– Господи!.. – всхлинула Соня. – За что мне этот крест выпал? За что?.. – и с мольбой поглядела на Кречева.

– Придется идти, – сухо сказал Кречев. – Детей надо забрать.

Соня, всхлипывая, вытирая слезы, вылезла из-за стола и стала одеваться.

Утром лишь чуть забрезжил рассвет, как Сапогова с Прошкиной были уже в сельсовете. Вся секретарская половина, то есть передняя часть избы, отгороженная от председательского кабинета дощатой переборкой, была забита народом. Здесь были и сам Кречев, и Сенечка Зенин, и Левка Головастый, и активисты из бедноты, из комсода. Висячая лампа чадила над столом косым и тусклым языком неровного, подрагивающего пламени. Отыскав глазами председателя, Сапогова сказала:

– Радимов отказался итить. Говорит – голова разламывается.

– Ничего, Феоктиста Филипповна, мы и без него – сила непомерная. Смотри, сколько нас! Батлион, – отозвался Якуша Ротастенький и подмигнул вошедшим.

В центре этой толкучки за Левкиным столом сидел Сенечка Зенин и заполнял какие-то бумаги, оба милиционера стояли у стола, как часовые, и руки по швам. Левка Головастый, заглядывая в бумаги через плечо Зенина, пытался подсказывать ему:

– Следующий, значит, Якуша Савкин.

– Сам знаю, – одергивал его Зенин. – Что ты мне дышишь в ухо?

Кречев, страдая от трескучей головной боли, чтобы скрыть свое отвращение ко всему на свете, отвернулся к окну и стоял, заложив руки за спину. Тараканиха, привалившись к стенке, уже дремала на стуле. Степан Гредный, в своей неизменной рыжей свитке, подпоясанный веревкой, прислонился к дверному косяку, как за милостью пришел. Андрей Колокольников присел на корточки у порога и глядел, младенчески разинув рот, как Зенин, сурово сведя брови, выписывал фамилии собравшихся. Якуша метался от одного к другому и все спрашивал с некоторым удивлением:

– А Ванятка-то не пришел, а? Вот еш его кочарыжкой! Обманул! Все общество обманул, всех представителей. Как же это, а?

Никто ему не отвечал, каждый занят был, казалось, только самим собой и своими мыслями, и тишина стояла такая, что слышно было, как поскрипывает перо Зенина.

Вдруг Кречев сказал от окна:

– Прокоп Алдонин идет.

– Куда идет? – поднял голову Зенин.

– Сюда, в сельсовет.

Зенин вскочил и бросился к окну. Прокоп уже обтирал сапоги о деревянную решетку возле крыльца, хотя на улице было морозно и сухо и сапоги были сухие. Вошел он в сельсовет при общем молчании, все глядели на него, как на вставшего из гроба покойника. Его уж отчитали, отпели, приготовились нести куда следует, а он вдруг встал и – здарсьте пожалуйста! – идет им навстречу.



– Тебе чего? – спросил Кречев, глядя на Прокопа тоскливо-мутными глазами.

– Деньги принес, уплату за штраф.

– Поздно! Время истекло, – строго сказал Зенин.

– Нет, извиняюсь. – Прокоп расстегнул пиджак, вынул из бокового кармана часы на золоченой цепочке и сказал, поворачивая циферблатом к Зенину: – Смотри! Еще полчаса осталось. Мне принесли повестку ровно в девять. Вот тут моя отметка. – Он положил повестку на стол и отчеркнул ногтем помеченное чернильным карандашом время вручения.

Потом вынул из другого бокового кармана сверточек в носовом платке, развязал зубами узелок и стал пересчитывать деньги, слюнявя палец.

– Вот. Ровно семьсот рубликов. Распишитесь в получении, – протянул он Кречеву пачку денег.

Тот удивленно хмыкнул:

– Из кубышки, поди, достал?

– Ага, из-под наседки, – ответил Прокоп. – С весны положил под нее ломаный грош и вот – гляди, сколь высидела.

– Самого бы тебя посадить куда следует, – процедил Зенин. – Все придуриваешься. Из-за твоего скупердяйства вон сколько людей собралось. Все оторвались от дела.

– Какие это люди? – сказал Прокоп, пряча в боковой карман квитанцию, подписанную Кречевым. – Это вороны на добычу слетелись. Поторопились маленько.

– Давай, проваливай без разговоров, – повысил голос Зенин. – Ишь ты, кулачина! Еще обзывается.

– Вот за это самое вы еще ответите.

– За что?

– И за кулачину, и за штраф. Все это незаконно. Я в кулаках не был.

– По недоразумению! – крикнул Зенин.

– А вот разберутся. Сверху им виднее – кто куда попал по недоразумению. Я напишу куда следует.

– Пиши. Москва словам не потекает, – переиначил пословицу Зенин.

После ухода Прокопа все разом загомонили:

– Чего ж теперь делать?

– Может, по домам итить?

– Послать рассыльного за Ключевым! Деньги заплатит, и шабаш.

– Иде он их возьмет? На дороге деньги не валяются.

– Прокоп нашел, а он что, рыжий?

– Прокоп с молотилкой полсела обошел.

– А этот колесы точит. Тожеть не сидит без дела.

– Какая летом точка колес? Вы что, родимые?

– А ну, кончай базар! – Кречев ахнул кулаком по столу. – Что вы, как бабы на толкучке? Семен Васильевич, как? Может, еще раз пошлем человека за Ключевым? Поди, одумается!

– Ни в коем случае, – заторопился Зенин. – Надо идти. И не мешкая. Приказ есть приказ – и мы его должны исполнить.

– Дак еще время не вышло, – колеблясь, возразил Кречев.

– Пока дойдем – и срок наступит. Вон, всего двадцать минут осталось! – показал Зенин свои часы, вынув их из брючного кармана. – Пошли!

– Какая группа пойдет? – спросил Кречев.

– Обе группы. Все вместе. Вперед, товарищи! Ни тени колебания! Пусть эти злостные неплательщики знают: мы слов на ветер не бросаем. От нас требуют проявить самые решительные меры к классовому врагу. И у нас рука не дрогнет.

С этими словами Зенин собрал в синюю Левкину папку все бумаги, разложенные на столе, Левка сунул чернильный шкалик в карман, взял со стола приготовленные на этот случай счеты, и все гурьбой двинулись за Зениным.

Шли по Нахаловке, растянувшись, как попы с крестным ходом, только икон не было, – впереди топали Кречев с Зениным, за ними – сороки с красными повязками на рукавах, потом Левка Головастый с папкой и счетами, это все власти; за ними нестройной толпой топали остальные, ведомые Якушей Ротастеньким.

Ребятишки табунились, и впереди бежали, и по бокам шествия, и кричали на всю улицу:

– Сову громить идут! Сову теревить! Айда, ребята! Поехали!

Ребятишки повзрослее увязывались за толпой, которые поменьше, смотрели из домов в окошки, плюща носы о стекло, старики все, как по команде, стояли возле калиток и ворот, словно солдаты на смотре, опустив руки по швам, и только старухи изредка торопливо крестились и шептали молитвы.

– Граждане, которые желают купить чего по хозяйству, прихватите деньги и ступайте за нами! – кричал ломким бабьим голосом Левка.

– Все на аукцион! Все на аукцион, – вторил ему Якуша.

– Укцион! Укцион! – подхватывали ребятишки и разносили по селу.

Поначалу никто не приставал к этой процессии; она плыла, как партия гусей по середине пруда, призывая своим кагаканьем равнодушно сидящих на берегу уток. Но вот Савка Клин отвалил от плетня и, кидая на пятку свои несуразные ноги-пехтилы, пошел за ней, оглядываясь на соседей, и, как бы оправдывая это свое действие, пояснял громко и виновато:

– Може, обувка сносная найдется... Валенки ал и сапоги. Все одно – пропадут.

Одни ворчали на него неодобрительно:

– На чужое позарился? Ах ты, собака блудливая.

Но другие вроде бы и оправдывали:

– Отберут ведь... Все равно отберут. И все в кучу свалют. А там гляди – подожгут. Не пропадать добру-то.

За Савкой пошла Настя Гредная, благо, что мужик ее идет с делегацией, помочь ежели или совет подать. А за Настей двинулся Ваня Парфешин с Феней, за ними Максим Селькин, и пошла-поехала почти вся Нахаловка – кто с умыслом, а кто и так, ради интереса, глаза пялить.

Возле дома Клюевых сгрудилась целая толпа. Хозяева не показывались, ворота были заперты.

– Когда выйдет Клюев, я спрошу его для порядка: будет он платить штраф или нет? Ежели он откажется, то выступай вперед и зачитывай постановление по сельсовету об конфискации имущества, а остальное я все устрою, – негромко сказал Зенин на ухо Кречеву.

– У меня ж нет никакого постановления.

– Чего ж раньше думал, растяпа! – прошипел Зенин. – Ладно, я сам все сделаю.

Он поманил Левку Головастого и взял у него синюю папку, потом подошел к калитке, набранной из досок в мелкую елочку, и постучал о железное кольцо. Со двора

тотчас раздался голос Клюева; видно, хозяин стоял за воротами и ждал:

– Кто там?

– Отворяйте! Представители Советской власти и общественности, – сказал Зенин строго.

Клюев вынул запирку – здоровенный металлический шкворень и, растворив калитку, спросил:

– Чаво надо?

– Сейчас узнаешь.

Зенин оттолкнул его с дороги, первым вошел на подворье, за ним потянулась длинная вереница и застопорилась в калитке, словно увязла. На подворье возле мастерской стоял Санька в лаптях и округленными от ужаса глазами глядел на эту застрявшую в калитке огромную толпу. На заднем крыльце, кутаясь в большую темную шаль, равнодушно взирала на всех Сарра, хозяйка Евфимия пугливо заглядывала в сенное оконце. Сам хозяин, оттесненный к воротам вошедшими, стоял бледный и посиневшими от усилия пальцами стискивал ржавый шкворень.

– Товарищи милиционеры, по местам! – скомандовал Зенин.

Кулек и Сима, не понимая смысла команды, но догадываясь, что надо держаться поближе к хозяину, подошли к нему и стали по бокам.

– Вот так! – удовлетворенно заметил Зенин и обратился к хозяину: – Гражданин Клюев, собираетесь ли вы платить штраф, наложенный на вас за злостное уклонение от внесения государству хлебных излишков?

– У меня таких излишков нет. И денег на штраф нет, – ответил Клюев.

– Понятно. В таком случае слушайте постановление Совета от 28 октября сего года, то есть за сегодняшнее число. – Он раскрыл Левкину папку и, пошоркав листами бумаги, начал читать, как по писаному: – Во избежание прямого неподчинения властям, а также во имя пресечения злостного уклонения от уплаты государственных поставок впредь Тихановский сельский Совет постановляет: все имущество кулака Клюева – и движимое, и недвижимое – конфисковать и распродать в счет погашения законного штрафа. Вам все ясно? – посмотрел на Клюева Зенин.

Клюев только порывисто вздохнул, словно всхлипнул, и как-то беззвучно пошевелил губами.

– Значит, возражений нет, – сказал Зенин. – Тогда приступим к делу. Товарищи уполномоченные, прошу за мной в избу.

Оттеснив Сарру с крыльца, как чучело, они с Кречевым вошли в сени, за ними устремились Сапогова с Прошкиной и Якуша Ротастенький. Евфимия, такая же молчаливая и растерянная, как хозяин, сидела в избе у стола, бесцельно положив руки на колени.

– Так. Где у вас добро прячется? – спросил ее Зенин.

Она молча глядела на него, как будто ее опоили чем или оглоушили ударом по голове.

– А чего ее спрашивать? Мы и сами найдем, – сказал Якуша. Он скрылся в горнице и через минуту появился оттуда, волоча за ручку огромный кованный сундук. – Павел Митрофанович, помощи! Через порог не перетащу никак, – сипел Якуша от натуги. – Чего они туда положили, камней, что ли?

Кречев взялся за вторую ручку, и они, кряхтя, поволокли сундук в сени.

– Распродажу вести согласно описи! – крикнул им вслед Зенин, потом обернулся к сорокам: – Так, товарищи женщины, обыщите хозяйку и старуху, нет ли при них

спрятанных золотых вещей или каких-нибудь драгоценностей. А я по притолкам пошарю.

Фешка и Анна Ивановна подошли к хозяйке и попросили ее встать. Она сидела в прежней позе, с тупым недоумением глядя на них, словно оглохшая.

– Кому говорят, тебе или нет? – крикнула Фешка. – Встань!

– Да погоди ты! Она зашлася, – сказала Прошкина.

Евфимия вдруг заплакала, затряслась всем телом и, прикрывая лицо ладонями, заголосила, как по упокойнику, тоненьким надрывным голосочком:

– Ой ты ж горе ж наше горько-ое! Ой, ты заступник наш, Христе-боже милостивый! Ой, не дай же ты пропасть нам, сгинуть до смерти! Не оставляй ты нас антихристу окаянному. Подходит конец наш решающий...

Услышав материнские вопли, Санька бросился от мастерской на крыльцо, сбил кулаком Якушу, растопырившего руки в дверях, и прорвался в сени. Здесь Кречев подкатом свалил Саньку на пол, накрыл его своим тяжелым телом и стал выкручивать, заламывать ему руки.

– Помоги-и, тятка! – завопил тот отчаянно.

Федот Иванович, как разъяренный бык, отбросил от себя обоих милиционеров, взявших было его под руки, и, размахивая над головой шкворнем, как шашкой, побежал к сням.

– Держите его, держите! – завопили бабы в толпе.

Степан Гредный, стоявший возле калитки, легким козлиным поскачком настиг у крыльца Клюева и с ходу прыгнул на его широченную спину. Тот озверело зарычал, одной рукой схватил его за шиворот и, словно кота, стащил с себя, а другой рукой со всего маху ударил шкворнем по шее. Степан ойкнул и осел, роняя голову к ногам своим. Черная кровь сдвоенной цевкой слабо заструилась из носа, пачкая рыжие усы и жидкую бороденку.

– Убил он его, уби-ил, изверг! – заревела Настя, валясь наземь к Степану, раскидывая руки и тряся головой. – Уби-и-ил!

Клюев оглядел с некоторым удивлением длинный ржавый шкворень, отбросил его к завалинке и трясущейся рукой полез в карман за кисетом. Но его схватили за локти подоспевшие милиционеры. Он больше не сопротивлялся, только смотрел себе под ноги и бормотал:

– Нечаянно я, граждане... Нечаянно.

С крыльца на него и на лежащего Степана смотрели с испугом и удивлением и Кречев, и Санька, и Якуша. И на лицах у них застыло недоумение, будто каждый хотел спросить и боялся: «Зачем все это? Что с нами творится?»

Первым подал голос подоспевший Зенин:

– Преступника Клюева вместе с сыном немедленно взять под арест и отправить в милицию!

– Есть такое дело!! – сказал Кулек и махнул рукой Саньке, стоявшему на крыльце: – А ну, давай сюда!

Санька спрыгнул с крыльца и, затравленно озираясь по сторонам, подошел к отцу.

– Шагом марш! – скомандовал им Кулек. – Дорогу арестованным! Эй вы, ротозей! Прочь с дороги!

И повели. Потом кто-то запряг хозяйскую лошадь, положили на телегу свернувшегося калачиком Степана, посадили в задок плачущую Настю и повезли их в больницу.

– Кто может забрать к себе бывших хозяек? – спросил, обращаясь к толпе, Зенин. – Во избежание осложнений дальнейшее пребывание их в доме нежелательно!

Сквозь толпу протиснулся Спиридон-безрукий и, сурово насупившись, пошел в дом. Через несколько минут он, все такой же молчаливый и хмурый, вывел плачущую, согбенную Евфимию и высокую прямую, как скалка, Сарру. В руках у хозяйки был небольшой сверток в черном платке.

– Что за вещи? – остановил ее Зенин, берясь за узелок.

– Поминанье родительское да иконка, материно благословение, – всхлипывая, ответила Евфимия. – Да так, кое-что из белья.

– Отпустите вы их, ироды! – крикнул кто-то из толпы.

– Вы еще нательные кресты с них посымайте! Антихристы!!

– Бессовестные!

– Хорошо. Пропустите их! – сказал Зенин Фешке и Анне Ивановне, загородившим дорогу.

Они сошли с крыльца, толпа молча расступилась перед ними. Впереди шел Спиридон-безрукий, стиснув зубы, катая за щеками каменеющие желваки; Евфимия шла, глядя себе под ноги, и плакала; старая Сосипатра несла свою голову, покрытую темной шалью, высоко и прямо, и взгляд ее сухих, застывших в немом отчаянии, расширенных глаз легко ломал и опрокидывал встречные взгляды виновато присмирившей толпы.

## 7

Накануне Октябрьских праздников Успенский получил повестку из Тиханова: «Явиться по местожительству на предмет вступления в колхоз». Он отпрашился на два дня у своего начальства и пешком отправился домой. Возле Сергачева, в двух верстах от Тиханова, ему встретился длинный обоз – десятка полтора телег, груженных мешками с зерном, громахая колесами по промерзшей дороге, выезжали на столбовой большак, ведущий в Пугасово. Над передней телегой трепыхался натянутый на березовых кольях красный лоскут с белой надписью: «Вывезем до конца кулацкие излишки пролетарскому государству». Мужики шли возле своих телег, держась рукой за грядки, покрикивая на лошадей. Северный ветер низко гнал над землей сивые тучи, отмахивал на сторону лошадиные хвосты, трепал гривы. Было холодно и неприятно, в воздухе носились редкие и крупные, как гусиные перья, снежинки.

Пряча щеки в поднятый котиковый воротник, Успенский свернул на обочину, и стороной обходил обоз.

– Дмитрий Иванович! – окликнули его.

Он оглянулся и увидел отбегающего от телеги Андрея Ивановича Бородин.

Успенский остановился, Бородин подошел к нему. Поздоровались.

– Слышал, что у нас творится? – спросил Бородин и, не дожидаясь ответа, торопливо стал рассказывать: – Ключева раскатали в пух и прах.

– Слышал. Говорят, его посадили?

– Вместе с сыном. В Рязань угнали. Он ведь человека убил в запале... Добро все с молотка пошло, за бесценок. А напоследок сняли иконы вместе с божницей, раскололи в щепки и сожгли на глазах у всего народа... Какие иконы были! Какая божница!.. Кружево.

Успенский только головой покачал.

– Это варварство.

– Не говори! А ноне церковь у нас закрывают. Колокола сымать будут. Попа еще вчера забрали. Кого-то из арестантов привезли. Наши все отказались. Даже последние мазурики не пошли на такое дело. Боятся. А я вот бегу... Бегу, лишь бы не видеть... Эх! Мать твою... – Он хлопнул кнутом по земле и длинно, заковыристо выругался...

– От этого не спрячешься, – сказал Успенский.

– Не говори! Иду вот, а у самого кошки на душе скребут. Эх! – Бородин опять хлопнул кнутом и побежал догонять свою телегу.

В Тиханово Успенский вошел с кладбищенского конца. Всю церковную ограду запрудила огромная толпа; если бы не отсутствие телег, да лошадей, да пестрых товаров, можно было бы подумать, что весь базар переместился с трактирной площади сюда, за железную ограду. Но толпа эта, в отличие от живой, текучей базарной толпы, казалась мертвой, люди стояли, словно кочки в недвижной болотной воде, и тишина была напряженная, как на похоронах, в ожидании выноса гроба.

Успенский подошел к Лепилиной кузнице, в молчаливом приветствии чуть приподнял шапку с головы, ему ответили тем же полупоклоном с десятков мужиков.

– Что здесь происходит? – спросил он.

– Черти бога осаждают, – ответил Лепило. – А мы поглядим, кто кого одолеет.

– Сейчас ты ничего не увидишь, – отозвался Прокоп. – Эдак лет через пятьдесят или сто видно будет, как сложится жизнь – по-божески или по законам антихриста.

– А ты что, два века хочешь прожить?

– Мне и свой-то прожить толком не дают. Не о себе говорю – о народе.

– Народ ноне осатанел совсем, – сказал Кукурай. – Это ж надо, колокола сымают.

– Ты, слепой дурень, не вякай! – обругал его Лепило. – Нешто народ колокола сымает?

– Зь-зе-зенин с Як-як-як... – забился Иван Заика в попытке выговорить имена поломщиков.

– Поняли! Завтра доскажешь, – остановил его Лепило.

– Тьфу, Лепила, мать твою! – выругался Иван.

Между тем с самого верхнего, зеленого, купола большой колокольной слетела стая галок и с громким тревожным криком закружила над крестами. Толпа заволновалась, загудела:

– Ну, опять пошли на приступ...

– Теперь гляди в окна – вынырнут...

– Счас выползут... тараканы. Чтоб им шею сломать. Туды их мать!

И в самом деле, через минуту они появились в проемах высокой колокольной. Их было четверо, в руках они держали веревки и какие-то посудины – не то бутылки, не то лагуны. Там, на непомерной высоте, в сквозных проемах колокольной на фоне сумрачного неба они и в самом деле казались черными, как тараканы. Ни их инструмента, ни тем более лиц невозможно было разглядеть отсюда.

– Что за люди? – спросил Успенский.

– Из наших один Ротастенький... Килограмм из Степанова, да двоих привезли из Пугасова – говорят, из тюрьмы. Добровольцы.

– А Зенин где ж?

– Тот на земле распоряжается.

– Гляди-ка, вроде бы веревками сцепы обвязывают. К чему бы это?

– Говорят, жечь будут. Карасином оболют веревки да подожгут.

– Пилой пробовали – не берет.

– Сцепы-то дубовые...

– Топор, говорят, отскакивает, бьет, как по пузе.

– Свят, свят, свят. Накажи их, господи! Чтоб руки у них поотымались.

– Ты, слепой дурень, не каркай! Слышишь? Не то я тебя налажу отсюда по шее.

Успенский прошел в растворенные железные ворота, протиснулся сквозь толпу к высокой многоступенчатой паперти. Возле распахнутых железных дверей, крашенных зеленой краской, стоял Сенечка Зенин в кожаном картузе и перебрехивался с наседавшими прихожанами. За Зениным в синих шинелях и буденновских шлемах стояло четверо милиционеров: двое тихановских – все те же Кулек и Сима, двое незнакомых. Сенечка стоял, засунув руки в боковые карманы суконного пиджака, растопырив широко ноги в сапогах, отвечал с ухмылочкой, бойко, с прибаутками:

– Ваша церковь переименована в дурдом. А поскольку дураки в Тиханове перевелись, стало быть, и дурдом закрывается.

– Свои перевелись, залетные появились! – кричали из толпы.

– Это какие такие – залетные?

– А вот подзаборники всякие, вроде тебя.

– Это что за кулацкий подголосок? А ну, покажись!

Кто-то поднял кулак и крикнул:

– На, посмотри да понюхай, чем пахнет!

– Сколько ни злобствуйте, а колокола собьем!

– Самого бы тебя с колокольни сбросить вместо колокола!

– Вот ужо доберемся до тебя, антихриста! – грозились кулаком худая, как сухостойное дерево, мать Карузика.

– Ты, мамаша, поменьше махай руками, не то обломишь их невзначай, – ласково уговаривал ее Зенин. – Вон какие они сухонькие у тебя.

– У-у, бесстыжие глаза! Он еще смеется. В него плюют, а ему божья роса.

– Такая сатанинская порода. Потому и подбирают этаких вот... – выкрикивали из толпы.

– Напрасно вы, граждане-товарищи, портите себе настроение непотребными словами. Ведь вам же русским языком еще вчера было сказано: кто не согласен с постановлением о закрытии церкви, ступайте в храм и ставьте свои имена и подписи. Книга лежит на алтаре, храм открыт вторые сутки. И что же? Поставил кто-либо свою подпись? Никто! Но, как известно: молчание – знак согласия. Что ж вы шумите? Кто не согласен, прошу в церковь! Только строго по одному. У нас порядок.

Идти в церковь, писать в книгу свои имена никто не поспешал, каждый поглядывал с опаской и недоверием на того верхнего оратора и как бы говорил всем своим настороженным видом: «Эхва, а дураков-то и в самом деле перевели». А еще Успенский заметил: здесь, в передовой толпе, жались то старухи, то подростки, то никудышные мужики вроде Савки Клина или Вани Парфешина. Мужики самостоятельные останавливались на почтительном расстоянии либо вовсе не появлялись. И он подумал, что клюевская конфискация не прошла для тихановцев даром, село затаилось в ожидании новых ударов и бедствий.

На колокольне вспыхнуло и заметалось яркое языкастое пламя, потом повалил густой черный дым, потек из проемов, как из паровой трубы; порывистый ветер осаживал его, гнал на деревья; мятущиеся ветви берез разрывали эти плотные шаровидные клубы в клочья, в жидкую кудель, которая растекалась по хмурому беспокойному небу. Запахло копотью и керосиновой вонью. Галки еще громче

загадели, заметались суматошнее над колокольной. Толпа тронулась и загудела.

Отходили подальше от церкви, словно боялись обвала или взрыва какого, и ждали, надеялись на чудо: вот погаснет пламя, и свалятся, сломят шею себе поджигатели... Крестились, шептали молитвы... Но пламя все шибче разгоралось, черный дым растворился, пропал совсем, а с колокольной теперь полетели искры, как рой светлячков. Сухие дубовые балки, на которых висели колокола, горели с гулом и пулеметным треском. Сенечка Зенин вместе с усиленным нарядом милиции заперлись в церкви с баграми и с песком наготове, на случай, ежели огонь переметнется с колокольной на другие отделения храма.

Весть о близком падении колоколов мгновенно разнеслась по селу – всякий житель бросал свою работу, где бы ни заставала его эта весть, и шел, как потерянный, к церковной ограде; а хозяйки, которые не могли оставлять дома своих малых детей, выбегали на улицу и напряженно, с мольбой глядели на горящую колокольную. Многие крестились и плакали.

Но огонь неумолим, он не знает ни жалости, ни снисхождения. Как ни прочны были дубовые, в два обхвата, цепи, как ни заклинали их тихановские старухи не поддаваться антихристу, жизнь колоколов висела на волоске, и он оборвался. Сперва пыхнули искрами цепи на обломе, потом что-то ахнуло, тряхнуло, будто кто-то ворохнулся в подземелье, и жалобный медный стон прогудел над селом и растворился в воздухе.

Вся в слезах вернулась с улицы Надежда. Ах, Андрея-то нет! Не с кем и горем своим поделиться. Перед ней прошмыгнул в дверь Федька Маклак и, уже стоя у окна, мурлыкал песенку:

– Долго в цепях нас держа-а-али...

– Радуюсь, что с цепи сорвались? Ну, ты у меня сейчас от радости завизжишь! – Она схватила кочергу и начала яростно охаживать оторопевшего Федьку: – Ах вы, служители сатаны! Ах вы, басурманы! Выродки непутевые.

– Ты чего, спятила? Мамка, что я тебе сделал? Да погоди ты! – Он изловчился наконец, поймал за кочергу, вырвал ее из рук матери и бросился наутек.

На шум вышла из горницы Мария:

– Что случилось, Надя? За что ты его?

– За дело! И тебя бы не мешало кочергой по шее. Всех вас связать по ноге и пустить по полой воде, – бушевала Надежда, вытирая слезы.

– Да что произошло, в конце концов?

– Церковь опоганили, вот что. Колокола сбросили, колокольную пожгли. Ах вы, антихристы!

– А я тут при чем?

– Все вы при том. Безбожники окаянные, насильники. Кому она мешала, церковь-то? За что вы ее обкорнали? Вы ее строили?

– Во-первых, я в этом деле не участвовала. А во-вторых, чего ты убиваешься? Ты же ходила в церковь раз в году.

– Да какое твое собачье дело, сколько раз ходила я в церковь? Бог – он в душе у каждого. А церковь – это наша общая дань богу. Мы ее собирали по копейке, из поколения в поколение, держали, берегли как зеницу ока. А вы поганить?! Да кто вы такие? Выродки!

– Еще раз говорю тебе русским языком – на церковь я не замахивалась. И не выкатывай на меня свои белки. Я за чужие грехи не ответчица.



Мария прошла в горницу, оделась и вышла на улицу. Что творится, что с нами происходит, думала она, идя бесцельно по вечеряющему селу. Бросаемся друг на друга, как цепные собаки. С Надеждой невозможно стало ни о чем говорить, будто она, Мария, виновата во всей этой кутерьме с налогами да с хлебом, а теперь вот еще и с церковью. И кому это нужно – закручивать все до последней степени, до вспышек гневных, до безрассудства? Уж не вредительство ли в самом деле? Да кто вредители? Где они? Все сваливают вину друг на друга, и все друг перед дружкой стараются усердие проявить. Ведь тот же Поспелов знал, что ничего доброго от конфискации имущества не выйдет. Ведь смог бы остановить Возвышаева, но не остановил. Чего он испугался? А обвинения в отсутствии того же самого усердия у него. И мы бы смогли остановить Сенечку с погромом церкви. Они решили громить на партячейке, а мы смогли бы остановить. Ведь прямых указаний нет насчет погрома церквей. И мы бы правы были. Но струсили. Струсил Тяпин, струсил Паринов... Кого они боятся? А все того же обвинения в отсутствии усердия. Да куда же это заведет нас? И так уж с нами мужики разговаривать не хотят. Вон – сестра родная, и то глаза мне готова выцарапать. А за что? Что я ей худого сделала? И кому я сделала дурного? Никому в особенности, а подумаешь – так виновата перед всеми. Виновата, потому что не делаю того, что обязана делать. А обязана остановить буйство этих Сенечек и Возвышаевых. А если не смогу остановить их, то обязана отойти в сторону и не путаться под ногами. Митя прав – нельзя играть в политику.

Неожиданно для самой себя она оказалась возле церковной ограды. Здесь табунились ребяташки: одни влезали на деревья, на железную ограду, заглядывали в церковные окна, другие бегали вокруг церкви, стучали палками в водосточные трубы, в запертые двери и бросали камнями в оштукатуренные крашенные стены. Но изнутри никто не высовывался, никто не кричал на них, словно те, закрывшиеся наглухо в храме, усердно молились богу. Мария увидела в одном из пролетов колокольни промелькнувшую черную фигурку и поняла, что поджигатели все еще в церкви, и охранители их, и вдохновители – все там.

А народ расходился с горьким чувством беспомощности своей. Мужики, свесив головы, тащились поодиночке, словно стыдились чего-то. Бабы держались кучно, шумели, отойдя на расстояние, но все еще никак не могли оторваться от храма своего, к которому они привыкли с детства, как отчому дому, и этот святой для них дом оскверняли на глазах у них приезжие насильники. «Есть от чего заплакать. И за кочергу схватишься, и даже пойдешь на нечто более грозное», – думала Мария, вспоминая Надеждину вспышку и глядя на оскверненную колокольню: там, где висели колокола, теперь было пусто, лишь в проеме аркад на фоне вечеряющего серого неба чернели концы обгоревших балок; белые спаренные пилястры, подпиравшие купол, закоптились до черноты, и даже зеленая крыша теперь потемнела, словно заметало ее грязью с дороги.

– Маша, ты чего здесь делаешь? Уж не Зенина ли поджидаешь? – окликнул ее Успенский.

Она вздрогнула и обернулась, он подходил от своего дома в одной толстовке, подпоясанный ремешком.

– Ты совсем раздетый. Холодно же! – сказала она.

– Я на минуточку. Только за тобой. Пойдем ко мне! – Он взял ее за руку и ласково заглядывал в лицо. – Ой, какая ты хмурая! Что случилось?

– С Надей поругались.

– Ну, пойдём! Я вас помирю, – увлекал он её за собой и улыбался.

– Нехорошо это, – говорила она. – У всех же на виду... – И покорно шла за ним.

– Ах, Маша! Какое это имеет значение? Не то время теперь. Не до внешних приличий.

В доме Успенского творилась сушая кутерьма: посреди зала стояли раскрытые саквояжи, корзины и большой окованный сундук. На длинном обеденном столе навалом лежали тарелки, блюда, фарфоровые супницы, чашки, поставцы, рюмки хрустальные, ножи и вилки. Одежда стеганые ватные и верблюжьего пуха, атласные и сатиновые. Постельное бельё: простыни голландского полотна с яркими синими да красными каймами, наволочки расшитые, подзоры с шитьём, покрывала пикейные – все это навалом, вперемешку, горой высилось на диване. Маланья, рослая и дюжая, в два обхвата, прислужница ещё со времен отца Ивана, в розовой кофте и темном фартуке, перетянутом поперек объемистого чрева, снимала из раскрытого шкафа драповые поддевки да кастановые блестящие шубы, ловко сворачивала их, подкидывая в воздухе могучими руками, и укладывала в объемный сундук. Увидев в дверях Марию, затараторила:

– Хорошенько его отчитайте! Он от своего добра хотел отказаться. Вон, чемодан с сапогами уложил да книжки, говорит, возьму. Остальное пусть колхозу остается. Это ж надо! Шаромыжникам голопузым все оставить. Да они в момент все растащут, пропьют и перекокают. Чтоб такой посудой пользоваться, надо руки иметь. А у них крюки загребущие. Помогите нам укладываться, Маша! И его заставьте, не то лошадь скоро подъедет, а у нас все раскидано.

– Я её за этим, что ли, пригласил? – проворчал Успенский. – Нам поговорить надо. А это барахло подождет, никуда оно не денется.

– Гли-ка, а то за делом говорить нельзя? Вон укладывайте бельё да и разговаривайте. А я вас не слушаю. Мне не до вас.

– В самом деле, Митя... Давай поможем Маланье. А то неудобно. – Мария сняла пальто, кинула его на спинку кровати и начала разбирать и укладывать бельё в корзины.

– Вот баба непутевая! Прямо в краску вгонит, – ворчал Успенский, помогая укладываться. – Я тебе, Маша, хотел сказать, что Бабосов – подлец. И Варя хороша... Это они свели меня с Ашихминым. И Зенина притащили. И я, понимаешь, погорячился. Слишком многое выдал Ашихмину... Погорячился.

– Знаю. Он пытался на бюро кой-кого настроить против тебя. Но тебя спас этот жест с колхозами. Это ты хорошо придумал. Молодец! Все надо отдать, все.

– Оно, в сущности, и ни к чему мне.

– Но как ты сообразил? С ходу?! Ведь все равно отобрали бы.

– Я ни о чем преднамеренно и не думал. И наперед не соображал. Я только видел, что это им нужно. И лошадь, и сарай, и дом. Иначе какой же это колхоз, ежели даже конторы путевой нет. Ну, я и согласился. Ведь мне этот дом теперь в обузу.

– Ах, Митя! Как я тебя люблю за это. – Она поймала его за руку и горячо пожала её.

Он поцеловал её в голову.

– Маша, у меня есть бутылка вина. Давай пройдем на кухню и выпьем за встречу.

– Нет! Потом, потом... Давай все уложим. Неудобно перед Маланьей. Видишь, как она старается.

Уже в темноте прогрохотали дроги под окном, Маланья вылетела на улицу и

вернулась через минуту с сыном своим, с Петькой – малым лет восемнадцати. Он прислонился к дверному косяку и сощурился с непривычки к свету, прикрываясь ладонью от лампы.

– Чего стал, как нищий? Ну-ка, бери сундук за тую ручку! – крикнула на него Маланья.

Петька взялся за одну ручку, Успенский – за другую, и сундук поплыл, как Ноев ковчег; за ним потянулись корзины и саквояжи. Когда все было вынесено и уложено на дроги, Успенский задержал Марию и Маланью на кухне, достал из буфета бутылку крымского портвейна, налил в рюмки и сказал:

– За новую жизнь, Маша!

Маланья вдруг закрылась локтем и всхлипнула.

– Ты что? – спросил ее Успенский.

– Обидно за вас, Митя! – сказала она, разгоняя слезы по щекам ладонью. – Вам бы здесь жить да жить. А то бежите, как погорельцы. Эх, жисть окаянная...

Шалая, взбудораженная толпа разгневанных баб похожа на потревоженное, напуганное стадо коров – не тронь его, не останови в угрюмом и тяжелом шествии – пройдут мимо. Но ежели сгрудились у околицы или перед каким иным живым препятствием – сомнут. Друг на дружку полезут, как льдины на вешней реке, попавшие на мель.

Такой вот мелью, где стала сгруживаться и напирать шумная толпа разгневанных тихановских баб, шедших от церкви, оказалось магазинное крыльцо. Зинка только что вышла из магазина, чтобы запереть железную дверь, и с высокой бетонной площадки спросила опередившую подруг сутулую Авдотью Сипунову, жену Сообразилы:

– Ну что, тетя Дунь, свалили колокол?

Спросила, не подстегнутая азартом любопытства, а так, от нечего делать, чтобы язык почесать.

Авдотья остановилась перед крыльцом, не понимая еще – что от нее хотят? О чем спрашивают? Ее серое отечное лицо, чуть запрокинутое на Зинку, выражало не только недоумение, но и тяжелую работу мыслей, далеких и от этого бетонного крыльца, и от Зинки, и от ее вопроса. К Авдотье подошли Наташенька Прозорливая, Санька Рыжая, Степанида Колобок, приземистая и плотная, на коротких ножках, как гусыня, и, на полкорпуса выше ее, словно сухостойное дерево, мать Карузика; подходили и другие бабы с хмурыми, скорбными лицами, останавливались возле Авдотьи, обступали крыльцо, словно ждали приглашения по очень важному делу.

Зинка почувствовала какую-то скрытую угрозу в этом тягостном молчании и, еще не понимая – зачем они так нехорошо смотрят на нее, спросила громко, с нарочитой беспечностью, как бы желая прогнать зародившийся в ее душе страх:

– Вы чего, языки проглотили? Не выпались, что ли? Чего на меня смотрите как кошки на сметану? – И громко засмеялась. Засмеялась не от ловко подвернувшейся фразы, а опять же от того самого непонятного страха, и потому смех получился и неестественный, и глупый, и сама же она тотчас поняла это.

А бабы загудели разом, взялись, как сухие будылья травы, схваченные яростным полымем. Евдокия сорвала с себя облезлую рыжую шаленку, обнажила простоволосую голову и закричала:

– Ты что, сатана, посмеяться над горем нашим вышла? Так плюй, гадина! Плюй с высоты нам на головы!

– Окстись, милая! Ты что, сдурела? – Зинка заалелась, как от пощечины, и замахала руками.

– Ага, мы сдурели, а вы, значит, ума набрались? Это от какого ж ума вы поганите церковь? От того, что цыган на дороге оставил?

– Бабы, стащите вы эту антихристову поблядушку...

– В ноги ее!

– За косы ее!

– Рвитя-а! Рвитя-а-а антихристова служителя-а! – Наташенька Прозорливая, подпрыгнув, ухватилась за синюю Зинкину юбку и повисла на ней, как кошка, вереща и дрыгая ногами. Другие бабы кинулись наверх по ступенькам, как по команде.

Зинка сильно оттолкнула ногой юрливую и с ужасом услышала треск раздираемой ткани; юбка мелькнула в воздухе и полетела вместе с Наташенькой Прозорливой вниз по ступенькам; а на крыльце, как белый флаг, заполоскалась, дразня разъяренных баб, обнаженная исподняя рубашка.

– За подол ее, ссуку!

– Тяни с нее и рубаху!

– Голяком ее, голяком по селу проведь!

– Пусть знает, как над миром изгаляться...

Зинка, не помня себя от страха, машинально нырнула в магазин и перед носом разъяренных баб успела закрыть железную дверь.

– Ага, кошка чует, чье мясо съела!

– Напирай, бабы! Небось никуда не денется...

В дверь забухали увесистые зады, и зачастила сухая дробь кулаков. Потом дренькнуло, разлетаясь брызгами, оконное стекло, и осколки кирпичей полетели мимо прутьев железной решетки в магазин.

Зиновий Тимофеевич Кадыков увидел осаду магазина из окна своего кабинета, со второго этажа. Он выбежал на улицу в одной черной гимнастерке, перехваченной портупеей с наганом на боку, и, по заведенной привычке, прихвативши со стола потрепанную планшетку. Перебежав улицу, расталкивая баб, поднялся на крыльцо и грозно спросил:

– В чем дело? Что за разбой?

Бабы в момент окружили его, как муравьи упавшего к ним на кочку черного жука, и вразной стали сами спрашивать, кто это им дал право на разбой? Что за такое самоуправство по головке их не поглядят и что они найдут на всех управу. Они так кричали, перебивая друг друга, так размахивали руками перед его лицом, что Кадыков и рта не успевал раскрыть. Кто-то взял его со спины за ремень, кто-то больно щелкнул по затылку, чьи-то руки легли ему на плечи и стали тянуть книзу. И тут спасительная мысль промелькнула в его голове, он схватился не за наган, а за планшетку: раскрыв ее перед лицами орущих баб, выхватив карандаш, он крикнул, наливаясь кровью:

– Молчать! За-про-то-ко-ли-ру-ю! – крикнул вразяжку, отчетливо выговаривая каждый слог, заноса карандаш над бумагой.

И бабы стихли разом, как онемели, с опаской глядя на карандаш, занесенный над бумагой.

– Ну, кому охота первой? Говори! Занесу пофамильно... И всех в холодную... Посмотрим, каким вы голосом там запоете.

В холодную никому не хотелось. Это все понимали. Понимали и то, что запись в милицейский протокол – это не фунт изюму. Затаскают потом. От них никуда не

спрячешься. И бабы сдались, отвалили, как стадо коров, увидев плеть в руках у пастуха...

Кадыков поднял порванную и запачканную Зинкину юбку и, постучавшись в дверь, тихо позвал:

– Открой, Зина! Это я, Кадыков, не бойся.

Она стояла тут же за дверью, в притворе, и, закрывшись руками, плакала навзрыд, как маленькая.

Домой пошла, дождавшись полной темноты, и то шла задами, боясь не только баб – ребятишек: боже упаси, увидят... Задразнят, камнями забросают. Порванную юбку придерживала рукой, другой рукой утирала слезы. Так и вошла домой – подол в кулаке, на лице потеки от слез, страх и обида. Сенечка сидел за столом под портретом усатого главкома С.Каменева и чистил наган. После того как он получил это оружие, дня не проходило, чтобы не разбирал и не чистил нагана; брови сведет, насупится и тихонько напевает: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и, как один, умрем в борьбе за это». – «Куда уж тебе в бой? Ты, поди, и стрелнуть-то боишься?» – подзуживала его в такие минуты Зинка. Он нехотя отвечал: «Дура ты, Зина. Человек силен не оружием, а своим убеждением». – «А зачем же ты наган взял, если силен убеждением?» – «Наган мне положен по чину, по должности. А все, что положено по должности, – есть общественное достояние. Мне оно только доверено, как лицу ответственному. Носи, как награду. И оправдай доверие. То есть будь начеку. Поняла?» – «Значит, не твой наган?» – «Не мой. Он принадлежит должности. И я тоже». – «А фуражку кожаную, что из распределителя дали? Тоже не тебе, а должности?» – «И фуражка должностная, и портфель, и сапоги с калошами». – «А чья на тебе голова?» – фыркала Зинка. «Насчет моей головы помолчим. А вот твоя голова глупая. Это уж факт».

И на этот раз Сенечка лихо напевал боевой марш, протирая масляной тряпкой барабан нагана, и на вошедшую Зинку даже не взглянул: «Средь нас был юный барабанщик... Трам-там-там тра-та-та-та...» Она остановилась у порога, обалдело посмотрела на его узкий стриженный затылок и сказала с горечью:

– Эх ты, барабанщик сопатый! Вот бы звездарезнуть тебе по макушке за твои дела. Да боюсь, копыта откинешь. Ладно, живи...

– Что это значит? – Сенечка отложил барабан и строго глянул на Зинку. – Ты с чьего голоса поешь? И что это за вид? – кивнул он на порванную юбку.

Зинка прошла в отгороженный деревянной переборкой кухонный чулан и стала умываться. Сенечка встал из-за стола, подошел к перегородке, отдернул розовую шторку:

– Я тебя спрашиваю или нет? – повысил он голос.

– Не меня, а с тебя спрашивать надо! С тебя взыскивать, – повернулась от умывальника к нему мокрым и злым лицом Зинка. – Ты колокола сбрасывал, а с меня юбку стащили за это. Чуть не задушили, не растерзали. Спасибо Кадыкову – баб отогнал. Они ж осатанели совсем. А я в чем виновата? В чем?

– погоди. Давай по порядку. Какие бабы? Кто на тебя набросился? Где?

Зинка рассказала все, как было: как она вышла на крыльцо магазин запирать, как бабы на нее набросились, как отсиживалась, темноты ждала...

– Это ж надо, какие страсти разыгрались... – говорила Зинка, вытираясь и причесываясь. – Наташенька Прозорливая, как собака, на моей юбке повисла. А тетя Степанида Колобок все кирпичами в окно запускала. Попадись моя голова – ей-богу,

раздробила бы. А что я ей сделала? Еще родственницей доводится.

Слушая Зинкины причитания, Сенечка все более оживлялся, светлел лицом и наконец, лихо погрозив кому-то кулаком, радостно произнес:

– Ну, теперь они у меня вот где. Я им покажу кузькину мать!

– Кому? – вытаращила глаза Зинка.

– Пошли к столу, Зинок! Ты сама не понимаешь, как ты мне помогла. Мы такое дело затворим, такое дело! За это и выпить не грех.

Он подошел к настенному висячему шкафу, достал бутылку водки и подмигнул жене:

– У нас сегодня праздник. Давай по маленькой.

– Какой праздник? Ты о чем? – все еще не понимая, спрашивала Зинка.

– Во-первых, с дурдомом покончили. Закрыли эту заразу мракобесия. А во-вторых, этот бабий бунт, это покушение на жену секретаря партячейки мы так распишем, такое дело затворим, такой суд устроим, что все классовые враги, как тараканы, в щели попрячутся. – Он налил в рюмки водку. – Ну, давай!

– Какие классовые враги? Я ж тебе говорю – Наташенька Прозорливая, тетя Степанида Колобок да Верста Коломенская. Голь перекатная, – Зинка все еще стояла у перегородки и с каким-то испугом глядела на мужа.

Сенечка выпил и прищелкнул пальцем:

– Это слепое орудие. Безликая масса. Ты не гляди, кто впереди, а ищи того, кто за спинами прячется. Уж мы их найдем, будь уверена. Я все опишу согласно твоих показаний, Возвышаев даст команду, привлечем нарследователя. Радимов сам возьмется, и закрутится карусель.

– Я ж тебе говорю – они это без цели. Они шли мимо. Это я их остановила, смеялась сдуру, как, мол, колокола свалили? Они и обозлились. Какие ж тут расследования? Все ясно, как божий день.

– Ты, Зина, политически малограмотный человек. Ты газет не читаешь. Вон, в Домодедове! Обыкновенная драка произошла в буфете. А взялись расследовать, и что же выяснилось? Подначивал буфетчик, бывший белогвардеец. Подзуживали кулаки. В результате – громкое дело – на всю страну. Ведь, казалось бы, – обыкновенная драка. А тут – нападение на жену секретаря партячейки! Уж выявим зачинщиков. Будь спок. И так распишем... Еще на всю страну прогудим. Надо газеты читать, Зина. Учиться надо, – он погрозил ей пальцем и налил еще водки.

– Семен, ты брось эту затею, – строго сказала Зинка. – Я срамиться не стану и ни на какой суд не пойду.

– Здравствуйте пожалуйста! Кому-то и срам, а тебе почет. Ты пострадала на фронте классовой борьбы. Ты в героин выйдешь, дура. Если сама не заботишься о своем будущем, так мне не мешай.

– Ты мастер заливать насчет будущего. Знаю я тебя. А ты подумал, что мне делать после такого суда? Как жить? Куда деваться? Как смотреть в глаза односельчанам? Или подолом голову накрыть от позора, чтоб каждый по голой заднице бил? И так уж косо смотрят.

– Фу, какие у тебя грубые предрассудки! Косо смотрят... Зато ты гляди прямее. Кого ты боишься? Да после такого суда до тебя пальцем никто не дотронется. А если кто и тронет, так честь тебе и слава. Ты что же думала, классовая борьба – это тебе прогулки по селу? Пойми ты, пострадать во имя классовой борьбы, значит, сделаться героем. Ну! Какая теперь взята линия главного направления? Вот она, ребром

поставлена, – Сенечка пристукнул ребром ладони по столу, – линия на обострение классовой борьбы. На о-бо-стрение! Значит, наша задача – обострять, и никаких гвоздей, как сказал поэт. Пока держится такая линия, надо успевать проявить себя на обострении. Иначе отваливай в сторону. Какой из тебя, к чертовой матери, политик!

– А я не политик.

– Зато я политик. А ты жена моя. Твоя обязанность – помогать мне, понятно?

– На суд я все равно не пойду... и заявлений делать не стану. И к следователю не таскай меня. Не пойду. Ты... ты позора моего хочешь... – верхняя губа у нее задергалась, и по щекам покатались слезы.

– Ну, ну, успокойся, успокойся, – он подошел и погладил ее по голове.

Зинка уткнулась ему в плечо и разревелась.

– Успокойся, успокойся, – приговаривал Сенечка и оглаживал ее голову. – Ты пойми меня правильно. Разве я хочу тебя опозорить или подставить?.. Я же лучше знаю, что теперь надо делать, как поступать. Разве я виноват, что пора такая суровая? Ведь не я эту политику сверху пускаю. Я ее внизу обязан в жизнь претворять. Была пора, когда говорили – обогащайтесь. Пожалуйста, богатеите... Я никому не мешал. А теперь установка другая. Пойми ты – обострение! Значит, обострять надо, а не примирять, не затушевывать. Это не только в нашей политике. Даже у попов бывают разные периоды. То они говорят: «Время разбрасывать камни». А то: «Время собирать камни». Ну, время такое. Разбрасывать? Значит, разбрасывать. А собирать начнешь – тебя же этим камнем по башке стукнут. Вот, по темечку, тук! И с копыт долой. – Он нащупал на ее темени углубление и слегка надавил большим пальцем. – А, чуешь? Я же не могу замять это дело, не могу? Что же я за коммунист? Вижу вспышку классовой борьбы и отваливаю в сторону. Да меня самого тогда снимать надо.

– Делай, как хочешь. Но на суд я не пойду.

С той поры что-то переменялось в Тиханове – люди сторонились друг друга, ходили торопливо, глядя себе под ноги, будто искали нечто потерянное и не находили, встречным угрюмо кивали, наскоро приподымая шапки, и расходились, не здороваясь, словно стыдились чего-то или знали нечто важное и не хотели доверять никому. Даже у колодцев, обычно болтливые, тихановские бабы подолгу не задерживались, наливая воду, погромыхая пустыми ведрами, изрекали в темное, гулкое жерло колодца какую-нибудь запретную забористую побасенку, щеголяя друг перед дружкой смелостью в насмешках и пренебрежении по адресу тех, неназванных, нечестивцев: «Ах вы, антихристы, черт вас выделал». Но говорили все это в сторону, избегая взглядов и расспросов. «Я тебя не видела, ничего не говорила и знать ничего не знаю», – написано было на лице каждого.

Бывший церковный староста Семен Дубок пошел было по дворам на Казанскую – уговорить прихожан собраться к кладбищенской часовне, чтобы помолиться за отца Афанасия. Авось отпустят его. А службу можно было бы проводить и в той же часовне, и сторожку церковную приспособить. Но не успел он один порядок Нахаловки обойти, как потащили его в сельсовет и продержали там до сумерек. А ночью прибежал он к Бородиным, перелез через высокий заплот и с подворья постучал в заднюю дверь. Впустили его, а он зубами щелкает от страха: «Спаси, Андрей Иванович! Не дай по миру пойтить!» – «Да какой я спаситель? Что тебе надо от меня?» – «Поставь к себе в кладовую сундук». – «Господи! – сказала Надежда. – Мы сами трясемся, как осинового листья». – «Нет, вы при власти». – «Не власти, а

страсти...» – «Нет... Примите сундук. Больше и спастись негде». Так и приволок сундук. Сперва на лошади вез по задам. Потом садом несли вдвоем с Лукерьей. Здоровенный сундук, окованный полосовым железом. Поставили его возле ларя, перекрестили и замок поцеловали. «Ты, Лукерья, никак, от меня заклинаешь замок-то?» – сердито спросила Надежда. «Нет, нет. Что ты, – ответила та скороговоркой. – Боюсь, как бы в колхоз не уплыл».

О колхозе говорили много, но до праздников так и не удалось создать его – не шли люди на собрание, и шабаш. Дважды обходили село подворно сам Кречев с Ваняткой и Левкой Головастым, уговаривали каждого собраться в трактире, каждый обещал прийти – вот только со скотиной уберусь, – и не приходили. Более полутора десятков не собиралось. Что за оказия? Бился Кречев над этим темным вопросом неповиновения. Разрешил его Ванятка; матерясь на чем свет стоит, он зашел в Совет в праздничное утро и сказал Кречеву, ладившему на двух оструганных палках красный лозунг для демонстрации:

– Ты знаешь, почему на собрание не шли?

– Ну?

– Кто-то слушок пустил по селу, де-мол, собираем народ не для колхозного разговора, а чтоб церкву закрыть окончательно, сделать из нее зерновой склад и каждому роспись свою поставить. А кто откажется, тому твердое задание довести, как Федоту Ивановичу Ключеву.

– Н-да. – Кречев только затылок почесал. – Классовый враг работает на стихию будь здоров. А мы с тобой – вислоухие губошлепы. Надо письменные повестки разослать и в них черным по белому написать: собираемся поговорить про колхозные дела, а церковь нас не интересуется. И под роспись. Понятно?

По такой методе и собрались вечером восьмого ноября. Хоть и жидко, но пришел народ. Приглашали всех – и мужиков, и баб, и молодежь, чтоб всем миром, по новому зачину, сошлись, как на праздничное гулянье. Но пришли одни мужики, как на сход, и тех не более половины, человек двести. Рассаживались вдоль стен на корточки, а то и прямо на пол, сложив перед собой ноги калачиком, – лишь бы подальше от начальства. Скамьи перед столом президиума пустовали. И в самом президиуме мужиков недосчитывалось – не было ни Ключева, ни Андрея Ивановича Бородин, ни Сеньки Курмана, – один Ротастенький неизменно маячил голым лицом среди начальства, да поблескивал лысиной Ванятка, да щурилась на сон Тараканиха. Доклад делал Сенечка Зенин. Время от времени он брал со стола свежую газету с портретом Сталина, помахивал ею над головой, а то вычитывал оттуда отмеченные карандашом места.

– Товарищи, мы все с вами переживаем исключительный подъем по случаю года великого перелома, как гениально выразился товарищ Сталин. В чем сказывается год великого перелома? Это прежде всего в производительности труда, поскольку активность масс повысилась через самокритику. Это, во-вторых, товарищи, в области строительства промышленности, проблемы накопления, то есть ускоренные темпы! И, наконец, в-третьих, – в области сельского хозяйства – это великий перелом от мелкого индивидуального к коллективному крупному индустриальному хозяйству. Рухнуло и рассеялось в прах утверждение правых, главным образом Бухарина, что... Где оно тут? – Зенин поглядел в газету и воскликнул: – Ага, вот! «...а) крестьяне не пойдут в колхоз, что б) усиленный темп развития колхозов может вызвать лишь массовое недовольство... в) «столбовой дорогой» являются не колхозы, а кооперация, что г) развитие колхозов и наступление на капиталистические элементы деревни может



оставить страну без хлеба. Все это рухнуло и рассеялось в прах, как старый буржуазно-либеральный хлам». – Зенин помотал газетой и спросил: – Ну, в самом деле, разве мы не докажем с вами на деле, что крестьянин пойдет в колхоз? А?! Сегодня же докажем, товарищи. А ежели кто не хочет доказать правоту слов товарища Сталина, то пусть пеняет на себя. Ведь вы только подумайте, что делается сейчас по всей стране? По всей стране создаются колхозы-гиганты. Вот вам пример: в Ирбитском округе создан колхоз, в который вошли целых три района. Сто тридцать пять тысяч гектаров земли! Вот что значит большевистские темпы. Имея в виду этот патриотический почин, товарищ Сталин пишет... Вот слушайте: «Рухнули и рассеялись в прах возражения «науки» против возможности и целесообразности организации крупных зерновых фабрик в 50-100 тыс. гектаров». Не мешало бы науке подучиться у практики, говорит товарищ Сталин. Эта самая наука намекает, дескать, крупные зерновые фабрики не оправдали себя и за границей. На что товарищ Сталин верно ответил. Вот, слушайте: «В капиталистических странах не прививаются крупные зерновые фабрики-гиганты. Но наша страна не есть капиталистическая страна». Гениальнее и проще не скажешь. А посему нам с вами надо подтвердить научные положения статьи товарища Сталина и сегодня же создать колхоз. Он положит начало зерновой фабрике-гиганту всего нашего района, а может быть, к нему присоединятся и соседние районы.

Зенин долго говорил о том, как надо сводить скот на общие дворы, куда свозить инвентарь, что пришлют колхозу трактора, молотильные машины, сеялки, веялки. Показывал, подымая над головой, примерный устав колхоза и даже зачитывал из него отдельные статьи. Когда он кончил и сел, воцарилось долгое молчание. Напрасно Кречев спрашивал, задира л подбородок, тянул шею, стараясь выудить хоть одного желающего высказаться. Мужики молчали, курили, покашливали. Только Якуша не раз порывался из-за стола, но Кречев осаживал его, ждал, когда «масса» заговорит. Наконец терпение его лопнуло:

– Да вы что, в молчанку сюда пришли играть?! – загремел он. – Или языки бабам за пазуху положили? Или хозяйством более не распорядитесь? Позабыли свое звание, да?

Возле стенок завозились, слышались смешки, и бойкий петушиный голосок отчеканил:

– Дак вы нас к тому и зовете – и хозяйство, и жену отдай дяде, а сам ступай к б....

– Это кто там работает на линию классового врага? – Кречев, опираясь на кулаки, приподнялся над столом.

– Это не мы... Таракан забежал с улицы. Тута его и зашшемили. – Голос визгливый и дурашливый. И хохот от стенки, как волна от мельничного колеса.

– Савкин, возьми-ка лампу, – двинул Кречев по столу стоячую лампу. – Да поставь ее там, на полку у стенки. А мы поглядим – что за тараканы в том углу собрались.

Якуша взял лампу и понес ее в вытянутой руке, как факел.

Из передних рядов встал Андрей Егорович Четунов и, левой рукой, растопыренными пальцами, ощупывая осторожно свою лисью бороду, словно желая убедиться – на месте ли она, вкрадчивым голоском спросил:

– Я извиняюсь, конечно... Насчет колхоза вы тут хорошо толковали. Это что ж, задание такое сверху спущено, чтоб нам объединить все, окромя баб и ребятишек? Или сами стараетесь?

– Вам же русским языком из газеты зачитывали слова самого Сталина, – сказал Кречев, сдерживая раздражение. – Чего тебе еще надо?

– Мне-то ничего не надо. Я – червяк. А вот для вас как? Постановление спущено сверху или вы сами стараетесь? Ась? – Четунов даже вперед чуток подался и как бы руку поднял к уху скобочкой, чтоб лучше расслышать.

– Ты об нас не заботься. Мы зря молоть чепуху и отсебятину не станем, – сердито отвечал Кречев.

– Дак ежели постановление имеется сверху, тогда зачтите его, и дело с концом. А ежели такого постановления нет, так прямо и скажите. Чего тут с нами в прятки играть. Это вон на игрищах с девками глаза друг дружке завязывают, чтоб шшупать удобнее было. А мы не на игрища собрались. И шшупать нас нечего.

– Тебя не шшупать, а тряхнуть надо, как Клюева, мать твою... – выругался Якуша как бы про себя, но так, что и в дальнем углу услышали.

– Степан Гредный тряханул... И ты дотрясешься, – отозвалось с задних рядов.

– Кто это там грозитя? А ну, подымись! – Кречев, вытягивая шею, заглядывал поверх голов. – Кому там захотелось вослед Клюеву отправиться?

В мутном свете настенной лампы все сливалось в стоячую шерстистую массу – и нечесанные косматые головы, и бороды, и лохматые воротники полушубков, – словно стадо овец сбилось при виде собак. И тишина наступила такая, что слышно было, как потрескивает керосин в лампах.

– Вы там смотрите, которые!.. Ежели кто еще пустит угрозу, сам пойду по рядам допрашивать, – погрозился Кречев и сказал: – Слово имеет Иван Бородин.

Ванятка поднялся над столом, он сидел рядом с Левкой Головастым, пригладил лысину, усы оправил, будто с ложкой подступал к чашке жирных щей.

– Тут есть, которые сумлеваются в колхозе по темноте своей, по неграмотности...

– Ты больно грамотный... ажно блестяшь.

– Ен азбуку под голову клал...

– Ге-ге! Шмурыгал...

– Штаны бы на голову надел!

– Га-га-га...

Перекликались из темных углов, как петухи с насеста, и смех шарахался вдоль стен упругой перекатной волной.

– Вы кто, мужики или горлодеры? – окрысился Ванятка. – Чего сказать не даете? Или так и будем друг перед дружкой кукарекать?

– Кто-то нынче докукарекается, – сказал Кречев и постучал о графин.

– Я не своей грамотностью похваляюсь. Меня просто обида берет, что люди, которые в колхозном деле смыслят, как пономарь в Писании, только сумление разводят. Мы тут прикинули накануне путем подворного опроса – кто согласен в колхоз итить? Двадцать шесть хозяйств согласились. Вот, у нас тут и список имеется, – ткнул Ванятка в Левкину папку.

– Голь перекатная!

– Тюх, да матюх, да Колупай с братом... – закричали от задней стенки.

– Не-эт, брат, не голь, – покачал головой Ванятка и взял из папки листок бумаги. – Вот он, список!.. И знаете, кто первый сдает свое имущество в колхоз? А Дмитрий Иванович Успенский! – Ванятка потряс списком над головой, потом взял другую бумагу и торжественно прочел: – «Я, Успенский Дмитрий Иванович, добровольно вступаю в колхоз и отдаю на общее пользование дом, амбар, сарай молотильный, весь

инвентарь, лошадь и обеих коров...» Левка, на, прочти! Пусть проверят, что я не вру!

– Да вот оно, заявление, – поднял бумажку Левка Головастый. – Кто хочет, пусть прочтет.

– А что же он сам не пришел?

– Он в Степанове, в школе, потому как учит ребятишек. А ключи отдал Маланье, для нас то есть оставил, – сказал Ванятка.

– И на работу в колхоз за него Маланья пойдет? – съязвил кто-то, и снова засмеялись.

– Летом он обещался помогать. И мы ему верим. Потому что он одноа уже доказал, что умеет ценить артельный труд. И понимает в этом деле будь здоров. Потому как грамотный человек, образованный. Видит, что без колхоза нам никак не обойтись. А вот которые газеты только на курево пускают, потому как грамота им нужна для прочистки ноздрей, сумление насчет колхоза разводят... Вот почему и берет меня обида.

– Успенский – ломоть отрезанный... Ты скажи, кто из мужиков заходит? – кричали из одного угла.

– Поди, известно, – отзывались из другого. – Максим Селькин да Ваня Парфешин.

– Пара голубей залетных...

– Чижики!

– Воробьи... Почирикать да чужое зерно поклевать.

– Есть бедняки, – сказал Ванятка. – Но есть и крепкие мужики. Например, Максим Иванович Бородин.

И вдруг все притихли, как будто Ванятка отдал команду «смирно!». Зенин, смекнув, что такое известие может сыграть ему на руку, тотчас позвал Бородина:

– Максим Иванович, пройдите к столу и расскажите, почему вы идете в колхоз.

Максим Иванович в напряженной тишине прошел к столу, стал под висячей лампой, так что его кучерявые волосы, словно шапка, затеняли лицо, и сказал:

– Поверьте мне, мужики. Дело с колхозом – не выдумка Зенина или Кречева, а верховная установка. Газеты читаете, ну? Что там сказано? Колхозы – единственный путь развития. Другого пути не дают. Вот я и говорю – надо вступать, пока добром просят. Не то дождемся – пинками загонять станут. Все дело к тому идет.

– А постановление есть или нету? – крикнул Четунов.

– Пускай Зенин скажет!

– Омманут, мужики... Ей-богу, завлекут и омманут.

– Эт как же итить в колхоз? Добровольно на аркане? Да?

– Мудруют нами... Тасуют, как колоду карт.

– Пускай Зенин или Кречев скажет!..

Кричали и шумели со всех сторон.

Зенин поднялся над столом, а Кречев долго стучал о графин, пока все не смолкли.

– Товарищи, мы сами должны принять решение о создании всеобщего колхоза. А установка на сплошную коллективизацию имеется.

– Дак зачитайте ее! Кто ее подписал?

– Вам же русским языком говорят – не постановление, а установка. То есть линия главного направления. Принята она была на Пятнадцатом съезде партии. Чего же тут непонятного? Продолжайте, Максим Иванович. – Зенин сел.

– Дак вот, значит, линия. Надо испытать ее, испробовать. Может, она и приведет к чему хорошему, – начал Бородин, но его опять перебили.

– Одна попробовала, да родила!..

– Тиш-ша! Мать вашу перемать...

– Ты, Кречев, ступай на край села, где тебя ждут... Там и матюкайся.

– Что за базар? Кому говорят? Тихо!

– Ну что вы разорались, дураки? – крикнул от стола Максим Иванович. – Ежели есть линия, так надо обсуждать ее спокойно. Вы думаете, ваша брань долетит туда, – указал он на потолок. – Те, которые линию спускали, они все равно ваши матюки не услышат. Чего ж без толку кричать? Давайте соберемся миром в колхоз, вон как в Ирбитском округе... про что Зенин говорил. Чем больше мы соберемся, тем скорее докажем – правильно взята линия или нет. Правильно – хорошо заживем. Нет – вернемся к старому.

– Постой, постой... Ты чего мелешь? – поднялся Кречев. – Ты что, блины, что ли, печь собираешься? Сыматься будут – блинов поедим, а нет – тестом сожрем. Колхоз – это ж новый строй жизни! Понял? Все по-новому делать надо. Друг дружку поддерживать, подпираться плечом общее дело. Это ж на вечные времена. Только вперед и выше. Назад ходу нет.

– Дак я ж разве против? Я готов шагать вперед и плечом кого надо подпирать. Они ж вон упираются. Вот я и поясняю им. Колхозом жить веселее.

От стенки поднялся Макар Сивый, темный, в два обхвата, что копна, и засипел:

– Ты, Максим Иванович, храбрый да умный. А мы вот дураки и трусы. Ответь-ка на такой вопрос: сколько у тебя ртов? Молчишь? А-а! Ты, да я, да мы с тобой... Был один нахлебник – и тот отвалился. Теперь ты за весельем в колхоз топаешь. А мне каково, когда у меня у самого за столом веселье? Семь ложек играют, только поспевай в чашку наливать. Теперь я знаю, откуда подливать надо, – на свой горб надеюсь да вот на эти руки. А в колхозе что будет? Ну-ка да мы все лето повеселимся с Якушей да проспим с Тараканихой... Ты хвост в зубы – и в город. Тебя только Митькой звали. А я куда подамся со своей оравой? Мне-то куда? Вроде Вани Парфешина по домам итить, стадо гонять. Дак ведь и стада не будет... Всех коров в колхоз сведут. Чего ж мне делать? Брать кистень в руки – и на большак? Нет, Максим Иванович, на такое веселье ты нас не агитировай. Мы пока сыты, обуты, одеты. И слава богу. От добра добро не ищут. Вы же, которые веселой жизни захотели, ступайте в колхоз, гоните эту линию. Гоните, а мы поглядим. Получится у вас хорошо – может, и вступим. Нет? Не обессудьте.

Спорили еще долго... Уговаривали, кричали, матерились и вновь убеждали до самых первых петухов. Накурили так, что лампы светились мутными шарами, словно в тумане. Но... как было записано двадцать шесть человек, так на них и остановились. Ни один еще не записался. Кто бы ни выступал, как бы ни доказывал, ни убеждал, но все заканчивалось одной и той же фразой, пущенной с легкой руки Четунова: «Раз постановления нет сверху, так прямо и скажите... Чего с нами в прятки играете?..»

– Классовые враги подготовились лучше нас, – сказал в сердцах Кречев, когда от собрания остался один президиум за столом.

– Трудно работать, если у тебя руки и ноги связаны, – отозвался Зенин. – Как ни смешно звучат эти причитания шептунов, но они правы. Да, нужно постановление насчет всеобщей коллективизации. По округу, по району, по сельсоветам! Вот тогда мы заговорим по-другому.

Потом написали два документа; впрочем, писал Левка, а диктовал ему Зенин. Первым документом была резолюция общего собрания села Тиханова: «Заслушав все

разъяснения (докладчик тов. Зенин) относительно коллективизации, а также разъяснение статьи товарища Сталина «Великий перелом», постановили: необходимо объединиться в коллектив, чтобы поднять урожайность, культурность жизни и хозяйства, а также усилить помощь государству в отношении хлебосдачи. Все сознательные граждане, нижепоименованные, добровольно вступают в колхоз». К резолюции приложили список колхозников и еще сочинили телеграмму в окрколхозсоюз:

«В подтверждение правильности взятой XV партсъездом линии по переустройству сельского хозяйства и в ответ на нытье правых оппортунистов мы, граждане села Тиханова, в количестве двадцати шести человек объединились сего числа в колхоз и в Вашем лице заверяем партию, что с намеченными темпами пятилетнего плана в условиях с/хоз. справимся, дав требуемое сырье для промышленности и продукты питания для армии и рабочего класса.

Рязанским рабочим посылаем привет и обещаем подняться до того уровня дисциплины и культурности, какого достигли рабочие. Просим прислать для проведения в жизнь коллективизации рабочего или агронома».

Присмирившему Ванятке Зенин сказал:

– Запрашиваем агронома или рабочего с дальним прицелом, на случай всеобщей коллективизации. А пока придется, Иван Евсеевич, возглавить колхоз тебе. Мы поможем насчет утверждения, и вообще.

Домой возвращался Иван Евсеевич уже под утро. Шел по сонной Сенной улице, как со свадьбы, – и в душе все пело, и голова кружилась. Падал тихий снежок, припорошивал черные гребни колесников и мягко похрупывал под ногами. Легкий морозец пощипывал в ноздрях, продирает, как хороший табачок, до самого нутра и на выдохе белым куржаком завивался, покрывал его черные усы. «Наконец-то пришла моя пора шевельнуть бровями да мозгой раскинуть, – думал Иван Евсеевич. – Теперь я, что на молотильном кругу, в самом центре. Гляди в оба, Иван, отмечай по заслугам и того, кто везет, и того, кто порожняком идет, за чужой счет молотить норовит. Тебя самого гоняли по этому кругу, да еще с молоточком у наковальни... Иван, ударь сюда! Иван, тяни туда! Так что знаем, кто потом обливается, а кто и пузырем надувается. Не перепутаем...»

На краю села в его трехконной избенке светился огонь. «Что она, с ума спятила? – подумал он про жену. – Керосин всю ночь палит? С какой радости? От каких доходов? – Толкнул дверь – не заперта... – Или меня ждет?»

Санька Рыжая сидела за столом и плакала.

– Ты что? Ай обидел кто? – спросил он ее от порога, как маленькую.

– Сходи-ка в сад, погляди, что там наделали.

– А чего там делать? Что там у нас, каравай хлебные? – опешил Ванятка.

– Все яблоньки посекали, под самый корень... Они ж совсем ма-а-хонькие, – опять заплакала Санька. – Чего им надо-то? Тяпнул разок – и на бочок.

Иван почуял, как его правый ус ходенем заходил и веко задергалось. Он, не сказав ни слова, обернулся и пошел в сад через двор.

Санька семенила за ним по пятам и все приговаривала скороговоркой:

– Мне сон приснился... будто черт у нас в избе, с рогами... На Васю Сосу похожий и все руками норовит меня достать, с печи стащить, а я все от него за трубу прячусь... Он меня хватает лапой с когтями, и брешет... Ба-атюшки мои! У меня вся душа от страсти захолонула. Проснулась я – а это собака соседская брешет. И вроде у

нашего плетня. Уж не волк ли, думаю. Схватила шубенку внакидку, выскочила в заднюю дверь и вот тебе слышу – ктой-то по саду топают. И плетень трещит. Я вышла в сад – никого уж нет. А яблони на боку валяются...

Они посечены были под самый корень, их даже не стронули, так рядами и лежали... Все двадцать четыре яблоньки, его пятилетки, купленные еще в третьем годе у Черного Барина. Вот тебе и сад, надежда его и отрада. «За что же, сволочи? За что?» Иван ходил от яблоньки к яблоньке, смотрел на острые срезы коротких комельков – одним махом посечены – и чуял, как тяжелая злоба ворочалась в груди его и распирала изнутри, будто вся утроба распарена была от гнева. Следы порубщика уже заметало порошею, но в затишке, возле плетня, один след был еще виден хорошо – это был отпечаток здорового лаптя. Иван смотрел на этот след, матерился и видел отрешенным взглядом своим не снег, не плетень, а много-много лиц – темных, бородатых, и все они потешаются над ним, заразительно хохочут...

– Ну, погодите, гады. Вот вы как... Ладно. Эдак-то и мы умеем...

## 8

То постановление, о котором так мечтали Возвышаев и Сенечка, наконец появилось. Оно появилось в конце ноября, после Пленума ЦК о контрольных цифрах. По всей стране, по районным ячейкам, уездным, окружным, областным, рассылались депеши с кратким изложением Пленума. Заявление Угланова и Котова: «Для нас стоит вопрос: быть ли на отлете, поддерживать и дальше политику тт. Бухарина, Рыкова, Томского, или идти в ногу со всей партией. Мы считаем нужным быть вместе с партией...» «Пропаганда правых капитулянтов несовместима с пребыванием в партии». «Пленум ЦК об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства». «Резолюция по докладу т.Каминского». «Послать в деревню 25 тысяч рабочих». «Начинается новый исторический этап преобразования деревни» и т.д. и т.п. Московская область была объявлена районом сплошной коллективизации.

И потекли телеграммы, резолюции, обязательства, лозунги, донесения сверху вниз и снизу вверх, туда и обратно; забурлил этот бумажный поток, как подогретая и сдавленная чугунами трубами жидкость в системе принудительного круговращения.

В эту жестокую пору головотяпства, как и в иные времена, исчезла, растворилась многовековая нравственная связь, опиравшаяся на великие умы; и вот... и здравый смысл, и трезвый расчет, и необходимое чувство умеренности, контроля, словно плотина под напором шальной воды, уступили дорогу свободному ходу стихии, многоголосому хору ее толкачей и заправщиков; эти отголоски, как давнее эхо, укрытые на страницах газет той поры и в фолиантах пухлых подшивок архивных подвалов, еще долгие годы – только прикоснись к ним – будут сотрясать душу и поражать воображение человеческое своей неотвратимой яростью и каким-то ритуально-торжественным дикарским восторгом при виде того, как на огромном кострище корчилась и распадалась вековая русская община.

«Крестьянин старого типа с его зверским недоверием к городу, как к грабителю, отходит на задний план».

«Правые отмечают низкий уровень цен на с/хоз. продукты... А мы отвечаем: «Языком цен говорят классы!»»

«Некоторые уполномоченные поют с кулацкого голоса – мол, твердые задания невыполнимы».

«Полностью разоблачим теоретиков-оппортунистов из комсомольской ячейки

тормозного завода».

«Областной животноводсоюз вместе с товариществами устраивает совместные пьянки».

«Секретарь райкома сельхозлесрабочих Шульгин надрызгался в стельку в кабинете, кричит сторожихе: дай ковш! Сторожиха принесла, и Шульгин тут же стал мочиться в ковш. Все смеялись. А я говорю: что вы делаете? Тогда он бросил ковш, снял умывальник – и давай туда мочиться. Пушай, говорит, кто-нибудь умоется»<sup>14</sup>.

«Твердый отпор нужно дать и тем колхозам, которые продают излишки на сторону. Такие коллективы не могут считаться иначе, как лжеколхозы. Кулацких заправил лжеколхозов надо отдавать под суд».

«Пред. Тугильского Совета говорил: «Бояться кулаков не надо – они наши крестьяне. Я в свой коллектив с удовольствием принял бы кулаков. А что толку с бедняков?»

«Но разве не толкает на эту практику бухаринское предложение об отмене индивидуального обложения кулаков?»

«Вместо сдачи излишков колхозы распределяют хлеб по своим членам. Позор!»

«1 декабря – предельный срок для выполнения плана хлебозаготовок». «Выгрести хлебные излишки до последнего зерна». «Карать кулаков беспощадно».

«На днях состоялось постановление пленума Московского областного комитета комсомола о стопроцентной коллективизации Рязанского округа в течение 29-30 гг. К осени все должны быть в колхозах!»

«В течение года отсталый Рязанский округ должен стать одним из наиболее передовых не только нашей Московской области, но и всего СССР».

«Растрясем кулацкие закрома!»

«От мелких колхозов – к сплошной коллективизации!»

«Даешь сплошную!»

«Смоем пятно позора! Колхозы «Пристань» и «Красное знамя» продали излишки хлеба на частном рынке».

«Коммунист Панин выступил против контрольных цифр. Выяснилось, что он накануне пьянствовал с псаломщиком».

«Член сельсовета Савин говорил, что план невыполним, что таких излишков у нас нет. Но беднота настояла на своем».

«В деревне Бахметьево создано такое мнение у самих работников, что хлеба у них нет».

«Коммунисты уклоняются от вступления в колхоз».

«Первое – обложение рабочего скота. В результате чего уменьшилось его поголовье.

Второе, уменьшилось поголовье облагаемого крупного рогатого скота на 3%.

Третье, на кулацко-зажиточную часть наложить до 45% всей суммы налога».

«В с. Ягодном было составлено 45 актов на сокрытие и недоучет объектов обложения».

«Дообложено 40 хозяйств, доход мельника добавочно учтен в 7 тысяч 700 рублей».

«Неделя сбора мешков под хлеб. Поможем государству ликвидировать хлебные заторы!»

---

<sup>14</sup> Правда, 1929, № 276.

«Беспощадно изгоним всех кулаков из колхозов».

«Закрыли дом мракобесия – церковь».

«Все учителя вступили в колхоз».

«Среди просвещенцев есть элементы, которые сознательно вредят на хлебозаготовках и перевыборах в сельсоветы».

«В Рыбновском районе до 50% учителей – из духовного звания. Они до сих пор не порвали со своими папашами – служителями алтаря, у которых проводят каникулы».

«В наступление на классового врага в маске попа и сектанта!»

«Колокола – на индустриализацию».

«Довести до каждого крестьянского двора постановление о сохранении свиных шкур и щетины».

«1. Провести контрактацию скота.

2. Запретить продажу неорганизованного скота».

«Нельзя клеймить мясо опаленных свиней».

«Милиция бежит от мяса».

«Сельсоветы продолжают выдавать разрешение на продажу скота».

«Прекратить убой скота!»

«По Рижскому району имели место поджоги своих хозяйств кулаками с.Дегтяное со словами: «Гори и не доставайся ни нам, ни им».

«Вокруг хлебозаготовительной кампании в деревне обострилась классовая борьба. Кулаки кричат: если будете собирать хлебные излишки, село объявит голодовку».

«Несмотря на то, что статистика доказывала нам, будто урожай в этом году ниже прошлогоднего, мы заготовили хлеба больше, чем в прошлом году». (Из доклада В.Молотова на Пленуме ЦК).

«Заслушав доклад т.Карпушина о сплошной коллективизации Рязанского округа, Рязанская городская рабочая конференция целиком и полностью одобряет решения пленума окружкома ВКП(б) и президиума ОКРИКа, направленные к коренной перестройке с/хозяйства путем охвата единоличных хозяйств и мелких колхозов сплошной коллективизацией округа.

Отработать 1 день (из рождественских праздников) на сплошной коллективизации, провести сбор средств на тракторную колонну и привлечь рабочие массы к сбору утильсырья.

«Всем рабочим г.Рязани, имеющим свои хозяйства в деревне, войти в колхоз к 1 февраля 1930 года». (Резолюция общего собрания рабочих-строителей Рязани, отъезжающих в деревню.)

«Выделить из округа не менее 100 рабочих на руководящую работу в колхозы».

«Встретим весеннюю посевную кампанию в едином колхозе!»

И наконец поступил приказ – создать в каждом районе оперативный штаб по проведению сплошной коллективизации.

Начальник окружного оперативного штаба «по сплошной» Штродах в газете «Рабочий путь» доказывал, какие выгоды несет эта сплошная коллективизация: от одного только обобществления имеющегося сельхозинвентаря увеличится урожайность не менее чем на 10% и посевные площади расширятся. Ну как же? Ведь сообща работать веселее! А главное – в каждом селе мы-де поседем кормовые корнеплоды. Мужики не хотят сеять корнеплоды, а мы поседем. Ведь одни только корнеплоды при поливке их жидким удобрением могут дать столько кормов с одного



га, что можно будет выработать до 30 тыс. килограммов молока. А в целом по округу это даст добавочной продукции на 100 млн. рублей, тогда как вся валовая продукция по животноводству и зерну округа составила в прошлом году всего 250 млн. рублей. Видите, что даст эта сплошная коллективизация?

А если поднять целину, то есть распахать луга в пойме да пастбища? В одиночку такое дело не сделаешь, а сообща можно ее перевернуть, целину-то, потому как с песнями... Да посеять на ней корнеплоды, картошку посадить. Да еще 200 силосных башен построить под 100 тыс. тонн силоса... И дворы общие построим – и все своими руками. Из чего? А из подручных материалов, чтоб даром обошлось. А? Ведь за один год сплошной коллективизации таким вот манером мы превратим Рязанский округ из отсталого в передовой во всеобщем масштабе и зальем всех молоком и завалим всех мясом.

Большая статья, во все полотно газеты. И корнеплоды эти самые нарисованы, и рост изобилия показан. А поверх всего красовался сам Штродах, в кепочке, смотрит прищуркой, как бы на испыткок берет: ступай, куда посылают, делай, что приказывают, – не то хуже будет. И запомните – на строительство этого всеобщего изобилия надо использовать только местные средства. От государства не ждите помощи. Надо еще помочь государству, то есть сдать поскорее все хлебные излишки, которые числятся по обязательствам.

На сбор хлебных излишков в Гордеевский узел направлены были Возвышаев, Чубуков и Радимов; на подъем комсомольской массы была послана Мария Обухова, подкрепить же эту делегацию, придать ей весомую наглядную силу должен был Озимов с двумя милиционерами. Но Озимов ехать в одной компании с Возвышаевым отказался.

– У меня своя голова на плечах, за нее я отвечаю. А за чужую голову, да еще дурную, отвечать не желаю, – сказал он Пospelову.

Они когда-то вместе учились в Рязанской гимназии и, оставаясь наедине, откровенничали. Озимов, бывший вояка, погрузневший в отставке по ранению, позволял себе припугивать Пospelова бесшабашной откровенностью, доходившей до крамолы; Пospelов же уклончиво отнекивался, улыбался пугливо, на прямые и острые, точно пики, озимовские вопросы отвечал туманно или общими фразами и прикрывал глаза, словно прятался за очками. Всю войну просидел он в губернской статистике, а с приходом новой власти перешел в Совет и вступил в партию. Откуда же ему было набраться смелости?

– А если придется конфискацию применить за злостное сопротивление? – спросил Пospelов. – На кого им опереться?

– Там есть сельсовет, председатель Акимов, милиционер Ежиков, актив... Вот пускай и опираются. А я поеду в Степанове, в Желудевку. Я сам по себе. У меня шуму не будет.

– Либеральничаешь ты, Федор, вот что я тебе скажу.

– Я – либерал? – Озимов сжал свой кулачище, повертел его перед столом Пospelова. От напряжения пальцы его покраснели, а бугристые свилистые шрамы налились мертвенной синевой. – Погляди! Вот этот рубец от мадьярского палаша, а вот это, – указал на запястье, – казацкая шашка отметину оставила. Рукой этой шесть лет рубил без роздыха. Вот какой я либерал! Но хватать за шиворот и трясти беззащитных мужиков и баб не желаю. Понял?

– Понял, чем мужик бабу донял, – сказал Пospelов. – Эдак-то и я откреститься

могу. Я тоже воевал и ранение имею. А кто директивы исполнять будет?

– Какие директивы, Мелех? Штродах захотел чудо в решете сотворить – луга, мол, распашем да репой засеем. Целину поднимем? Нашел целину на лугах! Зараза... А мы с тобой сгоняй мужиков до кучи, чтоб они эту репу сеяли... А потом нам же по шее этой репой.

– При чем тут Штродах? Доклад на пленуме делал Каминский.

– А этот субчик лучше? Он семинар проводил. Наши, из Рязани, были там. Так знаешь, что он им говорил?

– Что?

– Лучше, говорит, перегните палку в этой коллективизации. Если и пострадаете, то за дело революции. Потом вас простят, оценят.

– Пойми ты, Федор, дело ж не в Каминском и не в Штродахе. Они только проводники.

– Проводники, говоришь? Да чьи проводники-то? Ты забыл, что раньше пташки покрупнее их пели? Да то же самое, то же самое. Не успели принять толком новый курс – лицом к деревне, они уж мины стали под него подводить. Помнишь брошюру Преображенского? Де-мол, капитализм построен за счет колоний; но так как у нас колоний нет, то давайте строить социализм за счет деревни. И тут же подхватили эту идейку... И Троцкий, и Зиновьев, и Каменев. Да мало ли их? Бона, целую платформу состряпали.

– Преображенский – сын орловского попа. Вот он и завирает...

– А другие тоже в попах состояли?

– Ладно распалаться! – успокаивал его Пospelов. – По-твоему, все перевернулось вверх дном? Ну и ну...

– Да ты не нукай. Вспомни тезисы оппозиции! Мол, давай обложим десять процентов крестьян принудительным заемом в 200 миллионов рублей. Вот тебе и деньги. Выкачаем излишков 200 миллионов пудов, отвезем за границу, обменяем на станки – вот тебе индустриализация. Кого обложим-то? Ведь кулаков всего два с половиной процента! И это называется экономической политикой? Это живодерство, а не политика. И правильно врезал им Дзержинский на апрельском Пленуме в двадцать шестом году. Мы, говорит, приняли курс лицом к деревне, а Каменев предлагает нам кулаком по деревне. Эх, жалко, помер. Он бы им врезал за издевательство над ленинским курсом.

– Не пойму я, ты – что ж? Против линии на коллективизацию?

– Не против я коллективизации, – поморщился Озимов. – Я не хочу, чтобы людей гоняли, как баранов. Против головотяпства я.

– Ну, кооперативный план не с неба свалился!

– А ты Ленина читал? В его статье о кооперации есть хоть слово о колхозах? Нет же. Это значит, что он не выпирал их на первое место, не требовал к ним центрального внимания партии. Это значит, что колхозы еще не ко времени, колхозы – наиболее трудный вид кооперации. Надо сперва научиться торговать, хозяйствовать, на ноги встать. Никуда не уйдут от нас эти колхозы! Куда мы торопимся? Куда гоним?

– Дак съезд же принял резолюцию!

– Не в одну же зиму забузовать всех в колхоз! Где это записано в резолюции съезда? Укажи мне!

– Ну, ситуация изменилась.

– Это точно. Все, что левая оппозиция предлагала, все с лихвой наверстывается...

Недаром все эти теоретики вернулись в партию. И Преображенский, и Раковский, и Пятаков... Теперь они аплодируют, все по-ихнему получается, как по писаному пошло. А всех, кто с ними не согласен, окрестили правыми. Ты не хмурься, не мотай головой. Ты тоже в правые попадешь, будь уверен. Зачислят и тебя, если уже не зачислили.

– Да ну тебя к черту! Типун тебе на язык, накаркаешь еще на ночь глядя. – Пospelов не на шутку испугался и даже из-за стола встал и прошелся по кабинету, печатая сапоги по дубовому, набранному в шашку паркету. – Ты лучше скажи, как будем обязательства по излишкам выполнять? Ведь пять с половиной тысяч пудов только ржи! Шутка сказать...

– А на хрена ты утверждал эти пуды? О чем ты думал?

– Я утверждал? Я ж на больничной койке валялся. Это ж Возвышаев с Чубуковым состряпали.

– Пускай они и расхлебывают сами эту кашу.

– А мы, думаешь, в стороне постоим, да?

Но Озимов на вопрос не ответил, отрешенно глядел куда-то в угол и сказал больше для себя:

– Это ж надо – опять к продразверстке скатились. А ведь еще на съезде сам Сталин говорил: нас, мол, толкают к продразверстке, но мы туда не пойдём. Там ничего хорошего нет.

– Ну, ты тоже загибаешь. Продразверстка шла сверху, отряды приезжали, забирали хлеб, скот. А теперь у нас вроде бы отряды не шуруют.

– Да какая разница? То из Москвы латыш приезжал, шастал по сусекам и дворам, а теперь свой Возвышаев шурует. Раньше бумага приходила – чего сдать конкретно. А теперь указание в общих чертах. Сами берем обязательства под дых и выше. Но это еще цветы, а ягодки будут впереди...

– Ну, поживем – увидим. Чего нам загадывать на будущее? И сегодня дел хватает. Ты поедешь с Возвышаевым или нет?

– Нет, Мелентий, с этим оборотистым дураком я не поеду...

Мария Обухова тоже отказалась ехать с Возвышаевым; уже после Озимова, в сумерках, зашла она к Пospelову и, остановившись возле самых дверных косяков, как рассыльный, руки навтыжку, сказала:

– Мелентий Кузьмич, я не могу ехать завтра утром с Возвышаевым. У меня запланировано комсомольское собрание в Веретье на завтра, в девять утра.

– У нас больше нет лошадей – все в разъезде.

– И не надо. Я пешком.

– До Веретья пешком? – удивился Пospelов.

– Я в Беседине заночую. Там у меня подружка, учительница. А от Беседина до Веретья всего пять верст. Утречком по морозцу пробегусь.

– Зачем же пешком? До Гордеева на лошади доедешь. А там недалеко.

– Я не хочу вместе с Возвышаевым ехать, – упрямо повторила Обухова.

– По-моему, он не кусается. И раньше вы его вроде бы не боялись.

– Я никого не боюсь. Мне легче пешком, чем с ним в одной телеге.

– Давайте не дурить. Тоже мне, чистоплюйство, понимаете. Ехать в одной телеге не желает? Может, вы и работать там не желаете вместе с Возвышаевым?

– Работать буду. Но у меня своя задача.

– Вы давайте мне автономию не устраивать. Своя задача? У всех у нас одна задача – собрать хлебные излишки. А Возвышаев – старший группы. Извольте подчиняться.

– К двенадцати часам я буду в Гордееве. Но только пойду одна. Так что пусть завтра утром меня не разыскивают.

– Как хотите. Вольному воля.

Мария пошла в Степаново к Успенскому. Накануне они договорились встретиться, и вдруг – эта срочная поездка. «Вот и обманщицей стала, – укоряла она себя дорогой. – Соврала – пойду в Беседино. Хорошенькое Беседино у милого под крышей. Поди, догадываются все – куда я ночевать пошла. Не дай бог Надя узнает – вот позору будет. Еще из дому выгонит».

Что бы там ни было, а ехать в одной телеге с Возвышаевым – хуже всякого позора. Молчать всю дорогу – пытка. «Сказать ему все, что думаю о его погромных делах, – всю обедню испортить, и себе навредить, и Тяпину. Лучше уж вовсе не ездить. Сказать, что с меня хватит. Сложить все полномочия добровольно. Все решить одним махом. И сделаться мужней женой? Детей нарожать, пеленки стирать. А чем я лучше других? Какой из меня, к черту, борец? Тряпка я, тряпка... Даже в любви не как у людей – сама бегаю к мужику, по ночам... Какой позор! Какая срамота. Полное безволие...»

Но так она думала, ругала себя только до его порога. Подымалась на крыльцо и чуяла, как дрожат, подгибаются колени, как рвется, обмирает сердце. И трудно было поднести руку к щеколде, и нетерпеливо ждала, когда скрипнет дверь, и простучат в сенях его торопливые шаги, и вырастет он в этом черном проеме, и весь свет заслонит собой.

– Пришла? Изумруд мой яхонтовый!..

– Ой, Митя! У меня ноги подкашиваются.

– Зачем ты рискуешь? Зачем подвергаешь себя такой опасности? Ты только скажи мне – куда прийти. Я невидимкой буду, ветром прилечу.

– К Наде на порог? Она тебя кочергой встретит...

В сенях она уже смеялась, подставляя шею, грудь, запрокидывая голову, прогибаясь, повисая и покачиваясь в его крепких объятиях... Потом он вел ее темными сенями к себе в горницу, снимая на ходу платок, жакетку: прижимался щекой к ее тугой груди, слушал, как звучно и упруго рвется к нему сердце, и жадно оглаживал ее всю горячими руками, чувствуя, как сводят с ума его эти сильные бедра, эти икры. Он торопливо снимал с нее одежды, путаясь в них и замечая, как она бледнела и крупные редкие слезы катились по ее щекам.

– Милая моя, желанная, единственная...

Она ничего не говорила в такие минуты, только слегка раскрывала губы и дышала шумно и прерывисто...

В этот вечер они легли, не зажигая лампы. Горела лампада перед иконами, грубка топилась, сквозь чугунную решетку вырывались переменчивые отсветы от пламени и плясали на желтом крашеном полу.

– Что же творится, Митя? Что творится? – спрашивала она и смотрела в потолок, как будто там что-то можно было прочесть.

– Чему быть, того не миновать. Я же говорил тебе – уходи, пока не поздно. Иначе захлестнет стихия, закрутит, утащит, как в ледоход на реке. Хватишься, пойдешь к берегу – не выплывешь.

- Да разве это выход? Бросай дело и спасайся кто может!
- То, чем вы занимаетесь, это дело, да?
- Не придирайся к словам. Ты раньше сам занимался этим.
- Увы! Твоя правда.
- Ты и тогда считал, что там одни перегибщики да карьеристы?
- Нет, Маша, не считал. И теперь не считаю.
- Так в чем же дело?

Он приподнялся на локте, внимательно посмотрел на нее, лежавшую рядом, – в полусумрачном свете глаза ее лихорадочно блестели, но щеки и лоб все так же были бледны, а губы сжаты, и что-то неуступчивое, сердитое было на лице, какая-то навязчивая мысль сдвинула брови до складки на переносице и держала всю ее в напряжении.

- Хорошо, я попытаюсь тебе ответить.

Он встал с кровати, надвинул на босу ногу подшитые валенки, накинул вязаную шерстяную кофту и сел на стуле возле грубки. Она все так же лежала, смотрела в потолок, ждала.

- Я раньше верил, Маша, верил, – сказал он наконец. – А теперь не верю.
- Во что?

– Ни во что не верю. В бога перестал верить по глупости да по лени и во все остальное... Устал я, Маша, и понял кое-что.

– Понял? – спросила она, оживляясь, словно обрадовалась, и даже привстала. – Так вот и скажи мне – что ты понял? Отвернись, я оденусь!

Она надела платье, села на перине, сложив ноги по-детски, калачиком, и приготовилась слушать, как школьница на уроке.

- Тут, Маша, в двух словах не скажешь.
- Скажи в трех. Не считай слова-то. Говори! Я терпеливая.

– Ну, начнем с главного: человек не может быть свободным от общества, общество – от классов, классы – еще от чего-то, и так далее. Тут целая теория, в основе которой лежит не свобода личности, а закон целесообразного подчинения...

– Свобода есть осознанная необходимость! – перебила его Мария. – Не помню – кем это сказано. Но хорошо!

– Согласен. Однако при одном условии: осознанная необходимость требует соблюдать одну обязанность – неперемное исполнение законов всеми членами общества в равной степени. Еще Сократ об этом говорил: единомыслие, в котором клялись в Элладе, не значит, чтобы все хвалили один и тот же театр, хор или одного и того же поэта или предавались одним и тем же удовольствиям; под единомыслием, говорил Сократ, я понимаю повиновение законам всех членов общества. Равнообязательное соблюдение законов всеми гражданами создает монолитность общества и нравственное удовлетворение, уравнивание каждого отдельного члена его. И Ленин требовал этого же. Особенно он был нетерпим к нарушению законов бюрократами. С них он требовал взыскивать за эти нарушения строже, чем с рядовых граждан. И это справедливо, потому что каждый управляющий обязан сам следить за соблюдением законов, и нарушение им этих законов, как зараза, перекидывается на подчиненных. Вот почему он и объявил в последний период жизни основным врагом общества, главной опасностью – засилие бюрократии.

– Но ведь каждый сознательный человек, и тем паче коммунист, должен с презрением взирать на эти бюрократические извращения, а сам оставаться стойким

блюстителем нашей нравственности.

– Это чистая теория, то есть так должно быть в идеале. Но идеал, не как единичное, а как массовое явление, немислим без всеобщей гармонии. Если бюрократ, подписывающий законы, сам же и нарушает их, то рядовому человеку все это видно как на ладони. А люди бывают разные; одни принимают все на веру, точнее – делают вид, что все в порядке, и сами становятся блюстителями такого же порядка в кавычках, и даже других заставляют подчиняться общим указаниям, для себя же делают исключение; другие же не подчиняются, выламываются из общего порядка и становятся чуждым элементом, как теперь говорят... Есть еще третий, на мой взгляд, наиболее распространенный образ поведения: понимая, что иного выхода нет, человек перестает мыслить, рассуждать и принимает все, что происходит, как свое искомое и даже находит в этом разумную целесообразность. Порой искренне не замечает, что превратился в послушного исполнителя чужой воли. И его нравственное начало, его совесть, взгляды начинают меняться или тускнеть, отмирать, и появляются разумные потребности: жажда продвижения к власти, мечта об известности, славе или простое желание комфорта и удовольствий. Конечная цель для него – пустой звук, настоящее благосостояние – все. Вот так, друг мой, все общество делится на разумных да покладистых и на строптивых и дураков. И те и другие несчастны, потому что мучают друг друга. И связаны одним железным обручем рабской схоластики – человек, мол, не может быть свободным в своих действиях или поступать так, как велит совесть. Человек – частица общества, кирпичик его, винтик... Это ложь! Человек не может быть ни кирпичиком, ни винтиком, ни частицей целого. Человек – не средство для достижения цели, пусть даже общественно значимой. Человек сам есть цель. Каждая личность несет в себе особый и неповторимый мир. И не стричь всех под одну гребенку, не гнать скопом, а наделить правами, свободой, чтобы развивалась каждая индивидуальность до нравственного совершенства. В этом и есть конечная цель социализма. Вот что я понял прежде всего.

– От этого отдает эгоизмом или максимализмом каким-то, даже какой-то религиозной заносчивостью. Как можно личность ставить выше общественных интересов?

– Никакого эгоизма! Свободная личность значительно больше обогащает общество, чем подневольная. Ее труд, ее поиск нравственного совершенства, собственный путь прозрения вызывают любовь и терпимость к ближнему своему. То есть истинно свободный гражданин сознательно строит гуманное общество. Ради этого и делалась революция. Он, свободный человек, кровно заинтересован в терпимости, ибо сам испытывал на себе терпимое отношение общества в пути его к прозрению, к обретению истины. Когда же с тобой не считаются и навязывают иное понятие гуманизма, не спрашивая тебя – согласен ли ты с этим понятием, то в тебе нет и не может быть ответного движения души, нет выбора, следовательно, нет и собственного постижения истины, то есть того процесса, который делает из тебя независимое мыслящее существо. Общество, которое построено по такому принципу, не может быть ни гуманным, ни свободным. Об этом, собственно, и говорили классики социализма.

– Так что ж, по-твоему выходит, что у нас нет ни социализма, ни демократии?

– У нас, Маша, диктатура, переходный период, так сказать, несколько затянулся.

– Но, Митя, у нас же диктатура целого класса, пролетариата. Это же совсем другое дело!

– Оставим класс в покое. Я говорю об извращениях регламента, или кодекса, как хочешь это назови. При диктатуре пролетариата у нас Советская власть. Советы же есть форма народовластия. По существу, Советы и должны все решать. Но бюрократия ухитряется проводить свой, неписанный регламент. Это и раньше знали, боялись, чтобы аппарат управления не замкнулся в себе, не поставил бы целью – вместо служения обществу – собственное благосостояние, поэтому и пытались контролировать этот аппарат партийной или независимой печатью, выборами, собраниями рабочих, крестьян. И, между прочим, добивались успеха при Ленине и даже некоторое время после смерти его. Потому и вводили демократию в специальных решениях.

– Правильно! У нас же решение съезда есть о развитии внутрипартийной демократии!

– Решение-то есть. Но его надо в жизнь проводить. Через два года после Десятого съезда опять было такое же решение Политбюро о развитии этой же самой внутрипартийной демократии. А результатов нет. Какая же может быть демократия, если несколько человек, пришедших к общему выводу, отличному от принятого большинством, не смеют заявить об этом открыто, ибо тут же будут сметены как фракционеры? Демократия, в том числе и партийная, требует терпимости к различным мнениям, если угодно – сосуществования этих мнений. А мы боимся разных мнений и осуждаем их.

– Неужели у нас нарочно устраивали так государство, чтобы хуже было?

– Ну, что ты! Задумано все было для улучшения жизни. Все, мол, по науке. Эксперимент! И демократия отменялась, чтобы создать монолитность общества. Говорили, что временно, – вот кончится война, и все будет по-другому. И вообще-то, Ленин пытался устроить по-другому. У него были воля и бесстрашие. Он был человеком практичного ума. И решение провел о внутрипартийной демократии, готовился к бою с бюрократией. Он ввел нэп всерьез и надолго. Но – увы! Жизнь его оборвалась в самом начале этого похода. И ни один из преемников Ленина не обладает ни умом его, ни бесстрашием.

– Не все боятся. Троцкий, например, даже очень стремился к демократии. Вспомни его первые три письма в конце двадцать третьего года, с чего и началась эта самая оппозиция. Я была тогда студенткой. Мы очень понимали его критику и призывы к омоложению ЦК.

– Он же демагог, Маша. Конечно, он был прав, когда требовал развития демократии в партии. Но что толку в его правоте? Он молчал два года после съезда и ни гугу об этой демократии. Как только Ленин заболел, а Зиновьев, да Каменев, да Сталин стали во главе партии, вот тут и проснулся наш демократ. Он ведь выступил на другой день после того, как было опубликовано решение Политбюро об этой самой демократии. Ну как же! Он боялся остаться в тени Политбюро. Потому и выступил. Они, мол, за половинчатую, а я за полную демократию! За обновление ЦК! Он рассчитывал на этом «обновлении» в диктаторы выйти. Думал, что и рыбку демократии съест, и святость диктатуры соблюдет. Не получилось. Раскусили его, прищучили. Он и завопил во весь голос: «Караул! Намордник надела на партию фракция Сталина! А мне рот затыкают». Но когда он был у власти, то сам всем рот затыкал. Да еще как! Головы рубил направо и налево. Это он ввел расстрел каждого десятого при сдаче Вятки. Он ввел концлагеря. Он требовал перманентной революции. Это он доказывал, что социализм построить в нашей стране нельзя, потому как она негожая. Почва, видите ли, изгажена. Она, мол, и годится всего лишь как горючий

материал на растопку его бредовой мировой революции. Он требовал ободрать крестьян принудительным заемом, сколотить трудовые армии... Устраивай шурум-бурум для диктатуры пролетариата. А диктатура пролетариата для него, Троцкого, – орудие личной власти. И этот живодер хотел установить демократию? Да кто ему поверит?

– Митя, а за что тебя исключили из партии? Ты мне так и не сказал.

– А вот за это самое... За все то, что я тебе здесь рассказываю. В конце двадцать шестого года мы обсуждали в волкоме итоги Пятнадцатой конференции. И, конечно, говорили, осуждали, одним словом, действие левой оппозиции. Сидели все свои, в узком составе. Ну, я и сказал, что, в общем-то, никакой оппозиции и не было, велась обыкновенная борьба за власть. Пока Зиновьев да Каменев стояли во главе партии, они требовали – никакой пощады Троцкому; как только их столкнули, они завопили в один голос с Троцким: где внутрипартийная демократия? Где уважение к теории, к авторитетам? Потому, говорю, идет этот шурум-бурум, что никто из этих кандидатов на Ленина рылом не вышел. Был один человек с головой, который мог бы возглавить совнарком, так они его сообща выставили за границу, послом.

– А кто это?

– Да Красин, говорю. Он и партийный боец, и умница – один из лучших инженеров России. И черт меня дернул вытащить из стола синенькую тетрадь. Я в нее записывал всякие стоящие высказывания. Да я тебе покажу ее. – Он прошел к красному углу, достал с книжной полки синюю тетрадку с прямоугольной белой наклейкой на передней корочке и прихлопнул ею по ладони. – Вот она! Я ее раскрыл и зачитал выписку из статьи Красина, где он с Лениным спорил в двадцать третьем году, в «Правде». Сейчас, погоди. – Он зажег лампу и раскрыл тетрадь. – Вот оно! «Мы с В.И. давние противники в вопросах, касающихся гос. контроля. Он всегда стоял за усиление и развитие этого учреждения, я же давно боролся против гипертрофии контроля. Противопоставление контроля производству не выдуманно мною, а создано жизнью и слишком рьяными сторонниками усиления контроля...» – Успенский оторвался от чтения и сказал: – Речь шла о создании контроля над производством, о так называемом Рабкрине. Ты помнишь, наверно?

– Ну как же! Вся надежда на рабочий контроль! А потом его упразднили, сказали, что помеха.

– Вот именно. А сколько людей отрывали от дела? Всех в контроль пичкали. Вот Красин и написал тогда, слушай: «Весьма сомнительно, чтобы стоило отрывать хороших специалистов от действительно производительной плодотворной работы... Специалист является и остается специалистом своего дела лишь до тех пор, пока он работает на своей фабрике, в своей мастерской, на своем поле. Как только его взяли в канцелярию, он превращается в чиновника и в таком естестве способен только вредить, а не помогать делу...»

Мария хлопнула в ладоши и звонко рассмеялась:

– Превосходно! В самое яблочко попал.

– «Главная наша беда в том, что мы не можем, не умеем организовать именно производство! В этом самое слабое, а вовсе не в том, что у нас нет достаточно хорошо построенного контролирующего аппарата...» – Успенский оторвался от чтения и сказал: – Ну и далее, все в таком плане. Я и говорю им: делом надо заниматься, устройством производства. А мы чем занимаемся? Ловлей блох за канцелярскими столами. У Ленина, говорю, в той статье насчет Рабкринина были слова о необходимости



подготовиться к ловле этих самых... вредителей. Я тебе найду их сейчас. – Успенский полистал тетрадь и сказал: – Вот они! Необходимо подготовиться «к ловле не скажу – мошенников, но вроде того». Это Ленин написал. А Красин ему ответил... Вот что он ответил ему... так: «Я боюсь, что многими читателями будет дано этой части статьи распространительное толкование, не в смысле ловли мошенников, а в смысле ловли вообще, по случаю плохого хозяйничания, ловли по случаю недостаточного проявления инициативы и т.п. вплоть до ловли несогласно мыслящих. Опасение мое основано на чрезвычайной нашей приверженности к этому способу госдеятельности...»

Успенский глянул на Марию и удивился ее странному выражению, она будто бы только проснулась и не могла понять – где находится.

– Это невероятно, – сказала она наконец. – Это же все про то, что теперь происходит. И вредители, и чистки, и выдвиненцы... Боже мой!

– Все про то же, – сказал Успенский. – И Салтыков-Щедрин писал все про то же. Помнишь? Сходились раз в полгода и сбрасывали Ивашку с колокольни, а то безбожников срамили и даже сжигали. А теперь верующих сажают... и уже не единицами, а тысячами. Темпы дают. Прогресс! Наука!!

– Боже мой, боже мой! Где же выход из этого тупика?

– А все там же... Делом надо заниматься, дело-ом. А у нас только то и на уме – как бы подчинить производство бюрократии. Что? Бюрократии не хватает? Увеличим за счет рабочих, инженеров, за счет мужиков, наконец. Лишь бы производство контролировать. Да что там производство! Всю живую жизнь хотим привязать к канцелярскому столу... Не раздувать аппарат, а сокращать его надо. А производству давать больше самостоятельности. Пусть все эти крестьяне, рабочие, инженеры сами создают свое дело по хозрасчету, пусть сами и отвечают за него, сами и прибыли делят. А бюрократию менять почаще надо, взять ее под контроль. Вот где нужен контроль-то. Ведь не в том беда, что плоха бюрократия, а в том беда, что она бесконтрольна. У нас все верхи отчитываются только друг перед дружкой, как это было заведено еще в подполье. И Красин об этом же писал. Вот, послушай: «Верхи нашей партии до сих пор построены так, как это было 20 лет тому назад, когда главная задача партии состояла в кидании лозунгов в массы, литературы, агитации, пропаганды...» – Он оторвался от чтения и взглянул на нее с игривой улыбкой. – Каково? По-моему, не в бровь, а в глаз.

– Да-а. – Мария только головой покачала.

– И Ленин ведь писал об этом же. Помнишь? В «Очередных задачах Советской власти». Хватит, мол, заниматься киданием лозунгов! Нужно учиться хозяйствовать. Считать да рассчитывать. У бюрократии учиться!

– Тебя, Митя, не поймешь, – усмехнулась Мария. – По-твоему выходит, что Ленин то против бюрократии выступал, то за.

– Да не за и не против! Он искал оптимальный вариант, тот самый, когда бюрократия могла быть не помехой в деле, а подспорьем и даже опорой. Главное, чтобы бюрократия не замыкалась в себе самой, чтобы в управлении государством участвовали широкие массы – не на словах, а на деле. Чтобы они не натыкались на бюрократический заслон.

– При чем тут заслон? В нашем аппарате, или бюрократии, как ты говоришь, большинство рабочих да крестьян.

– О, батюшки мои! – Он даже руками всплеснул. – Я же не говорю о сословной

чистоте нашей бюрократии. Я говорю о том, что бюрократия, или аппарат, – как хочешь называй это! – не должна замыкаться в самой себе. А эти массы не просто должны пополнять собой состав бюрократии, а делом своим, делом участвовать в управлении государством, оставаясь даже за пределами аппарата.

Он стал горячиться, смотрел на нее возбужденно и сердито, будто и она в чем-то была виновата, и это стало раздражать Марию.

– Давай спокойно. – Она села на стул возле печки и спросила: – Что ты понимаешь под этим деловым управлением?

– А то же самое, что понимали сторонники Ленина! Или проще скажем – сторонники нового курса. Например, Калинин... В двадцать пятом году ВЦИК ввел новую избирательную инструкцию, и сразу в сельсоветах оказались деловые люди, а горлохватов выгнали. А что сказали бдительные консулы? Они закричали, что-де избивают бедноту и коммунистов. Не бедноту, а лодырей изгоняли из Советов. Но окрик возымел действие: отменили эту инструкцию ВЦИКа.

– Сельские Советы – еще не вся страна.

– А на фабриках, на заводах? То же самое! Вот послушай, что говорил Дзержинский по Пятнадцатой конференции. – Он опять раскрыл синюю тетрадь, лежавшую на его коленях, и прочел: – «Если бы вы ознакомились с положением нашей русской науки в области техники, то вы поразились бы успехам в этой области. Но, к сожалению, работы наших ученых кто читает? Не мы. Кто их издает? Не мы. А ими пользуются и их издают англичане, немцы, французы, которые поддерживают и используют ту науку, которую мы не умеем использовать, они стараются извлечь из нашей науки для себя большую пользу. Поэтому поддержка инженерных секций профсоюзов, оказание им всяческого содействия является одной из основных наших задач». Вот так! Он даже требовал дать инженерам какую-то конституцию на заводе и в управлении фабрикой. Расширить их права!

– Ты говоришь и читаешь с таким напором, как будто я против Дзержинского, – усмехнулась Мария. – Думаю, что впрямую против таких слов никто и не выступал.

– В том-то и беда, что выступали, да еще как! Вот, например, что сказал Зиновьев на Четырнадцатом съезде насчет расширения прав инженеров. – Он опять раскрыл свою тетрадку. – Так... Вот оно! «Совершенно ясно, что таких прав они, как своих ушей без зеркала, в нашей республике не увидят. Это бесспорно. Мы пойдем навстречу честным из них и искренним нашим друзьям. Не надо мозолить глаза словом «спец». Пойдем на дальнейшее улучшение зарплаток, как только будет можно. Политических же уступок мы не сделаем». Вот как по-разному говорили и поступали сторонники и противники ленинского курса.

Странное дело – Мария слушала и понимала правоту его слов, но то, как он говорил это сердито, как назидательно читал, словно тыкал ее носом в тетрадку, как школьницу, все более раздражало ее, вызывая желание высказать ему в лицо с такой же откровенностью: что благо в сторонке сидеть да умничать, а ты покрутись попробуй на моем месте и делом докажи, какой ты храбрый сторонник правильного курса. Но, желая заглушить это подымавшееся из глубины души раздражение, она уклонилась от перепалки и спросила:

– Как же твои приятели из волкома посмотрели на синюю тетрадь?

– Насчет Красина? Да растерялись. Прочел я им и вижу: лица у всех вытянулись и посерели. Тогда я их еще подзадорил, поддразнил: чего ж, говорю, вы молчите? Зиновьев на Двенадцатом съезде назвал это меньшевистской платформой. А Красин в

ответ окрестил Зиновьева, говорю, паническим демагогом. А почему эти инженеры и всяческие спецы плохо работают? Да потому, что отсечены от управления, не распоряжаются своим же делом. А теперь и крестьян хотим оторвать от своего дела. И сами же ищем виноватых. Не там ищем, не тем занимаемся.

Помолчали. Мария долго глядела на отсветы пляшущего пламени, потом спросила:

– За что же тебя исключили?

– Кто-то донес в уезд о моей читке. Полагаю, что Возвышаев. Меня вызвали, устроили настоящее судилище. И левым меня обзывали, и правым, и даже членом рабочей оппозиции. Исключили за клевету на генеральную линию. Поначалу я кипел, возмущался, пытался доказать свою невиновность. Но меня попросту никто не слушал. Понемногу скис и махнул рукой – писать некуда. И что исключили меня – явление в данной ситуации вполне закономерное. Дела пошли горячие. Ну кому охота возиться с каким-то волостным военкомом? Комар!

– От такой логики, Митя, хочется в голос завывать.

– Мы сами виноваты, Маша. Сами сложили теорию насчет винтиков да кирпичиков. Не годен, проголосуют – и баста. Один винтик выпал – другой вставят. Свято место пусто не бывает.

– Это безволие, Митя. Надо драться, отстаивать правоту свою.

– Ты не поняла меня. Я не считаю нужным отстаивать правоту свою перед людьми, которым нет дела до моей правоты. Им нет дела до меня, как до человека мыслящего, с чем-то несогласного, в чем-то сомневающегося. Им важно поголовное единство. Поголовное! Как только я понял это, мне стали безразличны они. Я вырос на Толстом и Достоевском. Они считали, что нельзя при помощи поголовного единства да еще по принуждению добиться всеобщего счастья.

– Ни Толстой, ни Достоевский не занимались переделкой общества. Еще не известно, как бы они вели себя при этом. Одно дело говорить, другое – делать.

– Нет, Маша. Слово поэта – есть дело его. Не соучаствовать в торжествующей несправедливости есть нравственная обязанность, как говорили древние. Ее придерживались и Толстой, и Достоевский и нам велели. А высшая форма добродетели состоит в смелости духа и неустрашимости мысли. Отсюда и критика.

– Нападать на социализм в те поры – храбрость невеликая.

– Не в социализме дело. Они бичевали ту врожденную, что ли, какую-то сатанинскую нетерпимость человеческой природы, проявляющуюся в поразительном стремлении к подавлению чужого мнения, воли, интеллекта, в безумном утверждении собственной гордыни. Наши теории слишком увлеклись социальной стороной и совершенно сбрасывали со счетов эту психологическую, или даже биологическую особенность человеческой природы. Они природу в расчет не берут, говорил Достоевский. Вот в чем ошибка.

– Неужели все состоит из одних ошибок? И ничего справедливого, ничего хорошего не было в революции?

– Почему не было? И раздел земли справедлив, и упразднение сословий... В революции участвовали миллионы. И сказать, что это дело несправедливое – значит ничего не понять. Я говорю, Маша, о тех тенденциях, которые накладывают свой отпечаток на определенные стороны революционного процесса, говорю о тех извращениях, которые предугадывали наши гениальные писатели и многие революционеры. И Ленин писал о детской болезни левизны в коммунизме. А толку

что? Уяснили что-либо эти леваки? Ни черта! Ленина они не трогают, боятся. Зато Достоевскому достается. Теперь обвиняют Достоевского в том, что он окаррикатурил революционеров в своих «Бесах». Но это же чепуха! О чем больше всего пеклись эти вожачки вроде Петеньки Верховенского или Шигалева? Да об установлении собственной диктатуры. А эти о чем запели? Не успел еще Ленин помереть, как они полезли на трибуны – и Зиновьев, и Троцкий, и еще кое-кто... и, захлебываясь от собственного самодовольства, заговорили не о диктатуре рабочего класса, а о диктатуре партии, в которой вождями ходят. Вот, изволь полюбопытствовать. – Он открыл тетрадь и сказал: – Выписка из доклада Зиновьева на Двенадцатом съезде: «Диктатура рабочего класса имеет своей предпосылкой руководящую роль его авангарда, т.е. диктатуру лучшей его части, его партии. Это нужно иметь мужество смело сказать». Какой стиль-то! – усмехнулся Успенский. – Прямо Смердяков! – И опять прочел: – «У нас есть товарищи, которые говорят: «Диктатура партии – это делают, но об этом не говорят». Почему не говорят? Это стыдливое отношение неправильно». – Он потряс тетрадью и голос повысил: – Карикатура, говоришь?

– Я этого не говорю.

– Да какая разница? Не говоришь, так думаешь. Тот же Зиновьев на съезде потребовал запретить критику. Так и объявил, что любая критика партийной линии является объективно меньшевистской. На Четырнадцатом съезде разгорелся спор – надо доносить или не надо. Один старый партиец – не то Драпкин, не то Гусев – так и сказал, что каждый член партии должен доносить; если, мол, и страдаем мы от чего-то, так от недоносительства. Это что, не шигалевщина? А теперь и в газетах что творится? Вспомни последние чистки. Они чаще всего построены на этих публичных доносах. А вот тебе еще один теоретический перл. – Он открыл тетрадь. – Это выписка из книги Бухарина «Внеэкономическое принуждение в переходный период»: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Нужны еще доказательства безумия этой левизны?

– Издержки неизбежны в любом деле. Но нельзя же так сгущать, сосредоточивать внимание на теневых сторонах. Ведь было же и доброе, серьезное, разумное.

– Да, было... Возьми хоть тот же нэп, кооперацию и весь этот новый курс в деревне. Когда его принимали – радовались. Но всего через год те же Зиновьев, Каменев, Преображенский, Троцкий – да разве их перечислишь! – закричали, что партия окулачивается. На Пятнадцатой конференции какая-то мразь – Ларин да Голощекин – напали на творцов нового курса. Тут можно нападать, потому что речь идет о терпимости, о равноправии широких крестьянских масс. Давить! Вот лозунг всех леваков. Это ж надо, еще в двадцать шестом году тот же Ларин требовал раскулачивания, а вся оппозиция через год предложила обобрать десять процентов крестьянских дворов во имя индустриализации. И Рыков, и Бухарин только посмеивались в ответ. Сам Сталин говорил: я знаю, мол, что нас толкают назад, к продразверстке, но мы туда не пойдём. А через два года пошли. Все требования левой оппозиции с лихвой перекрыли. Погоди, то ли еще будет.

– Но нельзя же сидеть сложа руки и годить. Надо бороться, Митя!

– Э, нет. Хватит такой борьбы. От нее только злоба в людях да смута в обществе. – Он сцепил руки на затылке, откинулся на спинку кресла и продекламировал: «И с грустью тайной и сердечной я думал: жалкий человек. Чего он

хочет!.. небо ясно, под небом места много всем, беспрестанно и напрасно один враждует он – зачем?» Тайна сия велика есть. Надо учить людей, Маша, учить добру, воспитывать любовь в сердцах и душах. А главное, самим надо показывать пример любви к людям, выступать против фальши, насилия, быть стойким в своих убеждениях. Надо высоко нести человеческое достоинство. К этому я тебя и призываю.

– Но этого мало, Митя, мало! Это ж добровольный уход от борьбы, бегство с поля боя! Вспомни Пушкина. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...» Если даже я проиграю... Пусть свалюсь в эту бездну. Но совесть моя чиста будет: я все сделаю, чтобы справедливость торжествовала. Все, что в моих силах.

– Правду силой не навяжешь. За правду страдать надо. Не тот герой, что кнутом вколачивает справедливость, а тот, что стойчески выносит на плечах своих тяжесть общего груза. Одно дело – гнуть или вырабатывать общую линию на совещаниях, другое – вкалывать с киркою и тачкою на общих работах.

– Да нельзя же одно противопоставлять другому; нельзя же ради сострадания к тяготам маленького человека уходить от борьбы за большую государственную правду. Иначе мы будем скатываться на позицию Евгения из «Медного всадника» и обвинять Петра I; то есть большое государственное дело Петра, строителя Петербурга, во имя величия России, рассматривать будем с точки зрения обывателя, пострадавшего от наводнения. Ты ли не знаешь, что нам нужно выходить на новые рубежи и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Нам нужно иметь гораздо больше и хлеба, и машин, иначе нас просто сомнут враги. Не имеем мы права, пойми ты, решать государственные задачи с оглядкой только на то, как трудно выполнять их мужику или рабочему. И мужик, и рабочий обязаны не только терпеть эти трудности, но и сознательно идти на лишения временного характера, чтобы обрести в конце концов всеобщее счастье. А без достижения государственной мощи не будет и общего благосостояния. И я, и ты обязаны участвовать в этом большом деле, принимая во внимание все стороны процесса, а не только тяготы рядовых тружеников.

– Вот ты как! Значит, правда Петра I и правда Евгения, правда царя и правда маленького человека. Общегосударственное дело – и мужицкие сермяжные интересы...

– Ты не утрируй насчет мужиков! Я их люблю не меньше, чем ты. Я говорю о необходимости несения общих тягот во имя государственной цели. Их несут не только одни мужики. Я говорю: прав тот политик, который сказал, что нас, мол, обвиняют в том, что мы совершаем индустриализацию за счет народа. Но ведь иного счета у нас нет! И колхозы тут же. Это все та же индустриализация. Это скачок вперед. Либо мы его сделаем, либо нас сомнут. Пойми!

– Да понял я тебя, успокойся. Я не делю правду на правду царя и на правду маленького человека. Справедливость, как говорил Эпикур, рождается в сношении людей друг с другом; она есть некоторый договор о том, чтобы не вредить и не терпеть вреда. А если кто издает закон, но он не пойдет на пользу взаимного общения людей, то закон этот несправедлив. Так говорили в древности. Мы забываем историю. Я не хочу, чтобы после этого скачка, о котором ты говоришь, через полсотни или сотню лет в народе говорили о нем так же, как говорят еще и до сих пор о главном деле Петра: «Петербургу быть пусту». Сколько полегло народу в этих болотах, на постройке новой столицы? Миллионы! И что же? Искусственность этой столицы даже через двести лет сказалась. Нельзя гнуть историю, как палку через колено. Вот я о

чем...

Так они спорили упорно и долго, горяча и озлобляя друг друга, забыв даже о том, зачем они встретились. Наконец он поднял кверху руки и шутливо сказал:

– Сдаюсь!

Попытался обнять ее.

Но она решительно отвела его руки, легла, не раздеваясь, лицом к стене и лежала всю ночь поверх одеяла, накрывшись его халатом.

Федьке Маклаку сильно подфартило с объявлением сплошной коллективизации. Во-первых, отменили комсомольское бюро, на котором должны были обсуждать его воровскую историю с кооперативными яблоками; во-вторых, отменили занятие на этот день и на школьном собрании его назначили звеньевым по строительству общих кормушек.

Собрание проходило в гимнастическом зале; и ученики, и все учителя расселись на принесенных из подвала скамьях, что на твоём праздничном представлении. Сам директор, Ванька Козел, при галстукке, в коричневом пиджачке, брюки широченные с напуском, сапоги в гармошку осажены, со сцены читал им по бумажке – какое это счастливое историческое событие, поскольку начинается новая эра всеобщего изобилия и равенства. На черной школьной доске, поставленной посреди сцены, были наклеены большие листы ватмана с нарисованными на них корнеплодами, диаграммой наглядного роста благосостояния будущего колхоза и портретом самого начальника окружного штаба по сплошной коллективизации Штродаха, перенесенного в увеличенном масштабе и живой доподлинности прямо с газетной страницы.

Все корнеплоды: и репа, и свекла, и турнепс – были выкрашены в красный цвет и выставлены под общим заголовком: «Вот они, главные чудесники колхозных полей». А под ними нарисован был выгон с разбегающимися от трактора телятами и второй лозунг-заголовок: «Даешь наступление на целину!»

Каждый оратор, который подымался на сцену после директора, призывал в наступление на целину и покончить раз и навсегда с единоличным строем раздробленности и взаимного отчуждения масс.

Потом зачитали пофамильно состав десяти звеньев старшекласников на строительство общественных кормушек, наказали им с обеда приступить к делу. И наконец вынесли решение: вечером в избе-читальне провести смычку с жителями Степанова. Руководить смычкой назначили Герасимова, помогать ему вызвались химик Цветков и Николай Бабосов.

Когда звено Федьки Бородина растаскивало скамейки из опустевшего зала, зашел Бабосов и, осмотрев плакаты, прищипленные на сцене, приказал отнести их в избу-читальню для наглядной агитации во время смычки. Потом поманил Федьку Бородину и строго наказал:

– Имейте в виду, строить кормушки будете у кулаков. Ни в какие контакты с хозяевами не вступать. В случае попытки кулацкой контрагитации немедленно давать отпор. И, более того, брать на заметку того хозяина и докладывать в школе директору или мне. Понятно?

– Ясно, – сказал Маклак.

– Чего прицепился к тебе этот Бабосов? – спросил Федьку Сэр, когда Бабосов вышел из зала.

– Да все суется со своими наставлениями. Говорит, молоко у хозяев не пейте –

оно отравленное. Потому как кулаки.

Одутловатое лицо Сэра озарилось скептической усмешкой:

– Чем же оно отравлено?

– Антисоветским наговором.

– Эх, вот это дает!

– Кто, говорит, напьется кулацкого молока, тот на уроке обществоведения заревет быком.

– Ну, дает! – Сэр закидывал голову и заливался, как барашек.

Маклак подошел к плакатам, прищипленным на доске, и вдруг поднял палец кверху, погрозил Сэру и сказал:

– Ша! Сейчас я сделаю некое олицетворение.

Он вынул из нагрудного кармана пиджака карандаш с пикообразным металлическим наконечником и огляделся – в зале, кроме них, никого не было. Их напарники – Гаврил и Шурка – унесли последние скамьи в подвал.

– О! Висят кудесники – а слепые. Нехорошо. – Маклак снял наконечник с карандаша и принялся за работу.

Через минуту и свекла, и репа, и турнепс превратились в личности, чем-то похожие на Штродаху: все они были в кепочках, в косоворотках и одинаково, прищуркой, смотрели на мир божий. Потом Маклак дорисовал им длинные бороды, а самому Штродаху всунул трубку в зубы и надписал над ним: «кудесник-заправила».

– Слушай, это ж могут расценить как выходку классового врага, – испугался Сэр.

– И пускай расценивают. Дуракам закон не писан. Скатывай! – приказал Маклак.

– А если узнают?

Федька взял Сэра тихонько за лацкан пиджака и ласково произнес:

– Сережа, мил-дружочек... За доносы бьют и плакать не велят.

– Да ты что, чудака-человек? Я ж не про себя... Я человек стойкий, – попятился от него Сэр. – Я ж в том смысле, что спросят с того, кто отнесет эти плакаты.

– Я сам их отнесу. Тебя это устраивает?

– Ну, пожалуйста... Делай, как знаешь.

– Вот и договорились. Помоги мне скатать эти картинки... Да побыстрее!

Скатанные листы ватмана Федька скрепил по торцам газетными колпаками и понес в избу-читальню. Истопником и бессменным дежурным по избе-читальне был Федот Килограмм; он сидел на стуле перед топившейся трубкой, одетый по-уличному, и лузгал семечки. На нем были новые черные валенки, крепкий полушубок красной дубки и пышный заячий малахай. Этим добром наградили Федота за ударную работу по снятию колоколов. С той поры не только внешне преобразился Федот, но и внутренне весь настроился на общественный лад, то есть целыми днями просиживал за важными разговорами либо в Совете, либо здесь, в избе-читальне, все ждал – когда придет новая колхозная жизнь, а на мужицкие обязанности по домашнему хозяйству рукой махнул.

– Господи! Хоть бы ты услышал вопли мои и наказал этого остолопа! Через язык погибает человек и всю семью губит, – частенько молилась Фрося в переднем углу, припадая на колени и стучаясь лбом об пол. – Господи! Отыми ты у него язык... На что он ему нужен? Ведь на забавы сатанинские. И день и ночь его чешет, как собака паршивое ухо. Крыша вон расхулилась – коровенку снегом заносит, а он, как ведьма старая, только и знает, что мыкается на шабаш.

Молилась и причитывала обычно с утра, пока Федот, почесываясь и зевая,

одевался, сидя на краю кровати. Отбрехивался нехотя:

– Ты, Фрося, отсталый элемент, потому как леригия держит клещами твое забитое сознание. А того ты не понимаешь, что трудовая масса давно проснулась от вековой спячки и топает полным ходом за горизонт всеобщего счастья. Ежели мы будем держаться каждый за свою коровенку, разве мы поспеем за всемирным пролетариатом на пир труда и процветания? Это ж понимать надо!

– Эх ты, индюк! Заладил свою дурацкую песню – курлу-бурлу, бурлу-курлу. Я те говорю – корову снегом заносит. Стельная корова-то. Ведь не успеем доглядеть – и теленок замерзнет. Покрой, говорю, крышу. Добром прошу!

– Ноне не до крыши. Иль не слыхала – смычку проводим по случаю сплошной коллективизации. Скоро сведем в колхоз и корову, и двор снесем. А ты о телке. Эх, темнота!

Сидя возле грубки, Федот вспоминал эту утреннюю перебранку и жалел свою Фросю классовым чувством сознательного пролетария к меньшому и темному товарищу по судьбе и по общему делу.

Федька Маклак внес скатанные в трубки плакаты о новых кудесниках и спросил:

– Где тут шкаф товарища Бабосова для наглядных пособий?

– Чаво? – Килограмм поднял свои дремучие брови, и на его сумрачном лице появилось детское удивление.

– Я те говорю – где тут шкаф товарища Бабосова, в котором хранятся журналы и таблицы для неграмотных?

– А-а, вон что! – догадался Федот. – Это все хранится в ликвидкоме. Пройдите, товарищ, через сени. В той половине и располагается ликвидком.

– Вечером, когда спросит Бабосов – где его плакаты, ответишь, что в том шкафу, – сказал Федька и вышел.

До самого выступления Бабосова о них никто и не вспомнил.

Вечером раньше всех пришел Костя Герасимов. Вместе с Килограммом они вынесли на крыльцо граммофон с большой зеленой трубой и завели его на полную катушку, чтобы привлечь народ. Молодежь любила слушать этот музыкальный ящик, привезенный из Желудевки, с распродажи имущества мельника.

Но иголки на этот раз оказались тупые, граммофон хрипел, захлебывался, иголки шоркали и сползали к центру пластинки.

– Федот, ступай поточи иголки о шесток! – кричал Герасимов.

– Дак их держать не срушно. Пальцы обдираешь об кирпич, – отвечал Килограмм. – Кабы клещи были или плоскозубцы...

– А вы гвоздем его зарядите! – советовали снизу из толпы, собравшейся у крыльца.

– Лучше шилом... Тады он жеребцом заиржет...

– Мы ж не кобыл собираем, а людей, – отвечал Килограмм с крыльца.

– Да кто к тебе придет из людей-то?

– Осквернитель церквей! Тебе только чертей собирать.

– Но-но! что за намеки на классовую вражду! У нас ноне смычка...

Толпились возле избы-читальни больше все сельские парни да девки. Ни мужиков, ни баб, а тема смычки серьезная: «Сплошная коллективизация и текущие задачи на селе».

Наконец подошла целая ватага школьников во главе с вечно хмельным химиком Цветковым, прозванным Ашдваэс. Он нес гитару с голубым бантом и напевал



хриплым голосом:

Девушку из маленькой таверны  
Полюбил суровый капитаны.  
Девушку с глазами дикой сэ-эрны,  
За улыбку и красивый станн...

– А ну, дорогу народному артисту республики, заступившему на смену позорно бежавшему Шаляпину! – орал, расталкивая толпу, Федька Маклак.

– Потихе толкайся, артист! Не то по шее заработаешь, – заворчали в толпе.

– А ну, попробуй... Меня резали резак – я на камешке лежал... – отшучивался Федька.

– Иди ты, какой храбрый!

– Знай наших... Артиста республики ведем. Дорогу, говорю!

– Ты кого артистом обзываешь, Бородин? – окликнул Федьку Герасимов. – Кто для тебя Цветков? Педагог или приятель?

– Это я к слову, Константин Васильевич. Ну, вроде представления... Поскольку смычка...

– От твоего представления хулиганством отдает.

– Ни-че-го, отроки-друзи. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди... – продекламировал басом Цветков и, поднявшись на крыльцо, снова ударил по струнам и запел:

Па-алюбил за пэ-эпельные косы,  
Алых губ нетронутый коралл,  
В честь которых бравые матросы  
Выпивали не один бакалл...

Потом как-то смял пятерней струны, словно рот зажал гитаре, и сказал:

– Забирай, Константин Васильевич, свой музыкальный ящик, и пошли в избу!

В избе-читальне жарко горели две подвесные лампы-молнии, скамьи стояли вдоль стен, полы – чистые, желтые, и простор на все четыре стороны.

– Филипп Макарыч, оторви да брось! – крикнул Федька и пошел печатать сапогами цыганочку, шапка набекрень, полы вразмах, руки вразлет – только доски загудели.

Цветков, поводя грифом гитары, терзая стонущие струны, опустил глаза, побледнел до синевы и, стиснув зубы, раздувая ноздри, хрипло запел:

Эх-ды, две гита-а-ары за стенно-ой  
Жалобно заны-ы-ыли  
С детства па-а-амятный напе-эв:  
«Милый, это ты-ы-ы ль-и-и-и?»

– И-эх, рр-аз! Да еще р-раз! Да еще много, много р-раз! – хором подхватили ребята, прихлопывая в ладоши и притопывая ногами...

– Товарищи, товарищи! Самодеятельность по распорядку на вторую часть... – раздался от порога звонкий голос Бабосова. – Сперва беседа. Политическая беседа! Кончайте музыку! Прошу рассаживаться.

Сдвинули скамейки на середину избы, садились поплотнее, ребята вперемежку с девушками, толкались, шушукались, заливались визгливым смешком, перекидывались ядреными словами:

– Валюх, откинь щеколду! М-мерзну.

– Ты куда руку запустил? Ну?! Чего там оставил?

– Я эта, смычку ишшу...

– Брысь, окаянный! Не то лапу оторву.

– Товарищи, товарищи, давайте серьезнее!

– И я про то же... А она брыкается...

– Хватит, говорю, хватит! – Бабосов стоял, наклонясь над столом, и бил костяшками пальцев о голые доски.

Справа и слева от него сидели Герасимов и Цветков, поперек стола лежала ненужная теперь гитара. Шум стих наконец, и Бабосов заговорил:

– Товарищи! Сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить – какие выгоды несет нам сплошная коллективизация. Выиграют буквально все...

– Кто очко наберет...

– Ваша не пляшет...

– А деревня проиграет, – загалдели в зале.

– Это почему же она проиграет? – повысил голос Бабосов, отыскивая глазами тех, кто кидал реплики.

На задней скамье угнездились трое мужиков. Они горбились, опуская головы; чуть подымаясь на носки, взглядом пытались определить, который из них закоперщик, Бабосов сердито спрашивал:

– Кто это внушил вам такую вредную мысль? Сплошная коллективизация проводится на научной основе, тут все подсчитано и взвешено. Кампания эта, повторяю, беспроигрышная.

– Хлеб сеять – не в карты играть, – ответил кто-то из трех с задней скамьи, не подымая головы.

– В том-то и беда, что вы сеяли его как бог на душу положит. Инвентарь у вас разбросан по дворам – у одного в хорошем состоянии, а у другого веревками связан. Неужели не понятно, что под общим надзором, по крайней мере, – все заметнее. А взять рабочий скот! Он у вас разномастный, разношерстный...

– Не подстрижай! – заметил кто-то с задней скамьи, и все загоготали, кидая вперебой забористые фразы:

– Сами пестрые, хвосты острые...

– Хвосты лошадям отчекрыжить, тады они, как собаки, злее станут.

– Кулацкие шуточки! – покрывая шум, крикнул Бабосов. – Просто вам нечего сказать по существу. Весомые доводы нашей науки в пользу сплошной коллективизации бесят сторонников жестокого домостроя. Вместе с ликвидацией неграмотности и суеверия ускользает и власть этих чуждых элементов деревни над трудовой массой. Но близится час окончательного торжества науки и передовой практики, основанной на коллективном труде. Одно только намеченное строительство силосных башен дает колоссальные преимущества. Ведь силос полезнее сена...

– Вот и жрите его сами...

– Что, что? Кто сказал эту антисоветскую реплику? Кто против строительства силосных башен? Подымите руку! Бойтесь? Вы просто не в силах опровергать доводы науки. Вы прячете свое непостоянное лицо в трудовой массе. Вам нечем возражать. Вся Европа и Америка держат скот на силосе. А можно ли в одиночку построить силосную башню? Нет, нельзя. Ее можно построить только сообща. А можно ли в одиночку поднять целину? Нет. И целину подымать надо сообща, колхозом.

– Где она у нас, целина-то?

– Как где? – удивленно вскинул голову Бабосов. – А вон она... Начинается от

школы и тянется до самой Петравки.

– Дак то ж выгон!

– А где скотину пасти?..

– Для общей скотины будут культурные пастбища из многолетних трав. А на выгоне, где и трава толком не растет, посеем корнеплоды. Знаете ли вы, какая выгода от этих корнеплодов? Федот, где плакаты, что из школы принесли? – спросил, отыскав на передней скамье Килограмм.

– В ликвидкоме, в шкафу.

– Принесите и пришпильте их вот здесь, на стене. – Бабосов вынул из кармана коробку с кнопками, погремел ею и передал Федоту.

Килограмм через минуту вернулся с плакатами и стал пришпиливать их на стене, ему помогал один из парней с первой скамьи.

А Бабосов тем временем продолжал речь о выгоде корнеплодов:

– Это во всех смыслах передовые культуры. Ведь если поливать корнеплоды жидким удобрением, они могут дать столько кормов с одного гектара, что можно будет выработать до тридцати тысяч килограммов молока. А если взять в целом по округу? А по всей стране?! От этих цифр, товарищи, дух захватывает. Корнеплоды – это настоящие чудесники колхозных полей, которые принесут нам полное изобилие! Вот посмотрите на эти цифры. – Бабосов взял со стола указку и подошел к плакатам, которые, застя спиной, нашиливали на стену Килограмм с подручным. – А ну, товарищи, отойдите в сторону! Дайте посмотреть нам на эти весомые доводы в пользу сплошной коллективизации.

Килограмм с пареньком отошли от стены, и вся изба-читальня сотряслась от громового хохота: со стены, освещенные лампой-молнией, смотрели четыре хитрющие рожи Штродаха; сам он с трубкой, с длинной бородой, и бывшие корнеплоды – теперь Штродахи, тоже с бородой и смотрят прищуркой, как бы приглашая каждого посмеяться за компанию.

Беленькая, сквозная челка на пылающем лбу Бабосова, казалось, зашевелилась от негодования. Он поднял над головой указку, словно боевой клинок, и патетически произнес:

– Это кулацкая провокация! Мы расследуем это дело...

Скрывая подступившие слезы, отвернулся к стене и стал дрожащими пальцами отковыривать кнопки и снимать плакаты.

## 9

Выездная тройка в Гордееве не задержалась. Заехали в сельсовет, застали председателя Акимова, наказали ему – явиться немедленно на совещание в Веретьевский агроучасток. Еще приказали захватить с собой милиционера Ежикова и двух-трех человек из сельского актива. Акимов пригласил всех к себе на чай:

– Погреемся с дороги. А совещание успеете провести. Еще толком не развиднело.

– Мы сюда приехали не чай гонять, – строго сказал Возвышаев. – И вам прохладиться не советуем.

Как были в тулупах, так и вышли, не раздеваясь. Акимов провожал их с сельсоветского крыльца. Вороной риковский жеребец взял с ходу рысью. Широкие развалистые санки с черным плетеным коробом инда на ребро поднялись при выезде с резким поворотом на дорогу. На скамье, спереди, сидел судья Радимов и правил. Возвышаев с Чубуковым, тесно привалившись друг к другу, как два чувала с зерном,

сидели в задке. И не обернулись. Ну, быть грозе, решил Акимов.

Гордеевский узел был лесной стороной. Здесь отродясь хлеба досыта не едали. «Живут плохо – грибы да картоха», – посмеивались над ними тихановцы. Издавна подрабатывали они бондарным да колесным ремеслом да отхожим промыслом. Из Гордеева ежегодно отходила добрая сотня штукатуров да из Веретья не меньше сотни каменщиков. Отходили в Подмоскowie на стройки с поздней осени до ранней весны. Но в этом году пришел приказ из района – в отхожий промысел никого не пускать, никаких справок не выписывать до полной сдачи хлебных излишков. Первая разверстка на хлебные излишки была покрыта еще в сентябре. За первой пришла вторая – на тысячу пудов. Акимов собрал общее собрание, составил хлебный баланс по селу и послал в райзо – по его подсчетам, хлеба не хватало на прокорм и требовалось еще подкупить полторы тысячи пудов ржи. Поэтому просил он власти отпустить сто человек в отход. В райзо этот баланс перечеркнули и прислали встречный – по этому встречному плану требовалось сдать по селу Гордееву две тысячи пудов ржи как излишнего хлеба... «Откуда его взять?» – спрашивал Акимов по телефону. «Мы найдем, – отвечал Чубуков. – Погоди вот, с делами управимся, приедем и найдем». – «Но почему две тысячи пудов?» – «Вы в прошлом году тысячу недодали да тысячу получили по разверстке... Вот и сдавайте».

А в начале декабря пришла еще одна разверстка – на контрактацию скота. И наконец сами приехали...

Акимов вызвал в сельсовет милиционера Ежикова, избача Тиму и старшину штукатуров, бывшего подрядчика Звонцова. Пошли пешком в Веретье. Дорогу переметала поземка, и недавний след, оставленный подрезами риковских санок, заметен был только на крутых увалах, где дорога блестела, как стеклянная. Поначалу шли угрюмые, насупленно глядя себе под ноги, молчали. Милиционер Ежиков часто скользил, нелепо взмахивал руками, отставал.

– Ты чего сзади идешь? Мы тебе что, подконвойные? – спрашивал Акимов. – Идут, молчат, будто и впрямь арестованные.

– Об чем говорить? – отозвался Звонцов.

– Сапоги, зараза, разъезжаются, что некованные копыта, – сказал Ежиков.

– А чего валенки не надел?

– Дак форма одежды. Все ж хаки начальство вызывает.

Он был в шинели и в синем шлеме со звездой, незастегнутые суконные уши трепыхались на ветру, как белье на веревке. Его большой и широкий нос посинел, а белесые брови и светлые ресницы еще больше побелели.

– Мотри, не обморозь чего от усердия к начальству, – сказал Звонцов, поблескивая зубами. Черная борода его побелела и закуржавилась. – Застегни уши-то.

– Да хрен ли в них толку, – ответил Ежиков. – Их все равно продувает.

– Вот пошлют нас по домам излишки отбирать. Как, пойдешь? – спросил Акимов Ежикова.

– Пойду, – коротко ответил тот.

– А ты, Тима? – обернулся председатель к избачу.

– Дык ведь нельзя иначе, Евдоким Федосеевич. Поскольку комсомолец я... – Тима приосанился, вытянув худую шею из мохнатого ворота полушубка, как руку из рукава. – И другое сказать – я при должности. Как-никак – точка просвещения! Вся культурно-массовая работа на мне замыкается.

– Ну и стервецы вы, – плюнул под ноги Звонцов и отвернулся.

– Ты давай не стерви, – сказал Ежиков, насупившись. – Не то я тебе найду место.

– Всех туда не упрячешь!

– Но-но, не забываться у меня! – прикрикнул на них Акимов. – Поговорили, называется.

И опять замолчали до самого агроучастка.

Барский дом стоял на отлете в полуверсте от Веретья, дом большой, двухэтажный, низ кирпичный, верх из красного леса. Из бывших дворовых построек уцелели только каменные кладовые, в них размещался склад семеноводства. В торец к ним приляпан был дощатый сарай для лошадей приезжего начальства. А от барских скотных дворов и конюшен, стоявших когда-то на берегу обширного пруда, остались одни фундаменты – стены раскатали по бревнышку и растащили еще в восемнадцатом году. И яблони в саду порезали, а то и с корнем повыкопали и растащили. О саде напоминали заломанная сирень да липовые аллеи.

По одной из этих аллей, ведущих на большак, и подошли к агроучастку гордеевские активисты. Их встретил у порога сердитый Возвышаев:

– К обеду, что ли, тянетесь? Могли бы и поторопиться...

В нижнем этаже, разгороженном как сарай, на промятом и потертом старом кожаном диване сидело четверо веретьевских во главе со своим председателем Алексашиным. Возле дубового двухтумбового стола, придвинутого к кафельной печи, стоял навытяжку председатель колхоза «Муравей» Фома Миронов. Распекал его Чубуков:

– Вы мне членораздельно доложите: кто позволил вам распоряжаться колхозным хлебом, как своим собственным?

– Да он наш и есть, собственный.

– Собственность коллективная! Это ж понимать надо. Коллективной собственностью распоряжаются сообща.

– Мы и распорядились сообща. Собрание провели.

– А вышестоящие инстанции известили? Вы доложили в район, что хлеб везете на базар?

– Да вы что, печати ставите на мешках-то?

– А вы что думаете, колхоз вам – анархия? Мать порядка, да? Нет, дорогой товарищ. Колхоз – это строгая дисциплина. Здесь все регламентировано. Хочешь чего сделать – сперва доложи. А за самовольство вы строго ответите перед законом.

– Егор, кончай! – оборвал его Возвышаев, подходя к столу. – Давайте, товарищи, берите стулья и присаживайтесь сюда, поближе. Мария Васильевна! – крикнул Возвышаев наверх. – Давайте сюда! Начинаем.

Сверху, по деревянной лестнице, огороженной точеными балясинами, спустилась Обухова, с ней был секретарь комсомольской ячейки веретьевский учитель Доброхотов, беленький, редковолосый, как молочный поросенок, молодой человек при галстуке. Они так и не успели провести комсомольское собрание.

– А где Радимов? – спросил Возвышаев, оглядывая всех.

– Уехал в сельпо за рыбой, – ответил Чубуков.

– Ладно. Без него начнем. Присаживайтесь!

Активисты разобрали венские стулья, стоявшие вдоль стен, и собрались до кучи к столу.

– Задача перед нами стоит ясная и понятная, – сказал Возвышаев. – Собрать пять тысяч пудов хлебных излишков. Это на первое. На второе – разберем вопрос о

контрактации скота. Много разговаривать не станем. И убеждать вас не буду. Сами не маленькие – должны понимать: время подошло не разговоры вести, а дело делать. Вот и сдавайте излишки. А кто это задание не выполнит, тот не коммунист, а болтун и саботажник. То есть фактически работающий на линию классового врага. Правый уклонист! А с правыми уклонистами разговор известный – вон из партии! Вот и подумайте хорошенько, прежде чем отказываться от выполнения плана на хлебные излишки. Напоминаю план: Гордееву сдать две тысячи пудов. Веретью – две тысячи пудов. Шумахину и Лысухе – тысячу пудов. Эту тысячу мы соберем потом. И наконец, колхозу «Муравей» сдать пятьдесят пудов. Все. Вопросы имеются?

– Исходя из каких данных начислили Гордееву две тысячи пудов? – спросил Акимов.

– У вас без малого восемьсот хозяйств. Это ж получается по два с половиной пуда на хозяйство. Какие нужны еще данные, товарищ Акимов? – спросил в свою очередь сердито Возвышаев.

– Значит, это вроде дополнительного налога на каждое хозяйство. Дак что ж прикажете, по едокам обкладывать, что ли?

– Давайте не искажать политику обложения хлебными излишками! – встал Возвышаев и прихлопнул рукой об стол. – Вы что, первый раз на активе? Не знаете, на кого направлено острие политики партии? Тогда кладите на стол партбилет.

Акимов тоже встал, и широкое лицо его, мощная шея, выпиравшая из черного пиджака, налились кровью.

– Вы мне его не давали, и не вам отбирать его! Вы зачем приехали? Излишки собирать? Вот и собирайте.

– А вы что ж, в сторонке будете стоять? Да?

– Зачем же я пришел сюда, на актив? Вы спустили нам цифру, ее же распределить надо. Давайте вместе прикинем – что к чему, а грозить нам нечего. Мы не из пугливого десятка.

– Чубуков, растолкуй им раскладку. – Возвышаев сел и стал смотреть в окно.

Чубуков посвистел горлом, хрипло откашлялся и, раскрыв перед собой картонную папку, стал читать:

– Значит, по Гордееву... Мы имеем более сотни отходников. Это раз. Каждый отходник обязан сдать десять пудов ржи или овса. Если не сдаст, в отход не пустим.

– За десять пудов надо целый месяц бревна тесать! – крикнул Звонцов.

Чубуков поднял голову и с удивлением посмотрел сперва на Звонцова, потом на Возвышаева.

– А ты думаешь, индустриализацию можно провести спустя рукава? – спросил Возвышаев Звонцова.

– Окромя индустриализации у каждого еще и семья, – ответил тот.

– А вы мне еще сказку расскажите, что у вас, мол, есть нечего, – сказал Возвышаев, обводя всех сердитым взглядом. – Нечего тут слюни распускать. Москва слезам не потакает. Читай дальше!

– Так, значит... по десять пудов каждый отходник. Вот вам тысяча пудов. Мельники, братья Потаповы, по двести пятьдесят пудов каждый. Вот еще пятьсот! Остальные пятьсот пудов наложить на владельцев молотильных машин. – Чубуков поглядел на Акимова и сказал: – По вашим данным, у вас имеется пять молотилок: две четырехконные, одна двухконная и две топчажные. Итого по сто пудов ржи на каждую молотилку. Задача ясная?

– Легко записать. Но где их взять, эти пуды? – спросил Акимов.

– Хозяева найдут сами. А мы им поможем, – ответил Возвышаев.

– Что ж мы, всей гурьбой по дворам так и пойдем искать? – спросил опять Акимов.

– Что вы, что вы?! Они так позарывали зерно, что ни одна собака не найдет, – воодушевляясь, сказал учитель Доброхотов, и глаза его лихорадочно заблестели.

– Искать ямы с зерном – последнее дело, – ответил Возвышаев. – У нас имеется власть. Вот и употребим ее. На всех, кто не сдаст хлебные излишки в срок, наложим штраф в пятикратном размере. Кто против?

Возвышаев вытянул подбородок и обвел глазами всех активистов. Никто не шелохнулся.

– Так. Начислять штраф из расчета по семь рублей за пуд ржи. Итого: по триста пятьдесят рублей на отходника-кустаря.

– А вот как быть с теми, кто у нас не отходит, но кустарничает на дому? – спросил избач Тима. – То есть кто гнет ободья колес, бондарничает, самопряхи делает?

– Правильно ставит вопрос комса! – Возвышаев указал на Тиму пальцем и сказал Акимову: – Вот у кого учиться политике обложения. Побочные заработки надо учитывать и облагать! Местные бондари, колесники и всякие прочие кустари должны быть обложены наравне с отходниками. Чубуков, запиши!

– Теперь насчет сроков. Хлебные излишки внести в течение двадцати четырех часов; считать с данного момента. Кто не внесет к завтрашнему обеду, будет немедленно обложен штрафом. А затем приступим к конфискации имущества. Ясно всем? – спросил Возвышаев.

И опять – молчание.

– Будем считать, что ясно. Алексашин? – обратился Возвышаев к веретьевскому председателю. – Поскольку ваше село такое же большое и отходников у вас примерно столько же, руководствуйтесь подсчетами Чубукова по Гордееву. Ясно?

– Ясно, товарищ Возвышаев! – Алексашин даже встал и руки прижал к полам полушубка.

– Мельницы у вас есть? – спросил Возвышаев.

– Есть! Целых две, одна ветряная и паровик.

– Обложить каждую по триста пудов.

– Есть! – отозвался Алексашин и головой закивал, будто кланялся; волосы у него слежались и блестели, как засалившийся чугун.

– А сколько молотилок?

– Шесть.

– По сто пудов на каждую.

– Есть...

– А неучтенные богатей имеются? То есть такие, которые не подходили ранее под категорию обложения?

– Есть один.

– Кто такой?

– Бывший пастух. У него две коровы и три лошади.

– Наложить на него двести пудов.

– Есть! По какой линии отнесть? То есть как записать? – Алексашин все наклонял голову, и со стороны казалось, что милостыню просит.

– Сколько лет он пастушил?

– Много... Еще до революции начал.

– Так... – Возвышаев насупился, помолчал и, мотнув головой, решительно спросил: – А подпaska он держал?

– Держал... Потому как стадо большое, одному не справиться.

– Вот и запишите: занимался эксплуатацией наемного труда, то есть подпaska. Использовал батрака, понял?

– Понятно.

– Насчет обложения бывшего пастуха Рагулина вы правильно решили, – не удержался от восторга Доброхотов и тоже привстал: – Вы знаете, что он сказал? Он сказал... Куплю, говорит, трактор и всех этих чинодралов подавлю, как мухоту. Вот что он сказал.

– Мы его самого раздавим, как комара. – Возвышаев даже плечами передернул. – Можете ему так и передать. Садитесь!

Оба моментально сели.

– А теперь переходим ко второму вопросу. Насчет контрактации скота. Товарищи, вы все знаете, что вольная продажа скота у нас в районе запрещена. И что же мы наблюдаем: скот на базаре продается, а по контрактации государству не сдают. Разнарядки не выполняют! Более того, не сдают даже свиные шкуры и щетину. А ведь палить свиней запрещено! И даже мясо свиное продают с кожурой, совсем обнаглели. С завтрашнего дня всех свиней поставить на учет. И ежели кто не сдаст свиную шкуру – отдавать под суд. Ясная задача?

– Ясная... – разногласно ответили активисты.

– Теперь давайте насчет контрактации. Проверьте всю наличность свиней. И если у кого обнаружится две головы – свинья и поросенок, одну голову, которую покрупнее, без разговора сдавать в счет контрактации. Покажите в этом деле личный пример. Сдайте свой скот сами. Если будет обнаружена утайка лишних голов, накажем со всей строгостью, невзирая на лица. Теперь давайте прикинем ориентировочно количество свиней для контрактации. По пятьдесят голов на Веретье и Гордеево – вполне сносно. Ваше мнение?

– Вполне, вполне, – подтвердил и Чубуков.

– Алексашин?

– Будем стараться, – кивнул тот.

– А ты чего молчишь? – спросил Возвышаев Акимов.

– Пожалуй, не наберем.

– Почему?

– Урожай в этом году неважный. Мало пустили свиней на племя. Надо бы раньше. Месяца два-три тому назад собрали бы, – ответил Акимов.

– Ты все поперек норовишь, все увиливаешь. Что ж, у тебя по всему селу и сотни свиней не найдется?

– Найдется, конечно. Но ведь зима же. Сколько им скормили? И на тебе – сдавай в контрактацию. Кто согласится по своей воле сдавать?

– По воле не согласятся, пусть по неволе сдают. Нас это не касается. – И обернулся к Миронову, председателю колхоза «Муравей»: – А вам от колхоза сдать пять свиней.

– У нас всего шесть штук, – ответил тот, округляя глаза.

– Одну оставите, для приплода, – сказал Чубуков. – Хрюкать будет, и ладно. Х-хе!

– Ты давай не смейся, не то знаешь что?.. – Миронов побледнел и взялся рукой за



ворот, будто ему тесно стало, дышать нечем.

– А то что будет? – поднялся над столом во весь свой исполинский рост Чубуков. – Ты полсотни пудов спустил на базаре, как последний спекулянт... Вот и отдувайся теперь свиньями.

– Я не спекулянт. И хлеб, и свиньи наши, колхозные. И вы не имеете права распоряжаться ими, – Миронов тоже встал – худой, жилистый, с темным от зимнего загара лицом, с белой переслежиной на лбу от шапки, как шрам, с посиневшими от волнения губами. – Свиней не отдам!

– А мы и спрашивать тебя не станем. Считай себя отстраненным от должности за спекуляцию колхозным хлебом, – сказал Возвышаев. – А свиней сдадут другие.

– В таком случае я заколю их вот этой рукой! – Миронов яростно поднял кверху кулак, будто зажат в нем был сверкающий кинжал. – Всех до одной заколю!

– А ежели так... Ты никуда не выйдешь отсюда, – сурово сказал Возвышаев. – Мы тебя арестуем.

– Меня? Арестовать?! Ах, мать вашу перемать! Да я вас, живоглотов, расшибу...

Он бросился к столу, размахивая кулаками, пытаясь достать до Чубукова. Но Акимов схватил его за руки и в момент заломил их за спину:

– Ты что, Фома, белены объелся? С ума спятил?

– И ты заодно с ними? Ах вы, живодеры, ах, мироеды! – Миронов бился, крутил головой, старался вырваться из железных тисков Акимова.

– Ежиков, чего рот разинул? – крикнул Возвышаев на милиционера. – Связать его – и в кладовую. Ну, живо!

Ежиков вместе с Акимовым связали руки Миронову и потащили его к дверям. У порога Миронов изловчился и подножкой сшиб Ежикова. Тот, падая, головой растворил дверь, потерял в темных сенях шлем, искал его и матерился. Акимов же никак не мог перетащить через порог раскоряченного, упирившегося ногами в косяки Миронова. Морозный воздух клубами валил в распахнутую дверь и текучей марлевой кисеей стелился по полу, забиваясь под столы и стулья.

– Вы долго будете возиться с ним? – крикнул Возвышаев.

Ежиков вынырнул из сеней, кулаком сшиб с косяка упорный валенок Миронова и затворил дверь.

– Там, в кладовой, холодно будет ночью-то, – сказал, поеживаясь, Чубуков в наступившей тишине. – Кабы не обморозился.

– Киньте ему тулуп, а руки развяжите, – сказал Возвышаев. – Все! Совещание окончено. Расходитесь по сельсоветам и немедленно приступайте к выполнению указаний.

Все активисты дружно, толпясь у дверей, двинулись в сени, а Мария с Доброхотовым поднялись наверх. Через минуту, когда они спускались с лестницы одетыми, за столом сидели только Чубуков и Возвышаев.

– А вы куда, Мария Васильевна? – спросил Возвышаев. – Сейчас Радимов приедет, рыбы привезет. Уху будем варить.

– Я не хочу. Заночую в Гордееве у своей бывшей хозяйки, – сухо ответила Мария.

– Ну, вольному воля, – сказал Возвышаев. – Завтра к обеду быть здесь... На большой сбор.

Но собрались они значительно раньше.

Еще ночью Настасья Павловна разбудила Марию:

– Маша! Выйди на улицу, послушай, что творится.  
– А в чем дело? – тревожно спрашивала Мария, торопливо одеваясь.  
– Скот режут... И свиней, и овец... Кабы до коров не добрались.  
– Кто тебе сказал?  
– Свояченица прибежала за кинжалом. Хватилась свинью резать – и нечем. Все  
резаки, все колуны – все в ходу.  
– Да что случилось?  
– Говорят – завтра свиней начнут отбирать, а потом, мол, и до коров доберутся.  
– Кто говорит? Что случилось? Немец, что ли, идет войной или Мамай?  
– Да ты что, милая? Или никак не проснешься? Вы зачем сюда пожаловали? Чай  
распивать или уху варить?

Наконец-то дошло до Марии – что случилось вчера там, на агроучастке. Эта грозная команда – сдать хлебные излишки, сдать свиней – немедленно, как пожар по ветру, разлетелась по селу и полымем отчаяния охватила души поселян. Что в этой панической суматохе могут они натворить – одному богу известно. Мария в растерянности присела на кровать и опустила руки на колени.

– Что ж ты сидишь? Пойдем на улицу! Послушай, что творится...

Настасья Павловна взяла ее за руку и, как маленькую, вывела на улицу. Ночь была морозная, лунная, они остановились в тени под липой и замерли. С высокого приреченского бугра, на котором растянулись в два порядка гордеевские избы и сараи, всплескивались то в одном, то в другом месте, будто подстегивая друг друга, и неслись, ввинчиваясь в темное звездное небо, отчаянные свиньи вопли; протяжно и утробно ревели коровы, точно картошкой подавились; блеяли беспрерывно, на одной ноте, словно заведенные, овцы; заполошным брехом заливались собаки. Местами на задах, возле темных банек поблескивали костры, и слабый низовой ветерок приносил оттуда горьковатый душок спаленной щетины и сытный запах прихваченных огоньком, поджаренных свиных туш.

– Что творится, господи боже мой? Прямо варфоломеевская ночь для скота... – Настасья Павловна вздыхала и крестилась.

Мария стояла молча, слушала эту жуткую какофонию звуков и думала о вчерашней ночи, о том невероятном, мрачном откровении Успенского, и ей становилось тягостно и страшно. И хотелось плакать, как вчера.

– Пойдемте домой! – сказала она и, не дожидаясь согласия Настасьи Павловны, ушла первой.

Спать не ложились. Просидели до самого утра, пили чай, о чем-то говорили, плохо слушая друг друга. Утром, еще по-темному, пришел Акимов.

– Слыхали, что ночью творилось? – спросил он от порога.

– Слыхали, – сказала Настасья Павловна ровным голосом, не глядя на него.

– Что будем делать, Мария Васильевна? – спросил Акимов.

– Надо идти на агроучасток, – ответила она.

– Да, надо... – Он присел на стул и хлопнул себя по коленке. – Черт меня дернул прихватить с собой Звонцова! Это он пустил слушок, мол, вторую свиную голову, что покрупнее, заберут в контрактацию.

– Разве это неправда? – спросила Настасья Павловна Марию. – Ты же сама мне говорила?

– Правда, – ответила Мария, потупясь.

– Какой же это слушок? Он правду сказал, – обратилась Настасья Павловна к

Акимову.

– Да не в том дело... Я сам знаю, что правда. Но нельзя было говорить об этом на селе.

– Ага, вы хотели, чтобы потихоньку отбирали свиней, да?

– Я ничего такого не хочу, – ответил Акимов. – Я выполняю приказание.

– Интересно, кто за вас думать станет?

– Настасья Павловна, мы вынуждены... Поймите, есть необходимость... Может быть, мы не так виноваты, как вам кажется.

– Ну и других винить нечего, – сухо сказала Настасья Павловна.

Акимов вскинул голову, как это делают, когда на ум приходит что-то неожиданное и веское:

– Доброхотов под утро к Тиме прибежал. Говорит, и в Веретьях такая же резня была.

– И там Звонцов виноват? – спросила Настасья Павловна Акимова.

Тот усмехнулся:

– Там председатель Совета Алексахин первым свою свинью зарезал. Ну и пошла катавасия... Представляю, как Возвышаев причастит его... Да и нам перепадет.

– А может быть, с Возвышаева и начинать надо? – сказала Мария.

Акимов крякнул и вопросительно поглядел на нее, потом заторопился:

– Ну, пошли! Там уж, поди, собрались.

На агроучастке их ждали. И Возвышаев, и Чубуков, и Радимов, одетые на выход, сидели за столом мрачные и курили. На приветствие вошедших никто даже не ответил.

– Чем нас порадуете? – спросил Возвышаев, и по тому, как был задан вопрос, и по выражению лиц сидевших было ясно, что им уже все известно.

– Подсчеты пока не проводили... Но прикинули... Свиней семьдесят за ночь закололи, – ответил Акимов.

– Чья агитация? – Возвышаев буравил глазами вошедших и даже сесть не предлагал.

– Думаю, что стихийно, – Акимов переминался с ноги на ногу, поглядывая на стулья.

– Думает знаешь кто? Боров на свинье! – взорвался Возвышаев и грохнул ладонью об стол. – Ты мне ответишь за каждую свинью персонально.

– Я вам что, пастух? – огрызнулся Акимов.

– Молчать! – рявкнул Возвышаев и встал из-за стола.

Мария рванулась от дверей к лестнице наверх.

– А вы куда? – остановил ее Возвышаев.

– Вы сперва научитесь разговаривать в присутствии женщин, а потом спрашивайте, – ответила она, глядя на него с вызовом.

– Мы сюда приехали не затем, чтобы давать уроки вежливости, а выполнять задание партии. Так вот, садитесь и ждите своего задания, если вы коммунист, – Возвышаев указал ей на стулья у стены.

Мария, стиснув руками поручень балюстрады, с минуту постояла в нерешительности и наконец отошла к стене, села.

Возвышаев кочетом прошелся вокруг Акимова, руки засунув в боковые карманы пиджака, словно прицеливался, – с какого бока взять его. Но тут растворилась дверь, и вместе с клубами холодного воздуха в комнату вошла целая орава мужиков – впереди юркий Доброхотов, он в момент сорвал с головы заячью шапку и торжествующе

оглядел всех вошедших, как отделенный своих солдат. Вот, мол, скольких привел я к вам на поверку. За ним вошли Алексашин, Ежиков и четверо активистов, все в нагольных полушубках красной дубки. Возвышаев, пятась задом, как бы с дальнего расстояния оглядел всех и наконец разрешил садиться.

– Доброхотов, докладывайте! – Возвышаев и не поглядел на Алексашина, будто он и не председатель Совета и вообще его вроде бы тут и не было.

Доброхотов пригладил свои жидкие белесые волосенки, шапку кинул, руки пошвам и, поблескивая голубенькими, невинными, как у младенца, глазами, начал шпарить, словно стихотворение читал:

– Наш комсомольский патруль за ночь дежурства установил: первое – зарезано свиней семьдесят четыре головы, притом все в нарушение постановления о сдаче государству шкур и щетины были опалены на огородах и в банях; второе – забито двенадцать бычков-полуторов и семнадцать телят; третье – зарезано шестьдесят две овцы и два общественных барана; четвертое – бывший пастух Рагулин забил одну корову, а двух лошадей отогнал в лес в неизвестном направлении и спрятал. Теперь он остался при одной лошади и при одной корове.

– Егор, запиши! – кивнул Возвышаев Чубукову.

– У нас все записано в точности и поименно. – Доброхотов распахнул пиджак, вынул из внутреннего кармана сложенную вдвое школьную тетрадь и подал ее Возвышаеву.

– Кто начал эту разбойную резню? – спросил Возвышаев.

Доброхотов стрельнул глазами в Алексашина и решительно произнес:

– Патруль зафиксировал первый свиной визг на подворье Алексашина, то есть председателя Совета.

– Так... – Возвышаев с выдержкой поглядел на Алексашина, тот еще более сгорбился... – Может, пояснишь нам, как ты понимаешь директивы вышестоящих органов Советской власти? Может быть, отменишь это указание насчет контрактации скота?

Алексашин, здоровенный мужик, сидел, как провинившийся школьник, опустив голову и пощипывая собачий малахай, крупные капли пота сбегали по лбу и задерживались на бугристом переносье, покрытом сросшимися смоляными бровями.

– Чего ж ты молчишь? Расскажи, как выполнял директиву партии.

– Это не я колол свинью... Кум Яшка.

– А ты в окно глядел?

– Я был в Совете. Составлял список на контрактацию.

– Кто же твоим хозяйством распоряжается: ты или кум Яшка?

– Жена виноватая... Она сбегала за Яшкой... Говорит – пока он из Совета вернется, мы ее опалим да освежаем.

– Мать твою... – Возвышаев косо глянул на Марию и запнулся. – Мужик называется... С бабой совладать не может. – Он сел за стол и сказал иным тоном, обращаясь к Чубукову: – Запиши ему штраф в пятикратном размере от стоимости свиньи. И всем, всем! – Он поднял голову и поглядел на собравшихся активистов. – Сегодня же выдать штраф... Всем, кто забил хоть поросенка. В пятикратном размере. Деньги внести завтра же. А если кто не внесет, пеняйте на себя. И передайте на селе: завтра же начнем отбирать и распродавать имущество в счет оплаты штрафа. А этого бывшего пастуха наказать сегодня же. Сейчас! Ступайте к нему всем составом, отберите лошадь. Нет, погоди! Не лошадь, а корову. Лошадь ему до весны не

понадобится. А вот пусть без коровы поживет, сукин сын. Взять корову. А если окажет сопротивление, арестовать и посадить в кладовую к Миронову. Ясная задача?

Активисты покашливали, двигали валенками, но молчали.

– Мне можно домой идти? – спросил Акимов. – У меня своих дел невпроворот.

– Нет, нельзя, – отрезал Возвышаев. – Пойдешь вместе со всеми. Это тебе наглядная агитация. Пример будет, как надо потрошить толстосумов. Завтра и за твоих примемся.

– Чубуков, Радимов, приглядывайте, чтобы все было как надо. И без пощады! В случае чего составляйте протокол и сюда его, в холодную. Проверьте наличие хлеба. Лишний отобрать. Ступайте! И вы идите, – сказал он Марии. – Вон, берите пример с Доброхотова. Он настоящий боец-комсомолец. Идите!

Шли толпой, молча, как на похороны. Даже Доброхотов, чуть забежавший вперед, с опаской оглядывался на сурово насупленных Чубукова и Радимова, пытался угадать – о чем они думают, хотел спросить – не прибавить ли шагу? Но побаивался рассердить их и тоже помалкивал.

На краю Веретья их встретила целая ватага ребятни и собак; словно по команде, забрежали собаки, забегая в хвост этой процессии, а ребяташки, охватившие ее по бокам, вприпрыжку носились вдоль по улице и голосили:

– Пастуха идут кулачить! Пастуха трести идут...

Из домов, с подворий, от амбаров потянулись за активистами мужики и бабы, шли назерком, держались на почтительном отдалении; кто семечки лузгал, кто был с лопатой деревянной, кто с вилами, кто с граблями. Негромко переговаривались:

– Свиной описывать, что ля?

– Говорят, к Рагулину, хлеб отбирать.

– Он вроде бы в лес уехал.

– Будто вернулся утром. Один, без лошадей.

– Лошадей-то продал...

– Кто их теперь купит?

– За бесценок возьмут.

Доброхотов свернул к пятистенному дому, обшитому тесом, с резными наличниками и звонко крикнул:

– А вот и Рагулин. Зайдем, товарищи!

Между кирпичной кладовой и домом стояли тесовые ворота и глухая высокая калитка, набранная в косую клетку. Чубуков подошел первым к калитке, взялся за литое медное кольцо и громыхнул щеколдой.

– Кто там? – донеслось басовито с подворья.

– Открывай ворота! – крикнул Чубуков.

– И в калитку пройдетя. Чай, не званые гости, – отвечал все тот же густой бас.

Чубуков толкнул плечом калитку – она оказалась не запертой. Вошли гуськом на подворье. Хозяин с вилами в руках, в расстегнутом овчинном полушубке, в новеньких лаптях – онучи белые по колена, подбирал овсяную солому. Гостей незваных встретил спокойно, будто ожидал их, – ни один мускул не дрогнул на темном, изрытом глубокими морщинами лице.

– Где ваши лошади и коровы? – спросил Чубуков.

– У меня одна лошадь и одна корова. Вон, в хлеву стоят.

– Врешь! У тебя было две коровы и три лошади.

– Ищитя, если мне не верите, – ответил кротко.

– Алексашин, Доброхотов, осмотрите хлев! – приказал Чубуков. – Ключи от кладовой!

Алексашин с Доброхотовым побежали в сарай осматривать хлева, а хозяин и не шелохнулся, стоял, опираясь на вилы, поглядывал с легкой усмешкой на грозного Чубукова, от расстегнутой груди его исходил парок – видно, что хорошо поработал.

– Ты чего стоишь? Кому сказано – принеси ключи от кладовой!

– А я тебе не слуга, дорогой и хороший. Ты у меня не работал, и делить нам с тобой нечего. Что ж я свои запасы тебе стану показывать?

– Ах, вот как! Ежиков, сходи в избу, принеси ключи от кладовой!

Ежиков козырнул, поднеся согнутую руку в варежке к шлему, и трусцой побежал к заднему крыльцу.

Из хлева на подворье вышли Доброхотов и Алексашин, сказали в один голос:

– Всего лошадь и корова... Больше никакой скотины. Даже овец нет.

– За самовольное разбазаривание скота, за саботаж по части сдачи хлебных излишков изъять корову! – приказал им Чубуков. – Возьмите веревку, выведите корову и привяжите вон, к воротам, пока мы осмотрим кладовую и прочие помещения.

Алексашин с Доброхотовым снова скрылись в сарае, на заднем крыльце появился Ежиков с ключами, за полу шинели одной рукой держала его Рагулиха, второй ухватилась за дверной косяк. Это была объемистая баба лет сорока в овчинной душегрейке. Она голосила на все подворье:

– Не замай ключи, окаянная! Анчихрист лопоухай!..

– Отпусти шинель, ну! Кому говорят? А то в рожу заеду... – орал на нее Ежиков.

– Я те заеду, рыжий дьявол. Я те всю харю расцарапаю.

– Акимов, лови ключи! – Ежиков бросил с крыльца связку здоровенных ключей, они грохнулись со звоном об мерзлую землю.

Акимов поднял ключи и подал их Чубукову. Между тем Алексашин выводил упиравшуюся корову из сарая, а Доброхотов накручивал ей хвост. Наконец, промычав, корова взбрыкнула задом и выбежала на подворье. Алексашин подвел ее к воротам и привязал веревкой за скобу.

Отвлеченные возней Ежикова с Рагулихой, и Чубуков, и Радимов упустили из виду самого хозяина. Рагулин появился перед ними внезапно с топором в руках. На лице его от давешней кротости и следа не осталось – прямо на них шел совсем другой мужик, отчаянный и яростный, шел, как жеребец на волчью стаю, ослабясь, раздувая ноздри, хватая мерзлый воздух посиневшими от бешенства губами, словно у него дыхание перехватывало. Активисты в полушубках, давя друг друга, бросились вон через тесную калитку; Акимов вбежал на крыльцо к Ежинову, Мария прижалась к завалинке, а Чубуков и Радимов, как немые, пяtilись задом к овсяной соломе, не сводя глаз с блестящего отточенного лезвия топора. Но Рагулин прошел мимо них, подошел к воротам, перерубил веревку и повел корову обратно в хлев.

Радимов бросился на него сзади, подмял под себя, как медведь дворнягу, и зарычал:

– Р-растак твою р-разэдак... Я тебя расшибу в лепеху... – Топор вырвал и забросил на крышу сарая, потом схватил Рагулина за шиворот, встряхнул, как овчину, и поставил на ноги.

Все это произошло в какое-то мгновение. Рагулиха, онемев от ужаса, выпустила из рук шинель Ежикова. Чубуков стоял в той же позе, как пяtilся задом, – пригнувшись и руки растопырив, Мария сидела на завалинке, свесив ноги, а в калитку

заглядывали побелевшие от испуга активисты.

– Ежиков, чего рот разинул? Возьми его, – сказал Радимов и на вытянутой руке повел Рагулина к воротам, подталкивая коленом под зад.

Все наконец оживились, замахали руками, затараторили, забегали... Доброхотов поймал корову и тащил ее к воротам, ему помогал Алексашин, Чубуков гремел ключами возле двери кладовой, Ежиков, придерживаясь рукой за кобуру, кричал на Рагулина:

– Ты мне не вздумай еще фортеля откалывать! Подстрелю, как воробья...

Наконец Чубуков открыл дверь кладовой и скрылся там вместе с активистами, увели присмирившего Рагулина вместе с коровой, и на подворье остались только Мария с Акимовым, да на крыльце вопила в голос Рагулиха, закрыв лицо руками, и робко тянули ее за подол высыпавшие из дому ребяташки; их было четверо, все босые, в полотняных порточках, в белесых застиранных рубашонках:

– Мамка, пошли домой... Дунья плачет...

Но мать, будто не слышала их, закрыв лицо руками, голосила:

– Уж ты кормилец наш ненаглядна-ай!.. Да на кого ж ты спокидаешь нас, сиротинушек горьких? Да что ж мы делать-то будем без тебя, без хозяина? Иль нам по миру пойтить с сумой заплечна-ай... Ох ты, горе наше горькое... О-ох! О-ох! – вдыхала шумно, набирала воздуха и снова голосила тоненьким надрывным плачем: – Увели тебя, голубь ты наш сизокрылай...

– Ма-а-амка, пошли домой! Холодно здесь-а-а... Пошли! Там Дунья плачет, – тербели ее ребяташки и тоже заливались на все голоса.

– Акимов! – крикнул Чубуков с порога кладовой. – Найди сбрую и запрягай хозяйскую лошадь. Будем хлеб возить. Здесь его не меньше ста пудов. Давай, шевелись! – И снова скрылся в кладовой.

– Я больше не могу... – с трудом сдерживая рыдания, сказала Мария. – Дайте мне свою лошадь... Или я в ночь уйду пешком прямо в райком. Этот разбой остановить надо!..

– Успокойтесь сначала... Ступайте на реку... Там вас никто не заметит. Идите вдоль берега в Гордеево. Ждите меня у Кашириной. В сумерках пригоню вам лошадь.

Рано утром явилась Мария в райком и ждала в приемной Пospelова. Увидев ее, он споткнулся на пороге – так и пригнулся и спросил тревожно:

– В чем дело? Почему здесь?

– Мелентий Кузьмич, это невыносимо! Так нельзя работать. Это ж грабеж среди бела дня! – Она резко встала и ринулась к нему, прижимая стиснутые руки к груди.

– Кто вас ограбил? – спросил он сухо в привычном официальном тоне, обходя ее, словно статую. – Проходите в кабинет. И давайте без этих самых жестов. Спокойствие прежде всего.

В кабинете сердито кашлял, долго наводил порядок на столе, перекладывал с места на место папки, пресс-папье, чернильницу, стакан с карандашами. Наконец указал Марии на стул и сам сел:

– Я вас слушаю.

Тот запал гнева и весь ее напор, с которым бежала из Веретья, ехала в полночь на одинокой подводе, вошла сюда, наконец, ждала и кипела... все это теперь, при виде постного лица секретаря, этого аккуратного пробора на голове, этих холодно блиставших стеклярусов, все улетучилось, и на душе ее стало пусто и тоскливо.

– Ну, докладывайте. – Пospelов снял очки и стал рассматривать их на отдалении, вытянув руки.

– У пастуха Рагулина отобрали корову и самого посадили в холодную. А у него дети малые... – вот и все, что вырвалось наружу.

– Во-первых, он бывший пастух. С двадцать восьмого года его хозяйство на положении кулацкого, мне доложили, во-вторых, он пустил в расход две лошади и корову, в-третьих, поднял руку на власть, то есть разгонял с топором в руках оперативную группу. Так что ж вы хотите? Оставить его на воле, чтоб он топором голову кому-нибудь срубил?

– Не на людей он кинулся с топором-то. Он корову освободил, веревку перерубил, и только.

– А какое он имел право? Если корова конфискована, она уже не его.

– Он же все налоги платил исправно. Вот выписка, я взяла в Совете. – Она достала из кармана жакета записку и прочла ее. – В этом году он уплатил сельхозналог в индивидуальном порядке семьсот восемьдесят рублей. Задание по самообложению триста девяносто рублей и сто восемьдесят два рубля, как не имеющий права нести обязанности сельского жителя. Ну, чего же еще надо?

– Я не фининспектор и не налоговый агент, – холодно ответил Пospelов. – Идите в райфо, пусть проверят – по закону обложен Рагулин или нет. И чего вы переживаете? Он же типичный перерожденец. Три лошади, две коровы... Ну?

– Он же все заработал своими руками. Что ж у нас получается? Ежели лодырь, беспортошник или кутила, – значит, наш. А ежели хорошо работает, деньги бережет, в оборот их пускает, – значит, не наш. Буржуй, да?

– Разговор на эту тему исчерпан.

Мария поняла, что ее опередили. Должно быть, Возвышаев позвонил и все пересказал в ином свете. Она только устало провела рукой по волосам и вздохнула. Пospelов даже и не смотрел на нее, упорно разглядывал свои очки.

– Что у вас еще?

– Возвышаев фактически ввел самовольно чрезвычайные меры... Штрафы в пятикратном размере с конфискацией имущества. Он же нарушил решение бюро райкома.

– Напишите рапорт, мы разберем его на бюро.

– Когда?

– Ну, когда будет объявлено... Не я один созываю бюро.

– Но, поймите же, там творится что-то невероятное. Скот режут, имущество распродают, людей сажают... Это ж остановить надо.

– Там находятся трое руководителей района, наделенных всей полнотой власти. Вот когда они вернутся с задания, с них спросят отчет. Думаю, что они отчитаются. А вам, товарищ Обухова, придется отвечать за самовольный уход с боевого поста. Вы были посланы туда не связным от райкома партии, а комсомольским помощником тройки.

– А если я не согласна с методом работы этой тройки, тогда как?

– Я же сказал – напишите рапорт. Разберем. Сколько скота забили? Сведения есть?

– По Веретью и Гордееву всего сотни полторы голов.

– Н-да, нехорошо. – Пospelов повертел в воздухе очками и сказал озабоченно: – Дурной пример заразителен. Эта резня и на другие села перекинулась. Классовый враг



не дремлет. А вы, вместо того, чтобы пропаганду вести против этого безобразия, в панику ударились, в бега. Нехорошо, Мария Васильевна.

– Мелентий Кузьмич, я прошу вас, умоляю, – опять, как давеча, руки прижав к груди, подалась к нему Мария. – Остановите их! Иначе беда будет.

– Ладно, ладно, – примирительно сказал Пospelов, поднимая руки, словно заслоняясь. – Мы подумаем тут, посоветуемся. А ты ступай домой. Отдохни и проспись, а то у тебя вид какой-то ненормальный.

От Пospelова вышла, как после хвори – в сторону шибало. Ехала сюда. Ехала, мерзла, всю ночь не спала, ярилась, подстегивая себя решимостью выступить против этой зверской расправы, крикнуть в лицо Возвышаеву, что он барский бурмистр, что он держиморда, и вот результат... Но пусть только бюро соберут, пусть только слово дадут ей. А там уж она не растеряется, как в этом кабинете перед холодными стеклярусами Пospelова...

Но кто соберет это бюро? Кто ее пустит туда? Кто позовет? Вот, может быть, Тяпина растормошить? Он поможет.

Она встретила с ним в коридоре на нижнем этаже. Он куда-то торопился и в полусумраке чуть не столкнулся с ней.

– Маша, ты? Как ты здесь очутилась? – опешил, спрашивая в сердитом нетерпении, готовый сорваться.

– Як вам, Митрофан Ефимович... Специально приехала.

– Да ведь некогда мне... Еду в округ на недельный инструктаж по сплошной коллективизации.

– А я сбежала из Гордеева... Не могу я так разбойничать... – И чуть не заплакала.

Тяпин испуганно оглянулся по сторонам – не слышат ли – и сказал:

– Ну ладно, зайдем на минутку ко мне. Только давай вкратце...

В кабинете Тяпина Мария рассказала, что там случилось, почему сбежала и что было у Пospelова, требовала собрать бюро, а тот не мычит не телится.

– Помоги! Слышишь, Митрофан Ефимович... Сходи к нему сам. Убеди его. Надо остановить Возвышаева...

– И не подумай, – сказал Тяпин.

– Почему?

– Потому что прав Возвышаев, а ты не права. Во-первых, сбежала... А во-вторых, какое ты имеешь право требовать приостановить сбор хлебных излишков?

– Да это же разбой! – крикнула она.

– Извините... Это кон-фис-ка-ция. Понятно? И от того, что вы уклоняетесь от проведения этой самой конфискации, вы получите серьезное взыскание. Все, Маша! Я тебя предупреждал. Время теперь не то, чтобы нянчиться с тобой.

– Какое время? Что произошло, собственно? Война объявлена?

– Объявлена сплошная коллективизация. Это поважнее войны. Тут борьба не на живот, а на смерть со всей частной собственностью. Понятно?

– А в чем виноват этот Рагулин? А жена его, дети?

– Ты позабыла, что говорил на лекции Ашихмин? Мир единоличника обречен на историческую гибель. Понимаешь, историческая закономерность! Мы поднимаемся на новую ступень развития. Вперед к коллективному хозяйству! Это вчера еще мы колебались, как нам поступать с этим Рагулиным. А сегодня решение принято – сплошная коллективизация, и никаких гвоздей!

– Эдак можно и голову потерять.

– Почему?

– Я ж тебе сказала – резня идет в Гордеевском узле. Пока режут скот, а завтра начнут друг другу башки сносить.

– Ну это ты брось ударяться в панику. – Митрофан сердито посмотрел на нее, подумал и сказал: – Потери в борьбе неизбежны. Для того, чтобы выиграла рота, можно пожертвовать взводом, чтобы выиграла дивизия, можно пожертвовать полком, а чтобы выиграть всем фронтом, не жаль и армию пустить вразнос. Понятно? Это не нами сказано, не нам и осуждать.

– Таким макарком можно одержать и пиррову победу.

– Что это за пиррова победа?

– Полководец был такой в древности. Победу одержал ценой жизни своих воинов и в конечном итоге все проиграл.

На круглом добродушном лице Тяпина заиграла младенчески-невинная улыбочка:

– Дак он же с войском дело имел, а мы с народом, голова! Народ весь никогда не истребишь. Потому что сколько его ни уничтожают, он тут же сам нарождается. Народ растет, как трава. А войско собирать надо, оснащать, обучать и прочее. Так что твоя пиррова победа тут ни к селу.

Мария только головой покачала:

– Но сажать людей в холодную, зимой... Имеет он право или не имеет?

– А с этим вопросом обращайся к прокурору.

– Бюро надо созвать и всех туда вызвать. И прокурора, и Возвышаева, и всем вам собраться и взвесить все... Иди к Поспелову!

– Некогда мне бегать по начальству. Говорю тебе – еду в округ. Лошадей уже запрягают... Бегу! – И побежал.

Но бюро райкома пришлось собирать. Резня свиней охватила весь район, из округа экстренным образом приехал Ашихмин, он был теперь, кроме всего прочего, членом окружного штаба по сплошной коллективизации. Выездную тройку из Гордеевского узла отозвали. Но за четыре дня эта тройка успела много дел натворить: собрали четыре тысячи пудов ржи и овса, распродали в погашение штрафов восемь хозяйств, посадили в холодную пять человек, отобрали десять коров и двадцать две свиньи. Коров сводили под дырявый навес агроучастка, где они мычали дурным голосом и день и ночь. А свиней загоняли в кладовую, в соседний отсек с холодной, где сидели мужики.

Уезжая, Возвышаев распорядился: коров отвести в Нефедове, передать вновь созданному колхозу, свиней сдать на мясозаготовку, а нарушителей порядка выпустить на волю и крепко предупредить – ежели чего позволят себе, сажать немедленно.

Ашихмин привез с собой инструкцию насчет создания и деятельности районного штаба по коллективизации. Заперевшись с Поспеловым, они определили руководящую тройку штаба, наметили отчисления в денежный фонд для проведения коллективизации и решили – кому быть начальником штаба. Сам Поспелов от этой почетной должности отказался, жаловался на здоровье: «Не то аппендицит, не то желчный пузырь замучил. Врачи кладут в больницу. А если оперируют, то какой из меня боец на передовом посту? Пускай Возвышаев старается. Он человек решительный, принципиальный, молодой. Ему и карты в руки». Так и порешили – предлагать на бюро начальником штаба Возвышаева.

Кроме членов бюро на заседании присутствовали вновь назначенный завог

Самохин и председатель контрольной комиссии Рубцов, да пригласили прокурора Шатохина с судьей Радимовым.

Поспелов, щурясь сквозь очки, сказал:

– На повестке дня стоят два вопроса: первый – создание штаба для проведения сплошной коллективизации, и второй – о введении выездной тройкой чрезвычайных мер в Гордеевском узле. По первому вопросу сообщение сделает товарищ Ашихмин.

Ашихмин долго говорил об усилении классовой борьбы в связи с коллективизацией, о слабой работе по сбору хлебных излишков и что-де заем плохо, распространяют, и виной тому старый либерализм и правый оппортунизм. Под конец он сказал:

– Мы здесь, совместно с руководством райкома, определили круг обязанностей и некоторые мероприятия для райштаба по сплошной коллективизации... А также прикинули состав его и денежный фонд. Разрешите прочесть. – Он взял из папки Поспелова бумагу и прочел:

«Для руководства сплошной коллективизацией, а также для подготовки и проведения весенней посевной кампании создать оперативный штаб:

1. Возвышаев (председатель штаба), Чубуков (заместитель), Самохин (секретарь). Остальных членов штаба подбирает руководящая тройка и подает на утверждение в райком.

2. Предложить оперативному штабу в семидневный срок разработать план сплошной коллективизации района и представить его на рассмотрение бюро РК.

3. Разработать календарный план по отдельным кустам не позднее 1 января 1930 года.

4. Для проведения курсов актива в районе и для покрытия расходов на коллективизацию создать фонд при штабе и предложить фракциям кооперативных и профессиональных организаций внести в фонд следующие суммы:

1. Тихановское сельпо – 700 р.
2. Тихановское кредитное об-во – 400 р.
3. Степановское об-во потребителей – 500 р.
4. Гордеевское об-во потребителей – 400 р.
5. Тихановский раймолокосоюз – 300 р.
6. Плодоовощсоюз – 300 р.
7. Тимофеевское кредитное об-во – 500 р.
8. Правление промкооперации – 700 р.
9. Инвалидная кооперация «Окская переправа» – 300 р.
10. Сапожная артель – 300 р.

Предложить вышеупомянутым учреждениям немедленно внести причитающиеся с них суммы».

Ашихмин сел.

– У кого будут предложения или дополнения? – спросил Поспелов и сделал паузу. – Нет предложений. Тогда голосуем. Кто за резолюцию, прошу поднять руки! Голосуют только члены бюро.

Все шесть человек проголосовали «за».

– Так. Возвышаев, известите все упомянутые организации и соберите деньги, – сказал Поспелов.

– К завтраму соберем, – отозвался тот. – И без шума.

– Но со свиным визгом, – сказал Озимое.

И все засмеялись, а Возвышаев тягостно вздохнул.

– Теперь поговорим насчет опыта выездной тройки в Гордеевском кусте, поскольку поступило две жалобы от уполномоченного райкома комсомола т.Обуховой и председателя Гордеевского Совета Акимова. Частное сообщение сделает районный прокурор товарищ Шатохин. Пожалуйста! – Пospelов кивнул прокурору, тот встал.

Это был плотный крупноголовый мужичок в суконной гимнастерке защитного цвета. Он шустро встал, поворошил пятерней свои пышные рыжие кудри и зачастил словами, как из пулемета строчил:

– Ваше дело вводить или отменять чрезвычайные меры. Ваше дело решать – что отбирать: скот, зерно, недвижимое имущество. Все это ваше дело. Но сажать людей в тюрьму – наше дело. И если вы берете людей под охрану, то хоть задним числом согласовывайте с нами. Что же это получается? Вы там в Веретье самовольно открыли тюрьму, четверо суток продержали пять человек в холодной, и мне, прокурору, известно стало только от самих пострадавших на пятый день, да и то по звонку из области. Спрашивается, для чего я здесь торчу, в районе? Для насмешек от милиции?

– При чем здесь милиция? – прервал его Озимов.

– А при том. Ваш участковый Ежиков в ответ на заявление арестованных, что они пожалуются прокурору, похлопал себя по кобуре и сказал: вот он где у меня сидит, ваш прокурор. И какое он имеет право сажать людей без моей санкции?

– Ему приказали Возвышаев и Радимов. С них и спрашивайте, – сказал Озимов.

– Участковый не Возвышаеву подчиняется, а тебе.

– А мне что, разорваться? Я был в Степанове и не знаю, что творилось в Веретье.

– Товарищи, давайте поспокойнее. – Пospelов постучал о графин карандашом.

– Подумаешь, каких-то мерзавцев продержали три дня под арестом, – проворчал Возвышаев.

– Во-первых, не три, а четыре! – крикнул прокурор. – А, во-вторых, хочешь это самое вершить – бери мои полномочия и сажай. Хоть весь район посади.

– Мне и своих полномочий хватает, – упрямо твердил Возвышаев. – Если он кулак и саботажник... что прикажете делать? Ждать, когда сам Шатохин заявится? Да я любого паразита скручу в бараний рог, если он становится поперек директив.

– По какой директиве? – спросил Шатохин.

– Мы приняли на бюро постановление о введении чрезвычайных мер. Вот вам и директива. Чего же еще надо? – ответил Возвышаев.

– Ты позабыл ту формулировку, – сказал Возвышаеву Озимов и обернулся к Пospelову: – Мелентий Кузьмич, прочти ему то решение.

– А я так его помню, – отозвался Пospelов. – Штрафовать надо, но не в пятикратном размере, милицию использовать при конфискации, но в качестве охраны порядка...

– Во, слышал? А ты что делаешь? – крикнул Озимов Возвышаеву.

– А мне плевать на эти либеральные установки.

– На ячейку плюешь!

– Товарищи, позвольте мне, – сказал Ашихмин. Пospelов кивнул ему, тот встал: – Спор получается до некоторой степени схоластический. После того бюро многое изменилось. Давайте посмотрим в корень вопроса. Мы в настоящий момент переходим от политики ограничения кулачества к политике ликвидации его как класса. Так в чем

же дело? Если враг оказывает сопротивление, немедленно брать под арест, не обращая внимания на соблюдение формальных правил. Это пустая предосторожность. Тройка под руководством Возвышаева сделала большое дело – собрано четыре тысячи пудов хлеба! Это же достижение! За это хвалить надо людей, а мы вроде бы ругаем.

– Вот именно! – подхватил Пospelов и постучал карандашом. – Я предлагаю внести в резолюцию отдельным пунктом: одобрить в целом работу выездной тройки в Гордеевском узле, указав на оплошность по части временного содержания под арестом нарушителей порядка без разрешения прокурора. – Пospelов оглядел всех из-под очков и спросил: – Как, товарищи?

– А чего ж... Голоснем! – предложил Чубуков.

И снова все шесть голосов дружно объединились.

– Теперь насчет забоя скота. Нужны самые решительные меры пресечения. Иначе мы останемся без свиного поголовья, – сказал Пospelов. – Какие будут соображения?

– Овец тоже режут... И до рогатого скота добираются, – сказал Озимов.

– А милиция уклоняется... сидит сложа руки, – буркнул Возвышаев.

– Между прочим, в Гордеевском узле, с которого началась эта резня, шуровал ты. И нечего валить с больной головы на здоровую. – Озимов подался вперед и сердито нагнул голову, словно лбом хотел сшибить Возвышаева.

И тот подался всем корпусом:

– Я выполнял план контрактации, а ты по избам шастал и лясы точил.

– Может, обойдемся без выпадов? – Пospelов застучал карандашом о графин. – Какие будут предложения?

– Применить чрезвычайные меры к забойщикам скота, – сказал Чубуков. – Постановление разослать по району. У кого обнаружат забитую скотину – конфисковать. А самого посадить.

– Голоснем? Кто «за», прошу поднять руки. Так, единогласно... На «разное» у нас поступило письмо от Зенина, секретаря Тихановской ячейки, – сказал Пospelов. – Он просит бюро поставить вопрос о привлечении к судебной ответственности зачинщиков женской демонстрации против закрытия церкви и нападения на его жену, продавца местного сельпо. Какие будут соображения?

– Здорово живешь! – сказал Озимов. – Бюро не народный суд. Оскорбили его жену – пусть подает куда следует, где разбирают правонарушения. А нам и без того дел хватает. И потом – много чести для жены Зенина, чтобы ее стычки с прохожими разбирали руководители района.

– Товарищи, позвольте! – встал Возвышаев. – Тут дело пахнет политической провокацией. Нападение на жену Зенина совершено в тот самый день, когда закрывалась церковь.

– Какая политическая провокация?! Юбку стащили с нее, – сказал Озимов. – Не путай политику с дамской юбкой.

Все засмеялись, а Возвышаев скосил глаз и густо покраснел:

– Это называется притуплением бдительности на формы классовой борьбы. Я прошу бюро обратить на это внимание. – И, обиженный, Возвышаев сел.

– Вы расследовали, что там случилось? – спросил Пospelов Озимова.

– Кадыков занимался этим делом. Мелкое хулиганство. Перепалка была. Начала ее не кто иной, как жена Зенина. Смеялась над суеверием этих баб. Они ей стекла побили. Вот и вся история... Пусть подает в суд. Вон, Радимов разберется.

– Радимов, учтите такой оборот дела.

- Это мы в момент. Р-раз, и квас, – пробасил судья.
- Поспелов снова обернулся к Озимову:
- А Кадыков а мы у тебя забираем.
- Куда?
- Пойдет председателем колхоза в село Пантюхино.
- А как же уголовный розыск?
- Подберите кого-нибудь. Сплошная коллективизация поважнее вашего уголовного розыска.

## 10

Накануне Нового года Соня Бородина получила письмо от мужа из Юзовки – едет. Батюшки мои! Что делать? Куда деваться? Деньги, что присылал он на кладовую, – без малого тысячу рублей, – все истратила. Занять на время, чтоб отчитаться? У кого? Кто даст? Бежать ежели в город... Чтоб устроиться. На какие шиши? Может, Паша поможет, посоветует, что делать...

С наступлением темноты она пораньше уложила ребятишек в постель и пошла к Семену Жернакову, у которого жил на квартире Кречев. Душой понимала – нельзя туда идти: хозяйка, Параня Жернакова, была взята от Бородиных и доводилась родной сестрой Михаилу. Что подумает она, как посмотрит? Поди, догадается – зачем припожаловала. Но что делать? Не ловить же Кречева посреди улицы или в сельсовете при честном народе.

Двухэтажный кирпичный дом Жернаковых стоял в центре села, позади общественного трактира. На втором этаже, который занимал Кречев, – темно, внизу в двух окнах светился огонь. Входная дверь в нижний этаж вела прямо с улицы, как в кладовую. Раньше весь низ занимала бакалейная лавка – потому и не было сеней и вход был с улицы. Соня потянула на себя скрипучую дверь и нырнула вниз с высокого порога вместе с белым облаком морозного воздуха.

Паранька сидела в передней за столом, вязала чулок. Двое ребятишек под висячей лампой готовили уроки. Топилась грубка.

– Здравствуйте вам! С добрым вечером! – Соня расстегнула верхний крючок шубенки и ослабила затянутую на шее шаль, оставаясь стоять возле дверей.

– Садись вон на скамью. В ногах правды нет, – сказала хозяйка, не отрываясь от чулка и не сделав ни малейшего движения навстречу гостье. У нее был высокий, как и у всех Бородиных, нос и впалые маленькие глаза, отчего она казалась подслеповой. Ребятишки тоже исподлобья недружелюбно поглядывали на Соню.

Соня села на скамью и, опершись руками о колени, сделала как можно более озабоченный вид.

– Я эта... Посоветоваться к тебе, сестрица.

Паранька только головой мотнула, продолжала вязать, не глядя на нее.

– Письмо прислал Миша. Обещает к Рождеству приехать. Надо бы собраться по такому случаю. Я все наготовлю сама и вина накупила. Только изба-то у нас не для гостей – посадить негде.

И опять молчание...

– Хозяин ай со скотиной убирается? – спросила Соня.

– Где-то по дворам шастает, – ответила Параня.

– Вот я и не знаю... С ним бы посоветоваться. Может, у вас соберемся?

– Будет тебе дурака-то валять, Соня. Ты, никак, за один стол хочешь усадить

мужа и любовника Кречева, – сверкнула на нее вспыхнувшими глазами хозяйка.

– Ой, что ты, господь с тобой! Какой он мне любовник? Так, языками треплют. А ты на веру берешь. У меня еще дело к нему.

– Эка приспичило на ночь глядя... Дело у тебя к мужику? Постыдилась бы.

– Ой, что ты, господь с тобой! Об чем ты все толкуешь? Я в Пугасово собралась назавтра съездить на базар. А он будто обоз с утра отправляет. Вот и хочу попроситься – может, разрешит с обозом. Я бы за ночь собрала кое-что. Где он? Дома, что ли?

Хозяйка помедлила и сказала:

– В клубе на заседании.

– Там вроде бы вечер сегодня. Представление.

– А кто их знает, басурманов. Пост, а у них веселье. Черти рогатые.

– Дык как же насчет сбора? У вас нельзя, значит?

– Семен говорил, будто бы Андрей собирает к себе. У них и горница попросторнее нашей, – нехотя отозвалась Параня.

– Андрею Ивановичу завсегда больше всех надо. Не мужик, а сваха, – проворчала Соня, вставая. – Ну, я пойду. На базар вот собираюсь, кое-что купить к приезду Михаила. Наш базар совсем разогнали, окаянные души.

– Нечего на нем продавать... Скот под запретом и зерно тоже. Все даром норовят взять. Времена подошли непутевые.

– Пойду поищу его, – сказала от дверей Соня.

– Ступай, ступай, милая. Авось обрящешь колотушкой промеж глаз.

Соня вышла на улицу с таким чувством, будто взащей ее вытолкали. И тошно совсем сделалось. Идти в клуб, на люди, ловить его за полу – последнее дело. Но иного выхода не было. С утра он уезжает в Пугасово. А там вернется к самому приезду Михаила. Об чем тогда говорить? Шла в клуб, а сердце колотилось в самой глотке, и ноги заплетались. Шла и злилась не на того, кто позор положил на ее голову, с кем деньги в кутежах промотала, а злилась на мужа, которого не видела почти два года.

«Эх, Тара головастый! – это прозвище Михаила. – Бросил меня на произвол судьбы и в ус не дует. Легко ли одной бабе горе мыкать? Я греха не искала, не шастала по гулянкам. Он сам нашел меня среди бела дня и свалил в одночасье. Разе устоять слабой бабенке безо всякой опоры и поддержки? Вон, святые апостолы и те в одиночку грешили. Господи, господи! Прости ты меня, Христа ради, окаянную. Вразуми, что делать? Куда деваться?..» – так думала она и шла прямехонько в клуб.

Это культурное заведение открыли в Тиханове еще в прошлом году – переделали старую кирпичную церковь, а летом пристроили еще большие деревянные сени и назвали их по-заграничному – фойе. Но тихановцы звали по-своему – фуе. К Новому году эти деревянные стены изнутри обклеивали шпалерами и вешали на них большие картины, писанные масляными красками, на тему: «За грибами в лес девицы гурьбой собрались...», «Охотник на зорьке возле озера», «Иван-царевич верхом на сером волке».

Девицы, собравшиеся по грибы, стояли возле леса в цветастых платьях и смотрели прямо перед собой большими белыми глазами; серый волк, на котором ехал Иван-царевич, похож был не то на безрогого козла, не то на карликовую лошадь, а охотник с бородой поэта Некрасова держал наперевес двустволку и тоже смотрел круглыми белыми глазами на клубную публику. Заведовал новым клубом сын Тараканихи – Ванечка Таракан. Он и в самом деле смахивал на таракана – худой, черноволосый, в длинном черном пиджаке из чертовой кожи, он вихрем носился по

Тиханову, на лошади не догонишь. «Ванечка, пусти кино посмотреть!» – кричали ему ребяташки. «Приходите динаму крутить. Тогда пушу», – отвечал он на бегу.

Возле клуба постоянно табунились безбилетники. Ванечка всех записывал в тетрадь и пускал по два человека в кинобудку – крутить динамо-машину. Одни упарятся – отваливают в сторону. Других пускает. Те крутят и смотрят в окошко кино до тех пор, пока не осоловеют. От охотников отбоя не было. В дверях стоял Макар Сивый, держал здоровенную запирку, пропускал только по билетам да по Ванечкиным запискам.

На этот раз наружные двери были раскрыты настежь, а возле внутренних, тоже незапертых, сидел на табуретке Макар и лузгал семечки.

Соня чинно поздоровалась с ним и спросила:

– Чегой-то нынче все ворота нараспашку? А говорили, будто представление новогоднее.

– Отменили представление. Собрание проводят, по случаю пятидесятилетия Сталина.

– Дык он чего, приехал, что ли?

– Ага. Верхом на облаке.

– Не пойму я чтой-то. Как же так, именины справляют, а именинника нет?

– А очень просто. Вредительство обнаружено.

– Игде? – испугалась Соня.

– А тута, в этом самом... в фуе.

– Какое ж вредительство?

– Стены обклеивали... Шпалеров не хватило. Дали газет. Ну, стали эти газеты сажать на кнопки. На газетах портреты Сталина. Кто-то и угодил ему кнопкой в глаз. Стал народ собираться. Смеялись. У него, говорят, чертов глаз. Как у филина. Сунься за ним... Он те, говорят, в преисподнюю затащит. Хищник, одним словом, стоят смеются. А тут Зенин пришел. Это что, говорит, такое? Вместо новогоднего представления антисоветскую демонстрацию устроили. Наш Таракан с перепугу в щель забился. А Зенин отменил представление, сходил в РИК, привел оттуда начальство, и вот собранию устроили. Сходи послушай...

В фойе было безлюдно, в раскрытые двери из зала долетал громкий и сердитый голос Зенина. Соня подошла к дальней от сцены двери и, раздвигая тяжелую портьеру, заглянула в зал. На сцене за столом сидел Возвышаев с каким-то незнакомым кучерявым человеком. А на трибуне говорил Зенин:

– Это ж надо дойти до такого членовредительства, чтобы самому товарищу Сталину, вождю мирового пролетариата, на стенке в фойе глаз пришили. Они выбрали самый подходящий момент – когда вся страна отмечает торжественно пятидесятилетие дорогого вождя, решили такой зловредной выходкой скомпрометировать всесоюзное мероприятие. Здесь не простое хулиганство. Это явные происки классового врага. На эту вражескую выходку мы должны ответить еще более активным проведением сплошной коллективизации, сбором хлебных излишков и массовой контракцией скота. Руководство нашего района сделает соответствующие выводы и проведет по всем селам собрания по чествованию товарища Сталина, по развенчанию культа рождества Христова, с одной стороны, и осуждению кулачества и его гнусных пособников – с другой...

В зале много публики – все молодежь; по ярким цветастым шаленкам видно было – на представление явились. Кречева не было ни на сцене, ни в зале. Соня вернулась к



Макару и спросила:

– А чегой-то нашего председателя не видно?

– Он в кинобудке, Ванечку распекает.

Соня вынула из кармана шубы целую горсть подсолнухов и всыпала в необъятную пригоршню Макара.

– Ой, Макар, милый! Не в службу, а в дружбу, позови Кречева. Только не говори, что я его жду. Скажи, мол, из сельсовета рассыльная. Я и в самом деле из сельсовета, – соврала Соня. – Скажи, его по телефону вызывали. Пусть выйдет на час. Я подожду его на выходе.

Макар, тяжело подминая половицы, как медведь, косолапя чунями, пошел в кинобудку. Через минуту из клуба вышел Кречев и громко спросил с крыльца:

– Кто меня тут вызывает?

Соня вынырнула из-за двери и сказала игриво:

– Ой, какой ты грозный!

– Ты что, опупела? – Кречев сердито уставился на нее и запыхтел, будто его выдувало изнутри.

– Не сердись, Паша... У меня беда.

– А мне-то какое дело? Ты забыла, что я председатель Совета? И официально вызывать меня имеют право только должностные лица. Понятно? Что ты мой авторитет позоришь?

– Я же тебе говорю – у меня беда. Миша едет.

– Ну и что?

– Как – что? Нам поговорить надо, посоветоваться... Куда мне деваться?

– Ладно, завтра поговорим. А сейчас мне некогда. – Кречев направился к дверям.

Но Соня бросилась перед ним, загораживая дорогу:

– Ты же завтра уезжаешь с обозом!

– Приеду... Увидимся еще, не бойся... – Он хотел отстранить ее рукой.

Она поймала его за рукав пиджака и, приблизив к нему гневное лицо с блестящими глазами, зло сказала:

– Если ты сейчас не пойдешь со мной, я тебе тут же, посреди клуба, такое представление устрою, что похлеще вашего митинга будет.

– Но-но потише... Ты что, или в самом деле тронулась? – опешил Кречев.

– Как по ночам шастать ко мне – здоровой была. А теперь тронулась?

– Ладно, говорю, ладно... Ступай домой. Я сейчас приду. Не вместе ж нам по селу топтать.

– Если не придешь, завтра утром в сельсовете при всем честном народе опозорю...

– Приду, приду, – уже примирительно сказал Кречев и нырнул в двери.

Придя домой, Соня поставила самовар, накрыла на стол огурцов да грибов соленых, бутылку водки достала, попудрилась перед настольным зеркальцем, желтые косы венцом уложила, лучшую кофточку свою надела – белую, вязанную из козьего пуха, и, вся красная от волнения, не зная куда деть себя, стояла навтыжку, прислонясь спиной к теплой грубке, ждала, прислушиваясь к каждому шороху и скрипу. Вот зашумел самовар, и наконец трижды грохнула щеколда. Пришел!

Она бросилась сама раздевать его и виновато лепетала:

– Ты прости меня, Паша, милый... Я ведь по нужде великой потревожила тебя... Разве я не понимаю, что тебе нельзя со мной на людях показываться. Ведь ты большой

начальник... А я кто такая? Последняя беспутная бабенка...

– Да не в том дело, голова два уха. Я не стесняюсь тебя и не боюсь никого, но просто форма службы такая. Ежели ты при должности, то веди себя осторожно насчет этого самого... Не то надают по шее да еще из партии исключат. – Кречев разделся, одернул гимнастерку, складки разогнал за спину и сказал: – Фу-ты ну-ты, лапти гнуты. А ты нынче фартовая. Прямо как сдобная булка из калашной. О! И пахнешь сытно. – Он сграбастал ее, как сноп, приподнял и поцеловал в губы.

Она обхватила его за шею, уткнулась в плечо и вдруг заплакала.

– Ну ладно, ладно... Чего ты раньше времени слюни распустила, – утешал он ее. – Авось все обойдется...

– Убьет он меня... Братья все знают... Отписали ему. Он даже в письме грозитя – приеду, говорит, посчитаемся... – Запрокинула лицо, глотая слезы, жадно смотрела в глаза ему. – В последний разочек милуемся с тобой...

– Никуда ты не денешься... Увидимся еще – не раз.

– Нет, Паша, мне тут не житье. Уйду я, уеду...

– Куда ж ты уедешь?

– А куда глаза глядят. Вот ежели б ты перевелся в другой сельсовет... да меня забрал бы. Я бы тебе, Паша, всю жизнь вернее собаки была.

– Чудные вы, бабы! – усмехнулся Кречев, выпуская ее из рук. – Новая власть дала вам полное равноправие, освободила от мужей. Хочешь уходить из дому – уходи. Дак вам мало того... Вы хотите, чтобы власти подчинялись вам, чтоб они переводили ваших ухажеров в те места, которые подальше, где бы мужья не мешали... Ну и бабы. – Он подошел к столу, откупорил бутылку, налил в стопки себе и Соне. – Давай за это самое, равноправие.

Соня поморщилась и выпила, потом пристукнула пустой стопкой по столу и с веселым отчаянием сказала:

– Я ведь все деньги промотала... На кладовую он присылал. Помог бы занять хоть полтыщи – на время, отчитаться...

– Ого! Я таких денег и во сне не видывал. Я ж половину полочки домой отсылаю, отцу с матерью. А остальное на жратву еле-еле хватает... Где ж я тебе возьму?

– Ну посоветуй хоть, что мне делать?

– Вступай в колхоз. Мы тебя бригадиром сделаем. Комнатенку подыщем где-нибудь в помещичьем или в поповом доме. – Усмехнулся: – Устроим...

– На отлете да на подхвате, одних подгонять, другим угождать... Это тоже не житье. Хватит с меня, и так поболталась... Не вдова, не мужняя жена. Лучше в город подамся, на фабрику. Там хоть все такие бедаолаги...

– Он же в суд на тебя подаст. Долги потребует.

– Как-нибудь выкручусь. Что-либо придумаю... – Приблизилась к нему, опять обвила шею и, азартно раздувая ноздри, поводя лицом, говорила: – Милый мой, желанный мой! Не затем я тебя позвала, чтобы деньги у тебя каньжить. Что деньги? Тьфу! Провались они пропадом. У нас целая ночь впереди... Наша ноченька. Последняя. Последняя! И я всего тебя возьму... Всего. И унесу с собой на веки вечные...

– Допустим, меня ты и через порог не перенесешь. Опузыришься... Во мне пять пудов.

– Зато любовь твоя легкая. Любовь с собой унесу...

– Это пожалуйста, бери, сколько хочешь, и уноси на все четыре стороны. – Кречев

повеселел, и блаженная улыбка заиграла на его широких губах. – Только меня в покое оставь.

– Ах ты, увалень! Ты и в самом деле одними словами хочешь от меня отделаться...

– Это уж дудки! Это не в наших правилах.

Он легко приподнял ее, понес к кровати и бухнул на высоко взбитую перину.

– Лампу потуши, лампу... Не при свете ж нам... – шептала она, раскинув на подушке руки...

– Эх ты, Маланья! Все еще стыдишься. – Он прошел к столу и хакнул сверху на ламповое стекло.

Всю ночь она неумолимо тормошила его, не давая заснуть ни минуты, лепетала пересохшими от поцелуев губами:

– Пашенька, милый, пожалел бы меня... Взял бы с собой.

– К Параньке на квартиру, что ли? Или, может, в сельсовет, на столах спать будем? – грубовато отшучивался он.

– Пошли в Сергачево, к моей матери.

– Ага... И оттуда бегать буду на работу, как заяц.

– Ну поехали в Пугасово... Там тетка моя в буфете работает, при станции. Я в подсобницы поступлю. Прокормимся...

– Отстань! Я коммунист, а коммунисты с работы не бегают...

Заснул он после вторых петухов. Она встала, натянула валенки и в одной исподней рубахе пошла к печке.

– Ты куда? Иль на двор в таком виде? – хрипло, спросонья окликнул ее. – Простудишься.

– Спи, спи... Я самовар поставлю.

Из чугуна насыпала углей, зажгла лучины и приставила трубу. Подождав на скамье, пока угли не разгорелись, а Павел снова не затянулся мерным раскатистым храпом, она сняла самоварную трубу, вытряхнула в совок крупные горящие угли, накинула на голову шаль и вышла во двор. Сок с горящими углями положила в застреху рядом с наружной дверью и, увидев, как занялась солома, вернулась в дом, сняла валенки и залезла под одеяло к спящему Павлу.

Лежала навтыжку, напряженная, точно струна, вслушивалась, как за дверью в сенях погуживало, разгораясь, вольное полымя, как потрескивали, занимаясь, дубовые сухие сучья обрешетника, как заполошно закудахтали куры, заметалась, тревожно млякая, по двору коза. Дети спали тихо на печи, Павел храпел, как заведенный.

«Господи! – шептала она. – Прости меня, грешницу окаянную... Не людям зла желаю... Себя очистить огнем хочу. Запуталась я совсем, завертелась. Прости меня, господи!»

Приподняла голову, взглянула на окна – темень... Детей бы успеть в окно вытащить, не то души невинные пострадают. Тогда мне и на том свете покоя не будет, думала с тревогой. Да где ж люди-то? Чего не бегут на помощь? Или дрыхнут все? О Павле не беспокоилась. Этот козел сам выпрыгнет, хорошо бы огнем щетину ему подпалить. Отметину от меня за обиду и поругание. Не то ему все можно, все сходит. Ну как же, он власть! А тот, бирюк, пускай теперь считает свои капиталы. На мужа злилась более всего. Замуж, называется, взял. Как собаку дворовую, на привязи оставил. Да еще посчитаться захотел. Ну посчитай угольки на погори.

Мстительное чувство словно пожаром охватывало ее душу, и, распаяя себя все

больше и больше, она испытывала теперь какое-то знойное наслаждение от того, что она, маленькая и слабая, которую брали только для прихоти, рассчиталась с ними сполна, оставила всех в дураках.

В окно наконец громко застучали, и зычный Ваняткин голос прогремел набатом:

– Соня, вставай, мать твою перемать! Вставай, слышишь? Гори-ишь! – И опять трехэтажный заковыристый мат.

Кречев приподнялся над подушкой:

– В чем дело? Кто стучал?

В окно опять застучали, так что стекла жалобно затренькали.

– Иван Евсеевич стучит. Говорит, что горим, – спокойно ответила Соня.

С улицы опять слышались крики. Кречев, как кот с лежанки, спрыгнул с кровати и в одних кальсонах бросился к порогу и растворил дверь. На него в дверной проем хлынуло с мощным ревом и треском яркое пламя. Он моментально затворил дверь и заложил ее на крючок.

– В окно вылезай! – крикнул, натягивая брюки и хватая одновременно валенки.

– Паша, детей с печкиними!

– А, дети? – крутился по избе Кречев. – Давай их сюда!

Она залезла на печь и, всхлипывая, шмыгая носом, стала будить девочек и сонных, подавать ему в руки.

Наконец с дребезгом и звоном вылетела оконная рама, и в избу, освещенную переменчивым красноватым отсветом пожара, всунулась Ваняткина голова:

– Соня! Да где вы там, мать вашу?!

– На, принимай ребятишек, – сказал Кречев, передавая ему сонную девочку.

– Никак, товарищ Кречев? – опешил Ванятка. – Как ты здесь очутился?

– Принимай детей, говорят тебе! – крикнул Кречев, озлясь.

Ванятка принял девочку, передал ее кому-то из рук в руки и наказал:

– Тащите ко мне в избу!

За ребятишками вылезли из окна Соня и Кречев в распахнутой верхней одежде. Кто-то хотел влезть в избу через окно, но его поймал за полу Ванятка и стащил, матерясь:

– Ты чего, поджариться захотел?

Пожар охватил не только двор, но и перекинулся на крышу дома. Солома горела весело и почти бездымно.

Стояло тихое морозное утро. На светлеющем синем небе густо роились, как светлячки, быстро гаснущие искры. Мужики с длинными баграми, необыкновенно черные на фоне яростного пламени, уже растаскивали горящие бревна с дворовых стен. Пожарной бочки с насосом все еще не было. Да и где взять воды? До ближнего колодца никакая кишка не достанет. Зато много было снегу. Люди брали его лопатами и кидали в огонь. На соседние крыши, к счастью, покрытые снегом, успели забраться мужики и тоже с баграми и лопатами стояли наготове.

Соня, взяв за рукав Кречева, отвела его в сторону и робко спросила:

– Паша, может, теперь ты не оставишь меня?..

– Да иди ты к... – злобно выругался Кречев, поднял воротник и пошел прочь.

Пожар удалось погасить. Растащили да раскатали по бревнышку всю постройку. И к рассвету на месте бывшей избы дымились обугленные головешки да, грозясь в небо высокой черной трубой, стояла одинокая печь, на шестке которой каким-то

чудом уцелели чугуны и заслонка. Соседи отделались легким испугом – крикливые и суматошные во время пожара, теперь они ходили от одной группы до другой и весело сообщали:

– Ай да мы! Ай да работнички! Как мы ее раскатали...

– А что ж вы хотите? На миру старались.

– Обчество, одним словом.

– А Степка мой... Вот дурень! Залез на печь, и ни в какую. Я ему говорю – слезай! Сторишь, дурак... А он – пошли вы к эдакой матери, – радостно докладывал всем Кукурай. – Мы его впятером... Пять мужиков ташшили с печки. Так и не стронули с места.

– Дык он, эта, Кукурай... Ты, чай, не заметил. Он хреном в потолок уперся, – сказал Биняк, и все захохотали, зашлись до посинения.

А Чухонин еще добавил:

– В другой раз упрется – пилу прихвати и подпиливай...

От Степки-дурака перекинулись на Кречева.

– Эй, мужики! А ведь изба-то от трения возгорелась. Пашка Кречев с Соней искры высекали.

– Гы-гы-к!

– Поглядите, там на погори – секира его не валяется?

– Поди, обуглила-ась.

– Дураки! Она у него кремневая!

– Да нет... Это у нее лахманка загорелась...

– Вот дык поддал жару...

– Ах-гах-гах!..

– Хи-хи-ху-ху! Хи-хи-ху-ху...

– Соню попытайте, Соню. У нее, поди, зарубки остались.

– Тьфу, срамники окаянные! У человека горе, а они как жеребцы ржут.

– А где она? Уж не сгорела ли?

– Говорят, у Ивана Евсева.

– Там одни девочки. А Сони нетути.

Соня ушла... В разгар пожарной суматохи, когда все бегали и кричали, забрасывали снегом горящие бревна, она отошла в сторону и долго, тупо смотрела, как обнажались в яростном белом пламени из-под летучей красной соломы черные стропильные ноги и как они вспыхивали, потом со всех сторон сразу опоясывались проворными потоками змеистого огня и проваливались вниз, легко изгибаясь, как обтаявшие свечи; как наливалась изба внутри сперва черным дымом, оседавшим книзу, потом он клокотал и белел, словно кто-то сильно перемешивал его, взбивал невидимым огромным ковшом, и наконец засветился красными вспышками и потек – заструился кверху широкими рукавами в разбитые окна. Потом как-то разом упали остатки крыши, потолок не выдержал, ухнул вниз, вздымая в небо огромный шар суматошных и быстро гаснущих светлячков. Ее никто не примечал, никто ни о чем не спрашивал, не подходил, будто изба эта не имела к ней никакого отношения. Она вышла на дорогу и ушла в Сергачево к матери.

Братья Бородины успели на пожар к шапочному разбору – жили далеко и не сразу сообразили, что горит и где; узнав от Ванятки, как вытаскивали из окна Соню вместе с Кречевым, только отплевывались да матерились. Девочек разобрали по себе, а ее даже искать не стали.

Целый день гуляла по Тиханову развеселая молва про жаркую любовь председателя, от которой дом загорелся. А после обеда председатель РИКа Возвышаев зашел к секретарю райкома Пospelову.

– Придется отстранять председателя Тихановского сельсовета, – сказал Возвышаев.

– Почему?

– Застали по пожару в чужой постели.

– А где взять нового?

– Назначим из двадцатипяти тысячников.

– Нам присылает Рязань всего десять человек. А мы создаем пятьдесят шесть колхозов. Эти председатели позарез нужны. Надо ковать их, и притом срочно, а ты готовых хочешь разбазарить.

– Я ж говорю – в чужой постели его застукали...

– Ну и что? Подумаешь... Мужик холостой. Ну просчитался. Ничего особенного. Злее будет. Пусть искупит свою вину на сплошной коллективизации, – решил Пospelов.

А вечером у себя дома пришедшему в гости Озимову жаловался:

– Слушай, этот Возвышаев с ума сходит – каждый день бегает ко мне с новыми проектами – кого снять, кого посадить. Сегодня требовал снять председателя сельсовета Кречева. А в чем дело, спрашиваю. У бабы, говорит, застукали. Эх ты, монах в синих штанах, думаю. То-то и беда, что тебя даже бабы стороной обходят. Потом, говорит, давай арестуем всю бригаду строителей, которые в фойе Сталину глаз прикнутили. Зачем же всю бригаду? Арестуйте обойщиков – виноватых, говорю. Кстати, откуда эти обойщики?

– Из Гордеева.

– Взяли их?

– Ашихмин вызвал гепеушника из Пугасова и двух стрелков из железнодорожной охраны. Они их и возьмут. Нам такое дело не довернется.

– Тоже подкинули нам работенку... Вот мерзавцы. Это ж надо – прямо в глаз угодили. Весь клуб, говорит, потешался. Дураки. Чему веселятся...

– Это они всенародную любовь выражают, – мрачно сострил Озимов.

– Ашихмин предложил осудить как выходку классового врага. По селам собрания провести. Я согласился. Кабы в газету не прописали. А то и нам по шее надают.

– Не бойся. Эти шелкоперы не дураки. В газетах – курс на всенародную любовь к вождю мирового пролетариата. А ежели какой дурак и сунется с заметкой насчет проколотого глаза, так ему самому глаз вырвут. – Озимов был явно не в духе, тяжело вздыхал, задумывался, терял нить разговора.

Он получил под Новый год письмо от родственников из Пронского района. Писали, что дяде Ермолаю принесли твердое задание. Тот отказался платить, и его посадили. Просили заступиться. А что он может? И кто его послушает?

Они сидели на кожаном диване в просторном и светлом зале квартиры Пospelова. На подоконниках цвели «сережки» да герань, в кадках по углам стояли высокие фикусы, на полу лежали цветные дорожки, на стенах – коврики, репродукции картин, портреты вождей... От печи в цветных изразцах плыли мягкие теплые волны... От всего веяло покоем и уютом. Их жены гремели на кухне тарелками да ножами, изредка появляясь в зале с грибками, с мочеными яблоками или с копченой колбасой – ставили все это добро на обширный стол и снова исчезали за цветной занавеской.

«Умеет устраиваться этот тихоня, – думал про себя Озимов, испытывая раздражение от этих занавесочек да ковриков, от всей этой хитроумной, хорошо продуманной ворчливости самого хозяина. – Этот не возмутится, не грохнет кулаком по столу – скорее, уползет, как уж, если почует опасность. Он и теперь одним только озабочен – как бы ему самому по шее не перепало от этих сумбурных выходов своих подручных да всегда неожиданных вывертов мужиков, отписанных на его попечение. Чиновник, мать твою перемать», – хотелось заматериться вслух, но Озимое сдерживал себя и хмурился, плохо слушая собеседника.

Сами они с женой жили в казенной квартире при школе. Жена его, Маргарита Васильевна, была и учительницей, и директором школы, целыми днями пропадала в классах, – дома было холодно, неприбрано, на столах и на диване валялись ученические тетради, классные журналы, глобусы с поломанными подставками, карты и всяческие наглядные пособия, вроде скелетов ящериц и лягушек. Озимое свыкся с этим беспорядком, не замечал его. По вечерам, приходя домой, снимал со стены гитару, настраивался то на грустный, то на веселый лад, и пели с Маргошей на два голоса романсы «Я встретил вас, и все былое...», «Утро туманное, утро седое...». А то уходили в канцелярию и там вместе с ребяташками сколачивали струнный оркестр. «Выйду ль я на реченьку, выйду ль я на быстрюю...»

Наконец вошли обе хозяйки вместе и доложили весело:

– Стол накрыт, кушать подано. Пожалуйста, господа мужчины!

– Вы эти старорежимные выходы бросьте, – сказал Пospelов, вставая. – Не забывайте – мы и дома коммунисты.

– Ты, Мелех, и оделся-то как на парад, – сказал Озимов. – Уж подлинный коммунист.

– Все-таки сегодня Новый год. Именно Новый! А не святки и не Рождество... – На Пospelове был стального цвета коверкотовый френч с накладными карманами и темно-синие диагональные брюки. На ногах мягкие белые бурки в коричневом шевровом обрамлении.

И жена его, Римма Львовна, жгучая брюнетка с крупными, сочно покрашенными губами, была в темно-синем праздничном кимоно из набивного шанхайского шелка и в белых фетровых ботиках на высоких каблуках.

Озимов и в этом плане выглядел каким-то обойденным: на нем была обыкновенного сукна черная милицейская гимнастерка, а Маргоша надела серую шерстяную кофту да простые черные валенки. Но даже в этом обыкновенном одеянии ее могучего сложения фигура, ее строгое большое лицо с пышно взбитыми русыми волосами, в пенсне, ее белые красивые руки – все выдавало в ней породу той категории русских женщин, которые, сами того не замечая, присутствием своим создают атмосферу взаимного почтения и предупредительности.

Мужчины пили водку, дамы – крымский портвейн. Разговор шел о политике, о последнем выступлении Сталина на совещании аграрников, о сплошной коллективизации. Ловко поддевая вилкой то солёный грибок, то коляску копченой колбасы, Пospelов говорил, похрустывая и причмокивая губами:

– Теперь все ясно и понятно. Товарищ Сталин поставил точки над «i». Одним – прямой путь в колхозы, других – за борт, как чуждые элементы.

– Это общие слова. Сталин такое не говорил. Я спрашиваю: кто имеет право распределять, кого туда, а кого сюда?

– Нам пришла инструкция от Штродаха насчет проведения коллективизации. Там

так и написано – провести раскулачивание перед сплошной коллективизацией. Сигнал будет дан в свое время. И чтоб ни один кулак в колхоз не просочился.

– А как же насчет заявлений на Пятнадцатом съезде? – наваливаясь грудью на стол, спросил Озимов. – Помнишь, что Калинин сказал? «Наступление состоит не в том, чтобы насильственно экспроприировать кулака». Мол, такими методами военного коммунизма двигаться вперед нельзя. Ты помнишь эти слова Калинина?

– Помню. Но Калинин руководящих лозунгов не кидает. Должность не та.

– А Сталин что тогда говорил? Не правы, мол, те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаками административно, через ГПУ. Сказал, приложил печать, и точка... Это, мол, нарушение революционной законности. Мы на это не пойдем. Помнишь? А теперь он что говорит? «Можно ли раскулачивать в районах сплошной коллективизации?» И сам же отвечает: смешной вопрос. Очень смешно. Кабы нам не напустить полные штаны смеха.

– Федор! Подбирай выражения, – одернула его Маргарита Васильевна. – Ты не уважаешь хозяйку.

– Извините, пожалуйста, – буркнул он, взглянув на Римму Львовну. – Я потому горячусь, что не могу уяснить. – Он хлопнул себя по лбу ладонью. – Тут вот у меня не помещается – как можно одному и тому же человеку говорить такие взаимоисключающие слова?

– Ты не политик, Федор... Как был ты военным, так и остался, – со вздохом огорчения сказал Пospelов. – Если мы говорим – все течет, все изменяется, то это касается в первую голову политики. Сталин же в своей речи объясняет это изменение позиции. А ну-ка, где у нас газета? – Он потянулся к книжной полке, снял сложенную «Правду», надел очки и быстро заскользил глазами по газетным столбцам. – Ага, вот оно! «До двадцать девятого года хлеба больше давал кулак, а теперь колхозы и совхозы дают больше хлеба. Т.е. у нас теперь есть материальная база, чтобы заменить кулацкое производство колхозным и совхозным. Вот почему мы перешли от политики ограничения к политике ликвидации кулачества как класса». Тут яснее ясного.

– Да мать твою... – Озимов хлопнул ладонью по столу и сам испугался, глянув на побледневшую Римму Львовну. – Извините, ради бога, Римма Львовна! Виноват, Маргоша! Больше не буду. – Опрокинул стопку водки в рот, выдохнул и, не закусывая, сказал, покачивая головой: – Эх, Мелех! Разве ж это политика? Вчера ты давал хлеб, кормил нас – мы тебя щадили. А сегодня нам дядя Вавил больше посулил, так мы тебя за горло. Это не политика, а душегубство.

– В теории есть такое понятие – историческая целесообразность, или классовая обреченность. Пойми ты, друг мой. Не в том дело, что я питаю к какому-нибудь кулаку Тимофееву и к его семейству личную ненависть. Ничего подобного! Может быть, я даже уважаю этого Тимофеева. Но семейство Тимофеевых принадлежит к чуждому нашему обществу классу кулачества. Следовательно, вместе со своим классом обречено и это семейство. И жалость моя тут просто неуместна. Лес рубят – щепки летят. Мы расчищаем эту жизнь для новых, более современных форм. И оперируем целыми классами. Личности тут не в счет.

– Да кто же тот бог, который бросает людские головы, как щепки за борт, в канаву? Кто имеет право исключать из дела, из общества того же Тимофеева? Кто клеймо на него ставил?

– А у нас созданы специальные группы бедноты, актива, партячек. Не боги, а народ.



– Так было ж это все, было! В девятнадцатом да в двадцатом годах было. Не народ там сидел, а сопатые зас... – Он осекся, скрипнул зубами и спокойно сказал: – Шибздики там сидели. Головотяпы! Вот они и бузовали за коммунию сплошную, за продотряды, за раскулачивание. И до чего же дошли? До поголовного голода. Так ведь осудили же это! И опять за то же. Сплошная коллективизация!.. Раскулачивание!.. Трудовые отряды!! Так это же чистой воды троцкизм. Его перманентная революция. И опять она приведет нас к тому же – к голоду! А еще на съезде говорили – нас толкают к троцкизму, но мы туда не пойдём. Не то что не пошли, а поехали. Мы ж загоняем в колхозы, как в трудармию... Все темпы даем...

– А по-моему, ты паникуешь... Опять вспомнил узкие места Бухарина. Он же сам клялся в статье об инженерстве: я, говорит, напрасно сомневался насчет темпов коллективизации.

– Да он баба... Связался, говорят, с какой-то девчонкой... Да ну их всех к богу в рай. Давай выпьем!

Поспелов налил водки и сказал, вздыхая:

– Ты никак не хочешь понять простой истины: мы подошли к рубежу для решительного рывка – либо мы догоним за десять лет наших индустриально развитых врагов, либо они сомнут нас. А для такого рывка нужна концентрация всех сил, сплочение их в единый кулак. Нельзя совершать индустриальную революцию, оставляя раздробленным сельское хозяйство. Нельзя достигнуть высокой степени планирования и управления такой стихией мелких собственников. Вот для чего мы идем на сплошную коллективизацию. Это будет поистине революционный акт – в наших руках будут мощные рычаги управления крупными хозяйствами. Понял ты это?

– С чего ты взял, что мы таким макаром добьемся успеха? Ты позабыл, до какого развала докатились эти крупные хозяйства, созданные на «ура» в годы военного коммунизма? Резервный миллиард съели? Отвечай! – побагровел Озимов.

– Ну, съели... Чего ты орешь?

– А результат? Забыл про голод? Забыл главный вывод Ленина? Никаких иждивенцев! Смогут коммуны или артели сами себя кормить – пусть живут. Нет?! На нет и суда нет. Захребетников нам не надо. Фальшивые хозяйства развалились давным-давно. Настоящие, трудовые, живут и поныне. Сами кормятся и другим хлеб дают. Кто хочет объединяться – пожалуйста! Но по-деловому, чтобы работать, а не мясо жрать из общего котла. Какая польза будет от такого объединения, куда всех толкают силой? С какой целью это делается? Чтобы руководить удобнее было или командовать?

– Да пойми ты, нельзя дальше мириться с двумя формами собственности: государственной и частно-кооперативной. Международная обстановка требует консолидации внутри нашего общества. Ну что будет лет через десять или двадцать из этих кооперативных объединений? Акционерные общества? Или что-то в этом роде. Кому они на руку? Уж, по крайней мере, не нам, коммунистам, а хозяйчикам. И чем раньше мы ликвидируем эти остатки капиталистических форм производства, тем ближе будем к социализму.

– Вот ты и выговорился! Это же прямое отрицание ленинской кооперации. Ты позабыл его указание из брошюры о продналоге? Да нет, вы ничего не позабыли. Этого забыть невозможно. Вы просто плюете теперь на ленинские установки.

– Что значит «вы»? И какие установки? – Поспелов снял очки и сощурился. – Говори яснее.

– Скажу яснее ясного, словами самого Ленина. – Озимов стал врасстяжку произносить слова, словно читал по писаному: «Поскольку продналог означает свободу продажи... излишков, постольку нам необходимо приложить усилия, чтобы это развитие капитализма – ибо... свобода торговли есть развитие капитализма – направить в русло кооперативного капитализма». Это все слова Ленина. Он же не требовал вместо развития этого «кооперативного капитализма» создать коммуны да колхозы, и дело с концом. Ты согласен? Или, может, проверить?

– Согласен, ну?

– Вот тебе и ну. На эти самые слова вы, леваки, и наплевали. Потому и упраздняете кооперацию как одну из форм капиталистического товарооборота. А Ленин говорил, что кооперация выгодна еще и потому, что она облегчает объединение всего населения поголовно, а это есть гигантский плюс с точки зрения перехода от государственного капитализма к социализму.

– Вот и наступил этот момент перехода к социализму. Будут коммуны и колхозы, все остальное побоку.

– Враз наступил? Приехали. По решению съезда – постепенная коллективизация, добровольная, на две пятилетки минимум. По пятилетнему плану – тоже. Теперь – все побоку? А где же лозунг, что нэп вводится всерьез и надолго? Еще в сентябре во всех газетах печатали его, а в ноябре сняли. Значит, в один месяц дозрели? Запретили продавать излишки. Базары отменили. И точка. А дальше – объявить высшую фазу, сразу в коммуны и в колхозы. Ввести простой продуктообмен. Ведь к этому дело идет. Ну, ладно, я еще могу понять, что Возвышаев и Чубуков верят: отмени, мол, торговлю, вместо торговли введи распределение по карточкам, по трудодням, по списку – и сразу наступит рай. Они и Ленина не читали, а если читали, так ничего не поняли, потому как дремучи, оттого и верят сказкам, что попроще. Но ты же образованный человек. Ты-то знаешь, что еще Маркс высмеял эту прудоновскую чепуху насчет банка с трудовыми эквивалентами. Ты забыл, как Ленин заканчивает статью о продналоге? Что мы должны использовать капитализм, и особенно кооперацию, как звено между мелким производством и социализмом, как средство, путь, способ повышения производительных сил. Или что? Уже повысили, теперь понижать надо?

– Я абсолютно убежден, что сплошная коллективизация не понизит, а повысит уровень развития производительных сил. Консолидация средств производства в одних руках, в государственных, можно сказать, великое преимущество по сравнению с простым кооперированием мелких собственников. Как ты ни крути, а здесь мы имеем дело с более высокой фазой социалистического производства. Вон, весь Ирбитский район вошел в один колхоз. Читаешь небось газеты? Сто тридцать пять тысяч гектаров земли в одном колхозе! Вот она, настоящая фабрика зерна. Это не выдумка, не мечта, а реальность. И через каких-нибудь полгода будут тысячи таких зерновых фабрик. Они-то и заменят миллионы мелких собственников.

– Говорят, там уже жрать нечего.

– Это – злостные слухи, наветы правых.

– То ты левых ругал, теперь правых... Эх, Мелентий! Лукавишь ты, плывешь по воле волн. Послушаешь вас, теперешних прогрессистов, которым не терпится поскорее перескочить в высшую фазу, и диву даешься: что вас, блохи, что ли, заели, что вам с разбегу хочется сигануть куда повыше? Ведь недавно же, совсем недавно принимали мы новый курс «лицом к деревне», кооперацию вводили, нэп – всерьез и надолго. В статье о кооперации у Ленина что сказано? Главное – мы теперь нашли ту

степень соединения частного интереса с общим интересом, которая раньше составляла камень преткновения для многих социалистов. Потому что на кооперацию у нас смотрели пренебрежительно, говорит Ленин, и в этом была главная ошибка. Одно дело фантазировать о построении социализма, другое дело строить этот социализм так, чтобы каждый мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении. И это дает кооперация. Я ведь тебе Америку не открываю. Это все слова Ленина. И ты знаешь, что они не впустую были сказаны. Это кооперация укрепила нам валюту и сельское хозяйство. Помнишь из доклада Сталина? Девятнадцать с половиной процентов был прирост продукции только за двадцать шестой год. В двадцать седьмом году достигли уровня довоенного производства тринадцатого года. Вот что такое кооперация для сельского хозяйства. И теперь ее побоку?

– Она дает очень слабую степень взаимосвязи. Крестьяне фактически предоставлены сами себе.

– Врешь! У нас кооперировано более тридцати процентов крестьян. Это же на Пятнадцатом съезде сказано. Кооперация охватывает более половины всего снабжения и сбыта. Никакие другие премудрости, говорит Ленин, нам не нужны, чтобы перейти к социализму. Теперь нашим правилом должно быть: как можно меньше мудрствования и выкрутас. Это все его слова. Неужто ты позабыл про них? Помнишь ты и знаешь его статью о кооперации не хуже меня. Там все яснее ясного – надо строить социализм в деревне при помощи кооперации, иными словами – при помощи заинтересованного участия в получении прибыли каждого производителя. Ведь в том главное преимущество нэпа, говорит Ленин, что он приравнивается к уровню самого обыкновенного крестьянина, что он не требует от него ничего высшего. Но чтобы достигнуть через нэп участия в кооперации поголовно всего населения, потребуется целая историческая эпоха. Это слова Ленина. Давай проверим! Вон, сними с полки томик, – указал Озимов на книжную полку.

– Я не сомневаюсь, – поспешно остановил его жестом Пospelов.

– Ах, не сомневаешься? Так что ж, проскочили мы эпоху всего за пять лет? А теперь давай собирай этих мужиков в новые фаланстеры?

– Ты не утрируй.

– Чего там утрировать! Сгонять до кучи со всего района всех мужиков – дело нехитрое. Но для чего? В поход идти или работать? Объяви ты их хоть фабрикой, хоть колхозом, но если они сошлись по команде сверху, то это не работники, а едоки. Это уже было! Это отрыжка, или разновидность военного коммунизма: опять классовая борьба, борьба за власть... Бюрократия любит такую взвинченность – легче командовать. А что Ленин сказал? Простой рост кооперации обусловит и рост социализма, и более того – изменит нашу точку зрения на социализм. И он же опять напоминал нам, что если раньше главный упор делался на политическую борьбу, то теперь он переносится на мирную культурную работу. То есть надо создавать материальную основу, обеспечить себя от неурожая, от голода и так далее. Богатство надо создавать! А это значит, через кооперацию надо приобщать в дело каждого рабочего или крестьянина, где он будет пайщиком в деле, то есть заинтересованным в прибылях своего кооператива. Выше прибыль – и заработок выше. А мы чего хотим? Долой продналог, да здравствует продрозверстка! Приехали?

– Да, колхозом и коммуной в той форме, в которой они намечаются, управлять будет проще, – сказал Пospelов. – Ты позабыл историю с колхозом «Муравей»? Ведь они не хотели сдавать хлебные излишки, а везли их на базар.

– Зато у них урожай был высокий. Они работали хорошо. И решили подкупить еще инвентарь и лошадей. С государством расплатились сполна. Они же хозяева! Так пусть сами и распоряжаются излишками. Зачем же отбирать их?

– Вот это и есть отрыжка капитализма, торгашества.

– А то, чем занимаемся мы, называется бюрократическим головотяпством.

– Ты все же подбирай слова... Я, по-твоему, головотяп?

– Ты не обижайся, как девица красная. Я про дело говорю. Ленин требовал создания кооперации в общегосударственном масштабе. И называл это целой эпохой. А это значит – пора покончить с административным командованием. Главной задачей Ленин ставил, чтобы перейти ко всеобщей кооперации, полной перестройке нашего аппарата, который никуда не годится и перенят нами от прежней эпохи. Вторая задача – культурная работа для крестьянства или экономическая цель, которая преследует создание именно кооперации, и больше ничего. И при кооперации были и колхозы, и коммуны, и ТОЗы – но все они были самостоятельными. Сами распоряжались своим делом через торговлю и продналог. Вот эту торговлю и продналог вы и хотите упразднить, ввести продразверстку, а там командовать, как при военном коммунизме. Вот в чем смысл всей затеи.

– Передовые идеи нашего времени требуют большей централизации и, прости за откровенность, ликвидации элементов капитализма.

– Я чувствую, кому ты подъялываешь, нападая на так называемые остатки форм капиталистического производства, то есть кооперацию. Вернулась мода третировать кооперацию, как в двадцатом году; она, мол, с капитализмом нас мирит. А мы не хотим. Мы-де передовее Ленина. Эти леваки всегда были «передовее» Ленина, по их собственной самоуверенности, только с голым задом оставались. А теперь и ты туда попер. Так хоть не ломай комедию! Видите ли, теория у них теперь передовая. Знаем мы эту теорию – по продразверстке соскучились. Испугались перестройки аппарата; боитесь, как бы вас не заставили работать, а вы привыкли командовать.

– В таком тоне я спорить не буду, – обиделся Пospelов.

– Не хочешь – не надо. Тогда давай пить!

Озимое пил водку не глотая, – в широко раскрытый зев опрокидывал стопку и коротко выдыхал. Его крутая шея и бритая голова наливались кровью, он заметно хмелел и становился все мрачнее.

– Я ведь чего тебе про эту продразверстку гудел... Меня ж после ранения списали в продотряд в двадцатом году. У-ух, нагледелся я на мужицкие слезы и наслушался бабьих воплей. Пришел в губком – переведите, говорю, в милицию. Не могу я с бабами воевать. Лучше за преступником гоняться стану. Уважили... Вроде бы душой отошел с той поры. И вот тебе – опять заставляют мужиков трясти.

– Будь философом, Федор. Смотри на жизнь проще. История не стоит на месте. У нее бывают приливы и отливы. Один период сменяется другим. Какой бы ни был бурный водоворот, пройдет. Все успокоится и станет на свои места.

– Эх, Мелех! Тебе что поп, что попадья... Лишь бы служба шла. Ты из чиновников. Ваш брат иной закваски. В минуту жизни трудную ты увильнешь. А мне хана. Я мужик. Нас судьба не милует, а бьет по лбу.

В самый сочельник Андрея Ивановича Бородину позвали в сельсовет.

– Сказали, чтоб немедленно притить, – докладывал от порога рассыльный Колепа, щуплый подросток в подшитых растоптанных валенках и в полушубке с отцовского

плеча.

– А что там стряслось? – спросила Мария Васильевна.

– Говорят, собранию готовят, – ответил Колепа.

Андрей Иванович ушел прямо со двора – скотину убирал, – толком даже не переодевшись.

Возле сельсовета его встретил Федорок Селютан.

– И ты заседать? – спросил мрачно, нагнув голову. Того и гляди, лбом сшибет. – Заодно с этими обдиралами, в бога мать!..

– Не тронь богородицу, атаман. Ноне все-таки сочельник. Кто тебе не угодил? Что там за сборище? – кивнул на сельсовет.

– Зенин с Кречевым... сороки, Ротастенький, Левка Головастый – вся голова сопатая. Эх, волю бы мне! Я их, мать перемать... И ты прешь туда? Ну, Андрей, мотри! – Федорок скрипнул зубами и хватил кулаком по колену.

– Да что ты злобишься? Пошто собрались, спрашиваю?

– Щи варить да блох на м... давить! Чего спрашиваешь? Сам не знаешь?!

– Не знаю! – заорал Бородин. – Прилип как банный лист к известному месту. Отчепись!

Но Федорок ухватил его за отворот полушубка, пригнул к себе и совсем по-другому, морщина лоб, как от головной боли, кривя и кусая губы, словно боялся расплакаться, хрипло выдавил:

– Андре-ей! Они, это самое... Иудину команду сколачивают – своих мужиков громить. Кула-ачить!

– Откуда ты знаешь? И тебя за этим вызывали?

– Меня-то? Меня, как апостола Петра, заставляют отречься.

– От кого? Среди нас вроде бы Христа нету.

– Да ты что, с неба свалился? – Федорок оглянулся – нет ли кого. – Зятя моего забрали... Из Гордеева. Говорят – он Сталина портрет подпортил. А тот ни ухом, ни рылом. Знать, говорит, не знаю, не ведаю. А эти, – Федорок кулаком погрозил в сторону сельсовета, – требуют, чтоб я осудил его на собрании. Выступил, значит. Вроде бы отрекся от него. Приперли меня... За грудки хватают. А я вроде бы онемел. Мычу, словно язык проглотил. Иди, говорят. До вечера тебе срок даем. Очнись. И заяви членораздельно, иначе – пеняй на себя. Вот я и собрался к тебе сходить, посоветоваться. Ан ты сам туда топаешь.

– погоди меня! Я скоро обернусь. – Бородин легким поскачком, как тренированный конь, взлетел на высокое крыльцо и скрылся за дверью.

В сельсовете за обширным Левкиным столом, залитым чернилами и по краям заваленным газетами да брошюрами, сидел Сенечка Зенин и что-то писал. Кречев примостился сбоку, тянул шею к нему, как гусь, заглядывал в исписанный листок. Остальные активисты разместились вдоль стен по лавкам. Накурено было так, что сизый дым заволакивал дневной свет и над подоконником стелился слоями, как подвешенная кисея.

Бородина встретили так, словно на допрос вызвали: Зенин, отложив ручку, строго смотрел на него, подслеповато щурясь, задрав нос; сороки, Якуша, Левка – вся публика притихла и глядела на него так же строго, с вызовом, и только один Кречев сутулился, курил, пряча глаза.

– Товарищ Бородин, вы, как председатель комсода, за последнее время увильваете от своих общественных обязанностей, – говорил Зенин прокурорским

тоном. – Вам известно, что в связи с объявлением сплошной коллективизации мы имеем право привлечь вас к ответственности как союзника чуждых элементов?

– Это от чего же я увиливал и в чем союзничал с элементами? – спросил Бородин, нарочно глядя на Кречева, будто спрашивал его сам председатель, а не этот самозванец. Но Кречев по-прежнему глядел себе под ноги и курил.

Сенечка стал горячиться, повышать голос:

– Не прикидывайтесь невинной овечкой! Вы пришли в Совет, главный орган власти на селе. И давайте не разыгрывать тут сцены из детской игры – я, мол, вас не знаю и слов не понимаю.

– Вот пусть эта власть и спрашивает меня. А вам отвечать не стану.

– Я – секретарь партячейки!

– Вот и ступай туда и пытай своих партийцев, а я – беспартийный.

– Ну чего ты выдрючиваешься? – поднял голову Кречев. – Тебе ж русским языком говорят – увиливать теперь нельзя. Сам знаешь – какое теперь время.

– Дак от чего я увиливаю?

– Он еще спрашивает! – Сенечка усмехнулся и покачал головой. – Пленум по выявлению кулаков на предмет обложения индивидуалкой сорвал? Сорвал. Кто помог помещику Скобликову смотаться, уйти от расплаты? Не вы ли, товарищ Бородин? Кто увильнул от конфискации имущества кулака Ключева?

– А ежели он не кулак? – азартно, распаляя себя, спрашивал Бородин. – Тогда как?

– У нас есть пленум Совета, группа бедноты, партячейка, наконец. Если все они проголосовали, определили, что хозяйство данного лица является кулацким... То какой после этого может быть разговор? – накалялся и Зенин.

– Если вы сами судите, не спросясь мира, то сами и приводите в исполнение свои постановления. Я вам не исполнитель.

– То есть как? Вы хотите сказать, что отказываетесь выполнять постановление Совета? – Сенечка аж привстал над столом.

– Кто кулак, а кто дурак – определяет сход, а не группа бедноты. – Бородин покосился на Тараканиху да на Якушу Ротастенького.

– Было да сплыло такое правило, хватит резвиться кулакам и подкулачникам. Теперь мы хозяева! Беднота и актив! – крикнул Якуша со скамьи.

– Вот вы сами и ходите, кулачьте. А нас за собой таскать нечего. У каждого своя голова на плечах.

– Так, ясно. Разговор на эту тему дальше вести бесполезно! – сказал Зенин, и Кречеву: – Павел Митрофанович, поставьте перед ним конкретное задание и предупредите насчет ответственности...

– Андрей Иванович, мы тебя позвали, чтобы включить в список по раскулачиванию. Как представителя середнячества, председателя комсода то есть, – сказал Кречев.

– Напрасно звали. Кулачить я не пойду.

– Я тебя лично прошу подумать хорошенько, прежде чем отказываться.

– Спасибо! Твои личные просьбы вон на пОгори дымом обернулись.

Кречев налился кровью и расстегнул ворот гимнастерки, словно ему душно стало.

– Ладно... Тебе этот отказ боком выйдет.

– Ну чего ты уперся как бык? – сказала Тараканиха. – Не ты первый, не ты последний. Кабы без тебя не пошли кулачить – тогда другое бы дело. А то ведь все

равно пойдут и без тебя.

– Вот и ступайте...

– Андрей Иваныч! Ты, поди, думаешь, что мы своих пойдём кулачить? – пропищал Левка Головастый. – Нету! Нас в другие села пошлют, а тех – к нам.

– Никуда я не пойду, – уперся Бородин.

– Ладно. Так и запишем, – сказал Зенин. – Но имейте в виду, чикаться с вами больше не будем. Привлечем к ответственности за отказ от содействия властям и посадим.

– Всех не пересажаете!

И – ни здоров, ни прощай – повернулся и ушел, будто и не люди сидели здесь, а так, какие-то шишиги.

Селютан ждал его на улице, подался к нему от палисадничка, возле которого стоял, прислонясь спиной к дощатой изгороди, – заглядывал в лицо, отгадать хотел – как он? что? Принял это сатанинское приглашение или отказался?

– Ну чего ты на меня посматриваешь, как нищий на попа: подаст или нет? – бросил раздраженно Бородин, отходя подальше от сельсовета.

Федорок, тяжело и часто шмыгая валенками, поспевая за Бородиным, довольно изрек:

– Вижу, что отказался. Молодец, Андрей, еш твою корень!

– Посадить грозились... А я им – всех не пересажаете...

– Имянно, имянно! Эх, знаешь, что? – Федорок поймал его за рукав: – Давай выпьем!

– Ты что, сбрендил? Ноне сочельник. Я зарок дал – до звезды ни есть, ни пить. И так уж опоганились совсем. Надо и о боге вспомнить.

– Тады сходим в поле, зайчишек погоняем. Вернемся по-темному – и не заметим, как день пролетит и запрет на еду отпадет.

– Не могу, Федор. Братья ко мне придут. У меня тут свой совет. Так что не могу...

– Эх, дуй тебя горой!.. – с досадой и тоской в голосе выругался Федорок. – Чего ж мне делать? Куда деваться? Посоветуй хоть, как мне с зятем-то? Что им ответить?

– Да пошли ты их к...

– Да, да. Ты прав. Пошлю я их подальше. А посадят – ну так что ж? Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Эх!.. – И опять длинно, заковыристо выругался.

Пришел домой мрачный и решительный, с порога позвал кобеля. Тот явился одним духом – из защитки вынырнул и, отряхивая с шерсти соломенную труху, весело и преданно уставился на хозяина: «Ну, чего будем делать?» – спрашивал и скалил пасть, улыбался.

– Счас в поле пойдём, зайцев гонять. Сиди тут и жди, – строго наказал ему Федорок.

Собака моментально уселась на ступеньку и визгливо от нетерпения тьякнула.

– Счас, счас, – успокоил ее Федорок и скрылся в сенях.

Дома его ждали: хозяйка с дочерью сидели за кухонным столом, прямо у дверей, и обе встали при появлении Федорка. Авдотья, в грубошерстной черной кофте и в черном платке, горбоносая и длиннолицая, смахивала на монашку перед иконой, того и гляди, закрестится – и рука занесена с троеперстьем; дочь – полногрудая, круглолицая, с потеками от слез на белых ядреных щеках, часто моргала влажными бараньими глазами, готовая в любую секунду пустить новые ручьи слез.

– Ну, чего уставились? Думали – и меня забрали? Вот дурехи, – обругал их

несердито Федорок, проходя в горницу, отгороженную невысокой дощатой перегородкой от передней.

– Дык чего сказали-то? Выпустят его, али как? – спросила сама.

– Ага, выпустят... После дождичка в четверг...

Дочь громко всхлипнула и заголосила тоненьким голоском.

– Отложи на завтра. Не то все слезы израсходуешь, – крикнул ей Федорок из горницы, проходя к дальней стенке, где висело ружье с патронташем.

Собственно, горницы никакой не было – отгороженная половина кирпичного дома смахивала скорее не то на валеную мастерскую, не то на дубильню. В углу, возле грубки, стоял огромный чан с квасцами, от него – во всю стену, до окна, дощатый верстак, на котором Федорок и овчины дубил, и строгал, и паял, и выделывал кожу. На полу валялись обрезки валенок да овчин, стружка. Даже деревянная кровать с высокими спинками была завалена свежевыделанными овчинами красной дубки. Посреди этой большой несуразной комнаты стоял дубовый толстоногий стол, ничем не покрытый, вокруг него табуретки, а еще скамьи вдоль стен. Вот и все убранство горницы. За этим столом было выпито столько водки, что она не уместилась бы и в чане. Случалось, что скорый на проделки Федорок не раз запускал медную кружку в чан за квасцами.

Однажды напоил своего приятеля, татарина Назырку из Агишева. Так перепились, что квасцы приняли за квас. Что было с Федорком, никто не знает, свалился во дворе и проснулся только наутро в прожженных штанах. А Назырка всем на потеху рассказывал:

– За Тимофеевку выехал – меня и понесло. Сперва столбы телеграфные считал, садился у каждого. За реку переехал – штаны не застегивал, из саней не вылезал – сплошной линией шла, от столба до столба...

Перетянув на животе патронташ, ружье закинув за спину, Федорок вышел на кухню. Тут его опять перехватила Авдотья:

– Дак чего сказали-то? Пошто молчишь? Иль не видишь – дочь заревана.

– Склоняли меня. А куда? Не спрашивай. Не то сама заревешь.

– Ты чего ж? Поддался им, али как?

– Ага! Держи хрен в руку. Я им так и поддамся... – длинное скверное ругательство Федорок завершил только на улице.

– Играй, пошли дармоедов гонять!

Рослый вислоухий кобель запрядал перед ним, заскакал на прямых ногах, выгибая дугой спину и махая хвостом. Они двинулись в конец Нахаловки, в открытое поле.

Стоял тихий морозный день. Солнце светило тускло сквозь кучерявую заметь жиденьких облаков. В голубеньких просветах неба протянулись белесые пряди жидкой кудели, как переметы через дорогу. И дымы над избами тянулись невысоко; какая-то невидимая сила останавливала их, плющила и незаметно растаскивала во все стороны. «Снег пойдет, – думал Федорок. – Это хорошо, заяц теперь жирует перед метельной лежкой».

Он спустился в Волчий овраг и до самых Красных гор шел низом, обследуя каждую тальниковую поросль у застывших и занесенных снегом родничков и бочажин. Снег был неглубокий, с ломким стеклянным настом. Идти было легко, и Федорок в который раз перебирал в уме эту перебранку в сельсовете, когда они обступили его со всех сторон и теребили, как собаки медведя. «Твой зять вредитель... И ты хочешь туда угодить?» «Ты можешь показать свое честное лицо, если осудишь



зловредную выходку шептунов и подкулачников». «Рабочее правосудие покарает двурушников и членовредителей». «У тебя есть только один путь честного примирения с народом – публично порвать связи с подозрительным родственником...»

Говорил больше все Зенин, а эти только подбрехивали ему: не будь, мол, дурнем, выступи на общем собрании, осуди предателей. И ты всем нам – товарищ и брат. «Кобель беспризорный брат вам и товарищ, брехуны сопатые, – ярился теперь Федорок. – Дали б только волю – всех вас в окна вышвырнул бы из Совета. Не позорьте Советскую власть!» И тошно ему было больше всего от собственного бессилия там, в Совете, от запоздалой этой вот ярости, от сознания невыносимой обреченности. Придут завтра так же за ним, как за Клюевым или как вот за его зятем и... Куда ты денешься, Федор Васильевич Сизов?.. И бежать тебе некуда... Ах ты, горе горькое! Доля ты наша мужицкая. Как собака на привязи. Куда ты от своего дома, от скотины своей, от землицы? И где ты нужен, кому? Работник в тебе состарился... И на чужой стороне ты всем чужой.

От горьких мыслей его оторвал Играй – он черным ястребом перелетел через рыжий тальничек и широким махом, пластая гибкое свое пружинистое тело, легко пошел вверх по крутому овражному взъему.

«Эх, мать честная!.. Кажись, на свежий след напал?» – Федорок азартно бросился вверх, на ходу взводя курки своей старенькой тулки. И уныние, и обиды его мгновенно растворились, будто их водой смыло, душа затрепетала, ожила, и сердце застучало горячо и сильно. В один момент, не чуя ни усталости, ни одышки, выбежал он на гору и увидел, как заяц, словно упругий мячик отскакивая от снежных валов, посверкивая ослепительно белым межножьем, летел по полю, вниз по угору, обходя правым охватом Пантюхино, удаляясь туда к темным ольховым зарослям и рыжим разливам камыша на Святом болоте. А за ним, саженьях в ста, поспевая укачливым наметом, терзая и взбадривая душу Селютана отчаянно-звонким, высоким и частым гортанным лаем, уходил, как птица по ветру, его неутомимый Играй.

– О-ле-ле-ле! – загорланил Селютан им вдогонку и сам побежал с юношеской прытью.

«Значит, в ольхи упрет... Туда наострился. Куда ж ему податься?.. – думал на бегу Селютан. – Но шалишь, брат. Дудки! Там тебе не спрятаться. Играй выжмет тебя, ущучит...» И, соображая на бегу, что податься из ольхов зайцу некуда, кроме как в камыши, Селютан стал забирать влево, чтоб вперехват от ольхового леса выбрать себе позицию поудобнее и незаметнее на подходе к Святому болоту.

Хорошо держал гон его Играй, шел плотно за зайцем, и высокий, рыдающий от чудного азарта эдакий переливчатый лай, как серебряный бубенец, катился по широкому полю, удаляясь к ольховому лесу. Вскоре и заяц, и собака скрылись, пропали в темном частоколе далекого и слитного леса.

Селютан обогнул конец Пантюхина и по низу дошел до камышей, выбрал поудобнее бережок и залег в снегу, прикрывшись рыжей щетиной осоки. Отсюда хорошо было слышно, как звенел, то взметывая в радостных всплесках, то угасая, чистый голос Играя, работавшего в далеком лесу. Федорок ждал и надеялся, что от него не спрячется зайчишка, не уйдет, что он пригонит...

И дождался...

Пропетляв по голому ольховому лесу часа полтора и отчаявшись найти в нем надежную крепь, заяц выбежал на луговой простор, порыскал возле редких стогов и, заметив выскочившую из леса собаку, направился к болотным камышам. Шел ходко,

выбрасывая округлую лобастую голову и заваливая к спине чернеющие на кончиках уши.

Селютан лежал за высокими кочками выдвинутого вперед камышового клина и уложил его с первого выстрела.

Уж такой общительной души был Федор Селютан, что и малой добычей любил поделиться с добрым человеком. Куда идти? Назад в Тиханово – далеко. А Тимофеевка рядом, сразу за Святым болотом. Пошел туда, в гости к Костылину.

Ивана Никитича не застал дома. Фрося, как баба-яга, от печи руками замахала:  
– Нету его, нету! И ждать нечего. Ему не до питья.

С трудом расспросил ее Федор, разузнал, что каких-то вредителей у них открыли и всех погнали на собрание или на митинг, чтобы голосовать против этих вредителей. Чтоб никакой пощады. Иван не хотел идти – силой утащили.

Ладно, хрен с вами. Пошел домой. Зашел в эту школу, где митинг проходил. На крыльце народ. Федорок поднялся на крыльцо. Двери раскрыты. Народ и в коридоре, и в классе. Но не густо, а так, вроде бы вразброд. Встал у порога, прислушался. Над столом, накрытым красным лоскутом, стоял председатель Совета. Знакомая личность. Молодой, с неокрепшим голосом, как у осеннего цыпленка-петушка, и кадык, как цыплячье гузно, выпирает. А кричит заполошно и кулаком размахивает:

– Никакой пощады вредителям и хулиганам, поднявшим руку на авторитет вождя мирового пролетариата! Осудим их всенародно, как осудили в свое время известных врагов по Шахтинскому делу... Пусть все наши супротивники, как внутри, так и за границей, содрогнутся от единства нашего гнева...

Федорок не сразу понял, что этот мальчик призывает всех поставить свои подписи под требованием высшей меры социальной защиты – расстрела то есть; призывал расстрелять тех самых, прикнопивших портрет Сталина. Расстрелять зятя его... В одну секунду он вспомнил и то, как его понуждали в Совете, и как, молитвенно складывая пальцы, тянулась к нему Авдотья, как с мольбой и отчаянием глядела дочь на него... Кровь ему ударила в голову, зашумело, зажухало в ушах, в глазах вроде потемнело. Он видел только – над стриженной головой председателя на стене маячил в застекленной раме портрет Сталина; тот с насмешкой глядел куда-то в сторону, а сам вроде бы прислушивался, вроде бы сказать хотел – погоди, уж я до всех до вас доберуся...

Федорок снял ружье, взвел оба курка, поймал на мушку висячую лампу-молнию, жарко пылавшую над головой председателя, а в створе ее портрет и выстрелил дублетом поверх голов. Раздался оглушительный грохот и звон разбитого стекла. И все погрузилось в дымный мрак, запахло порохом и керосином. Наступила мертвая тишина, будто все онемели. Потом раздался высокий надрывный крик Родиона:

– Хули-иган! Заберите его! Заберите!

Но никто и не думал забирать Селютана. Все оставались на местах, как оглушенные, словно кто-то заворожил всех или отнял у них способность говорить и двигаться. Медленно растаял дым, разнося пороховую вонь по классу, сделалось повиднее – медленно вышел Селютан; а люди все сидели на местах, смотрели на пустую раму с изодранной в клочья бумагой, на разбитую, изрешеченную дробью лампу и молчали, будто парализованные не то удивлением, не то ужасом.

Дойти до Тиханова ему не дали. Встретили его на Пантюхинском бугре. В санях ехали. Двое в черных шинелях с наганами на боку, третий в полушубке и тоже с наганом на желтом ремне. Этот, что в полушубке, был вроде бы и знаком Селютану, где-то выступал у них, из ораторов, – черноволосый, с жаркими глазами в черных

провалах подглазий, нос большой, а сам щупленький – соплей перешибить.

– Тпру! Эй, охотник, покажи дорогу на Агишево! Ты вроде бы Федор Васильевич Сизов.

– Ен самый.

Слезли, обступили его.

– А ты зайца убил. Молодец! Ну-к, что у тебя за ружье?

Один, что был в полушубке, потянул с него двустволку, ухватил за цевье.

– Но, но! Не цапай, а то руку потеряешь, – Федорок отшвырнул его, как щенка.

Тот полетел шага на три, растянулся на снегу и руки вразлет.

– Ах ты, мерзавец! Разбойник! Мало того, что в клубе стреляешь. Да еще драться. Взять его!

Оба в шинелях бросились на Селютана, как по команде, схватили за руки. Федорок засопел, пригнулся, подставляя им спину, и окорячился, чтоб наземь не повалили. Они заводили, заламывали руки за спину, да силенок не хватало.

– Врешь, не возьмешь! – сипел от натуги Федорок, пытаясь стряхнуть с себя супротивников.

Вдруг один из них как заорет:

– Ай-я-яй! Собаку стащите, собаку... У, сволочь!

Играй вцепился ему сзади в ляжку и, рыча и мотая головой, старался вырвать клоч штанины вместе с мясом.

– Ай-я-яй! – орал тот полоумно, растопырив руки. – Стреляй его, стреляй же!

Большеносый в полушубке успел выхватить наган и выстрелил в собаку. Играй взвизгнул, отскочил в сторону и завертелся на месте, пряча под себя голову, из которой хлестала кровь.

– Что ж ты делаешь, гад! Играй, собачка моя... – Федорок потянулся руками к собаке, опускаясь на колени. В этот момент кто-то сзади сильно стукнул его по голове чем-то твердым; в глазах вспыхнули, растекаясь, разноцветные круги, и он, теряя сознание, уткнулся в снег рядом с убитой собакой.

Брали его Ашихмин и два стрелка из железнодорожной охраны, дежурившие при местном отделении милиции.

## 11

Под вечер к Бородиным потянулись родственники; первыми зашли братья Максим с Николаем, потом пришел зять Семен Жернаков, высокий, узкоплечий мужик с луженым горлом.

– Сестрица! – крикнул от порога, обметая валенки. – Дык что, авсенькать или так подашь?

Не заметили, как и святки пролетели: на улице в этом году не было ни ряженных, ни гармоник, ни гулянок... Словно вымерло село.

Надежда, обернувшись от стола, сказала:

– Ноне не ждут, когда подадут. Теперь сами забирают.

– Лишь мы-ы-ы одни имеем пра-аво-о, но па-ра-зи-ты ни-ког-да! – пропел Семен нутряным басом. – Вот тебе и авсенька! – И стал снимать полушубок.

Братья Бородины сидели на скамье вдоль стенки, курили. Андрей Иванович отрешенно пощипывал ус, глядел себе на валенки и на дурашливое песнопение Семена не обращал никакого внимания. Его опять вызывали в Совет, требовали включиться в бригаду по раскулачиванию, он отказался. Какой-то приезжий из окружного штаба по

сплошной коллективизации смерил его крутым взглядом жарких нездешних глаз и сказал: «Даем срок до вечера. Не согласишься – посадим». А вечером должен приехать Михаил. Ждали с часу на час. Зиновий с Федькой уехали за ним в Пугасово. Братья, еще не дожидаясь приезда Михаила, разделили по себе его детей – Андрей Иванович взял пятилетнюю Верочку, Николаю оставили младшую, Шуру, а старшую приняла теща Михаила, разумеется, детей взяли на время, до новой женитьбы Михаила. А вместо уплаты за прокорм к Андрею Ивановичу и к Николаю переходили поземельные наделы на девочек. Ждали Михаила, а разговор все клонился в сторону колхозов да скорого раскулачивания.

– Якуша Ротастенький вместе с сороками укатили на ночь глядя в Лысуху, – сказал Семен. – Говорят, громить начнут с лесной, с глухой стороны.

– Оно, конечно, безопаснее ежели ф с лесной, – согласился Максим Иванович. – Кто орать начнет – легче рот заткнуть. Там никто не услышит.

– Они и здесь не постесняются, – сказал свое Андрей Иванович. – Вон Федорка посреди бела дня взяли – и ни слуху ни духу. Все шито-крыто.

– Дык, Селютана за фулюганство взяли, – воспрянул Николай. – Он энтому Ашихмину как засветил промеж глаз, у того, говорят, аж кобура на задницу съехала.

– Селютан пошел по политической линии, как вредитель, – возразил Семен. – На него дело открыли.

– Какое дело? Он по чистой пошел! – раскалялся Николай. – Во-первых, применение оружия в общественном месте, то есть хулиганство; во-вторых, рукоприкладство.

– А я те говорю – на него дело составлено было, – брал на горло Семен. – Поскольку в связи с зятем как с вредителем. Понятно?

– Вы чего разорались, как на сходе? – цыкнула на них Надежда. – Дети спать легли, а вы сцепились, что кобели из-за кости.

– Политика – штука горячая, – усмехнулся Максим Иванович. – Она сразу в азарт гонит. Намедни мы собрались всем колхозом, мужики то есть, в поповом доме. Сидим, вырабатываем линию – куда лошадей ставить, куда сено свозить. Вот тебе сцепились Маркел с Ротастеньким. Маркел говорит – всех лошадей свести во двор Ключева. Там сена хватит. А Якуша ему – сено Ключева сперва разделим по колхозникам, а потом внесем пай поровну и без обиды. Один орет – ты, мол, чужое прикарманить хочешь? А второй его за грудки хватает – ты свое не хочешь отдавать, так твою разэдак. Еле растащили их.

– Да, политика у вас, как у того Ивана, – где что плохо лежит, у него брюхо болит, – усмехнулся Андрей Иванович. – Как бы за счет чужого поживиться, а свое прикарманить – вот ваша политика.

– Ты, Андрей, против нас не гречи. Мы не токмо что лошадей, коров, телят и даже курей – все решили свести до кучи. В общие дворы то есть, – сказал Максим Иванович.

– А баб, к примеру, не сгоните в общую избу? – спросил Семен и загоготал. – Я, пожалуй, Параньку свою свел бы туда. Глядишь, впотьмах и мне досталась бы какая помоложе.

– Тьфу! У самого рожа-то вон, как варежка изношенная, а туда же, за молоденькой. У-у, бесстыжие твои глаза! – сказала Надежда.

– Да, сестрица, дело-то не в роже... Ты не гляди, что у меня нос набок свалился. Главное, чтоб корень стоял на месте.

– Бери быка за корень! – подхватил Николай, и они с Семеном, довольные собой, шумно засмеялись.

– Тьфу, срамники окаянные! – Надежда в сердцах встала и вышла в горницу.

Андрей Иванович хмуро покосился на Семена и спросил:

– Говорят, ты записался в бригаду по раскулачиванию. Это правда?

– Небось припрут к стенке – запишешься. Все-таки у нас лавка была. Супротив пойдешь – самого раскулачат.

– И кого ж ты пойдешь кулачить? Прокопа Алдонова? – раздувая ноздри, спросил Андрей Иванович.

– Дак не своих... – осклабился Семен. – Нас поведут в Еремеевку. Кто меня там знает?

– Значит, чужих трясти будешь. Китайцев, да?

– Кого прикажут, того и будем трясти, – озлобился Семен. – Чего ты прилепился ко мне?

– Подлец ты, Семен.

– Я подлец? – встал Семен, озираясь по сторонам и краснея до корней волос.

– Да, ты подлец. – Андрей Иванович тоже встал, глаза его округлились, нехорошо заблестели, и под скулами заходили бугристые желваки.

– Андрей, Андрей, садись давай! Чего ты взбеленился? – схватил его Максим Иванович за руки.

Тот вырвал руки и, опираясь кулаками на стол, подался всем телом к Семену:

– Уходи! Уходи сейчас же из моего дома... – И вдруг сорвался на крик: – Уходи, тудыт твою растуды!.. Или я тебя изобью, как собаку...

Семен отскочил от стола, как ошпаренный, с грохотом отлетела, падая, табуретка, и тотчас же в дверях из горницы выросла Надежда:

– Что это еще за погремушки?

Но на нее никто не глянул. Андрей Иванович сел за стол и устало прикрыл лицо руками, а Семен, бледный как полотно, долго не мог попасть трясущимися руками в рукава полушубка. Так и вышел, не успев как следует одеться.

– Вы чего тут не поделили? – опять спросила Надежда.

– Семен авсенькать приглашал, по дворам итить, а вон Андрей прочел ему одну авсеньку – тому не понравилось, – сказал Максим Иванович, ухмыляясь.

В сенях грохнули щеколдой и затопали по полу, заскрипели снегом.

– Что это еще за табун? – подалась к двери Надежда.

Но не успела она и до порога дойти, как дверь распахнулась и в избу ввалилась целая процессия; впереди шла Тараканиха в толстой клетчатой шали, в черной сборчатой шубе до пят, за ней в шапке с распущенными ушами Левка Головастый, потом еще Кулек в шинели и в буденовке со шлыком, и наконец пожаловал сам представитель окружного штаба по сплошной коллективизации Ашихмин – в кожаной кубанке, в белом полушубке и в белых с желтой ременной оторочкой бурках.

– Служить будете, или вам так подать? – недружелюбно встретила их Надежда.

– А мы не милостыню просить, – пропищал Левка Головастый, – мы по законному решению.

Ашихмин по-хозяйски прошел к столу, слегка отстранив Надежду рукой, как телушку, стоящую посреди дороги, и, поигрывая снятой кубанкой, не здороваясь, стал пристально глядеть на Андрея Ивановича.

– По какому случаю пожаловали? – спросил Бородин, исподлобья глядя на

Ашихмина.

– А по тому самому... Вас предупреждали в Совете насчет уклонения от раскулачивания?

– Я присяги на раскулачивание не принимал, – ответил Бородин, набычившись. – И нечего меня предупреждать на этот счет.

– Извините! Вы являетесь членом сельсовета, председателем комсода. Уклонение от раскулачивания, как важнейшего мероприятия по сплошной коллективизации, рассматривается прямым саботажем. Вам это известно?

– Нет, не известно.

– Да как же тебе сколько раз говорили, Андрей Иванович! – ринулась в дело прямо с порога Тараканиха. – Не в свое село пошлем, а в чужое... Да как ты уперся, ровно бык. А глядя на тебя, и другие не идут – вон Вася Соса отказался, Макар Сивый, Сенька Луговой, Чухонин. Тебя, говорят, боятся.

– Чего меня бояться? Я не разбойник на большой дороге. Чужое добро не отымаю.

– Это что, намек? По-вашему, мы разбоем занимаемся? – повысил голос Ашихмин.

– Я знать не знаю, чем вы занимаетесь. Я только ноне и увидел вас. Чего вы ко мне привязались?

– Вон вы как заговорили! Мальчишкой прикинулись. Ладно. Поглядим сейчас, каким вы голосом запоете. Федулеев, дай сюда решение Совета!

Левка моментально выхватил из папки исписанный листок с печатью и, услужливо пригибаясь, сунул его в руки Ашихмину.

– Вот решение Совета о том, чтобы изолировать вас от массы как разлагающий элемент! – Ашихмин положил на стол листок перед Бородиным. – Прочтите и распишитесь.

Андрей Иванович посмотрел на братьев, на жену, с испугом глядевших на него, помедлил, свел плечи, словно его в холодную воду толкали, и начал читать вслух:

– «В связи с чрезвычайным положением, объявленным штабом по сплошной коллективизации, считать отказ от участия в раскулачивании члена сельсовета Бородина Андрея Ивановича как акт саботажа со всеми вытекающими отсюда последствиями. С целью изоляции от массы вышеупомянутого Бородина взять под стражу». – Бородин посмотрел с каким-то удивлением на Ашихмина и сказал: – А у вас нет такого права, чтобы сажать меня.

– Есть. Подписывайтесь!

– А я не стану подписывать.

– Заберем без росписи.

– Куда-то вы его заберете? – спросила Надежда, подаваясь к столу. – У него пять человек детей. Давайте тогда и меня с ним заберите. Мы чего делать без него станем?

– А это нас не касается, – отрезал Ашихмин.

– Как то есть не касается? – спросил Максим Иванович. – Это ж дети малые!

– Кто вы такой, чтобы задавать мне вопросы? – строго спросил Ашихмин.

– Мы, братья его, собрались на семейный совет... Да как что, и собираться вместе нельзя, что ли?

– Не мешайте нам выполнять государственные обязанности вашими дурацкими вопросами!

– Хорошие государственные обязанности – отца от детей забирать, – всхлипнула

Надежда.

– Успокойся, мать, – сказал Андрей Иванович. – Наши дети по ихней теории в расчет не принимаются.

– Нашу теорию не трогай! Она в огне классовых битв проверена, и не вам ее порочить. Собирайтесь! – рявкнул Ашихмин.

– Значит, по теории меня берете? – Андрей Иванович смотрел на Ашихмина, насмешливо щурясь и не двигаясь с места.

– Да! По самой передовой, единственно правильной в мире. Берем и вырываем с корнем как защитника обреченного класса эксплуататоров.

Бородин сжал сухую с узловатыми пальцами руку в темный увесистый кулак, чуть пристукнул им по столу и сказал, раздувая ноздри:

– Не обманешь! Эта рука сама все делала. Мы за чужой счет не жили. Одно слово – крестьяне.

– Были крестьянами. А теперь кто будет колхозником, а кого и попросят удалиться.

– Куда это?

– Подальше от земли, чтобы не мешать на ней жить по-новому. Собирайтесь! Иначе силой уведем.

Кулек при этих словах кашлянул и подошел к столу, с готовностью глядя на Ашихмина. Бородин встал, оправил толстовку и пошел к вешалке. Надежда бросилась за ним, повисла у него на плечах, заголосила:

– Куда ж ты спокидаешь нас, кормилец наш ненаглядна-ай? Чего ж мы без тебя делать-то будем? Сиротинушки горькие...

– Надя, ну чего ты реवेशь? – одернула ее Тараканиха. – Не в тюрьму, чай, забираем. Посидит в пожарке. Кампанию проведем и отпустим.

– А это что еще за информатор? Кто вас уполномочил разъяснение делать? – цыкнул на нее Ашихмин.

– Дак она, эта, боится, что его в тюрьму отправят, – оправдывалась Тараканиха.

– Не ваше дело! Собирайтесь! И поживее, – понужал Бородина Ашихмин.

Надежда затихла и спросила Тараканиху:

– А чего ему с собой дать?

– Ничего не надо. Понадобится чего – завтра скажут.

Андрей Иванович между тем надел полушубок, застегнул на все пуговицы, шапку натянул поплотнее, как в извоз собирался, и сказал жене:

– Ну, дак я пошел...

– Ступай, Христос с тобой, – Надежда перекрестила его и всхлипнула.

На пороге хозяин приостановился и вполборота Максиму сказал:

– Михаила путем встречайте. Насчет девчонок его, значит, как договорились...

– Все уладим. Об чем разговор? – отозвался Максим Иванович.

Вот и проскрипела простуженным голосом избяная дверь, ударила с надсадным железным дребезжанием щеколда, пролопотали бормотным грохотком потревоженные в коридоре половицы, и смолкло все, затихло, как в погребке. Братья сидели за столом в тех же позах, точно замороженные, глядели себе под ноги, будто стыдились друг друга, Надежда села на приступок у печки и тихонько плакала, уткнувшись в головной платок.

– Вот и встретили братца. Ничего себе пироги, – сказал наконец Максим Иванович.

– Да, повеселились в честь святок, – отозвалась Надежда, прерывисто вздыхая.

– Я вот что надумал, сестрица... Михаила я к себе заберу. Вам теперь не до гостей. А ежели что понадобится тебе, скажешь мне или Николаю – придем, поможем. И принесем чего, ежели...

– А что нам понадобится? У нас все есть, на год запасено. Спасибо! А со скотиной сами управимся.

– Держать его долго не станут. Разберутся и выпустят. Как-никак, он ведь активист, председатель комсода, – со значением на лице рассуждал Николай.

Но его не слушали; Надежда все плакала, всхлипывая и покачивая головой, а Максим Иванович сидел, сцепив руки на коленке, бессмысленно глядя в пол.

В тот вечер Мария не пришла домой.

Совещались долго, чуть ли не до полуночи. Из округа приехал представитель, давал инструкции – как проводить раскулачивание. Во-первых, начинать одновременно во всех селах, то есть не дать опомниться, застать врасплох. Иначе слухи поползут, и главы семейств могут сбежать на сторону. В каждом селе разбивать раскулачивание на две категории: в первую заносить особо опасных и богатых кулаков; этих – глав семейств и старших сыновей – брать под стражу и отправлять с милицией в райцентр или в Пугасово, семьи из домов выселять, с собой не давать никакой скотины, ни добра – вывозить из дому в чем есть, отправлять тоже в Пугасово к железной дороге. Во вторую группу заносить кулаков многодетных, разбогатевших в основном за счет больших земельных наделов и не имеющих заведений – мельниц, постоянных дворов, лавок и так далее. Этих сажать нельзя и обижать во время раскулачивания запрещается; у этих брать расписку, что все отобрали по-культурному, что грубостей не было и никаких оскорблений. У служителей церковного культа, если они бедные, отбирать только предметы службы и домашней роскоши. Которые живут в плохих избах – тех можно не выселять.

Назавтра весь актив собирать с утра в райкоме, сюда же приедет делегация рабочих из округа для оказания практической помощи, а еще – отряд железнодорожной милиции. Во время раскулачивания по райцентру бесцельное хождение запрещается. Все улицы берутся под надзор. Объявляется боевая готовность номер один – круглосуточно. Оружие и боеприпасы, у кого еще не имеется, взять с утра в райкоме.

Долго прикидывали, спорили – кого куда послать, сел много, уполномоченных не хватало. Мария заранее упросила Тяпина оставить ее дежурной по райкому. И все складывалось для нее по-задуманному. Но в последнюю минуту пришел из райкома Паринов и передал приказание Пospelова – выделить от комсомола одного руководителя тихановской боевой группы. В резерве оставалась только Обухова. Ее и назначили.

Как представила себе Мария завтрашний поход по настороженному, замершему Тиханову, женские вопли, причитания, детский плач... И проклятия на ее голову... И не дай бог встретиться на этой операции с разъяренной сестрицей своей. Проклянет ее Надежда. А то, чего доброго, и в волосы вцепится... И с какими глазами пойдет она домой с этого совещания? Что она скажет им? Куда спрячется от позора? А душу свою, душу как обмануть? Это что – венец борьбы за счастье народное? Детей малых на мороз выбрасывать для блага общего? Нет, эти дьявольские забавы, как говорит Митя, не для нее... Лучше с голоду помереть, чем своими руками выбрасывать детей



на мороз...

Она дождалась в коридоре, пока все не ушли из зала, где проходило это совещание, – остались только Тяпин с приезжим инструктором, и постучала в дверь.

– Да! – послышался голос Тяпина.

Вошла как бы ненароком, замялась возле порога.

– Тебе что, Маша? – спросил Тяпин, не отрываясь от листка, – он расписывал рабочих по группам, диктовал приезжий инструктор.

– Мне с вами поговорить надо... Я подожду вас в вашем кабинете.

– Говори сейчас. Мы отсюда прямо в штаб – составлять боевое расписание.

Мария перевела дух, словно после перебежки, потом расправила плечи, подтянулась, как солдат в строю, и твердым голосом отчеканила:

– Митрофан Ефимович, я не буду завтра возглавлять эту группу.

– Почему? Это еще что за чепуха? – Тяпин глянул на инструктора и покраснел. – Ты что, Маша, не в себе?

– Я не пойду раскулачивать. – Она тоже вся раскраснелась, и глаза ее смотрели на них строго и возбужденно.

– Ты что, против линии партии? – спросил Тяпин с испугом.

– При чем тут линия партии? Я не хочу выбрасывать на мороз малых детей какого-нибудь Алдолина...

– Ну, знаешь, Маша! Эти твои штучки надоели. На этот раз твои капризы добром для тебя не кончатся. Распустилась, понимаешь, – Тяпин обрел наконец уверенность в себе и сделал строгое лицо.

– Интересно, вы что же это, по убеждению отказываетесь или по стечению обстоятельств? – спросил приезжий инструктор, кривя в усмешке сухие нервные губы; он был строен, еще не стар, с короткой стрижкой сидящих волос, в суконной защитной гимнастерке и в щегольских сапожках. Только шпор еще не хватало для полного комплекта...

– Я считаю – война с малыми детьми, со старухами и со стариками не доставит чести бойцам революции, – волнуясь и загораясь до блеска в глазах, до дрожи в голосе, ответила Мария.

– Вон как! – иронически поглядывая на нее, протянул приезжий инструктор и, поскрипывая сапожками, вразвалочку двинулся к ней, сардонически усмехаясь: – А про кулацкие обрезы вы не слышали? Про гибель активистов и селькоров вы тоже ничего не знаете?

– У нас таких случаев не было. А если они и были в других местах, так это еще не повод для расправы с невинными детьми, пусть даже и зачисленными по кулацкой линии.

– А вы ничего не слышали про теорию и практику классовой борьбы? Вы думаете, с нашими детьми считались в гражданскую войну? Не выбрасывали их из домов и не рубили шашками только за то, что они Комиссаровы дети?

– Во-первых, у нас теперь не война, а во-вторых, повторяю, дети Алдолина не виноваты в том, что пострадали дети какого-либо красного комиссара. И оттого, что кто-то пострадал, я не стану выбрасывать на мороз этими руками, – Мария растопырила пальцы и потрясла поднятыми руками, – детей Алдолина, Ключева, Амвросимова и кого там еще. Не стану! Мне такой оборот классовой борьбы не подходит. Я не хочу в такой рай, который создается подобными методами! Не хочу! И возвращаю билетик обратно, как сказал Достоевский.

– Если вы заодно с этим мракобесом Достоевским, то нам вместе с вами делать нечего. Кладите партбилет! – Последнюю фразу инструктор произнес угрожающим тоном, словно команду подал.

Но Мария поглядела на щеголеватого полувоенного долгим взглядом сощуренных потемневших глаз и спокойно сказала не ему, а Тяпину:

– Партбилет я отдам, кому положено, если спросят. А вам, Митрофан Ефимович, я кладу заявление об уходе с работы.

– Ну и клади! – озлобился Тяпин. – Тебе уж давно пора выметываться из райкома. Скатертью дорога.

– К-кулацкие прихвостни, – процедил сквозь зубы приезжий инструктор вслед Марии.

Вот и все... Вот и все... Вот и все... – стучало у нее в груди, шумно отдавалось в висках, закладывало уши. Сознание непоправимой беды будоражило ее, что-то закипало там, в груди, подымалось кверху и застревало в горле, душило, и если бы не ярость на этого чистенького полувоенного, она бы присела на первую приступку выходной лестницы и разревелась, как бывало в детстве...

– А... чему быть должно, того не миновать, – произнесла она вслух, оказавшись на улице.

Морозный ветерок холодными иголками легкой поземки ударил ей в лицо и в шею, она перевела дух и только тут спохватилась, что вышла враспашку. Застегнулась, завязала пуховый платок узлом на груди...

Осмотрелась... Куда идти? Было уже поздно, во многих домах погашены огни, на пустынной сельской улице – ни души. Стояла мертвая тишина, лишь улавливалось легкое шуршание поземки о крышу да раздавался отдаленный одинокий собачий брех, словно доносился из преисподней. Дома теперь гости – Михаил приехал, а ей что за веселье? Утром проснется – куда идти? Что делать? У Бородиных ей теперь не житье. А в Тиханове делать нечего. Теперь только туда, к нему. Он – единственная отрада ее и спасение. К Мите!

Она шла по ночной и скучной зимней дороге и живо воображала себе, как напугает бабу Неодору своим поздним приходом, как прильнет к нему, прижмется всем телом и успокоится. «Ах, Маша! Милая Маша! – скажет он, радуясь. – Какая ты умница, что так сделала». И она ему скажет: «Я это сделала ради тебя. Я не могу без тебя. Я люблю тебя». И заплачет. И он станет утешать ее: «Глу-упая, успокойся! Радоваться надо, а не плакать. Мы славно заживем с тобой». И ей сделается хорошо, и она успокоится и уснет.

Все так и было, как она воображала себе, – и бабу Неодора испуганно лепетала за дверью:

– Что ты, Христос с тобой, в такую темень? Ай бедастряслась?..

И не удержалась она, расплакалась от расспросов у самого порога; и он обнимал ее, утешая, целовал в холодные губы, в мокрые щеки, в глаза. Когда же она сказала, что пришла к нему навсегда, что ушла с работы и что жить ей больше негде, он даже крикнул с притворной строгостью:

– Да что ж ты прямо не сказала? Чего нам в снях-то хорониться? Пошли, жена моя, в светлую горницу, я тебя гостям так и представлю.

– Каким гостям? – испугалась она.

– Да все друзья наши... Роман Вильгельмович, Костя да Соня Макарова.

– Погоди ты, ради бога! Дай хоть я слезы вытру, в себя приду...

– Глупая, в слезах-то лучше... Люди сходятся и живут не столько в радости, сколько в муках.

– Типун тебе на язык!

– Пошли-пошли!

Он почти силой втащил ее в горницу и сказал от порога:

– Поздравьте нас, други. Вот – жена моя! – развязал платок на груди ее, снял пальто и, обнимая за плечи, провел к столу; она смущенно улыбалась, пожимая протянутые к ней руки.

– Кажется, хозяин обалдел от счастья? Но мы ему напомним, так это-о, сухая ложка рот дерет! – прыснул Роман Вильгельмович.

На столе стояли бутылка рыковки и бутылка портвейна.

– Ради бога, извините! – Успенский бросился наливать в рюмки вино и водку, себе плеснул в стакан.

– За счастье новоявленной четы Успенских, за вашу стойкую любовь в этом непостоянном мире! – сказал Костя, подымая рюмку.

– Так это-о, горько! – крикнул Роман Вильгельмович.

– Да, друзья мои, горек наш удел, – сказал Успенский, помрачнев. – Извини, Маша, но мы и в самом деле собрались здесь в минуту горькую – завтра начинают выселять из Степанова: двенадцать семей обречены на изгнание из родных домов. Двенадцать семей! И малые и старые... И не осуждай нас за эту вечеринку, мы пришли на помин по невинно осужденным.

– В Тиханове намечено к высылке двадцать четыре семьи, – ответила Мария, и слезы появились на ее глазах, задрожали губы, но она пересилила себя. – Я должна была возглавить одну из боевых групп по раскулачиванию... Но отказалась... Вот почему я здесь...

– Что за грех содеян, если искуплять его должны дети малые? – сказал Успенский.

– Да в чем родители виноваты? В том, что много работали? – спросила Мария, не вытирая слез.

– Маша, кулаки есть кулаки... В потенции они враги социализма, – ответил Герасимов.

– Да какие они кулаки! А если и кулаки, если и враждебны, так ведь враждебность – еще не вина! Вину доказать надо.

– Ты виноват уж в том, что я хочу есть, сказал волк ягненку, так это-о, – Роман Вильгельмович кривил губы, сдерживая неуместный смех.

– Да, товарищ волк неумолим, – грустно заметил Успенский. – И чудится мне, что за сим наступит и наша очередь...

– И тем не менее... – Роман Вильгельмович вскинул голову и прочел высоким голосом:

Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья —  
Бессмертья, может быть, залог,  
И счастлив тот, что средь волненья  
Их обретать и ведать мог.

Именно бессмертья! Ибо душа стремится изведать то, что гибельно для тела. Итак, что судьбой предназначено, то и встретим с открытым лицом. Выпьем же за любовь, которая не боится смерти!.. И еще раз – горько!

– Горько! – подхватили азартно Костя и Соня.

Мария с Дмитрием Ивановичем расцеловались, и все выпили.

На закуску были грибы да капуста. Но никто и не притронулся к ним. Набросились с расспросами на Марию: какие были директивы? Кто намечал сроки? Куда повезут раскулаченных? Что разрешается брать с собой? Откуда уполномоченные?..

Расспросы да разговоры затянулись за полночь, до третьих петухов.

– Как только он сказал про теорию классово́й борьбы, так все во мне перевернулось, – рассказывала Мария, вспоминая о своей стычке с приезжим инструктором. – Ах вы, думаю, клопы на теле классово́й борьбы! Присосались к большому делу, чтобы злобу свою утолять и сводить старые счета? Ну нет, я вам в таком случае не попутчица. Слуга покорная...

– А между прочим, насчет теории он это искренно, – сказал Успенский. – Вся хитрость именно в теории, вернее, в искажении ее. В этом и собака зарыта.

– Перестань, Митя! – испуганно и с мольбой произнесла Мария.

– Именно, именно там вся причина. Ни Возвышаев, ни Тяпин, ни этот твой приезжий инструктор сами по себе ничего не значат. Ты напрасно грешила на Возвышаева, что-де он мстит за свое ничтожество. Он слишком глуп для этого. Просто он аккуратный и очень исполнительный, вернее, старательный человек. А если хочешь еще откровеннее – простодушный человек.

– Возвышаев простодушный! Ну, знаешь! – вырвалось у Марии.

– Да, да. Он уверовал в силу и беспорочность теории и полагает в простоте душевной, если все будет исполнено по-писаному, то оно сразу и настанет, всеобщее счастье. А потому – жми полным галопом.

– Ну где же, в какой теории написано про то, что надо мужиков разорять, выбрасывать на мороз малых детей? Опомнись, Митя!

– Полно тебе, Маша. Для таких, как Возвышаев, любая бумага – теория, а бумагу эту пишет порой писачка, а имя ему собачка, как говорил Гоголь. Все дело в том, что понимает каждый читающий, а еще страшнее – каждый трактующий ее, тот самый, кому дано право применять ее, накладывать, как трафарет, на живую жизнь. У кого какой замах. А простору для удара в ней хоть отбавляй.

– Выходит, опять виноват Ленин? Это уже старо, Дмитрий Иванович, – сказал Герасимов.

– Я этого не говорил, – ответил Успенский, как бы с удивлением.

– Ну как же? Если весь гвоздь в теории, а Ленин создатель государства... Следовательно?

– Да, Ленин создал государство и партию. И на сим пока поставим точку, так это-о... – сказал Роман Вильгельмович. – Что же касается теории, так она, батенька мой, создавалась еще задолго до Ленина и даже до Карла Маркса... Устроить жизнь человека без бога, без религии – давненько пытается так называемый прогрессивный материализм, понимаете ли...

– И Маркс, и Ленин были, пожалуй, слишком трезвыми реалистами по сравнению с теми, более ранними, фанатиками! – подхватил Дмитрий Иванович, загораясь.

– Какими ранними? Коммунизм как понятие начался с Маркса и Энгельса, – возразил Костя.

– Чего?! – удивился Успенский и поклонился в его сторону: – Здравствуйте пожалуйста! Вы пришли, молодой человек, не на занятие кружка по изучению

политграмоты... Так вот, запомните: отцом раннего коммунизма уже более ста лет считается Гракх Бабеф. Маркс был доктором, ученым человеком, его коммунизм не каждому понятен, он отодвигается в далекое будущее. А у того землемера все просто, как дважды два – четыре. Революция – ничто, пока она дает всем политические права. Зачем они? Надо всех уравнивать *имущественно* ! То есть не бедных подтянуть к богатым, а богатых низвести до уровня бедных. И сделать это немедленно, силой государственной власти. Посему требовал политической организации во имя переворота и введения диктатуры секретной директории при так называемом самодержавии народа. Самодержавие народа здесь пустая фраза. Никакое самодержавие одних невозможно при диктатуре других.

– Это был удивительный тип, понимаете ли! – поднял палец Роман Вильгельмович. – Когда якобинцы с его теорией пришли к власти, он обвинял Робеспьера в тирании. А после казни этого практика, так это-о, когда сам Бабеф стал заговорщиком, он уже хвалил Робеспьера и обещал еще решительнее уравнивать всех. Но не успел: самому голову отрубили! – Южно прыснул и засмеялся.

– Так это ж буржуазная революция, а у нас пролетарская, – сказал Герасимов.

– Мы говорим о принципе, голова! – воскликнул Успенский. – А принцип того коммунизма таков: силою власти уравнивать всех *имущественно*. Бабеф боялся даже интеллектуального неравенства, а потому требовал обучение свести до минимума. Он считал, что главная опасность идет от «умственного гения». И выдумал этот термин! Отсюда – всеобщее равенство при полном бесправии. Вот чью теорию развивали Петенька Верховенский и Шигалев из «Бесов», которые мечтали горы сравнять...

– Ну, то литературные персонажи. А наши реальные бесы: и Ткачев, и Нечаев, и Бакунин – разве не оттуда пошли? Уж кто-кто, а Маркс их не жаловал, хотя они и пытались прилипнуть к нему, так это-о...

– Конечно же оттуда! – подхватил Успенский. – Бакунин с его сатанинской формулой – в сладости разрушения есть творческое наслаждение – весь от ранних социалистов. Типичный революционер-космополит, ни в чем границ не признавал; быт, национальный уклад, географические условия – все отметал. Все упразднял: классы, расы, государства. Все поломать, а на обломках построить один образец рабочей жизни, общий для всех. Когда наша интеллигенция стала просвещаться насчет социализма в кружках Станкевича, Петрашевского и прочих, теория уже гуляла по миру в полной силе. В тридцатых годах Буонарроти теоретически развил Бабефа, подновил его, ввел в моду. И прогрессисты радовались. Ну как же? Социализму возвращен его боевой характер, отнятый у него утопистами. Тот же Буонарроти считал, что частная собственность есть преступление против общества. Пьер Леру дошел до последней точки, говоря, что республика без социализма – абсурд. А там еще Луи Блан, Анфантэн, Прудон, Сисмонди... Да мало ли их! А вечный заговорщик Огюст Бланки любому нашему Нечаеву фору мог дать. И все эти просветители трубили в один голос: социальная революция есть только продолжение политической. Сперва власть взять в руки, а потом уж устраивать рай земной по принуждению. Тех же, кто хотел это совершить мирным путем, окрестили ягнятами...

– И мирные социалисты тоже хороши, так это-о... – Роман Вильгельмович сделал значительное выражение и покачал головой: – Один Кабэ чего стоит с его трактатом или романом «Путешествие в Икарию». Его идеальная коммуна в сим произведении, понимаете ли, вырастает из диктатуры Добродетельного Икара. Все там живут по расписанию, как на поселениях Аракчеева: одеваются в одинаковую форму, сшитую

из одной и той же эластичной ткани; дома все одинаковые, мебель, утварь тоже одинаковая. И улицы похожи одна на другую. Что надо читать, какие книги? А что не надо читать? Какие зрелища смотреть? Что варить? – все устанавливает начальство и одобряют комитеты, так это-о...

– А Кампанелла в своем «Городе Солнца» догадался ввести специальные ящики для доносов, – перебил его Успенский. – Каждый член коммуны должен писать доносы друг на друга и опускать их, как письма, в такие вот ящики. Вот откуда пошли эти бесы.

– Раньше, так это-о, раньше! – воскликнул Роман Вильгельмович. – Еще Платон сказал: мир идей не от мира сего. Мир идей есть образец для реального мира. Столяр делает стол по образцу идеи стола, так и Демиург создает видимый мир по образцу невидимого, то есть мира идей. Отсюда и модель его идеального государства, в жертву которого приносится все: свобода и права личности, упразднение семьи, собственности, введение общности жен и детей. Создав эту модель, Платон поторопился вручить ее сиракузскому диктатору Дионисию как лучшему практику, так это-о. Однако диктатору быстро надоел словоохотливый философ, и он его продал в рабство. – Роман Вильгельмович коротко хохотнул и сердито нахохлился. – Неплохой урок, между прочим, для всякого идеалиста, плюющего на свободу во имя целесообразности. Вот от этого платоновского государства и пошли все эти «утопии» да «икарии», как слепки с одного образца.

– А нам говорят – Маркс, – сказал Успенский, обращаясь к Герасимову. – Маркс никогда не причесывал всех под общую гребенку, он требовал учитывать исторический опыт хозяйственного развития. По Марксу, роль и значение капитала в промышленности и в земледелии не одинаковы. Читайте третий том «Капитала»! На земле требуются, писал Маркс, самостоятельно работающие руки мелких производителей-собственников! Или работа и контроль самих объединенных производителей. Самих! А не начальства над ними. Так ведь и у Ленина нет ни слова о сплошной коллективизации, да еще в таком повальном охвате. Так что наши левые коллективизаторы совершили прыжок через голову Ленина прямо в объятия этих европейских Добродетельных Икаров. Примитивная утопия взяла верх.

– Почему же это произошло? – спросил Герасимов.

– Однозначного ответа здесь нет, – сказал Успенский. – Но можно попытаться ответить.

– Погодите, так это-о! – Роман Вильгельмович поднял руку: – Я хочу вам досказать эту историю с Кабэ. Он устроил в Северной Америке коммуну по описанному образцу. И чем все это кончилось? Она погрязла в манипуляциях, воровстве, склоках и раздорах. А самого Кабэ судили как мошенника, так это-о... – Роман Вильгельмович весело оглядел всех и закатился тоненьким смешком. – Между прочим, один из петрашевцев еще в сороковых годах прошлого века сказал, что жизнь в Икарийской коммуне, или фаланстере, представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги.

– Кто это? – спросил Герасимов.

– А Федор Михайлович Достоевский, так это-о...

– Ну, эдак мы уйдем далеко в сторону, – возразил Герасимов. – Дмитрий Иванович, ответь на мой вопрос: почему это произошло?

– Давайте попытаемся, – сказал Успенский. – Если общество не имеет контроля самоограничения, то оно обречено на всяческие злоупотребления и даже на застой. С

этим вы хотя бы согласны?

– Допустим. Но у нас есть же критика и самокритика.

– Разговоры о критике! Применение критики надо утвердить законодательно, как право. Не разговоры о критике, а правовой порядок должен лежать в основе общества, ибо социальная дисциплина создается только правом. Соблюдение этого права гарантирует свободу, то есть свобода внешняя обуславливается общественной средой. О каком соблюдении права, о какой свободе, о социальной дисциплине можно говорить, если правопорядок публично поносится леваками? Слово «адвокат» стало ругательством. А еще ниже – «присяжный поверенный», уж ничего уничижительней и быть не может, чем эти слова, понятия или обязанности по соблюдению правопорядка. Теперь другой лозунг опять выплыл из военного коммунизма – руководствуйся революционным сознанием! Что, мол, мне выгодно, то и нравственно. Мужики про это говорят: чего хочу, того и клочу, то есть начальству все позволено. А кто с этим не согласен? Тот, кто сегодня поет не с нами, тот наш враг. А там – объявить врага социальным навозом – и к ногтю. Поймите же – это левой теорией освещено. Здесь не Маркс, а все тот же Бабеф, бабувизм. Ведь как просто – исполняй, руководствуясь революционным сознанием. Сознание же бывает разным: одни стыдятся безобразничать, другие усердствуют по святой вере, третьи по тупости, четвертые по хитрости... Так вот, Возвышаев твой усерден и туп, и жалость ему неведома, – обернулся он к Марии.

– Зато он чувствует, куда дело поворачивается, так это-о...

– Именно, именно! – подхватил Успенский. – В этом вся соль. Всего лишь два года назад на Пятнадцатом съезде и Сталин, и Калинин, да и другие говорили, что нас, мол, толкают к расправе административной с кулаком, но мы не позволим-де нарушать революционную законность. И что же? Не прошло и двух лет, как эту самую законность и не вспоминают, а расправу ведут публично – выбрасывают людей из квартир в городах, мол, нэпманы – не люди, о деревне и говорить нечего. И толкнули на это беззаконие именно партийная интеллигенция, леваки, все эти Ларины, Преображенские, Каменевы да Зиновьевы. Вспомните, что говорили они еще пять лет назад? А газеты? В последнее время они кишели этими подстрекателями. Все дело в том, что русская интеллигенция, я имею в виду атеистическую часть ее, радикальную, состояла из людей ни индивидуально, ни социально не дисциплинированных. От них все и пошло. Эта их любимая формула – опираться в действиях на революционное сознание – давно известна.

– Так это-о перефраз знаменитого клича разинской вольницы – «Сарынь на кичку!». Древняя замашка, – сказал Роман Вильгельмович и рассмеялся.

– Возможно... Хотя я как-то не думал о разинской вольнице, – отозвался Успенский. – Впрочем, у Костомарова писано об этом. Но сейчас я говорю про нашу радикальную, самовлюбленную, самоуверенную интеллигенцию. Она всегда стремилась вывести сознание из-под контроля нравственности. Она плевала на религию, на семейные устои, на общественные традиции. Вспомните хотя бы Марка Волохова из «Обрыва»! Все его действия по этому новейшему сознанию оборачиваются жестокостью к людям, близким и дальним. Оно и понятно – автономность сознания таит в себе большую опасность.

– Прости, Митя! Ты же сам говорил мне, что интеллигент – это тот, кто борется за права человека.

– Милая моя, теперешний интеллигент, который говорит о правах человека, – это

совсем другое. Интеллигент, не ставший бюрократом, отрезвел, он огнем очищен, он кается.

– Кается, отрезвел! – воскликнул Юхно. – Так это-о что-то значит? Видимо, не так уж плоха была интеллигенция, если кается и несет голову на плаху?

– А что ж они хотели? Посеешь ветер – пожнешь бурю. Или они полагали, что только народ будет расхлебывать заваренную ими кашу? Нет, сами хлебайте и помните, что потеряли. Ведь те, дореволюционные, интеллигенты, имели такие права, которые нам теперь и не снятся. Но им мало было... Я говорю о потрясателях основ, об этих наполеончиках, которые во имя-де общего блага плевали на свободу личности и на всякую духовную деятельность, требовали подчинения живой жизни казарменному распорядку согласно их партийным установкам. А либералы аплодировали им. Теперь они плачут.

– Но ведь это тоже борьба за права человека, Дмитрий Иванович! – перебил его Герасимов. – Право на свою партийную линию, право на эксперимент, в конце концов. Ведь это же задумано было для общего блага!

– Да, они тоже боролись за права человека. – Успенский нервно усмехнулся и с грустью поглядел на Герасимова. – Эх, Костя, душа доверчивая! Что толку в этих словах про общее благо, если сами эти ораторы ни в грош не ставили и не ставят уклад народной жизни? Да что знают о ней те же Преображенский да Троцкий? Мы-де желаем вам добра, как сами его понимаем, оттого и слушайте нас беспрекословно. Отсюда и нетерпимость, и насилие. Они и сами были гонимы, но, приходя к власти, тотчас становились гонителями похлеще прежних. Не только народу от них тошно – друг друга изничтожают...

– Так в чем же причина? – спросил опять Герасимов.

– Все в том же... Эта их гордыня непогрешимости... Сатанинская гордыня! И свои изречения объявили единственным источником истины! Все остальное подлежит истреблению... огнем и мечом! Вы посмотрите, что делают с церквями! А как громили поместья, библиотеки, монастыри – эти средневековые академии! Как уничтожают колокола, иконы, картины продают, сбывают древние предметы культа, рукописи, настенную живопись скалывают или замазывают. Как изгоняют священников, профессоров. И это марксизм? И это проповедовал доктор Маркс? Где же? От таких марксистов он открещивался, как от чумы. «Je ne suis pas marxiste!» То есть я сам не марксист, говорил он.

– Это же кокетство. Ты защищаешь Маркса, потому что сам был марксистом, так это-о... – усмехнулся Юхно.

– Дело не во мне, а в сущности. Нет, это не марксизм, а чистейшей воды бабувизм. За версту видна паническая боязнь все того же «умственного гения», интеллектуального превосходства тех, которые не на руководящей должности. А отсюда – все, что исходит не от нас, запретить! Мы одни хранители истины! Даже если бы знали истину?.. Ведь одно дело знать истину, другое – жить по истине. Вы посмотрите на них. Как взяли власть – сразу переселились в царские палаты да в барские особняки. Слыхали, поди, как Троцкого выселяли из Кремлевского дворца? Ленин в двухкомнатной квартирке живет, а этот – в апартаментах дворца. Полгода не могли вытащить его оттуда. Пайки для себя ввели, закрытые распределители! На остальных – плевать. А теперь что? Крестьянам говорят – сгоняйте скот на общие дворы, все должно быть общим. Для себя же – особые закрытые магазины, опять пайки, обмундирование. И все это во имя грядущего счастья? И это истина? Да кто же



в нее поверит? Только они сами. Вот в чем гвоздь их теории: субъективизм выдавать за истину, за объективное развитие. Ото всех этих новых теорий всеобщего равенства скатились к старой бюрократической формуле – начальству виднее. Вот теперь их истина. А если такая истина не подлежит еще и независимой проверке, то пределы дозволенного в действии начальства имеют зыбкие границы. Каждый усердствует в угоду этому понятию. На остальное плевать. Это они переняли от наших чиновников. В старые времена еще посмеивались над этим. Знаете стишок?

По причинам историческим  
Мы совсем не снабжены  
Здравым смыслом юридическим,  
Сим исчадьем сатаны.  
Широки натуры русские —  
Нашей правды идеал  
Не влезает в формы узкие  
Юридических начал.

И только в революцию, в гражданскую войну и потом мы увидели в полном размахе наше презрение к законности. И теперь нам не до смеха.

– Но, Митя, и этот стишок, и рассуждения твои о произволе в большей мере относятся к старой бюрократии, к офицерству, к народным низам. При чем же тут интеллигенция? Интеллигенция наша всегда жертвовала собой во имя народного счастья, шла на каторгу за убеждения, отказывалась от комфорта, даже от наследства. Одно это хождение в народ чего стоит! «Иди и гибни безусловно, помрешь недаром – дело прочно, когда под ним струится кровь». Вот стихи про нашу интеллигенцию, – сказала Мария.

– Правильно! – подхватил Роман Вильгельмович и погрозил пальцем Успенскому. – Ты делаешь упор на нигилистах, на шестидесятниках, на их нравственной расхлыстанности, на этом разумном эгоизме, но совсем умалчиваешь о семидесятниках, об их самоотречении, о знаменитом хождении в народ. Ты позабыл о земцах, друг мой! Уж их-то не оторвешь от почвенности; хотя и шли они туда с иной верой, но растворялись в народе. Все эти учителя, лекари, землемеры, строители перепахали Россию, создали ее культурный слой. Или они не работники, не подвижники? Так это-о. Ведь можно в оценке роли интеллигенции и до поношения дойти. Во всем виноваты, мол, студенты и еще евреи.

– Да вы меня просто не хотите понять, – с досадой сказал Успенский. – Я сам преклоняю колена перед земцами, перед чистотой и святостью этой идеи хождения в народ. И вовсе не пытаюсь свалить в кучу все, что связано с русской интеллигенцией. Я говорю не о мыслителях, но о трудовой и практической части ее, уходившей в народные низы на черную работу; я говорю о богоборческой стороне, о том бунтарском чистоплюйстве в среде этой интеллигенции, о вожаках ее, которые меньше всего думали о практической пользе; они как раз презирали эту теорию малых дел, они и погубили ее своим терроризмом. Они вообще меньше всего задумывались над реальной пользой постепенного улучшения жизни народа. Именно их и боготворила определенная часть русской интеллигенции, более шумная часть, более назойливая. О ней-то я и говорю. Ей все враз хотелось перевернуть кверху дном. Я имею в виду ту самую нетерпимость, бесовскую склонность к неприятию добрых начал в реальной жизни, которую высмеивал в русской интеллигенции Достоевский, а еще раньше Гоголь. У них, мол, мозги набекрень. У них все помыслы о будущем, а настоящего и

знать не хотят. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего, сказал Гоголь. Да я вам сейчас прочту. – Он прошел к настенной полке, снял небольшой томик в зеленоватой обложке с черным переплетом, сплошь переложенный закладками из обрывков газет, раскрыл нужную страницу: – Вот оно! «От того и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. От того и беда вся, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко; если же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. От того и бог ума нам не дает; от того и будущее висит у нас у всех, точно на воздухе... Оно, точно кислый виноград. Безделицу позабыли: позабыли, что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать; всяк считает его низким и недостойным своего внимания...» – Он захлопнул томик, бросил его на стол, потом сел, устало сгорбившись, и сказал более для самого себя: – Нет, не увлекает таких вот деятелей настоящая реальная жизнь. Скорее бы перевернуть ее. И ничего не жаль ради этого призрачного будущего – ни средств, ни сил. И крови даже не жалели, ни своей, ни чужой. А что толку? Каков результат? Опять новые жертвы? И конца этому не видно. – Успенский свел брови и уставился куда-то в угол невидящим взглядом.

– Да, водятся грехи за русской интеллигенцией. Слишком доверялась она европейским поводырям, которые сами толком не знали дороги. Я не отвергаю твоего памфлета, и тем не менее ты упрощаешь, так это-о. – Роман Вильгельмович вытянул губы в трубочку, помедлил, погрозил пальцем и наконец изрек: – Ты умалчиваешь о первопричине распада и брожения: богатство и неуступчивость одних и бедственное положение других. Вот на этой почве и выростали, так это-о, и пугачевский бунт, и максимализм интеллигенции. Нельзя надеяться на взаимную любовь и согласие, когда в пределах одного и того же государства одни потеряли счет своим землям, а другим куренка некуда выпустить.

– А-а, это знакомый довод! – покривился Успенский. – Он мало что объясняет. У помещиков перед революцией было всего одиннадцать процентов земли.

– В умозрительном смысле процент этот успокаивает, – согласился Роман Вильгельмович. – Но если по соседству с графиней Паниной, так это-о, живут мужики какой-нибудь Гавриловки? У них по две десятины на семью, а у Паниной тридцать одна тысяча десятин. Тогда как? А сколько было десятин у княгини Волконской в вашем уезде?

– Двенадцать тысяч, – ответил Успенский.

– Вот оно – яблоко раздора! Мужики отняли эту землю, мужики же прогнали и офицеров, и казаков... Так это-о... – Роман Вильгельмович хохотнул и выкинул палец. – Белое движение погубил земельный вопрос, признался Деникин в своих мемуарах. А мы сможем добавить: и старое русское общество погубил земельный вопрос. То есть погубила неуступчивость русской бюрократии, косность и ее, так это-о, центропулизм... извините мне это грубое слово...

– Да я вовсе не хочу оправдывать бюрократию. Но откуда она бралась? – спросил Успенский. – С неба? Да оттуда же, из интеллигенции в основном. Интеллигенция породила не только революционеров, но и бюрократию, а бюрократия, в свою очередь, насквозь пропитала своим бюрократизмом все интеллигентские кружки. Любят они бюрократию, а еще голодранцев, которые из бездельников. Ну, как же? Они-де Челкаши, вольные соколы да воры! Их Горький воспевал, а русского мужика дерьмом обмазал. Наши интеллигенты всегда были готовы ободрать крепкого мужика

Хоря, чтобы поприличнее одеть какого-нибудь обормота Ермолая. Они сами такие же бездельники, как этот тургеневский Ермолай.

– Эдак, пожалуй, ты и нас всех зачислишь в покровителей Ермолая да Челкаша, так это-о, – сказал Юхно и засмеялся.

– А ты не смейся! Ты вот что заметь – район наш сельский, а кто из авторитетных мужиков в райисполкоме сидит или в райкоме? Один Тяпин. Да какой из него мужик? Не абсурдно ли решать дела народные за народ? Для здравого смысла это – абсурд, для логики интеллигента – это все в порядке вещей. Потому что сии интеллигенты, а теперь надо понимать – коммунисты – они одни знают, что народу надо, а народ этого не знает.

– Но нельзя же коммунистов отождествлять с интеллигентами, – сказал Герасимов.

– Нельзя, конечно. Да я не о коммунистах. И потом, какие коммунисты Поспелов да Возвышаев? Чиновники! А Троцкий, а Зиновьев – коммунисты, да? – Он махнул рукой. – Я говорю о некоей общей интеллигентской тенденции: идеология наших левых партий и максималистские замашки – все оттуда, из интеллигенции. Если, не вдаваясь в подробности, определить главную отличительную особенность их теории, так вот она – полное пренебрежение к нашему национальному историческому опыту. Они не видят связи прошлого с настоящим. Все начинают заново, все от себя идет у них. Вот в чем суть. Высшая образованность должна являться естественным завершением народного быта, должна вырастать из него, как плод из семени, сказал один мудрец.

– Не только народного... Но и общечеловеческого познания! Это необходимое условие! – прервал его Роман Вильгельмович.

– Само собой... – Успенский упрямо нагнул голову и с силой произнес: – Так следовало бы. Но мы про общечеловеческое помним, а народный опыт отбрасываем прочь. Все, что связано с народом, с его укладом жизни, с верой, с религией, – все это чуждо для наших леваков. Они не приемлют не только веру народа, но враждебно относятся к высшим проявлениям национального духа его, для них Толстой – юродивый, Достоевский – мракобес, даже Пушкин – выразитель дворянской культуры. Я уж не говорю о ненависти ко всем русским философам от Хомякова и до Булгакова. Для них русский исторический опыт – всего лишь изгаженная почва, которую-де надо расчистить. Отсюда и идет эта историческая нетерпимость, отсутствие трезвости, стремление сотворить социальное чудо. Где уж тут считаться с малыми детьми или со стариками? Поскорее историю творить надо по собственному плану. Пока в него верят, а кто не верит – тех заставим... Вот-вот, еще немного – и придем к изобилию. Стоит только всех в колхоз загнать. Чудо подай, чудо! Раз-два – в дамках. Вот что худо. Вот где собака зарыта.

– Но не одни же фокусы везде, Митя! – с досадой сказала Мария. – Ты посмотри, как строятся заводы, города растут. Какой энтузиазм! Ведь не кнутом же гонят народ на стройки? Сами идут.

– Идут... – устало ответил Успенский. – Народ у нас издавна тянулся к практическим знаниям, к техническому опыту, охотно шел в любое дело. И отчего же не идти ему? Тут все можно потрогать, сотворить своими руками. Народ и впредь будет идти туда, так что успех на стройках обеспечен. Но зато под завесой этого успеха еще крепче ударят по русскому укладу жизни, по русской культуре, мысли, по русскому национальному характеру... Нужны сильные потрясения, чтобы почва

заколебалась под ногами нашими. Тогда вот и пойдем, что исторический опыт народа есть единственная надежная опора. Тогда вот и вернемся к национальным истокам своим, поклонимся еще в ноги Руси-матушке.

– Крепко ты бьешь, крепко... Ничего не скажешь. Да, надо осуждать за грехи прошлые и настоящие. Но надо еще и понимать, почему становились на грешный путь, так это-о. Вот ты сказал, что интеллигенция скорее Ермолаю потрафляла, а не Хорю. Но почему? Объяснить можно. Наша интеллигенция сложилась идеологически в шестидесятые годы, когда ждали раскрепощения крестьян, боролись за это. И дождались, так это-о... От третьей части до половины всей земли оставалось помещику, а крестьянину выделялось с гулькин нос. Максимум на семью шесть-семь десятин, а минимум – половину этого надела... Да мало того! С крестьян еще требовали подати не только за пользование землей, но и от промысловых заработков. То есть фактически налагался платеж на трудоспособность крестьянина. Его заставляли заниматься отхожим промыслом и оплачивать свою независимость от барина. Короче, был установлен косвенный выкуп личности, так это-о! Вот почему бунтовали мужики, вот почему кипела и негодовала интеллигенция. Ведь эту же реформу ввел либеральный, лучший царь! Так это-о... Тут поневоле кинешься в объятия к самому дьяволу, если он посулит всех уравнивать, понимаете ли. – Роман Вильгельмович прыснул и, довольный своим доводом, рассмеялся.

– А все-таки, виновата интеллигенция или нет? – спросил Успенский.

– Да, виновата. Но во всем ли? Она раскачивала стихию, толкала на бунты, но далее от нее мало что зависело. Не худо бы учесть тот исторический опыт, на который ты уповаешь. Вспомни хотя бы вольницу Стеньки Разина! И там, при Стеньке, казачество только начинало, а главной силой были мужики. Народ! Бунтовали повсюду... Бунтовали против чиновного люда, потому как заели. Уложение 1649 года – вот главная причина. Введение крепостного права! И некуда бежать. Ловили, как зайцев. Насмерть засекали. Вот и причина. А еще – раскол. В церквях запретили вести проповеди на мирские темы, то есть осуждать все те же бесчинства чиновников. Вот из-за чего и бунты. А порядки у Стеньки в кругу своей братии смахивали на интеллигентские диктатуры, так это-о... И там узиришь всю ту же мерзкую нетерпимость и беспощадную жестокость. А ведь интеллигенции тогда и в помине не было. И Петра еще не было, ее родоначальника, так это-о. – Роман Вильгельмович оглядел всех лукаво и вытянул губы трубочкой.

– Да, нечто похожее было и в прежних смутах, – согласился Успенский и длинными сухими пальцами левой руки стал нервно пощипывать свою бородку.

– Стало быть, причина такой ожесточенности лежит глубже. Интеллигенция могла дать всего лишь толчок первоначальный. А далее все ускользает из-под контроля, так это-о... И не кто иной, как интеллигенты более всех поплатились своими головами за эту развязанную всеобщую потасовку. Искупили свою вину, так это-о. Вся беда в том, что мы ищем причины не в себе самих, а вне нас, в общественной среде, в идеологии и прочее. Мы натуру человека не учитываем, вот в чем беда, понимаете ли.

– Ты повторяешь мои мысли, – сказал Успенский.

– Это не твои мысли. Их высказал несколько раньше Христос. И еще Достоевский, так это-о. – Роман Вильгельмович прокурорским взором окинул всех и, раздувая ноздри, продолжал высоким голосом: – А ведь это она, натура человека, с ее необузданными страстями, сказывалась и в опричнине Ивана Грозного, и в диктатуре Стеньки Разина в кругу своей вольницы. Формально и там, у Стеньки Разина, все были

равны, а правили людьми все те же страх, произвол, донос, пытки, казни. А почему? Да потому, что спадали вериги божеского ограничения, и все становилось дозволенным, так это-о.

– Но отчего же так получается? – спрашивал с отчаянием в голосе Герасимов. – Что за круг заколдованный? Люди стараются устроить все лучше, разумнее, свободнее, но, взявшись за это, тут же все и ужесточают?

– А тайна сия велика есть, – ответил Успенский. – Христос не взял царства земного, то есть власти меча. Он полагался только на свободное слово. Те же, которые применяли насилие вместо свободного убеждения, в жестокости топили все благие помыслы. Ты прав, Роман Вильгельмович. Вот это нетерпение устроить все одним махом, перевернуть все с ног на голову и роднит вольницу Стеньки Разина с нашей радикальной интеллигенцией. Свободу внутри себя обретать надо – вот что главное. Ибо свобода духа есть высшая форма независимости человека. Вот к этой независимости и надо стремиться.

И воцарилась тишина такая, что слышно было, как потрескивало пламя в керосиновой лампе. Потом Роман Вильгельмович тихо, как бы самому себе, сказал:

– Кого больше любит бог, тому и страдания посылает... дабы очиститься в них и обрести смирение и разум.

– Да, и я так думаю, – поднял голову Успенский. – Несмотря на все эти страдания, народ наш не пропадет; он выйдет из них окрепшим духовно и нравственно и заживет новой разумной жизнью. Все дело в том – сколько продлятся эти испытания.

– Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе, – продекламировала молчавшая все время Соня, и все рассмеялись.

– Так это-о, устами младенца глаголет истина!

– А я думал – ты спишь, – глянул на нее Герасимов.

– Немудрено и заснуть. Пора и честь знать, понимаете ли, – сказал Роман Вильгельмович, вставая.

– Пора, пора! – заторопился и Герасимов.

Гостей провожали до околицы; на улице шел снег, было темно от низкого неба, и стояла глухая вязкая тишина. Распрощавшись, гости пропали в десяти шагах за оградой, как под воду ушли. Мария с Дмитрием стояли, обнявшись, возле околицы и с минуту смотрели еще в темноту, будто ожидали их возвращения.

– Митя, а почему ты оказался на стороне красных? Почему ты не пошел с офицерами в белую гвардию? – спросила она.

– Я не белый и не красный, Маша. Я слишком русский, жалею и тех и других. В этом все дело. – И замолчал.

Но в доме снова заговорил:

– Офицеры были разные, Маша... Вообще все смешалось, и офицеры потянулись в разные стороны. Осенью восемнадцатого года нас перебросили с Закавказского фронта на Кубань. Пешком топали... Пока пришли, а там уж власть сменилась. Опять погоны нацепили. Послали нас в станицу на бричке за продовольствием. Со мной еще двух офицеров. Молодежь. Поручик да подпоручик и я, только что произведенный в штабс-капитаны. Они в одну хату, я – в другую. Слышу – по соседству свинья визжит. Потом шум, крики. И вдруг выстрелы: бах-бах! И вопли на всю улицу. Подбегаю – мои офицеры застреленную свинью уж на бричку завалили, а хозяин у ворот валяется, и кровь из головы его хлещет. И баба над ним вопит. «Вы что, – говорю, – трам вашу тарарам?» – «Молчи, – говорят, – не то и тебя уложим, поповское отродье». А ведь

сопляки еще мокрогубые. Но сколько гонору! И все то же невежество и та же злость, жестокость, но под другим лозунгом: бей озверевшего хама! Кого же вы бьете, говорю? Мужика? Кормильца?! И слушать не хотят. Тут же на меня донос, и дело состряпали. Ты погоны снимал? Снимал. Большевикам служил? Служил... Еле ноги унес. Целый месяц по ночам пробирался, как волк. Вышел аж на Донце Северском. И сколько радости было! Тут что ни говори, Маша, а централизованная власть была, дисциплина, государственность. Куда все пойдет, еще толком никто не понимал. Но республика стояла, землю роздали поровну, по едокам. И мужики шли на фронт. Воевали – будь здоров! – и верили в лучшее.

– А во что же нам теперь-то верить?

– И теперь верить надо в лучшее. Это, Маша, что болезнь, – нетерпение, озлобление, взаимная ненависть – все это вырвется, как магма при извержении вулкана, и пожжет все вокруг, и камнем затвердеет; но и на каменистой почве в свое время пробивается жизнь, если восходит животворное солнце любви. А пока – время соблазнам пришло, как пишет Аввакум в своем «Житии». Сами, мол, видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят. Омрачил диавол, что на них и пенять? И мы не будем пенять. Давай жить, любить друг друга, детей учить, людям помогать. Верить в лучшие времена.

– Ах, Митя, мне так страшно!

– Ничего, бог даст – все образуется.

Заседание районного штаба по сплошной коллективизации затянулось до глубокой ночи. Сперва закрепляли и расписывали уполномоченных по кустам, потом прикидывали и подсчитывали, сколько подвод надо для их доставки на места, потом считали – сколько подвод послать в Пугасово за рабочей делегацией да за охраной, да еще подводы нужны для отвозки семей выселенцев к железной дороге.

– А главы семей пусть топают пешком. Эти отъездили на рысаках да на тугих вожжах, – сказал Возвышаев.

Заседали в его кабинете; накурили так, что секретарша Зоя, сидевшая у телефона на приеме донесений из сел, стала кашлять и задыхаться. Возвышаев раскрыл настежь окно, и дым повалил наружу, как из трубы.

– А теперь марш по домам! Которые отъезжают, явиться сюда к пяти часам утра. Со мной останутся Чубуков, Радимов и Зоя. Для этих дежурство круглосуточное, отдых в пересменку.

Председатели ближних сельских Советов приезжали на доклад лично, дальние докладывали по телефону, под запись.

Тихановские явились вдвоем – Кречев с Зениным. Секретарь ячейки, несмотря на холод, был в кожаной фуражке со звездой; фуражку бережно положил на край стола, словно тарелку со щами поставил, из планшетки достал списки кулаков и передал в руки самому Возвышаев у, поясняя:

– Значит, процент, спущенный районом, перекрыт. Вы намечали двадцать четыре семьи по Тиханову, мы утвердили двадцать шесть. Этих вот на выселение с арестом глав семей, а эти пусть идут на все четыре стороны.

Возвышаев просмотрел списки с явным удовольствием.

– Молодцы! Кого добавили?

– Значит, дополнительно подработаны... столяры Гужовы. Живут на углу Нахаловки и Базарной. Дом о двенадцати окон, подворье обнесено деревянным

заплотом, телеги там собирают. Очень может пригодиться для общественной конюшни.

– Правильно! – похвалил Возвышаев. – Я знаю этот дом. Богато живут.

– Исключительно! – подхватил Зенин. – Некоторые из нашего актива, – тут Зенин смерил взглядом Кречева, – пытались отвести эту кандидатуру на том основании, что, мол, кустари-токаря. Однако беднота не позволила. У этих токарей, оказывается, две лошади, два амбара, два молотильных сарая...

– Дак их же два брата! – словно в свое оправдание, сказал Кречев.

– А что беднота? – спросил Возвышаев, не глядя на Кречева.

– А беднота точно припечатала: оба брата повязаны, говорят, одной веревочкой – богатством. Вот так... – И снова поглядел со значением на Кречева.

Тот стоял и комкал в руках снятый малахай, как нищий у порога.

– Правильно ответила беднота, – сказал Возвышаев. – А еще кого вывели на чистую воду?

– Еще вот этого кустаря-одиночку, Кирюхина! Некий фотограф.

– У которого баба толстая? – усмехнулся Возвышаев. – Знаю. Богато живет.

– За неделю барана съедают! – радостно подхватил Зенин. – Масло, сметану с базара ведрами тащат. И еще одна вскрытая беднотою порочная отрасль – у этого кустаря-одиночки не один, а два фотографических аппарата.

– И дом в три окна, – пробубнил от порога Кречев.

– А какой павильон отгрохал! – вскинул по-петушиному голову Зенин. – Крыша стеклянная!

– Дак ему фотографировать надо, – нерешительно оборонялся Кречев.

– Из двух аппаратов? Да еще в стеклянном павильоне? Обратите внимание, беднота этот павильон презрительно нарекла Аполеоном. Известно, в какую сторону намек! – Зенин выкинул палец кверху.

– Темнота и дурость, – твердил свое Кречев.

– Ты больно просвещенный у нас. От твоего просвещения чуть село не сгорело, – изрек Возвышаев, едко усмехаясь.

– А то, что жена этого кустаря-одиночки ежегодно на курорт ездит? Как вы этот факт расцениваете, товарищи либералы? – Зенин сперва строго посмотрел на Кречева, а уж потом, сменив выражение, расплываясь в лучезарной улыбке, обернулся к Возвышаеву.

– Я вам не либерал.

– Ты хуже. Ты примиренец, играющий на руку правым элементам. Учти, Кречев, если еще раз заметим, что ты занимаешься попустительством, снимем с работы с оргвыводами, – сказал Возвышаев.

В нахолодавший кабинет вошли Радимов с Чубуковым, за ними, кутаясь в шаль, вошла Зоя. На ней были белые валенки и вязаная кофта.

– Ой, как вы тут можете? – сказала она. – Тараканов, что ли, морозите?

– Там Кадыков дожидается, который из Пантюхина, – сказал Чубуков, закрывая окно.

– Ладно, хорошо поработали, – сказал Возвышаев, пожимая руку Зенину. – Значит, до утра. Быть всем в Совете в шесть часов! И учти, Кречев, раскулачивать без мерехлюндий.

– Есть без мерехлюндий, – ответил тот по-военному и мешковато обернулся уходить.

– А ты сам проследи, чтоб во главе групп по раскулачиванию не было знакомых или приятелей кулаков.

– Принцип революционной бдительности и беспощадности будет строго соблюден, – ответил Зенин, прощаясь.

– Орел! – изрек Возвышаев, кивая на дверь, после того, как она закрылась за Кречевым и Зениным.

– Там Кадыков дожидается, – напомнил опять Чубуков.

– Хрен с ним, пусть постоит. – Возвышаев, довольный, потер руки и прошелся по кабинету. – По тому, как мы проведем эту операцию, дорогие товарищи, народ будет судить о нашем неуклонном движении вперед к счастливому будущему без эксплуатации и мироедов. А враги наши пусть содрогнутся не только повсюду на земле, но и в гробах.

– Это нам – раз плюнуть, – отозвался Радимов.

Чубуков, закрыв окно, раскуривал свою трубку, шумно, с потрескиванием посасывал ее. На всех на них были новенькие суконные командирские гимнастерки цвета хаки. Накануне Нового года все это добро завезли в районный распределитель.

Кадыков вошел без стука и, поздоровавшись, спросил от порога:

– Донесение кому сдавать?

– Ты как в лавку ворвался... без спроса, без стука, – проворчал Возвышаев. – Привыкли там, у себя в милиции, к разгильдяйству.

– Мне сказали, что сюда сдавать, вот я и вошел, – Кадыков протянул листок.

– А что это за список? – спросил Возвышаев, принимая бумагу. – Это не список, а плевок на всесоюзное мероприятие. Один кулак на все село?!

– Один. Мельник Галактионов. Больше кулаков нет.

– Это кто вам сказал? Зачем вас послали в Пантюхино? Колхоз создавать или кулаков прикрывать? – загремел Возвышаев.

– Вы на меня не кричите. Не то я повернусь и выйду. – Кадыков вскинул подбородок и насупился. – Это решение пантюхинского актива. Нет у нас больше богатых людей. Село бедное.

– А я вам повторяю: райштаб послал вас в Пантюхино не для того, чтобы определить – бедное село или богатое, а для выявления кулаков. Где у вас кулаки?

– В штанах у меня прячутся. На, обыщи!

– Возьми ты его за рупь за сорок... Да понимаешь ли ты, голова два уха, что есть завтрашний день? – Возвышаев сунул руки в карманы галифе, покачался перед Кадыковым, подымаясь на носки и, насладившись мертвой тишиной, назидательно изрек: – Завтрашний день есть исторический рубеж перехода в иную формацию. Понял?

– Нет, не понял, – ответил Кадыков.

– С завтрашнего дня начинается великий перелом, как сказал товарищ Сталин.

– Кто был ничем, тот станет всем! – подхватил Радимов и загоготал.

– Вот именно! – Возвышаев вынул одну руку из кармана и погрозил Кадыкову пальцем: – Кто этот исторический рубеж не в силах перешагнуть, тот будет отброшен в арьергард наступательным порывом пролетариата в союзе с беднейшим слоем крестьянства. То есть он окажется в хвосте событий заодно с правыми элементами. Понял? У нас так: либо туда, либо сюда, промежуточной фазы не терпим.

– Не понимаю, в чем вы меня обвиняете?

– А в том, что вы остановились на пороге событий.



– Дан вон он, порог-то, позади остался. – Кадыков кивнул на дверь.

– Не прикидывайтесь мальчиком из купеческого магазина. Времена не те. Наступила пора спрашивать и отвечать. Вот так. Спрашиваю я, а вы отвечайте. Почему не выявлены в вашем селе кулаки?

– Нет же их! Один мельник Галактионов. Больше нет.

– А поп, дьякон, псаломщик, староста церковный? А лавочники? Волгари-отходники!

– Попа посадили. Один лавочник разорился, второй сбежал. Дьякон – кладет деньги на кон. Он пьяница у нас.

– Что ж у вас, нет ни одного порядочного человека на всем селе? – спросил Радимов.

– Не то, что человека, у них ни одной порядочной лошади нет, – отозвался с подоконника Чубуков.

– Ладно... Допустим, – сказал Возвышаев, возвращаясь к своему столу, – попа посадили. А где весь церковный причт? Вот и внесите его в список. И потом этих самых, волгарей-отходников.

– А чего брать у этих волгарей? – спросил Кадыков.

– Посоветайтесь и найдете, чего брать. Они у вас вроде бы селедкой торгуют. Вот и обложите их налогом или отберите селедку. Не то открыли местный промысел. Срамота! Пойдешь на базар – а от них за версту ржавчиной воняет.

– Дак базар-то закрылся.

– Откроется! Не беспокойтесь. Так что составьте список заново. Утром явитесь сюда, поедете в Степаново с другой группой. А кампанию по раскулачиванию в вашем селе проведет председатель сельсовета.

– Он третий день пьянствует вместе с этим дьяконом, – сказал Кадыков.

– Как? Он двадцатипяти тысячник! Он только из Рязани приехал? Ты не врешь? Когда ж он успел запить? – Возвышаев с подозрением глядел на Кадыкова.

– Как приехал, так и запил. Не верите, сходите проверьте. Сперва у попадьи пил, потом перешел к псаломщику, а эту неделю от дьякона не вылезал.

– Где ж вы его поселили?

– Нигде. Я ему говорю – живи хоть у меня. А он говорит: я человек легкий, где ночь застанет, там и пересплю. Он вроде бы из столяров. В Рязани, говорят, по домам ходил, подряды брал. И тут пошел по домам.

– Радимов, придется тебе завтра подключиться к пантюхинцам. Поможешь организовать кампанию.

– За нами дело не станет, – отозвался Радимов.

Растворилась дверь, и вошел припорошенный снежком Ашихмин. Он снял с головы серую с кожаным верхом кубанку и кинул ее на диван. Довольно потирая руки, хозяйской походкой прошелся по кабинету и радостно изрек:

– Ну-с, фонарики-сударики, вот как надо работать! Полную пожарку натолкал. И мужиков, и баб – всякой твари по паре.

– Эксцессов не было? – спросил Возвышаев.

– Какие там эксцессы! Бабы пошумели да повыли. Это бывает. А мужики молчат да посапывают.

– Сколько взяли баб? – спросил Радимов.

– А всех, которых ты засудил. Одна зараза исхудалая, злая, что цепной кобель! Все за полушубок меня хватала. Вот ен, где кулак-то, говорит. Вот кого кулачить надо.

А я ей – отчепись! Ты, говорю, полапала жену Зенина и схватила пятнадцать суток. А за меня десять лет получишь. Как контра пойдешь, говорю. А она мне – подойдет, говорит, время – свяжут вас с Зениным за муде и пустят по полой воде. Вот зараза! Ничего не боится.

– Это Авдотья Сипунова, – хмыкнул Радимов. – Когда я им зачитал приговор... По пятнадцать суток, говорю, за нападение на жену активиста. Она, эта Авдотья, мне говорит: мы вашу активистку в дерьме вымажем и по селу проведем.

– Дал бы ей года три в назидание потомкам, – сказал Возвышаев.

– Если б она что-нибудь против власти сказала. А то матерщина, мелкое хулиганство и больше ничего.

– А как Бородин себя вел? – спросил Возвышаев.

– Этот в усы фыркал, как кот. Все над нашей теорией посмеивался.

– А вот за это можно и дело оформить, – сказал Радимов.

– Он же не впрямую. Скользкий тип, все обиняком говорил. Не то я бы ему припаял... Ну, как бы там ни было, а дело сделано. Репетичку провели перед завтрашним мероприятием. Теперь и выпить не грех. – Ашихмин вдруг заметил Кадыкова: – Простите, а с этим товарищем мы не знакомы.

– Это из Пантюхина, – сказал Возвышаев, и Кадыкову: – Ты все понял? Ступай! Завтра к шести утра быть здесь.

Кадыков вышел. Возвышаев почесал за ухом и сказал Ашихмину:

– Наум Османович, а этих, ваших арестованных, придется выпускать. Завтра утром в пожарку пойдут кулаки, которых берем по первой категории.

– А тюрьма на что?

– Озимов заупрямился. Мне, говорит, воров некуда девать. Да и что у нас за тюрьма? В ней всего четыре места. А мы берем по первой категории сорок человек. В пожарку и то всех не поместишь. Придется еще и в склад сажать. Там у нас раньше артельная лавка была. Здание крепкое, не убегут.

– Делайте как знаете. Вам виднее. Только сперва пожрать надо. Вон, уже двенадцатый час, а я с обеда не емши.

– Радимов, может, к сорокам пойдём? – спросил Чубуков. – Там и повеселиться можно.

– Они ж уехали в Лысуху. А при моей жене не больно повеселишься. Ты думаешь – она мне поверит, что с заседания пришли? Скажет – кобелировали. До утра доказывать придется.

– Ладно, пошли ко мне, – сказал Возвышаев. – Я холостой, мне отчитываться не надо. Водка есть, и закуска найдется. – Он перешел к угловой вешалке, где висел его полушубок, и сказал секретарше: – Зоя, держи ухо востро. Все телефонограммы записывай в книгу и обязательно выверяй. Смотри не засни! Часа в два приду, подменю тебя.

Возвышаев родом был из Виленской губернии; отец его держал на большой дороге корчму и лавку, скупал у евреев-тряпичников всякий хлам, прессовал его в тюки и отвозил на ткацкую фабрику. Торговал еще дегтем, лесом, патокой, зерном. Сыну своему, Никанору, любил говаривать:

– Торговля, сынок, тем и хороша, что ты силу свою чуешь, власть над людьми. Тому в долг поверил, тому займы дал, того в компанию принял. И каждого видишь насквозь: иной и хорохорится, а платить нечем, и водишь его, как шелешпера на уде, –

хочу – дам подышать, а хочу и – насухо выброшу.

– Зачем она, власть-то? – спрашивал Никанор.

– А чтоб тебя все боялись, – отвечал отец. – Мир держится на страхе – либо ты боишься, либо тебя боятся.

Эту истину Никанор Степанович крепко запомнил. И когда в реальном училище учился, и когда учителем работал, и когда в армии в унтерах служил, и потом – в красных комиссарах, всюду замечал, что без страха нет никакой дисциплины, а стало быть, и не может быть никакого порядка. А порядок – основа основ и в жизни каждого человека, и даже в жизни целого государства. Когда рушится порядок, все идет колесом.

К четырнадцатому году отец его так разбогател, что мечтал переехать в город, купить собственный дом и открыть торговлю с размахом на купеческий лад. Но пришла война, дорогу забили войска и беженцы, торговля упала, а там и немцы, гляди, нагрянут. Под немцем Возвышаевым оставаться не хотелось – во-первых, немцы, по рассказам, народ строгий, подати накладывают большие; во-вторых, кругом литва некрещеная, мало того что на добро твое зарятся, но, гляди, еще и жизни лишат.

И подались Возвышаевы в Россию, надеялись: схлынет война – вернуться. Лавка пошла за бесценок. Корчму сдали на казенный кошт войскам для постоя. Не с подорожными бродягами двинулись на восток, а поехали поездом, как порядочные люди. В далекой Рязанской губернии, в городе Спасске, купили бакалейную лавку с деревянным верхом для жилья. Думали, что, торгуя, и время скоротают, и капитал сохранят. Не повезло – сгорела начисто целая улица, где стоял их дом. И пришлось самому хозяину идти на пристань грузчиком, а в зимнее время – рубить лес и жечь уголь. В восемнадцатом году, когда Никанор вступил в партию, он был уже чистым пролетарием. Подфартило Никанору с биографией: на законном основании писал он, что был сыном пролетария, бывшим учителем, красным комиссаром...

Но из-за этой проклятой косины не приняли его в высшую кав. школу. Потом демобилизовали... Жена попалась капризной да гулящей. Отказалась ехать из Крыма в Рязанскую губернию, куда направили его после демобилизации. Пришлось алименты платить дочери, да родителям посылать, да брату помогать учиться. Долгие годы служил он в захолустной волости, сидел на семидесяти рублях. И понял, что вся его сила, вся его власть – в продвижении, а это значит – безупречная служба. Чем суровее он будет в деле, тем устойчивее его положение. Больше ему рассчитывать не на что...

Квартирная хозяйка его Гликерия Банчиха встретила всю компанию недовольным ворчанием:

– Эко вас черти по ночам таскают, – бормотала она в сенях, идя впереди гостей в избу.

– Ты, Гликерия Ивановна, таганок бы нам развела да поджарила бы картошки, – сказал Возвышаев.

– А то ни што! Таганок вам, непутевым, в полночь разводить. Поедите и холодное...

Сели за стол, в переднем углу, под божницей. Возвышаев принес из чулана две бутылки водки, колбасы нарезал; Банчиха слезила в подпол, достала квашеной капусты и огурцов, картошки холодной поставила в жаровне, потом загремела самоварной трубой, смилостивилась:

– Хоть и грех в полночь чертей на огонь сзывать... Да ладно уж, самовар поставлю...

– А мы не боимся чертей-то! Пусть слетаются, – бодро сказал Ашихмин.

– Знамо, – согласилась Банчиха, – вы сами антихристы. Одной канпании с чертями.

– Хх-а! – покачал головой Ашихмин. – Никакой воспитательной работы не проводишь ты в домашней обстановке. Учти, Возвышаев, коммунист начинается с подъема, с постели, а не только в кабинете.

– А что, и в постели на коммуниста норма выработки полагается? – гоготнул Радимов.

– Тебе и в постель подай, что пожирнее, – проворчал Возвышаев.

– И потолще, – просипел Чубуков, и все долго смеялись, довольные своим остроумием.

У Возвышаева не оказалось ни рюмок, ни стопок, разливали по граненым стаканам. По полному. И выпили залпом...

Выпитая на пустой желудок водка быстро ударила в голову, развязала языки, Возвышаеву все хотелось отметить торжественность момента, наступающий «великий перелом», и он, кося глазом в сторону и вверх, на божницу, кому-то грозил:

– Это им не мирная теория вращающегося кулака в социализм. Здесь открытый бой, последний и решающий. Мы долго жили со связанными руками. Какая может быть революционная борьба за перестроение всего уклада, когда всякий мироед разгуливает у тебя перед глазами, а ты его пальцем тронуть не имеешь права? Ведь хочешь ты это признавать или не хочешь, а в социализм мы топали в теплой компании с кулаком и либералом, а проще говоря – с правыми элементами. И вот что противно, нас тут, на местах, сдерживали своими циркулярами высокие защитники этих правых.

– Да, это верно... Долго в цепях нас держали, как в песне поется. – Ашихмин обвел застолу блестевшими от возбуждения глазами. – Думаете, вам здесь было труднее, чем там, наверху? Нет, дорогие товарищи, ошибаетесь. Нам, разрабатывающим теорию классовой борьбы в текущий момент, было еще труднее. Замечательный теоретик, секретарь ЦК, товарищ Преображенский еще в двадцать четвертом году в своей знаменитой брошюре доказал, что деревня, то есть богатая часть ее, должна стать тем капиталом, который надо потратить для построения социализма. А откуда еще взять этот капитал? Ведь колоний теперь у нас нет. Ту самую роль, которую играли при капитализме колонии, теперь должна сыграть деревня. Иного выхода нет. Но вся эта сволочь во главе с Бухариным подняла вопли: как? вернуться к военному коммунизму? Средняка обидели, кулака жаль! Ну ты сегодня пожалей кулака, а завтра он тебе горло перережет. Ведь говорили же им, говорили! Так нет, не послушали. Самого товарища Преображенского за борт! Троцкистом объявили. Да мало ли светлых голов, непримиримых борцов за истинный социализм посписывали со счета... Но товарищ Сталин теперь всех восстановил: и Пятакова, и Смилгу, и Преображенского. Наконец-то разобрались, кто враг, а кто друг. И теперь враги наши на собственной шее почувствуют наш объединенный удар.

– Это кому ж вы собрались шею-то мять на ночь глядя? – спросила Банчиха с печки.

– Ты, старая, посапывай в две ноздри. Не то я тебя за ноги стащу и на мороз выставлю, – сказал Радимов.

– Ах ты, собачий твой корень! Да я тебя сама выгоню. Вон, возьму кочергу и по башке.

– Я собачий корень? Да я тебя, в душу мать... – Радимов вскочил из-за стола.

– Охолони малость! – осадил его Возвышаев. – Сядь! Во-первых, ты у меня в гостях и не лезь в пекло поперед батьки. А во-вторых, с представителем беднейшего крестьянства разговоры вести в тоне разъяснения и убеждения, а не грубым окриком.

– Какая она беднейшее крестьянство? – ярился Радимов. – Это ж чистой воды кулацкое отродье. Или подкулачник.

– Вот вы и есть татарское отродье... Сказано – незванный гость хуже татарина, – ворчала свое с печи Банчиха.

– Опять! – грохнул табуреткой Радимов.

– Тише, тише...

– Я тебя не понимаю, Возвышаев, – сказал Ашихмин. – Ты вроде бы прикрываешь вылазки шовиниста...

– Какой она тебе шовинист? Это ж русская поговорка обзывать татаринном.

– Хорошенькая поговорка! За такие поговорки судить надо по статье...

– Гляди-ка, какой вострый! Откелева он залетел к нам, этот воробей?.. Ишь перья-то распустил! Чирикает.

– Гликерия Ивановна, вы давайте без выпадов и оскорблений. Как-никак – все ж они гости, – посовестил ее Возвышаев.

– Гости гложут кости. А эти – сами за стол, а хозяйку в хлев норовят запереть. Это не гости, а разбойники с большой дороги.

Чубуков вынул изо рта трубку и сказал:

– Никанор Степанович, или ты уйми эту ведьму сам, или я ее в сугроб, а трубку вставлю в заднее место, чтоб не задохнулась. Слышь ты, кочерга старая? В бога мать...

– Ах вы, оторвяги каторжные! Сидят под божницей, в красном углу, и в бога костерят...

Банчиха коlobком скатилась с печки, прошмыгнула под занавеску в чулан и вдруг вымахнула оттуда с ухватом наперевес, как с рогатиной:

– Вон из моего дома, супостаты краснорожие! Или счас караул закричу. Все село соберу... Пусть народ полюбуется – чем вы тут занимаетесь посреди ночи...

Не ожидав такого скверного оборота, веселая компания смолкла, как пораженная громом, – все смотрели на Возвышаева с неммым вопросом и осуждением.

– Ладно, Гликерия Ивановна! – примиряюще сказал он, обращаясь к хозяйке. – Ну, погорячились ребята малость... Так ведь целый день не евши. Вот и опьянели со стакана. А пьяный, что малый. Какой с него спрос? Успокойся да и полезай на печь.

– Ишь ты, ягненком заблеял. Присмирели... Нет уж, дудки! Меня такие оборотни не разжалобят. И черт котенком прикидывается. Уходитя! – Она постучала ухватом в пол, подошла к порогу и ухватила за дверную ручку. – Уходитя! Или счас иду к соседям. Всех соберу...

– Ладно, уйдем!.. – сказал Ашихмин, вставая. – Но учти, Возвышаев, эти выпады мы оформим по всем статьям. Вот они, свидетели, подпишут. И посадим эту ведьму.

– Мотри, сам не сядь в лужу посреди дороги, – крикнула от порога Банчиха.

– Хватит шуметь! – успокаивал ее Возвышаев. – Обидели, бедную. Нехорошо из своего дома прогонять гостей.

– Это не гости, а шаромыжники...

– Пошли, пошли! – поторапливал Ашихмин, берясь за полушубок. – Это уж не хулиганство, а сознательный выпад. Ну, мы ей покажем...

– Водку заberi! – сказал Радимов Возвышаеву. – В кабинете допьем.

- А стаканы? – спросил Чубуков.
- Стаканы не трожьтя! – крикнула от порога Банчиха.
- Хрен с ними, – сказал Возвышаев, вставая. – Обойдемся крышкой от графина.

## 12

Гордеевский подрядчик Федор Звонцов ночью приехал в санках на хутор к Черному Барину. Заиндевевшего в пахах рысака привязал к плетню, накрыл тулупом и постучал кнутовищем в окно.

Сперва вспыхнул свет в избе. Потом на крыльцо вышел Горбун в накинутом на голову, точно шаль, полушубке. Отталкивая назад, в сени, рвавшегося с глухим сиплым лаем старого кобеля, спросил:

- Кого там нелегкая принесла?
- Ты что, Сидор, своих не узнаешь? – ринулся от окна приезжий. – Я ж Звонцов, из Гордеева. Мокей Иваныч дома?
- Федор Тихоныч? Проходитя в избу...

Сидор взял собаку за ошейник и пошел впереди. В избе горела висячая лампа, тускло освещая голые стены, на которых висели на гвоздях шубы, шапки, хомуты и седелки вперемешку с пучками засушенной травы. В переднем углу была божница с богатыми иконами в серебряном окладе, с которых взыскующе смотрели строгие темные лики.

У Черного Барина оказался Васька Сноп; с печки слез взъерошенный, со вздыбленными нечесаными волосами, с опухшим лицом, спал в портках и в валенках. И хозяин сам телогрейки на ночь не снял, тоже валялся в валенках на кровати. Видно было по всему, что завалились спать в чем были, крепко набрамшись. На столе стояли пустая четверть да высокая глиняная поставка с медовухой: огрызки хлеба валялись по столу, на деревянных тарелках лежали соленые огурцы, капуста квашеная, яблоки моченые.

- С какой радости пировали? – спросил Звонцов.

Хозяин, тяжело опираясь на локти, привстал с кровати:

- погоди до утра – завтра сам узнаешь.
- А я не хочу годить. Затем и приехал...

Черный Барин, как бык, подминая поскрипывающие половицы, прошел к столу, сел на скамью, кивком головы приглашая остальных. У него были рыжие с проседью короткие усы и темное морщинистое лицо. Возле отлежанного красного уха в седых волосах торчало черное перо, видно, из подушки, ворот синей косоворотки осел и скрутился жгутом. Глядел он хмуро красноватыми, как у старого кобеля, глазками; тот лежал у порога, бдительно смотрел на Звонцова, и казалось, что вот-вот забрешет.

– Квашнина посадили, – сказал хозяин, – вон, Васька приехал... В ихнем районе уже началось.

– самого в тюрьму посадили, в Пугасове... а детей, жену, тещу отвезли в теплушки. На путях стоят... С собой ничего не велели брать. Взяли их – кто в чем был. – Сноп присел на край скамьи и тупо глядел куда-то в дальний угол, словно думал совсем не о том, про что говорил.

- А хутор? – спросил Звонцов.
- Туда отобранных лошадей сводют, – ответил Васька. – Ссыпной пункт хотят сделать.
- Дак чего ж! И мы ждть будем, когда нас повезут на убой, как баранов? –

спросил Звонцов и со злостью сильно выдохнул, потом выругался.

– А что поделаешь? Плетью обуха не перешибешь, – как бы на свои мысли ответил Черный Барин.

– Ты хоть замахнись! Покажи, что человек, а не безответная скотина.

– На кого же замахиваться?

– Как на кого? На всю эту сволочь... Башки им сворачивать надо и отбрасывать прочь, – Звонцов скрежетнул зубами, бросил с силой об пол кнут и застонал, мотая головой.

– Кто им башки сносить будет? Кто? Я да ты, да мы с тобой?

– Как кто? Ты, верно, ослеп и оглох на своем хуторе? Весь народ колобродит, как брага в кувшине. Того и гляди, стенки разорвет. Погоди малость – увидишь, какое веселье пойдет. Вот погоди... Нас уберут – и за народ примутся, начнут всех бузовать в колхоз. Тогда и начнется.

– Не пойму чтой-то... Мы-то с тобой с какого бока припека? Пока наши мужики раскачаются – нас и вспоминать не будут.

– А чтоб не позабыли про нас, мы им всем покажем кузькину мать. Дворы наши пожжем, чтоб ни нам, ни им. А сами уйдем в лес.

– Куда в лес? – Черный Барин ворохнулся, как спросонья, и удивленно посмотрел на Звонцова.

– За кудыкины горы... Чай, у тебя найдется укромное местечко, как-никак – на краю леса живешь. Затем и приехал к тебе.

– Пустое дело, Федор. Мы не медведи, в лесу не проживем.

– Я ж те говорю – на время схорониться. А начнется – тогда поглядим. – Звонцов азартно подался грудью на стол. – Мокей Иваныч, посадят ведь! Все равно конец решающий подходит для нас с тобой. А ежели помирать, так с музыкой. Запалим... туды ее в душу мать! А-а? Пусть веселятся...

– А грех-то, грех на душу ляжет... Как с грехом-то быть, а? – спросил Горбун, он как вошел, так и стоял у порога, ухватясь одной рукой за спинку деревянной кровати. Голова его чуть возвышалась над этой спинкой, но руки были длинные, сильные и плечи широкие, а губы вперед и навыворот, как у мулата.

– Ты молчи, блаженный! – цыкнул на него Звонцов. – Тебя все равно не тронут, как убогого. Пойдешь по миру с сумой, молиться станешь, грехи наши замаливать.

– Нет, Федор, в таком деле я тебе не помощник, – сказал Черный Барин, глядя на свои руки, сложенные крестом на столе. – Сжечь все, что сам обтесывал, выкладывал по бревнышку... А сад, питомник? Ежели спалить дом, и сад погибнет. Кто за ним тут будет присматривать?

– Эх, голова два уха! Да ты что, спишь? Не до поросят, когда свинью палить тащат. С самого голову сымут, а ты об саде заботишься!

– Я не бессмертный. Рано или поздно – все равно помру. А сад пущай стоит. Это живое дело. Дерево, оно от бога. И само по себе ценность имеет, и людям на радость.

– Истинно, Мокей! Право слово, истинно! – сказал Сидор.

– О, кулугуры упрямые! – выругался Звонцов. – Их, как баранов, на убой поведут, а они заботятся, чтобы хлев опосля них в запустение не пришел. Эх-х вы, агнцы божие! Оттого и бесы разгулялись, что такие вот беззубые потачку им дают, нет чтоб по рогам их, по рогам. – Он стукнул дважды кулаком по столу. – Да все пожечь, так чтобы шерсть у них затрещала... Глядишь – и провалились бы они в преисподнюю.

– Нет, Федор, подымать руку на людское добро – значит самому бесом

становиться...

– О душе-то, о душе подумай! – сказал опять свое Сидор.

Мокей Иванович тоскливо взглянул на брата и вздохнул, а Звонцов крикнул в лицо Черному Барину:

– Значит, все им отдать? Передать из рук в руки? Так лучше, да?

– На все воля божья, – ответил тот. – Но руки подымать на свое добро не стану. Грех.

– Ну, ну... Давайте, топайте в рай в сопровождении милиционера. – Звонцов встал, поднял кнут, щелкнул им в воздухе и выругался: – Так иху мать! От меня они не разживутся. Пойду – и все пуцу на воздух.

– А ты об жене подумал? – спросил Мокей Иванович. – Сам в лес, а ее куда?

– К сыну ее отправил в Нижний. – Звонцов опустил голову, помолчал. – Поди, до них не доберутся? – Потом махнул рукой: – А, всем один конец. Я пошел...

– Спаси тебя Христос! – Сидор занес руку с двоеперстием.

Но Звонцов отстранил его крутовищем:

– Да пошел ты!.. – И вышел, хлопнув дверью.

На улице валил снег, метелило. И тулуп, и грива лошади побелели. Звонцов отряхнул рукавицей гриву, снял тулуп, бросил его в санки и, отвязав вожжи от изгороди, еле успел повалиться на бок, накрыть ускользящие санки – Маяк взял с места рысью.

«Ах, Федор Звонцов, Федор Звонцов! Думал ли ты, что доживешь до такого дня, когда руку свою занесешь на собственное добро? Зверем побежишь из родного села в лесную глушь хорониться от глаза людского. Людей добрых подбивать станешь на злое дело, скотину невинную, тварь бессловесную огню предашь. И свет белый станет не милым, и жизнь тягостной, невыносимой...» – думал про себя, рассуждал, спрашивал себя же, как постороннего человека, Федор Тихонович...

Вспоминался ему восемнадцатый год, самое начало новой жизни. Он – еще молодой и крепкий тридцатипятилетний мужик, из унтеров, прошедший всю войну, вернулся домой самоходкой. Здесь верховодили левые эсеры; и милиция, и Совет – все было в их руках. Впрочем, всех их называли одним словом – социалисты. Называли с почтением, с восторгом. Как же! Они заступники народные. Землю делили по едокам, добро барское раздавали. Федор Тихонович с ходу пошел в дело – старого князя выселил из большого дома. У того уж ноги отнялись от старости – в коляске ездил, кормила и обихаживала его экономка Устинья, гордеевская баба.

«Куда вы его перетаскиваете, ироды! – шумела она на гордеевских мужиков. – Дайте человеку помереть спокойно. Ему больше одной комнаты и не надо».

«Возьми его себе в избу заместо телка, – смеялись мужики. – Не все ли равно тебе, где подтирать – в своей избе или в барском доме». И он смеялся, Федор Звонцов. Молодой, крепкий... Вся власть таперика наша, чего хочу, того и клочу...

Он даже на эсеровском съезде был в селе Степанове. На том самом съезде, который высмеял тихановский начетчик Иван Петухов по прозвищу Куриный Апостол – «Собаки лают – ветер уносит». И забирал его Федор Звонцов, понятным приходил с милицией. И злил его невозмутимостью своей, непостижимым спокойствием этот Куриный Апостол. «Дед, чего ты посмеиваешься? И книжки твои, и тебя забираем, понял?» – говорили ему. А он в ответ: «Беритя, беритя! Дураки вы, робятки, дураки и есть... Сперва меня заберете, потом вас возьмут. Вон у меня старуха картошку в подполе выбирает: с осени покрупнее берет, а к весне, когда поголоднее, и



мелочь забирает... Так вот... Сперва меня, а время подойдет полютее – и вас, мелочь пузатую, заберут». Вот те и Куриный Апостол! Он и впрямь обернулся Иваном-пророком. А ведь смеялись над ним, как над шутком гороховым.

Но были времена, когда Федору Звонцову было не до смеха; летом восемнадцатого года он уже в Красной Армии служил, усмирял офицеров на Дону, потом на Кубани... Гонялся за казацкими шайками, громил мятежные станицы. Под Новороссийском попали в окружение, а потом и в плен к белым. Ходил все лето девятнадцатого голодранцем, босым, копался в помойных ямах, побирался. Видел, как расстреливали матросов на окраине Новороссийска... Полный ров набили, больше тысячи. Прапорщик молоденький, худенький – соплей перешибить... И револьверчик у него вроде игрушечный. Подойдет к матросу, щелк ему в затылок – и в яму. И зарыть как следует не сумели – те суток двое ворочались в этом рву. Потом разлагаться начали, вонять. Их же, пленных солдат, заставили выкапывать убитых и хоронить где подальше... На этой работенке и осатанел Звонцов. Потом, когда отбили у белых Новороссийск, на вопрос: «Кто добровольно желает расстреливать офицеров?» – Звонцов вышел первым.

И так ему обрыдло на этой войне, так надоело слушать команду и самому гавкать, что, придя домой, он отказался от всякой службы. А предлагали ему работать и в сельском Совете, и даже в волости...

Был он смекалист и мастер на все руки – и плотничал, и штукатурил, и сапоги тачал, и бондарничал. Потом бригаду сколотил, подряды брал... Зажил на широкую ногу. Дом себе поставил пятистенный, двенадцать на десять аршин, на каменном фундаменте, под железной крышей, под зеленой. Строился в двадцать втором году, когда все на пуды покупали. За одни тесины под наличники заплатил двенадцать пудов проса. Зато уж и наличники получились во всю стену, как вологодские кружева...

Ехал Звонцов домой по лесной дороге, занесенной рыхлым снежком, как лебяжьим пухом, – ни скрипа, ни стука, ни раскатов, только глухое пощелкивание подков о невидимый санный путь, всхрапывание рысака, идущего машистой рысью.

Когда подъезжал к селу, в белесовато-мутном небе показалась тусклая, расплывчатая луна, словно кто рядом на нее накиннул. Ветер поутих, но снежок все летел на землю, медленно кружась и снова разлетаясь, подкинутый ударами лошадиных копыт. «Это хорошо, что снежок идет, – думал Звонцов, – не успеешь от села отъехать, как и след занесет». Он решил податься в лесную деревеньку Новый Свет к сотоварищу своему по бондарным делам, куму Яшке.

В Гордеево въехал глубокой ночью – ни одна собака не гавкнула, будто вымерло село. Маяк одним дыхом пронес его по селу, сам свернул к дому и замер у тесовых ворот, кося глазом на хозяина и поигрывая ноздрями, тихонько заржал.

– Нет, брат, погоди... На двор тебе пути заказаны, – сказал вслух Звонцов, вылезая из санок. – Нет у нас с тобой больше ни двора, ни дома. Вот так, Маячок... Поедем дальше... К чужим людям горе мыкать.

Звонцов бросил вожжи и, не привязывая лошадь, прошел в сени. Сперва вынес седло и неполный мешок овса. Мешок поставил перед мордой жеребца и, пока тот ел, распряг его и приторочил на спину ему седло.

Потом спустился в подпол, достал бидон с керосином, вышел во двор. С подворья прошел в сарай – здесь было тепло и сумрачно. Вычеркнул спичку. В шатком мигающем свете увидел корову с телком, стоявших в углу, овец, брызнувших от него к

дальней стенке, – те смотрели на него настороженно, недвижно и только хвостами дрыгали.

Почуяли, поди, зачем пришел... Ишь, как уши наострили. Вот и дожил, Федор... Злодеем обернулся для своей же скотины. Пришел, как вор, как душегубец, на собственный двор.

Звонцов залез по лестнице на сушилы, снял охапку сена, положил ее возле ворот и поджег. Ворота притворил, чтоб до поры огонь не заметили с улицы.

На пороге в сенях услышал тревожное мычание коровы, сердце больно сжалось и зачастило, отдаваясь где-то в глотке. Приостановился, простонал глухо, как раненый зверь... покачался, сцепив зубы... Но нет, не вернулся назад, пересилил себя, хлопнул избяной дверью, пошел на выход.

Маяк, накрытый тулупом, спокойно ел овес из мешка. Звонцов резко дернул за повод, оторвал лошадиную морду от овса, завязал мешок и кинул его на холку жеребцу. Ухватился за стремя и вдруг заметил санки. Мать перемать... Достанутся какому-нибудь риковскому начальнику. Ну уж, дудки!

Санки были беговые, с выносным полозом, с гнутыми железными копылами, с плетеным расписным задником. Игрушка – не санки. И чтоб такое добро оставить на улице?

Кряхтя и матерясь, Звонцов перелез через высокий тесовый забор на подворье, открыл наружные ворота, взял за оглобли санки и притянул их, прислонил к самому сараю. Там, в сарае, что-то гудело и потрескивало, всюду бушевало пламя, бросая в щели притвора и в подворотню дрожащие багровые отсветы. Трубила протяжно корова, блеяли овцы, прядали, бились о дощатые стенки. Звонцов, пятясь задом, словно с перепугу, вышел с подворья, закрыл за собой наружные ворота, прыгнул в седло и вылетел из села галопом.

Прокопа Алдонины забрали вечером, в тот самый момент, когда он собирался как следует поработать – порастолкать да попрятать куда подальше свое добро, чтобы встретить утречком ранним незваных гостей. Что гости нагрянут, знал наверняка – Бородин шепнул ему. Позавидовал Прокоп Сеньке Дубку, церковному старосте, – тот загодя все растащил. Когда забирали отца Афанасия, Семен в церковь проник – у него ключи вторые были – и за ночь обчистил ее за милую душу. Утром власти явились – опись составлять. Где церковная утварь? Позвать сюда старосту! Привели Дубка. А я почем знаю, говорит. За нее поп отвечал. Дело было осенью, ни следов не оставил, ни примет. Поди докажи...

А утварь была богатая – один крест чего стоил! Золотой, с дорогими камнями. Ваза серебряная, крапильня. А сколько блюд дорогих! И деньги были...

«Семен – атлет. Заранее все учуял. А я ушами прохлопал», – с досадой думал Прокоп.

Когда узнал он, что его громить будут, как на чужих ногах, еле до дома дошел. Хоть посреди улицы ложись и вой. Матрена – баба сырая – и так нерасторопная, а тут – села на скамью и ни с места. Только глазами хлопает да носом шмыгает. «Куда все девать? Что делать?» – спрашивает Прокоп. «И делать нечего, и деваться некуда. Одно слово – конец приходит решающий...» – «Ну, нет! Не на того напали...»

Прокоп запряг лошадь и по-темному, через задние ворота, вывез на одоньи двигатель и зарыл его там в солому. Успел ружья спрятать в наружную защитку сарая, чтоб легче взять, ежели из дома выгонят... Хотел еще сундук Андрею Ивановичу

свезти, да лошадей отогнать в Климушу, другу-однополчанину, да хлеб зарыть в сарае...

И вдруг – пришли вечером, Якуша науськал: «Прокоп за ночь и добро растащит, и сам сбежит». Ашихмин с Левкой Головастым свели его в пожарку под охрану Кулька. В пожарке встретили песней:

Идет, иде-о-от наш ненагляа-а-адный  
И хрен воротится на-зад...

В пожарке на голой кирпичной стене висел фонарь «летучая мышь». Возле пожарных бочек, прямо на полу, на сене расположилась арестантская братия – человек десять тихановских мужиков.

Охранявший их милиционер Кулек сидел тут же, на бочке. Арестованных баб держали отдельно, в хомутной, под замком.

Главный пожарный, он же и клубный вахтер, а теперь арестованный Макар Сивый, пек картошку в горячей золе, выкатывал ее из грубки в широкую, как лопата, ладонь и, перебрасывая с руки на руку, приговаривал:

– Ну, кому с пылу с жара от архангела Макара?

– В преисподней не архангелы прислуживают, а черти, – мрачно сказал Прокоп.

– Ишь ты, какой апостол кислых щей! – удивился Макар. – Нет тебе святого причастия. Держи, Андрей Иванович! – и бросил картошку Бородину.

Кроме Андрея Ивановича тут были Четунов, Вася Соса, Тарантас, Бандей, Барабошка и Андрей Кукурай. Сидели больше все отказчики – одни отказались идти кулачить, другие – излишки сдавать. Кукурай за хулиганство попал – вымазал дегтем ворота Зенину. А Мишку Бандея забрали сразу по двум статьям: на заем не подписался и лыжи наострил – поймали возле кладбища, на паре ехал. «Ты куда?» – «К свату на крестины, в Гордеево». – «А рожь на пропой везешь?» – «Рожь на мельницу». – «Ты что, ай позабыл, что все мельницы закрыты?» – «А хрен вас знает. У вас семь пятниц на неделе». – «А ну, заворачивай оглобли!»

Рожь отвезли на ссыпной пункт, лошадей оставили на бывшем поповом дворе, а Мишку в пожарку проводили. Поймали его Чубуков с милиционером Симой; Сима на повозку сел, а Чубуков наганом подталкивал Бандея – ступай, говорит, веселее, не то люди подумают, что ты не по своей охоте рожь сдаешь.

Бандей матерился на всю пожарку:

– Мать твою перемать!.. Олух я царя небесного! Большаком поехал, а! Надо же! Не голова, а чурка с глазами. – И бил себя ладонью в лысеющую голову. – Надо бы мне, дураку, по той стороне оврага, поповым полем... Не то бы свез Пашенковым... Лучше в карты проиграть.

– Садись, Прокоп Иванович! – потянул Алдолина за полу полушубка Бородин. – В ногах правды нет.

– Еще насижусь, Андрей Иванович! Ты-то как здесь очутился?

– По ордеру... Отказался идти кулачить.

– Не пойму, что за балаган? – сказал Прокоп, качая головой. – Ладно, меня кулачить собрались, ты отказался кулачить. А вон Кукурай зачем сюда притащили?

– Я Зенину на воротах «анчихриста» написал дегтем, – вскинул тот подслеповатое лицо.

– За религиозную пропаганду пошел? – усмехнулся Бородин.

– Кукурай идет по политической линии, – отозвался от печки Макар, дую на очередную картошку. – Его бы надо к бабам в хомутную, поскольку он с ними заодно,

за церкву страдает. Да бабы отказались пущать. Сперва, говорят, охолостите его. А у нас коновала нет.

– Нащет политики прошу не выражаться, – строго предупредил с бочки Кулек.

– А ты не имеешь права разговаривать, поскольку на посту стоишь! – крикнул Бандей Кульку.

– У меня такое право – что хочу с тобой, то и сделаю, – сказал Кулек.

– Ты? Со мной? Да плевал я на тебя. Он сделает, что хочет?.. Да ты даже выгнать меня отсюда не имеешь права. Это я захочу – и начну вот над тобой изгиляться, а ты меня не выгонишь...

– Э-э, как она, как ее... Мужики, хватит ругаться. И так тошно.

– Андрей Митрич, а тебя пошто приволокли? – спросил Прокоп Барабошку.

– Не говори и не спрашивай... – Барабошка только рукой махнул, но после паузы с жаром заговорил: – Э-э, как она, как ее... Подлец Якуша Ротастенький, какой подлец!.. Доказал на меня, будто я прячу кирпич артельный в сарае тестя. Но какой же он артельный? Когда еще выкупил я его! Спросите, говорю, Успенского или Алдолина, они подтвердят. А мне говорят: те элементы лишены голоса. Их показания недействительны.

– Они всем глотку затыкают, – сказал Вася Соса. – Сами дерут и сами орут.

– Э-э, как она, как ее... Смеются! Сарай, говорят, тестя, кирпич артельный, а ты вроде за сторожа. Я берег его на дом, говорю. Не слушают: артельный кирпич, и все тут. Так и отобрали. Зенин приехал, Ротастенький да Ванятка Бородин. А мне, значит, в насмешку суют бумагу: подпиши, говорят, что добровольно сдал кирпич. Такое зло взяло... Плюнул я в рожу Зенину. Вот за это и забрали меня.

– Ротастенький – вор отпетый... А Ванятка Бородин... Мать его перемать! – заскрипел зубами Вася Соса. – Не при тебе будь сказано, Андрей Иванович... Все ж таки он тебе братец. Ему бы не только яблони посечь – голову оторвать и бросить в болото.

– Попрошу прекратить выпады нащет политических угроз! – повысил голос Кулек.

– Да пошел ты к... – Вася выругался, опять скрипнул зубами и стукнул пятерней себя по коленке.

– Что Ванятка? Не в нем суть. Не сивый мерин, так чалый найдется. Все равно запрягут и поедут, – отозвался Бородин. – Ты соображай про тех, которые погоняют.

– Нет, мил моя барыня! И те, кто погоняют, и те, которые везут, – все виноваты, – живо отозвался Тарантас. – Мы вот здесь за что с тобой сидим? А за то, что телегу отказались везти с конфискованным добром. Вот если б все в один голос отказались, тогда б небось они б запели лазаря, эти погоняльщики.

– Да, тасуют нас, как колоду карт; кто против кого ляжет, тот того и за глотку берет, – сказал Андрей Иванович. – Сплошные черви козыри. Эх, воля-воля, всем горям горе, как говорил Иван-пророк, подойдет время – взыграет собачье семя. Вот оно и взыграло, и грызем друг друга...

Прокоп сел на корточки, прислонясь спиной к колесу пожарной повозки, вынул кисет, стал скручивать «козью ножку». К нему живо потянулись со всех сторон:

– Дай-качь затянуться.

– Не жизнь – тоска зеленая.

– Что ж вы на дармовщину-то летите, как мухи? Ай свой табачок бережете?

– Вы-ыкурили! – отозвался за всех Макар. – Только и смалят махру да языками

чешут.

– А чего ж делать? Каб работа была...

– Скажи спасибо, что печь топится. Вытягивает. Не то бы мы все здесь от табачного дыма задохнулись.

– А вот, мил моя барыня, кабы за стол мужика посадить энтим начальником. Скольки бы табаку он высадил за день?

– Фунт!

– Кило!

– Полпуда!!

– Насчет веса не скажу в точности... Но жалованья на табак не хватило бы.

– Женшшыны, как мухота, задыхались бы.

– Га-га-га!..

– До смеху ли теперь? – в сердцах сказал Прокоп и плюнул. – Глупый народ!

– Ото верно, Прокоп Иванович, – согласно кивнул Тарантас. – Здесь все глупцы сидят, которые отказались. Умные на печке спят, а завтра пойдут кулачить.

– Прижмут – пойдешь... Куда денешься... как она, как ее... Не один, так другой.

– А что мне другие? – вспыхнул опять Вася. – Я не хочу грех брать на душу, понял? А ежели завтра заставят тебя бить? Бить меня, к примеру? Ты чего ж, станешь бить? Чего молчишь?

– Что ты пристал к нему? – осадил Бородин Васю Сосу. – Доживем до завтра и увидим, кто кого бить станет, а кто и сдачи даст.

– У нас сдачи? Ну нет, мил моя барыня... Были мужики... А теперя не народ, а телята комолые. Их с одной палкой куда хошь загнать можно.

– Хотел бы я посмотреть, как ты палкой детей моих погонишь из дому! – покрываясь багровыми пятнами, зло проговорил Прокоп.

– А что ты сделаешь? – спросил Тарантас, угрюмо глядя на Прокопа и тоже накаляясь внутренним жаром до красноты на скулах.

– Застрелю как собаку! – сорвался на фальцет Прокоп и дернул пальцем, словно его ожгло.

Кулек, успевший задремать, при этом пронзительном окрике спрыгнул с бочки и, ошалело ворочая белками, не понимая, кто и что говорил, рывкнул сразу на всех:

– Ма-а-алчать! Не то всех пересажаю!..

– Куда? На бочку, что ли? – спросил Бородин, и все загоготали.

Прокоп встал от колеса, с видного места, и прошел в угол за печку, а Кулек снял с головы синий шлем и стал закатывать тряпичные уши, чтобы лучше слышать, потом водрузил его на самую макушку.

– Прекратите разговоры! – наконец изрек он, снял с передней стенки фонарь и отнес его, повесил над входной дверью. Теперь на мужиков падала громадная тень от повозки с бочкой, и они задвигались, зашуршали сеном, укладываясь на сон грядущий.

Прокопу спать не хотелось. Поначалу досада брала: эко сорвался! Как мальчишка сопливый. И Тарантас тут ни при чем. Был бы он подлецом, небось не сидел бы в пожарке. Чего же на него яриться? И тем не менее мысль, что все, мол, трусы паршивые, так в упор брошенная в лицо ему Тарантасом, была обидной и такой неотступной, хоть кричи. А что ты сделаешь, когда и в самом деле твоих детишек, как поросят, с визгом и гоготом станут ловить по дому и таскать в сани под охрану милиционеров? Будто кто и в самом деле спрашивал его и в уши дул: «Ш-што-о? Ш-што-о?» – так все шумело в них и жухало в висках, и грудь теснило до тошноты.

Васька Сноп рассказывал, будто у Квашнина ребятишек прямо из кровати таскали, одеться толком не давали, завертывали в тряпье – и в сани. А чтоб не кричали – конфетки в рот совали. Погремушками гремели перед теми, которые сопли не умели подтирать. Ай-я-яй! До каких страстей дожили? Вот подгонят утречком подводы, всю его шатию с Матреной во главе посадят и увезут, а ты здесь будешь сидеть, как бугай в загоне. Ори – не ори, хоть на стенку кидайся, кто тебя тут услышит?

И чем дальше думал он про это, тем невыносимее казалось ему теперешнее положение, но как выйти из него? Как сбежать отсюда? Окна были под железной решеткой, дверь в воротах заперта на здоровенный замок – ключ у Кулька. Тот ходил, как заведенный, перед воротами и чертил острой тенью от шишака шлема по стенам и потолку. Только заворочайся – он сразу заорет во все горло и всех подымет на ноги. Не токмо что спать – ни лежать, ни сидеть не хотелось. И все клял себя за ротозейство. Ведь смог бы, смог попрятать, пораспихать кое-что. Авось вернутся еще? Что-то, глядишь, и уцелело бы. А теперь что? Выведут голеньких из дому и все добро порастащут. А вернешься – где искать? С кого спрашивать?

Так и ворочались его тяжкие думы вокруг дома, как мельничные жернова; и он, все так же, сидя в углу за печкой, уронив голову на грудь, забылся уже под утро, после вторых петухов. Ему снилось, что они с Матреной в подвенечном платье поднимаются на церковную паперть. Народу кругом, как на празднике каком, и все разряжены, шумные, веселые. И на него пальцем показывают да смеются. «Вот счас его женят, вот женят!» – кричат все. Растворяются железные ворота, а там не храм божий, а какой-то сарай, и печь топится. Макар Сивый, грязный как черт, лопатой угли выбрасывает на пол и смеется. «Становись! – говорит. – Мы те счас обвенчаем». Он глянул себе на ноги – и с ужасом увидел, что стоит босым. Бежать! Ноги не слушаются. А его подталкивают прямо на горячие угли. «Становись, становись! – кто-то приказывает ему. – Привыкнешь...» Он глянул на Матрену, а это, оказывается, Якуша с ним стоит и подмигивает ему... Давай, давай! И тоже толкает его на угли...

Разбудил его скрип отворяемой двери. В заснеженной шапке, в белых бурках стоял на пороге Возвышаев и громко спрашивал:

– Сколько арестованных?

– Так что девять человек, – по-солдатски отвечал Кулек.

– Всех поднять!

Кулек хлопнул пятерней о бочку и крикнул:

– Подымайсь!

Вставали нехотя, кряхтя и матерясь, кривя рожи, прикрываясь от света кто ладонью, кто шапкой.

– Попрошу не выражаться! – крикнул опять Кулек.

– Что, недовольны ранней побудкой? – спрашивал Возвышаев, прохаживаясь перед мужиками. – А ну, построиться!

– Разберись по порядку! – скомандовал Кулек.

Мужики растянулись в кривую шеренгу; справа стоял Бородин, слева замыкал ее Прокоп Алдонин. Возвышаев, сунув руки в боковые карманы полушубка, поднимаясь на носки, слегка покачиваясь, как петух перед тем как закукарекать, спросил:

– Ну как? Хорошо ночевали? – И, презрительно усмехнувшись, что никто не отвечает, изрек: – Ишь ты, какие невеселые!.. Ничего, мы вас сегодня развеселим. Которые петь с нами не хотят и другим не велят, мы их ноне соберем и отправим куда подальше.

– Лиха беда начало, – отозвался Бородин. – У нас был такой мужик, по прозвищу Иван-пророк. Так вот, когда его брали, он и сказал: сперва нас возьмут, которые покрупней, потом и до вас дойдет очередь, до мелочи пузатой.

– Ты на что это намекаешь?

– А чего мне намекать! Я про Ивана-пророка говорю. А он русским языком сказал, без намеков: сперва нас возьмут, потом вас!

Вынув правую руку из кармана, сжав ее в кулак и потрясая им в воздухе, Возвышаев крикнул:

– И я тебе скажу без намеков, кулацкий подпевала, пока до нас доберутся, мы вас всех передадим, как клопов.

– Полегче, гражданин начальник, – сказал Прокоп, буровя глазами Возвышаева. – Я всю гражданскую проломал. В восемнадцатом году землю делил. А теперь неуютен для вас? Теперь меня в расход?

– Ты землю делил по поручению левых эсеров. Они тут хозяйничали весной восемнадцатого.

– Дак я их сюда приглашал? А? В ту пору они с вами заодно были. А теперь мы, мужики, и виноваты? Значит, нас в расход? – распалился Прокоп.

– Осади назад! Никто тебя в расход не пускает. А ежели имущество заберут, так поделом тебе. Поменьше хапать надо.

– Я его где нахапал? Вот оно у меня где выросло. – Прокоп стукнул себя по загорбине. – На горбу нажито! Имейте в виду: на чужое позаритесь – свое потеряете.

– А нам терять нечего, – холодно ответил Возвышаев.

– Это верно. У иных даже совести нет.

– Чего, чего? Ты это про кого?

– Про барина своего, который на худое дело людей подбивает. Вот ему-то есть чего терять.

– А ну, заткнись! – цыкнул Возвышаев. – Довольно! Поговорили. Ступайте по домам и помните – за отказ властям будем и впредь карать жестоко. И не на ночь забирать... Сроки давать будем. Хватит шутки шутить. Время теперь боевое. Революцию никто не отменял. – И, показав рукой на дверь, пропускал всех мимо себя, считал, как баранов. Последнего, Прокопа, приостановил: – Приготовьте угощение, Алдонин, – сказал с улыбочкой. – Гости придут.

– Встречу горячими блинами, – мрачно ответил Прокоп.

Шел торопливо по ночной притихшей улице, резко скрипел под валенками снег, да кое-где со дворов лениво тьякали собаки, но даже из подворотни не высывались – глухая пора, самый трескучий мороз и сладкий предутренний сон.

При виде своего крашенного суриком пятистенка Прокоп взялся за грудь – в левой стороне больно кольнуло и тягостно заныло, отдавая куда-то, не то в позвоночник, не то в лопатку. Три горничных окна, выходявшие на улицу, тихонько светились неровным светом, словно падал на них переменчивый отблеск далекого костра. Свечка горит на божнице, сообразил Прокоп. Лампаду не зажигали в последнее время – деревянное масло пропало. А свечка горит неровно – вечно на нее дует откуда-то.

Дверь открыли сразу. И по тому, как Матрена была одета и обута во все верхнее и теплое, Прокоп понял – не спала. В доме, у порога, прильнула к нему, упала головой на плечо и тихонько завывала, причитая тоненьким голоском:

– Ах детушки наши, несчастные сиротинушки. Пропадут они совсем, пойдут по миру... Заберут от нас тебя, Прокопушка, сведут со свету-у...

– Ты чего отпеваешь меня, мать?

– Ой, Прокопушка, милай!.. Заберут тебя, забереуют. Санька Рыжая приходила ночью. Говорит, Прокопа в тюрьму отправят. А вас всех скопом на чугунок... А что я с ними делать буду? Я ж растеряю их в дороге-то... Господи, господи! За что ты нас предаешь на муки смертные?

– Постой, постой... – Прокоп, стараясь освободиться от цепких объятий жены, чувял, как боль в левой стороне груди все нарастает, словно кто туда сунул раскаленный жагал. «Как бы не свалиться ненароком, – подумал он, – вот будет катавасия!»

– Счас, я счас испью маленько. Что-то придавило меня, – он наконец освободился от жены, прошел в чулан к печке, задел ковш свежей воды из кадки, жадно выпил, перевел дух. Вроде бы полегшало...

– Что тут у вас?

Матрена, прикрывая опухшие глаза концом клетчатой шали, рассказывала:

– Сказали, что придут рано утром. Тебя посадят. – Опять, глубоко и прерывисто втягивая воздух, всхлипнула: – А ребят возьмут в чем есть. Я вот и одела их ночью... По два платишка, да рубашонки, которые потеплее, натянула... Авось не станут их ощупывать.

Прокоп прошел в горницу – ребятишки, все пятеро, в шапках, в валенках, в шубенках и даже в варежках лежали поперек кровати, как мешки вповалку... У него вдруг задергались веки, перекосились губы и, ловя правой рукой теснивший ворот, поводя подбородком, словно желая вылететь из себя, он сдавленно произнес:

– Ладно... Я их встречу... мать их перемать!.. Все равно уж – семь бед, один ответ.

Он сходил во двор, достал из защитки ружье и вместе с патронташем повесил на косяк у наружной двери в сенях. Потом пришел в избу, разделся и сказал как можно спокойнее:

– Давай-ка, мать, позавтракаем. А то бог знает, когда и где обедать придется.

Пришли к ним еще до свету; дети спали, а Прокоп с Матреной, не зажигая огня, суетились по дому, собирая узелки на случай, если заберут, – Матрена увязала мешочек сухарей, два бруска сухого, пересыпанного крупной солью свиного сала, чулки шерстяные, варежки, детскую одежку; узелков пять навязала, чтобы на случай сунуть каждому ребенку, – авось у детей малых не отберут, постыдятся. Прокоп же нарубил махорки и натолкал ее в узкий длинный мешочек, как в штанину. Еще хотел сбегать к Андрею Ивановичу, попросить ковригу хлеба на первую дорогу. Матрена оплошала – всю ночь суетилась да переживала, начисто позабыв, что хлеба кончились. Сунулся было Прокоп на крыльцо – и они тут как тут...

Шли гуськом посередине пустынной улицы, впереди Зенин в кожаной кепке, шел бойко, поскрипывая на снегу бурками, поочередно хватаясь варежкой за уши, за ним высокий погибистый рабочий из Рязани, одетый в сборчатку, с кобурой на бедре, потом Левка Головастый с картонной папкой под мышкой, Санька Рыжая в плисовом сачке мела снег подолом полосатой поньки, потом милиционер Сима в форме, и кто-то еще сидел на подводе...

Прокоп попятился в сени, прихлопнул дверь и запер ее на стальной засов. Дома прильнули с Матреной к окну и смотрели, затаив дыхание, как подтягивалась вся



шеренга, огибая кладовую, сгруживалась у крыльца.

Наконец затопали по приступкам, застучали в дверь.

– Хозяин, открывай! – донесся звонкий голос Зенина.

Матрена метнулась к двери.

– Куда? – осадил ее Прокоп и, отступив от окна, процедил: – Не замай... Пускай чуток померзнут.

– Дак двери высадят...

– Я им высажу.

Постучав кулаком и ногами в дверь и не дождавшись никакого отзвука, Зенин подошел к окну и так грохнул в переплет, что звякнули, дребезжа, оконные стекла.

– Вы что там, повымерли все?

– Прокоп, открой! Стекла побьют, – сказала Матрена.

– А дьявол с ними. Они теперь не наши.

– Заходи от ворот!.. Чай, ворота не заперты, – бабьим голоском крикнул Левка.

И все потянулись к другой стороне дома, где вход в подворье преграждали высокие тесовые ворота с козырьком. Ударили медным кольцом о ворота, загремели щеколдой.

– Отворяй, или стрелять будем! – крикнул Зенин и вынул из кармана галифе наган.

– Стреляй, мать твою перемать, – выругался Прокоп, потом сходил в сени, вернулся с ружьем и подошел к окну.

– Прокоп, что ты, господь с тобой! – метнулась к нему Матрена.

– Отстань! – цыкнул он на жену.

Зенин выстрелил в тесовый козырек – пуля чиркнула по крыше, и с обреза козырька посыпалась снежная пыль.

– Ах ты гад! Напужать хочешь... – Кривя губы, Прокоп вскинул ружье и выстрелил в окно.

Раздался оглушительный грохот, со звоном посыпалось стекло, заплакали, закричали дети, и горницу наполнило белым удушливым дымом. Зенин с подручными сыпанули, как воробьи вразлет, и спрятались за кладовую. Лошадь, стоявшая у крыльца, взметнулась на дыбки и, азартно храпанув, бросилась галопом поперек улицы. Седок вывалился из саней и тоже спрятался за кладовой...

– Что ты наделал, отец? Что ты, господь с тобой, – подступала к нему Матрена, как к дитю малому. – В своем ли ты уме? Дай сюда пужалку-то! Дай сюда, говорю!..

Она взяла из вялых, трясущихся рук Прокопа ружье и выбросила его в разбитое окно. Прокоп, криво, виновато усмехаясь, вынул кисет и, просыпая на пол махорку, прыгающими пальцами стал скручивать сигарку. Давешняя боль, отступившая было под утро, опять стянула ему всю левую половину груди и сверлила, прожигала спину и лопатку... Он с трудом держался на ногах и все никак не мог слепить сигарку – во рту было сухо, и язык не слушался...

Между тем из соседних домов стали выходить люди. Зенин, размахивая наганом, закричал от кладовой:

– А ну, по домам! Или всех арестует конная милиция!

На улице и в самом деле появился верховой в шубе и с винтовкой через плечо; он подъехал к кладовой и стал совещаться о чем-то, наклоняясь с седла к Зенину и к рабочему в сборчатке.

Поселяне, опасливо поглядывая на верхового, держались поближе к заборам.

На крыльцо Алдоновых вышла Матрена и крикнула:

– Заходитя в избу! Он не тронет. Ружье вон выбросили.

Из-за кладовой высунулись Зенин и рабочий в черной сборчатке.

– Пускай сам выходит на крыльцо! – крикнул Зенин. – Не то стрелять будем по окнам!

Матрена скрылась за дверью, а через минуту вышел и Прокоп; слегка покачиваясь, как пьяный, он стал спускаться по ступенькам, придерживаясь рукой за перила.

Направив на него наганы, подошли Зенин и высокий приезжий, за ними, опасливо ступая по снегу, приближались Левка и Санька Рыжая. Верховой, терзая лошадь удилами, помахивая нагайкой, стал наезжать на зевак – те бросились, как овцы, по дворам. Сима и ездок с подводы (а это был Максим Селькин) ловили напуганную лошадь с санями.

– Связать ему руки! – приказал Зенин.

Левка тотчас снял с себя ремень и подал его рабочему в сборчатке. Тот, положив наган в кобуру, сказал Прокопу:

– А ну, руки назад!

Заломив Прокопу за спину руки, он обернулся к Левке:

– Помогите связать!

И вдруг Прокоп, закатив глаза, вяло опустил голову и, подгибая колени, стал валиться прямо лицом в снег.

– Чтой-то с ним? – опешил рабочий в сборчатке.

– Отойдет, – процедил сквозь зубы Зенин. – Это он от жадности зашелся. Отнесите его на двор. Пусть охолонет. Да руки ему свяжите! Не то еще чего-нибудь выкинет.

Несли втроем. Прокоп был сух и легок, как старый петух. Положили его посреди двора на охапку сена, руки сложили на животе и связали Левкиным брючным ремнем. Потом вошли в дом делать опись и выпроваживать семью.

В доме было сумрачно и все еще пахло порохом. Дети сидели на печи, младшие дружно ревели. Матрена присела на приступок подпечника и тоже голосила. Один только Петька, подросток лет четырнадцати, крепился; он сидел на краю печки, свесив ноги, и хмуро смотрел на вошедших.

– Зажгите огонь! – приказал Зенин.

Санька Рыжая бросилась зажигать висячую лампу, а Левка по-хозяйски расположился в переднем углу за столом и раскрыл свою папку:

– С чего начнем опись?

– Подожди ты с описью, – сказал Зенин и, поглядев в окно, обрадованно произнес: – Ага, лошадь подогнали. Давай сперва помещение освободим.

– Куда ж вы нас на мороз-то выселяете, люди добрые? Али мы злодеи какие? Хоть малых детей пожалейте! Ахти! Боже наш милостивый!.. Заступница небесная!.. Вразумитя их, вразумитя! Не дайте погубить души невинные! – Матрена встала перед печкой, раскинула руки и заголосила пуще прежнего.

Зашевелились на печи, сбились в кучу, как ягнята, ребятишки и с отчаянными воплями отодвинулись в дальний угол. И только один Петька не тронулся с места; побледнев, как полотно, покусывая губы, он все так же сидел, свесив ноги и скрестив на груди руки.

– Ну, чего сидишь, как истукан? – крикнул на него Зенин. – Подавай сюда ребят!

– Не трогайте их! Не трогайте! – пронзительно закричала Матрена и стала биться головой о печку. – Ироды проклятые! Креста на вас нету... Душегубцы окаянные!..

В избу вошли Сима и Максим Селькин.

– А ну, взять ее! – приказал Зенин.

И четыре мужика, ухватив Матрену за руки и за ноги, поволокли на улицу. Но на крыльце идущий впереди Максим Селькин оступился, нырнул вниз по ступенькам и выпустил правую руку Матрены. В тот же миг Матрена мощной затрешиной отбросила прочь Левку и, обхватив руками за шеи Зенина и рабочего в сборчатке, съехала вниз по ступенькам, подмяв их всей тяжестью своего шестипудового тела. Разбросав их по снегу, отбиваясь, как медведица от наседавших собак, она поднялась на крыльцо и у самого порога упала, сбита подножкой. Ее снова тащили волоком до самых саней...

– Детей ведите сюда! – хрипел Зенин, заламывая ей руки. – Куда? – остановил он Симу. – Держите ее... За детьми пусть идут Бородина и Федулеев.

Когда те пошли в избу, Петька уже стоял возле дверей, готовый к выходу; в руках, в охапке держал узелки, собранные матерью в дорогу.

– А это зачем? – ткнул в них пальцем Левка. – С собой ничего брать не разрешается.

– Еда здесь у нас, – сухо сглотнув, сказал Петька.

– И еду нельзя.

– Да ты что, ай очумел? – набросилась на него Санька Рыжая. – Им же до Пугасова ехать... Чай, не в гости на пироги едут! Забирай, забирай! И все выноси в, сани. Там тебя мать ждет, – выпроваживала она старшего с узелками.

Потом взялась за малышей, все еще кричавших на печи:

– А кто вас обидел? Кошка? Ох, какая нехорошая кошка!.. А вот мы ей сделаем ата-та!.. Слезайте, слезайте смелее... Там вас мамка ждет. Поедете в новый дом. Здесь же вон – холодно. Окна разбиты. Здесь нельзя оставаться... Идите, идите! Вас мамка зовет.

Так и вывела всех, подбадривая, подталкивая, уговаривая:

– Кататься поедем... Лошадка запряжена, хорошо-то как! И дом у вас будет новый. И никто вас там не тронет...

Когда детей усадили в сани, Матрена затихла, смирилась со своей судьбой, только трудно и шумно всхлипывала и вздыхала.

– Везите их до райисполкома, – приказал Зенин Симе. – Там в штабе скажут, куда ехать дальше...

– Куда ж вы хозяина дели? Ай в конюшне заперли? – спросила под конец Матрена.

– Не ваше дело, – ответил Зенин.

И, уже входя в избу, наказал Саньке:

– Сходи-ка, посмотри... Не удрал он?

И в доме, дую на руки, с видимым облегчением сказал Федулееву:

– Вот теперь можно и опись составлять, – прошелся по избе, по горнице, глянул на висячее зеркало в деревянной резной раме, подмигнул себе и, удовлетворенный собственным отражением, изрек: – Лиха беда начало. Много добра колхозу отпишем. Все, что здесь есть, это теперь наше.

– Да здесь, кроме зеркала да деревянной кровати, и нет ни хрена, – сказал рабочий.

– А скотина, молотилка, кладовая?

– С чего начинать? – спросил Левка.

– Начинай с самого начала, с дома. Так и пиши: пункт первый – дом пятистенный, красного лесу, на каменном фундаменте...

Его прервала Санька Рыжая, влетев на порог, часто дыша, как от дальней пробежки, она сказала с ужасом на лице:

– Ме-ортвай он! Мертва-ай! И глаза застекленели, и руки холодные... Батюшки мои! Что ж мы наделали?

– Ничего особенного. Одним классовым врагом стало меньше, – спокойно возразил Зенин. – Ступай в райштаб, доложи Ашихмину... Пусть придет фельдшера, чтобы акт составить.

– А ты куда? – крикнул на вставшего из-за стола Левку. – Ты сиди, сиди... Опись надо составлять. У нас с вами дела неотложные. Нас никто от них не освобождал.

Поскольку число кулаков в Тиханове перевалило за плановую цифру, утром сколотили еще одну группу по раскулачиванию, четвертую: из группы Чубукова взяли Кречева, из тяпинской – Ванятку Бородина да подключили к ним Василия Чухонина, Семена Жернакова и Тараканиху.

Последней троице поначалу было обещано чужое село, поэтому они упирались:

– Не пойдем трясти своих... Тады нам в глаза наплюют.

– Кто? Классовые враги? – спросил Возвышаев.

– Дык для тебя они классовые, а для нас хоть и поганые, а все ж свои, – ответила Тараканиха. – И в поле вместе, и в лугах, и на посиделках, и на сходах, а теперь трясти?

– Вы что, не понимаете, какой исторический рубеж подошел? Мы входим в новую эру... Великий перелом начинается! А посему всех эксплуататоров к ногтю. Всех! И своих, и чужих... Они все одинаковые – с черным нутром.

– Насчет черного нутра и великого перелома мы не против, – сказал Биняк. – Только давайте мы пойдем трясти чужих чернонутренных. А наших пуцай кто-нибудь из вас идет.

Сошлись на том, что эта группа пойдет кулачить на Выселки братьев Амвросимовых и Черного Барина. А уж по дороге им навязали фотографа Кирюхина. Жил он в Нахаловке, возле Андрея Ивановича Бородина. С него и начали...

Но случилось так, что милиционер Кулек, сопровождавший эту группу на подводе, уехал раньше в Выселки. За ним послали верхового с приказом ехать в Нахаловку и ждать всю группу возле дома Кирюхина. Кулек вернулся в Нахаловку и остановился напротив Андрея Ивановича Бородина, поджидая все свое начальство посреди дороги. Уже развиднелось – и подводу, и человека в санях хорошо было видно из окон. Люди припадали лбами к оконным рамам, находя проталинку в оконном стекле.

Надежда первой увидела эту страшную подводу с милиционером напротив своего дома и обомлела:

– Андрей, да ведь это они к нам! Батюшки мои, куда деваться? – всплеснув руками, ринулась от окна Надежда и бестолково засуетилась по избе, сняла с ребра печного ключ от кладовой, сперва спрятала его в нижнем кармане кофты, потом отнесла в горницу, сунула под перину.

Андрей Иванович, еще толком не успевший прийти в себя после ночевки в

пожарной, испуганно метнулся к окну и, побледнев до синевы на скулах, глазел сквозь оконную проталину на подводу с милиционером, как кролик из клетки на подоспевшего барбоса, – бежать бы, да некуда. Услыхав, как хлопнула дверь вышедшая из горницы Надежда, спросил:

– Может, они за сундуком Семена Дубка?

– Дак он же пустой!

– Как пустой? – оглянулся Андрей Иванович.

– Забрали добро... Ночью ноне приходили Лукерья Тычка и Леня Горелый. На двух салазках увезли.

– А Семен что? – спросил Андрей Иванович, повышая голос.

– Что Семен? Поди Лукерья-то женой ему доводится, – ответила Надежда. – Как-нибудь дома промеж себя разберутся.

– Промеж себя! А про нас позабыла? Ежели Семен покажет, что сундук к нам отвез? Энтот все может. Как быть тогда? Ведь не пустым же, скажут, привез он сундук в кладовую? Церковную утварь ищут. Понимаешь ты, голова два уха?

– Да плевала я на вашу утварь! У меня и без нее голова кругом пошла. Или ты позабыл, где ночевал-то?

– Сказала бы им, чтоб и сундук забирали. Зачем они его оставили?

– Дался тебе этот пустой сундук! Ты об своем добре-то подумай, пустая голова. Вот они нагрянут сейчас – и все пропадет. Ведь ничего убрать не успели!

Андрей Иванович глянул с опаской в окно и выругался:

– Ах, мать перемать! Это Возвышаев прислал в отместку мне за Ивана-пророка, – высказал он новую догадку.

– Какого еще Ивана-пророка?

– Да Куриного Апостола... Возвышаев говорит: ноне всех заберем, которые элементы чуждые. Ну, я и скажи ему энти слова Ивана-пророка: сперва вы заберете, а потом и вас заберут. Он и взбеленился.

– Язык тебе мало отрезать. Вечно ты суешься с ним куда не надо. Что теперь делать?

Кулек меж тем вылез из саней и стал оправлять сбрую на лошади, поглядывая в сторону сельсовета, откуда должна была подойти вся боевая группа.

– Ей-богу, к нам! – упавшим голосом сказал Андрей Иванович. – Вон, поглядывает – остальных поджидает.

– Что ж теперь, выселят нас? – Надежда, опираясь руками о подоконник, глядела на эту подводу, на милиционера с испугом и азартным вниманием, как ребенок на огонь.

– Насчет выселения вроде бы постановления не было, – отозвался Андрей Иванович, тоже глядевший с напряжением на Кулька. – Но скотину могут описать. Потом отберут.

– Тогда эта... Чего ж ты стоишь? Ступай на двор! Может, чего-нибудь успеешь убрать.

– И в самом деле. Чего я как ополоумел? – отрываясь от окна, сказал Андрей Иванович.

Схватив с вешалки полушубок, кинув на голову шапку, одеваясь на ходу, сказал от порога:

– В случае чего, ежели нагрянут... Ты удержи их в избе. Я скоро обернусь.

Вышел на заднее крыльцо. Не успел опуститься по ступенькам, как сбежались

куры и гуси с кагаканьем, с хлопаньем крыльев, с шипением и кудахтаньем, лезли друг на друга, клевали, щипали, преграждая дорогу и себе, и хозяину. Гусей в зиму пускали две партии – три пестрых гусыни с приземистым короткошеим задиристым гусаком тульской породы и четверку белых шишконосых голландских гусей с длинными шеями и тяжелыми, почти по земле таскавшимися подгузками. Да два десятка кур с петухом. Прожорливая горластая орава! Обычно, выходя на двор, Андрей Иванович всегда выносил для них в кармане какие-нибудь обсевки или ухобот – вот и привыкли встречать его толкотней да гомоном.

– Ну-ну, пошли прочь! Не до вас... – расталкивал он эту подвижную горластую толчею.

Возле дровосека взял топор, прошел в сарай. С пронзительным скрежетом раскрылись ворота. Андрей Иванович невольно вздрогнул и оглянулся назад, потом выругался про себя... Своих ворот испугался!

В утренней сутеме по плетневым закуткам и бревенчатым хлевам стояла и кормилась вся его скотина. Обе лошади ели месиво в желобе и, помахивая хвостами, поочередно оглянулись на хозяина. С досадой подумалось: «Прохлопал ушами, растяпа... О двух лошадях остался. Каждому громиле на зависть. Да и какую продавать? Рыжую? В работу – жаль... На выезды ежели? Да кто теперь возьмет? И Белобокую не продашь. Сколько еще протянет рыжая Веселка? Три-четыре года?»

Заметив в руке топор, пошел к яслям, где стояли овцы и корова с телком. Кого забить? Овцы сукочие, бокастые... Каждая по двойне принесет. Телка ежели?

Увидев хозяина, тот мотнул головой и побежал ему навстречу. Совсем недавно, в рождественские морозы, брали его в избу, поили из ведра... Вместо сиськи палец совали ему и так, с пальцем, толкали мордашку в ведро с пойлом... Трехнедельный младенец. Чего тут резать?

– Ме-е-е! – мокрогубый полез целоваться.

– Эх ты, жисть окаянная! – скрипнув зубами, Андрей Иванович глянул на топор, оттолкнул телка и вышел на подворье.

Хваткий приземистый гусачок-тулячок тут как тут – первый встретил хозяина и с назойливым лопотаньем полез ему в ноги.

– Да пошел ты! – оттолкнул его Андрей Иванович.

Потом неожиданно поймал за шею, поднес его к дровосеку и с хаканьем отсек голову. Затем порубил головы трем пестрым гусыням, отнес их в хлев и привалил в самом углу свежим плитняком навоза.

– Андрей! – встретила его на подворье радостным окриком Надежда. – Оказывается, это не к нам... Соседей кулачат, Кирюхиных!

Андрей Иванович приостановился, словно лужа перед ним была, и с удивлением глядел на жену.

– Господи! Чего у них брать-то? – и вдруг рассмеялся, сгибаясь в поясе.

– Ты что это, ополоумел? Чужой беде радуешься?

– Да не в том дело... Над собой я... Ты знаешь, что я сделал?

– Что ты сделал? – холодея, спросила Надежда.

– Партию гусей зарезал и в навоз закопал.

– Каких гусей?

– Тульских.

– Ах ты, балбес!.. Лучше бы голландских. Тульские гусыни и неслись хорошо, и всех гусенят выводили...

- Ладно, в другой раз голландских порешим...
- В другой раз нам самим головы отсекут и в навоз кинут.
- Не каркай с утра пораньше...

Так, перекоряясь, вышли на улицу. Возле кирюхинского палисадника стояла давешняя подвода, но Кулька в ней не было. И хозяева, и приезжие толпились в воротах, никак не могли договориться.

– Вот постановление на конфискацию вашего имущества. Понятно? – Кречев совал бумагу хозяевам.

Но те не брали ее. Антонина Васильевна, женщина властная, толстая, загородила собой, как телега, весь проход, важно качала головой и твердила заведенным голосом:

– Нас дело не касается, поскольку мы кустари-одиночки. У нас паспорт, заверенный властями и под круглой печатью.

– Правду мать говорит, правду, – согласно кивал фотограф Яков Парфеныч, сутулый мужик с желтым и сухим лицом.

– Дак пойдете в избу, там и разберемся! – настаивал Кречев. – Не то еще простудитесь. Вон как легко одеты!

На Антонине Васильевне была шубная безрукавка и черные стеганые чуньяки, а Яков Парфеныч стоял в обрезных чунях на босу ногу и в черном легком пиджачке, обтянувшем его острые выпиравшие лопатки.

Меж тем на улицу вышли соседи: Маркел с Фросей, через дорогу топал в лаптях Ванька Вожак, жуя и застегиваясь на ходу.

– Ладно, взайдем! – согласилась наконец Антонина Васильевна. – Но пусть пройдет с вами вместе и народ.

– Какой народ? – спросил Кречев.

– Который здесь собрался... Чтоб обману от вас не было.

– Ну что ж, пусть идут, – нехотя согласился тот.

Андрей Иванович, переглянувшись с Кречевым и Жернаковым, отвалил домой, а Надежда, напротив, охотно пошла к соседям. За ней потопали Маркел с Фросей и Вожак.

В небольшой, но опрятной, надвое перегородженной избенке фотографа стало тесно от людей и остудно.

– Я вам официально заявляю, – перешел на строгий тон Кречев, – ежели ф вы будете оказывать сопротивление насчет конфискации имущества, мы вас арестуем и отправим в милицию.

– А какое такое имущество вы станете отбирать у нас? – спросила с вызовом Антонина Васильевна.

– Всякие драгоценные вещи, золотые то есть, а также фотографические аппараты. Имеются ли у вас драгоценные вещи?

Никаких драгоценных вещей у Антонины Васильевны отродясь не бывало, но признаться в этом перед властями и перед соседями ей казалось стыдно – могли бы подумать, что весь заработок фотографа она просто проедала и проматывала на курортах. Ни скотины, ни двора, избенка на восемь аршин и четыре окна, правда, были хорошие теплые сени да еще остекленный сверху и с боков просторный коридор, в котором работал Яков Парфеныч. Куда деньги девала, спросят. Ведь к Якову Парфенычу каждый базарный день шли посетители, что в твой трактир. И Антонина Васильевна, важно поджимая сочные вишневые губы, сказала:

– Золотишко у меня, конечно, есть, да не про вашу честь. Ищите!..

– Имейте в виду, ежели обнаружится тайное укрытие, вина ваша усугубляется, – предупредил Кречев.

– Ищите, ищите! – уже войдя в азарт, с пылающим румянцем во все щеки, королевским жестом растворяя руки, говорила Антонина Васильевна.

– Тут ни токмо что искать, повернуться негде, – хмыкнул Биняк.

– Поглядите в комод, в сундуке... На чердак слазайте, – приказал Биняку и Тараканихе Кречев, потом Ванятке: – А ты сходи в баню... в каменке посмотри как следует. А ты в подпол слазай! – это Жернакову приказал.

– А мне что делать? – спросил Кулек.

– Ты его в сортир пошли, – сказал Маркел Кречеву. – Пущай понюхает, как у них золото пахнет.

– Молчать! Вас пустили сюда хулиганить?

– Кто фулиганит, а кто и смотрит.

– Это кто ж по-твоему хулиганит? Мы, что ли?

– Я ничего такого не говорил.

– Вот и заткнись!.. – и потом хозяину: – Яков Парфеныч, где у вас фотографические аппараты?

– В павильоне.

– Проводите нас туда! – Кречев махнул рукой Кульку и они вдвоем пошли за хозяином.

Один аппарат стоял на треноге посреди коридора, второй лежал в черном футляре возле стенки.

– Так... Значит, оба аппарата и треногу мы у вас забираем.

Худое длинноносое лицо Якова Парфеныча еще более вытянулось:

– Как – забираете? А чем же я буду работать?

– Обращайтесь в райисполком. Там скажут. – Кречев вынул из планшетки заготовленный акт конфискации фотоаппаратов, положил оба экземпляра на столик. – Вот, распишитесь... Значит, претензий насчет грубости у вас нет?

– Какие могут быть претензии? – растерянно пролепетал фотограф. – Я только насчет аппаратов.

– Вот и чудненько! Возьмите один акт себе... Так... И еще вот что учтите... В течение двадцати четырех часов вы должны очистить помещение.

– Какое помещение?

– Вот это самое. Ваш бывший дом. Поскольку выселять в отдаленные места вас не станут, значит, вы имеете право забрать все, что хотите. Считайте, что вам повезло.

– А куда ж нам итить?

– Куда хотите. Проситесь на квартиру. А ваш дом пойдет под заселение. – И, обернувшись, крикнул Кульку: – Бери аппараты!

Кулек подошел к треноге, ухватил ее, как связку жердей, и взвалил на плечо, аппаратом за спину.

– Да кто ж так с аппаратом обращается? – всплеснул руками Яков Парфеныч. – Это ж оптика! Вы имеете дорогую вещь... Дайте сюда!

Он снял у Кулька с плеча треногу, ловко отвинтил аппарат, уложил его в ящик и спросил с готовностью:

– Куда нести?

– В сани! – приказал Кречев.

Яков Парфеныч сам отнес оба аппарата в сани, переложил их сеном, чтоб не



бились друг о друга, и все приговаривал:

– Оптика – вещь хрупкая. Она требует к себе мягкого обращения.

– Вот чудак-человек! – усмехнулся Кулек. – Тебе-то от того какая выгода? У тебя же их отобрали! Насовсем отобрали, понимаешь?

– Отчего ж не понимать, – отвечал Яков Парфеныч и жалко улыбался. – Авось еще возвернут.

– Ага, возвернут, после дождичка в четверг...

– Ты вот что, отвезешь в райштаб аппараты и валяй прямо на Выселки, к дому Матвея Амвросимова, – сказал Кречев. – Здесь больше делать нечего.

– А вдруг золотишко отыщется? – осклабился Кулек.

– В кармане унесем. Езжай!

В сенях Кречева встретили гомоном и смехом столпившиеся бабы и мужики.

– Вы чего тут, или нашли что?

– Тонино золото. Вот оно, смотри, – сказал Биняк, указывая на две кучи странных предметов.

Приглядевшись, Кречев увидел целый ворох опаленных овечьих ног и еще кучу драных шерстяных чулок и носков.

– Это что такое? Откуда?

– С чердака скинули, – сказал Биняк. – Это ж надо! Шестьдесят четыре ноги. Шашнадцать баранов с осени съели.

– Батюшки мои! Они их, чай, живьем глотали...

– Яков Парфеныч, а вы их, случаем, не на мыло перегоняли, баранов-ти?

– Дак ведь гостей много бывало... Каждый базарный день все гости, – смущенно оправдывался Яков Парфенович.

– А чулки драные тоже гости вам набросали?

– А може, черти в них бегают по чердаку-то?

– Эдак на чертей да на баранов век не наработаешься...

– Им теперь не страшно и на поселении жить – одними бараными ногами прокормятся...

Из дверей выглянула пылающая Антонина Васильевна и гневно крикнула:

– Какое ваше дело до моей жизни? Вы зачем сюда пришли? Чертей да баранов переписывать? Или издевательствами заниматься?

– Ой, гли-ка, напужала!

– Ты не кричи, Фефела! Тебе дело говорят...

– Граждане и товарищи! – повысил голос Кречев. – Немедленно прекратите выпады насчет оскорблений! Нам такого права никто не давал. Боевая группа задание свое выполнила... Все! Прошу очистить помещение. А вас, товарищи Кирюхины, еще раз предупреждаю – в течение двадцати четырех часов вы здесь полные хозяева. Задержитесь дольше означенного срока – пеняйте на себя.

Из братьев Амвросимовых первым решили брать старшего, Матвея, жившего в двухэтажном кирпичном доме. Встретили их чинно, вежливо за стол посадили; только угощать не стали. Хозяин дома, Матвей Платонович, словно ходячий шкаф, громоздкий, неповоротливый мужик с бритым кирпичного цвета лицом, прошел в передний угол, сел под образами и, сложив на коленях заскорузлые руки, спросил:

– Постановление насчет конфискации имущества имеется?

– Вот... Пожалуйста. – Кречев достал из планшетки постановление актива

сельсовета и подал хозяину.

Матвей Платонович достал с божницы картонный футлярчик, вынул очки в тонкой стальной оправе, неторопливо приладил их на крючковатый нос, стал читать.

Хозяйка, бледная, с испугом на лице, стояла возле деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, и глядела в каменно-неподвижное лицо хозяина, готовая мигом сорваться с места, чтоб исполнить любой приказ его. На ней была простенькая ситцевая кофточка, в горошинку фартук и полосатая понева свойского тканья. На ногах полусапожки с высокими боковыми резинками. Сверху в пролет лестницы с таким же испугом и выжиданием глядела на родителей дочь-невеста, желтокобая, в цветастом сарафане. И вся эта семейная тройка была спаяна не только страхом выжидания, но и твердой, отчаянной решимостью – встретить стойко, с достойным спокойствием свою нелегкую судьбу.

– Так, так... Значит, дом и все имущество – и движимое, и недвижимое.

– Так точно... Раскастрация всего имущества, – подтвердил Ванятка Бородин. – Чтобы, значит, раз и навсегда искоренить всякую заразу частной собственности.

– А на каком таком основании у меня решили сделать эту самую раскастрацию, а вот у него, у Ванятки, ничего не трогать? – спросил хозяин Кречева.

– А чего у него брать-то? Охапку шоболов? – хмыкнул Кречев.

– Дак что ж выходит, вы его шоболами брезгуете? Раз всех решили объединять в колхоз, тогда и всякое имущество валите в одну кучу.

– Когда очередь дойдет до колхоза, все соберем. Но вас допускать до колхоза не имеем права, – ответил Кречев.

– Почему? Или я рылом не вышел? Или работник плохой?

– Потому как вы идете по кулацкой линии, то есть эксплуататор человеческого труда.

– Кого же я исплуатировал? Мы работников отродясь не держали. В артели нас было три брата с семьями.

– Вот братьев своих и семью вы это самое... эксплуатировали.

– Как? Разве они одни работали, а я прохлаждался? Спроси вон Феклу, – кивнул он на хозяйку.

– Ей веры нет. Потому как она тоже член кулацкой семьи. И пойдет заодно с вами.

– А братья мои?

– И они тоже подлежат конфискации.

– А их за что?

– За то же самое. У них тожеть дома двухэтажные и дворы каменные.

– Да кто же кого у нас в артели исплуатировал?

– Пустой разговор ведем. Постановление есть ясное и понятное: кто нажил не своим трудом большие средства – раскулачить.

– А чьим же трудом я наживал все это? – Матвей Платонович округло обвел руками, указывая на просторный кирпичный дом, хорошо оштукатуренный, с фигурными наплывами на потолке под висячей лампой, с широким карнизом, с крашенной в голубой цвет дощатой перегородкой, с широкой железной кроватью со светлыми шишечками, с тюлевыми занавесками на окнах, с венскими стульями вокруг тяжелого дубового стола. – Может, ты мне помогал построить все это и нажить? Или Ванятка, или вон Биняк?

– Оно и то сказать, что не в одной артели ты старался, а и на торговле

подрабатывал, – отозвался Биняк.

– Верно. Хлебом торговал. Скупал на базаре, нанимал обозы, перевозил на пристань, на Ватажку. Вон, Семен Жернаков подтвердит. Он тоже торговал.

Жернаков густо покраснел и отвернулся к окну.

– По три, по четыре тысячи пудов за базар брали с братом. Полны амбары семейные насыпали. Барыш – копейка за пуд. Тридцать, ну, сорок рублей на двоих заработку. Дак это ж работа! Мы ж не гноили хлеб-то, а сухоньким доставляли его на речные суда. В города отсылали... И за это нас теперь казнить надо?

– Никто вас не казнит, – потупился Кречев, – а только в колхоз не велено пущать. Поскольку вы идете по статье зажиточных. Сам товарищ Каганович указание давал. И товарищ Штродах из Рязани присылал инструкцию. Чтоб не смешивать с трудящимися, с бедняцко-средняцкою массой, а отправлять вас на поселения...

– Каганович да Штродов? Что-то не слышали мы этих фамилий, когда в гражданскую казаков ломали. А теперь, вишь ты, сыскались... Инструкцию дают – не смешивать с массой. А чего ж тогда мешали? Говорили – все равны. Землю по едокам! А теперь – бей по дуракам, которые поверили!

– Не надо было заживаться, Матвей Платонович, – сказал Биняк. – Для чего ты такие хоромы сгородил? Конюшни кирпичные! Две лошади, три коровы...

– Дак у тебя вон один мерин, и тот ходит по базару и по чужим кошовкам кормится. Раз ты его прокормить не можешь – отдай в Совет.

– А на ком загоны пахать? На бабе, что ли?

– Ты не пашешь, а за сохой плясешь... Языком молоть ты умеешь. Ежели из таких вот пустобрехов колхоз соберут, то и хоромы мои вам не помогут. Все прахом пойдет.

В сенях проскрипели шаги, с треском распахнулась обшитая жестью дверь, и на пороге в клубах пара вырос Кулек в шинели.

– Ну вот, поговорили – и будя, – сказал Кречев, вставая. – Поскольку вы идете по первой категории, стало быть, собирайтесь в чем есть и немедленно очистите помещение.

Встал и хозяин, он был в валенках, в стеганых штанах и в черной фуфайке.

– Дак что ж нам – из вещей ничего нельзя брать? – спросил он.

– Ничего... В чем вас застали, в том и поедете. Верхнюю одежду возьмите, шапки, варежки. А более ничего, – повторил Кречев.

– Фекла, вынь из сундука крытые шубы и пуховые платки возьми! – приказал хозяин.

Фекла метнулась за дощатую перегородку к высокому, окованному полосовым железом, набитым в косую клетку, сундуку. Но перед ней вырос Биняк:

– Извиняюсь, из нарядов ничего брать не положено, – криво усмехнулся он.

– Не ехать же нам в драных шубняках! – сказал Матвей Платонович Кречеву. – Еще не примут нас... скажут – батраков привезли.

– Ладно, выдай им шубы и платки! – распорядился Кречев.

Биняк отошел в сторону, но зорко поглядывал, как Фекла доставала большие, крытые черным блестящим драп-кастором шубы, с длинным козьим мехом, пуховые оренбургские платки и клала их на откинутую крышку сундука. В ноздри резкошибануло нафталином и потянуло затхлым удушливым запахом лежалых вещей. Когда Фекла вынула из сундука еще шерстяную розовую кофту, Биняк поймал ее за руку:

– Э-э, стоп, машина! Кофта к верхней одежде не относится.

– Пусти руку, страмник бесстыжий! – рванулась злобно Фекла и наотмашь закатила ему звонкую затрещину.

– А я говорю, кофту отдай! Отдай, кулацкая твоя образина! – заблажил Биняк, махая руками, пытаюсь поймать мелькавшую перед его глазами кофту, но Фекла перебросила ее через плечо подоспевшей дочери. Та, поймав кофту, мгновенно прижала ее к груди и бросилась к отцу:

– Папаня, родненький! Что же это делается? – закричала пронзительно и залилась слезами.

– А я те говорю – кофту отдай! – Биняк нагнал ее и прижал к перегородке, тиская, сопя и ругаясь.

– Папаня, папаня! Миленький мой!.. Помогите ж мне! Помогите! – отбивалась она и вскрикивала, поглядывая на отца.

Но Матвей Платонович истуканом застыл на месте, скрестив руки на груди, и только глаза затворил, как от головной боли, да под скулами вздулись и побелели каменные желваки.

– Оставь ты девку! – крикнул Кречев на Биняка. – Совсем офонарел? – И, взяв за шиворот, оттолкнул его к порогу.

– Дак я эта!.. Согласно инструкции, значит. Поскольку не положено брать наряды... – заплетаясь языком, бормотал он, красный и смущенный.

– Дайте собраться людям! Сядьте все за стол! – скомандовал Кречев и, обернувшись к хозяину: – Собирайтесь! А мы подождем...

Через несколько минут они оделись, преображенные, печальные и строгие, как на богомолье собравшись, вышли к порогу.

– Куда нас поведут? – спросил Матвей Платонович.

– Тебя здесь оставят. А их в Пугасово, – ответил Кречев.

– Дак как же мы врозь-то, отец? – всхлипнула Фекла. – Мы с Варькой дальше Тихановского базару и не бывали нигде...

– Господь поможет, – сказал хозяин и осенил себя широким крестом, глядя на божницу.

Варька, прикрыв лицо цветной vareжкой, тоже всхлипнула.

– Привыкнете, – сказал Кречев, вставая. – Там не волки, а тоже люди будут... – И, обернувшись, наказал Ванятке:

– Опись построже составь. Все имущество на твою ответственность.

– Крупное опишем, а насчет мелочи – сами забирайте в Совет. Там и переписывайте, и делите. Чего хотите, то и делайте.

– Ну, лады! Через час вернемся.

Кречев с Кульком вышли вместе с хозяевами. Феклу с Варькой усадили в сани, Кулек сел в головашки править, а Кречев с Амвросимовым пошли пеш. В Выселках и на выгоне было безлюдно, но, когда въехали в Нахаловку, вокруг саней закружились ребятишки. Побросав игру в чижики, они долго сопровождали подводу с милиционером и самим председателем Кречевым, звонко, на всю улицу покрикивая:

– Эй, ребята! Кулаков везут!

– Кулаки – дураки, кулаки – дураки!

– Которые кулаки, а которые дураки?

– Кулаки едут, а дураки пеш идут.

– Кулек нешто кулак?

- Кулек – шишак...
- Баран, а тыпустишь нырок промеж саней?
- Пущу!
- А Кульку под задницу?
- Пущу!
- Я те пущу кнутом по шее, – кричал Кулек из саней.

Бабы выходили на крыльцо, выглядывали из калиток, плющили носы об оконные стекла, вздыхали, крестились, жалея одних и посылая негромкие проклятия другим:

- А чтоб вас розарвало! Погромщики! Утробы ненасытные...
- Спаси и помоги им, царица небесная!
- Господи, господи! И малого и старого волокут...
- Под корень рубят, под ко-орень...

Матвей Платонович даже рядом с дюжим Кречевым шел молодцом – в черной как смоль длинной сборчатке, в огромных белых валенках, малахай, что решето, на голове... Богатырь!

- Эдакого хозяина вырвали!
- Это дерево из всего лесу.
- Да-а, прямо – купец Калашников!
- Под корень секут, под ко-орень, – доносилось с крылец и от калиток.

А перед райисполкомом целая вереница подвод, как на торгу; вдоль зеленой железной ограды, возле коновязи стояли подводы попеременно с оседланными лошадьми; на многих санях валялись тулупы, а на них и на сене лежала посуда всякая – и фарфоровая, и стеклянная, самовары, сапоги, крытые сукном и драпом шубы, гармони, иконы и даже бронзовые кресты и паникадила; тут же, возле саней, топали, толкали друг друга, грелись железнодорожные охранники в черных нагольных шубах и с винтовками за спиной. Возчики в красных полушубках и бурых чуйках, подняв воротники и растопырив руки, стояли смиренно возле своих лошадей и смотрели на все посторонними глазами.

А поодаль, на высоком просторном каманинском крыльце, толпились рабочие в пиджаках, штабисты в белых полушубках, милиционеры в синих шлемах и в длинных серых кавалерийских шинелях чекисты, приехавшие из Пугасова конным строем. Тут же, на крыльце, на выносном столике, стоял ящик красного дерева, и в широкую, как матюгальник, зеленую трубу с шипением и хрипом вылетали сдавленные звуки, по которым с трудом угадывался голос Шаляпина:

Жил-был король когда-то.  
 При нем блоха-а-а жила-а-а.  
 Милей родного бра-а-а-ата  
 Она ему была-а-а.  
 Блоха? Ха-ха-ха-ха!  
 Блоха! Ха-ха!  
 Ха-ха-ха-ха!

Заразительно и неистово смеялся хриплый заведенный голос. Окружившая этот конфискованный граммофон публика тоже шумно смеялась, притопывала сапогами, валенками, била в ладони и дула на пальцы.

Кулек перед самым крыльцом остановил лошадь.

- Куда везти? – спросил Кречева.
- Сейчас! – Кречев протолкался на крыльце и спросил Ашихмина, заводившего

граммофон: – Куда девать очередную семью?

– Какая категория? – спросил тот.

– Первая, – ответил Кречев.

– Так, хозяина веди в пожарку, а семью – во двор.

– Какой двор?

– Риковский!

Кречев повернулся уходить, но его остановили.

– В пожарке полно, – сказал кто-то от дверей.

– Тогда веди в лавку... как его... – запнулся Ашихмин.

– Рашкина! – опять крикнул кто-то от дверей.

– Дак там же распределитель?

– А ты в другую половину. В ту самую, где потом артельный склад был, – сказал от дверей опять тот, невидимый.

– Ясно! – Кречев вернулся к подводе и передал Кульку: – Лошадь привяжи у коновязи. Хозяина, – кивнул на Матвея Платоновича, – в бывший артельный склад... Там сдашь его под роспись.

– Я вам бык, что ли? – с горькой усмешкой сказал Амвросимов.

– Молчать! – рявкнул Кречев. Он волновался от присутствия множества людей, которые глядели теперь на них с крыльца, и торопился: – Давай, давай! Чего возишься? – ругал он Кулька. – Растопырился, как баба.

– Вот это кулачина! – крикнули с крыльца.

– Сазон так Сазон...

– На ем пахать можно...

– Эге! Бочку пожарную возить. Во отъелся за щет рабочего класса...

– И трудового крестьянства...

Кречев подтолкнул под локоть робко стоявшую возле мужа Феклу:

– Пошли, пошли... Чего глаза-то пялить без толку?

– Матвей! Как же нам теперь без тебя-то? Неужели не свидимся? – Губы ее тряслись, глаза наполнились слезами, а рука правая, сложенная в троеперстие, машинально и быстро крестила его мелкими крестиками.

Варька, глядя на мать, тоже начала давиться слезами и гукать, глотая рыдания.

– Будет, мать, будет, – сказал Матвей Платонович, хмурясь и косо поглядывая на гоготавшее крыльцо. – Постыдись плакать перед ними-то... Бог не выдаст – свинья не съест. Спаси вас Христос!

Кречев подвел Феклу и Варьку к высоким тесовым воротам, ведущим в просторные каманинские конюшни. Его встретил охранник в черном полушубке, вкось перехваченный ремнями, с наганом на боку.

– Фамилия? – строго спросил не Феклу, а Кречева.

– Амвросимовы... Фекла и Варвара...

– Так! – Тот открыл черную, в картонном переплете тетрадь, заскользил глазами по страницам. – Так... Вот они! Запомните, поедете на шестой подводе. Возчик Касьянов из Пантюхина. А теперь марш на место!

Он растворил ворота и пропустил в конюшню Феклу и Варвару. В полусумрачном сарае Кречев увидел множество людей, сидевших и валявшихся прямо на полу, на свежей соломе. Разговаривали тихо, многоголосо, и оттого слышался один слитный и протяжный гуд, как шмели гудели: бу-бу-бу-бу...

Где-то раздавались слабый детский плач да робкое назойливое упрашивание:

«Мамка, пусти на улицу! Мамка, на улицу хочу!» На вошедших никто не взглянул, и никто их не спросил ни о чем. Постояв с минуту возле ворот, они сиротливо опустились на солому тут же, возле стенки.

– Ну чего, закрываем? – спросил охранник зазевавшегося Кречева.

– А? Ну да, закрывай. – Кречев как-то содрогнулся весь, словно чем напугал его этот охранник. – Закрывай! – повторил он со вздохом и пошел прочь от ворот.

### 13

Ударная кампания по раскулачиванию в Тихановском районе благополучно завершилась за две недели. Всех, кого надо было изолировать, – изолировали, кого выслать за пределы округа, – выслали, кого переселить в пустующие теперь уж государственные, а не кулацкие дома, – переселили, которые дома занять под конторы – заняли. Райком и райисполком, избавившись от других контор, вольно расселились по двум этажам просторного каманинского дома. И облик районного центра Тиханова принял свой окончательный вид: на домах беглых купцов и лавочников, на заведениях трактирщиков, колбасников, Калашников, сыроваров и маслобойщиков, на просторных сосновых и кирпичных мужицких хоромах, окрещенных кулацкими гнездами, теперь появились вывески, писанные бывшим степановским богомазом Кузьминым с одним и тем же заглавным словом «Рай», возвещавшие миру о наступлении желанной поры всеобщего благоденствия на этой грешной земле.

А над высоким бетонным крыльцом старого каманинского магазина повесили воистину волшебную картинку с нарисованной колбасой и магическим словом «Раймаг». Мужики посмеивались, подходя к пустым прилавкам:

– А вы ту колбасу, с вывески, сымите и нарежьте мне. Я заплачу, чего стоит.

– Дурак! Та колбаса общественная, смотри на нее даром и ешь, сколько хочешь, глазами. А рукам волю не давай.

– Да мы теперь на какое довольствие перешли? Око видит, а зуб неймет?

– Во-во. Погляди да утрись.

Но питались мужики в эту зиму – дай бог каждому. Недаром цена на кадки подскочила вдвое – всякая посуда шла под засол мяса. И солили его, и коптили, и морозили. От бань по задворкам чуть ли не каждый вечер тянуло паленой щетиной; и горьковато-пряный дымок горевших ольховых полешек отдавал приторно-сладким душком прижаренного сала. Окорочка коптили! Все районные ветеринары: и врач, и фельдшер, и бывший коновал, работавший санитаром при случайном пункте, ходили в дымину пьяными, они открыли новую болезнь – «свиную рожу», по причине которой разрешалось не только забивать скотину, но и палить свинью, дабы при снятии шкуры не заразиться. А ежели хозяину хотелось продать свинину, так сдирали приконченную шкурку, и на свежий сальный обрез тот же ветеринар ставил чернильное клеймо – «К продаже подлежит. Здоровая».

Зато уж к масленице тишина установилась на селе благостная: со дворов ни свиного визга, ни телячьего рева, ни бляения ягнят, ни гусяного кагаканья – лишние голоса были убраны.

Оно и то сказать: не так голос был страшен, как лишняя голова. Все, что появлялось на крестьянском дворе, попадало в опись и подлежало учету и налоговому обложению. Да не только налоги пугали... Ходили слухи, что по округу вынесено постановление – к двадцатому февраля всех загнать в колхоз. Значит, всякая животино на твоём дворе, считай, что уж и не твоя. А поскольку появление на свет божий новой

головы пока еще происходило без свидетелей, так и старались прибрать ее вовремя.

У Бородиных ожеребилась Белобокая.

– Боже мой, к двум лошадям да еще третья!.. На тебе креста нет, – бранила мужа Надежда.

– Я, что ли, виноват, что кобыла ожеребилась?

– А кто же?

– Окстись, Маланья! Я тебе кто, производитель?

– Ты чурбан с глазами! Вот запишут на нас три лошади да раскулачат. Что тогда скажешь? Каким голосом запоешь?

Мир в семейство принес Федька Маклак. Он пришел из Степанова на воскресный отдых и, послушав перебранку родителей, сказал:

– Жеребенка могу продать.

– Кому?

– Ваньке Вожаку и Андрею Слепому.

– Он им на что? По избе в иго-го играть?

– Зарежут да съедят.

– Вот и слава тебе господи! – обрадовалась Надежда.

– Жеребенка резать? Да вы хуже татар! – сорвался Андрей Иванович. – Из него лошадь вырастет... Лошадь! Понимаете вы, тыквенные головы?

– А вот как раскулачат и посадят тебя за трех лошадей... Из тебя самого лопух вырастет. Продай от греха! Какое твое собачье дело, на что он пойдет?

Продали. Вечером Федька накинул жеребенку на шею аркан и отвел напротив, к Слепому. А утром чуть свет Вожак стучится в дверь:

– Андрей Иванович, отдай деньги! А мясо назад возьми.

– В чем дело?

– Он у вас заразный. Как наелись с вечера этой жеребятины, так всю ночь со двора не сходили.

– Проваривать надо мясо-то, печенегу...

Потом целый день вся Нахаловка потешалась:

– Ты слышал, ночью Слепой с Вожаком волком подвывали?

– С чего это они? Ай с ума спятили?

– Жеребятины сырой наглотались.

– Эка, дорвались, родимые, до дешевизны-то.

– Да, за бесценюк и мясо впрок не пойдет.

– Жеребятина что за мясо? Ее татаре только переваривают. Дак у татарина не желудок, а требуха.

– Гли-ко, говорят, что ежели собака волком завыла – быть покойнику. А человек ежели волком завыл? К чему бы это?

– К войне. Ай не слышали – Китай опять подымается.

И слухи, слухи по селу ходили странные... Говорили, будто на лесных Пугасовских выселках одна баба тройню родила – головы и руки человечьи, а задняя половина туловища у новорожденных собачья, шерстью покрыта. И с хвостами! А еще будто божий человек появился, по селам ходит. Увидит какого ребенка и скажет: «Дайте мне эту девочку поносить!» Очень мне, говорит, девочка понравилась. А уж какого ребенка возьмет на руки, так тот и помирает. Маленький такой мужичонка, калека убогий. А силу притяжения большую имеет.

Пугали войной, а более всеобщим колхозом и концом света. Слонялись мужики



без дела, засиживались вечерами у соседей, а которые побойчей, одержимые беспокойным желанием узнать «судьбу решающую» поскорее, собирались возле бывшего трактира, а теперешней почты. Распивали самогонку и медовуху, принесенную в бутылках, заткнутых тряпичным или бумажным кляпом, закусывали курятиной, которую бабы из-под полы продавали возле раймага. Судачили.

– И откуда курятина появилась?.. Скажи ты на милость – пост на дворе, а они кур продают!

– До поста не доживем. Говорят, двадцатого февраля наступит сплошной колхоз. Конец света то ись.

– А куда же все денется?

– Все, что ходит на четырех ногах, будет съедено. Гы-гы.

– А потом что? Куда мы все денемся?

– Известно... Разбежимся...

– Куда ж ты разбежишься?

– Известно куда. На трудовой фронт. Давать пятилетку в четыре года.

– Во-во... С рабочего плеча.

– А скажи ты, сколько будет этих пятилеток?

– А сколько в лапте клеток.

– Одни лапти износим – другие дадут. Так и с этими пятилетками: из одной вылезешь – в другую сунут. Теперь не вырвешься до смерти до самыя.

– Это верно. Пока будут пятилетки – хлеба досыта нам не едать.

– Почему?

– Потому как окружение мировой буржуазии вредит.

– А при чем тут хлеб?

– Как при чем? Ежели бы у нас хлеба не было, они бы и не вредили нам. То ись не выколачивали бы из нас этот хлеб. Никто бы никого не раскулачивал.

– Это верно. За свое добро страдаем.

– Э-э, об чем тужить! Двум смертям не бывать, дальше Сибири не пошлют. А ежели захотят, чтоб мы работали, накормют. Вон столовую открыли.

Столовую открыли в Капкиной чайной. Клубный активист, комсомолец Андрей Пупок, нахрапистый малый с красным лицом и светлыми свиными ресницами, стал директором столовой. А Тараканиха пошла поварихой. Говорят, с ковшом в руках посреди обеда засыпает, прямо стоя у котла. А Кулька поставили начальником тюрьмы. Из калашной сделали тюрьму; сломали печи в полуподвальном этаже, ногородили камер, окна забрали железными прутьями, а снаружи все здание обнесли высоким плотным забором.

Но главное, главное – почти в каждом селе появился колхозный скот, общие дворы и недвижимый инвентарь – зачаток колхозного строя. И к февралю месяцу количество объявленных колхозов по району подошло к плановой цифре.

Но вот беда: колхозов много объявилось, да колхозников в них было маловато; по двадцать, по пятнадцать, а то и по десять семей приходилось на колхоз. А в Гордееве, Веретье и в Пантюхине колхозов вовсе не было создано. Руководители этих Советов были взяты на особую заметку. Да и в самом Тиханове туго шло дело: за всю эту бурную пору ни одного семейства не прибавилось в колхозе – как было двадцать шесть, так они и остались. Их еще окрестили бакинскими комиссарами и название предлагали колхозу дать – имени Бакинских Комиссаров. А другие требовали – нет, осудить надо интервентов, которые расстреляли тех комиссаров. Потому колхоз

назвать «Ответ интервентам». Чтоб международная контра не забывала о том, как новые ряды встают над павшим строем.

Но Сенечка Зенин настоял на своем: назвал колхоз «Светлым путем», ибо всем колхозникам теперь нужно учиться не только ненависти к врагу внутреннему и внешнему, но и любви и нежности по пути ко всеобщему братству.

Оно бы, может, и привилось с ходу, это чувство любви и нежности по пути ко всеобщему братству, кабы не помешало тому вспыхнувшее невесь по каким законам повальное воровство. Первым делом растащили мед, оставшийся от кулаков. У деда Вани Демина было девяносто ульев, да у Черного Барина тридцать, да у братьев Амвросимовых сорок, да у Костылиных более полсотни... И вот какие чудеса: когда брали хозяев, все ульи пересчитали и в описи внесли, омшаники опечатали, а через несколько дней сунулись с проверкой – и печати, и все ульи стояли на месте, но меду не было.

«Он утек медовухой прямо в шинки», – смеялись мужики. И пьянь такая пошла, хоть колхоз закрывай.

Вся эта мелочь конфискованная: куры, гуси, утки, поросята, ягнята, овцы – все это уменьшалось в числе и появлялось в жареном виде в корзинах да в туесах возле магазинов на мимолетных толкучках. Главное, некуда девать было эту мелочь. Не соберешь ведь на одном дворе всех чужих кур, гусей и уток вместе. Передерутся, перетопчут друг друга. Раздавать по домам колхозникам – тоже нельзя. Держали их пока на своих местах да рассовали частично по лошадиным дворам. Вот тебе каждое утро двух, а то и трех голов не хватает. Куда делись? То хорек утащил, то лошади затоптали...

С крупной скотиной полегче было. Оставшихся от кулаков коров да телят свели на дворы братьев Амвросимовых и объявили это скопище – мэтэфэ. Мало кто знал, что значили эти таинственные буквы. Но догадывались, что молоко от коров пойдет в столовую при райисполкоме, а еще в маслобойку сосланного Арсения Егоровича, где теперь хозяйничал человек, приехавший из города. Главной дояркой на этой мэтэфэ поставили Саньку Рыжую, а в помощницы ей назначили Настю Гредную и Козявку.

Настя доила два дня, на третий забастовала. «У меня, – говорит, – всего один глаз». – «Ты что, глазом доишь?» – ругается Санька. «Я, – говорит, – смотреть устаю, потому сиськи в руках путаются». Эту прогнали, привели Матрену Селькину. Тут Козявка заупрямилась. Я, говорит, не могу избу свою на произвол судьбы бросать, потому как мужа отослали сторожем на хутор Черного Барина.

Иван Евсеевич Бородин зашел к Якуше Ротастенькому: «Посылай свою Дуню!» – «Ой, что ты, Иван Евсев! Она у мяня с грыжей. На барском поле надорвалась». – «Ну, мать перемать, тогда иди сам дергай коровьи сиськи!» – «Какие сиськи? На мне вся беднота замыкается! Я свой пост не могу добровольно оставить – меня райком ставил. Я все ж таки партийный» Выручила Авдотья Сипунова, жена Сообразилы.

Лошадей, которые получше, отобрал для себя РИК. Остальных передали в колхоз. И с лошадьми морока – их более тридцати голов, а дворы маленькие. Пришлось размещать в трех местах: на дворе Ключева, Алдолина и Успенского. А все, что осталось от кур, гусей, поросят и прочей мелочи, – отвезли на хутор Черного Барина. Сторожами послали туда мужа Козявки, Ивана Маринина, прозванного Котелком, и Сообразилу.

Поскольку многие кулацкие дворы заняли под свои нужды всякие конторы, у которых тоже появились и лошади, и телеги, то личный скот колхозникам велено было

держат пока при себе.

– Обождите малость, – сказал Возвышаев Кречеву и Бородину, – вот подготовим общие стойла и кормушки для всего села – тогда и соберем весь скот. Сплошной колхоз будет, на целый район. А пока существуют как база для наступления на единоличный сектор.

Эта раскиданная по всему селу база доставляла много хлопот Ивану Евсеевичу Бородину: то гуси пропадали, то поросята, то молоко браковали. И за все в ответе председатель.

Вызывают на молокозавод. Явился:

– В чем дело?

Мастер в белом халате, лицо строгое, как у доктора, подводит его к одной фляге, крышку открыл:

– Нагнись, понюхай!

– А чего там нюхать? Молоко, оно молоко и есть.

Подает ковш:

– На, зачерпни со дна! Тогда узнаешь, что за молоко.

Зачерпнул. Мать честная! Коровий навоз!

– Ты что, классовую вражду через навоз выражаешь?

И пошел материть на чем свет стоит. А что ты ему скажешь? Он прав. К тому ж он – представитель рабочего класса, из округа приехал. Хоть и не шишка, а место бугроватое.

Не успел с молоком скандал уладить, вот тебе – заявляется под вечер на дом Максим Иванович Бородин, старший над всеми конюхами.

– Иван Евсев, а на дворе Успенского кормить лошадей нечем.

– Как нечем? А где сено Успенского?

Мнется.

– Ты чего, мать перемать, али язык проглотил?

– Дак там до нас лошади райзо стояли... Вот они и травили сено, что на сушилах лежало.

– А в саду два стога стояло? Там не менее десяти возов было.

– Те стога увезли...

– Кто увез?

– А я почем знаю? Утром ноне пришел – от стогов одни поддоны. Я вам не сторож.

– Это ж грабеж при белом свете! В милицию заявлял?

– Я – человек маленький. Ты хозяин, ты и ступай в милицию.

Два дня путались с этим сеном. Так и не нашли. Да что на нем, метки, что ли, оставлены? Кулек сказал:

– Сено, оно сено и есть; перевезли с места на место, с другим смешали – и вся недолга...

Заикнулся было – собрать со всех колхозников по возу сена. Куда там! Шумят:

– Бери тогда все, и скот наш забирай! Кормите, как хотите!

Отбились.

Так и пришлось Ивану Евсеевичу свое сено отдать, отвез пять возов. И лошадь свою на общий двор отвел, а корову на солому поставил.

– Иван, она у нас совсем обезножает на соломе-то, – сказала Санька.

– Ничего, мать, не сдохнет, до сплошной коллективизации как-нибудь дотянет.

Тогда на общем сене поправится. И мы вздохнем. А пока идет промежуточная фаза, как Возвышаев сказал, значит, надо терпеть.

Но в эту промежуточную фазу судьба поставила запятую Ивану Евсеевичу. Случилась эта оказия, можно сказать, из-за проклятых конских хвостов.

Всем конфискованным лошадям, переданным в колхоз, Сенечка Зенин приказал обрезать хвосты и гривы. Сам принес овечьи ножницы, отмерял, до коих пор хвосты обрезать, указывал, как из длинной перепутанной гривы делать прямую, короткую, аккуратную щеточку. Чтобы лошади колхозные не походили на стариков-староверов, а все как одна имели юный вид, точь-в-точь – московские юнгштурмовки в коротких юбочках. Обрезать заставляли Максима Ивановича Бородина. Сам Сенечка к лошадиному заду не подходил, примерку делал сбоку, чтобы не уронить партийного авторитета на случай непредвиденного взбрыкивания какой-нибудь норовистой кобылы.

Ладно. Обрезали хвосты по самую сурепицу, так что теперь они стали похожими на кропильные кисточки. И тут приказ поступил – ехать за дровами для РИКа.

Поехали на трех подводах: сам Иван Евсеевич, Биняк и Максим Селькин. Доехали до Гордеева легко и радостно – дорога накатана до блеска, лошади сытые, сами в кулацких тулупах – не токмо что мороз, буран не страшен. Замахивай полы, закрывай воротник и дуй хоть до Москвы...

В Гордееве это благостное настроение улетучилось как прах. Сперва их стали дразнить пацаны: кружились возле подвод, как воробьи у навозной кучи, кричали наперебой и бросали в лошадей и ездоков конские мороженые катухи:

– Куцехвостые едут! Куцехвостые! Свиньи, свиньи куцехвостые... Бейте их! Бе-эйте!

Биняк не раз выскакивал из саней и, размахивая кнутом, разгонял эту ораву. Одни убегали вперед, другие назойливо, неотступно преследовали их и бросали с дальней дистанции оледенелые комья снега в смиренно ехавшего последним Максима Селькина.

На выезде из села, возле старого барского сада, их остановили – поперек дороги протянута была слега, одним концом упиравшаяся в ветхий забор, вторым – в развилку раскоряченной придорожной ветлы. Биняк выпрыгнул из саней и побежал к слеге. И тотчас из-за придорожных кустов, от забора, из сада налетела ватага подростков с палками и кольями в руках, и все вокруг загудело, защелкало, заухало.

– Ах вы, туды вашу, растуды вашу мать! – Иван Евсеевич моментально скинул тулуп, по-разбойничьи оглушительно свистнул и прямо из саней в длинном прыжке настиг двух парней и подмял их под себя, как волкодав пару щенков. Но не успел он оторваться от них, как сверху точно громом небесным шарахнуло его так по голове, что шапка отлетела в снег, и в ушах загремело, и в глазах вспыхнули, закружились огненные шары. Он оглянулся и увидел здорового верзилу с колом в руках, занесенным в высоченном замахе, и лицо в остервенелой, зверской усмешке. «Ах ты, гад! Ах ты, паскуда! Насмерть бьешь? Ну, лады...»

Иван Евсеевич нырнул под несущийся со страшным свистом кол и снизу сильно ударил парня под дых. Тот выронил кол, схватился руками за живот и, переломившись в поясе, повалился в снег. Увидев сраженного наповал своего заводилу, ребятня с тем же гиком и уханьем бросилась врассыпную, оставляя на снегу трех подбитых товарищей.

– А ну-ка, давай их в сани! – кричал Биняк. – В милицию их, стервецов, свезти!

Пусть отцов вызовут. Это ж кулацкая вылазка на классовую вражду!

У него красовался под глазом здоровенный синяк и губы кровоточили. Максим Селькин сидел все так же на саях с оторванным рукавом тулупа и виновато улыбался:

– Имушество колхозное попортили, вот пострелята... Как теперь с этим делом поступать будем?

– В милицию! – кричал Биняк. – Протокол составим. И штраф в пятикратном размере... А то родителям твердое задание... Подчистую штобы.

Иван Евсеевич осмотрел валявшихся ребят. Притворились подшибленными... Глаза украдкой поблескивали. Ясно, что боятся, кабы не забрали их...

– Поехали! – скомандовал Бородин.

– Куда? – переспросил Биняк.

– За кудыкины горы! Ты забыл, куда мы едем?

– Дак теперь важнее классовый карахтер проявить. Насчет политической линии. Надо в милицию заворачивать.

– Я те заверну кнутом по шее. Поехали! – Иван Евсеевич тронул вожжами лошадь и поехал первым.

Не успели они толком отъехать от места стычки, как лежащие поднялись и стали ругаться:

– Свины куцехвостые! Свины! Вот погодите, мы вас на обратном пути встренем... Еще посмотрим, чья возьмет.

Пока дрова пилили, да укладывали, да возы утягивали – стало смеркаться. И Биняк, и Селькин забастовали:

– Обратно через Гордеево не поедем. Нам головы посшибают в потемках-то. Поехали в объезд через Климуши, на Черного Барина.

Иван Евсеевич давно уж собирался съездить на хутор, поглядеть, как там хозяйствуют Котелок и Сообразило. И он согласился.

Почти всю дорогу, и полем до Климуши, и лесом до самого Черного Барина, Иван Евсеевич шел обочь саней, тулуп кинув на воз. И уже на подъезде к хутору его стало поташнивать, и голова кружилась, и вроде бы ознобом пробирало. Он завернулся в тулуп и сел на воз. Так, сидя на возу, и подъехал к околице Черного Барина.

Откуда-то из темноты ошалело заорал Сообразило:

– Стой! Кто идет?

– Свои, – ответил Бородин.

И в этот момент блеснуло прямо перед лошадиной мордой острым змеиным языком короткое пламя, и оглушительно грохнул выстрел. Лошадь пронзительно заржала, взвилась на дыбки и бросилась в сторону. Не успел Иван Евсеевич толком сообразить, что к чему, как почувал, что валится вместе с возом наземь. Только дернулся было в сторону, но тулуп за что-то зацепился. Его потянуло, подмяло под воз, и мгновенная, как вспышка выстрела, жгучая боль пронзила правую ногу и разлилась по всему телу.

– Стой, окаянная! Стой, дьявол! – орал Биняк, ловя лошадь Ивана Евсеевича.

Лошадь быстро поймали, успокоили. Воз поставили на место. И тут Иван Евсеевич с удивлением заметил, что валенок его правой ноги как-то наивыверт торчит в сторону. Его подняли под руки. Стиснув зубы от боли, он материл почему зря оторопевшего с ружьем в руках Сообразилу:

– Ты что, баламут недоделанный, спектаклю решил устроить? Или покушению задумал? Говори!

– Обознался я, Иван Евсеевич.

– Врешь, кобель подзаборный! Ты что, голоса моего не узнал? Иль не видел, что лошадь спереди обстрижена, как баба паскудная?

– Темно ведь...

– А вот отдадим тебя под суд, там тебе посветлеет...

Внесли Ивана Евсеевича в дом – и там все сразу прояснилось. Посреди избы на раскаленной чугунке стоял обливной бак, от него в открытый таз с холодной водой отходил медный змеевик, с конца которого, из краника, капала самогонка в подставленную бутылку. Рядом стояла целая кадка медовухи.

Иван Маринин, по прозвищу Котелок, щуплый мужичонка с печальным морщинистым личиком, сидел на кровати, свесив короткие ноги, и с испугом глядел на вошедших.

– А ну-ка, брысь с кровати! – цыкнул на него Биняк.

Тот спрыгнул с кровати и сел на скамью у стенки. Ивана Евсеевича положили на кровать, осторожно подправили отогнутый валенок. Кривясь от боли, он приказал:

– Подушки мне под спину! Так... – И, глядя на самогонный аппарат, спросил: – Чья работа?

– Николай Жадов и Вася Соса старались, – ответил с готовностью Котелок.

– Так... Понятно. Василь Осьпов, – сказал он Чухонину, – отпрягай лошадь, садись верхом и дуй в милицию. Пусть Жадова заберут. Кража меда – его работа.

– Холодно верхом-то, – сказал Биняк. – Я лучше в санях.

– Где ты их возьмешь?

– Счас, воз развалю... И вся недолга.

– Пока ты воз будешь разваливать – он уйдет.

– Ночью все равно не поймают, – говорил свое Биняк. – Да и в милиции никто сейчас и не почешется, ночью-то.

– Езжай, говорят, в милицию! Понял?

– Я сей минут, – сорвался Биняк и скрылся за дверью.

– Значит, Жадов тебя поставил на часах возле околицы? – спросил Сообразилу Иван Евсеевич.

– Он. Наказал стрелять, кто бы ни появился.

– Ах ты, матаня саратовская! Вас зачем сюда поставили? Добро колхозное на самогонку перегонять?

– Это не мы... – ответил Сообразило. – Они нам приказали...

– А у тебя что на плечах, башка или кочан капусты? Ты думаешь, тебе все с рук сойдет, поскольку колхозник? Нет, мать перемать, мы тебя под суд отдадим за одну компанию с этими живоглотами. Пойдешь, куда Макар телят не гонял. Понял?

– Понял, понял, чем мужик бабу донял, – бубнил свое Сообразило. – Говорю тебе, не по своей воле я. Они меня силком принудили. Ты эта... Давай перекуси чего-нибудь. Поди, весь день не емши и назяблись. Нога вон тоже... Ишь, как вывернуло...

Сообразило начал ставить самовар, а Иван Евсеевич вдруг откинулся на подушки и не то заснул, не то впал в забытье.

Приехали за ним уже под утро на больничной лошади. Фельдшер Семен Терентьевич как глянул, так и валенок сымать не стал – перелом голени. Потом приехала милиция, Кулек и Сима, вдвоем. Рассказали, что ходили с обыском на дом к Сосе и Жадову. У Жадова в подполе оказался тайник. Там нашли пять кадок сотового

меда, перемешанного с пчелами, а еще нашли много всякого добра.

Самого Жадова и след простыл. С той поры его никто и никогда не видел в Тиханове.

Сообразилу и Сосу судили, дали им по году принудиловки. А Ивана Евсеевича Бородина положили в тихановскую больницу на долгие месяцы...

Одна кампания – по раскулачиванию – пошла под уклон, вторая же – по коллективизации – набирала силу и страсть. Летели одна за другой вперехлест телефонограммы, требуя сводок и отчетов, стучали телеграфные аппараты, выбивая срочные директивы и постановления, бушевали на страницах окружных, областных и центральных газет призывы и лозунги.

«Героев черепашьих темпов коллективизации – под бич пролетарской самокритики». «Дни и часы сосчитаны: не позднее 20 февраля полностью засыпать семенные фонды!» «Корову и лошадь – под крышу колхоза...» «Борьбу с убоем скота не прекратишь одними административными методами. С этим злом надо бороться только массовым обобществлением скота и массовой контракцией». «Довольно церемониться с волокитчиками!» «Те же, кто не успеют засыпать до 20 февраля семфонды, ответят пролетарскому суду за срыв и невыполнение директив правительства». <sup>15</sup>

В Тихановский райисполком пришло постановление окружного штаба по сплошной коллективизации:

«1. В Сапожковском, Сараевском, Ерахтурском районах сбор семфонда проходит неудовлетворительно. Если в ближайшие дни не будет достигнуто резкого перелома, членов райштабов с работы снять и предать суду.

2. Имеют место множественные обследования всякого рода учреждениями хода кампании по коллективизации... Без ведома РИК никакие обследования по коллективизации не проводить.

3. Одобрить мероприятия прокуратуры по привлечению к ответственности работников, допустивших бездействие и халатность в выполнении директив по коллективизации и посевной кампании.

Окрштаб по коллективизации. Штродах». <sup>16</sup>

Возвышаев приказал размножить это постановление и послал с ним уполномоченных по селам.

В Пантюхино к Зиновию Тимофеевичу приехал завроно Чарноус. Кадыковы сидели дома, ужинали при висячей лампе-семилинейке. Чарноус, сняв пушистый заячий малахай, поздоровавшись, сказал от порога:

– Раненько вы за ублажение собственного чревоугодия садитесь. – Черные, прищуренные глазки, вздернутый носик с открытыми ноздрями, да черные усики вразбег от ноздрей, да маслянисто блестящие волосы на круглой голове придавали ему сходство с котом, вставшим на задние лапки. – Не такое время теперь, дорогой

---

<sup>15</sup> Газета «Рабочий путь», Рязань, 1929, ноябрь.

<sup>16</sup> Газета «Рабочий путь». Рязань, 1929, ноябрь.

Зиновий Тимофеевич, чтобы с наступлением сумерек забиваться в теплые норы... Работать надо, работать...

– А нам, Евгений Павлович, и работать негде. Разве что на дому, – отвечал, виновато улыбаясь, Кадыков. Он встал от стола, принял от Чарноуса черный полушубок с белым от наметенного снега воротником и, приглашая к столу, все тем же виноватым тоном продолжал пояснять: – Создавайте, говорят, колхоз, а меж тем последнюю контору отобрали. Нам сперва отдали дом Галактионова, раскулаченного. А потом выгнали оттуда. Райпотребсоюз отнял под сыроварню...

– Располагайтесь пока в сельсовете.

– Там только дратву сучить да лясы точить. У нас сельсовет что посиделки – то выпивка, то спевка, а то девок щупают...

– Как это так? Сельсовет – и посиделки?

– Так вот... Председатель попался нам веселый...

– Помилуйте, что вы говорите? Он же двадцатипяти тысячник!..

– Не знаю. Я эти тыщи не проверял. Садитесь к столу, вместе поужинаем. Нюра, ложку для гостя!

Анна Петровна встала со скамьи и потянулась к подвесной зашторенной полочке.

– Не надо! – остановил ее жестом Чарноус. – Я уж поел. Да и не ко времени за ужином восседать. Сперва прочти-ка вот это. – Чарноус вынул из портфеля выписку из постановления окружного штаба, подал ее Кадыкову, а сам сел на скамью у окна.

Кадыков поднес бумагу к висячей лампе и прочел.

– А к чему она, эта штука? То есть какое нам задание от этого? – спросил Кадыков.

– Задание вот какое – к двадцатому февраля весь наш район должен быть коллективизирован.

– Эта легко сказать. – Кадыков вернул Чарноусу бумагу и, весь погрузившись в собственные мысли, спросил скорее себя самого: – А как это сделать?

– План продуман и весь в целом, и по отдельным мероприятиям, – ответил Чарноус. – Затем и приехал – ввести вас в курс дела. Сперва проводим сбор семфонда. Значит, семена зерновых каждый засыпает в собственные мешки, и все сносят в общие амбары.

– Нет у нас общих амбаров!

– Нет? – Чарноус с удивлением поднял брови и сказал: – Сегодня будут. – Потом снисходительно пояснил: – Амбар – не скотный двор. Семена не лошади, не коровы. Положил их вместе – будут лежать. А где? Куда складывать? Решим сегодня же вечером. Вот сейчас пойдем в Совет и решим. В Пантюхине много амбаров. Почитай, у каждого жителя амбар, а то и по два. Да еще кладовые есть...

– Понятно... Но, собрав семена, еще не создашь колхоза.

– Не торопитесь... Все надо раскладывать на этапы и решать по пунктам. Итак, первый пункт – сбор семян, то есть создание колхозного семфонда. Конечно, пока мы его не объявляем колхозным. Просто – общий семфонд. Мы заботимся только о весенней посевной, посему у каждого крестьянина семена должны быть налицо. И хранить их надо в надежном месте. Понятно?

– А вы думаете, мужики не догадаются, к чему эту карусель затеваем? – с усмешкой спросил Кадыков.

– Догадаются они или нет – к нам это не имеет никакого отношения. Наша задача – к двадцатому февраля в Пантюхине создать всеобщий колхоз. Так вот... К



завтрашнему утру пункт первый должен быть выполнен, то есть семфонд собрать за ночь. – И сделал выдержку.

– Ничего себе заданьице, – сказал Кадыков и почесал затылок.

– Второй пункт – собрать общее собрание и проголосовать за сплошную коллективизацию. Но для проведения этого мероприятия приедет к вам особый уполномоченный. С ним решите – на чьи дворы сводить коров и лошадей, то есть: где строить кормушки. И наконец, третий пункт – свести скот и собрать инвентарь в означенных дворах. Это вы и сами сможете сделать. Обойдетесь без посторонней помощи. Как видите, все разработано на законном основании. По науке.

– Н-да. – Кадыков только головой крутил и посмеивался: – Весело, ничего не скажешь. Кабы только напоследок не расплакаться?

– Замечание не по существу. – Чарноус встал и направился к порогу. – Я иду в сельсовет. Скажу председателю, чтобы актив собирал. Приходите поскорее.

– Чего уж там. Вместе пойдем. Я поужинал, можно сказать.

Шли темной дорогой посредине села, но Кадыков чуял, как смотрели на них невидимые мужики и бабы от каждой околицы, с каждого крыльца. Догадался по тому, как ребятишки толпились возле его дома и сопровождали их шумной толпой до самого Совета. Даже снег и ветер, подымавший сухую поземку, не мог разогнать их по домам.

Председателя Ухарова в Совете не было. Епифаний Дранный с рассыльным Родькой Киселевым сидели за столом и резались в шашки. На вошедших – ноль внимания.

– Надо все ж таки здороваться, – сказал Кадыков.

– Иль я тебя не видал? – отозвался Епифаний.

– Я не один... Со мной представитель из района. Что подумают о нас там, в районе?

– А что им думать? Им ни жарко ни холодно. У них одна думка – как бы поскорее нас в колхоз загнать.

– Ну хватит! Распоясались, понимаешь. – Кадыков смешал шашки на доске и приказал Епифанию: – Разыщи Ухарова. И чтоб одна нога здесь – другая там, понял?

Епифаний натянул на голову тряпичную шапку и поспешно вышел.

– А ты давай за членами сельсовета! – наказывал Кадыков Родиону. – Тяни всех десятидворцев. И чтоб живо!

– Что это за десятидворцы? – спросил Чарноус, когда вышел рассыльный.

– Все село разбито на тридцать десятидворок. Во главе каждой десятидворки стоит выборный человек. Вот эти десятидворцы и есть члены сельсовета, наш актив.

– Странно! – усмехнулся Чарноус. – А где же классовый подход?

– Вот это и есть классовый! В нашем селе только один класс – крестьянский.

– А как же беднота? Она, что ж, в стороне у вас?

– Почему? Беднота имеет свою группу. Так и называется она – группа бедноты. Во всех делах они тоже принимают участие.

– Вот члены этой группы бедноты и должны стоять во главе десятидворок.

– Э, нет. Не пойдет такое дело.

– Почему?

– А потому, что десятидворки созданы не для игры, а для работы. То есть гати гатить, луга чистить, болота, мосты строить. Тут надо, чтоб каждый десятидворец шел в дело во главе своей десятки, на своей подводе. Тогда за ним и другие потянутся. А

если он выйдет с одним прутиком в руках – кто за ним пойдет? А что у иного бедняка, кроме лаптей?

– Выходит, вы не очень-то жалуете бедноту, – усмехнулся Чарноус.

Кадыков вскинул подбородок и зачастил по-пантюхински, с распевкой в конце фразы:

– Не надо читать нам политграмоту, радима-ай. Мы ее в гражданскую на пузе с винтовкой в руках усвоили. Я тебе лучше вот какой вопрос задам: Советская власть землю разделила по мужикам или нет?

– Разделила, – обиженно ответил Чарноус.

– Ага! С этой самой поры бедняками остались у нас либо калеки да убогие, либо те пустобрехи, которые хотели бы эту землю ложками хлебать, словно дармовую кашу, да пузо на печке греть, а не работать на этой земле до седьмого пота...

– Но позвольте, позвольте! – вспыхнул и Чарноус, поддавшись азарту Кадыкова. – Кроме земли есть еще и производственные условия: нужен инвентарь, скот рабочий...

– А еще ангел божий, который принес бы этот инвентарь и сам бы землю вспахал. Вы что, не слыхали про сельковы, про кредитные товарищества? Нужен тебе плуг – бери. Денег нету – в кредит дадут. Не только плуг или борону... И сеялки брали, и веялки, и лошадей, и коров! Я сам лошадь в кредит брал, в двадцать втором году. И за год оправдал ее в извозе. Погасил кредит. Чего еще надо? На что жаловаться? На лень-матушку? На этот счет намеков у нас не любят.

– Вы упрощаете вопрос классового расслоения, – строго заметил Чарноус и умолк, отвернувшись к окну.

Кадыков вышел на крыльцо покурить и столкнулся с Ухаровым.

– Что за новости на старом месте? Пошто народ честной тревожим по ночам? – весело спрашивал тот, подымаясь по скрипучим ступенькам, заслоняя собой весь крылечный проем.

Он был в пиджаке и в чесанках, котиковая шапка с распущенными ушами и такой же черный воротник были чисты от снега. Значит, у дьякона сидел, сообразил Кадыков, третья изба от Совета. «Экий несуразный верзила, не успеет выпить, а грохочет на все село», – подумал о нем неприязненно Кадыков, но ответил сдержанно:

– Приказано собрать семена.

– Ну и что? Время подойдет – соберем.

– Оно подошло. Собирать будем ноне.

– Ночью, что ли?

– Да.

– Е-о-мое! – Ухаров свистнул и засмеялся. – А ну-ка мы рожь с ячменем в потемках перепутаем? А еще хуже, ежели мужика с бабой!

– Прислали к нам человека из района, который вразумит нас, дураков... Пошли!

Ухаров при свете лампы да в присутствии маленького Чарноуса казался еще более громоздким и горластым; дружелюбно протягивая руки и смеясь, как это делают все подвыпившие люди, он говорил Чарноусу:

– Это вы нас поведете ночью по избам? Извиняюсь, я впереди не пойду – здесь собаки злые.

Руки у него были большие и красные, с длинными узловатыми пальцами и далеко высовывались из пиджачных рукавов. Чарноус уклонился от его рукопожатий и, держась за свой портфель, перешел на другую сторону стола.

– Да вы меня не бойтесь! – засмеялся опять Ухаров. – Мне ваш портфель не

нужен. Между прочим, знаете, как зовут эту штуку здешние мужики? – ткнул он неуважительно пальцем в портфель и сказал: – Голенищей.

– Иван Иванович, пока нет посторонних, давайте обговорим, как нам дело делать, – сказал Кадыков, с трудом сдерживая себя, чтоб не рассмеяться, видя, как опасливо отступал Чарноус, готовый в любую минуту дать стрекача от наседавшего на него Ухарова.

– Да какое это дело? – отозвался опять со смехом Ухаров. – Дело, это когда человек трудится. А когда по чужим сусекам лазают, это не дело, а дельце, и его не делать надо, а обтяпать. Значит, обтяпаем это дельце, – он довольно потер руки и сел на табурет к столу. – Присаживайтесь, товарищи! Вы здесь гости, а я – хозяин.

– Установка райисполкома жесткая, – сказал Кадыков, присаживаясь на табуретку, – к утру собрать весь семфонд. Вот Евгений Павлович привез указание.

Чарноус положил на стол перед Ухаровым выписку из постановления окружного штаба и добавил от себя:

– За невыполнение задания в срок приказано снимать с работы и отдавать под суд.

Ухаров прочел эту бумагу и сразу протрезвел. Его шалые, озорные глаза в темных окружиях подглазий невидяще уставились в занавешенное красным лоскутом окно, и он произнес скорее для себя:

– И рожь, и ячмень, и овес, и просо, и всякое прочее... И все это собрать за одну ночь?

Чарноус переглянулся с Кадыковым и с многозначительной улыбкой произнес:

– Уважаемый товарищ Ухаров, в здешних местах ячмень не сеют, а рожь бывает только озимая. То есть она давно уж посеяна. Так что следует собрать только семена яровых. А их не так много в каждом хозяйстве.

Ухаров вопросительно посмотрел на Кадыкова.

– Да, семян немного, – подтвердил Кадыков, – мешок, от силы два, на хозяйство. Овес, просо, еще лен, конопля. Мелочь.

На лице Ухарова снова блеснула озорная усмешка.

– А не получится у нас такая ж катавасия, как с волгарями-отходниками? Мы отобрали у них по мешку селедки, – обернулся он к Чарноусу, – судья Радимов приказал. Складывали эти мешки в сельсовете, в сених. У нас чулан есть. Куда их девать? В районе не берут. По мужикам раздать – не разрешают. Они и валялись три недели в сельсовете. Все стены селедкой провоняли. Пришлось уговаривать этих волгарей, чтоб назад забрали.

– Семена не селедка, они не завоняют, – глубокомысленно изрек Чарноус.

– Это верно, – подтвердил Ухаров. – А если мужики не согласятся сдавать семена?

– На этот счет есть приказ: тут же, на месте, составить акт и конфисковать муку, рожь – все, что под руку попадет. Для этого я и приехал. – Чарноус сделал паузу, в упор посмотрел на Ухарова и добавил: – А вы исполнять будете... мой приказ.

– Приказ, оно, конечно, исполнять надо. Кабы только по шее не надавали этим исполнителям. Вы у себя живете, а я по домам шляюсь... Вижу и слышу, как народ обозлен.

– Так что ж, из-за ваших сомнений отказаться от исполнения директивы? – строго спросил Чарноус.

– Не об этом я... Народ, говорю, обижаем. Вместо того чтоб по-душевному подходить, мы с матом да с дубинкой. А враги наши не дремлют. Вот глядите, какую

прокламацию я получил. На телеграфном столбе наклеена была. – Ухаров достал из бокового кармана тетрадный листок, развернул его перед собой и стал читать: – «Дорогие товарищи! Граждане православные! Пока посылаю я вам из небесного царства письмо, в котором прошу не вступать в колхозы, а которые взошли, пусть выходят. Всех прошу принять на себя ударную работу по развалу своего колхоза. Кто не поставит себе эту задачу, тот пойдет в ад, а кто поставит, тот будет принят мною в святые угодники и получит царствие небесное».

– Кем подписано? – спросил Кадыков.

– Бог подписи не ставит, – усмехнулся Ухаров.

– Безграмотная галиматья, – сказал Чарноус.

– Насчет грамотности не спорю, а вот галиматья это или нет, покажет время.

Распахнулась дверь, и вошел Родька Киселев с первой группой десятидворцев. Сидевших за столом обдало холодом, и снегом запахло. Шапки у многих мужиков были сильно заснежены. «Ждали друг друга на улице, по одному не хотелось идти», – подумал Кадыков. Возле порога обметали валенки, выбивали шапки, не торопились проходить. Только Родька-рассыльный сел на табуретку и весело доложил:

– Всех обошел. Этих с богатовского конца приволок. Счас придут и с другого конца, возле дьякона собираются. Дранный их приведет.

Зиновий Тимофеевич приказал внести из сеней пару скамеек и поставить их вдоль стен. Мужики все делали молча, смотрели как-то вкось, под себя, и даже между собой не переговаривались. Чадили все самосадом, покашливали, как спросонья. Не оживились даже, когда подошла вторая группа с Епифанием Дранным.

– Все собрались? – спросил Ухаров, отрываясь от бумаги, привезенной Чарноусом.

– Вроде бы все, – ответил Епифаний.

– Рассаживайтесь товарищи! Сейчас представитель района, заведующий роно товарищ Чарноус, поставит перед нами боевую задачу.

Чарноус поднялся над столом и, опираясь на свой кожаный желтый портфель, коротко сказал, что теперь нет важнее в районе задачи, чем встретить весеннюю посевную кампанию во всеоружии. А посему необходимо сегодня же собрать весь семфонд и доложить об исполнении к завтрашнему утру.

– А чего такая спешка? Иль село горит? Иль сеять завтра, по снегу? – спрашивал Епифаний Дранный, оглядываясь на мужиков, как бы ища у них поддержки.

– Это не спешка, а организованное проведение соцсоревнования. Кто быстрее всех засыпет семфонд, тот попадет на Красную Доску почета, – ответил Чарноус.

– А куда их ссыпать, семена-то? – спросили со скамьи.

– Под семфонд выделяются амбары десятидворцев, – ответил Кадыков, – ваши то есть.

– А с ключами как быть?

– С какими ключами?

– С амбарными. Он принесет ко мне на хранение семена, а ежели что случится? Или крысы их поточут? Тогда с ним не разделаешься.

– Да не в ключах дело... Вы ответьте: зачем семена собираете?

– То ись под каким предлогом?

– А зачем вам предлог понадобился? – спросил Ухаров, обращаясь к мужикам.

– Нам ничего не надо. У нас все есть. Это вам наши семена понадобились, – загалдели мужики.

– Скажите прямо – в колхоз будете загонять?

– Али, может, в город их отвезете?

– Товарищи, товарищи, что за ералаш? – встал Чарноус и строго вразумлял мужиков: – Кому пришла в голову такая чушь? Семена в городе не нужны. Они нужны здесь, чтобы организованно встретить весеннюю посевную. Пока есть еще время – надо все привести в боевую готовность – сперва семена, потом инвентарь...

– А потом и нас заобращаете и в колхоз потащите, – перебили его.

– Я попрошу не распускать эти классово чуждые мотивы! – повысил голос Чарноус. – За враждебные слова мы так же наказываем, как и за враждебные действия. Что за распушенность? Никто вас насильно в колхоз не потянет. Подойдет время – проголосуете сами. А сейчас речь о сборе семфонда. Мы не имеем права пускать весенне-посевную на самотек. Семена должны храниться под строгим надзором. Ключи от амбаров сдать секретарю партячейки Кадыкову. В надежном месте семена не пропадут. Перед севом каждый получит свои семена под роспись... Говорить больше не о чем. Предупреждаю – всякая попытка оказать сопротивление сдаче семфонда будет строго пресекаться. А теперь попрошу разбиться на две группы и приступить к делу.

Решили собирать семена с обоих концов Пантюхина сразу. Одну группу возглавил Ухаров, от помощи Чарноуса он отказался, проворчав: «Обойдемся и без погонщиков».

Чарноус надулся и пошел вместе с Кадыковым. Вперед себя послали десятидворцев – оповещать каждого мужика, чтоб семена готовили. Прихватили лошадь с розвальнями – мешки с мукой или с рожью положить на случай конфискации.

А случай такой выпал на их долю: в первой же избе с краю села заупрямился хозяин. Зиновий Тимофеевич знал его как мужика тихого, справного в деле, хотя и скуповатого. Он принял начальство радушно, в подвал провел, показал, в каких мешках хранятся семена проса и овса, но сдавать их, везти в общий амбар отказался наотрез.

– Здесь они на моих глазах целее будут.

– Терентий Семенович, постановление свыше обсуждению не подлежит, – уговаривал его Кадыков. – Если добром не повезешь, силой заставим.

– А сильничать надо мной – у вас таких прав нету, – отвечал Терентий Семенович. – Я крестьянин-трудовик, чужих людей не ксплуатировал. Сам из бедноты только выбрался. – Он был хмур, волосат, в просторной рыжей свитке, в лаптях, смотрел на них с детским недоумением, как на чудаков, которые простых вещей не понимают.

– Терентий Семенович, мы вынуждены акт составлять, – доказывал ему терпеливо Кадыков, – что ты уклоняешься. Некогда нянчиться с тобой...

– Это – пожалуйста, составляйте ваши акты. Только сильничать не имеее права.

– Хватит с ним в прятки играть! Иль не видишь – он же придушивается? – в сердцах сказал Чарноус и, вынув из портфеля листок бумаги, сел за стол писать акт. – Ваша фамилия?

– Свиненковы мы прозываемся... – Хозяин стоял за спиной Чарноуса и смотрел, как тот водит по бумаге карандашом, и приговаривал: – На то вам и грамота дана, чтоб разобраться по совести. Бумагу, значит, составить. А сильничать нельзя.

– Вот здесь подпишись, что отказываешься семена сдавать. – Чарноус ткнул

карандашом в бумагу.

– Мы безграмотные, – ответил хозяин.

– Ну ставь крест, какая разница?

– Это можно, – хозяин старательно вывел каракулю и, довольный собой, уселся на скамью.

– Зиновий Тимофеевич, и вы... Как вас, простите? – обратился Чарноус к десятидворцу, стоявшему возле порога.

– Игнат! – с готовностью отозвался тот.

– И вы, Игнат... Ступайте в подвал, возьмите мешок муки и мешок ржи, уложите на сани и отвезите в общий амбар. Не возвращать хозяину до тех пор эти мешки, пока не сдаст семена.

У хозяина вытянулось лицо и часто заморгали глаза, а с печки раздался сперва приглушенный женский плач, потом вразнобой заревели детишки.

– Тереха-а! Куды ж нам без хлеба-то податься? Ой, матушка моя родная!.. Мы ж до нови не дотянем.

Терентий Семенович попытался слабым голосом возразить:

– То ись по какому такому праву?..

Но его никто не слушал. Все трое (Игнат прихватил с собой фонарь) прошли в подвал, взяли мешок муки да мешок ржи, положили их на розвальни и поехали.

Напротив соседней избы их нагнал Терентий Семенович; он бежал без шапки с развевающимися на ветру волосами и кричал во все горло:

– Зиновей Тимофеевич! Стойтя-а! Зиновей Тимофеевич, остановитя-ась!..

И, раскинув руки, словно пытаюсь заслонить телом своим эти мешки на розвальнях, нагнувшись над ними, торопливо говорил:

– Вы эта, везите назад их... Я сдам семена-то, сдам... Только погодитя малость, баба мешки зашьет. Да метки свои поставим фимическим карандашом...

Самым тугим, упорным и неподатливым звеном сопротивления всеобщему движению к сплошной коллективизации оказался Гордеевский узел. За три дня до окончательного срока по засыпке семенного фонда Возвышаев сам выехал туда во главе судебно-следственной бригады. Накануне выезда он собрал заседание райштаба и, потрясая над головой газетой «Рабочий путь», произнес пламенную речь:

– Что сказано в этом окружном директивном органе? А здесь вот что сказано – дни и часы сочтены – не позднее двадцатого февраля полностью засыпать семенной фонд. Но это еще не все, дорогие товарищи. Главное – корову и лошадь под крышу колхоза! То есть в эти считанные дни все деревни и села должны быть охвачены сплошной коллективизацией. Некоторые районы нашего округа уже отрапортовали о стопроцентном сведении скота на общие дворы. А мы с вами все еще с кормушками возимся. Нет кормушек? Не успели построить? Плюньте на кормушки! Сводите так. Назначайте общие дворы по списку, а сено скармливать через двор, в очередном порядке. Понятно? Имейте в виду – никакие оправдания о затяжке кампании в расчет не принимаются. Любые препятствия опрокидывать безоговорочно. Вот вам на этот счет прямая установка... – Возвышаев раскрыл газету и прочел: – «Осталось только семьдесят два часа... Несмотря на то что двадцатое февраля для округа является крайним сроком по засыпке семфонда, все же отдельные районы до сих пор ведут работу безобразно медленным темпом. Те же, кто не успеет засыпать до двадцатого февраля семфонд, ответят пролетарскому суду за срыв и невыполнение директив

правительства». Все слышали? Это не выдумки наши, а руководящая директива, спущенная по области самим товарищем Кагановичем. Снисхождения никому не будет. Итак, шестнадцать бригад на шестнадцать кустов. Три дня вам сроку. Девятнадцатого февраля придут к нам на помощь из округа еще сорок человек. Двадцатого февраля все должны быть в колхозах! Не проведете в срок кампанию – захватите с собой сухари. Назад не вернетесь.

На этом заседании никто не перечил Возвышаеву, никто не поправлял его, не одергивал: Озимое уехал в Желудевку расследовать ограбление магазина сельпо, а Пospelов опять слег в больницу. Накануне вечером скрутила его в три погибели загадочная внутренняя болезнь – не то язва желудка, не то воспаление желчного пузыря. Врача вызывали прямо в кабинет, отсюда же, из кабинета, переселился он в больницу. Возвышаев хоть и посмеивался над этой болезнью Пospelова, называя ее внутренним оппортунизмом, втайне был доволен: баба с возу – кобыле легче. Гнать надо было во весь опор. И никто не мешал ему теперь.

Еще по телефону из Тиханова перед самым отъездом он приказал председателю Гордеевского Совета Акимову собрать к шести часам вечера всех жителей села. «По какой причине?» – спросил тот. «Буду сам выступать, – ответил Возвышаев. – На предмет организации колхоза. Обеспечьте явку каждого жителя!» Акимов сказал, что всех до кучи собрать никак нельзя по причине отсутствия большого помещения: «При барском доме был клуб, да сгорел. А в школе, в самом большом классе и в смежном коридоре, помещается только четыреста человек. Всех же хозяев на селе насчитывается семьсот семьдесят шесть душ. Может, в церковь собрать?» – «Вы что, с попом меня перепутали? – рявкнул Возвышаев. – Рекомендую шуточек насчет проведения ответственного мероприятия не отпускать». – «Какие шуточки? Говорю, людей негде собирать». – «Собирайте в школе». – «Дак что, в два захода? Село пополам делить?» – «Кончай базар! Всех оповестить и собрать к шести часам в школу!»

Возвышаев забрал с собой Чубукова, Радимова и нарследователя Билибина. Поехали на двух подводах; Возвышаев рассчитывал все сделать за сутки: организовать всеобщее голосование за вступление в колхоз, определить сроки сбора инвентаря и скота на общих дворах, главное – лично сдвинуть с мертвой точки сбор семенного фонда, а там – поручить судебно-следственной бригаде следить за исполнением принятых решений, самому же вернуться в Тиханово и взять под контроль дела в остальных пятнадцати кустах.

Ехал он на передней подводе, Чубуков правил, сам же Возвышаев завернулся в тулуп и улегся в задке санок, чтобы поспать в дороге. Устал он, мотаясь за последнюю неделю, и осунулся так, что щеки провалились и черные подглазья еще резче оттеняли лихорадочный блеск его постоянно взбудораженных серых глаз. Какое-то общее выражение мрачной решительности появилось теперь на хмурых лицах Возвышаева и Чубукова, и даже скулы одинаково обозначились у них, потемнели и шелушились от ветра и мороза в постоянных разъездах. И день и ночь тормозили они, подгоняли сельских активистов, заставляя собирать семена, строить кормушки, готовиться к великому дню всеобщего объединения в сплошной колхоз. Все шло по задуманному плану – сперва собрать семфонд, подготовить общие дворы, потом одновременно по всему району провести собрания, проголосовать и в течение двадцати четырех часов согнать весь скот. И вдруг – осечка! Ни в Гордееве, ни в Веретье не сдают семена. Кормушки построили, но семена не сдают. Уполномоченные силой пытались взять.

Так мужики все дружно стеной встали. В чем дело? А мы, говорят, построили кормушки для тех, кто хочет в колхоз идти, то есть сделали дело общественное. А семена – дело частное, это касается каждого из нас. Поскольку мы единоличники, то каждый старается для себя – где хочет, там и хранит, и отбирать – не имеете права. Выход нашел из этого тупика путем правильных логических рассуждений сам Возвышаев: раз не хотят сдавать семена как единоличники, то сдадут их как колхозники. Так и сказал он на заседании районного штаба: «Весь Гордеевский куст за считанные часы должен сделаться сплошным колхозом. И начнем собирать семена законно, то есть не как с единоличников, а как с колхозников, привлекая в дело судебно-следственную бригаду. Это и будет первая репетиция всеобщего мероприятия».

– Никанор Степанович, ты спишь? – спросил Чубуков с облучка.

– Нет. А что? – откликнулся Возвышаев из-под тулупа, не откидывая воротника.

– А вдруг мы их не уломаем?

– Кого?

– Да мужиков. Упрутся, не пойдут в колхоз, и шабаш. Как тогда быть? Ведь опозоримся на весь район. И потом – какой пример будет для других? Они же враз по бабьему телефону разнесут по всем селам. И другие бригады провалятся.

Тулуп заворочался, откинулся воротник, и из мохнатой овчинной глубины вынырнула голова Возвышаева в черной котиковой шапке.

– Ты один придумал эту несуразность или с кем обговаривал? – строго спросил Возвышаев.

– А что?

– А то самое... Едешь на боевое задание с оппортунистическим настроением – это и есть внутренняя капитуляция перед крепостью под названием «частная собственность».

– Ну, это ты брось! – Чубуков в одну руку переложил вожжи, другой взял изо рта трубку и стал возбужденно говорить, размахивая ею, как дымящейся головешкой: – Я эту частную собственность шуровал еще задолго до революции, когда ты под стол пешком ходил. Я через нее в тюрьме дважды сидел и ненавижу ее как самую главную заразу на земле. Не то чтоб отступать перед ней... Вот этой рукой смогу запалить с обоих концов любое село, сжечь все до последнего овина, – он погрозился трубкой, – если это понадобится для искоренения всех отростков частной собственности в пользу мирового пролетариата. Я не в том смысле тебе говорю, что испугался отобрать что-либо из мужицкого барахла. У меня рука не дрогнет. Я тебе о дьявольском упрямстве этих мужиков. Ну, семена отберем... Надо – штаны с них посымаем. Но если мужик не запишется в колхоз, что ты с ним сделаешь?

Возвышаев покачал головой и сказал с горькой усмешкой:

– Вот что значит теоретическая слепота в проведении политики дальнего прицела. Ты что думаешь? Неужто мы будем ждать мужицкого всеобщего согласия на поворот лицом к сплошной коллективизации? Да какой же политик ждет всеобщего согласия, когда задумал прочертить линию главного направления? Пока он будет ждать всеобщего согласия, он и сам состарится, и народ обленится до безобразия. Всеобщего согласия не ждут, его просто устраивают для пользы дела.

– Но как ты его устроишь? Ведь это не то чтоб отобрать имущество или там раскулачить, сослать?

– В теории есть доказательство от противного, то есть вовсе не обязательно



заставить всех кричать: «Мы за колхозы». Вполне достаточно, чтобы никто не говорил: «Мы против колхозов». А если кто скажет, взять на заметку как контру. Понятно?

Чубуков от неожиданности даже рот раскрыл.

– Это и в самом деле просто, – только и выдавил из себя.

– И сегодня в Гордееве ты увидишь, как это делается, а завтра утром проделаешь все то же самое в Веретье. Вот так. А теперь гони! – Возвышаев снова завернулся в тулуп и успел даже соснуть до Гордеева.

Подъезжали к селу уже ввечеру; на высоком церковном бугре на черных липах дружно, картаво кричали галки, зеленый купол колокольни, золотая луковка и крест блестели в жарких отсветах кровавого заката, и сумрачная длинная тень от огромной белой церкви пропадала в дальних пределах тускнеющих снежных полей. Было что-то тревожное и в этом заполошном гортанном птичьем гаме, и в широком зареве полыхающего ветреного заката, и в ритмичном покачивании оголенных черных лип.

– Что, подъезжаем? – спросил Возвышаев из тулука.

– Да, гордеевская церковь, – отозвался Чубуков.

– А я вроде бы и не спал... – сказал Возвышаев, откидывая воротник тулука. – Думал, что все еще лес – санки идут ровно, ни заносов, ни раскатов.

– Ветер только начинается. За ночь заметет – и не выберешься отсюда.

– Ну уж это отойди проць! Как говорят в Пантюхине. Если понадобится, верхом – и то уеду. А то обе лошади запрягу в одни санки.

– А нам чего без подводы делать? Гордеевский куст большой.

– Достанете подводы. Вы тут останетесь полными хозяевами.

С высокого церковного бугра все село видно было как на ладони: два бесконечно длинных порядка домов по берегам извилистой Петравки; внизу, у самого речного приплеска, в окружении ветел и тополей, за тесовой оградой, – деревянная, крашеная охрой школа, возле которой густо толпились мужики в бурых свитках, в черных и рыжих шубах, в лаптях и белых онучах, высоко ухлестанных частой клеткой обор.

– Ну, Чубук, веселый будет разговор, – сказал Возвышаев, глядя на мужиков. – Гони!

У школьной околицы встретил их Акимов, взяв под уздцы разгоряченную лошадь, он провел ее сквозь узкий проезд в ограду и крикнул избачу, стоявшему в толпе мужиков:

– Тима! Тащи сена! – Привязав лошадь к поперечно закрепленному бревну, подошел к начальству: – С приездом вас, Никанор Степанович!

Возвышаев уже вылез из тулука и прыгал возле санок, разминая озябшие ноги в высоких хромовых сапогах; на нем была приталенная защитного цвета бекеша, отороченная кенгуровым мехом. Поздоровавшись с Акимовым, спросил:

– Всех собрал?

Тот пожал плечами и сцепил на животе толстые пальцы:

– Оповестил всех.

– Имей в виду, никаких скидок мужикам на то, что отсутствовали, не будет.

– А по какому поводу собрание?

– В колхоз будем принимать.

– Кого?

– Всех.

На круглом и красном лице Акимова расплылась добродушная широкая улыбка:

– Всех сразу не примешь.

– Почему? – строго спросил Возвышаев.

– Да ведь почти восемьсот человек... До свету не перепишешь всех-то.

– А у нас не церковь. Мы не записываем каждого в отдельности ни во здравие, ни за упокой.

– А как же?

– Всех сразу.

Акимов вытаращил белесые глаза, тревожно оглянулся на Чубукова. Не шутят ли? Нет. Чубуков распускал чересседельник, пыхтел трубкой и хмуро насупился... Подъехала вторая подвода. Радимов выскочил из санок в тулупе, в валенках, громоздкий, как медведь, сам стал распутывать повод, привязывать за коновязь лошадь и балагурил:

– Теперь бы горячих щец да помягче бабец, вот и погрелись бы. Чего это мужики у тебя на улице мерзнут, а в школу не идут? – спросил у Акимова.

– Не помещаются все в школе-то.

– А надо их бабами да девками перемежать. Уплотнились бы, – засмеялся Чубуков.

Тима принес из школьного сарая огромную охапку сена, положил ее перед лошадиными мордами, подошел к Акимову и что-то зашептал ему на ухо.

– Что у вас за секреты? – сказал Радимов. – Перед судебной следственной комиссией все должны быть откровенны, как на исповеди.

– В Веретье появился беглый кулак, – сказал Акимов.

– Кто такой? – Возвышаев перестал прыгать, насторожился.

– Бывший подрядчик Звонцов.

– Ах этот, который дом свой сжег! – воскликнул Радимов. – Взять и немедленно доставить в тюрьму.

– Ага, возьмешь воробья за хвост, – усмехнулся Акимов. – Сперва поймать надо.

– А где Ежиков? За чем смотрит? Сейчас же пошлите туда уполномоченного, и пусть немедленно арестует, – приказал Возвышаев.

– Я ж вам говорю – скрывается он. По слухам, там... А где он прячется – никто не знает.

– Эх вы, растяпы! – сказал Возвышаев. – Пошли в школу.

Входили с заднего крыльца, через учительскую; оба класса и коридор битком были набиты мужиками, накурили так, что подвесные керосиновые лампы светились мутными шарами, как бакены в речном тумане. Приглушенный говор, как шмелиный зуд, немедленно стих при появлении длинной шеренги начальства. Впереди шел Акимов и короткими мощными руками раздвигал толпу, как табун лошадей, приговаривая:

– Прошу осадить к стенке!..

В классе стояли рядами скамьи, люди сидели на них густо, словно снопы на току. Приезжие прошли к учительскому столу, расселись на стульях. Возвышаев вынул из черного портфеля красную папку и раскрыл ее перед Акимовым со словами:

– Тут все заготовлено. Так что открывай собрание, а все остальное я скажу сам.

Акимов встал, позвонил звонком, давая рукой знаки задним рядам, ломившимся из коридора, успокоиться; когда все смолкли, сказал:

– Граждане односельчане, причина схода нашего села известная – выслушать сообщение товарища Возвышаева на предмет вступления в колхоз. Прошу, Никанор

Степанович. – Акимов сел, расстегнул полушубок черной дубки, вынул из бокового кармана атласный синий кисет и стал скручивать сигарку.

Возвышаев недовольно покосился на него, но встал, спросил, обращаясь к мужикам:

– Товарищи, вы не считали, сколько здесь присутствует?

– Пятьсот десять человек!

– Четыреста восемьдесят два...

– Четыреста семьдесят три...

Раздались голоса из коридора.

– То есть абсолютное большинство. А если так, то мы имеем право решать вопрос исключительной важности для всего вашего села. Вопрос этот продуман окончательно; значит, выступать против колхоза – все равно что выступать против Советской власти. – Сделал внушительную паузу, обвел всех присмиривших мужиков косо расставленными глазами и потом добавил: – Со всеми вытекающими из этого последствиями. Агитировать за колхоз я вас не стану – время агитации на этот счет истекло. Вам всем рассказали, куда вести лошадей, куда коров, где свиней держать и птицу, куда инвентарь свозить. Дело осталось за вами. Кормушки вы сами строили, дорогу к ним знаете. А посему приступим к голосованию: кто против директив правительства, то есть против колхоза, прошу поднять руки!

Воцарилась мертвая тишина. Акимов даже курить перестал, так и застыл, приоткрыв рот, глядя на Возвышаева. А Никанор Степанович, подымаясь на носки, вытягивая шею из полурасстегнутого узенького воротничка бекеша, спрашивал:

– Посмотрите там, в коридоре! Никто не поднял руку? Так, никто... Значит, все за. Таким образом, объявляю вас всех колхозниками.

Тут все словно проснулись и зашумели разом:

– Это по какому закону?

– Иде список? Поименной!..

– Я подписи своей не ставил. Не имеете такого права.

– А ежели ф в Москву напишем?

– К Калинину пойдём, к Калинину!..

– Тихо! Я еще не кончил, – поднял руку Возвышаев.

Акимов схватил со стола звонок и замотал им над головой. Шум постепенно стих.

Возвышаев взял лист бумаги из раскрытой папки и стал читать:

– «Мы, граждане села Гордеева, постановили сего числа, то есть семнадцатого февраля, в девятнадцать ноль-ноль, организовать сельскохозяйственную артель, или колхоз, и вступить в таковой всем членам, а также считать фактически членами и не присутствующих на данном собрании. Нежелающим вступить в колхоз предоставить право подать в течение двадцати четырех часов заявление о выходе из артели. В случае же неподачи заявления в указанный срок считать всех автоматически членами данного колхоза. Тех же, которые подадут заявления на выход, считать как злостных противников колхозного строя и Советской власти, а посему земельно-луговой надел выделять таковым весной тридцать пятого года». Всем ясно?

И, не давая опомниться мужикам, покрывая разноголосый гомон, сам затряс звонком, пока снова не притихли все.

– Получите первое задание: поскольку вы теперь все колхозники, в течение восемнадцати часов, считая с этой минуты, собрать семенной фонд, скот и сельхозинвентарь. Все население объявляется мобилизованным с запрещением выезда

из села до известного срока, который будет установлен особым решением. Кто воспротивится сдавать семфонд или скот, будет привлечен к ответственности судебно-следственной бригадой. Представляю членов бригады лично: нарсудья товарищ Радимов, нарследователь товарищ Билибин и заведующий райзо товарищ Чубуков.

Каждый из поименованных привстал и поглядел строго в зал.

– Им будут помогать товарищ Акимов, милиционер Ежиков и члены гордеевского актива. Всех предупреждаю – жаловаться некуда. Выше нас власти нет. Все! А теперь расходитесь по домам и приступайте к выполнению задания.

Из передних рядов встал старик в свитке и, подняв над головой зажатую в кулаке шапку, замахал ею, обращаясь к односельчанам:

– Обождитя, мужуки! Сто-ойтя!

Возвышаев спросил на ухо Акимова:

– Кто такой?

– Бондарь.

– Возьми на заметку!

– Он и так никуда не денется.

Старик, осадив поднимавшихся было мужиков, обернулся к Возвышаеву:

– Все, что вы тут читали нам, это вы сами и написали. А когда же напишут и скажут по-нашему?

Старик был худ, высок, с открытой, жилистой шеей и смоляными горящими глазами.

– Сперва надо представиться – кто ты есть? – сказал Возвышаев.

– Прозываюсь Петрусевым, – ответил старик. – Авдей Исав.

– Итак, чем вы недовольны, Авдей Исаевич? – спросил строго Возвышаев.

– Я-то всем доволен. У меня все свое. А вот вы ответьтя, по какому праву нарушаете закон?

– Какой же это закон мы нарушаем?

– Тот самый. Ленин дал нам волю или нет? Отвечайте!

– Ну, дал.

– А вы ее уже однава отбирали.

– Когда же у вас отбирали эту волю? Каким образом?

– Таким же самым... Значит, какое равноправие дал нам Ленин? Голосовать! А вы помимо его воли, без нашего голосования, отбирали у нас и хлеб, и скотину в эти самые годы... Ну, когда денег не было, а вся торговля шла на хлеб.

– В комунизму! – крикнули из коридора.

– Во-во! В эту самую комунизму, – подхватил старик. – Потом вашего брата за это ж наказывали. А сколь мужиков погубили? За что, спрашивается?

– Вы мне тут кулацкие речи не пускайте! Вы знаете, что бывает за саботаж решения партии и правительства?

– Ты не грозись, а прочти нам, что Ленин написал или теперешний главный начальник, Сталин.

– А я вам что читал?

– Это вы сами написали! – закричали уже со всех сторон.

– Сталин не говорил, чтоб загнать всех разом за сутки.

– Тут омман, мужики... Озорство, одним словом.

– Так ведь мы ж не с потолка брали. Нам директива спущена, от правительства!

Вы что, газет не читаете?

– В газете Штродов насочинял.

– Игде директива Сталина? – кричали из коридора.

– Директива в книжке пропечатана. Закон! А вы нам свою бумажку прочитали, – торжествующе, покрывая шум, сказал Петрусев и сел.

Возвышаев, красный от негодования, схватил звонок и долго тряс им, потом грохнул наотмашь кулаком по столу и закричал:

– Вы что, бунтовать сюда собрались? Рекомендую одуматься и разойтись по домам. Все! Сход окончен.

– Нам итить некуда – ноне двory отобрали, завтра выгоните из домов.

– Прекратите базар! Хорошо, кто против колхоза, напишите здесь же заявления. Даем вам сроку час. Через час судебно-следственная бригада примется за дело. Помните, каждого, кто напишет против колхоза, расцениваем как противника Советской власти со всеми вытекающими последствиями.

И сразу все смолкли.

– Акимов, принесите им сюда на стол несколько тетрадей, пусть пишут заявления о выходе из колхоза, а мы подождем в канцелярии.

Не давая опомниться притихшим мужикам, все начальство длинной вереницей вышло в учительскую. Возвышаев, вращая разбегающимися от негодования глазами, набросился на Акимова:

– Сколько выслали кулаков?

– Семь семейств.

– Это на восемьсот хозяйств? Меньше одного процента! Вот он, либерализм, боком выходит для всего района.

– Выслали согласно директиве – двух мельников, пять владельцев молотильных машин. Подрядчик сам сбежал.

– А бондари? А колесники? А санники? Имей в виду, Акимов, если сорвете план сплошной коллективизации, собственной головой поплатитесь.

– Я его чем сорву?

– Либерализмом! Вот ваша главная прореха в классовой борьбе. Слушайте инструкторов. И выполнять все без оговорок. Никакие объективные причины в счет не принимаются.

Возвышаев долго и строго наказывал, как надо собирать семфонд и сводить скот на общие двory; он разбил судебно-следственную бригаду на две группы, укрепил ее гордеевским активом и приказал начинать одновременно с обоих концов села. Взять с собой по три-четыре подводы, сперва семена собрать. Если откажутся выносить ключи, сбивать замки с амбаров. Кто окажет сопротивление, немедленно брать под арест. Арестованных запирать в кладовые, штрафовать, не стесняясь. Весь скот должен быть сведен на общие двory к утру. На всякие мелочи остается Акимову еще восемь часов. К вечеру колхоз должен быть создан фактически.

– В восемь утра докладываешь мне лично о сборе семфонда, понял? – сказал он Чубукову. – К двенадцати бригада переезжает в Веретье, проводит по такому же образцу общее собрание и за двадцать четыре часа создает всеобщий колхоз. Остальные, мелкие, села привести в соответствие за оставшиеся сутки. Утром двадцатого отпрапортовать в район, что весь Гордеевский куст превратился в сплошной колхоз. Ясная задача?

– Ясная, – разногласно ответили судебные исполнители.

Потом послали избача Тиму к мужикам в класс принести заявления о выходе из колхоза, ежели таковые окажутся. Тима принес целую пачку заявлений. У Возвышаева брови полезли на лоб.

– А ну, дай сюда! – Он сгреб всю эту пачку и быстро стал прочитывать одно заявление за другим, губы его дрогнули в кривой усмешке и расплылись во все лицо.

– Струсили, мерзавцы! Натя, читайте! – раскинул он всю пачку по столу, словно колоду карт.

Все заявления были написаны по единому образцу, хотя и разным почерком: «Я, гражданин такой-то, не против колхоза и Советской власти, но прошу мое вступление отложить до будущего года».

– Акимов, напиши резолюцию – в просьбе отказать. Всем! И приступайте к делу.

Сам Возвышаев уехал на агроучасток, завалился на кожаный диван и заснул праведным сном хорошо поработавшего человека. Ему приснился сон, будто он оказался в Москве, на Красной площади. Идет чинно, строевым шагом печатает сапоги на брусчатке, так что гул идет. Подходит к проходной у Спасской башни к часовому с винтовкой и спрашивает: «Я на доклад к самому Сталину». – «Что за доклад?» – спрашивает часовой. «Я весь район к коммунизму привел, первым». – «А где твои люди?» – «Они уже там, за воротами». Вдруг раскрываются кремлевские ворота, и оттуда вылетает табун разъяренных лошадей, и все бросаются на него, Возвышаева. Он было хотел увернуться от них, в будку к часовому прошмыгнуть, но часовой схватил его за плечи и давай толкать под лошадей. У Возвышаева сердце зашло, он хотел крикнуть во все горло, но грудь его была сдавлена, воздуху не хватало, и он только слабо промычал и очнулся. Перед ним стоял одетый Чубуков и тряс его за плечи:

– Очнись же, Никанор Степанович!

– В чем дело? Что случилось? – Возвышаев сел на диване, огляделся – в комнате горела настольная лампа, в окнах чернота, Чубуков весь в снегу.

– Беда! Веретье взбунтовалось, – сказал Чубуков, садясь на стул. – Одевайтесь!

– Что? – Возвышаев глянул на карманные часы – он в брюках спал – было шесть часов утра. И заторопился: скинул одеяло, босым в два прыжка достиг порога, мигом натянул сапоги и, на ходу застегивая френч, натягивая бекешу, спрашивал:

– Подробности? Живо!

– Прибежал Доброхотов под утро к нам, в Гордеевский Совет. Говорит, что вечером пришли к ним в Веретье гордеевские мужики и рассказали, что их в колхоз загоняют. А завтра, мол, и за вас примутся. Ночью все Веретье взбудоражилось – бабы, старухи поднялись и пошли общественные кормушки ломать. Все переломали и доски выбросили на дорогу.

– Ну и черт с ними, с кормушками! Новые построим. Все равно проводите в двенадцать собрание. И собирайте семфонд, скот и все такое прочее.

– Не с кем проводить собрание-то! Мужики все сбежали.

– Куда? – рывкнул Возвышаев, проверяя барабан нагана.

– В лес.

Только теперь дошло до Возвышаева. Он обалдело поглядел на Чубукова, спрятал в карман наган и сказал:

– Соедините меня с районом. С милицией!

– Телефон не работает. Между Веретьем и Гордеевым столб повален, провода

порваны. – На мрачном лице Чубукова застыла смертельная усталость.

– Так... Тогда я сам поеду.

– Езжайте в объезд, через мельницу. Гордеевым ехать не советую. Там тоже беспокойно.

– Так... Ясно... Семфонд собрали?

– Собрали. Наложили пятнадцать штрафов, провели десять конфискации. Четверо оказали сопротивление. Взяли их под арест. В кладовой сидят. Может, выпустить? – Чубуков медлил, боялся сказать, что их могут освободить силой, потому смотрел себе под ноги.

– Ты чего, или боишься?

– Когда мужики всем миром поднимаются, тут все может быть... Бывало, они нашего брата живьем закапывали.

– Не бойсь. Теперь земля мерзлая, – нервно усмехнулся Возвышаев. – Сидите здесь, на агроучастке. Вы все вооружены, кто вас тронет? К вечеру привезу подкрепление. На десяти подводах. Всю милицию на ноги поставлю. К двадцатому февраля весь куст должен быть коллективизирован. Точка. Пошли запрагать.

Возвышаев задул лампу, и они вышли во двор.

## 14

Перед высоким резным крыльцом Кадыковых, на всем скаку осаженный ездоком, намертво остановился вороной риковский жеребец Голубчик.

Зиновий Тимофеевич глянул в окно, и сердце его тревожно екнуло: из санок вылезал сам Озимов в шинели и в серой каракулевой папахе. К чему бы это? Озимов по пустякам не приедет.

Кадыков в одной косоворотке выбежал в сени и, пожимая холодную могучую ладонь своего бывшего начальника, тревожно спросил:

– Что случилось, Федор Константинович?

– Пошли в избу! Ты чего, как пионер, чуть ли не без порток выбежал? Еще не хватает простудиться.

В избе чинно поздоровался с хозяйкой, но от угощения отказался и раздеваться не стал. Сняв папаху, сел на скамью возле стола, озабоченно спросил:

– Как у тебя с колхозом?

– Все в порядке. Вчера свели лошадей, инвентарь собрали. Коров пока держат на своих дворах.

– Кто проводил собрание?

– Прокурор Шатохин.

– И как он его проводил? Что говорил-то?

– Ничего особенного и не говорил. Собрались. Мужики молчат. А бабы зашумели: не надо нам колхоза! Мы, говорят, и так из лаптей не вылазим. Ухаров еще говорил. Я... Кузнец наш, Савелий. Агитировали. Мол, в колхозе легче – машины будут, налоги отменяют. Ну и прочее... А потом встал Шатохин и объявил голосование: кто против колхоза, просил поднять руки. Ну, кто подымет руку? Он встал, шею вытянул, как гусь... Не токмо что лицо, ширинку видит у каждого. Молчат. Тогда он объявил всех колхозниками. И велел сводить лошадей. Кто откажется – под суд.

– И все спокойно?

– А чего ж? Кто не доволен – дома ругается. А на улице тишина и порядок.

– Н-да, дела. А я к тебе по нужде. В Красухине избил уполномоченного, нашего

Зенина. Держат его на почте мужики, под охраной. А председатель Совета сбежал. Прошу тебя съездить туда, провести дознание и освободить его.

– Что ж, или во всей милиции не нашлось, кого послать туда? У нас самая горячая пора. Колхоз пока лишь на бумаге.

– Знаю, брат. Но некого больше послать. Выручай.

– Куда же все ваши подевались? Говорят, теперь еще и уполномоченный ГПУ есть?

– Станицын? Все выезжаем в полном составе в Гордеево. Там буза... Возвышаев кашу заварил, а нам ее расхлебывать. Ты вот что, надень форму. Оружие в порядке?

– Да, – кивнул Кадыков.

– Расследуешь там дело и вечером давай в Гордеево, на почту. Присоединишься к нам. Мы там заночуем, а может, и на несколько дней задержимся. Дело серьезное.

– А почему на почте?

– Узел связи охранять надо. И помещение просторное. Митинг там решили провести. Терраса высокая, что твоя трибуна. Приедут из Рязани. Авось все образуется.

– Ну что говорить? Раз надо – я поеду.

– Спасибо! – Озимое встал и пожал руку Кадыкову. – Формально я не имею права срывать тебя. Но сам понимаешь, посылать больше некого! Да и в Гордеево понадобится.

– Об чем говорить! – Кадыков проводил Озимова и, возвратясь, крикнул с порога: – Нюра, сходи в кладовую и принеси мою портупею!..

А через час, наскоро пообедав, затянувши свою потертую милицейскую шинель широким желтым ремнем, в черной шапке со звездой на лбу, он лежал, откинувшись на бок, в похрустывающей кошеве, набитой до краев пахучим сеном, и лихо погонял рыжего, теперь уж не своего, а колхозного мерина.

Поехал низом, по тимофеевским лугам, на Желудевку, оттуда Касимовским трактом до самых мещерских лесов, а потом еще в сторону, в лесную глухомань. Дорожка дальняя, верст на двадцать пять протянулась, только-только к вечеру и добраться. За ночь нагулялась метель, и косые языки переметов то и дело укрывали дорогу. От мороза они загустели, уплотнились и глушили всякое движение. Сани вязли в них, как в песке; широкие копыта мерина, бухавшие и скрипевшие на открытой дороге, здесь становились неслышными, будто погужались в вату.

«Это ж надо, до чего дожили? За целый день ни одна подвода не прошла по дороге. Будто села вымерли и лошади все передохли, – думал Кадыков. – Ведь об эту пору, в сырную седмицу, на масленицу, бывало, стоном все стоит. А уж по дорогам-то и днем и ночью катания да гоньба – и на рысаках, в легких саночках, и на санях... А уж в гости не токмо что в одиночку – поездами ехали, с бубенцами под дугой, а то воркуны на хомутах, ленты в гривах; летят от села к селу с гиканьем, с песнями – гармошки во всю грудь: ливенки, хромки, а то саратовские, с колокольцами... Мать честная! Все сразу пропало, будто корова языком смахнула».

Поднявшись на высокие желудевские увалы, Кадыков увидел наконец людей; но странно, они шли и бежали не по дороге, а низиной, овражками, широким прогоном, обозначенным в снежном пространстве низкорослыми чахлыми кустиками, стравленными скотиной. Бежали кратчайшим путем от окрестных деревень – Платоновки, Ефремовки, Ухова – к своему бывшему волостному центру, огромному селу Желудевке, спадающему по косогорам в безбрежные просторы луговых угодий



Прокоши. Шли и бежали кто с вилами, кто с багром, кто с топором. «Куда это они? Как на пожар», – подумал Кадыков.

Он привстал в санях и поглядел в сторону Желудевки – не горит ли где? В низком сером небе таяли редкие белесые дымки над заснеженными крышами домов. Глянул на далекую белую колокольню, откуда неслись частые удары колокола, и вдруг сразу понял: «Это ж набат! Е-мое... набат гудит!..» От этой жуткой догадки Кадыков зябко передернул плечами, натянул тулуп, валявшийся в ногах, огрел кнутом мерина и крупной, машистой рысью шибко поехал под уклон. Но с мужиками разминулся – они спустились вниз по оврагу и скрылись за поворотом. Подумалось на минуту: не свернуть ли в Желудевку? Но мысль эту, как не лишнюю праздного любопытства, прогнал прочь.

На следующем перевале встретился со стариком. Он также бежал полем в лаптях, полушубок расстегнут. Борода на ветру летит, что твоя кудель, в руках топор, и голицы белые с раструбом, по локоть. Здоровый старик – мерина сшибет с дороги.

– Здорово, отец! – сказал Кадыков, натягивая вожжи. – Куда бежишь?

– Ты ай не слышишь? Набат гудет. Созывает!

– Зачем?

– Бить, сынок, бить...

– Да кого бить-то?

– А это уж кто под руку попадет. Вчерась веретьевские кормушки поломали. Таперика мы бегим ломать сатанинскую затею. Не то завтра всех лошадей и коров наших сведут.

– А вдруг задавите кого? Ведь грех же... А то еще посадят!

– Эх, сынок! На миру и смерть красна. Раз созывают в набат – надо итить, дело божеское.

– Ну, садись, подвезу. Я мимо Желудевки поеду.

– Нет, нет. Я тороплюсь. Христос с тобой! – и побежал.

«Да, вот такому деду попадешься в руки – так натерпишься муки, – подумал Кадыков, провожая глазами этого былинного Микулу Селяниновича, сменившего деревянную сошку на боевой топор. – Кажись, довели мы русского мужика до смоляного кипения. Кабы красного петуха не пустили. Все села пожгут...»

На Касимовском тракте, у самого поворота в лесную сторону, Кадыков нагнал легко шагавшего паренька в пиджаке и валенках. Посадил. Разговорились. Оказался продавцом красухинского магазина сельпо, ходил в Желудевку заявление делать, что в Красухине магазин растащили.

– Как растащили?

– Да так. Утром взбунтовались, кормушки поразбили, заодно и магазин обчистили.

– А говорят, уполномоченного избивали?

– О-о! – парень только рукой махнул, достал кисет и стал скручивать сигарку. – Тут целая история... Довели мужиков, дов-вели... – Прикурил, жадно затянулся, откидываясь на локоть, и сардоническая торжествующая усмешка заиграла на губах его. Но вдруг, заметив под тулупом отворот шинели и звезду на шапке Кадыкова, осекся, будто рукавом стер с лица улыбку, и спросил с почтением: – А вы кто сами будете?

– Из уголовного розыска. Из милиции.

– А! Это другой оборот. Значит, мой магазин осматривать? – обрадовался парень.

– И магазин твой осмотрю. И уполномоченному помочь надо.

– Это само собой. А я уж испугался – не из этих ли, думаю... Замаскировался под начальство.

– А чего ж ты испугался?

– Дак вон что творится! А ну-ка, да возьмет меня в оборот в лесу-то. Я ведь комсомолец. Продавец сельпа! – Парень важно надувал губы, сводил свои белесые жидкие брови, стараясь сгладить первоначальную оплошность своей готовностью услужить милицейскому начальству.

– Что в Желудевке? Я слышал набат.

– Кормушки ломают. А начальство разбежалось.

– Никого не били?

– Нет. В сельсовете окна разбили и бумаги все сожгли. Никаких, говорят, колхозов! Мы теперь чистые.

– А у вас что было?

– О-о, тут целая история... – Парень опять махнул рукой и стал рассказывать: – Утречком ранним, еще до свету, разбудил меня шум под окном: вроде бы на гулянку сошлись девки с парнями – гужуют, только гармошки не слышно. Глянул на часы – седьмой час утра. Да и в окнах сереет. Чего это, думаю, загуляли с утра пораньше? Надел на босу ногу валенки, пиджак внакидку, шапку в охапку – выбегаю. Вот тебе, посреди улицы – не ребята, а мужики и бабы толпятся; галдеж, как на базаре. Особенно бабы старались: у каждой в руках или ухват, или кочерга, а то и вилы. В Веретьях кормушки поломали, говорят, а мы что, ай хуже? А ежели ф милиция или войска пригонют? Да мы их ухватьями забодаем. Старики, которые поумней, осаживают их: посадят вас, дуры. А они: ежели нас посодят, тады вам юбки надевать и детей малых сосками кормить. Молока-то все равно не будет. Какое молоко, ежели коров сведут со дворов? Ну, мало-помалу и разожглись: сейчас же идем кормушки ломать, кричат бабы, а те мужики, у которых штаны ишо держатся и сухие, давайте за семенами. Штоб к вечеру семена дома были. Побежали мужики к председателю сельсовета, у нас его прозывают Степкой Похлебкой. А он с перепугу на сушилы залез, в сене спрятался. Где хозяин? Где уполномоченный? В рийон уехали ночью. Врешь! Ишшитя, говорит хозяйка. Они сунулись в сени, во двор, на сушилы заглянули – нет. Где ключи от семенного амбара? С собой носит. Да хрен с ними, с ключами. Сняли бревно из заплота у того же Похлебки и пошли к семенному амбару. Человек десять раскачивали бревно под запев частушки: «Десятичник – парень ловкий, утонул в м... с головкой... Эх, р-раз, да еще раз!» Звездарезнули раза три концом бревна – и замок слетел, и дверь с петлей сорвали. Ну, а семена растащить – дело плевое каждый знал свои мешки, метки ставили... А энтот уполномоченный, видать, сердцем переживал. Степан Николаич говорит Похлебке, не дело в сене-то отлеживаться. Под пулями, в бою, говорит, и то свою линию держат. Пошли хоть кормушки отобьем. Не то что ж мы в районе доложим? Завтра лошадей сводить, а у нас кормушек нет. «Что в бою? – говорит Похлебка. – Пуля – дура, пролетела, вжикнула, и нет ее. А тут согнут тебя в три погибели, оторвут муде и привяжут к бороде. Лучше не ходи». А тот пошел. Говорят, тихановский, Зенин по фамилии. И мужичонка-то лядащий, щуплый, а пошел. Дорогие женщины, на классово чуждую стихию, говорит, работаете. Эти кормушки приведут вас к счастливой жизни и полному довольствию. Это вы, говорит, окно в новый мир ломаете. Они и поднялись: вы что, хотите из этих кормушек и нас кормить? Да мы тебя счас самого накормим. Вяжите его, бабы. Связали по рукам и

ногам, подтащили к кормушке, овса всыпали. Пусть жрет! Ах, не ест? Сами они рыло воротят, а нас в комунию толкают. Всыпать ему! Сняли с него штаны, спину заголили, растянули на скамье и давай молотить прутьями из метлы. Да не жидкими концами, а комлями били. Всего его в кровь расписали. Он и пищать перестал. Водой окатили – ожил. Молись, отродье антихристово! Кайся перед богом, что с сатаной связались... Икону принесли. Кайся, что по наущению дьявола в колхоз нас загонял. Кайся, не то живота лишим! На колени его поставили перед иконой, лбом обземь били. Он и сознание потерял...

– Значит, везде успевал: и за мужиками бегал, и баб не прозевал...

– Да я один, что ль? Все ребята и девки там были.

– А магазин? Иль за ним тоже парни и девки приглядывать должны?

Парень залился краской и смущенно потупил глаза:

– Я эта... не знал, что так обернется.

– Когда обокрали магазин?

– Кто его знает... Понесли этого Зенина на почту... Тут я и заметил, что дверь в магазине растворена. Замок вместе с пробоем выдрали.

– Что украдено?

– Восемь ящичков водки... Да кое-что из одежды. Хозяйственные товары, утварь всякую, хомуты – вроде бы не тронули.

– Эх ты, Ротозей Иваныч! Вместо того чтобы на своем посту стоять, бегал на поглядку, как сопливый мальчишка.

В Красухино приехали еще засветло. В селе тишина и спокойствие, от заборов и околиц, лениво отбегая, побрехивали собаки, у одного колодца с высоким журавлем мужик в нагольной рыжей шубе поил лошадь из ведра и равнодушно глядел на чужую проезжую подводу; мальчишки в лапоточках и в развязанных заячьих да собачьих малахаях играли в чижика, – ничто не говорило о недавнем кипении страстей человеческих. Да и сам рассказчик как-то сник после давешнего возбуждения и лениво, скучно глядел по сторонам. Остановились возле почты, обшитого тесом здания, покрашенного давным-давно в бурый цвет, с овальной железной дощечкой на карнизе: «Российское страховое общество». Палисадник с чахлой сиренью... Старое наследие от земских заведений.

Кадыков кинул сено лошади, отпустил чересседельник, потом накрыл ее тулупом и в шинели, подтянутый и строгий, вошел в помещение. Его встретила у самого порога молоденькая телефонистка в серой кофте, вязанной из козьего пуха, и черных валенках. Глядела с испугом и любопытством. «Еще что случилось?» – написано было на ее смуглом кругленьком личике.

– Где уполномоченный? – спросил Кадыков.

– Увезли его. Председатель Совета посадил на свою лошадь и отвез в степановскую больницу.

– Так... А что в селе?

– Все в порядке.

– В порядке! – Кадыков хмыкнул и покачал головой. – Телефон хоть работает?

– Да.

– Вас не трогали?

– Нет, нет, – ответила поспешно, словно боялась, что не поверят.

– Ладно. Работайте...

Кадыков с продавцом осмотрели магазин. Пробой и замок были сорваны, а так

вроде бы все было на месте. Только водку украли, два полушубка да валенки. И тут – «Все в порядке» – вспомнил он фразу телефонистки. Вроде бы и в самом деле ничего тут не случилось, и парень этот просто сочинил ему забавную историю. «Вот так и ухлопать могут и скажут – все в порядке», – невесело подумал Кадыков. Он составил протокол на взлом и кражу, расписался сам, ткнул пальцем – где продавцу расписаться, и стал собираться в дорогу. Паренек робко предложил ему:

– Может, у нас заночуете? Поужинайте с дороги-то... И отдохнете.

– Спасибо! Мне, брат, не до отдыха.

Увидев своего хозяина, мерин поднял от сена голову и тихо заржал.

– Сейчас, Мальчик, займись тобой! – сказал Кадыков, оглаживая мерина по тугой шее.

Потом взял ведро у телефонистки, сходил к колодцу с журавлем, принес воды и, пока лошадь пила, гулко катая водяные шары по глотке, все думал об этом странном покое русской жизни; еще с утра все тут бушевало – растащили семфонд, кормушки поломали, а вместе с этими кормушками поломали все планы и расчеты начальства на скорую коллективизацию, избили уполномоченного из района и успокоились... А завтра приедут власти, заберут этих зачинщиков, опять покричат, поплачут и успокоятся... И снова будут отвечать: все в порядке! Воистину непостижимо наше сонное царство...

К Веретью подъехал затемно, в село въезжал с опаской – думал, посты выставлены у бунтовщиков, встретят посреди дороги, и поминай как звали. Нет. Все тихо, мирно... У редких колодцев бабы звенят ведрами, побрехивают собаки, посвистывает в оголенных ветлах да тополях поднявшийся ветер. В доме председателя Совета Алексашина будто вымерло все: окна темны, двери заперты. Кадыков, поднявшись на крыльцо, постучал щеколдой – никакого отзвука. Он уже собрался отъезжать, да заглянул с проулка – в одном окне откуда-то снизу, из-за подоконника, подсвечивало в узкую щель. «Эх, вот так занавесились! – сообразил Кадыков и, стукнув кнутовищем в наличник, прокричал в оконную шибку:

– Семен Васильевич! Это я, Зиновий Кадыков из Тиханова... Откройте!

Хозяин долго гремел запирками за дверью, наконец выглянул в притвор:

– Это ты, Зиновий Тимофеевич? Проходи!

В избе тишина – ребята с печки поглядывают, как галчата, хозяйка, хоронясь, выглянула из-за печки. Окна занавешены одеялами.

– Беда, Зиновий Тимофеевич, – только и сказал Алексашин, кивком указывая на окна. – Как ты догадался, что мы дома?

– По просвету в том окне. Снизу.

– Ой, мать честная! – хозяин бросился вновь занавешивать окно.

– Тебе что, грозили? – спросил Кадыков.

– Меня-то еще милуют... Только в Совет не пускают – ты, говорят, самозванным путем в председатели вышел. И ключи у меня отобрали. А учителя нашего, Доброхотова, искали. Говорят – на колодезном журавле повесим. Он сбежал на агропункт и сидит там под охраной милиционера Ежикова.

– Да вы проходите к столу, – сказала хозяйка, слегка кланяясь. – Может, поужинаете?

– Нет, спасибо. Я тороплюсь. Где теперь начальство районное? – спросил Кадыков.

– В Гордееве на почте. Там нонче вечером митинг проводят. А завтра у нас.

Говорят, и наши подались туда, – торопливо отвечал хозяин.

– Значит, кончили бунтовать?

– Ну что ты! Они знаешь что удумали? Хотят новые перевыборы в Совет провести! И чтоб по инструкции Калинина, как в двадцать пятом году. Без посредников, то есть без избирательной комиссии. Сами хозяева – сойдемся на сход и проголосуем. Вот чего удумали!

– А может, это не страшно?

– Что ты?! У нас в те поры ни один член партии не прошел в Совет. Вот и хотят повторить. А потом, говорят, за колхоз проголосуем. И чтоб по воле каждого. И никаких лишенцев. Все, мол, равны.

– Кто ж у них верховодит?

– Подрядчик Звонцов и Рагулин. Энтот сбежал от раскулачивания. А Рагулина пощадили, как бывшего пастуха. Его, мол, и так наказали – корову отняли, хлеб... Правда, один Доброхотов все настаивал – выселить его как кулака. Вот он и гоняется теперь за ним... Повешу, говорит, на колодезном журавле.

– Дела... – покачал головой Кадыков и заторопился уходить. – Ну, я поехал. На почте, говоришь, все?

– Да. Поезжай низом, по Петравке. Не то еще задержут в селах-то.

– Дак пусто! Как будто вымерло все село.

– Оно так, вроде бы тихо. Да тишина-то обманчива, как на вешней реке в половодье. Глядишь – все подо льдом, от края и до края. Мертво. А через минуту – треск и грохот, и льдины друг на дружку поперли. Ну, поезжай с миром! Удачи тебе, – провожал в сенях, на крыльцо хозяин так и не вышел, только голову высунул, как давеча.

Нижней дорогой, по замерзшей Петравке, Кадыков, так и не встретив на всем пути ни одной живой души, выехал прямо на почтовое задворье и удивился – как много стояло здесь подвод вдоль длинного и высокого плетневого забора; лошади в упряжи, даже хомуты не рассупонены, только вынуты удила да отпущены чересседельники. «Готовность номер один», – отметил про себя Кадыков, вылезая из саней.

– Кто такой? – окликнул его знакомый голос.

Оглянулся: «Ба, Симочка!»

– Здорово, Зиновей Тимофеевич! Какими судьбами? – удивился Субботин.

– Все такими же, как ты. Охраняешь небось?

– Охраняю. Наше дело известное.

– А где начальство?

– На митинге. Ступай в обход, мимо дворов. Там возле почты увидишь. На террасе стоят, что на трибуне.

Кадыков привязал к плетню лошадь, кинул ей сена, хотел накрыть ее тулупом. Но Сима остановил его:

– Тулуп заberi с собой. Спать придется на нем.

Так, в тулупе, с кнутом в руках (позабыл оставить в санях), Зиновий Тимофеевич, словно извозчик, вышел на почтовую площадь. Вся она вплоть до попова дома, стоявшего напротив, была запружена народом – и все мужики, ни одной бабы. А на террасе, огороженной фигурной балюстрадой, стояли, освещенные подвешенным к потолку фонарем «летучая мышь», районные и окружные руководители. А было их человек десять, да милиционеров не меньше. Тут и Возвышаев, и Радимов, и Тяпин, и

Билибин, и какие-то незнакомые, видать, из округа. Вход на террасу преграждали два милиционера; один из них Кулек, второй молоденький, кто-то из новеньких. Озимов, в высокой папахе, стоял с краю, сразу за милиционерами. Ораторствовал Ашихмин; на нем была новая кожанка с меховым воротником, блестящая, будто оледенелая, шапку зажал в кулаке и, грозясь ею, кидал в толпу сердитые слова простуженным, охрипшим голосом:

– Нельзя цепляться за несправедливый, осужденный на слом самой историей распорядок жизни, основанный на частной собственности! Нет более скверной заразы, уродующей души и сердца, чем частная собственность на землю и средства производства. Успешно избавившись от нее революционным путем в промышленности, мы все еще никак не сможем скинуть ее с плеч наших, как гнетущую ношу, в сельском хозяйстве. Источник зависти и злобы, междоусобиц и конкуренции, алчности и корыстолюбия, жестокости и человеконенавистничества – вот что такое частная собственность в сельском хозяйстве, с которой призываем мы вас покончить. Поймите же наконец, что нельзя быть сознательным строителем светлого будущего коммунизма, невозможно бескорыстно любить, как товарища и друга, соседа своего, владея собственным наделом и двором, полным скота и всякой живности. К собственной скотине такой владелец поневоле питает больше заботы и любви, чем к соседу своему или просто односельчанину. Даже попы это признают; недаром говорят они, что Христос учил-де, богатому легче пролезть в игольное ушко, чем попасть в царствие небесное...

– Христос не гонит нас палкой в царство небесное! – крикнул кто-то из толпы звонким голосом, и вся эта темная застывшая масса народа дружно загоготала и закашляла. Заматерилась на разные голоса.

– Я приглашаю этого говоруна подняться вот сюда. – Ашихмин указал шапкой себе под ноги и добавил: – Если он не трус. И поговорим откровенно перед всем народом о том, что царствие небесное есть поповская выдумка, церковный обман, а светлое будущее коммунизма научно обосновано и доказано, это – самое справедливое общество на земле, несущее всеобщее счастье, равно как и счастье каждому в отдельности. Но нельзя его построить, повторяю, идя к этой цели кто в лес, а кто по дрова. Надо сплотиться всем в колхозы и дружно, под руководством испытанной в боях партии большевиков, единой колонной одолеть остаточную от прошлого строя бедность и прийти ко всеобщему изобилию. А для этого мы призываем вас осудить зловредные действия веретьевских крестьян, поломавших кормушки, вернуть семфонд, растащенный сегодня вами по наущению злонамеренных элементов, и завтра же свести наконец лошадей и коров на общие дворы...

– Дык чаво завтрава ждать? Давай счас начнем! – крикнул из первого ряда от террасы старик в ветхом зипунишке и в древней войлочной шляпе пирожком.

– Верно, товарищ! – сказал Ашихмин, перегибаясь к нему через балюстраду. – Вполне понимаю ваше нетерпение. Желаящие могут сегодня же сводить лошадей и нести семена.

– Я ж те говорю, я счас желаю! – крикнул опять старик.

– А вот заканчиваем митинг и – пожалуйста, – ответил Ашихмин, улыбаясь.

– Вот и спускайся сюда! Раз мы все равны и все у нас таперика общее, сымай с себя кожанку и давай ее мне. А я тебе свой зипун отдам. – Старик проворно снял с себя зипун и протянул его Ашихмину. – На, возьми и носи на здоровье! А я в твоей кожанке пойду... Мы ж таперика в одном строю... к общей цели, значит...

Последние слова Кадыков не расслышал – все потонуло в гоготе и реве. Над морем заволновавшихся голов висел поднятый зипун, держала его сухая старческая рука; рукав посконной рубахи спал, оголяя ее до самого плеча.

Ашихмин переждал первые взрывы хохота и сказал ласковым голосом:

– Ты, папаша, перепутал божий дар с яичницей. То частная собственность, а то личная. Разница колоссальная. Большевики личную собственность признают и уважают. Так вот, кожаный пиджак, тот, что на мне, – он ткнул себя в грудь, – это есть личная собственность. Понял?

– Ага! Значит, что на тебе, то твое, личное. Это не тронь. А что у меня на дворе, то – безличное, то отдай! Так выходит?

– А то чаво ж? У них одна задача – замануть и обчистить.

– Не верьтя им, мужуки! Не ве-ерьтя!

– Ванька, бей! Бей, Ванька!

Толпа заколыхалась, задвигалась, как живое темное чудище, выплывая пузиной на верандное крыльцо.

– Стоять! – крикнул Кулек и сошел с верхней ступеньки крыльца, придерживаясь за кобуру.

Во тьме у подворья затрещал плетень, и Кадыков увидел, как от плетня с кольями наперевес кинулись в толпу трое мужиков.

– Товарищи, митинг окончен! – сказал сверху Возвышаев. – Прошу расходиться по домам.

– Что, али крыть нечем? – крикнули из толпы.

– Тады спускайтесь сюда! Пошшупаем, что на вас за коленкор!

– Подскажите, игде одежду брали? Мы тож туды сходим. Таперика мы бра-атья...

– Товарищи, митинг окончен. Прошу расходиться по домам.

– Ванька, бей!

– Товарищи!..

– Пес тебе товарищ...

– Бей, Ванька!

Кто-то дурашливо, раздирающим голосом замыкал по-кошачьи, и в ту же секунду здоровенный кол, пущенный из толпы, с треском выбил три балясины и загрохотал по полу террасы. Вся многочисленная толпа начальников хлынула к стенке, как стадо овец от удара кнута. Кулек вырвал наган из кобуры, взвел курок и, направляя в толпу, крикнул:

– Пре-экра-атить! Всех пересажаю!..

Озимое быстро подошел к нему, взял его за локоть и приказал:

– Спрячь оружие! – Потом спустился вниз, в толпу. – Ну, где Ванька? Бей! – сказал он.

Передние попятились от него, и толпа стала разваливаться на две половинки, словно кто-то невидимый расшвыривал всех направо и налево. Озимов шел по этому людскому коридору, заложив руки за спину, – там, в конце этого прохода, стоял детина в расстегнутом полушубке, в заломанной на затылок шапке и держал в замахе кол.

– Ну, что же ты стоишь? Бей! – подходил к нему Озимов.

Все замерли – и там, наверху, и в толпе; слышно было, как сухо и отрывисто скрипел снег под сапогами Озимова.

– Бей же!

Порень попятился и закричал диким голосом:

– Сатана!

Потом кинул кол и бросился бежать...

Через несколько минут на почте, в оживленном, взбудораженном говоре, перебивая друг друга, как это бывает с людьми, пережившими опасность, все пытались враз высказать Озимову и свое восхищение, и благодарность, и признательность.

– Если бы не ваш психологический этюд, то все могло бы кончиться крупной потасовкой, – говорил Ашихмин, потными, холодными пальцами пожимая запястье Озимову. – Вы просто герой...

– Да ничего особенного, – кривился Озимов, отнимая руки; ему было неприятно это липкое прикосновение холодных пальцев.

– Как – ничего особенного? – грохотал Радимов. – Ты же митинг спас! Кабы не ты, стрельбу открыли бы. И что потом? Войска вызывать?

– Войска и так вызывать надо, – сказал Возвышаев. – Здесь непокорство глубоко пустило корни. Надо многих злодеев вырвать из этой среды, и чем быстрее, тем лучше. Одним нам не справиться.

– Мы обязаны успокоить народ, разрядить обстановку. А потом взять виновных, – сказал Озимов.

– Куда ты поспешаешь? – таращил глаза на Возвышаева Ашихмин. – Вызвать войска – значит расписаться в своем бессилии. И мало того, это значит – скомпрометировать всю идею сплошной коллективизации. Ты думаешь, нас погладят за это по головке? Да окружной штаб под суд нас всех отдаст. И правильно сделает. А! Как вам это нравится?

– И я думаю – сами справимся, – согласился Озимов. – Только надо изменить порядок работы: выступать на митинге не одним нашим, но и крестьян привлекать.

– Дак мы предлагали: выделяйте ораторов, мы их проверим – и пожалуйте. Только заранее, чтобы мы знали, с кем дело имеем, – сказал Чубуков. – Дак не хотят.

– Не заранее, а прямо из толпы брать надо. Все претензии пусть на людях выкладывают. И тут же решать будем. Вот как надо, – сказал Озимов.

– Анархию разводить? – спросил Возвышаев и головой покачал. – Извините. Пока еще я начальник штаба, и анархии я не допущу.

– Ну, как знаете...

Озимов с милиционерами остались ночевать на почте, остальные пошли в школу. Договорились – утром ехать в Веретье, на агроучасток. Акимов с Тимой принесли два ведерных самовара и связки сушеного зверобоя.

– А веники для чего? Париться, что ли? – смеялись милиционеры.

Чай заваривали прямо в самоварах, открывали крышки и окунали зверобойные веники в кипяток. Из крана в стаканы выливалась алая кровь, потом на глазах у всех желтела, желтела и превращалась в душистый, слегка вяжущий чай.

Спали на полу вповалку – расстилали тулупы и укрывались тулупами. И к лошадям, и возле почты, и у школы выставляли охрану. Посты менял сам Озимов: и милиционеров будил, и сена лошадям давал, и ватолами накрывал их, и даже на водопой водил утром на Петравку, к проруби. Он почти и не спал в эту тревожную ночь.

Тишина стояла мертвая, вызвездило на мороз так, что чернота небесной тверди почти сплошь закрывалась алмазным блеском, и с почтовой террасы слышны были



лошадиные вздохи, сухой шелест сена и поскрипывание снега под ногами часовых. Озимов останавливался покурить на террасе, прислушивался, глядел на черные дома, раскиданные по косогорам, на яркие звезды, вспоминал такие же тревожные, военные ночи, пережитые бог знает где и когда, и ему стало казаться, что он уже лет сто прожил, не вылезая из этой грубой жесткой шинели, стянувшей усталые плечи, из этих тесных сапог, в которых занемели ноги, и все ждал и ждал, когда и чем кончатся эти тревоги, эта усталость, напряжение, постоянная грызня, потасовки, когда все утомится, уляжется по своим местам и начнется обещанная счастливая жизнь? Какая она, эта счастливая жизнь? Хоть бы одним глазком поглядеть на нее. А может быть, той, обещанной-то, и не будет никогда? Может быть, это и есть она, та самая, и никакой другой нет и быть не может, а все эти ожидания наши – жалкий самообман... Так думал он, и ему становилось грустно.

Выехали в Веретье на двенадцати подводах еще утром, на рассвете. И странно было видеть, как по дороге то и дело обгоняли идущих толпами мужиков и баб; шли из Гордеева, из далекой Климуши, от лесной, затерявшейся в глухомани Берендейки, из Нового Света.

– Куда путь держите? – спрашивали, обгоняя мужиков.

– На митинг в Веретье, – отвечали и сами спрашивали простодушно: – Говорят, колхозы отменять будут?

– Ага! Колхозы на принудиловку менять будут, – посмеивался Радимов.

Озимов вылез из передних саней, где они ехали вместе с судьей, пропустил две подводы, с Возвышаевым да Ашихминным, и прыгнул в кошевку к Кадыкову.

– Повтори-ка мне, что за перевыборы готовят веретьевские мужики? Я вчера не больно уяснил.

– Алексашин мне говорил, будто собираются сельсовет переизбрать по инструкции двадцать пятого года.

– Это вциковской?

– Да. Чтобы без посредников и не по одному списку, а врозь. А потом на сходе в присутствии любого начальства будем, мол, решать вопрос о колхозе.

– Любопытно... – Озимое покусал травинку и спросил с усмешкой: – Выходит, помнят... добрые дела?

– Народ грамотный! – сказал Кадыков. – Этот Звонцов, что в коноводах у них, подрядчиком был, а потом в селькове работал, лес заготовлял, ободья гнул. Деловой народ.

– Может, столкнемся?

– Надо бы все решить миром.

– Ну, поглядим.

На подворье агрономического участка этот длинный обоз встречали милиционер Ежиков и учитель Доброхотов; растворив околицу, Ежиков взял под козырек – он был одет по всей форме и в шлеме с закатанными ушами, только рыжая щетина заметала его щеки по самые глаза, а так – хоть на парад.

– Что скажешь? – спросил, подходя, Озимов.

– Все в порядке! – рявкнул Ежиков и улыбнулся во все лицо.

– Чему ты радуешься? – поморщился Озимов. – Что на селе?

– Народу очень много собирается, – вынырнул из-под руки Ежикова Доброхотов, испуганно округляя глаза. – Со всех сел сходятся. И много есть пьяных. Религиозный

дурман, извините, – масленица!

– А на завтрак есть у вас какая-нибудь жратва? – спросил Озимов.

– У нас здесь окружной начпрод, – сказал за его спиной Ашихмин и крикнул: – Борис Петрович!

Из саней вылез долговязый хмурый человек в валенках и в сборчатой черной шубе с командирской планшеткой на боку.

– В чем дело?

– Надо завтрак организовать. Сообрази!

Пока тот писал на листе из блокнота, положив его на планшетку, склонившись так, что щеки серые мешками отвисли, Ашихмин пояснял:

– Этот все из-под земли добудет. Главный снабженец из колхозсоюза. Высокая марка!

Главный снабженец меж тем подал Озимову листок с размашистой росписью:

– Отвезите продавцу магазина сельпо. Пусть выдаст по этой записке тридцать килограммов рыбы.

– Магия! – сказал Ашихмин.

Ежиков протянул было руку за распиской, но Озимов положил ее в карман.

– Ты здесь понадобишься. За рыбой поедет Кадыков...

Но вдруг Доброхотов, изменившись в лице, ткнул в спину Ежикова и стал указывать рукой на дорогу.

– В чем дело? – спросил Озимов.

– Делегаты от бунтовщиков, товарищ начальник, – ответил Доброхотов, кивая на двух мужиков, подходивших к околице.

Эти бунтовщики скорее смахивали на провинившихся шалунов – подходили неверным шагом на полусогнутых от страха ногах, озираясь по сторонам, готовые в любую минуту дать стрекача от одного грозного окрика: «Кууда?»

Но на них никто не кричал, и они шли вперед, тихо и безвольно переступая ногами, как обреченные на казнь. Первый, постарше, вислоусый, с морщинистыми щеками, снял малахай и слегка наклонил русую нечесаную голову. Второй, тугощекий, краснолицый, стоял прямо, как аршин проглотил.

– Чего вам? – спросил Озимов.

– Мы от общества, – сказал старший.

– Не от общества, а от бунтовщиков! – рявкнул на него подоспевший Возвышаев.

– Это старухи у нас бунтовали... то есть кормушки поломали. А мы закон блюдем.

– Блюдете закон! А кто сельсовет разогнал? – вынырнул опять из-за Ежикова Доброхотов.

– Они сами разбежались...

– Вы зачем пришли? – спросил Возвышаев сердито.

– Мужуки нас послали... Поскольку вы митинг собираете, вот и надо бы поговорить.

– Приходите на митинг, вот и поговорим, – сказал Ашихмин.

– На митинге какой разговор? Там речи произносят, – ответил старший и опять слегка наклонил голову. – Пожалуйста, которые начальники, в Совет. Поговорить надоть. Тады и на митинг все придем.

– У них заправляет всем беглый кулак Звонцов. Не ходите! – сказал Доброхотов.

– Никакой он не кулак, – отвечал мужик. – Он в селькове работал. Он выборный.

– Он дом свой сжег! – торопился Доброхотов, но его не слушали.  
– А если мы не придем? – спросил, усмехаясь, Ашихмин.  
– Тады и мы не придем.  
– А! Слыхали? Как вам это нравится?  
– Ладно, поговорим. Пускай ваши сюда приходят, – сказал Возвышаев.  
– Вы их заарестуете, и никакого разговора не выйдет.  
– Чего с ними лясы точить? – загремел Возвышаев. – Арестовать как бунтовщиков!

– Воля ваша... – Мужик уже не кланялся; брови его сошлись на переносице, и черные дробинки зрачков в упор нацелились на Возвышаева. – Тады и митинг нечего созывать. Берите всех подряд – и дело с концом.

– Молчать!

– Не горячись, Никанор Степанович. – Ашихмин взял за плечо Возвышаева и, поглядывая на Озимова, словно ища у него поддержки, сказал: – Надо идти. Это в наших интересах. Может, пойдем?

– Я готов, – ответил Озимов.

– Возьмите с собой милиционеров, – сказал Возвышаев.

– Ни в коем случае! Разговор должен быть доверительный. По душам. Так я вас понял? – спросил Озимов мужика.

– Так точно. Они ждут вас в Совете.

– Едем! – сказал Ашихмин.

– Кадыков! – крикнул Озимов. – Давай сюда!

Мужик удовлетворенно вздохнул, как конь после выпряжки, надел наконец шапку и сказал, обращаясь к Озимову:

– Надо бы церкву открыть, товарищ начальник. Обедню отслужить. Ноне масленица, народ просит.

– Это можно, – поторопился Озимов, чтоб Возвышаев не успел отказать. – Только уговор – сперва на митинг, а уж потом обедню служить.

– Само собой, – сказал мужик.

– Где ключи?

Ежиков вынул из кармана шинели целую связку ключей на медном кольце и, тряхнув ею, передал мужику.

Подбежал Кадыков.

– Лошадь еще не распряг? – спросил его Озимов.

– Нет.

– Возьми с собой человека и вот по этой записке, – Озимов передал ему бумажку начпрода, – поедешь в магазин и получишь тридцать килограммов рыбы на завтрак. И по пути завезешь нас вот с Ашихминым в сельсовет.

– Есть! – сказал Кадыков. – А кого взять еще?

– Вот хоть учителя, – сказал Возвышаев.

– Нет, я не могу! – испуганно отпрянул Доброхотов. – У нас личная вражда...

– С кем, с Кадыковым? – удивился Озимов.

– Там, в селе... – махнул рукой Доброхотов и судорожно передернулся. – Я прошу вас... Не могу...

– Ладно. Пусть Тима-избач съездит, – сказал Ежиков. – Он знает, где продавец живет.

Кадыков в момент обернулся с лошадыю, все седоки попрыгали в кошевку и

поехали.

На селе – толпы народу, будто на базаре или в ожидании выноса покойников, – смотрят сумрачно, нехотя дорогу уступают, молчат. И только ребяташки суматошной стаей носятся вокруг них и пронзительно кричат:

– Ты, татарин гололобий, не ходи чужой дорогой...

– Коммунист, коммунист... вместо дела один свист...

– Ну и село... Прямо кулацкое гнездовье, – негодуя, качал головой Ашихмин и плевал на дорогу.

Озимов мрачно молчал, а Тима-избач, прикрываясь vareжкой, тихонько посмеивался.

Возле Совета, над крыльцом которого на палке трепыхался красный флаг, Ашихмин с Озимовым слезли. К ним навстречу тотчас вышли на крыльцо два мужика в нагольных полушубках, но без шапок и, придерживая растворенной дверь, стояли, как часовые, возле косяков до тех пор, пока не прошли Ашихмин с Озимовым.

В сельсовете за мощным двухтумбовым столом из мореного дуба, притащенного из барской усадьбы, сидело еще четверо мужиков; один из них, в центре, был в добротном суконном пиджаке с серым смушковым воротником, чернобородый, с открытым и дерзким взглядом смоляных цыганских глаз. Он и указал рукой на стоящие венские стулья у стены, приглашая вошедших:

– Прошу садиться!

– Вы, должно быть, Звонцов? – спросил его Озимов, присаживаясь.

– Да, ен самый, – ответил с усмешкой, гордясь и собой, и вызывающим тоном своим.

– Говорят, вы свой дом сожгли?

– Чепуха! Он сам сгорел, и дыму не было, – Звонцов глянул на друзей своих, играя желтоватыми белками, и те дружно засмеялись.

– А еще будто вы оказались в беглых кулаках? – продолжал спрашивать Озимов, не обращая внимания на смех.

– Откуда вы это взяли?

– Говорят...

– Говорят, что в Рязани пироги с глазами, их ядят, а они глядят, – бойко ответил Звонцов, и напарники его опять засмеялись. – Чепуха все это. Дом у меня сгорел, это верно. Я в те поры в лесу был... Приехал, поглядел на пепелище да утерся. Ну какой же я кулак, если у меня ни кола ни двора? Жил две недели у кума Степана, в лесу. Вот, мужики позвали меня в Веретье. Хотят председателем Совета сделать. Изберут – буду работать, ежели вы утвердите.

– Значит, вы и проект решения подготовили? Ловко! – сказал Ашихмин. – А где же ваша партийная организация? А Совет? Или у вас их не было?

– Были да сплыли. Их корова языком слизнула, – ответил Звонцов, и за столом опять засмеялись.

– Что-то вы больно веселые, – сказал Озимов. – Не рано ли смеяться? Кабы плакать не пришлось.

– А нам теперь и смех, и слезы – все вместе с вами делить придется.

– Как это – с нами делить? – спросил Ашихмин.

– А так. Сумеет договориться – вместе посмеется. Не сумеет – плакать будем и мы, и вы.

– Думаете, мы пришли, чтобы плясать под вашу дудочку? – усмехнулся

Ашихмин. – А если мы просто посмеемся над вашими условиями?

– Потом же и плакать будете, – ответил Звонцов. – Вместо митинга будет буза. Справиться с такой оравой мужиков вы не сможете. Придется войска вызывать... И думаете, вас по головке за это погладят? Посадят вас за подрыв авторитета Советской власти. А нам терять нечего, кроме своих цепей. Дак вы согласны говорить с нами?

– Ладно, – сказал Ашихмин. – Какие ваши условия?

– Очень простые. Поскольку Совет наш оказался никудышным, мужики просят сделать перевыборы. Сегодня же.

– Чем же неуютны вам члены сельсовета? – спросил Ашихмин, недовольно кривясь.

– А всем. Алексахин хвостун и помело. Кто его к своей палке привяжет, тот и делает с ним что хочет, может пол подметать, а может заставить и по мордасам бить. Энтот все сделает, как скажут. А учитель Доброхотов – подлец и предатель-иуда. Через его доносы пять семей ни за что ни про что выслали. Что ему наши мужики? Он чужой. Ему в начальники хочется выйтить, а нам слезьми своими приходится оплачивать его охоту. Так что им полный расчет дали мужики.

– Но вы же их сами выбирали?

– Э, нет, – сказал Звонцов. – Этих не выбирали. Мы в двадцать шестом году выбирали... Вот по этой инструкции ВЦИК, подписанной товарищем Калининим. – Звонцов вынул из ящика стола тоненькую сшивку журнальных листов и подал ее Озимову. – Может, помните такую?

– Известная, – сказал Озимов, передавая брошюру Ашихмину.

– Выбрали тогда в сельсовет толковых мужиков, и все были довольны. А через год понаехали от вас какие-то представители, наших всех посымали, а этих поставили...

– Вы-то и за этих сами голосовали? – спросил Озимов.

– Э, нет. Не сами. Нам их навязали силой, – ответил Рагулин. – Приехал из уезда представитель этой самой... избирательной комиссии. Список нам прочел и говорит: «Вот за этот список и голосуйте. Сразу за всех!» А мы говорим: «Не хотим за всех сразу. Это все шаромыжники». Тогда он разогнал собрание. Пять раз собирал и пять раз разгонял нас. Потом объявили полсела лишенцами, ну, остальные испугались и проголосовали за этот список.

– А в этой инструкции прямо сказано – лишенцев не должно быть, – сказал Звонцов.

– Она устарела и даже запрещена, – бросая на стол инструкцию, сказал Ашихмин.

– Это ее троцкисты требовали запретить. А теперь самих троцкистов разогнали. Значит, инструкция правильная, – стоял на своем Звонцов.

– Против нее Карпинский выступал, заведующий деревенским отделом «Правды», – сказал Ашихмин.

– Давайте не спорить, а говорить по существу, – сказал Озимов. – Что вы предлагаете?

– Вот именно! – подхватил Звонцов. – Бог с ней, с этой инструкцией. Вы видели, что на селе творится? Успокоить надо народ. Вот мы и предлагаем – ноне же собрать сход и выбрать новый сельсовет.

– Ну что ж, мы соберем партячейку, обсудим кандидатуры и предложим вам их на сходе, – ответил Ашихмин.

– Э, нет! Так не пойдет, – Звонцов подвинул к себе брошюру и прихлопнул по ней

ладонью. – Уж если голосовать, так по всем правилам. Нам с ними жить, нам и выбирать их. Тут ведь, – ткнул он в брошюру, – все было писано при Советской власти. Ну и что ж, что устарела? Она ж не против, а за. Пока другой нет, сделаем, как тут сказано: никаких лишенцев и никаких списков. Мы сами назначаем и сами выбираем в отдельности каждого. А вы будете сидеть и смотреть, чтоб мошенничества не было.

Ашихмин только головой покачал:

– Значит, все пустить на самотек? А с митингом как? А с колхозом?

– Ежели вы согласны на перевыборы, мы скажем мужикам – все придут на митинг честь честью. А потом, на сходе, при новом Совете, и за колхозы проголосуем. Все по закону, кто пожелает, тот и вступит. И все будет тихо.

В это время гулко ударил колокол, все невольно вздрогнули и посмотрели на окна; не успел замереть густой тягучий звон, как ударил еще один мощный всплеск, потом еще, и все загудело, слилось в один сплошной клокочущий тревожный гул.

– Набат! – крикнул кто-то из сеней.

– Кто им разрешил? Так их и разэтак... – загнул заковыристым матом Звонцов.

– Обманщики, мерзавцы! – крикнул Ашихмин, бледный весь, вскочил, затравленно озираясь, дико выпучив глаза, еще раз крикнул: – Мерзавцы! – и бросился бежать.

– Стойте! Мы ж не договорились! В набат сумасброды ударили... Митька, задержи его! – кричал Звонцов.

В растворенную дверь Озимов видел, как в сенях на пути Ашихмина вырос здоровенный детина в расстегнутом полушубке.

– Прочь с дороги! – в одно мгновение Ашихмин вырвал из кармана руку с наганом.

– Ашихмин, стойте! Остановитесь!! – закричал Озимов, вставая.

Но грохнул выстрел, парень схватился руками за лицо, слепо шагнул вперед и стал шататься, как подпиленное дерево; все замерли и смотрели, как сквозь его сцепленные пальцы стала просачиваться и стекать струйками по рукам, по синеющему подбородку и капать на шубу, на пол пронзительно-красная кровь. Потом он рухнул, как дуб, не сгибаясь, и глухо стукнулся лбом об пол.

Ашихмин легким поскоком вылетел в наружную дверь и затопал по ступенькам крыльца, уменьшаясь в росте.

– Держите его, ребята!

– Бей их, сволочей! – закричали от стола, и все бросились в сени, опрокидывая стулья.

– Стойте, мужики! Одумайтесь! Не губите себя! – В наружной двери стоял Озимов, заслоня собой весь проем. – Никуда он не уйдет... Мы судить его станем.

– Знаем мы ваш шамякин суд, – Звонцов приблизил к нему свое бледное, искаженное гневом лицо. – В дураках нас хочешь оставить, кабан раскормленный? Не замай дверь!

Он схватил Озимова за отворот шинели и резко рванул на себя. Раздался сухой треск раздираемой материи, Озимов качнулся и правой рукой с разворота сильно ударил Звонцова прямо в бороду. Звонцов как-то звучно хрюкнул и, подгибая колени, стал приседать и тянуть к полу за отворот шинели Озимова. Тот хотел сбить клешневатую, оцепеневшую в мертвой хватке руку, но в это мгновение что-то оглушительно треснуло у него на затылке, яркой вспышкой ослепило ему глаза:

Озимов почувствовал, как ватными становятся ноги, и, теряя сознание, начал падать, отваливаясь спиной к стенке.

Вечером того же дня на квартиру Успенских зашел Костя Герасимов. Дмитрий Иванович сидел за столом, что-то записывал в тетрадь, перед ним лежала раскрытая книга. Мария сидела в качалке возле топившейся грубки и вязала кофту.

– Костя, раздевайся, присаживайся и слушай! Вот новинка из нашей библиотеки: «Любовь людей шестидесятых годов», – Успенский приподнял новенький томик в мягкой обложке. – Составитель Богданович. Тут переписка Чернышевского, дневники его, всякие изречения Шелгунова, Сеченова... Прелюбопытно! А между прочим, какое главное правило поведения «новых людей» Чернышевского?

– Как приятнее, так и поступаешь, – ответил Герасимов без запинки, присаживаясь на стул.

– Ну, силен! Ты, брат, знаешь «Что делать?».

– А как же? На том и стоим.

– Ты, видать, тоже из новых людей. Значит, что приятнее, что выгоднее для тебя, то и делаешь?

– Ну, уж так упрощать все!

– Извини, я несколько не упрощаю. Вот послушай, – он открыл нужную страницу и прочел: – «Человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказаться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды и большего удовольствия».

– Иди ты! Кто это написал? – удивился Герасимов.

– А это цитата из Чернышевского. Его кредо, так сказать.

– Митя уже выводы сделал, – засмеялась Мария. – Завтра, говорит, пойду не в школу, а в кабак, поскольку удовольствия в кабаке получаю больше.

– А что? С точки зрения разумного эгоиста можно и не то себе позволить, – сказал Успенский. – Вот здесь выписка из дневника. Чернышевский был еще учителем гимназии и признается, как мошенничал, выставляя пятерку в журнал братцу своей возлюбленной. Вот это место. – Успенский полистал книжку и прочел: – «Спрашиваю уроки у 4-5 человек, спрашиваю наконец его и потом снова других. Венедикт ничего не знает. Все-таки я ставлю ему 5». – Успенский отложил книгу на стол, усмехнулся. – Потом отсылал журнал своей возлюбленной; тайно выкрал его из канцелярии и послал, чтобы она смогла убедиться в том, что он сделал все, как она велела. А, каков? И возлюбленная его, будущая жена, тоже хороша: если хочешь доказать, что любишь меня, сделай подлость. Вот так, Маша, новые люди-то любят. А ты? Нет чтобы испытать меня. Ну, послала бы хоть в амбар к кому-нибудь залезть.

– По амбарам лазить – преимущество хвостатых, милый мой. А мы с тобой безхвостые, рылом не вышли.

– И что же он? Показал журнал с фальшивой отметкой – и хоть бы хны? – спросил Герасимов.

– Признается, что поначалу взяла его некоторая робость. Но он быстро справился с собой. Он же сильная личность, проповедник! Новый человек! Кому нельзя подличать, а ему можно. Да он и не считает это подлостью – он же делает удовольствие близкому человеку, следовательно, и себе самому. Как приятнее, так и поступаешь. Вздумал сделать – сделаю. Конфетки получил в награду от нее, съел их с удовольствием. Так и пишет... А гнусность самого поступка? А муки совести? Их нет

и в помине. Он же сильная личность, он готовится на великие дела. Поэтому можно плюнуть на общие правила.

Герасимов хмыкнул и покачал головой:

– Хороший пример для школьников.

– Черт знает что! – сердито сказал Успенский. – Всякую чушь собирают. Ладно, издавай. Но хоть возражай, комментируй. Герцен в свое время называл подобные проповеди нравственным развратом. А Богданович теперь радуется. Хорошо! Валяй, ребятки, читай и подражай: что нравится, то и люби, что выгоднее, слаще – то и подай. На остальное – плевать.

– Я ведь по делу к тебе, Дмитрий Иванович, – сказал Герасимов. – После уроков мы собрались в учительской. Хватились – тебя нет.

– У меня всего три урока было. Зашел в библиотеку, взял вот эту книжицу – и домой.

– Вот какое дело... Дмитрий Иванович. Вести получили тревожные...

– Из Желудевки? – перебил его Успенский. – Вроде бы там успокоились.

– Веретье взбунтовалось... И, говорят, жертвы есть.

– Откуда вы знаете?

– Оттуда двух привезли к нам в больницу... Но это еще не все – в Еремееве в набат били. А завтра наши, степановские, собираются идти кормушки ломать. Вот и обсуждали – как быть?

– Надо попытаться отговорить их, – сказал Успенский.

– Это бесполезно. Мужики решили на самовольном сходе – завтра выходить на площадь к церкви. Ну вот... Мы посоветовались и пришли к выводу: на площадь не ходить даже с благим помыслом – уговаривать крестьян воздерживаться от насилия!

– Почему?

– Потому что на многих учителей народ обозлился. И нас могут просто избить. Кроме того – есть сведения, что на завтра вызваны войска.

– Так надо сказать мужикам!

– Ни в коем случае! Во-первых, никто этого не знает в точности, а во-вторых, это может вызвать панику, мужики убегут в лес, и нас попросту посадят как провокаторов.

– Я не понимаю, что ж вы хотите? Или что вы решили?

– Мы решили на завтра отменить занятия и не выходить из домов.

– А школьники знают об этом решении?

– Да.

Успенский встал из-за стола и, заложив руки за спину, прошелся по горнице. Мария, прервав вязание, тревожно смотрела то на него, то на Костю.

– Я вам ничего не обещаю, – ответил он наконец. – Если завтра события обернутся так, что нужна будет моя помощь или участие, то я пойду и на площадь, и вообще куда угодно.

– Но это может бросить тень на весь коллектив, на всю школу...

– Оставьте, пожалуйста, ваши групповые игрушки, – покривился Успенский. – Я хоть и не разумный эгоист, но тем не менее так называемый интерес нашего коллектива в этом случае блюсти не стану.

– Почему же? – спросил Герасимов.

– А потому, что есть другой коллектив, в сотни раз больший, – это жители села Степанова. Вот судьба этого коллектива для меня теперь важнее, потому что село в опасности. А вы как-нибудь уж переживете мою оплошность.



Мария слушала, сцепив ладони и прижав их к груди, только смертельная бледность лица выдавала ее волнение.

– Тогда вот что... Я иду в больницу навестить тех пострадавших в Веретье. Может, со мной пойдете? По крайней мере кое-что прояснится и для вас. Узнаем, чем все это пахнет.

– Идем, и немедленно.

Когда одевались, Герасимов вдруг хлопнул себя по лбу и рассмеялся:

– Эх я, растяпа! Я уж совсем забыл рассказать вам новость: в Красухине старухи связали Зенина по рукам и ногам, сняли с него штаны и выпороли. Он теперь в нашей больнице лежит на животе, стонет и матерится.

В больничном саду им встретилась Соня Макарова, тихо сказала: «Здрасьте!» – и молча повела в родильное отделение.

– Ты куда ведешь нас? – спросил у подъезда Герасимов. – Мы вроде бы не беременные?

– Чш-ш! – Соня прижала ему палец к губам и оглянулась по сторонам: в саду было темно и шумно от деревьев. – Они здесь лежат. Мы их прячем, – сказала шепотом.

– От кого? – тихо спросил Успенский.

– Рыскали тут всякие... – и махнула рукой.

В палате висела лампа-молния, окна были плотно занавешены байковыми одеялами. Пострадавшие лежали на трех койках; у одного была толстая в гипсе нога, задранный на спинку койки, второй лежал на животе и шумно сопел, третий, закрыв глаза и выпятив острый подбородок, тихо постанывал. Успенский остановился возле третьего и удивленно воскликнул:

– Батюшки мои! Да это ж Зиновий Тимофеевич! Кадыков?!

Больной открыл глаза и, узнав Успенского, слабо улыбнулся:

– Здорово, брат!

– Откуда вы, голубчик? Что с вами?

– С того света, почитай, – пошутил Кадыков и, кривясь от боли, поправил подушку, чтобы лечь поудобнее. – Да вы садитесь!

Соня подала две табуретки. Герасимов и Успенский сели. Лежавший на животе больной открыл левый глаз, поглядел на вошедших и отвернул лицо к стенке. Это был Зенин.

– И вы здесь, Семен Васильевич? – спросил Успенский.

– Как видите, – ответил тот нелюбезно.

– Дак что с вами? Как вы здесь очутились? – спрашивал Успенский, придвигаясь к Кадыкову.

– Ребра мне поломали, – ответил тот, – в Веретье.

– Но за что? Как это случилось-то?

– Мужики взбунтовались... Ударили в набат... А мы вон с Тимой, – он кивнул слегка в сторону третьего больного с загипсованной ногой, – ездили как раз в это время в магазин за рыбой. И продавца, как на грех, нет. Поехали к нему на дом. Его и там нет. Ну, ездим по селу, а нас матерят со всех сторон. Еще, мол, дразнятся, сволочи. Это на нас. И тут набат ударил. Мужики совсем озверели. Вот тебе из сельсовета выбежал Ашихмин, с ходу прыгнул к нам в сани и крикнул: «Гони!» А за ним

выбежали двое мужиков из Совета и тоже кричат: «Держите их! Бейте их!» Я стеганул мерина, он сразу в галоп взял. Которые из мужиков похрабрее, пытались остановить лошадь, за уздцы схватить на полном скаку, но отлетали прочь. Так мы и мчались по селу к агропункту, где наши были. Я еще спросил Ашихмина: «А где Озимов?» Они вместе с ним в сельсовете были. «А он, – говорит, – в сельсовете сидит. Мы его выручим потом». И тут в конце села вынесли длинную жердь и бросились с этой жердью нам наперерез, загородив ею всю дорогу. Мерин захрапел, сбился с галопа и стал оседать на круп. Я его стеганул раза два – не помогает. Ну, сани остановились... Мужики бросились на нас. Ашихмин, правда, успел выстрелить, пробил одному плечо. Я видел, как шерсть клоком торчала из пробоины со спины. Мужик завыл и схватился за плечо. Ну, остальные смешались, а наш Ашихмин дал такого стрелкача... Прямо как заяц, чудом каким-то выскочил на дорогу и почесал к агропункту, только пятки засверкали. А нас и взяли в оборот. Я боялся только одного, чтоб из моего нагана нас же и не постреляли. Я схватил его вместе с кобурой, прижал к груди и лег в кошевку животом вниз. Меня сначала по затылку били, по спине. Потом перевернули и стали наган вырывать. Один мужик руки мне все кусал. Вон, видишь! – он показал синие, в кровавых рубцах руки. – Как собака изодрал. А другой парень стал бить сапогом в грудь. Тут я сознание потерял. Очнулся только на агропункте, часа через два. Нас выручили милиционеры; они бежали с агропункта и стреляли прямо на ходу. Мужики бросили нас и разбежались. Мне ребра переломали; доктор говорит, четыре ребра повредили. А Тиме ногу поломали.

– А где же Озимов? – спросил Успенский.

– Вот неизвестно. Пытались выручить его – не тут-то было. Сунулись с этого края – улицу загородили санями да телегами без колес. С ружьями появились: «Вы, – говорят, – стрелять, и мы – стрелять». С другого конца хотели взять их – и там загородили все. Народищу сбежалось – тыщи! Ну и вот... колобродили. Ашихмин и Возвышаев войска вызвали... А нас отправили сюда кружным путем... Хотели было через Гордеево. Да прибежал Акимов: «Куда вы? – говорит. – Там следователя избили». Мы низом, вдоль Петравки. Выехали на Климуши – и там мужики с дубьем. Так мы лесом по дровяным дорогам, а то и целиком ехали...

– А где же был Семен Васильевич? – спросил Успенский, кивнув в сторону Зенина.

Зенин не отозвался, а Кадыков ответил после минутной паузы:

– Он в Красухине пострадал. Его бабы скрутили, сняли штаны, рубаху заголили и выпороли розгами. Теперь у него и спина, и все остальное вздулось, как подушка.

– Чего это вы распелись? – сердито сказал от стенки Зенин. – Я вам, кажется, не поручал делать за себя отчет.

– Дык спрашивают, – оправдывался Кадыков.

– Ну и заголяйте им свои руки да грудь... Рисуетесь, как баба...

– Вы уж помалкивайте! А то и про бога могу сказать, – огрызнулся и Кадыков.

Вошла Соня в белом халате, стала раздавать градусники и строгим голосом сказала:

– Поговорили, и будет! Им отдыхать надо.

Успенский и Герасимов стали прощаться; Кадыков протянул им локоть, Тима весело помахал рукой, все время, пока они сидели, он приветливо поглядывал на всех, чувствовалось, что рассказ Кадыкова про их мытарства доставляет ему истинное удовольствие; а Зенин не обернулся, он стыдился своего унижительного наказания и

злился на пришельцев, невольных свидетелей его беспомощной позы.

Дома, когда Успенский рассказал о своем посещении родильного отделения и о том, как наказали Зенина и как лежит он, Мария стала так смеяться, что с ней сделалась истерика, и она заплакала, повалилась на кровать.

Успенский испугался, принес кружку воды и, брызгая ей на лицо, все приговаривал:

– Маша, милая, что с тобой? Успокойся же, успокойся!

– Я боюсь, Митя!.. Боюсь я, боюсь! – Она порывисто подымалась, обнимала его, прижимаясь мокрым лицом к его груди, и опять вскрикивала: – Боюсь я! Они убьют тебя! Убьют!..

– Да успокойся, глупая. Кому я нужен? Кто меня убьет?

– Ты мешаешь им... И тем, и другим. Они же все осатанели...

– Ну что ты, что ты, господь с тобой! Разве можно так говорить? Люди добры, Маша, добры. Просто они теперь как в бреду, как в горячке. Это все пройдет, все успокоится.

– Ах, боже мой! Ах, боже мой! – вскрикивала она, и приступы рыдания все душили и душили ее с новой силой.

Наконец она утихла, откинулась на подушки и смотрела на него расширенными зрачками, оглаживала щеки его, лоб, бороду.

– Какая у тебя мягкая, шелковистая борода...

– Ну вот и слава богу... Вот и хорошо, – говорил он, ловя и целуя ее руку. – Все будет в порядке...

– Ты не ходи завтра... Никуда не ходи!

– Ладно, не пойду.

– Мне давеча нехорошее привиделось... Когда тебя не было. Я выходила крыльцо подмести. Вернулась – смотрю, перед божьей матерью лампада горит. Кто ее зажег? Спрашиваю Неодору Максимовну: «Это вы лампаду зажгли?» – «Нет, я, – говорит, – не зажигала». Вошли мы с ней в горницу... и в самом деле – не горит. Что за чудеса? Я ж видела огонь лампы! И вроде бы дымок такой сизый, и будто ладаном пахло... А Неодора Максимовна: «Это тебе повержилось, – говорит. – Это, – говорит, – не к добру».

– Просто нервы шалют, Маша... Нервы.

Лежали молча, Мария все вздыхала, как ребенок после плача, и вдруг спросила:

– О чем ты думаешь?

– Думаю, что не уступят они. Ничего не даст это волнение... Бедные мужики.

– Почему?

– Так. По логике вещей. Чернышевского вспомнил. И надо же, в какой момент попал он мне под руку? Ты обязательно прочти эту книжку.

– А что там?

– Да вроде бы к тому, что сейчас происходит, отношения не имеет. И тем не менее... Какая сильная натура, и трагическая одновременно.

– Кто?

– Да Чернышевский... И все они там друг на друга похожи. Эта их поразительная вера в чудодейственную силу голого рассудка. И какая сухая, кованая вязь схоластики. И фанатизм... Шар земной тресни, а они на своем стоять будут. Хоть Чернышевский... Придумали себе разумный эгоизм: цель, мол, предписывается человеку рассудком, потребностью наслаждения. Эта цель и есть добро. Так вот. Не

любовь к ближнему, не сострадание, а потребность в наслаждении и есть добро, говорит он. И далее у него идет чистый бред схоластики: расчетливы-де только добрые поступки. Чепуха собачья! Добра без любви да по расчету быть не может. Добрый поступок только тогда и добр, когда лишен расчетливости, прямой или косвенной выгоды. А так что за доброта? Погоня за наслаждением – и все. Даже собственная жена его бессовестно пользовалась этой погоней и крутила в открытую, направо и налево. А он страдал... Но делал даже вид, что счастлив. Ну как же? Она по теории разумного эгоизма живет, что думает, чего хочет – то и делает, все – в удовольствии. Декабристки-христианки поехали к мужьям на каторгу. Эта же – и не подумала. Даже детей своих, как кукушка, отдала на воспитание Пыпиным, родственникам его, чтоб не мешали наслаждаться. А Шелгунова вела себя еще гаже. Мужа – в ссылку, а она – за границу, гулять. Он годами зовет ее, ждет в Тотьме, в Вологде, а она бесстыдно в письмах хвастается своими любовными похождениями и деньги из него выколачивает. То Михайлов, то Серно-Соловьевич... Тьфу!

– Тебе это не грозит, Митя. Я за тобой не только на каторгу, я и на тот свет готова пойти...

– Ну уж это – глупость.

– Молчи! Я клянусь тебе: если с тобой что случится, буду вечно ждать тебя...

– Зачем ты об этом, Маша? Это я сам виноват... Занесло меня в рассуждении не в ту сторону. Я не про жен тебе хотел сказать. Я вот про что думал: ведь Чернышевский хоть и выдумал эту теорию разумного эгоизма, но сам оставался, в общем-то, порядочным человеком, для себя он делал исключение, я, мол, проповедник, я должен жить строго. У него еще каждый человек – личность с правом на собственный выбор. Но для разумного эгоиста нет общих правил. Он сам себе правило. Где он стал, там и законное место, чего захотел, то и подай. Он только своим рассудком руководствуется, а рассудок ищет закон целесообразности. И через какие-то десять лет эти «разумные» эгоисты вроде Ткачева и Нечаева быстро нашли и утвердили закон целесообразности для всех: топай, куда скажут, живи так, как мы расписали. Нечаев даже ввел три разряда, подлежащих поголовному истреблению. А чего с ними церемониться? Враги народные! Весь ужас в том, что все эти схемы насчет улучшения жизни составлены не по любви к ближнему, не по нравственным соображениям, не по соблюдению очевидных законов, а по голому расчету – все, что им самим кажется полезным и нужным, то и нравственно. Следовательно, нет и не может быть ни жалости, ни сострадания, ни снисхождения. Это какое-то всеобщее заблуждение, помутнение ума, вроде болезни... И жать будут до тех пор, пока не развалится все. И что удивительно! Все эти схемы ужасно живучи. Недаром Владимир Соловьев сказал, что утопии и утописты всегда управляли человечеством, а так называемые практические люди были их бессознательными орудиями. Там бабувизм, тут троцкизм... А где-нибудь это вылезет под другим названием. А внутренняя суть, требуха все та же... Ладно, давай спать. Утро вечера мудреней.

Разбудила их Неодора Максимовна утром: робко постучала в дверь. Мария бросилась с кровати к халату:

– Иду, Неодора Максимовна! А ты еще полежи. Я сейчас вернусь к тебе, – говорила, торопливо застегивая халат, надевая валенки.

Но, как только ушла она, Дмитрий Иванович встал и также торопливо начал собираться. Там, за неплотно прикрытой дверью, на половине Неодоры Максимовны, раздавались женские голоса, и один из них вроде бы хрипловатый голос Сони. Чего

это она в такую рань? Что за нужда?

В окна пробивался серенький зимний рассвет, все предметы в комнате хорошо угадывались, и Дмитрий Иванович не стал зажигать лампы.

Когда встревоженная Мария появилась на пороге, он уже был одетым.

– Что тут у вас происходит? – спросил он, сам проходя из горницы в избу.

– Беда, Дмитрий Иванович, беда! – сказала Неодора Максимовна. – Все село поднялось. Бабы кормушки ломают и все доски на улицу выбрасывают, а мужики собрались на площади. Требуют церковь открыть и кладовые, где семена хранятся...

– Пробовали кладовые взломать, – сказала Соня, она сидела на скамье рядом с Неодорой Максимовной, – да не получается: двери железные, стены каменные...

– А у кого ключи?

– У председателя Совета. Все село обыскали, а его не нашли. И Герасимова нет. Говорят, они в район уехали, ночью. Я ведь по вашу душу, Дмитрий Иванович, – сказала Соня.

– А что такое?

– Мужики в больницу прибежали, двери взломали в хирургическом отделении. Все там вверх ногами поставили. Украли хирургический инструмент, ножи, пилки. Искали Зенина да Кадыкова. Никто ж не знает, что они в родильном помещении прячутся.

– Ну и что? – тревожно спросил Успенский.

– Кадыков и Зенин после этого налета оделись и убежали из больницы. А Тима остался и плачет. Да и мне страшно... А вдруг пронюхают и опять явятся.

– И что надо сделать? – спросил Успенский.

– Помогите перевести его ко мне домой.

– Но ведь лошадь нужна!

– А мы на салазках. Я большие салазки достала и тулуп. Завернем его в тулуп и мешковиной покроем сверху. Повезем, как муку или картошку.

– Соня, мы с тобой это сами сделаем, – сказала Мария. – А ему нельзя на улицу. Постановление в школе вынесли.

– Маша! Что ты говоришь? – сказал Успенский.

– Я дело говорю... – заупрямилась Мария.

– Маша, не дури! Мы отвезем его, и я сейчас же вернусь, – сказал Дмитрий Иванович.

– Хорошо! Тогда пойдем все вместе.

– Это же упрямство, Маша!

– Нет. Я пойду вместе с тобой.

– Ну, тогда пошли все, и поскорее! Не то совсем развиднеет, – сказала Соня, вставая.

Шли кружным путем по дорожному распадку, огибая церковную площадь. По дороге, спускаясь к реке Петравке, видели в рассветном полумраке, как люди шли толпами и в одиночку по речному льду, карабкались на высокий церковный бугор – все торопились туда, на площадь, где стояли бывшие каменные лабазы, а теперь общественные кладовые с семенным фондом.

– Это хорошо, – говорила Соня, – все ринулись к лабазам, а в нашем конце село будто вымерло. Проскочим незаметными.

Больница стояла на том берегу Петравки, на отшибе от села. Заснеженные бревенчатые здания тонули в черном кружеве оголенных липовых ветвей, сгущавших

рассветный полумрак. Здесь все было тихо, безлюдно.

От реки поднимались тропинкой к больничной железной ограде с каменными столбами. Калитка, ведущая в больничный сад, была настежь раскрыта.

– Странно, – сказала Соня. – Я запираю ее, уходя.

В снегу возле тропинки валялся небольшой замок со скрюченной дужкой.

– Странно! – опять сказала Соня, подымая замок.

Возле родильного отделения их встретило четверо: двое стояли по углам, а еще двое ковырялись в дверях.

– Что вы тут делаете? – закричала Соня.

– А ну заткнись! – цыкнул на нее ближний, стоявший возле угла, и двинулся навстречу.

Это был цыганистый парень в черном полушубке с отворотами на груди; густые кудри выбивались сбоку из-под шапки. Глаза наглые, белозубая улыбка во весь рот, руки в боковых карманах.

– Ключи у тебя, голуба? Или у этого фраера?

Те двое, копавшиеся в дверях, тоже двинулись сюда.

– Что вам нужно? – опять крикнула Соня.

– Потише, дорогуша! – сказал ближний парень. – Нам нужны ключи от этих дверей.

– Вам незачем туда идти. Это же родильное отделение! – сказала Соня, отступая к Успенскому.

– Там скрываются два сукиных сына, – сказал, подходя, второй парень с гвоздодером в руках; этот был в кожанке и в мохнатой кепке, на шею брошено белое кашне, лицо скуластое, злое. – Ключ, живо! Не то хуже будет.

– Послушайте, ребята! В больнице нет сукиных сынов. Здесь только больные люди, – сказал Успенский.

– А ты не вякай! – метнул на него злобный взгляд тот, в кожанке. – Тебя не гребут, и хвост не подымай.

– Митя! – Мария поймала Дмитрия Ивановича за руку и сильно стиснула ее. – Прошу тебя...

– погоди, Маша... – он высвободил руку и шагнул вперед, заслоня собой Соню. – Еще раз повторяю – здесь больница. И нападать на больных или на медсестер – бесчестно!

– Кто этот фрукт? – спросил своих человек в кожанке.

– Из учителей, – ответил третий. Этот был худ, высок, в белых валенках и в стеганой фуфайке, он стоял, блаженно улыбаясь, и чистил финкой ногти. – Скажи им, Вася, – обернулся он к скуластому в кожанке, – вы люди пришлые, вас попросили привести вышепоименованных сукиных сынов Зенина и Кадыкова на церковную площадь. С ними народ будет говорить. А требование народа – закон для всех. Так или нет?

Скуластый поглядел на Марию, потом на Соню, усмехнулся и сказал:

– А мы немножко изменим программу представления. Пускай этот фраер идет домой, а лэди пройдут с нами, – он нагло подмигнул Марии и кивнул на дверь.

– Об чем речь! – высокий в фуфайке в два прыжка приблизился к Успенскому и, приставив финку к его груди, скомандовал: – Кругом! Шагом арш!

Дмитрий Иванович левой рукой снизу толкнул его под локоть и правым коленом с силой ударил в промежность. Парень вскрикнул диким голосом, выронил финку и,

схватившись за живот, упал головой в снег.

– Семен Терентьевич! Семен Терентьевич! На помощь! – Соня с криком бросилась по тропинке к раскрытой калитке.

За ней побежал цыганистый парень в полушубке:

– Стой, курва!

– Догнать ее! – скверно ругаясь, прорычал скуластый парень в кожанке и с гвоздодером в одной руке, с ножом в другой пошел на Успенского.

– Митя, беги! – закричала Мария.

Но Успенский поднял финку и сам, ослабившись злобно и пригнувшись, двинулся ему навстречу.

Так они сходились, согнувшись, раскорячив ноги, словно совершали какой-то странный обряд перед дикой, непонятной игрой.

И в этот момент откуда-то сверху, как пушечный выстрел, ударил колокол, и медный тягучий гул поплыл над землей, вселяя тревогу и смятение.

В саду от калитки раздался пронзительный свист, и тот цыганистый парень заорал:

– Шухер! Войска идут!

Скуластый мгновенно распрямылся и бросился бежать.

– Где войска? Где они? – спрашивала Мария, одновременно тревожась и радуясь, что поножовщина, грозившая им, так внезапно была прервана этим могучим и грозным ударом колокола, словно глас божий, грянувший с низких сумеречных небес.

За первым ударом с долгой оттяжкой, будто нехотя, ахнул второй, потом третий... и забухало внахлест, удар за ударом, загудело тревожным суматошным гулом все – и небо, и деревья, и земля.

– Набат, Митя, набат! – пролепетала Мария в ужасе.

– Да, это набат... – Успенский машинально отбросил финку и посмотрел на церковный бугор; там, на краю, возле самого откоса, толпился народ – все глядели куда-то за реку.

– Ты не туда смотришь! – потянула его за руку Мария. – Вон куда смотри! За реку, на ту сторону.

Он обернулся и увидел: по длинному пологому съезду, растянувшись на полверсты, спускался к реке обоз. В каждом санях сидело по несколько человек военных, но правили подводами мужики в тулупах. Впереди обоза рысили четверо верховых в серых шинелях, трое из них были с винтовками за спиной. Они то отрывались от передней подводы, то возвращались снова к ней. Видимо, передовой ездок не хотел торопиться под уклон и, не слушая всадников, осаживал свою лошадь, не давая ей разогнаться.

– Наши, Митя, наши! – радостно приговаривала Мария и движением глаз, бровей – всего лица – как бы приглашала его глядеть вместе с ней туда, на дальнюю дорогу, и так же радоваться.

– Здесь все наши, – сдержанно ответил Успенский и, хмурясь, озабоченно сказал: – Надо бежать на площадь.

Он вмиг сообразил, что ему от больницы через реку ближе к церковной площади, чем им, и что он сможет опередить их, унять народ, остановить набатчика, уговорить его, чтобы сматывался восвояси, иначе ему несдобровать.

Когда Успенский сообразил это, ему стало легко и жутко одновременно, и он бросился бежать по тропинке к церковному бугру.

И в это же время верховые, словно разгадав его намерения, оставили обоз и оскакали наметом по объездной дороге туда же, к церкви.

Мария увязалась за Успенским; она кричала ему, пыталась остановить его, задержать, но он ее не слушал – легко и прытко бежал вверх по откосу.

Когда он прибежал на церковную площадь, верховые были уже за оградой; трое из них спешили и бросились по ступенчатой паперти наверх, в церковь; а четвертый, с наганом на ремне, крутил лошадь перед огромной толпой и кричал звонким мальчишеским голосом:

– А ну, р-расходись! Р-расходись по домам, мать вашу перемать!..

А сверху, удар за ударом, падал тяжелый медный гул, подминая и ропот толпы, и эти петушинные выкрики верхового, и лошадиный храп и фыркание.

И вдруг смолк этот тяжкий звон, будто кто-то невидимый заткнул огромный медный зев, откуда исторгались тревожные оглушающие звуки; и толпа замерла, и даже верховой перестал материться и дергать лошадь и застыл от удивления с раскрытым ртом.

Там, на высоте, в проеме колокольни, показался маленький черный звонарь; он был в шапке с завязанными ушами и без рукавиц. Скинув валенки и побросав их в толпу, оставшись в одних носках, он, по-кошачьи пластаясь вдоль стены, цепляясь красными руками за белые штукатурные русты, стал спускаться с колокольни на церковную крышу.

Успенский сразу узнал его – это был Федька Маклак. «Ах, стервец! Ах, мерзавец!» – ругаясь в душе и любуясь удалью и ловкостью этого шалопая, Дмитрий Иванович сообразил, что беглец ускользнет от стражи: спрыгнет сейчас на крышу и там шмыгнет за колокольню, сиганет сверху в толпу и – поминай как звали.

– Сюда спускайся, сюда, голубь!

– Вклевись хорошенько в стенку-у! Не то вознесешься со святыми упокой!

– Ребята, заслоните верхового!

– Лошадь под уздцы возьмите! Держите лошадь! – заревела толпа. Кто-то поймал поводья и потянул в сторону лошадь, пытаясь повернуть ее задом к церкви. Но верховой выпростался из седла, спрыгнул наземь, в мгновение ока выхватил наган и стал целиться в Федьку.

Успенский оказался возле него. Он схватил стрелка за руку и потянул ее книзу:

– Что вы делаете? Опомнитесь! Это же школьник. Мальчишка!

– Не смей! Отпусти, говорю! – закричал стрелок, выпучив белые от страха глаза.

У него были пухлые розовые губы, и такие же розовые вислые мочки ушей, и белый пушок на щеках, еще не тронутых бритвой. «И этот мальчишка», – с горечью подумал Дмитрий Иванович.

– Да не бойтесь вы, не бойтесь... Никто вас не тронет, – приговаривал он, выкручивая руку стрелку.

Но тот изловчился, перехватил наган в левую руку и выстрелил в Успенского, прямо в грудь.

Дмитрий Иванович как-то странно всхлипнул, сдавленно замычал и, косо разворачиваясь, стал боком падать в снег.

Когда подбежала Мария, он был уже недвижим, лежал лицом вниз, и серое пальто его было продрано на спине, словно он задел о гвоздь на заборе.

– Митя, Митя! – позвала она тихо, еще не понимая того, что произошло; и заметив, как эта рваная дыра стала темнеть, набухая от крови, закричала страшным



голосом: – Спасите его! Спа-асите!

Хоронили Озимова и Успенского в один день. Похороны, как и свадьбы, одинаковыми не бывают. Озимов лежал в просторном гробу, обитом красным сатином. Его крупное, носатое лицо выражало крайнюю степень усталости и безразличия, будто он сделал все, что следовало сделать, и теперь успокоился, равнодушный ко всему тому, что отвлекало его от этого покоя. Гроб стоял посреди клубной сцены, на длинных столах, покрытых все тем же красным сатином. У изголовья стояли часовые в милицейской форме с винтовками и с примкнутыми штыками. По углам сцены висели красные флаги с черной каймой. И в клубных дверях стояли также по два человека, как часовые, только без винтовок, а с красной повязкой на рукаве, окаймленной черной полосой.

Народ шел густо – и старый и малый – поглядеть на невиданную доселе, торжественную церемонию; старики и бабы, проходя мимо гроба, крестились и пугливо поглядывали на часовых.

Это торжество будто завораживало всех в клубе и заставляло быть строгими и сдержанными. Только за порогом, на высоком крыльце, бабы и старухи всхлипывали, как бы украдкой, быстро вытирая слезы. А по выходе из клуба торопливо пересказывали, как важно и строго лежит покойник: и форма на нем хорошая, и руки по швам держит. Ну как живой! И обязательно про часовых рассказывали: «Стоят – не шелохнутся и даже не моргают. Истинный бог! Муха сядет ему на лицо, а он хоть бы хны – не сгонит. Вот с места не сойтить, если вру! Ни рукой не махнет, не дунет и глазом не моргнет».

– Ах, добрый человек погиб! И за что, спрашивается?

– А это уж по закону вредности – гибнут лучшие...

– Все злоба наша да сумление.

– Оно ить и то сказать – озверел народ.

– А хто виноват? Хто?.. – гомонили у клубного крыльца мужики.

Никто не слышал ни плача, ни причитаний, будто не было ни родных, ни близких, и все время, пока люди приходили к нему прощаться, там, в просторном фойе, в окружении глазающих ребятишек, играл духовой оркестр.

И оттого, что гроб везли на кладбище на диковинном катафалке и лошади ставили согласно, как по команде, свои ноги и картинно изгибали шеи, покачивая головами в такт траурного марша, смерть казалась совсем не страшной. И словно понимая это и боясь нарушить общее настроение, вдова его, Маргарита Васильевна, за всю дорогу до самой могилы, идя за гробом, не издала ни одного вопля, не выронила ни единой слезы: и только по сухому, горячечному блеску ее глаз, по мертвенной бледности щек и по крепко сжатым, чуть подрагивающим губам можно было догадываться – чего стоит ей это каменное молчание.

Молчала всю дорогу, идя за гробом Успенского, и Мария. Гроб несли на полотенцах учителя, впереди шел псаломщик, одетый в поповскую рясу, и читал слабым голосом молитвы. Школьники несли крышку гроба, самодельные цветы, и темной длинной вереницей шел за гробом народ. Молчание было такое глубокое, что улавливалось каждое слово, торопливо, нараспев произносимое псаломщиком, и короткие всплески тоненького, зауспокойного вопля Неодоры Максимовны, шедшей за гробом под руку с Марией.

Но Мария никого не слышала, она вся ушла в себя, в свои воспоминания и думала

о нем, смотрела на него. Она и узнавала его, и нет. Его обычно подвижное и нервное лицо было покойным и величавым, будто все, что казалось ему ранее, при жизни, темным, загадочным, непостижимым в своих противоречиях, теперь прояснилось, согласовалось и стало доступным его пониманию. И легкая радость сквозила в его чуть заметной улыбке, будто хотел сказать он, что ушел туда и нисколько не жалеет об этом.

Двое суток, и день и ночь, не смолкали над гробом Дмитрия Ивановича молитвы и песнопения; кроме псаломщика, читали и пели бесконечной чередой приходившие женщины: и старые, и молодые, и совсем юные... Из этого потока скорбных и светлых слов Марии запомнился один стих, поразивший ее: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете...»

«Да, он знал, что это время подошло, и пошел сам туда, и я не удержала его», – думала она, идя за гробом.

Перед кладбищем, чуть сойдя с дороги, поставили гроб на табуретку, чтобы пересменить носильщиков и взять гроб на плечи.

Тут нагнали похоронную процессию арестанты из Степанова и окрестных сел. Они шли, сбившись тесной толпой, в окружении конвоиров. Впереди ехала подвода с их заплечными мешками, а над санями на двух укрепленных вертикально палках висел красный плакат: «Вот оно, лицо кулака, злейшего врага колхозного строя».

Погода была хмурая, моросил мелкий дождь ранней оттепели, и шубы, армяки и свиты на плечах арестантов потемнели, придавая всей этой массе людей, сбитой в колонну, особенно мрачный и унылый вид.

Поравнявшись с покойником, первые ряды сняли шапки и стали торопливо креститься. За ними последовали остальные, и в одну минуту весь строй обнажил головы.

- Отставить моление!
- Шапки надеть!
- Марш, марш! – подгоняли их конвойные.

Мария смотрела им вслед, не вытирая обильных слез, хлынувших разом, растворяя острую, тугую боль в груди. И поднялось из самой глубины души ее это древнее русское заклятие, и вечный вопрос, и мука смертная:

- Господи! Боже милостивый! За что же? За что?!

## ЭПИЛОГ

Дней через десять после описанных событий появилась известная статья Сталина «Головокружение от успехов», и в Тиханове впервые за три месяца собирался базар. Люди шли пешком или везли на салазках кто поросят в корзине, кто мясо, обернутое в чистый холст или клеенку, кто мешок муки или ржи. Редко кто приехал на базар на лошади – колхозам везти на базар нечего было, а колхозникам на личные нужды лошадей, да еще на базар, не давали.

Неведомо откуда Появились на базаре городские агитаторы, все больше из рабочих, в котиковых шапках, в маленьких кепках-шестиклинках, в пиджаках из чертовой кожи, в стеганых фуфайках да сапогах. Они становились на кадки, на ящики, на прилавки ларьков, на дощатые стеллажи торговых рядов и, размахивая газетой со статьей Сталина, говорили, что рабочие и крестьяне – родные братья, что бюрократы с партийными билетами в кармане пытаются поссорить их, загоняя всех крестьян

поголовно в колхозы. Это и есть, мол, головокружение от успехов, то есть голое озорство, перегибы и вредительство. Вот почему товарищ Сталин осудил этих головотяпов и разъясняет еще раз крестьянам, что вступление в колхоз – дело добровольное. Туда можно не только вступать добровольно, но и выходить оттуда добровольно.

Базар после этих митингов тотчас разошелся – люди торопились по своим деревням да селам, и неведомо как молва опережала самых быстрых ходяков. Иные приходили домой, а лошадь и корова были уже на собственном дворе, приведенные расторопной хозяйкой.

К вечеру того же дня весь пантюхинский колхоз разошелся по своим домам. А в Тиханове в колхозе остались все те же двадцать шесть закаленных, стойких семей. Но и они на общих дворах оставили только лошадей, всю же остальную скотину развели по собственным дворам. И процент сплошной коллективизации с немыслимой высоты скатился опять к изначальной цифре неполного десятка.

Так закончился великий эксперимент – в считанные недели добиться всеобщего счастья за счет имущественного уравнивания крестьян и встретить весеннюю посевную тридцатого года в едином, сплошном колхозе. Даже название само – «районы сплошной коллективизации» (а Московская область была одним таким районом из восьмидесяти) – было вычеркнуто из официальных директив и донесений.

Конечно, колхозы есть колхозы; они созданы были и существуют до сих пор. Но это уже другие колхозы, и складывались они по-другому: медленно, мучительно и долго, вплоть до весны тридцать пятого года. Соблазнительная же теория вселенского Добродетельного Икара – сделать всех счастливыми в один всеобщий присест за длинные фаланегерские столы с небесной манной, распределенной на равные доли все тем же Добродетельным Икаром, была погребена на нашей земле русскими мужиками и бабами под обломками бурных февральско-мартовских событий тридцатого года.

Но всякая утопия тем и сильна, что, словно бессмертный чертополох, заваленная в одном месте, она может вынырнуть совершенно в другом. Так проклюнулась и эта уравниловка незабвенного Добродельного Икара и распустилась пышным дурноцветом под благостным солнцем великого Мао в годы его большого скачка и «культурной революции», но и ему не удалось дожидаться всеобщего действия ее губительного созревания. По-всякому это называлось: и бабувизмом, и троцкизмом, и маоизмом... Или как там еще?

Впрочем, какое нам дело до вселенских утопий о скором приходе всеобщего равенства и счастья?! Автору хотелось рассказать о русской деревне, о жизни обитателей ее в трудную пору «великого перелома». И рассказ этот подходит к концу.

Разумеется, не всякого читателя устроит такой конец. Иной спросит: «А как же колхоз? Что с ним было? Как он рос? А что Бородины? Так и остались посреди дороги? Куда же их девать: «туда» или «сюда»? На эти вполне резонные вопросы могу ответить вот что: я писал роман-хронику, строго ограниченную определенным временем, а не эпопею о становлении колхоза или о судьбе главного героя. Потому и не было у меня такого главного героя, а все были вроде второстепенные. Рассказать же о том, куда они все подевались и что случилось с каждым из них впоследствии, просто невозможно.

Однако к семье Бородиных я намерен вернуться. Главные события для них впереди. Но то будет другая история и вещь другая. А эта кончилась. Первый перевал Бородины миновали благополучно, если не считать того, что Андрея Ивановича

исключили из состава сельсовета. Но это уже мелочь.

Похоронив Успенского, Мария уволилась с работы и уехала из родных мест навсегда. Из вещей Дмитрия Ивановича взяла только книги да синюю тетрадь.

Распрощались они с Надеждой по-доброму: обнялись да расплакались. Нет, не удерживала ее старшая сестра. На кой ляд! Вся жизнь в Тиханове поднялась на дыбы, как норовистая лошадь. Впору хоть самой бежать, да некуда. И хвост велик – не подымешься.

А тихановских перегибщиков судили. На скамью подсудимых во главе с Возвышаевым село двенадцать человек. Судила их выездная сессия Коломенского окружного суда. В газетах того времени появились шапки: «Тихановские коллективизаторы перед пролетарским судом», «Перегибщиков – к ответу». Вот тут и вспомнилась поговорка: на что прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!

Мужики и бабы битком набивали тихановский клуб, где шел этот громкий процесс, и с удивлением видели, какими смиренными сидели за отгородкой под стражей милиционеров их бывшие грозные начальники; какими невинными глазами смотрели они на судей и в зал; какими добрыми, мягкими голосами признавались в своих грехах, каялись, но все как один говорили, что выполняли приказы, то есть что их преступления в той или иной форме «базируются на законном основании».

– Да, мы оторвались от масс, да, нарушили принцип добровольности при создании колхозов, – признавался Возвышаев, глядя одним глазом на судью, а другим отваливая к народу. – В пылу практической работы нами допущен ряд грубейших ошибок и перегибов. Но я не социально опасный человек, а до мозга костей преданный социалистическому строительству. Поэтому предъявлять мне строгое содержание с изоляцией, как это сделал прокурор, несправедливо. Я директивы исполнял.

– Да, кавалерийским наскоком в работе мы преступно извратили политику партии, – сказал Чубуков. – Но делали мы это без задней мысли, то есть без цели, потому как поддались всеобщему настрою. Или, как сказал товарищ Сталин, головокружению от успехов. Я клянусь перед партией, правительством и пролетарским судом в том, что в будущем искуплю свою вину, на какую бы работу меня ни послали. Что прикажут, то и сделаю.

– Да, я действительно являюсь юристом в кавычках, – признался Радимов, – как обозвал меня здесь общественный обвинитель, потому как, вместо того чтобы бороться за соблюдение законов, сам их нарушал. Но, дорогие товарищи! До двадцать четвертого года я батрачил. Никакого образования не получил, кроме трехмесячных курсов. Спрашивается: разве я сознательно нарушал законы? Я это сделал исключительно по усердию. Одно мое старание, и больше ничего. Такой был настрой.

Весь процесс достойно завершил общественный обвинитель Филипп Абрамкин, заведующий окружной совпартшколой.

– Данный процесс имеет огромное политическое значение, поскольку вскрывает корни отрицательной деятельности отдельных звеньев тихановского аппарата. Возвышаев и Чубуков, вместо того чтобы признать безоговорочно свою вину, пытались доказать, что их преступность в той или иной мере базируется на законном (в кавычках) основании. Тем самым подсудимые вновь порочат политику партии и Советской власти. Нет, действия их были диаметрально противоположны и политике партии, и всему нашему законодательству.

На том и порешили: Возвышаеву дать пять лет исправительно-трудовых работ,

Чубукову – три года, Радимову, Билибину, Доброхотову, Алексашину – по одному году. Остальным дали кому полгода принудиловки, кому год условно.

Не обошли вниманием и секретаря райкома: «Поскольку т.Поспелов проявил недостойное попустительство агрессивно настроенным элементам, но учитывая его постоянное отсутствие по причине слабого здоровья, объявить ему выговор и перевести с понижением в должности в другой район».

Сенечку Зенина для «излечения его от нанесенного не столько физического, сколько морального ущерба» откомандировали на учебу в совпартшколу. Он тотчас уехал из Тиханова, уехал навсегда, оставив на произвол судьбы жену свою Зинку, с которой, впрочем, так и не успел расписаться.

Наказаны были и крестьяне, замешанные в беспорядках. И только один Федор Звонцов ушел от возмездия. Когда конный отряд окружал бунтовавшее Веретье, он прыгнул на своего Маяка, стоявшего под седлом на крайнем дворе, птицей перемахнул через прясла и пошел низом, по льду Петравки.

За ним погнались с полдюжины вооруженных конников: но не тут-то было! Маяк оказался резвее казенных лошадей, и потом – Петравка сразу за Веретьем круто изгибалась, и не успели бойцы снять винтовки, как Звонцов умчался за кривун.

Тогда они решили скрадывать его и поскакали вперехват, чистым полем. Но перед лесом, куда уходила Петравка и куда мчался по льду Звонцов, они попали в сугробы и увязли в них. Так он и ушел в мещерские непроходимые леса.

С той поры никто не видел его в здешних местах; одни говорили, что он проживал в Баку под чужой фамилией, другие – что ушел за границу.

А жеребец вернулся... Пришел в Гордеево через неделю такой исхудалый, что мослы на костреце выщелкнулись. Отыскал свою усадьбу. Тут и взяли его; утром стоял на пепелище возле старой ветлы, понуро свесив голову.

*Ноябрь 1978 г. – март 1980 г.*